Юрий Герман

Россия молодая

книга II

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАШЕСТВИЕ

Прошу, прошу, Карла шведский,
На квартиру на мою, -
У меня есть, Карла шведский,
Чем попотчевать тебя:
У меня есть пироги,
Они в Туле печены,
Они в Туле печены,
Черным маком чинены;
У нас есть сухари,
Только зубы береги,
Как зубов не сбережешь,
Тут тогда и пропадешь, -
Тут же вот и пропадешь, -
Земли своей не найдешь!
Солдатская песня

Я вижу умными очами:
Колумб Российский между льдами
Спешит и презирает рок.
Ломоносов

Товарищи его трудов,
Побед и громкозвучной славы...
Рылеев

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. ТАИНСТВЕННАЯ ЛОДЬЯ

На шанцах при двинском устье поставили новую вышку, а чтобы с моря ее не было видно - срубили сосну и привязали ее могучий ствол канатами к стропилам. Караульную будку тоже скрыли в разлапистых елях, костер - варить кашицу - приказано было жечь в яме, в полуверсте от караульщиков, дабы ворам с моря не угадать, что берег следит за ними

настороженно и неусыпно, днем и ночью.

В помощь таможенникам стрелецкий голова Семен Борисович велел прислать драгун под началом поручика Мехоношина. На вышке четыре раза в сутки менялись караульщики, вдоль берега по топким болотцам, по желтому сыпучему песку, по сгнившим, сопрелым водорослям день и ночь разъезжали драгуны с полумушкетами, притороченными к седлам.

Когда на устье падали туманы и морская даль становилась непроницаемой для глаза, таможенные солдаты выходили караулить на карбасах. Сигнальщик держал на коленях заряженную сигнальную фузею, солдаты чутко вслушивались в плеск волн, в тревожные, громкие крики чаек.

Все морские караулы находились под началом капитана Крыкова. Он сам часто наезжал то на шанцы, то к драгунам, то в малые караулки, разбросанные по побережью, а ежели не мог отлучиться из города, то посылал вместо себя Егоршу Пустовойтова, который был служакой строгим, взыскательным и справедливым...

На шанцах, неподалеку от караулки, срубили малую избу, плоскую крышу покрыли землей с мхом, самое строение скрыли елками. Тут либо Афанасий Петрович, либо Егор допрашивали рыбаков, которые, несмотря на царев указ, все-таки хаживали в море ради пропитания. Здесь ослушникам делалось строгое внушение, чтобы неповадно было поперек указу в море ходить, но Афанасий Петрович накрепко велел никого не водить на съезжую к злому черту думному дворянину Ларионову, к дьякам Гусеву и Молокоедову, объяснив свой приказ так:

- Сии пытышных дел мастера ныне в кровище по колено ходят. Воевода от страха вовсе ума лишился, злодействует невместно имени своему. А под батогами да на дыбе человек на себя чего только не наклепает. Не токмо свейским воинским человеком назовется, но и других бедолаг под орленый кнут подведет. Нет, братики, коли надобно, я и здесь по-свойски расправлюсь с нарушителями царева указа. А надобности в палаче не вижу: рыбаки, морского дела старатели идут с рыбой, по имени я тут каждого знаю, а ежели не знаю, посидит у нас в избе на

сухоядении, покуда не сведаю, кто таков, какого родителя сын, добрый ли человек. Чего же его, трудника, в ларионовские лапищи отдавать?

Дьяки донесли о своевольничании капитана Крыкова думному дворянину. Тот за такое своемыслие разгневался, велел Молокоедову скакать на шанцы, пригрозить капитану Князевым именем настрого жестокими карами за укрытие воров.

Молокоедов взобрался на солового конька, поехал трусцой в сопровождении десятка стрельцов, но на шанцах при виде крутого капитана оробел и поклонился ниже, чем следует. Афанасий Петрович выслушал указ воеводы молча, сказал, что все то ему ведомо, что ворам он не потатчик, а ежели кого и отпускает, то тех, кто хорошо ему известен. При разговоре присутствовал поручик Мехоношин, поколачивал прутиком по сапогу, позевывал. Когда дьяк со своей свитой отбыл, Мехоношин поднялся с пенька, потянулся и сказал:

- Ты, господин капитан, как хочешь, а я воров, которых мои ребята споймают, сам погоню на съезжую. Сволочи всякой да смердам я не потатчик. Дошутимся так-то, что самому князю Алексею Петровичу поперек дороги встанем...

Афанасий Петрович промолчал.

В этот же день драгуны Мехоношина погнали в город на съезжую четверых рыбаков. Егорша попытался заступиться за морских старателей, Мехоношин огрызнулся. Рыбацкий старенький карбас поскрипывал, покачиваясь у причала шанцев, драгуны молча выкидывали на берег рыбу, что наловили для своего прокормления рыбаки. Поручик Мехоношин победителем уехал на деревню играть с девками, "делать плезиры и амуры", как он любил выражаться.

На другой день с утра караульщик на новой вышке увидел трехмачтовую лодью и сразу же ударил тревогу. Короткие, будоражащие звуки полетели над тихим морем, над шанцами. Солдаты-таможенники с мушкетами побежали по своим местам. На вышку, шагая через три ступени, поднялся Егорша, посмотрел в трубу, выругался:

- Когда вас, чертей пегих, выучишь окуляр протирать?

Сам протер полою мундира стекло и опять посмотрел; увидел, что лодья сидит низко - значит, сильно нагружена; что постройки она нездешней, - так на Беломорье суда не ладят; что груз лежит и на палубе и что люди на судне одеты не по-рыбацки, больно кургузые на них одежки...

Перекрестившись, чтобы отогнать дурь из глаз, Егорша дал трубу капралу - начальнику над шанцами. Капрал глядел очень долго и подтвердил опасения Егора:

- Не наша лодья!

- Я и то смотрю - не наша.

- Да и не свейская! Что ж, свейский воинский человек пойдет нас одной лодьей воевать?

- Одной не пойдет! Да народишко-то вроде не наш. Имать их надо, ничего не поделаешь! Давай стрели из пищали, там разберемся, чьи они...

Капрал затрубил в рог, таможенные солдаты, выученные Афанасием Петровичем все делать споро, потащили караульный карбас с мелководья на глубину. Наверх взбежал рослый таможенник с пищалью, упер ее в бок, открыл рот, чтобы не оглушило, и пальнул. Пищаль ударила словно пушка, стрелявший самодовольно сказал:

- Ну, бьет! Ажно вышка закачалась...

Егорша ответил строго:

- Закачалась! Пороху поменьше надобно сыпать, сколь об том говорено.

На сигнальный выстрел из своих землянок и караулки побежали по местам драгуны. Таможенники, высоко держа мушкеты, чтобы не замочить порох, садились в караульный баркас - догонять воровскую лодью. Но догнать не удалось. Лодья в устье не пошла, а воспользовавшись ветром, умело изменила курс и поплыла вдоль Зимнего берега к Мудьюгу.

- Ловко ворочаются! - сказал капрал. - Добрые, видать, мореходы.

- Лодья не наша, а ходят по-нашему, - ответил тот таможенник, что стрелял из пищали. - Ей-ей, наша повадка...

Егорша вздохнул:

- Не догнать на карбасе. Упустили мы их, капрал.

К берегу, верхом на караковом взмыленном жеребце, подъехал Мехоношин в лентах и кружевах, велел своим драгунам спехом догонять судно вдоль моря - выследить, куда идут воры. Драгуны сразу взяли наметом по топкому прибрежью.

- Коли догонят - ведро водки! - сказал Мехоношин. - Коли упустят - выпорю. Они меня знают...

И пошел в избу - поспать с похмелья.

2. НА ЦИТАДЕЛИ И В ГОРОДЕ

Сильвестр Петрович вернулся в крепость из дальнего путешествия - объезда острогов - поздно за полночь. Маша села на постели, протянула к мужу руки, припала лицом к грубому сукну его Преображенского кафтана. Он молча целовал ее голову, шею, теплое ухо с маленькой сережкой.

Рядом в горнице стряпуха вздувала огонь в печи - кормить капитан-командора. Стуча сапогами, денщик носил дрова - топить баню. Верунька с Иринкой проснулись, заспанными голосами сказали:

- Вишь, кто приехал? Тятя наш приехал.

- Тятя приехал...

В прозрачных сумерках белой ночи, без свечей, Сильвестр Петрович жадно хлебал наваристые щи, вкусно разжевывая ноздреватую ржаную горбушку, рассказывал:

- Воевода чего наш начертил, Машенька, ну, голова! Челобитную-то об том, чтобы еще на воеводстве оставить, сам и написал, ей-ей. Сам, с дьяками своими. Мне об том по селениям да по острожкам люди сказывали. Схватит рыбаря, али купца, гостя именитого, али зверовщика - да пред свои светлые очи. Тот, известно, дрожмя дрожит. Сначала уговором - так, дескать, и так, раб божий, написана, мол, челобитная великому государю обо мне, о воеводе, о князе Прозоровском, что-де за многие мои старания просят-де оставить меня на воеводстве еще един срок - два года. Раб божий, известно, моргает. Тут выходит чудище -

палач Поздюнин с кнутом, эдак помахивает. Человек почешется, почешется, подумает, вздохнет, да и поставит под челобитной свое святое имечко, а который грамоте не знает - крест. С тем и будь здрав. Так и отослали челобитную, ту, об которой мне бомбардир на Москве говорил, которой понял меня...

- Господи! - всплеснула руками Маша.

- То-то, что господи! Мужичок один с невеселым эдаким смехом поведал: ты, говорит, господин капитан-командор, зря дивишься. Нам, говорит, все едино - кто над нами воеводою сидит, кто нами правит, кто от нас кормится. Хорошего человека вовеки не дождемся, а кто из зверя лютее - волк али медведь, - недосуг разбираться. Одно знаем: будь твои воеводы трижды прокляты. Пощунял я его, мужичка, для острастки, - не гоже, говорю, так о воеводе толковать, да что... Махнул рукой.

- Так и оставишь?

Сильвестр Петрович ответил не сразу:

- А что станешь делать? Под сей челобитной, почитай, весь немецкий Гостиный двор подписался, и аглицкие немцы и другие некоторые, что у меня нынче за караулом сидят. Трудно мне, Машенька. Бомбардир давеча на Москве разгневался...

Маша вдруг всполошилась, поднялась с лавки, побежала открывать ларец:

- Ахти мне, едва не забыла. Писем тебе из Москвы, писем. И от Апраксина, и от Александра Даниловича...

Не доев горячее, жуя хлеб, Сильвестр Петрович пересел к окошку, стал читать мелкие строчки, писанные рукою Федора Матвеевича:

"...еще Голицын из Вены государю доносит, что-де главный министр граф Кауниц и говорить с ним не хочет, да и на других ни на кого полагаться невместно, они только смеются над нами. Просит Голицын слезно - всякими-де способами надобно добиться получить над неприятелем победу. Хотя, пишет, вечный мир учиним, а вечный стыд чем загладить? Непременно нужна нашему государству хоть малая виктория, которой бы имя его попрежнему по всей Европе славилось. А теперь войскам нашим

и управлению войсковому только смеются. Матвеев наш Голицыну отписал из Гааги: "жить мне здесь теперь очень трудно: любовь их только на кумплиментах ко мне, а на деле очень холодны. Обращаюсь между ними как отчужденный, а от нарекания их всегдашнего нестерпимою снедаюсь горестью"".

Маша села рядом с Сильвестром Петровичем, просунула руку под его локоть, прижалась к нему. Он потерся щекою об ее голову, не отрываясь читал дальше:

"...турки, изнагличавшись, при всех наших бедах и напастях, бесчестно требуют, дабы мы возвратили им Азов и флот свой пожгли в Азовском море. Сильвестр, Сильвестр, те корабли пожечь, что в таких трудах нами построены, - басурмане треклятые, вечные нам супротивники, чего захотели! Толстой наш достойно обидчикам ответил: "Корабли, которые есть в Азовском уезде, сожети и новопостроенную фортецию чтобы разорити, о сем не токмо мне доносить, даже мыслити о доношении невозможно""...

- Покушал бы, Сильвеструшка! - попросила Маша. - Остынет курник.

Сильвестр Петрович, не слушая, зашуршал листами другого письма. Меншиков передавал фразу Петра Алексеевича: "Когда слова не сильны о мире, сии пушки метанием чугунных мячей скажут, что мир сделать пора". В письме был манифест царя, в котором Петр объяснял смысл войны со Швецией.

- Об чем пишут? - тихо спросила Маша.

- О малой виктории, - складывая листы писем, ответил Иевлев. - Пишут, как потребна нам хоть малая над шведом виктория. Будто то мне самому невдомек...

Он покачал головою, улыбнулся, стал доедать обед. Маша рассказывала тихим голосом новости, он, глядя на нее, думал свое. Потом набил трубочку; улучив мгновение, вышел из горницы, в ночной тишине обошел крепость, оглядел, что сделано, покуда ездил по острогам. Маша уже лежала, когда он вернулся.

- Где был? - спросила она.

- Подымить табаком ходил! - ответил, улыбаясь, Сильвестр Петрович.

- Цитадель свою смотрел, - сказала Маша. - Знаю я тебя. Резен давеча хвастался, что много наработано: ретрашемент кончили и...

Сильвестр Петрович засмеялся:

- Ишь ты, каких слов набралась: ретрашемент...

- Наберешься с вами, коли ничего иного и не слышишь: фузеи, да мушкеты, да гранаты, да еще шведы...

Он взял ее руку в свою, спросил шепотом:

- А не страшно тебе, Машенька? Только по правде скажи, по чистой?

Она подумала, ответила спокойно, ясным голосом:

- Чего ж страшно? Давеча был у меня Егорша, привозил огурцов квашеных бочонок, рассуждал со мною, будто сказано Петром Алексеевичем про доброго воинского начальника, может, и про тебя. Я те слова запомнила.

Маша приподнялась на локте, откинула косы, чтобы не мешали.

- Сказано так про того офицера: храбрость его неприятелю страх творит, искусство его подвизает людей на него твердо уповать...

Сильвестр Петрович порозовел, опустил взгляд. Маша продолжала рассуждать:

- Так и Егорша, и Меркуров, и Крыков Афанасий Петрович об тебе судят. Что ж мне бояться? Я тебя лучше их знаю, я вижу, как ты думаешь...

Разгладив ладонью его лоб, она добавила:

- Вот и сейчас думаешь, морщинки какие... Не думай, Сильвестр Петрович, отдохни, душенька...

И, перебив себя, заговорила быстро:

- Таисья у меня здесь была с Ванечкой, два дня жила. И так уж мы с ней плакали, так сладко плакали; сказала мне: не пойду я, Машенька, за Афанасия Петровича, не пойду, и думать о сем мне горько...

- О чем же вы плакали, глупые?

- О том и плакали, - прошла ее жизнь, прошла по-хорошему; любит она своего кормщика по сей день, и более никого не любить ей. О сем и плакали.

- А ты-то чего плакала?

- Вдвоем слаще плакать, Сильвеструшка. Я еще в девках бывало одна никогда не плакала, а с подружкой - плачу, ну разливаюсь...

Сильвестр Петрович громко захохотал, она дернула его за рукав, - дочек разбудит! Он, улыбаясь, стал раздеваться.

Спал немного - часа два; поднялся, покуда Маша еще спала, вышел одеваться в соседнюю горницу. Там уже дымил трубкою Резен, ждал. Потолковали быстро, короткими фразами; инженер проводил капитан-командора до его карбаса. Матросы в бострогах, в коротких без рукавов куртках, в вязаных шапках, встретили Иевлева весело, шуточками; всею душой он вдруг почувствовал - любят его. Как, когда это сделалось - не знал; еще так недавно метнули в него нож на крыльце Семиградной избы. Может быть, там не знали того, что знают матросы? Может, не ведают трудники, работные люди, как мало он спит, как болят его простуженные ноги, сколь много надо ему делать, чтобы поспеть достойно встретить вора шведа?

- Прапорец! - приказал старшой за спиною Иевлева.

- Пошел! - ответил другой голос.

Флаг - "Капитан-командор здесь!" - взвился на мачте, захлестал на утреннем ветерке. День был теплый, Двина лениво плескалась о знакомые до каждой березки берега, на душе вдруг стало совсем спокойно, легко, мысли пошли ясные, четкие, одна за другой: что еще не сделано, что надобно сделать нынче, что завтра.

Расстегнув кафтан, он снял треуголку, положил ее возле себя, с наслаждением стал вдыхать добрый запах трав, щурился на далекие рощицы, прикидывал, где по берегу - за кустами, меж деревьями - еще расставить пушки, где спрячет мужиков-охотников, зверовщиков, что в лет не промахнутся по алтыну.

Карбас шел ходко, матросы молодыми голосами пели песню, которую Сильвестр Петрович еще не слыхивал. Он вслушался:

По чисту-полю Ермак, да по синю-морю,

Разбивал же Ермак все бусы-корабли,

Татарские, армянские, басурманские,
А и больше того - корабли государевы!
Государевы кораблики без приметушек,
Да без царского они без ербычка...
- Что за песня? - спросил Сильвестр Петрович, обернувшись к рулевому.
- А кто знает! - ответил матрос Степушкин. - Поют ее, господин капитан-командор, на Марковом острову трудники, как вечер, так и поют. Был будто бы Ермак Тимофеевич, покорил казак Сибирь для Руси, - вот про него песня и сложена...
Матросы пели задумчиво, не торопясь, в полную грудь:
Тут возговорил Ермак - сын Тимофеевич:
- Ой, ты гой еси, ты врешь, собака!
Без суда, без допроса хочешь Ермака вешать!
Богатырская сила в нем разгоралася,
Богатырская кровь в нем подымалася.
Вынимал он из колчана саблю острую,
Он срубил-смахнул боярину буйну голову,
Буйная его головушка от плеч отвалилася,
Да по царским залушкам покатилася...
Иевлев нахмурился, хотел стукнуть тростью, чтобы перестали петь о том, как срублена голова боярину, но вспомнил о воеводе - князе Прозоровском - и ничего не сказал. Думал с горечью: "Небось, они куда поболее о нем знают, нежели я. С того и радуются, что покатилась боярская голова". И вспомнил вдруг весеннюю ночь в Москве, царя Петра и его слова, исполненные тоскою: "Облак сумнений!"
Матросы все пели, Сильвестр Петрович, словно не слыша, стискивал зубами мундштук вересковой трубки, раздумывал, как быть с Прозоровским, с воровской его челобитной. И решил твердо: нынче сие дело не начинать, - швед близок, не о том надобно тревожиться.
В Семиградной избе собрал людей - стрелецкого голову Семена Борисовича, Крыкова, Меркурова, Семисадова, Аггея Пустовойтова, корабельных мастеров Ивана Кононовича, Кочнева, случившихся в

городе обоих Баженинных: старшего - Осипа и кроткого - Федора, стрелецких и драгунских офицеров, корабельных мастеров с Дона. Дьяки тоже были здесь, сидели укромно на лавке, старались не попадаться капитан-командору на глаза. Иевлев ждал молча, пока все рассядутся, поколачивал трубкой по столу, смотрел в окно недобрым взглядом. На ввалившейся щеке, только что выбритой крепостным цирюльником, ходил желвак.

- Пушки из Москвы получены? - спросил Сильвестр Петрович.

- Всего числом четырнадцать, да некоторые за дорогу побились, - ответил Меркуров. - Чиним нынче. Мортиры да гаубицы в пути...

Иевлев смотрел в окно на голубую Двину.

- Который из кораблей иноземных пытался воровским образом уйти?

- Конвой ихний, "Послушание" именем, - ответил Крыков.

- Почему не ушел?

- Матросы унтер-лейтенанта Пустовойтова вышли наперерез.

- Шумно было?

- Шесть выстрелов холостых дали! - сказал со своего места Аггей. - Шум не великий!

- Господин капитан Крыков совместно с унтер-лейтенантом господином Пустовойтовым и с матросами отправятся на "Послушание", - сказал Иевлев, - и с указанного конвоя моим именем снимут все пушки. Коли иноземцам не по нраву будет - вязать команду.

Крыков и Пустовойтов поднялись.

- Погодите! - велел Иевлев. - Как пушки на берег людьми и карбасами доставите, расположить их, согласно приказу господина полковника, по всему каменному городу, по Гостиным дворам - русскому и немецкому... Что - воевода? Все хворает?

Аггей Пустовойтов презрительно улыбнулся:

- А что ему делать? Занедужил со страху, носа не кажет.

Иевлев покосился на Аггея: и этот туда же, и сему воевода поперек дороги встал!

Сказал тихо:

- Не нам, господа совет, и не нынче судить князя. Он сверху поставлен на воеводство, ему перед государем отвечать. Идите. К вечеру с пушками надобно все покончить.

Попил воды, чтобы успокоить себя, незаметно оглядел людей, понимал: они должны оборонять город, а ведь ни один из них не надеется на воеводу, ни один ни на волос не верит князю, его ненавидят и презирают.

- О кораблях наших разговор пойдет, - заговорил капитан-командор. - Для того и собрал вас нынче, господа совет. В Соломбале на стапелях стоят суда, да у Осипа Андреевича на верфи достраиваются в Вавчуге. Четыре на воде - спущены, отделываются. Ежели шведские воинские люди ворвутся, всему нашему флоту - погибель, пожгут до единого. Об сем предмете надобно думать со всем прилежанием, неотложно...

Федор Баженин пошептался с Кочневым и Иваном Кононовичем; прижимая руки к впалой груди, робко стал советовать, куда надобно уводить корабли. Осип отмахнулся от брата, словно от докучливой мухи, зарычал, что все вздор, корабль не иголка, не спрячешь, а спрячешь - так шведы все едино прознают, где флот российский скрыт. Донцы-корабельщики с яростью набросились на Осипа, закричали, что прятать надобно, что у них на Дону искусно прячут любые суда - никому не отыскать.

Сильвестр Петрович смотрел на сытое, самодовольное лицо Осипа Баженина, догадывался о потаенных его мыслях, о том, что не жалко ему человеческого труда, не жалко кораблей казенных, невелика-де беда: спалит швед корабли - новые построим, другие спалит - еще соорудим.

- Казна-то не бездонная, я чаю! - сдерживая злобу, сказал Иевлев.

Баженин хохотнул, отвалился на скамье, выставив вперед брюхо:

- Чего?

- Корабли труда великого стоят! - сказал Иевлев. - Немало народу ногами вперед с верфей понесли, пока строили.

- Наро-оду! - усмехнулся Баженин. - Велико дело - народ! Бабы рожать не разучились - будет народ. А что до казны, господин капитан-

командор, то мы и казне подмогнем, не нищие побирушки, не чужие люди, сочтемся не нынче-завтра. Ты слушай, Сильвестр Петрович, что скажу...

Он кряхтя поднялся с лавки, спросил:

- С прошествием времени что повезем на кораблях за море?

Все молчали. Осип ответил себе сам:

- Наши товары повезем, барыши в нашу же мошну.

- В какую - в нашу? - спросил Семисадов.

- Ась?

- В какую - в нашу? В мою, что ли?

- Ты языком-то не звони! - спокойно ответил Баженин. - Не об тебе речь. Далее слушай, господин капитан-командор...

Осип говорил долго, люди смотрели на него насмешливо, Федор покашливал, ерзал на месте, наконец дернул старшего брата за полу кафтана. Осип цыкнул на него, он стих.

- Деготь повезем, - загибая толстые короткие пальцы в перстнях, говорил Осип, - пеньку! Юфть наша в большом у них почете. Меха повезем - куницу, рысь, росомаху, песца, лисицу. Свечи еще сальные вологодские, поташ, мед, воск...

Он топнул ногой в сапоге, шагнул вперед, крикнул:

- Повсюду пойдем торговать, с самим Петром Алексеевичем об том договорились. Только вы, господа воинские люди, не выдайте, а уж мы в долгу не останемся, век будете нас благодарить. Господи преблагий! Коноплю повезем, пшеницу, вар, пух гагачий, семгу, задавим их товаром нашим, цену собьем, в первейшие негоцианты выйдем. Еще купец Лыткин со товарищи получил на то царское благословение. Наша будет торговля, а не ихняя, на колени перед нами встанут, попомнят, как мы им кланялись...

- А попозже - помиритесь! - из своего угла сказал Семисадов. - Свой своему завсегда кум. Чего, Осип Андреевич, распаляешься. Все вы одним миром мазаны.

- Это как же? - багровея, спросил Осип. - Али не русский я человек? Али

на мне креста нету? Ты, мужик, говори, да не заговаривайся...

Семисадов присвистнул, покачал головой:

- Не видать что-то на тебе креста, господин Баженин, Осип Андреевич. Да ты погоди, не ярись, я тебя не испужаюсь. А русский ты али не русский, оно, конечно, сразу не скажешь. Не помню я, чтобы ты нашего брата от иноземного кнута защитил в те поры, когда корабли мы строили.

Баженин затопал ногами, Сильвестр Петрович постучал по столу, крикнул:

- Не на торге! Сядь, господин Баженин. Да и ты, боцман, того... потише бы...

Встретил смеющийся живой взгляд Семисадова, подумал про себя: "Хорош дядечка. Эдакой все может. Послать лоцманом на шведский военный корабль - все сделает как надо, и глазом не сморгнет..."

Твердым голосом, оглядывая собравшихся поодиночке, как бы измеряя силы каждого для грядущего дела, стал приказывать - кому какая будет работа. Хлопот для всякого оказалось полным полно, один лишь Осип Баженин остался без всякого поручения. Злобясь, он вышел из горницы, хлопнул дверью. Сильвестр Петрович будто бы ничего и не заметил. Вновь стали толковать, где спрятать флот.

Иевлев разложил на столе карту, Семисадов подошел поближе, просмоленным пальцем ткнул в маленькую гавань, сказал шепотом:

- Посмотреть бы тебе самому, господин капитан-командор...

- Посмотрю! - также негромко ответил Сильвестр Петрович.

Еще потолковали, Сильвестр Петрович поблагодарил за добрые советы, сказал, что флот непременно будет спрятан, а где - то решится вскорости. Народ понял осторожность капитан-командора, люди стали подниматься, уходить...

К полудню Иевлев остался с Семисадовым и стрелецким головою. Дьяки принесли показывать казенные расчеты на отпуск от казны денег и хлеба трудникам, Сильвестр Петрович читал длинные листы и рассказывал, что видел за время объезда, как укрепились остроги для бережения от

шведа. Кольский острог нынче выдержит порядочную осаду, соловецкие монахи тоже напугались: архимандрит Фирс за ум взялся, погнал своих лежебок к делу. Остроги Пустозерский, Сумской, Кемь, Мезень - нападение эскадры вряд ли выстоят, но нападающим жарко станет. Народ - трудники - мрет сильно: голод, сырость, лихорадка.

Голова вздыхал - ничего не поделаешь, на все божья воля; Семисадов сидел, низко опустив голову.

- Узники-то наши как?

- А чего им деется? - ответил Семисадов. - Кормим подходяще, зла себе не ждут, живут - не плачут. Риплей, пушечный мастер, пива потребовал на цитадель - мы дали. Инженер Лебаниус поначалу боялся, а теперь - ничего, ожил. А которого первым взяли - рыболов Звенбрег, - тот корзинки лозовые плетет на досуге, досуг-то велик.

- Пусть посидят, без них спокойнее! - сказал Иевлев. - Потом, как баталия окончится, отпустим, выгоним вон... Верно говорю, боцман?

Семисадов поднял голову, усмехнулся:

- Верно, Сильвестр Петрович. Пожить бы хушь малое время без них, и так всадников на нашего брата не пересчитать...

- Каких таких всадников? - удивленно тараща глаза, спросил стрелецкий голова Семен Борисович. - О чем толкуешь?

- А которые на мужике ездят! - твердо ответил Семисадов. - Они и есть всадники.

- Умен больно стал! - отрезал полковник. - До чего додумался...

- Ну, Семен Борисыч? - спросил Иевлев, когда Семисадов ушел. - Рассказывай, сколько мушкетов, да фузей, да холодного оружия принял, покуда меня здесь не было? Вижу - немало, ежели не жалуешься.

Полковник ответил, что действительно немало, грех жаловаться. И оружие доброе, не пожалела Москва. Сильвестр Петрович взял перо - написал реестрик, задумчиво спросил:

- Ежели народ некоторый собрать - охотников, дать им оружие доброе, посадить по Двине в тайных местах, там, где фарватер поближе к берегу, наделают ворам беды, а? Как считаешь? Ежели вдруг грех случится -

прорвется шведская эскадра?

Семен Борисович насупился, взял реестрик, прикинул в уме, рассудительно произнес:

- Дело хорошее. Мужик тут - сокол, бесстрашен, ловок; глаз - дай боже. Ну, и пороху по привычке, по охотничьей, жалеет, даром заряда не потратит.

Иевлев взял еще листок бумаги, пером тоненько набросал, где быть охотничьим засадам. Полковник посоветовал все это дело отдать Крыкову: он сам из охотников, его народ знает, и он людей знает. Пусть над ними и командует.

Из Семиградной избы Сильвестр Петрович верхом рысцою поехал на Мхи к Таисье, чтобы посмотреть крестника, которого давно не видел, и спросить, нет ли какой неотложной нужды. Таисья встретила его как всегда - ровно, приветливо. Ничего вдовьего не было во всем ее облике, ни единого жалкого слова не сказала она, покуда просидел он в горнице. Все, по ее словам, шло слава богу, живут они с хлебом и со щами, дрова на зиму припасены. Афанасий Петрович, добрый человек, вырезал новые доски - делать сарафанные и скатертные набойки, те набойки хорошо продаются на торге, только поспевай делать. Работа веселая, чистая, с такой работой жить не скучно. Захаживает порою Семисадов, все уговаривает Таисью попытать счастья в морском деле.

- Это в каком же? - удивился Иевлев.

- А наживщицей ходить в море али весельщицей, - улыбаясь, ответила Таисья. - У нас, Сильвестр Петрович, многие женки в море хаживают. И кормщики есть. Я моря-то не шибко боюсь. Иван Савватеевич не раз со мною в давно прошедшие годы на промысла хаживал, - ничего, не ругался...

- Вот погодим малость, да и я пойду! - сказал Ванятка, жуя орехи в меду, принесенные Сильвестром Петровичем.

Он сидел здесь же на лавке, копался обеими руками в кульке с гостинцами.

- Еще что хотела я сказать, Сильвестр Петрович, - заговорила Таисья. -

Не гоже вам семейство ваше на цитадели содержать. Мало ли грех какой, - дочки маленькие. Давеча Марью Никитишну я как уговаривала ко мне переехать, - тихо у нас, садик есть, для чего в крепости-то...

- Ну, а Никитишна моя что? - спросил Сильвестр Петрович.

- Нет, говорит, не поеду.

Иевлев улыбнулся:

- То-то, что нет. Я сам об сем предмете и толковать перестал. Что она, что ты, Таисья Антиповна, - обе вы упрямицы. Мало ли как оно лучше, да сердце не велит. И дай вам обеим бог за то...

Таисья поняла, о чем говорит Сильвестр Петрович, вспыхнула, сказала едва слышно:

- Не можно мне, Сильвестр Петрович. И ему худо будет, и я не уживусь...

Иевлев молча наклонил голову.

Прощаясь, он положил на стол серебряный рубль "на гостинцы для крестника", - так делывал всегда, ежели навещал избу на Мхах. По молчаливому уговору Таисья копила эти деньги - сироте на черный день. Ванятка насчет черного дня не догадывался, но рублевикам вел счет, прикидывая, когда их наберется столько, чтобы начать строить себе добрый карбас.

- Ну что ж? - спросил Иевлев на крыльце. - Приедешь ко мне в крепость, Иван Иванович?

- Приедем! - расправляясь со своим кульком, ответил Ванятка. - Дядя Афоня возьмет, обещался. Да что!.. Кабы из пушек палили... А то давеча ни одна не пальнула.

- Может, и станем палить! - с короткой усмешкой сказал Сильвестр Петрович. - Ты уж приезжай...

- Ждите! - велел Ванятка.

Иевлев наклонился к нему, поцеловал в тугие прохладные щечки, поклонился Таисье, отвязал коня. Ванятка открыл ворота, конь пошел с места бойкой рысцой.

3. ПУШКИ И ЦЕПИ

Пушки с конвоя "Послушание" капитан Крыков и унтер-лейтенант Пустовойтов доставили в город к вечеру. Напуганные крутым нравом капитан- командора иноземные корабельщики, пришедшие на ярмарку, нисколько не сопротивлялись увозу своего вооружения и даже сами помогали русским матросам. Когда отошла всенощная, Сильвестр Петрович сам отправился по другим кораблям предлагать шхиперам выгодную для них сделку: за приличное вознаграждение они имели возможность "одолжить" свои пушки и пороховой снаряд "до времени" городу Архангельскому, дабы жители города не потерпели убытку от шведских воров.

Шхиперы просили срок - подумать; Иевлев отвечал, что думать решительно не об чем, да и времени нынче в обрез. Шхиперы попросили разрешения пригласить на корабль "Храбрый пилигрим" консула Мартуса; капитан-командор разрешил. С Мартусом прибыл и пастор Фрич - как бы невзначай. Шхиперы, капитан конвоя, консул, пастор, Иевлев сели вокруг стола в кают-компании "Храброго пилигрима", кают-юнга принес ром, кофе, лимоны в сахаре. В золоченой клетке кричал попугай. Шхиперы курили трубки. Мартус витиевато сказал речь о дружбе московского царя и иных государей. Сия дружба ничем нерушима, быть ей вечно, тому, кто станет поперек, милости ждать неоткуда. После Мартуса говорил пастор Фрич, за ним - шхиперы.

Иевлев поднялся, поправил шпагу, натянул на левую руку перчатку. Ром в его стакане стоял нетронутым, кофе простыл в чашке.

- Ежели до полудня вы не сдадите пушки добровольно, - сказал он внушительно, - то мы их возьмем силой и безденежно. Нынче же получите уплату полностью. Мы к вам веры иметь не можем, ибо один ваш корабль уже сделал попытку уйти воровским способом, отчего не ждать такого же действия от всех? Долгом также почитаю напомнить злодейское убийство вашими людьми двух моих ни в чем не повинных матросов в день, когда многие из ваших команд грозились нам приходом шведских воровских кораблей. Как можем мы положиться на ваше слово? И не есть ли некоторые из вас, господа союзники, люди, дружественные

шведскому флагу?

Шхиперы потребовали библию - поклясться. Сильвестр Петрович сказал решительно, что в сих делах библия не нужна. Мартус опять заговорил. Иевлев, не слушая, ушел к трапу. Попугай кричал вслед сердитые слова...

Консул Мартус догнал капитан-командора на палубе, взял под руку, сказал, что капитаны кораблей согласились, но только для того, чтобы доказать сим поступком дружеские чувства русскому царю. Внизу у борта "Храброго пилигрима" покачивались военные лодьи, там ждали матросы.

- Принимай пушки! - крикнул Иевлев вниз. - Спервоначалу здесь, потом на других кораблях. Живо ворочайся!

Аггею Пустовойтову на берегу приказал: пушки, что будут возить матросы, ставить на верфи для бережения строящихся русских кораблей. К тем пушкам назначить самых наилучших пушкарей, дабы шведы, даже ворвавшись в город, не смогли пожечь корабли. Выстроенные и оснащенные корабли той же ночью, под командованием Семисадова, ушли в тайное место. Провожая суда, Сильвестр Петрович сказал Крыкову со вздохом:

- Выйти бы в море на своей эскадре, да и встретить воров, как надобно, морской баталией! Слабы еще. Погодим...

Корабли, кренясь, таяли в прозрачных жемчужных сумерках белой северной ночи. От Двины веяло свежестью, скрипели у причала карбасы, лодьи, посудинки, шняки. Крепко пахло смолою. Иевлев долго глядел вслед эскадре; потом, когда она скрылась из виду, обернулся к Афанасию Петровичу, спросил мягко:

- Что невесел, господин капитан? Устал? А я было еще одно дело хотел тебе препоручить. И хорошее дело...

Крыков взглянул на Иевлева с любопытством. Сильвестр Петрович рассказал о беседе со стрелецким головою, об охотниках-зверобоях, которых следовало вооружить и поставить в тайных местах по двинскому берегу.

- Такой народ мы найдем! - ответил уверенно Крыков. - Пули даром не

потратят, сие верно. И рулевого пулей снимут, и самого ихнего адмирала. Что ж, ладно...

- Нынче же и делай.

- Откладывать не стану.

Когда садились в карбас у Воскресенской пристани, сверху, по косогору, побежал человек в рубахе распояской, черный, голенастый. Иевлев спросил, кто таков. Матрос Степушкин ответил:

- Мастер. Кузнецом его кличут, с Пушечного двора. На Марков остров ему надобно. С утра к нам ходит.

Афанасий Петрович вдруг развеселился, сказал Иевлеву с добродушным смешком:

- Ох, мужичок - сей Кузнец. Знавал я его, когда он конец свету предрекал и едва себя со скитскими раскольниками не сжег...

- И я его в те поры видывал, - ответил Иевлев. - Нынче же мастер - великий искусник, колдун в своем деле.

Федосей подбежал запыхавшись, сверлящими глазами посмотрел на Сильвестра Петровича и Крыкова, потом сел, развязал узелок - стал закусывать хлебом с луком. Иевлев спросил, зачем ему на остров; он ответил, что-де по казенной надобности. Сильвестр Петрович с удовольствием подумал - умен мужик, цепь доделывает тайную и о секретной работе не болтает зря.

Поужинав, Кузнец повернулся к воде, задремал. Дремал и Сильвестр Петрович, - нынче научился он всякую свободную минуту отдыхать. Причалили к Маркову острову, велели матросам ждать. Неподалеку, за ивняком и березками, в бегучих туманах белой ночи мигал костер, слышалась песня:

Богатырская сила в нем разгоралася,

Богатырская кровь в нем подымалася,

Вынимал он из колчана саблю острую,

Он срубил-смахнул боярину буйну голову...

- Кто поет? - спросил Иевлев, сжав Крыкову локоть.

- Погоди, Сильвестр Петрович, дослушай! - словно бы приказал Крыков.

Они стояли под низкой корявой березой и слушали, как несколько десятков голосов поют у костра:

А и думские бояре испужалися,
Да по царским залам разбежалися,
Возговорил сам батюшка - православный царь:
"Ермак во беде сидит, бедой крутит,
Еще что нам над Ермаком делати?"
Ни един князь ответу не дал,
И во всех винах прощал его,
И только Казань да Астрахань взять велел...

Песня кончилась. Крыков стоял неподвижно, точно все еще слушая, потом сказал:

- Вот оно как, Сильвестр Петрович... Казань да Астрахань взять велел, - всего и делов!.. Мужику-казаку... Славная песня...

Он улыбнулся доброй открытой улыбкой и позвал:

- Пойдем, что ли?..

У костра на дерюжках и плетенных из веток подстилках лежали трудники, те самые, которых не так давно изловил в придвинских лесах поручик Мехоношин, хлебали из деревянных мисок жидкую пустовару-кашицу, закусывали черствыми шаньгами. Молчан, заросший до самых бровей бородою, не ел - сидя у пенька, посасывал трубку-самоделку. Никто не поднялся, хоть все и видели - идут капитан-командор с Крыковым. Били комаров, жевали, помалкивали.

- Здорово, трудники! - сказал Сильвестр Петрович.

Мужики ответили нестройно. Иевлев вынул из кармана трубку, набил табаком, попросил огонька. Ему подали уголек из костра. Молчан издали смотрел на него блестящими, немигающими глазами.

- Чего ж воров-то нет? - спросил с укором седой мужик. - Сулили, будут воры вскорости, мы свое дело со всем поспешанием сделали, а воров-то и нет, нейдут. Испужались нашего брата?

- Видать, испужались! - ответил Иевлев, с удовольствием слушая мужика.

- Цепей наших тайных испужались, - сказал другой мужичок с лукавым и

умным взглядом маленьких глаз. - Куды ж!.. Разве ж кораблю наши цепи одолеть - железные-то, кованые...

- Как вдарится об цепи - сразу и потопнет! - сказал плечистый мужик с бледным лицом и рваными ноздрями, выглянув из-за костра. - На совесть столбы поставлены, не шутили - копали...

Иевлев всмотрелся, спросил:

- А тебе за что ноздри рвали?

Мужик ответил не сразу:

- Весел был в молодых годах, соврал слово, вот и заплатил...

Седой перебил:

- Ты, господин, лучше нас не спрашивай, кто да за что. Не к чему!

- Оно верно, что не к чему! - сказал Молчан. - Пойдем лучше вертлюги смотреть, как что поделано!

Он поднялся, хлопнул по щеке ладонью - убил комара, не оглядываясь пошел вперед. В кустарнике Крыков догнал Молчана, они о чем-то быстро заговорили. Сильвестр Петрович шел сзади, опираясь на палку, думал: "О чем им говорить?"

Миновали батарею, солдаты сделали Иевлеву на караул; Сильвестр Петрович оглянулся - пушки были поставлены хорошо, с реки их не увидишь, а пушкарям удобно бить с бревенчатого помоста. Молодец Резен, и тут распорядился с толком...

Машина - натягивать сторожевые цепи через реку - была тоже поставлена тайно, среди низкорослых сосенок и елей в неглубокой яме, чтобы воровские корабельщики не видели, как начнут наматывать на барабан цепи и тем готовить гибель кораблю. И сам берег здесь был укреплен вкопанными бревнами, чтобы не осыпался и чтобы не выворотились вертлюги с барабаном...

- Ладно сделано! - сказал Иевлев, поколачивая тростью по бревнам. - Кто ставил? Резен?

- Инженера не было тут! - ответил Молчан. - Инженер только подручного своего присылал - барабан ставить цепной да рычаги к нему. Все прочее сами поделали. Вот у нас мастер - Кузнец, он и сработал.

- Сдержит корабль? - спросил Сильвестр Петрович.

Федосей вышел вперед, обдернул на себе рубаху, ответил не спеша, рассудительно:

- Смотря как ударит! Да ништо, на кое время любой корабль сдержим, а тут пушки зачнут палить, вы с крепости каленым ядром приветите, пушкари - отсюдова. У них на Марковом батарея ныне добрая: и мортиры поставлены, и гаубицы пальнут. Не жук чихнул. Давеча карбасами порох возили, ядра, - почешется швед!

- С берега в узкости по кораблям бить сподручно! - сказал Молчан. - Нас не видно, а он весь как на ладони...

Иевлев живо обернулся к Молчану, спросил:

- Откуда сие ведаешь? С Волги, что ли? Разбойничал? Зипуна добывал?

Молчан ответил спокойно:

- Зачем, господин капитан-командор, зипуна? Которые зипуна добывают - тех головы ноне по рожнам торчат. А мы, слава создателю, покуда живые да здоровые, при государевом деле казенну кашу жуем. Разбойнички зипуна добывают, а мы люди тихие, мы Волгу и в глаза не видывали.

Мужики кругом осторожно засмеялись, улыбнулся и Афанасий Петрович Крыков.

Иевлев стал смотреть, как Кузнец работал с цепью легким молотком: проверял, ладно ли склепана. Ловкий низенький мужичок ему помогал. "Что же, теперь на цепь можно положиться, - подумал Сильвестр Петрович, - да и на многое можно положиться, многое сделано не на год и не на два".

Медленным взглядом он обвел пушки, что чернели с боевых валов Новодвинской цитадели, - там их стояло предостаточно, худо придется шведу. Нынче готова цепь, завтра Афанасий Петрович соберет охотников...

Со скрипом подвалил карбас; матросы, зевая, сбросили легкие сходни.

На острове за кустарником и березками, у костра, опять запели. Слов не было слышно, только напев - плавный, величественный и вместе с тем

буйный - все ширился, все рос, теперь, должно быть, его слышали и в цитадели.

Где-то далеко в прозрачном воздухе ударил выстрел.

Иевлев прислушался. Больше не стреляли, только песня звучала у костра...

- На шанцах пальнули! - сказал Молчан. - Там рыбачьи посудинки гоняют, которые в Двину идут... У них пищаль здоровая, пороху не жалеют, как ахнут - в Архангельском городе слышно...

Когда карбас капитан-командора отвалил, Кузнец швырнул молот и клещи оземь, обтер руки и отозвал Молчана в сторону, за могучий куст лозняка.

- Худо? - вглядываясь в Кузнеца, спросил Молчан.

- Худо!

- А чего?

- Познал воевода клятый.

Молчан покосился на Кузнеца.

Тот рассказал, что кто-то из подписавших челобитную на Прозоровского похвастался, что теперь-де мздоимцу недолго лютовать, пойдет-де на Москву другая челобитная, где вся правда отписана о том, как силою, кнутом вынуждал сей вор посадских людей, гостей да Белого моря старателей подписи свои ставить, будто хотят они его воеводою еще на два года.

Потемнев лицом, Молчан сжал тяжелые волосатые кулаки.

- Болтуны, черти! Расхвастались...

- Не о том ныне речь. Имать, небось, начнет воевода. Сколь крови прольется...

- Прольется? - хрипло спросил Молчан. И ответил: - Прольется! А я тебя, дурака, не упреждал? Правда ему, вишь, занадобилась! Сивый весь, а ума не нажил. Теперь подвесят...

Кузнец молчал, слушал, сдвинув брови. Потом вдруг глаза его вспыхнули, он заговорил бешеным срывающимся шепотом:

- Подвесят? И пусть подвешивают! Я по гроб правду искать буду. У

богови не отыскал, ныне отыщу на земле многогрешной. Пусть имает, изверг! В морду в его плюну, злодею треклятому. Пусть как похощет пытает, пред смертным часом вскричу все, что знаю, все неправды его, все злодеяния, все мерзости...

- Из застенка-то не слышно! - зло усмехнулся Молчан. - Не един ты в застенке правду кричать смельчак отыскался. И до тебя были, да не больно много нам слышно...

- Все едино вскричу. Где же оно видано - кнутом да в застенке принуждать?

- Новая челобитная-то у кого?

Кузнец помедлил с ответом, подумал.

- Челобитная в надежных руках. Грех утерять ее. Кровью своею люди подписи ставили, крестики метили кровью...

- Где, спрашиваю, упрятана?

- У Крыкова Афанасия Петровича.

- Он-то сам знает, что за бумага?

- Читал.

- Что сказывал, как прочел?

- Смеялся.

- Смеялся? - изумился Молчан.

- Смеялся! - покорно повторил Кузнец. - Не много, говорит, поможет вам сия слезная грамота. С ними дрекольем надобно, да топором, да красным петухом, а не челобитной... Впрочем, говорит, как знаете. Ты, говорит, Федосей, человек мудрый. В гробу лежал, Еноха дожидался. Тебе, брат, не привыкать. Дождешься милости государевой, как Еноха своего дождался...

Молчан хмыкнул в черную бороду, Кузнец вздохнул. Погодя спросил:

- Чего ж делать-то мне? Давеча на Пушечный двор дьяк приходил - пронюхать, поспрашивать. За караул хватать сразу боятся, один я на Пушечном мастер, как бы Иевлев не зашумел...

- Бежать тебе надобно.

- Бежать, оно верно. А Пушечный? Кто там делать будет? Швед-то

близко!

Думали долго, так ничего и не придумали.

- Винца бы выпить! - сказал Федосей с тоской.

Вина не было, так и спать легли, похлебавши каши-пустовары. Во сне Кузнец ворочался, стонал, метался...

4. ДОМОЙ ВЕРНУЛИСЬ!

Белой прозрачной ночью лодья, что уже приближалась однажды к устью, вновь появилась невдалеке от шанцев. Егорша опять взбежал на вышку, выхватил из рук караульщика трубу, посмотрел, сказал сердито:

- Ну что ты станешь делать? Те же самые, что давеча были. И куда их носило?

Еще поглядел, покачал головою:

- Не наши! Кафтаны кургузые, либо норвеги, либо еще какие немцы...

Капрал изготовил пищаль с двойным зарядом пороху, выпалил, качнулся, долго стоял, помаргивая, словно очумелый.

- Карбас - на воду! - отрывисто приказал Пустовойтов.

Таможенники спустили карбас, вышли наперерез лодье, которая ловко и уверенно входила в устье, ведомая рукою опытного кормщика.

- Хорошо идет! - сказал Егорша, залюбовавшись. - Красиво! И парусов не сбросили нисколько... А ну, стрельни еще - может, не слышали?

Капрал с опаскою пальнул еще раз. С вышки было видно, как мореходы на лодье спускают паруса - теперь поняли, что велено остановиться. Таможенный карбас зашел лодье с кормы, несколько солдат забрались на судно, которое теперь сидело на воде высоко, словно лодье стало легче. Потом с носа мореходы сбросили канат, карбас под веслами повел лодью к таможенному причалу. Драгуны не выходили, спали, Мехоношин гулял в деревеньке - там завелся у него амур. "Без них спокойнее! - подумал Егорша. - А то сразу - волоки на съезжую".

Пустовойтов, насвистывая, спустился вниз, обдернул мундир, поправил на боку палаш и начальническим шагом пошел встречать лихих людей, что вторые сутки крейсируют вблизи берегов и с наглостью собрались

проскочить мимо шанцев, будто и не ведают государева указа.

- Что за народишко? - спросил он у таможенного писаря, первым соскочившего с карбаса на землю и поспешающего за бумагой и перьями - писать опросной лист.

- А рыбари здешние, морские старатели, зверовые добытчики, - скороговоркой ответил писарь. - На Груманте, что ли, зимовали. Говорят, будто их в городе в Архангельском каждая собака знает, да, небось, брешут. Один немощный лежит, помирать собрался...

- Вот дадут им на съезжей Грумант! - сказал Егорша всердцах. - Грумант! Не велено, а они, вишь...

И замер с открытым ртом, не договорив. На лодье во весь рост стоял чернобородый, худой Тимофей Кислов, два года назад пропавший в море. Стоял и как ни в чем не бывало переругивался сиплым голосом с таможенными солдатами, которые уговаривали его сойти на берег, чтобы ответить писарю на казенные вопросы.

- Да на кой мне шут вопросы твои! - говорил Кислов. - Я, может, бани русской длинные года не видел, я, может, одним снегом в кои веки умывался, а он - вопросы! Какие такие шанцы могут быть для своего человека? Что я, немец, что ли, чтобы мне таможенную роспись писать...

- Тимофей Никитич! - крикнул Егорша. - Ужели живым возвернулся?!

- А нет, мертвым! - с досадой сказал кормщик. - Ты, что ли, Егор, тут за старшего? Чего нас держат? Мало мы горя нахлебались? К дому пришли, так и тут не слава богу?

Егорша, робея, шагнул вперед, поднялся по сходням, еще не веря себе, спросил:

- Кислов? И впрямь... ну и ну!

- Ки-и-ислов! - передразнил кормщик. - Эко диво отыскал! Что Кислов, когда и сам Иван Савватеевич здесь! Что Кислова два года, когда Рябов со товарищи не два, а почитай, четыре отзвонили...

И, нагнувшись к люку, Кислов зычно крикнул:

- Иван Савватеевич, жить выходи!

Егор охнул, сунулся было к люку, но там заскрипели ступени, и тотчас же

из каюты появился Рябов - совершенно такой же, каким был четыре года назад. Позевывая и потягиваясь могучими плечами, он зорко огляделся и произнес врастяжечку, неторопливо, знакомым с детства голосом:

- Ишь ты! Выходит, и верно - дома!

Выбравшись на палубу, он сказал Егорше, будто вчера только виделись:

- Вон каков? В мундире! Ну, здравствуй, Егорище...

Тот смотрел, застыв на месте: истинно с того света вернулся человек, а по виду ничего особенного и не было, кормщик как кормщик, разве вот чуть поседела голова, да тверже сделался взгляд...

- Семейство-то мое как?

- Семейство? - переспросил Егорша глупым голосом.

- Семейство. По-здорову ли Таисья Антиповна да сын мой?

- По-здорову, по-здорову! - словно очнувшись, быстро и счастливо заговорил Егорша. - И сиротка твой здоров, и Таисья Антиповна - вдова неутешная...

Зеленые глаза кормщика весело блеснули:

- Голова садовая! Какая же она вдова при живом-то муже? И Ванятка, небось, не сирота, коль я пред тобою жив...

И не торопясь, не оглядываясь на Егоршу, спустился на берег. За ним пошли Кислов, хроменький Митенька Борисов, отрастивший бороденку, другие промышленники и мореходы. На берегу Рябов встал на колени и истово приложился губами к черной сырой земле. Уже взошло солнце и теплым светом заливало зеленый росистый луг возле шанцев, караульную вышку, ели, таможенных солдат, заштилевшее море и опустившихся на колени корабельщиков. Замерев, почти не дыша, стояли таможенные солдаты с драгунами, смотрели, как здороваются с родной двинской землею морского дела старатели, как быстрые стыдливые слезы текут по их потемневшим обветренным лицам, как вынесли недужного, всего опухшего от цынги, и как он со стоном припал всем лицом к мокрой яркой траве...

Первым поднялся Рябов, хлопнул Егоршу по плечу, сказал:

- Длинен вырос!

- Дядечка! - произнес Егорша, не помня себя от радости. - А мы уж и не чаяли...

- Ничего, живой!.. - усмехнулся Рябов. - Многих схоронил, а все живой. Не берет меня море. Веди, брат, кашей угощай да говори, чего у вас слыхать. Меня-то в поминанье записали?

- Записали!

- Слышь, Митрий! - позвал Рябов. - Меня в поминанье записали, оттого, небось, и жив. Боговы шуточки...

Митенька подошел ближе, насупился:

- Все-то вы суесловите, дядечка! Разве бог шутит? Грех и думать так. Вот он нас к земле родимой привел!..

- Ты отмолишь, молельщик!

Егорша побежал хлопотать - варить мореходам кашу, таможенные солдаты разжились водочкой, Тимофей Кислов им рассказывал:

- Прихожу в губу - на Грумант, а они там. Что ты скажешь? Бородищи вот отрастили, избу добрую выстроили, медвежатины запасено, рыбы, оленины... На всем побережье сами хозяйствуют - словно вотчина боярская. И Иван Савватеич, конечно, старшой. Да, так, значит, живут ничего. Ну кресты, конечное дело, крестов много - могилки: беда там у них случилась, то враз и не рассказать. А нашу лодью льды заковали, не выйти никак, не пробиться из губы...

Митенька в это же время негромко говорил Рябову:

- Местность не вспоминаете, дядечка? Вон и караулка еще стоит, почернела вся. Вы тогда с Таисьей Антиповной в караулочке заместо избы проживали, а я к вам сюда бывало хаживал, еству носил, песни мы тут пели, - вона на песке. Не вспоминаете?

Рябов дернул Митрия за жидкую бороденку, усмехнулся:

- Тоже! И мы нынче с бородою! Богат, что ли, стал? Давеча у норвегов говорили: на Руси, дескать, за бороды деньги берут...

Егорша кивнул:

- Берут, дядечка! То - правда.

- А будто война у нас - тоже правда?

Пустовойтов рассказал, что воюет нынче Русь со шведом, была превеликая баталия под Нарвою, та баталия кончилась весьма печально: шведы одержали викторию.

- Баталия, виктория! - с досадой сказал Рябов. - Набрались слов и шумят без толку. Ты понятно говори: кто верх-то одержал?

- Шведы.

- Что ж так?

- Сила их была, дядечка. Ну, и офицеры, конечно, иноземцы им передались.

- А где та Нарва?

- Не близко, дядечка.

- На том и замирились?

- Какое замирились? - обиделся Егорша. - Быть войне великой. А покуда дела таковы: шведы эскадру собрали, слышно - идут морем Архангельск промышлять, верфи будут жечь, мастеров корабельных смертью казнить, корабли либо с собой угонят, либо потопят.

Рябов слушал внимательно, даже кашу есть перестал.

- Иноземцев-то офицеров у вас много? - вдруг спросил он.

- Нынче немного! - ответил Егорша.

Кормщик снова принялся за кашу. Егорша рассказал, что в Архангельске нынче не лаптем щи хлебают, построили крепость на Двине, шведа берегутся денно и нощно, нелегко ему, вору, будет разорить город и угнать флот.

- А кораблей-то добрых понастроили?

- Добрых, дядечка Иван Савватеевич, добрых, и немало. Флот. И стопушечные корабли есть нынче у нас, и фрегаты, и яхты...

- Стопушечные?

- Стопушечные, дядечка.

- В океан-то флотом своим хаживали?

- Сбирались нынешним летом, да не поспели.

Помолчали.

- Кто же тут начальником над вами, над войском? Иноземец?

- Зачем иноземец! Начальником над нами свой, русский человек - капитан-командор Иевлев.

- Сильвестр Петрович! - обрадовался Рябов. - Что ж, он мужик был неглуп, дело свое, небось, знает. С ним ничего, можно...

Егорша, захлебываясь, стал рассказывать о Сильвестре Петровиче. Рябов слушал задумчиво, кивал головой. Егорша не удержался, быстро похвастался, что ныне поедет непременно на Москву, в новую навигацкую школу, Иевлев-де обещал, тогда будет он, Пустовойтов, офицером по флоту, как надобно...

Рябов перебил:

- А воеводою у вас кто сидит, господин офицер?

Егорша шепотом, чтобы другие не слышали, рассказывал: воеводою-де сидит князь Прозоровский Алексей Петрович, был в прежние времена на Азове, так его народишко посулил на копья вздеть, с той поры непрестанно лютует, всего боится, от страху своего всяко народ мучает и утесняет. При нем в думных дворянах Ларионов, все дела сам правит, все поборы сам берет, великую власть забрал над городом. В Архангельске только и надеялись, что после двух лет воеводства сменит государь окаянного князя, посадит на воеводство некоего иного, как то на Руси издавна ведется, а он, воевода, возьми и отошли на Москву воровскую челобитную, что думный Ларионов с дьяками писали, - будто посадские и гости, и все, кто тут жительствует, бьют челом земно великому государю, дабы оставил он еще славного воеводу князя Прозоровского сидеть на два года. Петр Алексеевич той воровской скаредной челобитной поверил и оставил князя на месте, а нынче некто - имечко его святое неведомо - еще челобитную отписал на Москву, где вся истинная правда рассказана. Да только ту челобитную люди князя Прозоровского перехватили, или о ней подробно проведали, и ныне воевода лютует, как никогда еще не лютовал. Розыск еще объявлен, а кто челобитную против него писал, тот сказан ныне бунтовщиком, и будто надлежит тех всех бунтовщиков вешать, как в прошлые времена стрельцов на Москве вешали. А зачинщика делу будто велено колесовать. Имают всякий народ, и людей

в застенке Ларионов с дьяками пытают безжалостно, все дабы прознать, кто ту истинную челобитную писал...

Рябов вздохнул, покачал головой:

- Ох, весело, вижу, живете! Еще чего доброго?

- Еще - кто с моря заявился, тем всем чинят розыск: не есть ли они шведские воинские люди, пенюары, подсылы. Здесь лютует поручик Мехоношин, который командиром над драгунами, лютует над рыбаками, - хорошо, что нынче его нет, иначе сразу бы погнал за караул. Да ты сам, дядечка Иван Савватеевич, посуди: пришли вы, можно сказать, с того свету, по пути у норвегов были, кафтаны на вас на всех заморские, в устье не сразу вернулись, бегали куда-то. Для чего, куда давеча скрылись?

Кормщик быстро, остро взглянул на Егоршу, понизил голос:

- Было для чего, Егорушка. Знаем дьяков да ярыг наших, знаем, каковы крючки. А в лодье товар не про их честь, не для ихних лап загребущих, очей завидущих...

- Спрятали?

- Спрятали, Егорушка.

- Мое дело сторона! - шепотом заговорил Егор. - Как бы только собака Мехоношин не разведал. Разведает, потянут к Поздюнину, а с ним, со зверюгой, - не отшутишься.

- Я и то не шучу! - промолвил Рябов. - Да как ему разведать?

- Он своих драгун посылал, коли видно было - узнает...

Рябов не ответил. Солнце взошло уже высоко, когда таможенный писарь кончил писать свои листы. Капрал подошел к Егорше - советоваться, как дальше быть. Пустовойтов с ним заспорил, потом сказал строго:

- Мне отвечать! Те мореходы горя видели - нам с тобой и не приснится. Всех их знаем. Пусть к дому идут...

- Лодьей?

- Лодьей им не дойти, перехватят у цитадели. Лодью тут оставят, а сами пешком пойдут...

Капрал усомнился:

- Разве же им в сих кафтанах норвежских до городу дойти? Да с бородищами, да без знаков бородовых? На первой рогатке схватят.

Егорша вызвался проводить. Солдат-таможенник привел гнедую кобылку, он сел, поправил на бедре шпагу - хоть и молод, да молодец молодцом: шляпа треуголка, кафтан форменный, ботфорты со шпорами, перчатки.

- Ишь каков! - сказал Рябов одобрительно. - Ничего парень. Хоть куда. По флоту служишь али как?

- Вроде как по флоту! - зардевшись, ответил Егорша. - Не учен еще, Иван Савватеевич. Вот давеча на Москве был я в навигацкой школе...

И вновь принялся рассказывать, как видел Гвына и Грыза, как толковали с многоумным наставником навигацкой школы господином Магницким Леонтием Филипповичем, как сей Магницкий обещался принять в школу Егоршу и других молодых навигаторов, которые море по опыту знают и сами испытали и штормы, и далекие океанские плавания, и различные приключения.

Рябов шагал задумавшись, почти не слушал Егоршину болтовню, зато Митенька Борисов так и впился горячими черными глазами в Егоршу, ни единого слова не пропускал, даже дороги перед собою не видел - все спотыкался. Егорша, почувствовав такое внимание к своему рассказу, повернулся в седле лицом к Мите, стал говорить только ему. Митенька спросил тихо, так что Егорша не расслышал:

- А меня-то возьмут ли? Что хромой я?

- Чего, чего?

- Что хромой, говорю, возьмут ли?

- Возьмут! - уверенно ответил Егорша. - Как тебя не взять? Ты вон сколь много плавал, другому во всей жизни столь не перевидать, сколько тебе пришлось в младости. Ишь, сколько лет проплавал, да еще где! Гвын, да Грыз, да Фарварсон - все вместе того не видели, что тебе привелось единому.

Рябов усмехнулся, положил руку Митеньке на плечо:

- То - верно, Егорушка. Многое повидал он. И славный будет мореход, а я хвалить задаром не научен. Митенька даже побледнел от похвалы.

- А что хромой, то, братец, шхиперу не изъян. По мачтам лазить не станешь, никто и не погонит. Корабли, вон Егорша толкует, построены, еще строить государь собрался, кому ж капитанами быть? Вот и будешь российского корабельного флоту офицером. Так я говорю, Егор?

- Так, дядечка Иван Савватеевич, так. И Сильвестр Петрович Митрия не оставит, а он нынче у нас капитан-командор, - не шутка. Мне обещал, как со шведом совладаем, на Москву послать, вот с Митрием вдвоем и поедем.

За разговором благополучно миновали рогатку, Егорша попрощался, поехал к перевозу - обрадовать Сильвестра Петровича известием о том, что Рябов жив, здоров.

- Пусть ко мне нынче ввечеру будет! - крикнул Рябов вдогонку. - Отдохнем малым делом, побеседуем, авось не соскучится... И ты приезжай.

Егорша помахал издали треуголкой.

Мореходы пошли дальше, к городу, к дому. Было жарко, пыльно, за Двиною неподалеку горели леса, пахло дымом. Рябов окликнул Митеньку, сказал задумчиво:

- Я вот иду и думаю: был такой раз, чтобы с моря вынулись и беды на берегу не ждали?

Митенька ответил не сразу:

- Кажись, не было.

- То-то, что кажись...

Кормщик усмехнулся невесело:

- Отчего так?

- Богу грешны, вот и худо нам! - сказал Митенька. - За грехи за наши! Молились бы...

- Ты, что ли, мало молишься? На Груманте помер бы со своими молитвами, хорошо, что я гонял тебя за всяким делом, молельщик. Нет, брат, не грешны мы перед богом твоим, не то тут лихо, что мало молимся, другое тут лихо...

Не договорил, задумался, шагая своей цепкой моряцкой походкой. На

взгорье остановился: отсюда виден был Архангельск, кривые, сбегающие к Двине улочки, маковки деревянных и каменных церквей, кирка, Немецкий двор, Зелейная, Ямская, Пушечная слободы, дом воеводы, верфь со строящимися на ней кораблями.

- Ты погляди-ка, - сказал кормщик Митеньке. - Корабли видишь? Много, наверное, настроили без нас-то! Флот... Ну, с возвращением нас, Митрий! Каково-то нынче поживется нам в городе своем, в Архангельске...

5. БЫТЬ БЕДЕ!

Мехоношин вернулся на шанцы злой и хотел было сразу повалиться спать, но узнал, что за время его отсутствия Пустовойтов отпустил домой корабельщиков, людей с Груманта. Поручик набросился на своих драгун: как смели не запереть воров на замок. Драгуны ссылались на таможенных солдат, а таможенники говорили, что так приказал Пустовойтов. Поручик, распалясь, двинул капрала кулаком, писаря ногой - с такой силой, что тот упал. Драгуны рассказали своему командиру, что дозор видел: лодья шла в первый раз тяжело нагруженная, а во второй вовсе без груза. Мехоношин велел седлать себе коня. Седлали, как нарочно, долго. Мехоношин раскровянил лицо конюху и ускакал в город.

Воевода только что приехал из Холмогор и почивал, думного дворянина тоже не было - еще не вернулся из Онеги, где с солдатами драл недоимки. Пришлось поведать дело за спешностью дьяку Молокоедову. У того разгорелись глазки, заговорил он приветливо, добрым, медовым голосом:

- Ах, воры, ах, чего делают, не иначе, как свейских воинских людей тайно привезли, ах, ах, аспиды...

Мехоношин ответил со злобою:

- Еще чего выдумаешь! Воинских людей! Не воинских людей, но меха богатые, рыбий зуб, китовый ус - вот чего привезли. Надобно с умом делать - сами скажут, где спрятали.

Молокоедов задумался:

- С умом! Коли на дыбу вздеть, так сказку писать надобно. А в сказке

чего скажут, то и выведешь. Много ли на нашу долю придется?

И зашептал:

- Князь Алексей Петрович все себе в анбары свалит. Тут думать надобно, голубь, крепко думать. Может, так: князь-воевода на пытке беспременно утомится, уйдет, - тогда мы воров потянем. Они живо чего надо поведают, мы скорым делом на место и отправимся. Рухлядишку возьмем, а кое-чего и оставим, кое-чего, понял ли, голубь? Коли лодья трехмачтовая - для морского хождения, - там товару много. Хватит нам с тобой...

- А кому их имать, воров-то? - спросил Мехоношин.

- Тебе, голубь, тебе. Ты их с драгунами со своими упустил, тебе и хватать, тебе, по цареву указу. Да не торопись, отдохни с дороги, а потом, к утру, и веди. Пусть погуляют, а нам и на руку. Боярин-то воевода сбирается завтра на цитадель ехать, мы покуда дело все и обладим.

Мехоношин поднялся, вышел, сел в кружале у Тощака на лавку, велел подать себе водки и еды. Тощак принес трески томленой с грибами, полуштоф гданской водки, сказал с наглостью, что все ждет, покуда господин поручик получит из вотчины денег да и рассчитается с ним, с бедным целовальником. Да и многие в городе ждут: портной Лебединцев, что строил господину поручику мундир, закладчик Сусеков, что давал господину поручику денег под залог, оружейник Шишкин, что в долг сделал пару пистолетов.

Поручик налил себе водки, выпил медленными глотками, не закусывая, погодя сказал:

- Давеча получил эпистолию...

Тощак молчал.

- С вотчины денег ждать мне нынче не приходится.

- Что так? - обеспокоился Тощак.

- А то, что нет у меня более вотчины. Пожгли мужики...

- Пожгли-и?

Мехоношин стиснул кулак, ударил с грохотом по столу, ощерился,

закричал на все кружало:

- Бояр жечь? Кожу с живых сдеру, на огне детей печь буду живыми, села, деревни с землей сровняю...

Тощак заробел, отступил к стене, ушел пятясь, кланяясь широкой спине поручика. Трудники, выпивающие в кружале, притихли, перемигиваясь. Мехоношин покачнулся, пошел косыми ногами к двери, но раздумал и вновь сел за стол. Он пил один и ничего не ел, шепча длинные ругательства. Глаза его все тускнели, потом он поспал часок, потом опохмелился...

6. ЗДРАВСТВУЙ, КОРМЩИК!

Во дворе мальчик, стриженный под горшок, розоволицый, крепенький, словно репка, поднял на кормщика зеленые с искрами глаза. Рябов подошел ближе, хотел взять сына на руки. Тот не дался, сказал сурово:

- Чего ты? Не видишь - мельницу ставлю?

- Добрая мельница. Сам построил?

Ванятка не ответил: пыхтя, стоя на четвереньках, как медвежонок, дул на крылья, чтобы вертелись. Рябов посоветовал:

- Ты крылья повороти, иначе вертеться не будут.

Мальчик поворотил крылья, они завертелись. Кормщик сел на бревно, вытянул усталые ноги, осмотрел двор, рябины, крепкий, строенный Антипом забор, избу. Сюда, за эту калитку выходила к нему Таисья. По этим ступеням взбегал он много лет назад с птицей, в кровь изодравшей руки...

- Мамка-то где?

- Ушла.

- Куда ушла?

- Холсты поделала и ушла. В церкву, или еще куда...

- А тятька твой где?

- На море потонул - вот где! - ответил Ванятка.

Кормщик усмехнулся, подергал сына за рубашонку.

- Не утонул я, дитятко. Пришел. Вынулся с моря.

Мальчик бросил мельницу, повернулся к отцу, расширив глаза, спросил тихо:

- Не врешь?

Рябов не сдержался: обветренное, загрубевшее лицо его дрогнуло, из глаз поползли слезы. Мальчик прижал к груди кулачки, крикнул:

- Тятя, тятенька!..

Рябов уже не плакал, слезы пропали в бороде. Он обнимал мальчика, спрашивал торопливо, шепотом:

- Мучились? Худо жили? Хлеб-то был? Ты-то сыт ли, дитятко? Мамка как? Веселая? Плачет? Стой, брат, замазал я тебя ручищами. Ну, садись ко мне, садись, говорить будем... Али баню пойдем топить. Пойдем баню топить, а ты мне рассказывать будешь? Ладно? Помыться надобно мне, сколько годов бани путной не видел...

Вдвоем затопили баню. Рябов, держа сына за руку, вошел в горницу, на пороге остановился, долго смотрел на вдовье житье: все чисто, полы выскоблены, на лавках - расшитые травами полавочники, на столе - крашеная скатерть, травы - за иконами, на стене; в резанной из кости рамочке - жалованная Грозным царем грамота, заливаются-поют птицы в клетках...

Ванятка вырвался, поднял тяжелую крышку на укладке, побагровев от натуги, крикнул:

- Тут, тятя, твое все. Кафтан праздничный, бузрунка-фуфайка, пояс. Мамка говорила: вырастешь большой, жениться станешь - отдам. А я жениться не буду...

- С чего так?

- Да ну их, баб! Я в море пойду - а они выть!

Кормщик, улыбаясь, достал из укладки кафтан, положил на лавку, потом вынул резанную из кости фигурку: рыбак в падеру правит поперек волны утлое свое судно. Покачал головой, догадавшись, кто резал, поставил на стол, спросил:

- Крыков, капрал, бывает к вам?

- Капитан он теперь! - веско сказал Ванятка. - Шпага у него вон какая! А

бывает почитай что завсегда...

- Ишь ты, капитан!.. Ну ладно, пойдем, брат, попаримся...

Парились вдвоем - сидели на полке и брызгали друг в друга холодной водой. Потом боролись, потом сын опрокинул на отца целую шайкустуденой воды, потом секли друг друга горячими вениками, потом сидели чинно. Рябов стал рассказывать, как зимовали на Груманте. Ванятка таращил глаза, держал отца за руку обеими ручонками - боялся рассказа. В тишине потрескивала печка-каменка, капала вода.

- Страшно было? - спросил Ванятка.

- Скучно, главное дело, а страшно - чего же? Скучно - верно. И думы думаются, - против них ничего не выстоит, никакая сила.

- Какие думы?

- Разные, дитятко.

- Какие разные?

- Ну, про тебя, к примеру. Есть, дескать, у меня сын. Вот и думаешь, как тот сын на свете живет? Какая ему судьба будет? Сирота он при живом отце. И мамку жалеешь: со мной маялась, а тут еще без меня вовсе мучается...

- Что же вы домой не шли?

- А того не шли, что судно наше лихие люди увели.

- Ври толще! Как - увели?

- Увели, дитятко. Пришли иноземные псы, перекусались между собою, корабль свой потопили - льды им судно перетерли, шестерых своих убили, а трое остались. Мы всего того не ведали, приняли их как гостей добрых, приняли по русскому по обычаю...

- Как?

- Ну, известно, как по обычаю. На Руси не спрашивают - чей, да откуда, а зовут - садись обедать, что есть в печи - все на стол мечи...

- Так и мамка учит! - сказал Ванятка.

- То-то, брат, что учит, а гость гостю рознь. Есть такой, что возьми да брось. На Грумант-то мы издавна хаживаем... Есть там мужичок один - Старостин. Тот и вовсе обжился, от самых прадедов своих корни пустил,

более на Груманте живет, нежели здесь... С тем, со Старостиным, мы и промышляли...

- Зверя?

- Зверя, детка. И много напромышляли. Иноземцы же, как увидели меха наши, что мы запасли, тут им и ударило, видать, в головы. К ночи убили одного нашего, другого повязали ремнями, а прочие и я вместе с ними - на промысле были. Угнали суда наши, да не повезло - потопли. И суда угнали и все, что промыслили мы... Ну, пришла беда - открывай ворота. Как быть? Думали-думали...

- И надумали?

- Надумали лодью ладить. Пока ладили, шестерых мужиков похоронили. Столь тяжкие муки приняли - не пересказать. Из плавника судно сшить для морского хождения, а окромя топора - ничегошеньки нет. Легко ли? Так ничем и не окончились мучения наши. Кислов пришел на трехмачтовой лодье, помог выбраться... Ну, да что об этом поминать. Давай, брат, окатимся - и в горницу. Спать тебе пора.

После бани, разомлевшие, вышли во двор, сели на крылечко пить квас. Ванятка прижался к отцу, смотрел на него снизу вверх. Рябов задумчиво гладил мокрые волосы сына, не отрывал взгляда от калитки.

Вечерело. За Двиною погромыхивал гром, собиралась гроза. У крыльца шептались рябины. Вот отзвонили к вечерне... Ванятка задремал, привалившись к отцу, и не проснулся, когда заскрипела калитка. Кормщик сидел неподвижно, словно окаменел.

Первой во двор вошла бабинька Евдоха, не узнала, поклонилась чужому гостю. За ней показалась Таисья, тоже поклонилась, потом вгляделась, шагнула вперед, опять остановилась, шепотом спросила:

- Ты?

Он молчал.

- Живой?

- Живой! - едва слышно ответил Рябов.

- Возвернулся?

- Возвернулся.

Таисья подошла еще ближе, сказала чужим голосом:

- Бабинька, а ты и не видишь, кто к нам пришел?

Бабка Евдоха завыла, запричитала, бросилась к Рябову, потом схватилась за голову, побежала топить печку, ставить пироги. Рябов поднял Ванятку на руки, понес в горницу. Сзади, шатаясь словно пьяная, с шалой улыбкой на бледных, дрожащих губах, держась за стенки, шла Таисья. Кормщик положил Ванятку на лавку, обернулся. Бабка Евдоха за стеной роняла на пол глиняные горшки, вскрикивала:

- Ой, к добру, ой, к радости...

Таисья с закрытыми глазами неподвижно стояла у дверного косяка.

- Ждала? - спросил Рябов.

- Сам знаешь, - не открывая глаз, прошептала она.

- Вишь, и вернулся. Ругалась, поди...

Она слабо улыбнулась:

- Сама себе такого выбрала!

- И по сей день люб я тебе?

- И по сей день люб! - открывая свои огромные глаза, так же тихо молвила Таисья. - И по сей день, и вчера, и завтра, и нынче, и до самой смерти. Здравствуй, муж!

- Здравствуй, жена! - ответил кормщик и положил свои тяжелые руки ей на плечи. - Здравствуй!

К вечеру изба набилась народом: весть о прибытии пропавших облетела весь город. Рябов, в расстегнутой на груди чистой полотняной рубахе, сидел в красном углу. Вдовы и матери погибших на Груманте мореходов и промышленников подливали ему вина; утирая слезы, слушали скорбную повесть кормщика о последних днях их мужей и сыновей. Рябов говорил медленно, ничего не утаивал, ничего не приукрашал. Потом перешел к делу...

- Мужья ваши и сыны, покуда живы были, со всем прилежанием старались напромышлять получше, чтобы и монастырю было и своей скудости подспорье. Что упромыслили - все цело. Янтарь сбирали, много его собрали, - тоже цел. На дальнем стане, как и чего не ведаю, нашли

мы деньги от промышленников, что померли все цынгою. Тех денег тысяча рублей и еще двадцать три. Порешили с кормщиком Кисловым: деньги вдовьи. Вас, вдов да матерей, шестнадцать душ. Те риксдалеры, да рубли, да серебро мелкое поровну меж вами поделим... Покуда в тихом месте все упрятали, чтобы начальные люди не обобрали. Монастырю не дадим ни деньги. Будет! Много ли отец келарь нас вспоминал, как мы там мучились? Муки, крупы, рыбы хоть раз дал вам тут?

- Палками велел гнать! - сказала вдова Кустова.

Другие заговорили все вместе:

- Воротнику велел никого из нас не впускать!

- Не то что муки - рыбы не давали...

- В пасху святую, и то прогнали...

- Молитесь, говорят...

- То-то! - сказал Рябов. - Что упромыслили - все ваше!

Встал со своего места, низко, до полу, поклонился, попросил по обычаю прощения за то, что сам возвернулся живым, а многих друзей похоронил на Груманте. Гости молчали, сделалось так тихо, что стало слышно, как кричит сверчок в подпечье. Старуха Щапова Пелагея Петровна - мать двух сыновей, похороненных на Малом Беруне, на безлюдном холодном острове, - отдала кормщику поклон; плача тихими слезами, трижды поцеловала в лоб, сказала негромко:

- Хорошо ты сделал, Иван Савватеевич. По-русскому! Спасибо, кормщик!

Одна за другой подходили вдовы и матери, целовали Рябова в лоб, кланялись. Он тоже кланялся им, у каждой просил прощения. Глаза кормщика смотрели прямо, ясно, лишь меж бровями лежала скорбная складка. Совесть его была чиста.

Потом пили за помин души мореходов - Елисея Анохина, Василия Огурцова, зуйка-отрока Семена, двух братьев Щаповых - Ильи с Николаем, ели несоленые поминальные пироги, пели старое причитание:

Станем мы ждать да дожидаться.

Мы во чистом поле, во широком

Пораскинем свои те очи ясные
Далеко-далеко на все стороны...
Мы станем глядеть, да углядывать,
Что не придут ли наши ясные соколы,
Они - яблони, да кудреватые,
По прежней поре, да по времячку,
На трудную работу, на крестьянскую.
Будем век дожидаться и по веку...

Еще не допели песню, как пришли новые гости: капитан-командор Иевлев с Марией Никитишной, Егорша да Аггей Пустовойтовы, старый дружок кормщик, ныне боцман, Семисадов. Вид у Сильвестра Петровича был усталый, теперь опирался он на палку, но кормщик с первого взгляда понял: сейчас Сильвестр Петрович совсем иной человек, чем тогда, - настоящий офицер и командир.

- Ну, здравствуй, кормщик! - сказал капитан-командор. - Здравствуй, Иван Савватеевич! Вишь, ты каков человек! Опять живой!

- Живой! - близко подходя к Иевлеву, смеясь ответил Рябов. - Люди не верят, а я все живой. Одна старушечка нынче рукой потрогала: ты ли? Я, ей-ей, я...

Они обнялись, трижды, по обычаю, поцеловались. От кормщика весело пахло баней, мятным квасом, он был выше Сильвестра Петровича чуть ли не на голову. Иевлев, любовно оглядев кормщика, сказал:

- Ну и щедр к тебе бог, Иван Савватеевич! Ни в чем ты не обижен.

- Да уж он у нас таков, - тоже любуясь Рябовым, произнес Семисадов. - Ништо его не берет! Мне ноженьку ядром напрочь оторвало, а от него то ядро отскочило бы! Верно, Иван Савватеевич?

- А чего! - обнимая Семисадова, ответил Рябов. - И отскочило бы. Да погоди, боцман! Ты и на деревянной крепко стоишь! Тоже мужичок подходящий...

Таисья с поклоном обносила запоздавших вином, подошла к Маше, поклонилась:

- Выпей за наисчастливый мой день, Марья Никитишна, пригубь!

Маша, взглянув на Таисью, которая так и светилась радостью, взяла чарку, пригубила, крепко стиснула пальцы Таисье, спросила шепотом:

- Дождалась, да? И чтобы всегда мы дожидались? Чтобы возвращались они всегда откуда ни на есть?

Таисья ответила так же шепотом:

- Чтобы помереть нам вместе с ними! Чтобы не было нам иной судьбы! Коли уж придет время - так вместе, не порознь! Пей, Марья Никитишна, пей, Машенька, до конца, твое слово - свято, так и будет, как ныне загадала! Ежели не выпьешь...

Испугавшись, Маша выпила всю чарку. Сразу стало жарко, весело, тихонько попросила:

- Поднеси Сильвестру Петровичу, пусть слово молвит!

Таисья подошла с подносом к Иевлеву, поклонилась, счастливо и дерзко глядя ему в глаза, сказала:

- Тебе чару пить, Сильвестр Петрович, тебе и застольное слово молвить!

Иевлев улыбнулся, заражаясь Таисьиной радостью, взял тяжелую чару с подноса, сказал, оглядывая стол яркими, широко открытыми синими глазами:

- Давненько, други добрые, не пил я зелена вина, все недосуг, да и не за что пить было. А ныне придется: выпью я чарку сию за российских славнейших мореходов, кои флоту нашему корабельному есть основание. Корабли еще не флот, флот - моряки. В давно прошедшие годы побывал я здесь, в Онеге, налетом, кое-чего понял. Попозже истины некоторые понял здесь, в Архангельске. И не таясь скажу: Рябов Иван Савватеевич и многие его други впервой открыли глаза мои на то, что есть морские и навигаторские художества, что есть мореплавание. Нынче весь Архангельск, от мала до велика, толкует об одном - о плавании кормщика Рябова на Грумант и обо всем, что отважному сему делателю претерпеть довелось. Сегодня, надеюсь я, многое мы услышим от него самого, о жизни его за сии годы, о доблести, о том, как спас он многие человеческие жизни и сам к нам живым и здоровым возвернулся. Послушаем, а по прошествии годов, может, дети наши и прочитают сию

фабулу, выданную книгою, ибо на Руси будет Академия наук, и той Академии ничего лучшего, нежели истинные события, коих россияне участниками были, и не надобно...

Сильвестр Петрович посмотрел на Рябова, выше поднял чарку:

- Так выпьем же за Ивана Савватеевича и за сподвижников его - российских мореплавателей, что беспримерные свершали в пути своем геройства и в недальнем будущем еще большие чудеса свершат на удивление и страх недругов и завистников матери нашей - святой Руси!

Не поморщившись, единым духом выпил он свое вино, за ним выпил Рябов, за кормщиком - Митенька, но не осилил, закашлялся. Отовсюду закричали со смехом:

- Мякиша ему, мякиша ржаного!

- Ничего, Митрий, ты другой чаркою запей!

- По спине его, братцы, по спине огрейте!

Рябов поднес Митеньке квасу, багровый от смущения Митенька отдышался наконец. Семисадов сказал Иевлеву:

- Вот, господин капитан-командор, прослышал Митрий об навигацкой школе...

Митенька схватил боцмана за локоть, зашептал - не надо, дескать, что ты, дядечка. Семисадов заговорил громче:

- Может, и Митрий наш, мужичок-трескоед, гож будет для сей школы?

Сильвестр Петрович ответил твердо:

- Думаю я, что гож. Мореход истинный, другие за длинную жизнь до старости того не наплавают, что Митя за свои годы. Поговорим со временем. Может, с Егором вместе и отправятся они к Москве, да только не нынче, покуда недосуг нам...

Рябов начал рассказывать исподволь, не по порядку:

- Вот нынче и сам смеюсь, а тогда не смеялся, нет. Тогда не до смеху было. Пороху-то шестнадцать зарядов всего-навсего, а жить сколько назначено? Может, в скорби и скончаем животишки свои? Нет, тут дело трудное, думать надобно... Ходил, глядел. Подобрал на берегу доску с гвоздями - течением принесло, крюк еще тоже в доске был железный.

Давай, говорю, мужики, кузню строить. А мужики мои - которые в тоске тоскуют, а которые больше молятся... Пришлось, грешным делом, палку в руки взять: тот, что молиться зачал в таком деле, Сильвестр Петрович, - готовый упокойник...

Иевлев засмеялся, Рябов с серьезностью подтвердил:

- Вот тебе и смехи. Который молится - того цынга сразу за глотку берет и валит. Ты вот не знаешь, кто она такая, а она - старуха кривая, косая, носатая, брюхатая, с бородавками, в чирьях.

- Кто? - смеясь, спросил Иевлев.

- Да цынга-то! Старшая дочка царя Ирода. У нее, брат, одиннадцать сестер, одна другой змеевиднее.

Кормщик от отвращения сплюнул...

- Двенадцать их всех, и до чего хитры: как наши молиться зачнут али спать - словом, которые работу кидают, - цынготихи-сестры сразу за дело. Вот, допустим, женатый я человек; мне, конечно, во сне женка и видится. Я тогда спать желаю поболее, чтобы поболее с нею времечко свое препровождать. То - ихнее дело, иродовых дочек. Все подстроено. Они меня, злые ведьмы, женою обольщают, я сплю, а цынга мое тело белое и ломает, и крошит, и гноит. Молельщик тоже - кланяется али крестится, а перед ним иродовы дочки в ликах пляшут, манят, узывают, свиристят; один глупый так замолился, что за ними из зимовья ушел, да в скалах и замерз. Пальцы щепотью, а сам на девок смотрит, - вишь, чего творят... Тут, Сильвестр Петрович, я тебе скажу, перво-наперво - работа. Чтобы ни тебе спящего, ни тебе молящего, ни тебе задумчивого. Я завсегда им так говорил: домой возвернемся - там грехи отмолим, там отоспимся, там думы все какие есть подумаем. А тут, други мои горькие, живота надобно своего сохранить...

- Дрался? - спросил Иевлев с любопытством.

- Было. Дрюк у меня завелся... Въедешь случаем...

- Обижались? - спросила Маша.

- Какая на меня обида может быть? Для ихней же пользы!

- Я бы обиделся... - сказал Сильвестр Петрович.

- Ты господин, в тебе спесь играет, а мы люди простые, с умом живем.
- Ладно об иродовых дочках! - сказал Семисадов. - То все - пустое. Про кузню сказывай, как кузню строили!
- Не пустое про дочек! - сказал Рябов. - Ты на Груманте сам бывал, как же пустое? Который на Новую Землю хаживал али на Грумант, тот знает. Пустое! Экой быстрый!
Он набил трубочку, крепко затянулся, вспоминая, покачал головой:
- Кузня! Горе была, а не кузня, однако много добра мы от нее имели. Перво-наперво нашли два камня, один - наковальня, другой - молот. Тем молотом отковали из крюка молоток добрый. Девять ден ковали, все руки в кровь отбили, а сделали. И с того дня началось наше спасение: не будь у нас молотка, пропали бы все, как один...
Молча, задумчиво слушал Иевлев рассказы кормщика, взору представлялась низкая, воняющая моржовым и нерпичьим жиром, чадная и холодная изба, бесконечные черные, злые полярные ночи. Вот в мерцающем свете сполохов влез на низкую крышу избы ошкуй, скалясь, разгребает могучими лапами жалкие прогнившие жерди, вдыхает лакомый дух живых существ, а люди внизу замерли. Посередине разваливающейся избы, широко расставив ноги, с копьем в могучих руках стоит Рябов - ждет; без промаха должно ударить его копье в сердце огромного сильного медведя. А копье деревянное, хрупкое, и наконечник его выкован из гвоздя. Может ли человек победить зверя таким оружием?
- Теперь оно смешно, - похохатывая, говорил Рябов, - а тогда не больно-то смеялись! Нет, тогда, гости дорогие, зуб на зуб не попадал. Проломит, думаю, стропила, упадет косо, не рассчитаю, - ну и прощай, Иван Савватеич, напрасно старался...
- Убил? - спросила, замирая, Маша.
- Убил. Здоровый был ошкуй; уж мы его харчили, харчили, - не осилили, так и протух к весне.
- В сердце ударил? - поинтересовался Семисадов.
- В сердце. Ударил, а он все на меня идет. Повалил я его под себя, да он

уж мертвый. Матика была - медведица. Ну, матерая!

Рябов засмеялся, вспоминая, а Сильвестр Петрович мысленно повторил про себя его слова - "повалил под себя, да он уж мертвый!" - и подумал: "Вот кому идти на шведскую эскадру. Вот ему, богатырю. Он убьет зверя, как бы страшен тот ни был, он в сердце ударит!"

Таисья в это время наклонилась к мужу, положила ему в миску жареной рыбы, пирога. Рябов оглянулся на нее - она улыбалась ему возле самого его лица. Сильвестр Петрович опустил голову, чтобы не видеть: опять отберет он у Таисьи мужа, опять останется она одна в своей избе, и более не быть здесь счастью, наступит вдовье время...

- Шутят у нас, - словно издали говорил кормщик, - смеются так-то: дескать, не тужи, красава, что за нас попала, за нами живучи - не улыбнешься. Про Грумант так-то толковали, ан - нет. Бывало - ну веселья разведем, ну смеху, ну плясу! И без вина, а ничего. Сами на себя, на свое бедование, на свое горе смеемся. Всего было... Узлы еще вязали.

- Какие узлы? - спросила с интересом Маша.

- У нас там, вишь, какое дело, - сказал Рябов. - Спячка. Она, Марья Никитишна, страшнее всего. Она да цынга рядом живут. А зацынжел - иродовы дочки и навалились. Значит, самое зло сон и есть. А чего в зимнюю-то ночь станешь делать? Грамоте мы не обучены, книг не имеем, что знали, все рассказали. Тут и велишь - вяжите, ребята, узлы. И урок ему, горемыке, задашь. Сию, дескать, веревку, всю узлами накрепко завяжи, смочи, затяни потуже, а после - развязывай. Али шкуру звериную по волоску дергают. Еще латки на полушубок пришивали, да назад отпарывали...

- А за старшего ты?

- Когда я, а когда еще кто.

- И слушались?

- Чего ж станешь делать? Миром приговорили, миром и спрашиваем...

Погодя Рябов рассказал, на охоту как хаживали, бить песца и голубую лисицу, как вдоль берега промышляли моржей, нерп, белух, морских

зайцев, про житье-бытье, как обшивались, потому что одежда истлела и надо было либо одеться наново, либо умереть от стужи. В самодельных корытах золили и отмачивали звериные шкуры, отмочив, отскабливали ножами шерсть и из тонкой и мягкой кожи кроили себе рубашки и порты. Кроеное шили оленьими жилами. Шили еще совики и малицы, шили меховые сапоги, рукавицы...

- Долго, я чай? - спросила Маша.

- А у нас времени было не в обрез! - усмехнулся Рябов. - Светильню тоже себе состроили. Череп медвежий выварили, салом налили, фитиль - в сало, и не хуже, пожалуй, чем здесь.

Он вздохнул, помотал головой:

- Кабы с разумом, богатые бы и нынче были. Один там наш дружок отыскал моржового клыка - не вру - гору. Чего случилось - не ведаю, а только сами-то моржи на берег выкинулись и подохли, а зуб ихний остался. Куда много!.. Почитай несколько ден носили, да словно дрова укладывали...

- Куда ж он подевался? - спросила Маша.

- Мы ж не прямо, Марья Никитишна, в Русь возвернулись. Еще к норвегам зашли. А они, известно, народ учтивый, с поклоном - русс молодец, русс туда, русс сюда. С угощением на судно приходят, с поклоном. Шибко вежливые. И все сувенир просят. Чего зряшнее не подаришь, честь не велит, а кость - она и для подарка-то хороша. Ну, еще, известно, и вино ихнее в голове шумит...

- Пороть бы вас, чертей, да некому! - сказал Иевлев.

- Оно конечно! - согласился Рябов. - Да ведь тоже, Сильвестр Петрович, как станешь делать - отдарить-то не надобно разве? Янтарь еще у нас был...

- А его куда дели?

- Зачем - дели? Который остался - привезли, вдовам завтра раздадим.

- А свой?

Рябов засмеялся:

- Чего вспомнил... Свой... Говорю: норвеги народ учтивый...

Сильвестр Петрович смотрел на Рябова и все думал: "Да, ему и идти. Ему быть на шведской эскадре, он - свершит, на него положиться можно. Прям, храбр, прост душою, некорыстен! Ему! Более искать некого и не для чего!"

- Ну что глядишь-то, господин капитан-командор? - спросил Рябов. - Я говорю, а ты все глядишь на меня? Не пойму - коришь али смеешься? Не кори, меня вон и женка корить не станет, таков уж на свет уродился...

Сильвестр Петрович молчал.

- Ты об чем все думаешь? - шепотом спросила его Маша.

Иевлев не ответил.

Говорили долго, до третьих петухов. К утру стали кланяться хозяйке, благодарить. Таисья Антиповна кланялась гостям, сама благодарила, что навестили, поскучали, не побрезговали хлебом-солью. Сильвестр Петрович, прощаясь с ней, стиснул зубы: было страшно думать, что он, не кто иной, как он, отберет у нее ее кормщика. А она, как нарочно, низко поклонилась капитан-командору, сказала Рябову:

- Много мне Сильвестр Петрович помог, Ванюша, покуда без тебя вдовела. Столь много - и не пересказать...

- Авось со временем и я сгожусь! - улыбаясь, ответил кормщик. - У нас на Беломорье добро помнят...

Первыми вышли на волю вдовы, здесь, в воротах, встретились с поручиком Мехоношиным, который вел солдат-драгун в рябовскую избу.

- А ну, морды, с дороги! - приказал Мехоношин.

- Я вот тебе дам - морды, дурак немазанный! - разобиделась старуха Щапова. - Сам ты морда! Изукрасился всяко - глядеть тошно. Морды! Да мы честны рыбацки вдовы... Да и куда прешься - гости по домам идут...

Поручик оттолкнул с дороги Щапову, она еще сильнее разобиделась, сбила могучей рукою треуголку с Мехоношина, поддала ему под зад.

- Щекоти его, женки! - рассердилась другая старуха. - Щекоти его смертно, он верещать зачнет и сбежит... Знаю я таких...

Но Мехоношин прорвался со своими драгунами на крыльцо, ногою распахнул дверь в горницу и тут вдруг остановился неподвижно. В гостях

у мужика-кормщика был сам капитан-командор Иевлев. На треск двери он обернулся, спокойно спросил:

- Для чего пожаловал, господин поручик?

Мехоношин вынул из-за рукава кафтана указ, написанный дьяком, сказал с возможнейшей учтивостью:

- Сии мореходы порушили веление господина воеводы и сюда заявились из земли норвегов...

- Ну?

- За что имеют быть заарестованы мною и доставлены...

- Вон! - тихим голосом сказал Иевлев.

- Указ именной, - быстрее заговорил Мехоношин, - в указе сем написано...

- Вон, господин поручик Мехоношин! Иначе я вашу шпагу отберу и вас самого немедленно же велю за караулом на съезжую доставить. Вон! И чтобы нога ваша порог сей избы не переступала.

Мехоношин, словно не понимая, стоял неподвижно.

Сильвестр Петрович громко, как на плацу, скомандовал драгунам, столпившимся в сенях:

- Повернись кругом! Вздень левой! Ать, два, шаго-ом! В казарму!

Драгуны завозились, поворачиваясь в тесных сенях, загрохотали сапогами, зазвенели палашами и багинетами. Мехоношин, ссутулясь, потащился за драгунами. Иевлев велел Аггею Пустовойтову:

- Ты вот что, дружочек. Нынче же дай кормщику наряд добрых матросов, пусть съездят к лодье своей, да что имеют - не откладывая раздадут вдовам...

Повернулся к Рябову и сказал:

- А ты, как с делом управишься, Иван Савватеевич, побывай у меня в крепости. Да Митрия своего захвати, да еще кого похощешь, да Таисью Антиповну с Иваном Ивановичем.

Митенька прильнул к кормщику, взглядом попросил: "Поедем, Иван Савватеевич!" Рябов кивнул - отчего-де и не поехать, коли званы.

Сильвестр Петрович вышел на крыльцо, вдохнул свежий влажный

утренний воздух:

- Благодать лето-то стоит, Иван Савватеевич. Словно и не север.

И крикнул Маше:

- Долго вы там шептаться будете? Пора бы и перестать. День наступил...

Маша догнала мужа, сказала ему, дыша в ухо:

- Жалко капитана Афанасия Петровича. Вишь - он нынче и глаз не казал.

Сильвестр Петрович грустно усмехнулся:

- Ну, Машенька, ну, голубушка, тут не нажалеешься. Идем-ка, дружочек, поспать надобно, идем побыстрее. А еще до крепости Двиною - не близок путь...

В карбасе Сильвестр Петрович, завернувшись в плащ, думал свое. И Маша думала. Глядя на тихие воды розовеющей Двины, морща брови, Маша думала о том, как вернется на Москву и непременно отыщет там добрую девицу в жены Афанасию Петровичу. Свадьба будет в крепости, а ради такого торжества она упросит Сильвестра Петровича, чтобы выстрелили все пушки, кулеврины, гаубицы и мортиры. Будет еще и фейерверк...

И тотчас стало ей грустно: "Нет, ни на ком он теперь не женится! Одна для него Таисья, одна-единственная. Не таков он человек, чтобы еще раз в жизни в своей так полюбить. Один раз - навечно. Как я - Сильвестра. Как Таисья - Ивана Савватеевича... Нет, не быть ни веселой свадьбе, ни пушечному салюту, ни фейерверку..."

ГЛАВА ВТОРАЯ

Не посрамим земли Русской, но ляжем костьми, мертвые бо сраму не имут. Станем крепко...

Святослав

Воистину и мы не под лапу, а в самый рот неприятелю идем, однако ж не боимся.

Петр Первый

1. ЧЕЛОБИТНИКИ

По третьему разу на пытке огнем Ефим Гриднев не выдержал, назвал еще людей. Дьяк Молокоедов послал за думным дворянином, а сам кротко спрашивал:

- Человек с Пушечного двора именем Федосей, кличкой Кузнец - ваш ли? Отвечай, бедолага, ненароком преставишься. Отвечай на спрос...

Гриднев, не слыша, не понимая, повторял:

- Кличкой Кузнец - наш!

Поздюнин поднес пытанному кружку зелена вина, бобыли присыпали ожоги золою. Гусев, водя носом по бумаге, быстро писал. Заскрипели ступени, пришел думный Ларионов, едва живым сбежал из Онеги, рвать подати даже с солдатами было дело нелегкое.

- Чего тут?

Молокоедов почтительно поведал: тать сей зачал виниться, поднесли ему вина, - дело, видать, сдвинулось. К вечеру попозже, пожалуй, и воеводу звать можно. Ларионов, покачивая сапожком, кивнул. Взор при этом у него был отсутствующий, все вспоминал, как со срамом бежал от баб и девок в Онеге, как поскользнулся в болотце и плюхнулся им на потеху, как сняли они с него, с думного дворянина, портки и посекли крапивой. Хорошо, что хоть солдаты не видели. А может, и видели? Крикнул же нынче ребячий голос из-за тына: "Ей, дворянин поротый, порты потерял..." Проведали, черти!

К вечеру Алексей Петрович Прозоровский, насмерть перепуганный дьяками и Ларионовым, пожаловал в застенок, дабы дознать размеры заговора, проведать насчет приходимцев с Азова, пресечь на корню назревающий бунт и вновь показать себя верным государевым псом, как в те времена, когда соперничать в преданности государю с князем Прозоровским мог только ныне покойный Франц Лефорт.

Дьяки Молокоедов и Гусев под руки подвели воеводу к скамье, усадили на перинку, покрытую ковром, прочитали на два голоса опросный пыточный лист, велели Поздюнину еще вздернуть вора, дабы сказал навет при самом князе.

Бобыли выволокли то, что осталось от Гриднева. Поздюнин вправил руки

несчастного в хомут, Ефим закричал:

- Отпустите, изверги, отпустите, не могу я более...

- Отвечай, тать, какие приходимцы азовские, бунтовщики здесь были и какие вам, ворам, слова говорили! - приказал князь. - Говори!

Гриднев молчал, глаза его смотрели бессмысленно, мимо людей.

- Отвечай!

- Отпустите!

Его отпустили.

- Говори же! - велел Молокоедов. - Кузнец не с Азова приходимец?

- Что за Кузнец? - мертвым голосом спросил Гриднев. - Каков он?

- Кузнец с Пушечного двора, из раскольников, во гроба ранее совращал ложиться. Ответишь - отпустим. Отпустим, да еще казной наградим. Пойдешь на все четыре стороны. Говори же! Был Кузнец?

Ефим молчал, тупо глядя на своих мучителей. Воевода малость подождал, потом разгневался, топнул ногой, велел без проволочки подвешивать и пытать огнем. Подручный палача принес горящий веник, Ефим заговорил глухо, язык плохо ворочался в его ссохшемся рту:

- Все, все до единого, все... Молчан, беглый с Волги, Голован плотник, медник Ермил...

- Жги огнем! - велел воевода.

Поздюнин выхватил у подручного горящий веник, повел по голой спине Ефима. Тот содрогнулся, обвис. Дьяк Гусев писал быстро, дьяк Молокоедов с торжеством поглядывал на воеводу. Ефима вздернули еще раз, он стал называть людей на Соломбальской верфи, на Баженинской, в Вавчуге. Дьяк Гусев с радостью шепнул воеводе:

- Вот оно! Все здесь! С Волги, где атаман Разин хаживал...

Думный подтвердил:

- Так, князь воевода, так! На одной цепке все ходят. Теперь имать всех надобно.

Воевода цыкнул:

- Пшли от меня, советчики!

Поднялся с места, вырвал у Поздюнина веник, неумело, косо пихнул в

грудь Ефиму, спросил, оскалясь:

- Голова над вами кто? Говори! Кто поносную, срамную челобитную на меня, на отца вашего воеводу, составлял? Кто над всеми вами, ворами, начальный человек? Говори!

Ефим пошевелил губами, но никто не расслышал его слов.

- Кто? - отогнув ухо ладонью, спросил воевода. - Громче говори, не слышу!

Ефим напрягся, выдохнул:

- Крыков - капитан таможенных войск. К нему хаживали, листы тайные, прелестные читали, с ним обо всем толковали... Он да Молчан над нами правили...

Воевода приказал имать пушечного мастера Кузнеца. За Кузнецом послали Мехоношина с драгунами. Крыкова воевода взять побоялся, а Молчан жил скрытно, о нем на съезжей не знали. Приволокли еще плотника Голована да медника Ермила. С палача Поздюнина к полуночи полился пот, бобыли едва таскали ноги, а все без толку. Схваченные ничего не знали.

Князь Алексей Петрович захотел есть, послал Молокоедова за ужином. Тот вернулся испуганным, зашептал воеводе на ухо:

- У тебя в дому на крыльце архиепископ сидит, туча-тучей, в горницу не идет, велит тебе, князь, немедля к нему быть. Костыльник при нем, два келейника, курьер с дальней дороги...

Воевода не дослушал, всполошился. Дьяки с Ларионовым под руки повели воеводу к карете, карета загремела коваными колесами по бревнам мостовой, конная стража с алебардами тронулась вслед.

- Чего там стряслось? - спросил Гусев шепотом Молокоедова.

- А того стряслось, что свейские воинские люди на кораблях Зунд прошли - еще когда! Вот чего стряслось! - ответил Молокоедов. - Теперь вскорости к нам придут... Царев офицер об том грамоту привез.

Гусев охнул, думный дворянин на него прикрикнул:

- Но, но, раскудахтался! Наше дело сторона. Пойдем-ка челобитчиков вздернем, кончим с ними, с татями. В челобитной-то и мы названы, коли

что - и нам не поздоровится. Как ни кинь - концы в воду хоронить надобно. Придут свейские люди, присягнем им служить - челобитчики нас отыщут, помянут, чего тут делали. Не придут свейские люди - вовсе хорошего не жди. На Москве сведают - быть нам на плахе. Покуда что - смертью надобно с челобитчиками кончить. Мало ли... На дыбе быстро некоторые кончаются.

- Кого ж первого делать?

- Первым делать будем мастера Федосея Кузнеца. Так я чую, что он у них верховодит...

- Крыкова бы взять.

- Крыкова? А капитан-командор его даст?

- Он и Кузнеца не дал бы, так ведь мы не спросили, по-тихому взяли...

Вернувшись в застенок, сели все рядком на перинку, крытую ковром, пошептались, подозвали Поздюнина, велели ему сразу делать татя Федосея. Палач почесался, помедлил.

- Чего ждешь-то? - спросил Молокоедов.

- А того, что с меня спрос будет. Делать умеючи надо, а которого до смерти - за такого в ответе...

- Как сказано - его работай!

Поздюнин со вздохом пошел к месту. Бобыли сорвали с Кузнеца рубашку. Поздюнин вдел его руки в хомут. Молокоедов спросил:

- Ты и есть Кузнец? Говори, детушка, все, что о челобитной воровской ведаешь: где сия бумага, кто ее укрывает, кто писал, - говори быстро, спехом...

Кузнец молчал. Глаза его остро поблескивали, впалая грудь вздымалась неровне. Палач Поздюнин, положив ладонь на хомут, дремал стоя. Подручный хлебал молоко из глиняной кружки, закусывал шаньгою.

- Делай его, Поздюнин! - велел Ларионов.

Палач открыл глаза, встрепенулся.

- Рученьки кверху, голубь, кверху, да и сам посунься вперед, чуток вперед, детушка, подайся...

Петля стянула кисти, Поздюнин уперся кривыми ногами в бревно,

вскочил, подпрыгнул. В тишине заскрипела пеньковая веревка. Кузнец весь вытянулся, яснее выступили ребра, пот сразу залил черное худое лицо.

- Говори, детушка! - велел Гусев.

Кузнец дернул вперед шею, спросил:

- Пошто воевода ваш кнутом выбивает себе деньги из посадских? Пошто без посула ни едина дела не добьешь? Пошто ныне на Онеге...

- Еще подтяни! - велел думный дворянин.

Хлопнула дверь, в застенок вошел пьяный Мехоношин, сказал сквозь зубы:

- Жечь их всех огнем, иродово семя! Смертно! Жилы резать, персты ломать...

Засвистела пеньковая веревка, Кузнец застонал, потом опять тихо стало.

Мехоношин сбросил у двери мундир, кружева, ленты, пошатываясь подошел к Поздюнину, сам взялся за веревку. Поздюнин веревку не давал, дьяки забеспокоились, стали уговаривать поручика, чтобы не бесчинствовал. Мехоношин потребовал огня, ногой ударил подручного, закричал, что с нынешнего дня сам будет рвать ногти, варить в смоле, вбивать гвозди, - разве-де так пытают? Потом заплакал навзрыд, ушел в сторону, жалостно причитал:

- Матушка мои с батюшкой, добрые мои родители, на кого вы меня покинули, детушку вашу, для чего не взяли с собою в обитель счастливую...

Кузнец молчал, ловил открытым ртом воздух. Глаза его заволокло, он ничего не видел и не слышал.

- Отлей! - велел дьяк. - Да живо!

Подручный принес берестяное ведро, Поздюнин опустил хомут и медленно, узкой струей стали лить воду Кузнецу в лицо.

- Еще вздергивай! - приказал думный дворянин. - Живо, живо... К утру всех кончим, отдыхать пойдем!

2. ВОН ОН, ФЛОТ!

Карбас шел быстро, ветер дул попутный, ровный, сильный. Перед тем как сбрасывать паруса, Семисадов поднял пистолет - выстрелил в воздух, потом поднял на мачте прапорец, за ним второй, потом третий. Флажки развернулись, с берега ответили выстрелом.

- Важно живете! - сказал Рябов. - Без сигнала так бы и не взойти?

- Там пушки припрятаны! - ответил Семисадов. - Чужого не пустят...

- Чего ж меня-то пускаете?

- По приказанию господина капитан-командора. Велено показать кормщику Рябову корабельный флот, крепость-цитадель, Марков остров и на нем батарею, другие некоторые пушки, потайную цепь. Еще - что похощет...

Рябов улыбнулся, переложил руль, карбас медленно поворачивал носом к входу в гавань. Могучие сосны защищали ее от любопытных взоров; отсюда, с моря, она казалась пустынной и необитаемой. Вода блестела под жаркими солнечными лучами, было тихо, душно, ветер вдруг упал вовсе. Пошли в гавань на веслах, и, едва миновали прибрежные серые, мшистые валуны, взору кормщика открылись корабли - большие, новые, с высоко поднятыми резными кормами, в паутине снастей, с открытыми пушечными портами, в которых виднелись медные пушки. Четко, словно выстроившись, неподвижно застыла эскадра перед обрывистым зеленым берегом.

Молча светлыми своими глазами осматривал кормщик стройные линии обводов, мачты, реи, искал, какие же из кораблей построены его руками в те, старопрежние годы, на Соломбальской верфи. Но тотчас же забыл, о чем только что думал, и стал разглядывать пушки на кораблях, прикидывать их число и силу огня. Пушек было много, и Рябов удивленно покачал головой: смотри-ка ты, военного флоту корабли, истинно так, ничего не скажешь...

- А ну, еще навались! - велел он Семисадову.

Тот, радуясь на растерянное и довольное лицо Рябова, уперся своей деревяшкой в банку, сильно размахнулся веслами - карбас скользнул вперед, ближе к кораблям. Они еще выросли, стали крупнее, выше,

резьба на корме нового фрегата проступила яснее. С борта свесилась круглая белобрысая голова, рыбацким говором, как говорят на Онеге, спросила:

- Кто идет? Отвечай!

- Господина капитан-командора карбас по его указу! - снизу вверх крикнул Семисадов. - Здорово, Михайло!

- Здорово, господин боцман!

- Он какой же Михайло? - спросил Рябов.

- А покойного Мокия внучек, рыбацкого дединьки, еще ты от него артель принимал! - напомнил Семисадов. - Нынче матрос добрый.

- Скажи! - удивился Рябов. - Идет времечко, бежит...

На веслах не торопясь обошли все яхты, фрегаты и корабли, близко оглядывали спущенные трапы, якорные канаты, точенные из темного заморского дерева страшные фигуры, что ставились спереди на каждом судне. Матросы смотрели сверху на карбас капитан-командора, с одной яхты слышалась песня, с другой - звуки корабельного рожка, на третьей делалось учение: матросы как бы готовились заряжать пушки, стрелять, чистить стволы, еще заряжать.

- Откуда набрали-то народишку столь много? - спросил Рябов.

- А наши беломорские, почитай, все, - ответил Семисадов. - Тогда, в те времена, шутили, а нонче нет, не шутим. Море - наше поле...

Только к утру добрались до Архангельска. Рябов был задумчив, глаза его смотрели строго, лоб хмурился. Неподалеку от Воскресенской пристани спросил:

- Ужели прорвутся к городу, а, боцман?

- Шведы-то?

- Они.

- Не дадим! - со спокойною ленцою в голосе ответил Семисадов. - Не достать им до нашего флоту.

3. КАПИТАН-КОМАНДОР И ВОЕВОДА

Князя Прозоровского била дрожь: шведские корабли миновали Зунд

давно, вот-вот должны появиться в Белом море. И не корабли - эскадра.

- А более тебе из города не отлучаться! - гневно произнес Афанасий. - Ты - воевода, в слово сие вникни головою, умом своим...

Он усмехнулся, глаза его остро блеснули:

- Воевода воин - сидит под кустом да воет!

Офицер, доставивший из Москвы письмо о шведской эскадре, разглядывал князя с наглостью. Алексей Петрович хотел было обидеться, да недостало смелости, улыбнулся кисло, стал отговариваться недугами. Афанасий прервал:

- Иевлев Сильвестр Петрович куда недужнее тебя, князюшка, да пред бедою все недуги словно позабыл, любо-дорого посмотреть на господина капитан-командора. Я - старик, одной ногой во гробе стою, не чаю и завтрашнего утра увидеть, однако ж не плачусь. А ты - воевода, для чего ж срамишься?

Алексей Петрович вовсе не нашелся, что ответить. Лекарь Лофтус с поклонами разливал мальвазию, слуга разносил рыбу в рассоле, битую капусту, грибы. Архиепископ Важеский и Холмогорский сидел насупясь, глядел неприязненно, к еде и вину не притрагивался. Один только приезжий офицер, наголодавшись в пути, ел за десятерых.

- Я ныне по монастырям поеду, - опять заговорил Афанасий, - да в крепость наведаюсь. Потрясу монахов маленько, пусть и они татей встретят достойно. А ты, князь, о недугах забудь и думать - невместно то воеводе пред бедою. Народишко, и то смеется; болтают, дескать наш князь- воевода, взявши шлык, да в подворотню - шмыг...

Прозоровский, вовсе обидевшись, крикнул:

- Болтунов палач Поздюнин за ребро подвесит - живо замолчат!

- Ну и дурак! - спокойно ответил Афанасий. - Ей-ей, дурак! Палач! Много ты с палачом со своим против шведа сделаешь? И то стон стоит - всех хватаешь, а ты еще собрался? Да не квохчи, ровно курица, слушай меня...

Отбивая ребром ладони по столешнице, стал советовать, как надобно воеводе встать во главе обороны Архангельска, как надобно подумать о

пище для защитников города, как обо всем заранее договориться с капитан-командором, который будет командовать сражением крепости с эскадрой...

- Не стану я под него! - опять сорвался воевода. - Что он мне?

Афанасий хлопнул рукой по столешнице:

- Станешь! Он Петром Алексеевичем послан...

- Я тоже, владыко, государем поставлен!

Архиепископ открыл было рот - отвечать, но ничего не сказал: только слабый жалобный стон вырвался из его груди, лицо страшно побледнело, рука судорожно вцепилась в скатерть. Лофтус, уронив лавку, бросился к владыке, на шум в столовую палату вбежали келейник и костыльник Афанасия. Владыко тихо попросил:

- В карету меня! Худо!

Лофтуса к себе не подпустил. Келейник дал ему понюхать соли из флакона, он попил квасу, стуча посохом, медленно пошел к дверям. По пути говорил князю:

- В крепость нынче же наведайся! Воеводу в лихой час видеть должны, а тебя, окромя княгини, да княжен с недорослем твоим, да тараканов запечных, - кто зрит? Палач в застенке? Тоже нашел время зверствовать, лютостью своей пугать...

Во дворе, отдыхая, сказал:

- Еще не по-хорошему делаешь: зачем недоросля своего, когда лихая беда, словно старика прячешь. Люди-то знают: мужик вымахал на пшеничном хлебе - косая сажень. Дай ему саблюку али мушкет, не таи при себе в Холмогорах...

И махнул рукою:

- Зря толкую с тобой. Ничего ты не понял. Эх, князюшка!

Карета, гремя коваными колесами, выехала со двора; воевода, держась за голову, пошел в опочивальню. Лекарь с испуганным лицом разул князя, посоветовал ничего не подпускать близко к сердцу, сохранять спокойствие, необходимое для поддержания в теле огня-флогистона.

- Шел бы ты подальше со своим флогистоном! - огрызнулся князь. -

Флогистон! Тут измена вокруг, воры, обидчики, а он вздор городит. Ставь пиявиц, не то помру!

В опочивальню пришла княгиня, за ней - старые девки княжны, сзади недоросль. Воевода, охая, рассказал про шведскую эскадру; лекарь Лофтус добавил от себя, что покорнейше просит отпустить его к Вологде али на Москву, потому что шведы накажут смертью иноземца, пользующего князя-воеводу и все княжеское семейство.

- Тебя-то за что? - воскликнула княгиня Авдотья.

Лекарь развел руками.

- Да неужто не одолеем шведа? - спросил недоросль.

Лекарь тонко улыбнулся, ничего не ответил; потом, отдирая пиявиц от боярского затылка, рассказал как бы невзначай, что двиняне под начальством князя, конечно, отстояли бы город, да больно велика измена; например, на цитадели содержится некто Никифор. Пришел он с моря, несомненно подослан шведами, а лечат его там и ухаживают за ним, будто он владетельный герцог. В то же самое время пушечный мастер Риплей заключен в цитадели под стражу, равно как и инженер-венецианец - Георг Лебаниус. Пушки с иноземных негоциантских кораблей приказом Иевлева сняты, а иностранные корабельщики давали присягу - стрелять из тех пушек по шведской эскадре. Пушки добрые, разве здешним мужикам с ними справиться? И кто здешние пушкари? Может, они из тех, кто замыслил мятеж? Нынче еще новость: пришла с моря большая лодья, трехмачтовая, один раз видели ее с полным грузом, а второй раз - совсем без груза. Кто на лодье пришел? Может, шведы? Ходят по городу переодетыми, теперь ищи их...

Воевода слушал, моргал, княгиня крестилась, дочки переглядывались, недоросль сказал решительно:

- Коли так, зачем и воевать? Ежели с покорностью ключи от города...

- С покорностью? Тебя самого велено в стрельцы отдать.

- Меня? Да я, батюшка, несмышленыш, куда меня...

Княгиня Авдотья заголосила было, но князь рявкнул:

- Молчите, дурни!

И выгнал из опочивальни всех, кроме Лофтуса. Лофтус посчитал князю пульс, покачал головой, с сокрушением произнес:

- Опять в жилах ваших ускорилось отложение ртути, серы, а также соли.

Воевода молчал задумавшись, потом поднялся с ложа, велел себя одевать. Лофтус подал панцырь, саблю, пистолеты.

- Для какого беса? - спросил воевода.

- Шведы близко! - произнес лекарь.

Всю дорогу до крепости воевода был задумчив, сонными глазами поглядывал на низкие зеленые берега Двины. Лофтус гнусавым голосом напевал псалмы, гребцы на карбасе мерно вздымали весла, воевода все думал свои думы, потом пальцем поманил лекаря, сказал повеселевшим голосом:

- Нечего тебе к Вологде ехать али на Москву...

Лофтус удивленно поднял короткие бровки.

- Обладим нынче же дело честь честью...

Лекарь опять не понял ничего.

Сильвестр Петрович встретил воеводу со всем приличием у ворот цитадели и даже с лекарем был вежлив, хоть и не выразил никакого удовольствия от встречи с ним. Инженер Резен занял внимание Лофтуса, повел его к себе в избу, дабы побеседовать о здоровье капитан-омандора. В чистой, пахнущей сосновыми бревнами горнице он усадил гостя спиной к окошку, заговорил учтиво об иностранных столицах. Беседа завязалась непринужденная.

В это же время у себя в комендантской Иевлев потчевал воеводу квасом, заваренным Машей. Воевода хвалил квас - такого в здешних местах не добьешься, - хвалил капитан-командора, что цитадель нынче вовсе не узнать, много понастроено, хвалил порядок на подступах к крепости. Сильвестр Петрович настороженно молчал: не для того приехал воевода, чтобы хвалить!

- Дверь-то закрой, господин, потуже! - попросил князь.

Капитан-командор подозрительно посмотрел на князя, поднялся, закрыл дверь. Воевода молча прихлебывал квас. Потом, оглаживая усы, спросил:

- Как надеешься, господин Иевлев? Отобьем шведа?

Сильвестр Петрович подумал, ответил не сразу:

- Трудно будет, князь-воевода. Весьма трудно. Швед идет большой силой. Команды на эскадре пожелают грабить, то им обещано, небось. Город Архангельск слывет богатым городом. Король Карл сам отправил эскадру, шаутбенахт Юленшерна - опытный моряк...

- Умно толкуешь! - одобрил воевода. - Ворог идет великой силой, а у нас все не слава богу. Думный дворянин, верный человек, ума палата, господин Ларионов, издавна правит розыск и дознался, что быть у нас мятежу. Ныне и я своею персоною немалое время на съезжей трудился и в подлинности всех тех скаредных и мерзейших дел, господином Ларионовым открытых, подтверждение получил. Взято драгунами человек с дюжину подлого народа, заправил сей татьбы; еще надобно хватать и хватать. Приходимцы с Азова, здешние воры, от Москвы беглые стрельцы, иные разные смерды винятся в том, что меня, воеводу своего, вздумали на копья вздеть, - слыхано ли такое? Чего в Азове делали - и здесь поделать решили. Да в какое время? То все антихристово Разина Степки дело: дядюшку моего, блаженной памяти князя-боярина Прозоровского в Астрахани повесили, здесь то же задумали, да не так сие просто! Похватали мы их. Похватать-то похватали, и еще имать станем, да только какая война - коли и в войске мятежники, и на верфях, и по слободам. Пушечный мастер, кличкою Кузнец...

- Что Кузнец? - перебил нетерпеливо Иевлев.

- А то Кузнец, что и на Пушечном дворе измена. Сии скаредные воры прелестные листки читали о том, как наши с тобою головы на рожны вздевать. До того дело дошло с сими татями, господин капитан-командор, что офицеры некие, на которых ты немалую надежду имеешь, твои офицеры к мятежникам пристали.

- Офицеры?

- Офицеры, душа моя, офицеры, сударь капитан-командор. Как ударят сполох - офицеры сии сами поведут мятежников на нас с тобою...

- Кто же они - офицеры? Как зовутся?

- Покуда не скажу. Не поверишь. А со временем поведу в застенок, чтобы своими ушами услышал воровские изменные речи. Ну, об сем успеем. Нынче же о другом думать надобно: каково тебе со шведом биться, когда за спиною твоей тати, кои только и ждут шведа на нашу землю. Великая кровь прольется православная, а зачем?

Сильвестр Петрович поднялся, тяжело опираясь на трость, прошелся по горнице из угла в угол. Воевода неотступно следил за тем, как менялосьего лицо, как словно бы погасли глаза, как мелкие росинки пота проступили на высоком лбу, на скулах.

- Побьет нас швед! - настойчиво сказал воевода. - Побьет и спалит город наш, и вырежет ножами народу сколько похощет. И тебе висеть в петле...

Иевлев молчал.

- Пойдут корабли шведские мимо твоей крепости - что станешь делать? - тихо спросил воевода, выдвинув вперед жирный подбородок.

Сильвестр Петрович ответил глухо:

- Известно, что! Палить буду из пушек.

- То-то, что из пушек. А тебя в это время по башке обухом - свои же пушкари...

- Меня? Для чего же меня?

- Тебя, еще бы не тебя!

Иевлев хотел что-то сказать, но воевода не дал!

- Будто в тебя и ножа не метали. Я-то знаю, я все знаю... И нож метнули весенней ночкой, и мужик на тебя в лесу кинулся - резать. Отпустил ты его. Добер, ах, добер...

Сильвестр Петрович отворотился - противно было смотреть, как радуется, юродствует, лжет и мельтешит Прозоровский. И чего веселого? А тот все говорил, наклоняясь к Иевлеву, жарко дыша волосатым ртом, - громко, въедливо, поучающе:

- Добрым-то нельзя, батюшка, быть; по-божьему ныне не поживешь, нет. В тебя нож метнули, хорошо не до смерти; меня вон на копья собрались вздеть, да я не дамся. Страшно, капитан-командор, куда как страшно! Смерды, псы! Мы с тобою им вот где застряли: в глотке! Ты цитадель

строишь, ты их силою сюда согнал, я с них недостачи рву, я им судья, - ох, тяжелая наша служба, сведал я ее, с Азова страху божьего навидался. Да ты что серчаешь? Что волком глядишь? Али обидел я тебя ненароком? Ну полно, полно, все мы люди, все стараемся по-хорошему, а оно вдруг худым оборотится. Бывало, что и я серчал, бывало, что и ты мне впоперек скажешь - молодо-зелено, да только врозь нам никак нельзя. Двое нас тут царевых слуг только и есть. Двое! Одна в нас кровь, за одним столом отцы наши да деды во дворцах царевых сиживали - мой выше, твой ниже, - да стол-то один, ества-то одна, царская, как же нам браниться? Ну и полно! Садись рядком, поговорим ладком. Садись, не стой...

Иевлев сел, сложил пальцы на рукоятке трости. Было видно, что не слишком внимательно слушал он воеводу, думал свою невеселую думу. Воевода рукой, унизанной перстнями, дотронулся до локтя Иевлева, спросил доверительно:

- Виктории над шведами не ждешь?

- Не знаю, как и ответить, - сухо сказал Сильвестр Петрович. - До сего дня ждал и твердо надеялся. Нынче же... Ежели правда, что сполох ударят и все работные люди, да трудники, да солдаты, да посадские поднимутся...

- Правда! - с радостью в голосе воскликнул Прозоровский. - Истинная правда! Ты сам нынче же в застенок наведайся, сам подлые ихние речи послушай...

Сильвестр Петрович с досадой прервал воеводу:

- В застенке не такое еще на себя наклепают. Мне истинную правду знать надобно, ибо ежели не бабьи сказки об измене да о сполохе - тогда...

- Что - тогда? - жадно спросил воевода.

- Тогда - побьют, пожгут, вырежут нас шведы.

Прозоровский близко наклонился к Иевлеву, прошептал:

- Вот, провещился. Понял наконец. Для чего ж нам так делать? Для чего нам напрасную кровь лить? На викторию не надеемся, так на что же? Вдругораз Нарва нам занадобилась? Ее не хватает?

Иевлев неподвижными глазами смотрел на князя, спросил отрывисто:

- Что за Нарва? Невдомек мне, о чем речь?

- Что за Нарва - невдомек? Та, что была! Та, об коей медаль шведы выбили. Побоище смертное, лихое, стыд превеликий! Али забыл?

- Я - не забыл! - твердо ответил Иевлев.

- А коли не забыл, так слушай. Слушай меня, капитан-командор, да вникай, не пыли без толку, мне твоя натура вот как ведома, сам молодым был, да укатали сивку крутые горки. Иначе надо делать, умнее, с хитростью. Вот как, слушай: сведаем с тобой, что эскадра шведская подошла, сразу - в карбас и навстречу. На подушке ключи от города от Архангельского, в мешках казна, что у дьяков хранится...

Иевлев резко повернулся к Прозоровскому, посмотрел на него внимательно, точно увидел в первый раз. Синие глаза капитан-командора светились непереносимо ярко.

- Для чего надобно кровь православную проливать? - спрашивал воевода. - Для чего горе, мука злодейская, виселицы, плахи, рожны? Для чего ни за грош нам с тобою злой смертью погибать? Кому в радость? Ворогам нашим, ворам, мятежникам? Сам суди, кто нам страшнее: швед ли, что возвеличит нас, за почесть вдвойне почестями отдаст да еще наградит по чину, али смерд, холопь, ярыга с дрекольем, с рогатиной? Давеча слышал я драгунского поручика Мехоношина горькую беду: мужичье, зверюги лютые, псы смердящие поднялись, вотчину пожгли, управителя на воротах вздернули, красный петух и по сей день там гуляет. Зачем сие? Для какой надобности? И как нам с сим лихом совладать? А коли шведы миром в город войдут - мы к ним с поклоном. Разве им порядок не надобен? Им мужик кроткий нужен, а не убивец с дрекольем! Они наших супостатов, ярыг, воров дознают, покончат с ними...

Сильвестр Петрович близко наклонился к Прозоровскому. Того вдруг испугало лицо Иевлева, яростные его глаза.

- Ты шутишь, князь-воевода, али вправду толкуешь?..

Прозоровский отпрянул, замолк, вытер лицо шелковым платком. Сытые

щеки его мелко дрожали.

- Шутишь? - крикнул Сильвестр Петрович. - Так сии шутки нынче...

Воевода схватил Иевлева за обшлаг кафтана; давясь, захлебываясь, залопотал:

- Испытываю тебя, испытываю, дружок мой, испытываю, что есть ты за человек... Надобно же и мне знать, кто у нас первый воинский командир, надо, непременно надо. Вот я и попробовал, на зуб тебя попробовал, как золото пробуют. Теперь знаю, знаю, теперь вижу - не испугаешься! Теперь всем поведаю: молодец у нас капитан-командор! Поискать такого, как Иевлев наш, Сильвестр Петрович. Побьет он шведа, уж как побьет, черепков не соберешь! Побежит от нас швед, с воем побежит, то-то обрадуемся мы, то-то в колокола ударим...

Сильвестр Петрович молчал, все так же неподвижно и яростно глядя на князя. А Прозоровский расходился, говорил без удержу:

- Тебе, Иевлеву, офицеру государеву, капитан-командору - вот кому командовать. От тебя все: виктория от тебя, срам, конфузия - тоже от тебя. Не обессудь, голубь прелюбезный, помилуй, коли поперек сказал. Теперь ведаю - будешь биться!

Иевлев прервал его, сказал холодно:

- Не столь я, князь, глуп, не столь скудоумен, чтобы сим вздорам уверовать.

Воевода не торопясь налил себе квасу, не торопясь хлебнул, поставил кружку на стол.

- Дело твое: хочешь - верь, хочешь - не верь. Отпиши на Москву, там тебе, может, и поверят, что боярин князь-воевода учил передаться шведам. Отпиши, отпиши, то-то смеху будет...

Он хлопнул в ладоши, по-свойски ткнул Иевлева в плечо:

- Так палить по шведской эскадре станешь из крепости своей? Ядер-то запас? Пороху? Пушкарей-то обучил, воин? А?

- Буду палить - шведу не поздоровится! - отрезал Иевлев.

Прозоровский волчьим взглядом на мгновение впился в лицо Иевлева:

- Совладаешь?

- Надо совладать. Ты, князь, не поможешь.

- Ну, молодец, молодец, - заторопился воевода. - Теперь вижу - молодец! А то люди чего только не болтают про тебя... До того доболтались, что даже сказывали: живет-де у Иевлева подсыл от шведских воинских людей - мужик Никифор... Пришел-де Никифор с моря, принес Иевлеву шведское тайное письмо... Ну-ка, сведи-ка меня к Никифору, погляжу я на него, поспрошаю, что за человече... А от Никифора сведешь ты меня, голубь прелюбезный, к иноземцам, к узникам своим. Жалуются на тебя, надо мне и на узников иноземных поглядеть, непременно надобно.

Иевлев ответил с ненавистью в голосе:

- Никифор нынче совсем плох, князь-воевода. Чаю, не дожить ему до завтрашнего дня...

- Что так? - весело удивился воевода. - То жил да поживал, а то вдруг помирать собрался. Нет уж, пойдем, потолкую я с ним поласковее.

Капитан-командор молча вывел воеводу из комендантской избы в крепостной двор. Князь шел озираясь, кряхтя: по каменным плитам с визгом волокли на канатах пушку; крепостные кони, высекая подковами искры, тянули возы с ядрами; скрипел ворот, которым вздымали на крепостные стены боевые припасы, вперебой били кузнечные молоты...

Никифор лежал на спине, спал с открытыми глазами. Лицо его за прошедшие дни стало пепельным, маленьким, словно бы ссохлось.

Воевода ткнул пальцем, спросил:

- Он?

Сел неподалеку, сразу закричал, чтобы взять испугом:

- Кто таков? Откуда? Ведаю, есть ты шведский воинский человек, ворами подосланный, дабы смуту сеять и рознь! Говори, не молчи, отвечай проворно!

Никифор вздохнул, посмотрел на Сильвестра Петровича, точно просил защиты.

- Говори, Никифор, - спокойно, дружеским голосом посоветовал капитан-командор. - Говори, дружок. То - князь-воевода, ему истинную правду ведать надлежит, говори, не сомневайся.

Никифор сказал тихо:

- Худо мне нынче, Сильвестр Петрович. То будто сны какие вижу, то и вовсе все потеряется, ничего нет... И дышать никак нельзя...

- Говори! - крикнул воевода.

- Да что говорить-то? - слабым, но спокойным голосом ответил Никифор. - Не подсыл я, не шведский воинский человек...

- А коли подвесим? - спросил воевода.

- Стою на правде моей.

- Персты зачнем рубить по единому, огнем запытаем, перед смертью все сам покажешь - поздно будет, - посулил Прозоровский. - Говори нынче!

Никифор слабо улыбнулся, обнажив младенческие беззубые десны, собрался с силами.

- Воевода-князь! - со спокойным достоинством заговорил он. - Погляди на меня, не почти за труд, увидишь, коль пригож собою. Всяко меня пытали и били на чужбине, несладко жилось полонянику-вязенику, можно ли меня нынче пыткою испугать, огнем, дыбою? Да и что мне жить осталось?

- Для палача - хватит! - ответил воевода.

И, повернувшись к Иевлеву, сказал, что велит Никифора нынче же взять в город на розыск. Сильвестр Петрович, кашлянув, молвил, что недужного калеку он в Архангельск не пошлет. И тихо, почти шепотом добавил:

- Будет, князь, лютовать. Сей Никифор тарабарскую грамоту на цитадель привез, великие муки принял...

Князь подошел к окошку, крикнул бредущему мимо солдату:

- Лекаря сюда иноземного пришли, Лофтуса, да живо! Бегом беги!

И опять сел на лавку, сложив руки на животе, перебирая толстыми пальцами в перстнях. Никифор вновь задремал.

Лофтус был по соседству, пришел сразу вместе с Егором Резеном. Прозоровский велел ему посмотреть, каков здоровьем Никифор. Лекарь поклонился низко, выпятил со значением нижнюю губу, сел на лавку рядом с немощным, взял пальцами его запястье. В это мгновение

Никифор попытался поднять голову, но слабая шея не держала, голова опять повалилась на подушку. Сморщенное лицо его исказилось от страшных усилий, губы что-то силились сказать, но из впалой груди донеслось только клокотание. Иевлев подошел ближе, наклонился:

- Чего, Никифор? Чего надобно тебе?

- Он! - вдруг ясно и даже громко произнес Никифор. - Он! Его на галере везли до гавани Улеаборг. Он - швед! Он - его...

Лофтус стал пятиться, Никифор впился в его руку своими искалеченными пальцами, Лофтус дернулся сильнее - Никифор упал с лавки лицом об пол. Резен бросился к нему, поддерживая руками голову, зашептал ласковые слова, но Никифор, весь вытянувшись, опять крикнул из последних сил:

- Подсыл, а не лекарь! От самого Стокгольма мы его на галере везли, подсыл он, собака, вяжите, люди добрые...

Лекарь все пятился к двери, разводя руками, пытаясь еще улыбаться. Сильвестр Петрович тряхнул его за плечи, приказал:

- Стойте тихо! Отсюда не уйти. Здесь - крепость!

И склонился к Никифору. Никифор все еще шептал - как шли на галере от самого Стокгольма, как сия персона сидела в кресле с самим капитаном, а когда пожар сделался, названный лекарь стал палить по каторжанам из пистолета. Рассказ Никифора был связен, изуродованные глаза смотрели разумно. Потом он начал сбиваться, дыхания ему не хватало. Иевлев вдвоем с Резеном подняли его на лавку, инженер принес калеке пить, но тот пить уже не мог, вода пролилась на жилистую худую шею. Равномерное хрипение вырывалось из его глотки.

- Отходит! - сказал Сильвестр Петрович. - Покличь попа, Егор!

Егор вышел. Серый от страха воевода спросил робко:

- Так ли оно еще? Наваждение, право, наваждение. Один - подсыл, другой - тоже подсыл...

Лофтус оживился, прижимая руки к груди, стал страшными клятвами клясться, что все сие поклеп, напраслина, ложь. Сильвестр Петрович не отвечал. Лекарь заговорил потише, потом шепотом. Иевлев сидел

отворотившись. Лофтус еще раз взмолился, потом замолчал - понял, что пропал.

Старенький крепостной попик, держа дары, завернутые в епитрахили, кланяясь неподвижному воеводе, вошел в горницу, за ним Резен привел двух суровых матросов - взять за караул гнусавого лекаря.

- Идите! - приказал Иевлев.

- Умирающий безумен! - воскликнул Лофтус. - Горячечный бред отходящего...

- Забирай его, ребята! - сказал капитан-командор матросам.

Матросы взяли Лофтуса сзади за острые локти, он рванулся, тогда матросы взяли покрепче, поволокли к двери. Отец Иоанн, сидя в изголовье Никифора, творил глухую исповедь. Прозоровский мелко крестился. Сильвестр Петрович встал, за ним грузно заспешил воевода. Жирное лицо его теперь побурело, он ссутулился, глаза бегали по сторонам. Сильвестр Петрович шел не оглядываясь. В комендантской он остановился, сказал воеводе сурово:

- Так-то, князь! Лучший советчик твой, друг неизменный был здесь шведским шпионом. Другой на смену ему прибыл - и тот подсыл, пенюар, шпион. Думный дворянин твой Ларионов, дьяки твои Молокоедов, Гусев, Абросимов - мздоимцы, тати денные, в кровище ходят по колено. Сии изверги кнутами, пытками, страхом выбивают для тебя челобитную, ты сию ложную бумагу на Москву шлешь, дабы оставили тебя еще царскою милостью на сидение в сем городе. Сам ты вовсе голову от страха потерял, досмерти испуганный розыском, что ведет твой Ларионов. Ныне до того дошло, что ты, князь-воевода, ближний царев слуга, не шуткою, а истинно уговаривал меня шведу передаться...

Прозоровский, весь налившись кровью, попытался было опять от всего отречься, но Иевлев стукнул тростью об пол, помянул Ромодановского, колесование за измену, Преображенский приказ. Князь взмолился:

- Прости, господин капитан-командор, ей-ей испытывал тебя, надобно мне знать, прости...

- Помолчи, воевода! Про офицеров, что давеча говорил - про

мятежников, - врал...

- Нет, ей-ей, правда, крест тебе святой.

- Не кощунствуй!

Прозоровский всхлипнул, стал обмирать:

- Дурно мне, худо мне, ахти, господин капитан-командор...

Шаря за спиною растопыренной ладонью, попятился к лавке, плюхнулся, но Сильвестр Петрович заметил: глазки князя смотрят остро, здоров воевода как бык, ломает комедь.

В комендантскую вошел инженер Резен; свободно, без всякого почтения к воеводе, сел, стал выбивать огнивом огонь для трубки. Прозоровский сидел сгорбившись, обвиснув, тронь пальцем - свалится с лавки. Сильвестр Петрович, не глядя на князя, заговорил:

- Ради многих твоих недугов можно тебе, Алексей Петрович, с княгинею да с княжнами, со слугами и с кем там возжелаешь - отбыть к Холмогорам. Там - за крепким караулом, чтобы не бесчинствовал, - переждешь. С недужного воеводы и спроса нет, с трусливого опрос велик: народ не помилует, голову долой отрубит...

- Тому были некоторые примеры в истории! - сказал Резен, пыхтя трубкой.

- Были! - подтвердил Иевлев.

Князь молчал. Глазки его злобно поблескивали.

- Всех, что повязаны и к пытке назначены воеводою, - продолжал ровным голосом Иевлев, - пока указом самого воеводы из караула освобожу. Мне ныне каждый человек надобен...

Прозоровский поднял голову, сказал, не сдержавшись:

- Высоко вознесся, капитан-командор, ай, высоко! Мятежников, татей, государевых злых ворогов на свободу? Азов забыл? Стрелецкий бунт забыл? Горько нынешний час помянешь, да поздно будет! Поздно, не поправишь! Мне Петр Алексеевич во всем поверит, тебе со сволочью твоей веры дадено не будет! Не веришь про офицеров? Оттого не веришь, что сам таков! Прости, батюшка, на правде, да я вашего брата перевидел на своем веку, эдаких прытких вертунов! Перевидел, да и

пережил...

Сильвестр Петрович, щурясь, спросил:

- Ты это об чем, князь?

- Сам знаешь, сам знаешь, об чем. Ныне твой час, а завтра поглядим. Доживем еще - и поглядим...

Резен в углу гулко закашлялся, едкий трубочный дым пополз по горнице.

- При нездоровии в Холмогорах хорошо! - сказал инженер. - Для хворого человека нет лучше, как Холмогоры. Тихо в Холмогорах...

Воевода прохрипел невнятный ответ - не мог решить, что делать. Решил за него Иевлев.

- Оно вернее будет! - произнес Сильвестр Петрович. - Господину стрелецкому голове полковнику Ружанскому отправлю я естафет, чтобы нарядил стрельцов - с приличием проводить недужного воеводу. Со стрельцами поедет унтер-лейтенант Пустовойтов, он мне и расскажет, по-здорову ли доехал князь...

Прозоровский, совсем обвиснув, охая, обмирая по-прежнему, пошел к дверям. Иевлев и Резен со всем почтением свели князя с крыльца, - работный народишко, подлый люд, смерды не должны были знать, что воевода в тычки прогнан из Архангельска в Холмогоры, что наверху, меж капитан-командором и князем, - свара, что боярин Прозоровский изменник и трус...

- Едешь за недужностью и многими хворостями, - сурово сказал Сильвестр Петрович. - Запомнил, князь?

Воевода кивнул важно.

Стояли втроем - ждали, покуда проедет мимо огромная телега с заправкой в шесть коней. На телеге везли крепостные ворота, сшитые из железных листов, с репьями и копьями, с шипами и крутыми занозами. За воротами крепкие кони волокли железные подборы, все вокруг лязгало, грохотало, гремело...

Проводив воеводу, Сильвестр Петрович сказал Резену:

- Ну, Егор, трудненько мне придется. Нынче воевода уговаривал к шведам перекинуться и доброхотно подать им на подушке ключи от

города Архангельска. А как сие не удалось ему, то стал при тебе уже грозиться, что сам я - мятежник и бунтовщик и еще нивесть чего. Он на Азове многих погубил, через то в вернейших людях слывет и ныне стал мне первым ворогом. Всего надо ждать, а наипаче иного - худа...

Он помолчал, потом спросил:

- Воевода таков, на кого ж положиться?

- На меня можешь положиться, Сильвестр Петрович. Те, что у нас в подклети под арестом сидят - иноземцы, враги тебе. Я - не враг, но тоже иноземец. Сие много значит, не так ли? Но пойдем же, тебя ждут тот достославный лоцман, который потонул, но потом вернулся, и его жена, которая была вдова, а теперь она опять жена, и их ребенок, который был сирота, а теперь не сирота. Так я говорю по- русски?

- Так, так, молодец! - усмехаясь, сказал Сильвестр Петрович.

- Они приехали в карбасе! - сказал Резен. - Они приехали в гости. Так?

- Ну, так.

- Он хочет смотреть всю крепость!

- Покажи ему!

- Вот это - не так! Я и самому воеводе не показывал, а теперь буду показывать лоцману?

- Покажешь!

- Зачем?

- А затем, что сей лоцман...

Сильвестр Петрович не нашелся, что сказать, и только еще раз велел:

- Покажешь все как есть. Где какие мортиры и гаубицы стоят и стоять будут, откуда какой огонь поведем, все так, как бомбардиру бы Петру Алексеевичу показывал.

- Но почему?

- Потому, что я так тебе приказываю...

Резен не обиделся, только пожал плечами.

- Вон он, на крыльце сидит! - сказал Иевлев. - Поди и покажи как велено. Да возвращайся с ним - обедать будем.

Инженер подошел к Рябову, поклонился, сказал с усмешкой по-русски:

- Вам, господин лоцман, велено все показать, как бы самому бомбардиру Петру Алексеевичу. Пойдем.

Кормщик поднялся с крыльца, сунул трубку в карман, спокойно, по-хозяйски пошел смотреть Новодвинскую цитадель.

4. ВДВОЕМ

Крепостные старухи женки обмыли и обрядили умершего страдальца. Сильвестр Петрович велел дать для Никифора старый свой Преображенский кафтан, пусть отправится солдат в последний свой путь как надлежит, пусть все видят - хоронят нынче не безыменного скитальца, но доблестного русского воина.

Боцман Семисадов раздобыл багинет, положил на грудь опочившему. И лицо Никифора вдруг стало значительным и чрезвычайно спокойным, словно он сделал все свои работы и теперь отдыхает; работы были трудные, и никому не велено мешать его отдыху.

В избу, где лежал усопший, крестясь, заходили крепостные строители - каменщики, плотники, кузнецы; кланялись долго, молча смотрели в значительное лицо покойника. Уже все почти знали, что Никифор опознал шведского подсыла, что сам он бежал от шведов, что привез какое-то тайное и важное письмо, и все кланялись покойнику не просто по обряду, а потому, что он был здесь первым, кто не дрогнул от шведского вора, идущего ныне на Архангельск.

К вечеру проститься с мертвым пришел со всем почтением капитан-командор - при шпаге, в треуголке, в белых перчатках. Пушкари, каменотесы, солдаты расступились. Сильвестр Петрович встал перед гробом на колени, земно поклонился. Народ в избе вздохнул единым вздохом, все одобрили Иевлева: вон как офицер почитает истинную доблесть. Заплакали старухи. Старый поп, отец Иоанн, читал псалтирь вместо запивашки-дьяка:

"Сокроешь лицо твое - смущаются, возьмешь от них дух - умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой - созидаются и обновляют лицо земли!"

- И обновляют лицо земли, - тихо, одними губами повторил Иевлев.

Выходя, он увидел Рябова, - тот стоял у дверного косяка, внимательно слушал слова писания. Тихо плакала Маша, неподвижно, очень бледная стояла Таисья. А во дворе, возле избы, в которой лежал покойник, перекликаясь веселыми голосами, играли и бегали рябовский Ванятка с дочками Сильвестра Петровича.

Иевлев сел на лавку в крепостном дворе. Ласточки стремглав, зигзагами носились над головой, они уже вывели птенцов под краем купола нынче срубленной крепостной церквушки. И птенцы высовывали из гнезда носатые головки, жадно разевали клюв, пищали...

Сильвестр Петрович сидел долго, курил, думал. Мимо на полотенцах солдаты понесли гроб в церковь - отпевать Никифора; поп Иоанн, низко опустив голову, размахивал кадилом, синий сладкий дымок ладана не таял в неподвижном воздухе.

К Иевлеву подсел Рябов. Сильвестр Петрович спросил:

- Все поглядел, Иван Савватеевич?

- Поглядел кое-чего! - ответил кормщик.

- Ну, как? Отобьемся?

Рябов ответил не сразу:

- Дело нелегкое. Цитадель твоя, Сильвестр Петрович, не поспела еще. Одна стена вовсе не достроена, там и пушки не поставишь. Что, ежели они завтра или послезавтра припожалуют, - тогда как?

Сильвестр Петрович молчал. Мимо, тихо разговаривая, прошли Маша и Таисья. Он проводил их взглядом, опять подумал: "Вот, отбираю у тебя твоего кормщика, может - навечно. Много ли прогостил муж у жены, у сына? И опять уходить ему!"

- Стена не достроена, да мель перед цитаделью хитрая есть! - глухо сказал Иевлев. - Та мель много добра может принести делу нашему, ежели с разгона, при хорошем ветре флагман на мель сядет...

Он опять замолчал. Сердце его билось сильно, так сильно, что дыхание вдруг перехватило. Вот они наступили трудные минуты.

- Размышлял я, Иван Савватеевич. Размышлял немало. Надобно

подослать к ворам на эскадру кормщика, тот кормщик должен быть человеком смелым, человеком, который шведам известен за опытного лоцмана. А идут с эскадрою старые наши знакомые: шхипер Уркварт, конвой Голголсен и иные негоцианты...

- Знаю я их, - негромко произнес Рябов. - Да и они меня знают.

Кормщик усмехнулся, лукавые огоньки зажглись в зеленых глазах.

- А хитер ты, Сильвестр Петрович! - сказал он добродушно. - Хитро придумал. Что ж... Значит - приятели на эскадре? Услужить им как следует, старым приятелям, - это можно.

Иевлев не отрываясь смотрел на кормщика.

- Негоциантами рядились, черти! - сказал Рябов. - Сего Уркварта я вовек не забуду... Что ж, вроде бы невзначай к ним попасться? Рыбачил будто, они и схватили?

- Невзначай! - сказал Иевлев. - Подалее от Архангельска. В горле... Мель мы еще укрепим для верности: струг потопим с битым камнем, али два струга. Вешки поставим обманные, как бы фарватер они показывать будут, а на самом деле - мель. Мало ли что, вдруг кормщик не рассчитает...

- Для чего ж не рассчитать? - спросил Рябов. - У меня, я чай, голова не дырявая, не позабуду. Мне и идти, более некому...

Иевлев глубоко вздохнул. Давно не дышал он так легко и спокойно, давно не было так полно и радостно на душе. Вздохнул - словно все трудное уже миновало, словно вышел из чащи на торную дорогу, вздохнул, как вздыхает усталый путник, увидев кровлю родимого дома.

- Хитро рассудил! - еще раз сказал Рябов. - По-правильному.

- Денег с них запросишь! - произнес Иевлев. - Да поболее. Поторгуешься...

- А как же! Не без торговли!

- Долго торговаться будешь...

- Да уж оно так, оно вернее...

Помолчали. Рябов сказал грустно:

- Дома-то почитай что и не погостил. Таисья убиваться станет...

Он покачал головою, задумался.

- Кроме тебя некого, - сказал как бы виновато Сильвестр Петрович. - Я и то раздумывал, - Семисадова? На деревянной ноге нельзя ему. Тут, может быть, и побороться и бежать понадобится, а на деревяшке разве далеко ускачешь? Еще Лонгинов - кормщик добрый, да не ума палата: слыхал, как он во гробе второго пришествия дожидался?

Рябов засмеялся невесело:

- Слыхал, Сильвестр Петрович! Да нет, тут и спору быть не может, мне идти, другому незачем. Оно, ежели пораскинуть мозгами, работенка такая - можно и головы не досчитаться, да ведь оно и везде не без убытков. С хитростью ежели делать, так еще, глядишь, и погуляем. Охать не приходится; охали, говорят, до вечера, а поужинать и нечего. Об смерти думать тож не станем, мы ее перехитрим. Я нынче об другом: Таисья чтоб не знала, а? Хватит на ее век горя. Ну, коли не вернусь, тогда ничего и не поделаешь, а покуда... Что присоветуешь сказать ей?

Сильвестр Петрович пожал плечами:

- Дурному не поверит Таисья Антиповна, думать надо - что вместно будет...

Подошел Ванятка с иевлевскими дочками, принес кораблик, выструганный из коры. Кормщик взял из рук мальчика нож, подправил мачту, потом натянул снасть.

- Город они, тати, пожгут, ежели дорвутся, - говорил Рябов, - кровищу пустят, нельзя их до Архангельска допускать! И народу никуда не деться. Не уйти с немощными да с детьми малыми. Разорение великое...

- А вон и пушки у меня! - сказал Ванятка, показывая пальцем на палубу своего кораблика.

- Пушки у него! - сказала Верунька.

- Пушки! - подтвердила Иринка.

- Ну, иди, сынок, иди! - велел Рябов. - Иди, гуляй!

Дети ушли, кормщик задумчиво продолжал:

- Так-то, Сильвестр Петрович. На сем и порешим: пойду далеко в море, повстречаю их, будто невзначай, поломаюсь всяко, а потом, глядишь, и

продамся за золотишко. Они народец такой - все привыкли покупать. Ну, а ежели что не задастся - так у нас, у беломорцев, недаром говорят: упасть - да уж в море, в лужу-то вовсе не к чему.

Сильвестр Петрович хотел ответить, не смог - задрожали губы. Рябов то заметил. Словно стыдясь слабости капитан-командора, заговорил о другом: на съезжей сидит мастер с пушечного двора Кузнец, пытают его жестоко. Сидят под караулом и еще некоторые посадские, пошто в нынешние лихие времена людей мучают?

Мимо, ковыляя на деревянной ноге, шел Семисадов, и Иевлев окликнул его, приказал:

- Ты, боцман, возьми матросов потолковее, десятка два, да с теми матросами спехом - в город. Всех, кто на съезжей за караулом сидит, - на волю. Пытанным, немощным - лекаря. Здоровым - водки по доброй чарке. Есть там разбойнички, воры, у дьяка моим именем строго спросишь, - тех на работы в город. Съезжую - на замок...

Семисадов слушал с радостью, большое, в крупных веснушках лицо его сияло.

- А палача с подручным куда? - спросил он.

- Дела, небось, и для них найдется, - ответил Иевлев. - Пусть в городе потрудятся - там и посейчас рогатки ставят, помосты, надолбы...

- Как бы их не тюкнул там народишко-то! - с усмешкой сказал боцман. - Ненароком, мало ли...

Рябов спросил прямо:

- А тебе жалко, что ли? Ну и тюкнут на доброе здоровье... Сказано тебе: съезжую - на замок...

- А ключ - в Двину! - весело, полным голосом договорил боцман.

Он не мог устоять на месте, бросился было выполнять поручение, но Иевлев окликнул его:

- Погоди! Дьяков за ненадобностью отпустишь пока к своим избам, пусть идут...

- Ну, Сильвестр Петрович! - воскликнул боцман. - Ну! Говорю тебе истинно: не забуду я нынешнего дня. И народишко не забудет, об том

постараемся...

- Иди, иди, делай! - улыбаясь, сказал Иевлев. - Иди!

- Пожалуй, и я с ним пойду! - потянувшись, сказал кормщик. - Пора и дома побывать. Карбас-то немалый пойдет? Возьмете меня с женой да с Иваном?

Проводив кормщика, Сильвестр Петрович опять сел на лавку возле церкви. Уже наступил вечер, но в крепости еще работали, слышались равномерные гулкие удары молотов, скрипели доски под тяжелыми ногами носаков, которые поднимали на крепостную недостроенную стену корзины с кирпичом. По счету, громко, пушкарские подручные принимали с карбаса ядра, перекидывали друг другу, покрикивали:

- Держи, Семен!

- Еще!

- Ах, хорошо яблочко!

- Принимай!..

Опершись на трость руками, на руки положив подбородок, Сильвестр Петрович все думал: ему представилось вдруг, как Семисадов нынче выпускает из острога того самого человека, который в ту сырую весеннюю ночь метнул в него, в Сильвестра Петровича, нож. Мгновенная злоба стиснула сердце, но он тотчас же вспомнил отчаянного мужика тогда, в лесу, по дороге на Холмогоры, и подумал, что не ему судить; пусть, коли без этого нельзя, судят другие. Ему же оборонять город, а как его оборонять, ежели нынче начать разбираться в судьбах измученных тяжкою жизнью каменщиков, землекопов, кузнецов, плотников?

Давеча воевода сказал про офицеров. Но кто же они, сии офицеры?

Сильвестр Петрович вспоминал Крыкова, вспоминал многие его слова. Что ж, не поклончив Афанасий Петрович Крыков, суров он к воеводе, к другим кривдам и неправдам, в чьем бы обличий они ни были. Да только не изменит капитан знамени, которому присягал, нет, не тот он человек, можно на него положиться, можно ему верить, как самому себе, как кормщику Рябову, как боцману Семисадову, как Егорше и Аггею

Пустовойтовым. Пусть не врет пустого князь Прозоровский! Все те же наветы проклятых наемников-иноземцев, все те же доносы, все та же ложь. Ничего, они, дружки воеводы, сидят нынче под замком, за крепким караулом. Пусть сидят до времени, до того часа, покуда не кончится то, чего с тревогою ждут все в городе и в округе от мала до велика. По прошествии времени поедут те иноземцы к себе за море. Не похвалят его, Иевлева, за то, что арестовал иноземцев, да как быть? Иначе не сделаешь, за многое не похвалят! И за то, что нынче послал Семисадова закрыть на замок съезжую, тоже не похвалят, не жди!.. А может быть, после виктории, кто знает...

Кутаясь в платок, пришла Маша, села рядом, спросила:

- Куда это Иван Савватеевич собрался? На Таисье лица не было. К дружку будто, в Онегу?

Иевлев, нахмурившись, ответил:

- Откуда же мне знать, Машенька? Ему виднее...

Маша зябко повела плечами, сказала с укоризною:

- Едва домой вернулся - опять куда-то надо. Приказал бы ты ему, что ли? Ты тут начальником.

- Возьми попробуй, прикажи! - усмехаясь, ответил Сильвестр Петрович. - Он не солдат, не матрос, - как же я им помыкать буду? Может, тебя послушается...

Маша прижалась к его плечу, попрекнула:

- Смеешься, насмешник! И чего веселого-то?

5. НА СЪЕЗЖЕЙ

Федосей Кузнец, плотник Голован и медник Ермил лежали на рогожах в сенцах. Вывихнутые на первой пытке суставы костоправ-бобыль вправил, другой бобыль принес узникам покушать похлебки. Федосей сказал морщась:

- Для нынешнего дня водочки штофик - то-то ладно было бы...

Палач Поздюнин выглянул из двери, спросил:

- Штофик? Ты же старой веры, какая же тебе водочка?

- Иди, иди, шкура! - ответил Кузнец. - Иди, еще встретимся на лесной тропочке, узнаешь моего ножичка!

Поздюнин поморгал, сказал с укоризною:

- Молился бы, чем грозиться!

- Я-то помолился! - с трудом приподнимаясь, крикнул Федосей. - Я-то вашего бога вот хлебнул, хватит! И ты, подлюга, мне не указывай, не лезь...

Палач ушел, слышно было, как он чинит блок в застенке. Кузнец опять лег, заворчал:

- Бог! Где он, бог твой? Сколь мне годов - не вижу его, не слышу, дурость одна - вот кто бог твой! Палач, кат, ручища в крови по локоть - а молится! Отчего же не разверзнутся небеса? А? Голован, что молчишь?

- Брось ты! - посоветовал плотник.

- Нет, не брошу! Бог! Знаем, слышали бога вашего. Суда ждали, да где он суд? Все обман. А правда где?

Хлопнула дверь: бобыли принесли новых веников - жечь огнем. Голован закрыл глаза, чтобы не видеть, Ермил шепотом сотворил молитву, один Кузнец все говорил:

- Вон она - правда! Веники! А господь взирать будет, и хоть бы что! Да в чем же грех наш? В челобитной? Кому писали ее? Царю! Нет, ты погоди...

Он опять заерзал на сырой соломе, с трудом укладывая разбитое тело, но мысль свою не терял.

- Ты погоди! Царю? А он миропомазан? Так как же оно получается? Нет, братие, я до бога еще не добрался. Я его за бороду так тряхну, - он у меня за все ответит. Он мне все выложит...

- Помолчал бы! - взмолился Голован. - Боюсь я!

Кузнец еще долго поносил бога, потом изнемог, задремал. Задремали и Ермил с Голованом. Поздюнин вновь высунулся из двери, попросил Кузнеца починить ему железный блок. Федосей долго моргал, не понимая, потом так длинно и лихо выругался, что палач только ойкнул.

- Не любит! - сказал Голован.

- Ты поближе подойди, сучий сын, мы тебя причастим не так! - сказал

Кузнец. - Подойди, не бойся.

И вдруг крикнул:

- А ну, братие, подвесим его самого, покуда чужих нет! Ужели не совладаем?

У палача забегали глаза, он угрожающе подкинул в руке кувалду, попятился. Кузнец сунул два пальца в рот, засвистал, загукал лесным лешим, Ермил завизжал, да так страшно и пронзительно, что один из бобылей кубарем вылетел вон. Голован пустил ему вслед глиняным кувшином. Дверь захлопнулась.

- Теперь в железы нас закуют! - посулил, отдышавшись, Ермил.

В железы не заковали, не поспели: вместо драгун с пьяным Мехоношиным, вместо дьяков и воеводы в застенок быстрым шагом спустился одноногий боцман Семисадов, за ним шли его матросы, в бострогах, при палашах, в вязаных шапках. Семисадов держал в руке смоляной факел.

- Выноси их, ребята! - велел он раскатистым голосом.

Дубовая дверь на волю была открыта, глухое оконце один из матросов высадил пытошными щипцами, по застенку заходил веселый летний сквознячок. Поздюнин что-то залопотал, его швырнули в малую темную камору. Пушечный мастер не мог стоять, кто-то взвалил его на спину, понес наверх, в огород, который разводил Поздюнин - выращивал здесь редьку, капусту, огурцы. За Кузнецом вынесли всех, кто не держался на ногах. Кто кое-как шел сам, того бережно вели под руки. Кузнеца в огороде опустили на лавочку. Он спросил у Семисадова хриплым голосом:

- Оно как же? Одни на дыбу вздымают, другие на закукорках несут? Которые же с правдой? Вы, али те, что вздымали?

- Тебе виднее! - с обидой ответил Семисадов.

- То-то, что не видно. Кабы видно, я не спрашивал бы. Прикажи на Пушечный двор меня везти.

Семисадов послал за подводой, Кузнец сел на солому, вместо спасиба - сказал:

- Занадобились, вот и выпустили. А не нужны бы были, до смерти запытали бы!

Боцман укоризненно покачал головою, но подумав, согласился:

- И верно!

Поздюнина и бобылей погнали на пристань - таскать бревна, дубовую дверь застенка Семисадов сам запер на тяжелый замок, ключ повесил на шею, чтобы не потерять. Матросы выстроились, боцман скомандовал:

- Левую вздень! Шаго-ом! Левой - ать!

У ворот съезжей он сказал караульщику из рейтар:

- Шел бы спать, милый! Нонче откараулил свое! Иди, брат, сосни часок...Караульщик не стал спорить, зевнул, пошел вдоль заросшей лопухами улицы.

6. СЕМИСАДОВ

Монахи Николо-Корельского монастыря, ставшие в крепости носаками, живо поднялись в своих шатрах, где спали, и под барабанную дробь вышли к Двине, к большому старому стругу. Варсонофий, сбривший бороду, похудевший, стоял на причале, оглаживал усы, ругая монахов, что медленно торопятся. Егор Резен вышел вперед, звучным голосом обещал, что ежели носаки к утру с обоими стругами управятся, будет им дадено не менее, как по полштофа зелена вина на двух персон, а ежели не управятся - стоять на работах бессменно до вечера. В духоте и прелой жаре предгрозовой белой ночи, в серебристом ночном свете монахи с корзинами, полными битым камнем, стройной чередою пошли с берега к стругу. Варсонофий поторапливал, соленые его шуточки разносились над тихой, неподвижной рекой. В ночи далеко слышался звук сыплющегося камня, скрип прогибающихся под ногами носаков сходен, плеск весел карбаса, подводившего к берегу второй струг.

В обеденное время, когда и на Марковом острове и на цитадели работные люди, трудники, кузнецы, пушкари, солдаты, каменщики, носаки, землекопы, плотники, собравшись в артели, хлебали деревянными ложками кашицу с рыбой, боцман Семисадов и Сильвестр Петрович

выехали в малой лодейке на Двину - ставить вешки.

Жарко пекло солнце. Семисадов повязал голову платком по-бабьи, покуривал трубочку, шестом мерил границы Марковой мели, что тянулась вдоль всего Маркова острова, выходил порою на стреж - фарватер, - на самый корабельный путь.

- Вот и хорошо! Вот и ладно! - говорил Иевлев. - Ставь, боцман, вешку сюда...

Семисадов спускал вешку с канатом и донным камнем, она медленно колыхалась на воде. Восемь вешек обозначили мель перед караульными цепями. Сильвестр Петрович глазом определил, как полетят сюда крепостные ядра, палить будет удобно - близко. Боцман без любопытства посматривал на капитан-командора, попыхивал своей носогрейкой.

- Чего смотришь? - спросил Иевлев.

- Того смотрю, Сильвестр Петрович, что здесь их и затапливать надобно - поперек корабельному ходу...

Иевлев сделал вид, что не понимает:

- Что затапливать-то?

- Да струги! - с досадой ответил Семисадов. - Не маленький, понимаю, что к чему делается. Народу как бы только поменее видело. Нынче молебен бы к вечерку спроворить в крепости, всех туда погнать, а матросы бы с нами и сделали дело. Покуда все чин по чину споют да лбами об землю потыкаются - у нас и готово...

Так и сделали.

Артельщики да десятские с непривычной строгостью велели всем быть к молебну. Заупрямился было старенький попик отец Иоанн - никак не мог придумать, для чего молебен. Иевлеву пришлось даже прикрикнуть. Попик, моргая подслеповатыми старыми глазами, облачился, дьякон-запивашка облил себе голову холодной водой, пофыркал, огляделся, пошел раздувать кадило. Крепостной народ, одевшись почище, шел толпами к плацу, где поставлен был налой. На валу бухали молотки. Сильвестр Петрович велел снять кузнецов со срочного дела - пусть и они, трудники, помолятся нынче. Матросы между тем садились в свои

быстрые лодки, зачаливали тяжело загруженные битым камнем струги. Иевлев сказал им веско:

- Дело, что делаем, есть дело тайное. У кого язык больно длинен, обкоротим, да и голову снесем - не пожалеем. Однако в деле сем на страх ваш полагаться не хочу. На присягу воинскую полагаюсь, на то, что сами ведать должны: идет на нас швед, воровской человек идет...

Матросы, стоя в лодках, торжественно молчали. Иевлев перекрестился, велел затапливать струги. Из глубины судна послышался стук топоров - матросы прорубали днище. По другому стругу, ковыляя на своей деревяшке, ходил Семисадов, что-то, хмурясь, обдумывал. Погодя сошел к Сильвестру Петровичу, сказал загадочно:

- Теперь вешки-то повернуть надобно.

- Для чего поворачивать?

- А для того, господин капитан-командор, что не Маркову мель они стерегут, а фарватер.

Иевлев усмехнулся, - хитер боцман. И чтобы больше о вешках не толковать, оборвал:

- Вешки покуда стоят, до шведа. Снять всегда поспеем.

Молча смотрел, как медленно стал погружаться в воду первый струг. Второй потопили рядом. Пока делали эти работы, дважды пришлось посылать матроса к отцу Иоанну, чтобы еще помолился. Поп молился подлиннее. Когда все кончили, Семисадов хриплым басом спросил Иевлева:

- Кончать богослужение-то?

- Пожалуй, что и пора.

- И то заморился батюшка наш.

- Заморился...

Боцман все смотрел на Сильвестра Петровича. Потом сказал тихо:

- Ты будь в спокойствии, господин капитан-командор. Никто не обмолвится. А ежели что почую - сам той собаке язык напрочь оторву. Не шутим нынче...

Дома Иевлева ждал Егор Резен - рассказать, как по-новому расставить

пушки на батарее.

- Ставь, ставь, - думая о своем, ответил Сильвестр Петрович.

- Да ты меня совсем не слушаешь! - сказал Егор по-немецки. - Ты последнее время слишком много думаешь, господин капитан-командор!

Иевлев набил трубочку, раскурил от уголька, сказал весело, вглядываясь в гладко выбритое, загорелое лицо инженера:

- Эх, Егор-Егорушка, ничего ты, брат, не понимаешь. Ничегошеньки!

- Что это - "ничегошеньки"? - радуясь иевлевскому веселью, спросил Резен.

- Пушки! - воскликнул капитан-командор. - Мортиры! Гаубицы! Разве в них главное дело, друг ты мой добрый? Пушки мы знаем, а вот народ наш - пушкарей, солдат, иных прочих - знаем ли? Нет, не знаем, Егор. Все на пушки надеемся.

Когда Резен ушел, Сильвестр Петрович прошелся по горнице, растворил окно, прислушался к ровному шуму работ в крепости.

Что ж, теперь пусть идет швед! Встретим как надо!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Бежит из-за моря из-за синя черных, три корабля.
Песня

1. ИДУТ КОРАБЛИ

Ранним утром 14 июля 1701 года шаутбенахт ярл Юленшерна отдал приказ кораблям эскадры становиться на якоря вблизи острова Сосновец, в горле Белого моря. На шканцах дробно ударили барабаны, запели сигнальные горны. Невдалеке морские волны бились об угрюмый, каменистый берег, прозрачный дымок вился над рыбацким становищем.

На эскадре начинались спешные работы: пушечные порты шаутбенахт приказал задраить наглухо, корабельные плотники приколачивали вдоль бортов деревянные резные гирлянды из цветов, листьев и веселых человеческих ликов. Медные и железные пушки на верхней палубе покрывались чехлами, искусно построенными из пустых бочек,

фальшивых кулей и корзин. На шканцах флагманской "Короны" Юленшерна распорядился поставить два ларя, высотою в человеческий рост, чтобы тай можно было спрятать абордажных солдат, готовых к стрельбе. Передние стенки обоих ларей мгновенно отваливались, падали вперед, шестьдесят солдат с короткими ружьями выходили в три ряда на палубу, готовые к сражению.

С солдатами, назначенными к бою в Архангельске, проходил обучение полковник Джеймс. В минуты отдыха он, не жалея слов, рассказывал о богатствах беломорцев. Глаза у солдат алчно блестели.

В норвежском городишке Тромсе командам кораблей его величества короля удалось немножко пограбить население. Ярл Юленшерна узнал об этом, но ни слова не сказал капитанам эскадры. И наемники поняли: каждого, кто захочет, ждет истинное богатство там, в Московии.

Грабили и на пути в горло Белого моря: останавливали норвежские суда, отбирали меха, рыбу, деньги, водку. Грабили рыбацкие становища. Здесь было можно все, ничего не запрещалось, тут Бенкту Убил друга больше не грозила виселица, здесь Швабра мог убивать безнаказанно. В карманах матросских штанов позвякивало золото, на пушечных палубах пили бренди и водку, азартно играли в кости.

Флаги на кораблях эскадры в Тромсе были заменены, шаутбенахт приказал штурманам вынести из кают запечатанные мешки, в которых хранились полотнища голландских, английских, бременских флагов. С каждым часом военная флотилия все более делалась похожей на караван мирных негоциантских кораблей.

Офицеры эскадры сняли форменные мундиры и шпаги, до времени сдали корабельным оружейникам. Для грабежей оставались ножи и пистолеты, этого было достаточно.

Сам Юленшерна, одетый в теплый голландский кафтан, теперь имел вид пожилого негоцианта, чем очень веселил свою супругу Маргрет. Но адмирал, посмотрев на себя в зеркало, даже не улыбнулся. Он только поджал губы и ушел из каюты мрачнее тучи.

Когда все работы закончились, ярл шаутбенахт произвел смотр эскадре и

собственноручно наказал только двоих матросов. Это означало, что он очень доволен. Теперь, когда корабли выглядели мирными негоциантскими судами, можно было начинать поиски лоцмана.

Вечером от флагманской "Короны" отвалила шлюпка-шестерка. На руле сидел испанский боцман Альварес дель Роблес, на веслах - молчаливые трезвые и надежные парни, у каждого из которых под рубахами и камзолами было спрятано по паре добрых пистолетов и по хорошему ножу. Но рыбацкое становище словно вымерло. Дымок больше не вился над избами русских рыбаков, только кричали чайки да лаяла на пришельцев собака с седой мордой...

Боцман вошел в хижину, разгреб золу, под золою еще тлели уголья. Недоеденная похлебка стояла на колченогом столе. Альварес дель Роблес поджал сухие губы: рыбаки бежали, добыча ушла из рук.

На всякий случай он со своими парнями прошел весь остров: нигде не было ни души, но со стороны Сосновской салмы - пролива, отделяющего остров от Терского берега, - боцман увидел догорающий костер, а потом и лодьи русских поморов. Русские ушли отсюда совсем недавно, но догонять их было уже поздно.

- Пусть я никогда не увижу моих детей, если московиты не натянули нам нос! - сказал боцман. - Весть о наших кораблях обогнала эскадру. Впрочем, милость господня с нами. Будем надеяться на лучшее...

К ночи фрегат и яхта снялись с якоря и отправились крейсировать, чтобы перехватить какое-нибудь рыбацкое судно, на котором мог бы оказаться лоцман. Лейтенанту Бремсу повезло: он прибуксировал трехмачтовую русскую лодью и два больших карбаса, шедшие на рыбные промыслы.

Ярл Юленшерна велел поставить на шканцы стол с добрым угощением и учтиво, как старого и хорошего знакомого, принял кормщика - седого плотного мужика с зорким и хитрым взглядом.

Кормщик, перед тем как выпить, перекрестился, выпив - похвалил винцо, что-де без сивушного духа, двойной, видать, перегонки. Заел кусочком мясной лепешки, осведомился, как величают шхипера. Шаутбенахт подумал, покривился, назвался негоциантом Шебалд.

- Ну, а меня Нилом Дмитричем звать, Лонгиновым кличут! - сказал кормщик. - Будем, значит, знакомы. Торговать идете?

Шаутбенахт, брезгливо морщась, сообщил, что торгует стеклом, ножами, вином, изюмом, перцем, - да вот не повезло, в Белое море не хаживал, как идти в Двину, не знает.

Окке Заячий нос, стоя за креслом шаутбенахта, переводил.

- Много кораблей у вас! - не отвечая на вопрос шаутбенахта, молвил кормщик. - Ишь здоровенные какие! Богато торгуете. Небось, и домишко свой за морем, усадьба, хорошо живете? Шутка сказать - товару сколь много...

- Господин шхипер ждет ответа на свой вопрос! - сказал Окке.

Лонгинов подумал, потом спокойно посоветовал идти до двинского устья, - там сама таможня, после законного осмотра кораблей, пришлет искусного лоцмана. Так все делают, так и господину шхиперу надлежит сделать.

- Мне не нужна таможня! - сухо сказал шаутбенахт. - Мне не нужен лоцман там. Мне нужен лоцман здесь!

Кормщик спросил простодушно:

- А для чего здесь? Разве ж у тебя карты нет?

Шаутбенахту надоела такая игра. Обернувшись к Окке, он сказал резко:

- Спроси у него, не возьмется ли он за хорошую плату провести корабли до города Архангельска. Дай понять невеже, что в случае отказа его ждет лютая смерть. И быстрее...

Окке подергал носом, заговорил, кормщик слушал внимательно, сильные челюсти его пережевывали мясную лепешку.

- Ну? - спросил шаутбенахт.

- Он думает! - ответил Окке.

- Пусть думает быстрее! - велел Юленшерна.

Лонгинов сокрушенно вздохнул, солгал, что провести эскадру никак не может: сам он не архангельский, родом из Онеги, двинским фарватером не хаживал.

- Про наказание сказал? - спросил Юленшерна.

- Да, гере шаутбенахт.

- И что же?

- Он отвечает, что все в руке божьей...

Юленшерна велел увести кормщика и посадить в канатный ящик. Матросы молча скрутили русскому мужику руки за спиной, корабельный кузнец заклепал кандалы на его ногах. Пригнали других русских - с карбаса и лодьи. Рыбаки шли спокойно, но увидев кормщика, приостановились, переглянулись. Один спросил:

- По-здорову, значит, гостевал, Нил Дмитрич?

- По-здорову! - ответил Лонгинов. - Пасись, ребята. Шведы! Не послушались указа - в море не ходить, теперь надобно держаться.

Матрос с серьгой в ухе тяжело ударил кормщика по спине, тот, не оглядываясь, пошел, мелко переступая закованными в цепи ногами. Шаутбенахт щурился на русских рыбаков, посасывал трубку. Стояли они в свободных позах - кто сунув руку за пояс, кто выставив ногу вперед, кто и вовсе не глядел на шаутбенахта.

Сзади к ярлу подошел шхипер Уркварт, сказал сладким голосом, что с этими людьми церемониться не советует: их надо вешать на глазах друг у друга, тогда, может быть, кто и станет сговорчивее. Ярл Юленшерна запахнул непривычный, стеганный на пуху кафтан, взял с подноса чашку кофе, которую принес Якоб...

- Скажи им, - велел Юленшерна Окке Заячьему носу, - скажи, что тот, кто согласится провести нашу эскадру к городу Архангельскому, станет богатым человеком. Кто не согласится - будет казнен...

Окке перевел.

Русские переглянулись. Копылов, немолодой кормщик с суровым взглядом, в вязаной куртке, в рыбацких бахилах, усмехнулся:

- Одурели? Там шведа пасутся, разве пустят пройти? По всей Двине для бережения от шведских воров пушки понаставлены, каронады, коты, - десять раз потопят, покуда в устье войдешь...

Окке испуганно посмотрел на адмирала, перевел деликатно, смягчая грубость русского. Якоб, держа поднос, не отрываясь смотрел на

рыбаков: вот они какие, простые русские люди!

Шаутбенахт отхлебнул кофе, приказал перевести рыбакам, что дает им на размышление ровно десять минут. Пусть сюда принесут десятиминутные песочные часы, у штурмана есть такие.

Уркварт мигнул Окке, тот, размахивая локтями, побежал в штурманскую каюту, вернулся запыхавшись, перевернул часы, песок посыпался тоненькой струйкой. Русские смотрели на песок, неторопливо переговариваясь, и лица у них были спокойные.

- То-то, что не надо было в море идти! - сказал один, загорелый, с пушком на верхней губе, остриженный кружочком. - Верно бирюч кричал, шведы и впрямь...

- Надо, не надо! - ответил другой. - Харчить-то брюхо просит, вот что худо. Без моря как прохарчишься...

Третий - старичок с веселым блеском в глазах - сказал насмешливо:

- Лонгинов-то Нил Дмитрич за столом сидел, а нам не подносят. Нет, серчает старый пес; вишь, ходит. Ходи, ходи, немного выходишь...

Молодой засмеялся, прикрыл рот ладонью. Потом сказал серьезно:

- Хаханьки да хиханьки, а дед сердитый. Как бы и впрямь животы нам свои здесь не скончать...

Песок все сыпался - тоненькой золотистой струйкой. С криками, косо, на распластанных крыльях неслись к воде чайки. Шведские матросы угрюмо посматривали на русских. Ярл Юленшерна негромко спросил Окке:

- О чем они говорят?

- Обдумывают, как поступить! - осторожно ответил Окке.

- Они начнут обдумывать после того, как мы повесим половину из них! - сказал шхипер Уркварт. - Я знаю, что это за народ!

Юленшерна покосился на шхипера и приказал звать корабельного профоса. Широкоплечий, низкорослый матрос, с вывернутыми ногами, быстро полез на мачту - закидывать петлю на нока-рею. Из люка неторопливо, позевывая в кулак, вышел профос Сванте Багге, в красном колпаке, с голыми волосатыми руками.

- Кого? - спросил он, обводя русских взглядом.

- Всех, начиная с самого младшего! - велел Юленшерна. - И побыстрее!

Сванте Багге закричал матросу, что неверно закидывает петлю, матрос поправил как надо. Песок пересыпался весь из верхнего пузырька в нижний. Матросы - Кристофер, Билль Гартвуд с серьгой в ухе, Швабра - подошли к самому молодому русскому. Швабра знаками велел ему снимать кафтан. Окке торопливо перевел:

- Одежду сними, человек, одежду...

Русский огляделся, как бы недоумевая, загорелое лицо его стало совсем детским, он оттолкнул Швабру, сказал сердито:

- Очумели? За что вешать-то?

- Я жду! - сказал Сванте Багге.

Старичок вышел вперед, загородил собою молодого, постучал себя кулаком во впалую грудь, сказал Швабре истово, раздельно, как глухому:

- Меня для начала! Он - молодой, вьюнош! Меня - делай!

Перекрестился дрожащей рукой, поклонился своим низко, попросил:

- Простите, ребята, ежели что было...

Рыбаки угрюмо молчали, старик отдельно поклонился кормщику Копылову:

- Прости и ты...

И зашептал:

- Чего столбеете, дурни! Прыгайте в воду, плывите! Мне не выгрести, а вы не старые, здоровые, покуда очухаются - вон где будете... Висеть на вешалке - не велика честь...

Копылов взял старика за плечи, посмотрел ему в глаза, поцеловался с ним трижды. Старик еще шепнул:

- Ярить их сейчас буду, а вы делайте как сказано. Ну, прощай!

Он расстегнул на шее заношенный воротник рубашки, сам, ловко ступая тонкими ногами, пошел к раскачивающейся петле, выцветшими глазами оглядел неприветливый берег острова, серо-зеленое море, лица шведских матросов, построенных по бортам флагманского корабля. Опять перекрестился и сказал громким злым голосом:

- Стреж до города Архангельского знаю, а не поведу! И не найдете вы, воры, такого человека на нашей земле, чтобы повел корабли ваши, не найдете иуду. Во, во!

Сложил кукиш, вытянул его Юленшерне, сам вдел голову в петлю, выбив ногою скамейку.

Профос Сванте Багге навалился всем телом на пеньковую веревку, визгливо заскрипел блок. Ярл Юленшерна сказал шхиперу Уркварту:

- Блок не смазан, выпороть виновного!

В это мгновение страшно закричал матрос Швабра. Ярл Юленшерна оглянулся на крик и увидел, что русские, назначенные к казни, разбросав матросов, прыгают в воду. Матрос Гартвуд корчился на палубе, матрос Швабра кричал в воде.

- Огонь! - скомандовал Уркварт. - Огонь по беглецам!

Но пока на палубу выбежали солдаты с ружьями, пока они поняли, в кого надо стрелять, прошло слишком много времени. Выстрелы гремели впустую, двое рыбаков уже вылезли на прибрежные камни, остальные подплывали к берегу.

- Тем, кто упустил русских, по тридцать плетей каждому! - приказал Юленшерна шхиперу Уркварту. - Может быть, они станут поумнее и поймут, в какую страну мы идем. Проклятые ротозеи! Пороть немедленно, сейчас же!

2. МЫ ПРИМЕМ ИХ КАК ГОСТЕЙ!

Вскоре с эскадры завидели еще какое-то рыбацкое судно. "Божий благовест" бросился его нагонять.

Лейтенант Юхан Морат приказал сыграть артиллерийскую тревогу, констапели, дожевывая обеденную солонину, побежали к своим пушкам. Артиллерийский офицер засвистал в роговой свисток трижды, это значило: стрелять только погонной пушке, остальным быть в готовности. Констапель вжал пальник в затравку, носовая пушка пальнула, по серым волнам глухо раскатился выстрел. Карбас продолжал уходить.

- Он недурно лавирует! - сказал Юхан Морат.

Артиллерист крикнул констапелю:

- Заряжай!

И погодя:

- Огонь!

Пушка ударила во второй раз. Было видно, как ядро обдало брызгами корму русского суденышка. Лейтенант Морат погрозил кулаком констапелю. Артиллерийский офицер сам побежал к пушке, оттолкнул констапеля, стал гандшпугом опускать медный ствол. Третий выстрел, видимо, по-настоящему напугал русских рыбаков, они сбросили паруса. Теперь их суденышко беспомощно покачивалось на воде.

Морат велел барабанщику бить абордажную тревогу. "Божий благовест" навалился на карбас левым бортом, солдаты, в железных нагрудниках, с кривыми ножами в руках, стали прыгать вниз - на рыбацкие сети, на куль ржаной муки, на нехитрые припасы, взятые с собою рыбаками в море. Матросы крючьями держали рыбацкое судно плотно у борта, сам Морат спустился на карбас. Пойманных было всего двое. Лейтенант не поверил, сам нырнул в маленькую каютку, где на столе нашел книжку по навигации. Книжка его удивила, он спросил про нее старшего рыбака:

- Кому пришло в голову изучать навигацию?

Старший не понял, младший ответил на хорошем немецком языке:

- Это моя книга. Отдайте ее мне.

- Все будет зависеть от того, как вы себя поведете в дальнейшем! - произнес лейтенант Морат.

И приказал надеть на пленников цепи-тройчатки с браслетами на горле и на кистях рук. Обоих рыбаков перевели на "Божий благовест", карбас был потоплен. Более в этот день никого задержать не удалось, и лейтенант велел идти к Сосновцу, где стояла эскадра.

В туманных серебряных сумерках белой ночи еще издали был виден повешенный на мачте флагмана русский рыбак. Лейтенант Морат удивился -почему только один? Артиллерист "Короны" Пломгрэн с невеселой улыбкой сказал Мората, что остальные убежали.

- Как так - убежали?

- Очень просто - убежали. Стали прыгать с борта в воду во время обряда казни. Альварес дель Роблес до сих пор ищет их на острове, но вряд ли найдет...

- Остров маленький! - сказал Морат. - Не найти нельзя...

Пломгрэн с сомнением покачал головой:

- Это отважные парни, Юхан. Убегая, они разбили голову матросу, а другого столкнули в воду. Пока мы спускали шлюпки, беглецы были уже на острове.

- Что шаутбенахт?

Артиллерист махнул рукой.

Морат обдернул на себе кафтан, прокашлялся; держа шляпу в руке, постучал в дверь каюты флагмана. Шаутбенахт крупными шагами ходил из угла в угол, фру Юленшерна, вся в розовом, сидела с ногами в кресле. Окна и двери на галерею были открыты, за кормою корабля глухо шумело море.

- Ну? - спросил Юленшерна.

Лейтенант доложил, что ему удалось задержать рыбацкий карбас, на котором, по его мнению, шли двое опытных моряков.

- Почему вы считаете их опытными? - спросил шаутбенахт.

Морат положил на стол книжку, которая была на карбасе. В глазах адмирала блеснуло любопытство.

- Если простые рыбаки читают навигацию, - произнес шаутбенахт, - то трижды прав его величество король, посылая сюда нашу экспедицию... С московитами, строящими флот, пора покончить раз навсегда...

Он задумался.

Фру Юленшерна сидела в кресле, глаза ее насмешливо щурились.

Лейтенант Морат молчал.

В трехстворчатых дверях, ведущих на галерею, показался полковник Джеймс в пудреном парике, с родинкой у рта, томный, надменный.

- На острове стреляют! - сказал он. - Надо надеяться, что наш дель Роблес поймал молодчиков.

- Весьма вероятно, что они его поймали! - сказала Маргрет из своего

угла.

- Кто это - они? - спросил адмирал.

Фру Юленшерна засмеялась.

- Те, кто скрывается на острове.

- Пожалуй, все это не слишком весело! - произнес полковник Джеймс. - Фру смеется, но нам не смешно...

- Несколько раньше вы говорили о походе в Архангельск как об увеселительной поездке, - сказала Маргрет. - Как же мне не смеяться? Эскадра его величества не может справиться с дюжиной простых мужиков...

Она встала - высокая, красивая, гибкая; закинув руки, поправила волосы, потом, щуря глаза, спросила у Джеймса:

- Вы думаете, что это не так?

Джеймс пожал плечами, не зная, что ответить. Фру Юленшерна заговорила насмешливо:

- Быть может, пора перестать их пугать? Они не слишком трусливы - эти русские мужики, о которых в Стокгольме утвердилось мнение как о бестолковом стаде. Разве вы не замечаете, что смерть не страшна им? Этот русский старик, который до сих пор раскачивается на рее, не испугался казни, не правда ли? Значит, надо обещать им такую награду, чтобы у них закружилась голова! Бог мой, я совершенно понимаю моего супруга ярла Юленшерну - ему не может быть приятно болтать с русскими мужиками, но если нет другого способа достичь желаемого, то почему не поболтать с ними? Надо пересилить себя. Мы стоим на якоре вторые сутки, а что толку? Разве мы будем ближе к Архангельску, если повесим еще дюжину московитов? А ведь мы идем в Архангельск, наша цель - Архангельск, и только Архангельск. Ее глаза встретились с глазами мужа, зрачки шаутбенахта холодно блеснули и погасли. Маргрет отвернулась.

- Мы слушаем вас, фру! - сказал Джеймс.

- И этот маскарад! - воскликнула Маргрет. - Зачем он? Шаутбенахт и офицеры флота его величества короля должны быть при шпагах, тогда

только они произведут должное впечатление на русских мужиков, а так, господа, вы просто смешны. Посмотрите на себя, полковник Джеймс! На кого вы похожи в одежде негоцианта?

Полковник обдернул на себе кафтан, сказал мягко:

- Фру несомненно права. Мы еще ничего не сделали, но русские уже видели нас и безнаказанно ушли с острова, чтобы предупредить своих...

- Мне неясно, однако, существо вашей мысли, Маргрет, - произнес адмирал. - Я понимаю, что вы устали от путешествия и испытываете желание как можно скорее ступить на твердую землю города Архангельска, но что же именно вы советуете?

В голосе супруга фру Юленшерна уловила многозначительные нотки и на мгновение смешалась.

- Ах, не все ли равно! - уклончиво ответила она. - Здесь все будут поступать по-своему, я же знаю. Вы будете вешать, стрелять, опять вешать! Потом ваш профос придумает новую пытку. Может быть, вы и правы, - я, разумеется, ничего не могу вам посоветовать...

В ее голосе послышались слезы.

- Несомненно, фру переутомлена путешествием, - со вздохом сказал Джеймс.

- Фру желает поскорее попасть в Архангельск! - деревянным голосом заметил Юленшерна.

Дверь отворилась, флаг-офицер доложил, что с берега прибыл дель Роблес. Испанец вошел сконфуженный, рот, подбородок и шея у него были завязаны окровавленной тряпкой.

- Ну? - спросил Юленшерна.

- Плохо, гере шаутбенахт! - прошамкал дель Роблес.

- Что плохо, черт бы вас побрал?

- Они разорвали мне рот! - донеслось из-под тряпки.

Фру Юленшерна с отвращением повела плечами, ушла за перегородку. Тотчас же стало слышно, как она напевает там: "Помпе, верный слуга короля..."

- Они засели в пещере... - бормотал испанец. - Это дьяволы, а не люди,

гере шаутбенахт. Мы не знали, что пещера имеет другой выход. И когда пули и порох у них иссякли, они стали бить нас камнями. Но это еще не горе, горе в том, что их там очень много. Там скрываются не только беглецы, осужденные к повешению, там скрываются еще какие-то твари... О, господь милосердный, не знаю, есть ли мертвецы среди них, но мы потеряли четырех хороших матросов...

- Четырех! - воскликнул шаутбенахт.

- Четырех! - подтвердил боцман.

- Еще не начав дела, мы потеряли столько людей! - сказал полковник Джеймс. - Это очень скверно, боцман...

- Среди команд пойдут всякие слухи! - вздохнул лейтенант Морат. - Это очень опасно...

- Вы можете идти, лейтенант! - сказал Юленшерна. - Я вас не задерживаю...

Морат ушел.

- Мы потеряли четырех, - виноватым голосом шамкал дель Роблес. - Но разве мы могли предотвратить несчастье? Когда они вышли нам в тыл, некоторые из нас потеряли присутствие духа, и случилось так, что рыбаки овладели двумя ножами и мушкетом...

- Без пороха и без пуль? - спросил Джеймс.

- Нет, этот мушкет был заряжен...

- Удивительное совпадение! - сказала из-за перегородки фру Юленшерна.

У дель Роблеса злобно блеснули зрачки, фру Юленшерна вышла из спальни, спросила насмешливо:

- Чем же это кончилось?

Боцман молчал потупившись.

- Убирайтесь вон! - сказал шаутбенахт.

- Я отправлюсь на остров сам! - сказал полковник Джеймс. - Действительно, фру права. Мы делаемся смешными...

Шаутбенахт круто повернулся к полковнику, сказал ядовито:

- Вам следовало сделать это несколько раньше. Неужели вы думаете, что

они настолько глупы - сидят и дожидаются нового отряда? По ту сторону пролива - становище, из становища, конечно, пришлют за ними лодку...

- Да, но становище безлюдно! - возразил Джеймс.

- Для нас, пора понять, что только для нас...

Юленшерна откинулся на спинку кресла, заговорил резко:

- Пусть сюда приведут рыбаков, пойманных лейтенантом Моратом. Мы будем говорить с ними иначе, чем говорили до сих пор. Пусть будет накрыт стол, примем их как гостей, черт бы побрал этих упрямцев. Мы будем их уговаривать, мы будем с ними пить, а если я слишком устану, то вместо меня продолжать беседу будете вы, господин Джеймс. Офицеры пусть играют на лютнях, а фру Маргрет, быть может, нам споет. Почему бы ей не спеть, ведь она споет, чтобы попасть в Архангельск. Не правда ли, Маргрет?

Фру Юленшерна не ответила: адмирал становился несдержанным. Впрочем, она его извиняла - поход был нелегким.

- Не более чем через час здесь соберется все лучшее общество эскадры! - сказал шаутбенахт, поднимаясь. - Мне надо отдохнуть. Я чувствую себя не слишком хорошо...

Оставшись одна, фру Маргрет позвонила в колокольчик и велела Якобу накрыть к ужину. Якоб ушел. Камеристка-негритянка принесла черное платье с жемчужным шитьем. Одеваясь, фру говорила:

- Бог мой, какая скука. На редкость скучно! Все эти офицеры - грубияны и пьяницы, от них решительно нечего ждать. Дать им волю - они только бы и делали, что пили. А полковник Джеймс просто старая развалина. Он красит щеки и чернит брови. К тому же он, кажется, еще и трусоват...

Камеристка нечаянно слишком сильно затянула шнурок корсажа, фру Юленшерна ущипнула ее розовыми ногтями, сказала капризно:

- Туго!

В дверь постучали.

- Кто это? - спросила Маргрет.

- Это мы, рабы фру Юленшерны! - произнес голос артиллериста Пломгрэна.

- Разве уже миновал целый час? - спросила фру Маргрет.

- Для меня миновал год! - воскликнул из-за двери артиллерист.

- Более, чем год! - подтвердил Морат.

- Прошло целое столетие! - голосом умирающего произнес галантный Бремс.

Одевшись, она позволила войти. Они поклонились очень низко и сели у клавесина - настраивать свои лютни. Фру Юленшерна у зеркала надевала браслеты.

- Что мы сегодня празднуем? - шепотом спросил Улоф Бремс.

- Вероятно, мы будем поминать тех четырех матросов! - также шепотом ответил Пломгрэн. - А может быть, и себя самих... Наши дела идут не слишком хорошо...

- Одно я знаю теперь твердо, - произнес чуть слышно Юхан Морат. - Когда состарюсь - сам сатана не заставит меня жениться на молодой!

Он засмеялся и, тронув струны лютни, запел:

Гонит ветер корабль в океане,

Боже, душу помилуй мою...

3. СТОРГОВАЛИСЬ

В канатном ящике было душно, пахло пенькою, крысами, которые бесстрашно дрались и пищали под ногами. Слева, за переборкой, грубыми голосами разговаривали матросы, один ругался, другой его усмирял, потом послышался смех, стук костей.

- По-шведски говорят? - спросил Рябов Митеньку.

- По-разному! - сказал Митенька. - Один по-шведски, а другой - англичанин. И еще один - голландец, что ли...

- Всякой твари по паре! - усмехнулся Рябов.

Они опять замолчали надолго. Митенька задремал, вздрагивая во сне, шепча какие-то слова. Рябов думал. Две крысы с писком пробежали по его ноге, он вздрогнул, вновь задумался. Было слышно, как матросы воющими голосами затянули песню. Митенька совсем проснулся, сел на бухте каната, спросил:

- Что ж теперь будет, дядечка?

- А то, брат, будет, что зря ты со мной увязался.

- Не зря! - упрямо возразил Митенька. - Вы завсегда со мною в море хаживали, вот живым и возвращались. А пошли бы без меня - значит, худо...

Кормщик засмеялся, потрепал Митеньку по плечу.

- Молодец! По-твоему, выходит, что раз ты со мной - лиха нам не ждать...

Помолчали.

- А корабль большой! - сказал Митенька. - И другие тоже большие. Я все разглядел...

Рябов не ответил.

- Дядечка! - негромко позвал Митенька.

- Ну, дядечка?

- Я про то, дядечка, - для чего мы в море-то пошли?

- Я пошел, а ты за мной увязался! - ответил Рябов наставительно. - Выследил и увязался. Кто тебя звал? Ну-ка, скажи-ка, звал я тебя? Теперь вот на себя и пеняй!

- Дядечка, а для чего мы паруса сбросили? Может, и убегли бы от шведа?

- Да ведь они из пушки палили?

- Во-она! Палили, да не попали.

- Еще бы пальнули и попали.

- Не так-то просто...

- Просто, не просто! - с досадой сказал Рябов. - Все тебе рассуждать. Попались - значит, сиди теперь да помалкивай...

Под ногами вновь завозились крысы. Митенька вздрогнул, забрался повыше на канаты, оттуда спросил:

- Дядечка, а книжку теперь мне не отдадут?

Рябов усмехнулся:

- О чем вспомнил! О книжке! Еще как живыми отсюда вынемся...

- Мне без той книжки и не возвернуться в Архангельск! - вздохнул Митрий. - Иевлев Сильвестр Петрович дал; береги, говорит, пуще живота да учи денно и нощно, тогда пошлю тебя в навигацкое, на Москву...

- Далеко нам с тобою нынче, парень, до Москвы! - невесело сказал кормщик. - Дальше, чем с Груманта.

- Повесят нас? - быстро спросил Митенька.

- Ну, вот уж и повесят...

- Дединьку-то повесили. Я признал, то - Семен Григорьевич.

Рябов молчал.

- Нет, уж повесят! - убежденно произнес Митенька. - Забрали, цепи надели, как не повесить? Теперь повесят вскорости...

- А ежели повесят, тебе дорога прямая - в рай. Ты - молельщик! - сказал Рябов. - Там таких любят. Замолви и за меня словечко: дескать, удавили вместе, мужик был грешный, да я его отмолю... Тебе, брат, бояться нечего. Вот мне - хуже. Меня в ад - сковороды лизать горячие...

Митенька наверху всполошился.

- Тьфу, тьфу, для чего эдакие слова-то говорить?

- То-то что правду говорю...

Они опять замолчали надолго. Матросы за переборкой ругались, играя в кости. Было слышно, как с шорохом набегали волны, как пробили барабаны, как запел рожок, потом - горны. На всей эскадре откликнулись сигнальные барабаны.

- Дядечка, чего сейчас - утро али вечер? - спросил Митенька сонно.

- А нам не все едино? - ответил Рябов.

Потом за переборкой затихли - наверное, легли спать. Гремя цепью, Рябов поднялся, наклонился к Митеньке, сказал ему серьезно, со значением:

- Ты вот чего, Митрий: что бы ни увидел и ни услышал - молчи. Молчи, и как я делаю, так и ты делай. Хорошо буду делать али худо - знай, молчи.

Митенька широко открыл глаза, в темноте блеснули зрачки.

- Вишь, вытаращился, - с досадой сказал кормщик. - Как велено тебе - так и делай...

- Ладно! - шепотом ответил Митенька.

Вновь загремели цепи - Рябов лег на канаты. И тотчас же за переборкой, к которой он прижался спиною, горячо и быстро зашептал чей-то голос:

- Мужички, ай, мужички? Откликнись!

Рябов повернулся, приник ухом к сырой прелой доске. Там, за переборкой, кто-то грузно и тяжело шевелился, сопел.

- Русский, что ли? - напряженным громким шепотом сказал Рябов.

- Да, русский, русский, рыбак с Архангельску. А ты кто будешь? По голосу будто знакомый. Скажи, сделай милость, будто схож на кормщика одного... Не Рябов?

- Ну, Рябов...

- Кто там, дядечка? - с тревогой спросил Митенька.

Кормщик отмахнулся.

- Рябов я, Иван Савватеевич. А ты кто?

- Да Лонгинов, не признаешь, что ли? Сколь годов хаживали...

- Нил?

- Он! С Копыловым мы пошли, черт дернул, женка все подбивала - Олешке да Лизке харчить нечего, упромысли хоть малость рыбки. Вот упромыслили...

- Заковали?

- Крепко! Да ты слушай, Иван Савватеевич. Может, еще и уйдем...

Лонгинов зашептал еще тише, Рябов больше догадывался, чем слышал. Будто есть на корабле кто-то свой, обещал подпилок да пилку - пропилить дыру в камору, где припас корабельный свален. Оттуда уйти дело нехитрое. Обещал еще платье дать шведское...

- Да кто он таков? - спросил Рябов.

- Мужик здешний, по-нашему говорит, кто - не ведаю, в лицо не видел. Рядом корабельные харчи, он там чего-то все носил да ставил. Через переборку, как с тобою, говорили. Нынче должен еще наведаться, скажу про тебя, поможет...

Рябов молчал.

- Не слышишь, что ли? - удивленно спросил Лонгинов.

- Слышу.

- Что молчишь-то?

- А чего говорить...

Лонгинов завозился за переборкой, потом выругался, погодя совсем тихо спросил:

- Да в самом ли деле - Рябов?

- Дядечка! - тревожно позвал Митенька.

За дверью слышались грубые голоса матросов, лязг оружия, брань.

- Дядечка!

- Не глухой! - отозвался Рябов. - Слышу...

- Вешать будут, дядечка...

- А ты поплачь...

В замке со скрипом повернулся ключ, Кристофер и Билль Гартвуд с масляными фонарями в руках остановились на пороге. За ними с мушкетами наперевес стояли несколько солдат и профос Сванте Багге.

- Выходи! - приказал Билль Гартвуд.

- Замок надо открыть! - сказал профос. - Тройчатка заперта на замок. Осторожнее, Кристофер, ты наклонишься, а он ударит тебя по затылку...

Солдаты сунули стволы мушкетов в дверь, в самые лица Митеньки и Рябова, Кристофер открыл замок, намотал цепь на руку. На Митеньку накинули аркан. По трапам поднялись на шканцы. Кристофер ногой ударил Рябова в бок - показал, что надо идти на ют. Оттуда доносилась музыка, женский голос пел песню. Флаг-офицер шаутбенахта осмотрел русских рыбаков, покачал головой:

- Где их кафтаны? Ворье! Уже успели обокрасть! Как в таком виде они покажутся гере шаутбенахту? Впрочем, это не мое дело!

Рябов, гремя цепью, без кафтана, в изорванной сорочке, не торопясь вошел в адмиральскую каюту, где горели свечи, сверкали серебро и хрусталь, где пела рыжеволосая женщина в черном, вышитом жемчугами платье, где на лютнях и на клавесине играли мужчины в париках, дымя короткими трубками...

Фру Юленшерна допела песню, приказала Окке:

- Пусть русские сядут и будут нашими гостями. Передайте - их не ждет ничего дурного, честь ярла шаутбенахта тому порукой! Им нечего бояться...

Окке перевел, Рябов ответил лениво:

- Покуда с вашим гостеваньем, с меня да вот с вьюноша кафтаны воровским делом содрали, цепи заместо кафтана надели, - то-то хорошо у вас гостевать...

Окке, учтиво изогнувшись перед фру Юленшерна, стал переводить, Рябов его перебил:

- Наврет чего, не надобно нам вашего толмача. Мой лучше скажет...

Митенька четко, коротко, бесстрашно перевел все, что сказал кормщик. В каюте сделалось тихо, офицеры переглядывались, шаутбенахт исподлобья разглядывал наглого русского лоцмана. Без доклада вошел шхипер Уркварт, всплеснул руками:

- Большой Иван! Вот счастливая встреча! Теперь-то мы будем друзьями, я надеюсь! О, если бы ты тогда ушел со мною в море, как бы изменилась твоя судьба...

И, не садясь, стал быстро рассказывать шаутбенахту - какой замечательный моряк Большой Иван. Он исходил все Студеное море, не раз бывал на Новой Земле, хаживал на Грумант. Много лет тому назад шхипер заплатил большие деньги монастырю, который владел тогда лоцманом, за то, чтобы иметь Большого Ивана в своей команде, но это не удалось...

- Чего он врет? - спросил Рябов у Митеньки.

- Нахваливает вас, дядечка, - шепотом ответил Митенька.

Лейтенант Юхан Морат подтвердил слова Уркварта:

- И я склонен предполагать, что этот человек - опытный моряк, лучше которого не отыскать. На его судне мы обнаружили компас, градшток, книжку по навигации. И он уже не так молод, во всяком случае - он зрелый муж. Наверное, он недурно знает море...

Уркварт подошел к Рябову, хлопнул его по плечу, заговорил добродушно:

- Этот Иван - подлинный моряк! Я не забуду, как в давние годы, когда я еще был шхипером на "Золотом облаке", он вводил мое судно в Двину. Пусть корабль, которым я командую, не имеет десяти футов воды под килем, если мы с Большим Иваном не делали чудеса на двинском

фарватере. Разве ты не узнаешь меня, Иван? Правда, много лет прошло с тех пор...

Рябов спокойно оглядел раздобревшего шхипера, ответил прилично:

- Здравствуй, шхипер! Давненько не виделись, ишь ты, какой матерый стал. Чего в Архангельск больше не хаживаешь?

- Вот теперь иду! - засмеялся Уркварт. - Иду с богатым караваном. Ну, Иван? Как это говорится по-русски? Кто вспоминает былое - тот остается слепым? Ты на меня был в обиде, но я хотел для тебя добра. Если бы ты тогда ушел с нами - ставлю об заклад душу, - теперь тебе доверили бы целый корабль. Ты бы носил знатное платье и побрякивал золотыми в кармане...

- Пусть он сядет за стол! - приказал шаутбенахт по-шведски. - Если он действительно столь отменный моряк, как вы говорите, - пусть сидит с нами.

- Садись, Большой Иван! - сказал Уркварт. - Садись, старый приятель! Мы хотим беседовать с тобой как с нашим другом. Мы желаем тебе добра, и только добра! Садись!

- Что ж, в цепях и садиться? - спросил кормщик. - Нет, шхипер, так неладно! Либо я у вас полоняник, тогда мне не за столом сидеть, а в канатной каморе; либо я у вас гость - тогда с поклоном и встречайте!

Уркварт засмеялся, ласково покачал головой:

- Ах, Большой Иван, узнаю твой характер! Сколь много лет прошло, а ты вовсе не изменился. Каков был - таков и есть. Но я очень, очень рад, что мы повстречались. Наша встреча в море - это подарок судьбы и тебе и нам...

Корабельный кузнец быстро снял цепи, Рябов отбросил их ногой, огладил шею, кисти рук; разминаясь, повертел головой, потом сказал шхиперу:

- Еще вели, господин, кафтан чтобы мне отдали. Нехорошо драным да бедным среди вас сидеть. Чего ж срамиться...

Шаутбенахт покосился на лейтенанта Мората, тот быстро заговорил, что теперь одежду не отыскать, наверное осталась на потопленном карбасе. Юленшерна велел принести другие кафтаны, флаг-офицер побежал

выполнять приказание, ворча под нос:

- Все равно вешать, зачем еще кафтаны...

Рябов сел в кресло у переборки, зеленые глаза его мерцали недобрым огнем, лукавая улыбка мелькнула на губах:

- Садись, Митрий, в ногах правды нет. Вишь, каюта какая богатая. Ничего живут, с достатком. И ковры, и по стенам золотая кожа, и сами сытые, а?

Флаг-офицер принес одежду, Рябов растянул на руках кургузый шведский кафтанчик, усмехнулся:

- Нет, дружки, так у нас дело не пойдет! За дурака меня считаете? Кафтан у меня был добрый, тонкого сукна, пуговицы костяные, шнуром обшит, пояс тоже был. А принесли кацавейку... И у парня у моего кафтанчик был справный, камзол тоже теплый...

Митенька холодным голосом перевел слово в слово, офицеры заулыбались, полковник Джеймс по-русски спросил, что кормщик хочет вместо своего кафтана. Пряча злую улыбку, кормщик ответил, что одеждой не торгует, что вместо кафтана ему кафтан и надобен, и не бабий летник, не сарафан, а вот вроде как на самом полковнике Джеймсе - таков бы и ему пристал...

Окке перевел, фру Юленшерна звонко расхохоталась:

- А он забавный, этот мужик! Забавный и смелый! Гере Джеймс, отдайте ему ваш кафтан. Ведь вам не жалко, правда? Посмотрим, как будет выглядеть русский мужик в кафтане из серебряной парчи. Это, правда, интересно...

- Не вижу в этом ровно ничего интересного, - вяло сказал обиженный Джеймс, - но приказание фру для меня - закон!

И, поджав губы, вышел.

Митенька натянул на себя шведский кафтанчик, разгладил ладонями волосы, сел важно. Уркварт рассказывал вполголоса о поморах, о том, как они горды и как любят почет. Шаутбенахт слушал, попивая легкое вино, выжидательно барабаня пальцами по столу. Кают-вахтер принес кафтан Джеймса, Рябов вдел руки в рукава - кафтан сразу затрещал. Фру

Юленшерна сказала со смехом:

- Медведь, настоящий русский медведь...

Уркварт попытался застегнуть на Рябове кафтан, кафтан не сходился, кормщик ворчливо сказал:

- Пояс еще на нем был, я видел! Чего же без пояса, мой-то с поясом и шнуром обшит... Вишь, не сходится, а с поясом и сошлось бы...

Сам, не дожидаясь приглашения, сел в то кресло, где раньше сидел Джеймс, осмотрел внимательно стол, пожаловался Митеньке:

- Завсегда у них так, у иноземцев. Тарелок наставят, блюд, ножичков разных, ложек, стаканов, а харчей путных - и всего ничего. Вишь - рыбка дохлая, вишь - сухарь, мяса чуть-чуточка - и будь здоров! Нет, они нам, други любезные, карбас потопили, они меня голым-босым оставили, они меня и кормить будут по-нашему, а не по-своему. Скажи им, Митрий, на Руси-де едят толстотрапезно, а так, что ж, - насмешка одна. Пущай принесут щей, головизны какой, тельное там, другое что...

Митенька с удивлением, робея, взглянул на кормщика, тот едва заметно улыбался, в глазах его горели быстрые недобрые огни, между бровями легла складка. Митенька знал это выражение лица кормщика: таким он становился в море, в жестокий шторм...

Хлопнула дверь, вернулся Джеймс.

Рябов поднял стакан с вином, сказал полковнику:

- Что ж, господин, у тебя и другой кафтан не хуже парчового. Вишь, тоже с серебром, шитье какое. Богато вы тут живете, безотказно. Торгуете, я чаю, с выгодой, безубыточно...

Джеймс сел рядом с фру Юленшерна, наклонился к ее розовому душистому уху, сказал шепотом:

- Он просто дурак, этот русский Иван. До сих пор не понял, что мы вовсе не купцы...

- Он простодушен и доверчив! - ответила фру Юленшерна. - Дитя моря... Ничего, со временем он все поймет и будет отлично служить нам!

Все шло хорошо. Русский кормщик казался им воплощением простодушия, они посмеивались про себя и выполняли все его желания.

Русский был таким, каким они хотели его видеть, и все ладилось в этой игре до тех пор, пока кормщик не почувствовал на себе чей-то пристальный и недоброжелательный взгляд. Он осмотрелся - все было попрежнему, только Джеймс раскраснелся от выпитого вина, да Юхан Морат о чем-то перешептывался со своим другом Бремсом...

- Ну! - сказал ярл Юленшерна. - Не пришло ли время поговорить о деле?

Они сидели друг против друга - шаутбенахт, откинувшись в кресле, и Рябов. Шхипер Уркварт понял, поднялся, мигнул другим офицерам. Фру Юленшерна перебирала клавиши клавесина. Артиллерист Пломгрэн взял лютню, Морат запел старую песню о злой колдунье. Ярл Юленшерна медленно говорил:

- Вы проведете нашу эскадру двинским фарватером к городу Архангельску. Если нас ожидает баталия - мы примем ее и разгромим врага. Вы опытный моряк. Наши корабли - военные корабли, по всей вероятности вы это заметили. Очень многое из того, что нас ожидает, зависит от опытности и искусства кормщика, поэтому мы не посчитаемся с наградой денежной. Более того, гере лоцман. Когда мы выполним наш долг, заслуги ваши будут оценены королем Швеции. Всю мою жизнь я служил короне во флоте. Мне достаточно посмотреть на человека, и я вижу, моряк он или нет. Вы моряк! Вас ждет большое будущее. Вы станете лютеранином, и, несомненно, его величество король Швеции назначит вас капитаном одного из славных своих кораблей...

Рябов повернулся к Митеньке: тот сидел бледный, губы его беззвучно двигались. Кормщик велел спокойным голосом:

- Переведи что говорит.

Митенька заговорил. Рябов слушал потупившись, порою кивал головой. У клавесина все еще пели песню со странным припевом:

Караби,

Тити Караби,

Тото Карабо,

Эй, дядя Гильери,

Не пропади смотри...

- Все сказал? - спросил Рябов.

- Все, дядечка.

- Теперь отвечай!

Кормщик стал говорить, и вдруг понял, чей пристальный взгляд тревожил его: слуга в коротком красном кафтане убирал со стола посуду и порою словно упирался в Рябова упрямыми серыми жесткими глазами. Заметив, что кормщик замолчал, шаутбенахт приказал Якобу убираться вон. Тот, высоко держа поднос, пошел к двери. Кормщик заговорил опять. Он не смотрел на Митеньку, но видел, как юноша сжимает руки, слышал, как он вдруг задохнулся и как вновь стал дышать быстро и коротко.

- Ну? - с угрозой в голосе спросил Рябов.

- Не стану я переводить такое! - громко сказал Митенька. - Не стану. Да что ж это, дядечка?!

- А не станешь, так и не надо! - с той же угрозой произнес Рябов и поманил к себе Окке, который стоял у дверного косяка.

Окке подошел с готовностью, Митенька вцепился в руку Рябова, тот стряхнул его горячие пальцы, заговорил медленно, глядя на шаутбенахта:

- Эскадру я провести могу, но то дело нешуточное, надобно ждать большую баталию, и кто живым до Архангельского города доберется - пусть вечно бога молит. Пушек много, и пушки те грому натворят. Об том упреждаю. Еще на шанцах быть досмотру таможенному - бой там завяжется. Так что, может, и огород городить безвыгодно вам?

Шаутбенахт слушал внимательно, смотрел не отрываясь в глаза Рябову, сосал погасшую трубку. У клавесина весело пели:

Тити Караби,

Тото Карабо,

Эй, дядя Гильери...

- Дело большое, - говорил Рябов, - как у нас на Руси сказывают: либо - в стремя ногой, либо - в пень головой. Коли живым споймают - тоже шкуру сдерут. И не жить потом на своей стороне, господин, никак не жить. Любой мальчишка в рожу плюнет, да и как не плюнуть - изменник, иуда,

- тут пощады не жди... Значит, рассуждать надобно: ежели тое дело делать, иудино, уж так делать, чтобы до самой смерти жить-поживать да нужды не знать...

Шаутбенахт кивнул, соглашаясь. В каюту опять вошел слуга в красном кафтане, принес кувшин с ячменным пивом. Юленшерна не заметил его, слуга медленно, старательно расставлял кружки...

- Что там дальше будет - кто его знает! - продолжал Рябов. - Похвалит король али не похвалит, с деньгами завсегда проживешь, а без них - никуда. Не мудрен мужик, да киса ядрена. Вот я так и сужу. Цена моя большая, не таюсь, господин, да и затея ваша немалая...

- Сколько же он хочет денег? - сквозь зубы спросил шаутбенахт Окке.

- Много! - ответил Рябов, и глаза его опять вспыхнули. - Поболее, чем иуда...

- Дядечка! - воскликнул Митенька. - Дядечка! Бога побойтесь...

Рябов повернулся к Митеньке, сказал с жестокой усмешкой:

- А чего мне в сем деле бога бояться, Митрий? Не ершись, парень, не то живо тебя на цепь посадят. Сиди...

Окке шепотом перевел шаутбенахту, о чем говорили Рябов с Митенькой, ярл Юленшерна кивнул на Митеньку, спросил:

- Он хотел бы, чтобы его вздернули? У нас сие быстро делается... И, ежели твоя цена будет слишком высока, я позову профоса, который умеет торговаться...

Кормщик хитро прищурил глаз:

- Умеет? Ой ли, господин? Умел бы, так не стояла бы здесь твоя эскадра...

Он поднялся, поблагодарил за хлеб-соль, сказал твердо:

- Значит, не сторговались. Какая уж тут торговля, когда палачом грозят...

Быстро подошел шхипер Уркварт, встревоженно спросил, что случилось; Рябов ответил, что не любит, когда ему палачом грозятся.

- Поначалу вежливо, все как надо, а теперь и вешать? Не больно много толку с вешалки с вашей... Карбас потопили, снасть на дне, а теперь - палача... Нет, други, не тот Иван Савватеич Рябов человек, чтобы его

вокруг пальца обвести да обдурить, когда он выгоду свою видит...

- Сколько же, черт возьми?! - крикнул Юленшерна.

Рябов пошептал, словно прикидывал в уме, подвигал пальцами, сказал твердо:

- Риксдалеров золотых пять сотен. Триста нынче - да чтобы на стол выложить, двести - когда дело будет сделано. Стой, погоди, не все еще. Харч в море чтобы не с матросского стола шел, а отсюдова, да как скажу - так и подавали...

Окке переводил, в адмиральской кают все затихли, слушали изумленно. Шхипер Уркварт улыбался, полковник Джеймс смотрел в раскрытые двери галереи на бегущие за кормой волны...

- И чтобы в канатном ящике меня не держать! - говорил Рябов. - Каюту мне, как всем прочим морякам, и со всем приличием чтобы со мной говорили. Да виселицей меня не пугайте - пуганый!..

Он подумал и добавил в тишине:

- Еще как чего вспомню - скажу...

Окке кончил переводить, шаутбенахт Юленшерна сжал кулаки, как делывал это перед тем, как ударить провинившегося матроса в зубы, посмотрел на свои перстни, ответил:

- Наглец!

- Чего? Чего? - с любопытством спросил Рябов.

Окке не ответил - смотрел на шаутбенахта. Фру Юленшерна сказала назидательно:

- Мой друг, не торопитесь с отказом. Подумайте.

- Перестань ходить перед глазами! - с раздражением крикнул Юленшерна Якобу. - Кому нужно сейчас это дурацкое пиво?

И, позвонив флаг-офицера, велел сию же минуту прислать казначея эскадры с деньгами. Окке поклонился Рябову, рассказал, что его условия приняты.

- То-то что приняты! - угрюмо ответил кормщик. - А то шумит на меня, кулаком грозится...

Деньги он считал долго, потом потребовал себе кошелек, затянул на нем

ремешки, но раздумал, и еще раз принялся считать золотые монеты. Остолбеневший Митенька из своего угла смотрел на него широко раскрытыми испуганными глазами: перед ним был другой человек - страшный, жадный, совсем не похожий на того Рябова, которого он знал и любил всем сердцем...

Завязав кошелек, кормщик сказал шхиперу Уркварту:

- Еще немного и взял я с вас. Считай сам - карбас купить сколько станет? Сети добрые, снасть какую. Монастырю должок отдать. Женке гостинца, себе на гульбу... Да приодеться надобно, а то ходишь - шапка волосяная, рукавицы своекожаные, не осуди, что в лаптях, - сапоги позабыл в санях. Да и жить еще надобно - вот и выйдет баш на баш!

Он хлопнул Уркварта по жирной спине, засмеялся и сказал:

- Что ж песни петь бросили? Давайте гуляйте, гулять дело доброе, нынче-то живы, а чего завтра будет - кому ведомо? Разбойник - живой покойник...

Уркварт не понял, удивился:

- А разве может быть живой покойник?

- То - пословица! - ответил кормщик. - А в пословице еще не то бывает...

Митенька все смотрел на кормщика, - нет, это был он, Иван Савватеевич, и глаза прежние, такие, как делались у него в море, в злую непогоду, когда иные рыбаки уже пели себе отходную, а он смотрел вдаль, искал горизонт, прищурившись, и злые огоньки горели в зеленых зрачках...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Слово становится делом, дитя - мужчиной,
Ветер - бурей, кто же в этом сомневался?
Шамиссо

1. ДИТЯ - МУЖЧИНОЮ...

Флаг-офицер и кают-вахтер с масляным фонарем в руке повели их по коридору в каюту, назначенную кормщику капитаном "Короны". Слабый свет озарял абордажные крюки, висящие по стенам, ведра на случай

пожара, короткие копья, удобные для боя в узких корабельных переходах, свернутые кошмы, полубочки с песком.

- Здесь! - сказал флаг-офицер.

Рябов первым вошел в низкую душную каюту. Кают-вахтер опустил фонарь в гнездо. Флаг-офицер вежливо спросил, не будет ли у господина лоцмана каких-либо желаний. Кормщик зевнул, огляделся, сказал лениво:

- Войлочку бы хотя постелили на рундуки, что ж так-то на голых досках спать? Да винца ему вели, Митрий, чтобы принес, али пива, да погрызть чего от скуки...

Флаг-офицер поклонился, лицо его выражало презрение. Кают-вахтер стоял неподвижно.

- Побыстрее чтоб ворочались! - приказал кормщик. - Веселыми ногами, живо...

Шведы ушли, кормщик усмехнулся. Митенька смотрел на него остановившимся взглядом.

- Чего глядишь? - спросил Рябов. - Не узнал, что ли?

Митенька потупился, вздохнул, губы его дрогнули - хотел что-то сказать, но раздумал. Слуга в красном кафтане принес на медном подносе желтое пиво, солодовые лепешки с солью и тмином, коричневую водку, настоенную на калганном корне.

- Раздумал я пить! - сказал Рябов Митеньке. - Пусть унесет...

Слуга выслушал Митеньку, ушел со своим подносом. Митенька отвернулся от кормщика, сжал щеки ладонями, весь съежился, словно от холода.

- Митрий! - позвал Рябов.

Митенька не шелохнулся.

- Зря дуришь, парень! - сказал кормщик. - Не твоего ума дело...

Митенька молчал, съежился еще сильнее, худой, жалкий, в кургузом шведском кафтанчике. Кормщик лег на рундук, закинув руки за голову. Молчали долго...

- Ты вот чего, Митрий! - заговорил наконец Рябов. - Ты мне с малолетства

вот как верил! Ты и нынче мне верь. Ты не моги мне не верить...

Митенька встал, ударился худым плечом о косяк, хромая побежал по коридору. Рябов почувствовал неладное; грохоча бахилами, побежал за ним, крикнул:

- Митрий? Ты что? Митрий...

Кургузый Митенькин кафтанчик мелькнул у фонаря, висевшего возле трапа, Рябов побежал быстрее, выскочил следом за ним на рангоут, крикнул шведскому вахтенному матросу:

- Держи его! Держи!

Матрос понял - подставил ногу, Митенька споткнулся, упал на просмоленные доски палубы. Рябов поднял его, он стал рваться из рук, енавидящим голосом сказал:

- Все едино утоплюсь, не стану так жить...

- Да ты послушай! - велел Рябов. - Ты меня послушай, дурашка...

У Митеньки дрожали губы; обессилев, он медленно пошел по шканцам. Шведы переговаривались, глядя на него; один разбудил Уркварта, доложил, что русские, кажется, хотели убежать. Шхипер, накинув халат, вышел из каюты, строго спросил Рябова, зачем он бесчинствует. Рябов сидел на бухте каната, смотрел на море. Уркварт повторил свой вопрос.

- Шел бы ты, господин, подалее от меня! - ответил Рябов.

- Но твой толмач хотел убежать? Быть может, надо надеть на него цепи?

- Иди отсюдова, господин! - с тоской отозвался Рябов. - Иди, нечего нам толковать...

Уркварт пожал плечами, велел вахтенным неослабно наблюдать за русскими. Шведы, пошептавшись между собою, сволокли Митеньку в каюту, потом подошли к Рябову...

- Ладно, - сказал он, - пойду. И то - спать пора.

Митенька попрежнему сидел на рундуке, весь сжавшись в комок. Рябов лег на войлок, молча повернулся к переборке, но заснуть ему не удалось. На шканцах и на юте забили тревогу барабаны, наверху загремели мушкетные выстрелы, заскрипели блоки - матросы спускали шлюпку с ростров. Дважды рявкнула пушка.

Кормщик привстал:

- Чего там?

- Русский, небось, убег! - прислушиваясь, тихо ответил Митенька.

Рябов молчал.

- Тот, что рядом с нами за караулом сидел, - сказал Митрий. - Ушел теперь. А мы...

- Ты замолчишь? - крикнул Рябов. - Тявкает тоже!

2. СВЯТАЯ БРИГИТТА НЕДОВОЛЬНА

Ночью на Сосновце и в дальнем становище за салмой палили из мушкетов солдаты Голголсена, но все без толку - рыбаки словно провалились под землю. К утру сам Голголсен, дыша водочным перегаром, поднялся по трапу "Короны"; стуча башмаками, пошел в адмиральскую каюту - докладывать шаутбенахту. Ярл Юленшерна, без парика, с торчащими хрящеватыми ушами, с нависшими бровями, пил в своей каюте декохт от разлития желчи. Белки его глаз за ночь сделались цвета охры, лицо стало совсем желтым...

- Ну? - спросил шаутбенахт.

- Святая Бригитта недовольна нами! - ответил старый конвой. - Нам не удалось поймать ни одного человека... И этот беглец... Никаких следов...

Ярл запил декохт вином, велел кают-юнге подать парик.

- Криво, гере шаутбенахт! - сказал Голголсен. - Слишком к левому уху...

Они закурили трубки. Голголсен шевелил усами, думал, потом сказал осторожно:

- Матросы не очень довольны, гере шаутбенахт. Они жалуются на то, что их много наказывают в таком трудном походе...

Голголсен не договорил. Грохот страшной силы потряс корабль, за переборкой закричала фру Юленшерна, матросы, солдаты, офицеры - кто в чем был - побежали на шканцы "Короны". Шаутбенахт и Голголсен выскочили на галерею адмиральской каюты, шаутбенахт схватился за голову: "Злой медведь" - корабль, которым командовал Голголсен, - задрав резную корму, быстро погружался в воду.

На "Короне" уже били медные колокола тревогу, с ростров спускали шлюпки. Уркварт кричал в говорную трубу командные слова, которых никто не слышал. С других кораблей шли на помощь погибающим шлюпки. Голголсен, серый, с отвисшей челюстью, бормотал:

- Крюйт-камера! Взрыв в крюйт-камере! Помилуй меня боже! На острове они нашли водку и напились. Я не велел им брать эту водку, но они все-таки ее взяли...

Из команды "Злого медведя" спаслось всего семьдесят три человека. Озябшие, напуганные, мокрые, они слонялись по приютившим их кораблям, говорили, что теперь от похода нечего ждать добра, что гибель "Злого медведя" - дурное предзнаменование, что гобелин - злой морской демон - чем-то прогневан моряками флота его величества короля Швеции. По эскадре полетел слух о том, что Бирге Кизиловая нога прошедшей ночью сам видел гобелина, который ему напомнил, что при погрузке в Стокгольме "Злой медведь" наклонился на правую сторону, а это, как известно морякам, ничего хорошего не предвещает. Другой матрос - португалец-наемник - гобелина не видел, но беседовал во сне со святым Антонием, который нехорошо отозвался о ярле Юленшерне и посоветовал не идти в Архангельск. Третий - усатый толстяк из абордажной команды - заявил на баке, что все дело в том русском, который ухитрился бежать с флагмана. Беглец-то - колдун!

Как произошел взрыв - никто толком не знал, и потому все пожимали плечами и говорили, что здесь не обошлось без русских рыбаков. Хоть на эскадре понимали, что русские никак не могли проникнуть в крюйт-камеру, однако же слух о том, что судно взорвалось по вине пьяного констапеля, многие отвергали, так как страх уже пробрался на эскадру и леденил сердца моряков флота его величества короля.

В два часа пополудни ярл Юленшерна поднялся на ют и приказал барабанщикам бить поход. Над морем стлался низкий туман, по небу ползли рваные облака, было очень душно.

- Погода, гере шаутбенахт, портится! - сказал шхипер Уркварт. - Надо ждать шторма.

- Вы предполагаете, что я этого не вижу? - спросил Юленшерна.

На ют поднялся профос Сванте Багге, спросил, что делать с повешенным стариком.

- В воду! - отрывисто сказал Юленшерна.

- Но повешенный на корабле приносит удачу! - возразил Багге. - Старые правила морского хождения учат нас тому, что женщина на борту предвещает опасность в плавании и только тело повешенного может умилостивить судьбу...

Юленшерна повернулся к профосу желтым лицом; размахнувшись, ударил его кулаком в зубы, потом сказал раздельно:

- Когда мне понадобится тело повешенного, я распоряжусь повесить тебя! Ты сам хорошо знаешь, что повесить палача - это действительно умилостивить судьбу...

Профос поклонился с перекошенным лицом, ушел сбрасывать тело казненного старика рыбака в воды Белого моря.

Покуда он проталкивался к мачте, над ним смеялись:

- Вот идет оплеванный профос!

- Ничего, может быть, теперь Багге станет малость подобрее...

- Он не станет добрее и в могиле...

- Я слышал, ребята, что наказанный палач получает вполовину меньше...

- Дайте пройти несчастному Сванте Багге...

Тело казненного погрузилось в волны.

Корабли один за другим выходили на большую воду. Юленшерна насупясь смотрел, как ставят паруса, как огромные полотнища наполняются ветром, слушал сигнальные барабаны, пение горнов. Лекарь эскадры сказал шаутбенахту, что от разлития желчи сладкое будет ему казаться горьким, хорошее - плохим. От болезни или от чего иного, но ярл Юленшерна в этот день был куда мрачнее, чем обычно, и непрестанно передавал на корабли сигналы о жестоких наказаниях. Матросы, ругаясь и богохульствуя, ложились под кнуты профосов; на яхтах, на фрегатах, на линейных судах свистели линьки и розги. По кораблям ползли слухи:

- На эскадре есть русские: никто другой не мог помочь тому беглецу. Он сам распилил свои цепи...

- Женщина на эскадре приносит беду...

- Да она еще и рыжая.

- Она не одна: с нею ее камеристка - черная, как жена сатаны.

- Русский беглец пропилил переборку в ящике.

- Для этого нужна пила...

- А небо? Что можно ожидать от такого неба?

И небо и море предвещали шторм. Почему-то шторм здесь казался куда страшнее, чем там, в своих морях. Это было чужое море, с чужими, враждебными, насторожившимися берегами.

И матросы на эскадре шептались:

- Не лучше ли повернуть назад?

- Если бы гобелин и святая Бригитта не сговорились между собою...

- Мы уже потеряли один корабль...

Но испуганных было не так уж много. Их шепот, слухи, которые от них исходили, ничего не стоили: Архангельск был уже недалек, все знали, что Юленшерна на три дня отдаст город наемникам. Солдатам и матросам наяву виделись груды золота, дорогие меха, парча, церковная утварь - все то, что они получат за верную службу короне. И чем ближе был город, тем громче, тем яростнее мечтали наемники.

- После похода я вернусь в Швецию и открою лавку. Мне хватит моря! - говорил один.

- У меня будет пекарня! - утверждал другой. - Пекарня с двумя пекарями! А сам я буду сидеть и только покрикивать!

- Я открою таверну! - рассказывал третий. - Я назову ее "Уютный берег" - вот как! И сам буду пить сколько захочу. Что же касается гобелина и святой Бригитты, то мне на них наплевать! Были бы деньги, вот что я вам скажу, ребята...

Иные мечтали сделаться менялами; некоторые хвастались тем, что вообще ничего не станут делать; были и такие, которые помалкивали: эти уже подкопили кое-что и после похода собирались давать деньги под

верный залог...

Несмотря на то, что шторма ждали, он все-таки налетел неожиданно, повалил "Корону" на бок и мгновенно разметал корабли эскадры. На флагманском корабле едва успели убрать верхние паруса, да и то потеряв матроса; на "Справедливом гневе" ветер изодрал в клочья фор-марсель; на "Ароматном цветке" повалилась грот-мачта, судно легло на борт. Матросы топорами обрубили ванты, и яхта выпрямилась. Ветер, срывая с огромных волн пенные верхушки, свистел и выл в снастях, корабли зарывались бушпритами. С каждой минутой шторм свирепел все более.

Вечером, в полутьме, под низкими черными тучами, неожиданно близко открылся Зимний берег. Шаутбенахт Юленшерна затопал ногами на штурмана; тот ответил, сдерживая злобу:

- Я не имею ни солнца, ни звезд для того, чтобы сделать астрономические вычисления и точно определиться...

Юленшерна позвал вахтенного офицера, приказал палить из сигнальной пушки, чтобы корабли знали, где флагман, но ответных выстрелов никто не услышал.

Уркварт послал за русским лоцманом, тот лениво поднялся по трапу, равнодушно оглядел бегущие пенные валы, сказал капитану:

- Э-э, куда вас понесло. Перекреститься не успеете - на кошки сядете, умники-разумники. Вон они - Кедовские, я их знаю, - вишь, вода там кипит...

Уркварт, побледнев, закричал: "Право руля!" Здоровенные рулевые вдвоем налегли на огромное колесо, "Корона" покатилась вправо, Рябов сказал:

- Шибко нынче играет погода. Глядите вострее, тут потопнуть проще простого...

На трапе кормщик столкнулся со слугою в красном кафтане, тот нес на мостик шаутбенахту горячий флин в кувшине, обмотанном полотенцем. Корабль накренило, Якоб навалился на Рябова. Внимательный взгляд слуги скрестился с насмешливым взглядом кормщика, он оттолкнул слугу,

посоветовал спокойно:

- Ходи на своих, чего валишься...

И пошел в свою каюту.

Якоб посмотрел кормщику вслед, взбежал по шатающемуся трапу на ют, где в кожаном плаще с капюшоном неподвижно стоял Юленшерна и слушал, не ответит ли на пальбу флагмана какое-нибудь судно из эскадры.

- Как себя чувствует фру? - спросил Юленшерна.

- Фру пообедала с хорошим аппетитом.

- Кто разделяет ее трапезу?

- Полковник Джеймс и капитан Голголсен, гере шаутбенахт.

- Что они делают сейчас?

- Я подал им кофе и бенедиктинский ликер, гере шаутбенахт.

- Капитан Голголсен трезв?

- Не слишком, гере шаутбенахт.

Ярл Юленшерна заметил улыбку, скользнувшую по лицу слуги. Не медля ни секунды, он ударил его кулаком в рот - снизу вверх, так что лопнула лайковая перчатка.

- Теперь ты не станешь улыбаться при мне! - сказал он.

Якоб утер кровь с лица, глядя в глаза шаутбенахту. Тот медленными глотками пил флин. Ветер свистел еще пронзительнее, корпус "Короны" скрипел, содрогался, стонал...

Когда Якоб спустился по трапу, стало совсем темно от черной огромной тучи, затянувшей все небо. В буфетной грохотала посуда, медные кастрюли раскачивались и звенели, точно похоронные колокола, оловянные и серебряные тарелки скакали в своих гнездах. Адмиральский буфетчик, измученный морской болезнью, спал на рундуке.

Якоб сел на низенькую скамеечку, открыл ящик с луковицами, разрыл их, достал со дна гибкую, очень длинную и остро отточенную наваху толедской стали с лезвием, уходящим в рукоятку. Спрятав нож на груди, он прислушался: на шканцах уныло звонил колокол - сигнал, чтобы всюду гасили огни, в таком шторме одна искра могла натворить

непоправимую беду.

- О, и ты здесь! - сказал буфетчик, болезненно зевая. - Будешь чистить лук?

- Да, к ужину! - ответил Якоб.

- Подадим говядину в луковом соусе, - опять зевая, сказал буфетчик. - Что там наверху?

- Шторм...

- Святая Бригитта прогневалась на нас...

Они помолчали. Буфетчик совсем проснулся и, наклонившись к Якобу, заговорил шепотом:

- Послушай, Якоб, ты не видал нашу пилу? Пропала пила, - понимаешь, какая неприятная история. Я переискал везде - ее нет. Если эконом дознается, нам не уйти из рук профоса, - ты догадываешься, почему? Тот беглец пропилил отверстие в переборке именно такой пилой, какая была у нас...

- Найдется! - сказал Якоб. - Просто завалилась куда-нибудь в этой качке.

- Ты так думаешь?

- Я уверен в этом!

- А я не уверен, - со вздохом сказал буфетчик. - Я ни в чем не уверен... Непонятные истории творятся на эскадре...

Буфетчик любил поговорить. Пока он рассказывал, Якоб чистил и резал лук для жаркого, потом, когда буфетчику опять стало плохо, Якоб вышел из камбуза. По темному трапу ощупью он пробрался в совсем темный коридор и пошел к той каюте, где жил русский изменник-лоцман. У кожаной, туго натянутой переборки он прислушался: ровный храп спокойно спящего человека доносился из каюты.

Теперь следовало узнать, где переводчик русского изменника, тот, о котором говорили, что он не то хотел утопиться, не то сбежать со шведского корабля. Митеньку Якоб увидел на орлоп-палубе: юноша сидел ссутулившись, обхватив руками коленки, глаза его были закрыты.

В коридоре Якоб опять остановился, - сердце его билось неровно, ладони сделались влажными. Ему еще никогда не доводилось убивать людей, и

сейчас он вдруг подумал, что, быть может, не найдет в себе сил навахой ударить спящего человека в грудь. Но тут же он представил себе, как этот человек, которого он не убьет, встанет за штурвал вражеского корабля и проведет эскадру к Архангельску, представил себе, как запылает потом город, как пьяные страшные наемники пойдут резать и жечь, какое горе постигнет сотни, тысячи людей только из-за того, что он, Якоб, человек, в жилах которого течет русская кровь, не решился убить изменника, предателя, иуду.

Он облизал пересохшие губы, вытер ладони о штаны, нажал пружину в рукоятке навахи - лезвие с глухим шелестом выскочило наружу, - попробовал пальцем жало. Потом оглянулся и не торопясь опять пошел по длинному темному глухому коридору мимо офицерских кают.

У каюты лоцмана он остановился. Это была каморка - девятая по счету от трапа, по левой стороне. Лоцман попрежнему ровно похрапывал, и Якоб подумал, что удивительно, как человек с совестью злодея может спать так спокойно. Но он отогнал от себя эту мысль и тихим шагом вошел в каюту, где крепко пахло дубленой кожей и табаком.

Здесь было так темно, что Якоб ничего не видел и только слышал похрапывание - ровное и однообразное. Переждав, он сделал движение в сторону спящего, занес нож и уже хотел было ударить, как вдруг лоцман проснулся и быстро спросил:

- Митрий?

Якоб ударил.

Тотчас же он услышал ругань и почувствовал, что падает. Никогда в своей жизни он не знал человека такой всесокрушающей силы, каким был этот русский кормщик. Лоцман не бил Якоба и не душил его за горло, он только смял его, навалился на него боком и, посапывая и ворча словно медведь, поругиваясь и покряхтывая, искал его руки, чтобы отобрать наваху. Но наваха давно упала, она лежала под лопаткой Якоба. Наконец лоцман нашел ее, откинул в сторону и тогда поднял Якоба на ноги. Думая, что лоцман сейчас убьет его, Якоб, собрав все силы, рванулся назад, наклонился, ударил кормщика головою в живот и

сам сразу же потерял сознание, вновь сшибленный на палубу могучим движением руки Рябова.

3. НАС ТРОЕ!

Должно быть, прошло немало времени, прежде чем Якоб очнулся. Открыв глаза, он увидел, что лежит не на палубе, а на рундуке, что каюта освещена - розовое пламя светильника, заключенного в слюдяной колпак, озаряло сосредоточенное лицо кормщика, который с любопытством вертел в руках наваху, то пряча ее лезвие, то нажимая кнопку...

"Сейчас он выдаст меня шаутбенахту! - со спокойной тоской подумал Якоб. - Выдаст, и меня повесят. Повешенный приносит счастье кораблю, почему же не повесить немедленно".

Он вздохнул и застонал от боли в суставах; лоцман пристально на него посмотрел и усмехнулся. Усмешка была такая беззлобная и открытая, что Якоб не поверил своим глазам. Лоцман вдруг сказал тихо и грустно:

- Думал, думал - да удумал. И-эх, голова! Хитрым ножиком, как куренка... Нет, друг, так оно не деется...

И строго добавил:

- Мы тоже не лаптем щи хлебаем! Спать-то я с малолетства вполглаза учен...

Расстегнув на груди измятый и затасканный кафтан Джеймса, он развязал тесемки рубашки и показал тускло блеснувший, очень тонкий и гибкий панцырь, по которому и скользнуло жало навахи.

- Видал?

- Видал! - одними губами произнес Якоб.

- То-то. Лонгинова ты отпустил?

- Я...

- Для чего?

- Для того, что он добрый русский! - своим характерным голосом произнес Якоб. - Для того, что он не стал делать измену, а делал лишь ладно, - вот для чего...

Лоцман поглядел на него добрыми печальными глазами.

- Иди отсюдова, дурашка! - сказал он ласково. - Иди! Нечего тебе тут прохлаждаться, еще хватятся. А нам не гоже, чтобы обоих вместе видели. Иди, а я светильню погашу, слышь, звонят - огней не жечь...

Якоб сел на рундуке, голова у него кружилась, в ушах непрестанно били звонкие молотки.

- Помял я тебя маненько! - сказал лоцман. - Ничего, брат, не поделаешь. Коли спросят, скажи - оступился, мол, с трапа загремел, расшибся. Ножичек свой возьми, выкинь его, - хитер, да ненадежен. А мне, друг, коли можешь, принеси топор, а?

- Топор? - переспросил Якоб.

- Ну да, чем дрова колют. Поменьше бы, да чтобы ручка была поухватистее. Мало ли...

Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга, потом Якоб ответил:

- Да, я принесу топор.

- Принеси, друг, принеси, нынче еще не надобно, а как к устью будем подходить, тогда он мне и занадобится. Не обмани гляди...

- Я принесу топор, - повторил Якоб.

Он встал, покачнулся, ухватился за косяк и еще постоял так, вглядываясь в русского лоцмана.

- Значит, я в надежде буду, что принесешь топор? - в другой раз сказал Рябов. - Мне он вот как может занадобиться.

- Принесу! - сказал Якоб, но теперь они оба говорили не о топоре. Они без слов говорили о том, что верят друг другу и понимают друг друга, что будут помогать один другому и вместе совершат то дело, которое им назначено совершить.

- Ну, иди!

- Иду...

Пошатываясь, Якоб вышел. Попрежнему ухало и стонало море, попрежнему от ударов волн содрогался корпус корабля. Рябов погасил светильню, лег на сырой войлок, в темноте тихо улыбнулся своим

мыслям: "Ну, житьишко! Так еще недельку пожить, и в самом деле голова заболеть может".

Погодя пришел Митрий, застывший на штормовом ветру, стал в темноте пристраиваться на своем рундуке. Было слышно, как он молится, шепчет и вздрагивает от мозглой сырости.

- Митрий, а Митрий! - тихонько позвал Рябов.

Митенька кончил молиться, ответил чужим голосом:

- Здесь я.

- Тут было меня чуть не прирезал один раб божий...

Он подождал, заговорил опять:

- Молчишь? Думаешь - так и надо, за дело? Дурашки вы глупые, как на вас погляжу. Ладно, тот-то не знает меня, а ты?

Митрий что-то прошептал неслышное, наклонился ближе.

- Думай головою! Думай! Не дураком на свет уродился, думай же!

- Дядечка... - со стоном сказал Митенька.

- Дядечка я сколь годов! Нарочно я тебе сразу-то ничего не сказал, неразумен ты, горяч, молод, не сдюжаешь позору али беседы какой, вроде как давеча у адмирала за столом была. А так хорошо все сошло, да и по тебе видать было, что нету меж нами сговору, один до денег падок, а другой - иначе. И торговался я не для денег, а чтобы более веры нам было. Они на деньги все меряют, по деньгам судят, небось денежкам и молятся. Сам видел - поверили, что отыскался изменник, поверили, собачьи дети, рады, что везут с собою кормщика, и думки нет, во что им тот кормщик обернется...

Он засмеялся ласково, почувствовал, что Митенька рядом с ним, крепко стиснул его руку, заговорил опять:

- Веришь теперь? Понял, зачем я тебя брать-то не хотел? Понял, на что идем? Что сии корабли...

- Понял! - с восторгом ответил Митенька. И быстро, страстно заговорил сам:

- Да разве ж я, дядечка, разве ж я... Как я жил - мыкаясь, али в монастыре, али по людям... Дядечка, я не испужаюсь! Разве я когда

пужался? Чего только не было, страхи какие терпели, а я разве что? Я, дядечка, Иван Савватеевич, коли тебя прежде времени смертью кончат, я сам сей корабль на мель посажу, небось знаю, где, - не раз хаживали. Посажу!

- Ты тише, - улыбаясь во тьме, сказал Рябов.

- Я - тихо, дядечка. Ты будь в надежде, дядечка. Я не спужаюсь! Что ж так-то жить, под шведом какое житье! Мы его разобьем, тогда на Москву поеду, в навигацкую школу. Пусть-ка тогда не возьмут за хромоту мою, пусть! Я тогда к государю к самому, к Петру Алексеевичу. Так, скажу, и так. Пусть...

- И скажешь! - заражаясь Митенькиным волнением, согласился Рябов. - И он, брат, как надо рассудит. Он такие дела понимает - который моряк, а который - так себе. Ты ему - не таясь, небось повидал моря...

- Повидал! - воскликнул Митенька. - Повидал и не больно его пужался. А что живые с сего дела выйдем, в том, дядечка, я без сумления. Отобьемся!

- Отобьемся, - подтвердил кормщик. - Ежели с умом, так отобьемся!

- Ежели не горячиться. Тут соображение надо иметь.

- Скажи, какой умный...

- Еще не то у нас, дядечка, случалось. Один только Грумант вспомнить, так все прочее - смехота...

Так они шептались долго, утешали друг друга обещаниями, что несомненно победят в грядущем страшном бою и не только победят, но и останутся живыми и здоровыми. Митенька, по молодости лет и по пылкости воображения, в самом деле был уверен в этом, но Рябов думал иначе, он твердо знал только то, что выполнит дело, которое предстояло ему выполнить. Остальное было темно и тревожно.

Однако Митеньке он об этом не сказал ни слова.

4. АРХАНГЕЛЬСК БЛИЗОК!

Весь день и большую часть тихой белой ночи корабли эскадры собирались возле Мудьюгского острова. Позже всех пришел фрегат

"Божий благовест". Матросы и командир фрегата своими глазами видели последние минуты яхты "Ароматный цветок", которая затонула во время шторма, напоровшись на камни, не указанные на голландских картах. Ни один человек с погибшего судна не спасся.

Русские берега были безмолвны и казались пустынными. Но когда несколько матросов отпросились поохотиться, дабы разнообразить стол адмирала свежей дичью, берега вдруг оказались обитаемыми. Едва матросы высадились, как из прибрежных кустарников загремели выстрелы. Русские стреляли с такой точностью, что никто не решился отправиться на берег за телами погибших, они так и остались лежать, и прилив унес их в море.

Юленшерна приказал ударить по берегу из пушек, и корабельные батареи бессмысленно изводили порох и ядра на протяжении двадцати минут.

Но странное дело: ни гибель матросов у Сосновца, ни потеря двух кораблей из состава эскадры, ни шторм, ни меткие выстрелы с берега не производили особого впечатления на наемников. Русские церкви и дворы богатых русских купцов, старые Холмогоры и Архангельск были теперь совсем близко. И то, что солдат и матросов стало меньше, нисколько не огорчало оставшихся в живых: больше сохранится богатства тем, кто прорвется к городу, богаче будет их нажива, полнее набьют они свои мешки и сундуки.

Теперь мало кто болтал о гневе святой Бригитты и о кознях гобелина. Война есть война, говорили наемники, на войне случается всякое. Кто поглупее - тот гибнет, кто поумнее - тот не только выживает, но еще и богатеет.

Для того чтобы скорее забылись превратности плавания, ярл Юленшерна приказал эскадренному казначею выдать жалованье всем - от капитанов до кают-юнг. Деньги, причитавшиеся мертвым, было велено раздать живым. Это еще более укрепило дух наемников. На кораблях, при раздаче винных порций, матросы кричали славу королю и хвалили своего адмирала.

Не следовало терять времени, но корабли нуждались в ремонте, и шаутбенахт велел приступить к работам. Корабельные плотники, кузнецы и конопатчики работали не за страх, а за совесть, подгоняемые матросами и солдатами, которым не терпелось ворваться в Архангельск. Но все-таки ремонт шел медленно, - слишком потрепал эскадру шторм.

Фру Юленшерна скучала, полковник Джеймс, запершись в своей каюте с Голголсеном, пил бренди; шаутбенахт не уходил со шканцев, часами смотрел в подзорную трубу на безлюдные зловещие берега, поджимал губы, качал головой. Да и Уркварт стал последнее время задумчивым и грустным. Только с полковником Джеймсом он иногда отводил душу: оба они все-таки кое-что знали о Московии...

Ветер не поднимался. Море заштилело, стояла странная душная тишина. Матросы на "Короне" пели:

Не знал, не боялся он грозных судей,
Ходил по дорогам с ножом,
И грабил и резал невинных людей,
Закапывал в землю живьем...

В полдень, после обеда, ярл шаутбенахт вошел в свою каюту. Фру Маргрет, обмахиваясь веером, сказала небрежно:

- У меня, как вам известно, есть друг детства, старый друг Ларс, Ларс Дес-Фонтейнес - так зовут этого человека. Его наказали за то, что он предполагал в русских мужество и желание сопротивляться врагу. Не кажется ли вам теперь, что Ларс Дес-Фонтейнес совершенно прав?

Матросы пели громко, их песня была слышна на всех кораблях эскадры:

Ах, если б господь смилосердился к нам,
Привел воротиться бы в дом:
Я церковь построил бы, каменный храм,
И всю обложил бы свинцом...

- По-вашему, Дес-Фонтейнес, был прав? - спросил ярл Юленшерна, сделав ударение на слове "был".

Склонив голову набок, не мигая он смотрел на жену своими желтыми глазами. Ей стало страшно. Она тяжело поднялась, неловко зацепила

рукавом хрустальную вазочку. Вазочка разбилась.

- Ого! - произнес шаутбенахт. - Вы потеряли свою природную грациозность!

- Был? - крикнула она. - Что вы хотите этим сказать?

- Ларс Дес-Фонтейнес более не существует, - раздельно и внятно сказал Юленшерна. - Его нет на свете. Ларс Дес-Фонтейнес давно превратился в прах.

Фру Маргрет сморщилась, как морщатся от внезапного грохота. Губы ее дрожали, лицо исказилось. Оно перестало быть красивым, лицо фру Маргрет...

С палубы доносилось:

И только он эти слова произнес,
Вдруг стало, как ночью, темно.
Попадали мачты, корабль затрещал
И канул на черное дно.

- Ларс умер? - спросила фру Маргрет.

- Да. Он скончался.

- Вы лжете! Ларс в Архангельске! Вы сами говорили...

- Поэтому вы и отправились со мной в Архангельск?

Фру замолчала. Шаутбенахт улыбался. Так весело он улыбался дважды: когда стоял под венцом с фру Маргрет и вот сейчас.

- Премьер-лейтенант бесславно и весьма быстро прошел свой земной путь, - говорил Юленшерна, отпирая ключом ларец, окованный медью. - Этот повеса, видимо, не слишком дорожил своими друзьями детства и поторопился уйти от них в мир иной...

Он откинул крышку ларца и достал бумагу - короткое сообщение о смерти каторжанина Дес-Фонтейнеса по кличке Скиллинг, последовавшей на галерном флоте его величества. Тело осужденного погребено в море, как полагается по уставу.

Фру Маргрет прочитала бумагу один раз, потом другой. Ярл Юленшерна вышел на ют, чтобы освежиться. Он был очень весел и приветливо беседовал с Урквартом о погоде и о том, что к вечеру, пожалуй, удастся

поднять якорь. Вернувшись через некоторое время в каюту, шаутбенахт сказал своей супруге:

- Вы совершили большое путешествие и, к сожалению, не увидите вашего друга. Пожалуй, вам теперь нет смысла рисковать... Два судна мы оставляем здесь на всякий случай. Не переехать ли вам на одно из них? Там будет безопаснее.

- Да, я согласна, - безучастным голосом ответила фру Маргрет.

Она все еще держала в руке сообщение о смерти каторжанина Скиллинга.

- Вы благоразумны, - сказал Юленшерна.

Маргрет странно улыбнулась.

- О, да, я благоразумна! - произнесла она многозначительно.

- Вам здесь будет спокойно.

- Во всяком случае, я не погибну! - все с той же улыбкой сказала фру Маргрет. - Я вернусь в Стокгольм и буду долго и счастливо жить там вдовою погибшего славной смертью шаутбенахта ярла Юленшерны, потому что вы, гере, непременно сложите тут вашу лысую голову. Не так ли?

Он не нашелся с ответом, только крепко стиснул челюсти. А она говорила, улыбаясь и вызывающе глядя на него своими прозрачными глазами:

- Я буду бывать при дворе, я еще молода, не правда ли? Молода и хороша. И ваше имя я вываляю в грязи так, что даже на том свете вы будете содрогаться, мой покойный супруг. Вы тревожились о вашем честном имени и потому убили Ларса?

Его лицо исказилось бешенством, он шагнул к ней, грубо схватил за руку.

- Пустите! - шепотом приказала Маргрет. - Пустите, или я закричу и ударю вас при всех...

Она вырвала руку, отошла, сказала издали:

- И тогда мы будем квиты! Только тогда! Я так и слышу этот хор голосов: "О, фру Юленшерна, вдова адмирала Юленшерны, что она вытворяет!

Бедный старикашка, его кости так и переворачиваются в гробу!"

Она ушла и заперлась в спальне. Он пробовал сломать дверь, Маргрет сказала спокойно:

- Не будьте смешны, если это возможно для вас!

К четырем часам после полудня все работы на эскадре были закончены. Ярл Юленшерна приказал Уркварту:

- Передайте командам благодарность их адмирала. Пусть сегодня они получат по двойной чарке водки. Вслед за этим - сниматься с якоря. В устье мы постараемся как можно скорее разделаться с таможенниками, ворвемся в Двину и к утру, с божьей помощью, начнем высадку войск в Архангельске.

- Таможенники, очевидно, знают о нашей эскадре...

- Тем хуже для них.

К вечеру маленькое облачко, появившееся на горизонте, разрослось, по волнам побежали пенные гребешки, небо заволокло, пошел дождь, но попрежнему было душно. Шаутбенахт велел подать себе плащ и не ушел с юта. Он стал еще желтее, чем утром, губы его запеклись, руки заметно дрожали.

- Два фрегата - "Феникс" и "Дромадер" - будут ждать нас здесь, - сказал шаутбенахт Уркварту. - Вы слушаете меня?

- Да, гере шаутбенахт, я весь внимание.

- На фрегат "Феникс" перейдет моя супруга. Спустите вельбот.

- Да, гере шаутбенахт...

Фру Юленшерна поднялась на ют, чтобы попрощаться с мужем. За эти часы лицо ее осунулось, под глазами легли голубые тени. Шаутбенахт смотрел на Маргрет колючим, каким-то удивленным взглядом. Они не сказали друг другу ни одного слова.

Полковник Джеймс попросил разрешения проводить фру на "Феникс". Его физиономия была еще более томной, чем обычно. Юленшерна сказал ему у трапа:

- Не забудьте вернуться, гере полковник.

Матросы издали смотрели на супругу шаутбенахта, на ее сундуки, на

черную служанку. Профос Сванте Багге сказал, что все к лучшему. Если на эскадре и были неприятности, то только из-за женщин. Теперь все пойдет великолепно, шаутбенахт - хитрый старик, знает что делает...

Фру Юленшерна, придерживая пальцами юбки, спустилась в вельбот, кают-юнга, кают-вахтер и Якоб снесли за нею подушки, ковер, кожи, чтобы убрать ей каюту на "Фениксе", корзины с едой, лютню. Вельбот отвалил.

Юленшерна попрежнему стоял на юте "Короны", когда полковник Джеймс вернулся с фрегата. Якоря были подняты. Полковник сказал шаутбенахту:

- Фру просила передать вам, гере шаутбенахт, что она будет непрестанно молиться за вас.

Ярл Юленшерна ничего не ответил.

Мокрые паруса флагмана наполнялись ветром. Громко, неприязненными голосами, хрипло кричали чайки. Матросы на баке пели старую песню:

Гонит ветер корабль в океане,
Боже, душу помилуй мою...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Караул есть наизнатнейшая служба, которую солдат в войске отправляет.
Петр Первый

1. НЕДОБРОЕ УТРО

Сильвестр Петрович писал письмо на Москву Апраксину. За окнами Семиградной избы лил не переставая, как поздней осенью, проливной дождь. В сенях, шаркая сапогами, кашляя, переругиваясь, ходили люди, визжала дверь на блоке, навзрыд рыдала молодайка, кто-то ее утешал хриплым басом.

Не дописав, Иевлев взял трость и вышел на крыльцо. С моря дул влажный ветер, дождь вдруг стих, только с деревьев еще летели брызги. На крыльце ждал Егорша.

- Веди! - приказал Сильвестр Петрович.

Егорша нырнул в толпу мужиков, вывел из сараюшки виновных. Толпа

расступилась, трое, связанные поясами, без шапок, взлохмаченные и изодранные, поклонились капитан-командору. Из сеней, вытирая рот ладошкой, спехом дожевывая что-то, выскочил дьяк Абросимов.

- Говори! - велел ему Иевлев.

Тот подошел поближе, выставил ногу, стал с осуждением в голосе длинно рассказывать, как случилось смертоубийство, кто зачинщиком был, кто ударил амбарщика плашкой по голове, как амбарщик схватился за топор, да припоздал - скончал живот свой. Иевлев слушал, поколачивал тростью по голенищу сапога. Мужики переминались, вздыхали...

Сильвестр Петрович сходил в амбар, посмотрел на мертвое тело, что лежало на тесовом полу, покрытое рядном, вернулся, стал спрашивать схваченных. Мужики, перебивая друг друга, повинились, что-де очень изворовался проклятый амбарщик, да будет земля ему пухом, змею злому, никакой вовсеествы на артель не давал, два дня с карбасом ждали, а народишко в остроге которое время корье заместо хлеба камнями перетирает да печет. Вчера выпили малость, Козьма-плотник возьми и заведи с артельщиком беседу: отчего не по-божьи делает? Амбарщик Козьму пихнул под вздох, а после ногой ударил. Козьма еще спросил: зачем бьешь, увечишь, для чего пихаешься?

Молодайка в сенях завыла громче. Иевлев велел ее убрать. Матросы увели молодайку в сторону.

- Ну и вдарил! - сипло сказал сам Козьма. - Вдарил и вдарил!

- Так вдарил, что убил? - спросил Иевлев.

- А чего ж? Смотреть на него, на анафему? - удивился Козьма. - Я с женкой на карбасе пришел, а он мне об женке слова говорит. Ты, говорит, отпусти мне женку поиграть, а я, говорит, вамествы на острог по-божески дам... Жалко, что одного вдарил, а не все ихнее семя...

- Какое такое ихнее семя? - спросил Иевлев.

- А такое! - сплюнув, сказал Козьма. - Известно какое...

Седой вихрастый мужик поклонился, сказал робко:

- Ты его, батюшка, кормилец наш, не слушай, глуп он, молод, не учен...

- Какое такое ихнее семя? - крикнул Иевлев. - Говори!

Козьма не отвечал, смотрел на Иевлева бесстрашно, с ненавистью. Молодайка, вырвавшись из рук матросов, с пронзительным криком побежала к крыльцу, рухнула на колени в жидкую грязь, схватила Иевлева за ногу.

- Пусти! - приказал Сильвестр Петрович. - Слышь, пусти...

Ноге было больно, он не мог вырваться. Матросы вновь оттащили молодайку. Тогда старик с седыми вихрами стал опускаться на колени. Сильвестр Петрович сказал сквозь зубы:

- Гнать их в шею отсюда!

- Кого? - не понял дьяк Абросимов.

- Связанных - вон со двора! - велел Иевлев. - Развязать!

И, выйдя из себя, закричал:

- Оглохли? Говорю - вон! Развязать и - в тычки, откуда пришли!

Старик, не понимая, повалился на колени, толпа зашумела, кто-то тонким веселым голосом крикнул:

- Да господи ж! Отпускают! Слышь, Козьма? Отпускают!

Егорша взглянул на Иевлева, позвал матросов, те стали развязывать мужикам руки. Козьма совсем побелел. Иевлев повернулся, пошел в сени; Абросимов, отдуваясь, пошел за капитан-командором, ворча на ходу, что так-де не гоже делать, эдак всех амбарщиков порубят топорами; выходит, что на убийцу нынче и управы вовсе нет.

- Коли воров и порубят - горевать не для чего! - ответил Иевлев.

Захлопнув дверь перед носом дьяка, он вновь сел за стол - писать письмо далее, но пришел Егорша.

- Тебе чего? - не поднимая головы, спросил Сильвестр Петрович.

- Не уходит! - сказал Егорша.

- Кто не уходит?

- Не уходит. Который амбарщика кончил.

- Ну и шут с ним, пусть не уходит! - усмехнулся Сильвестр Петрович.

- На крыльце сидит.

Сильвестр Петрович молча писал. Егорша взял ножичек, принялся точить перья. За окном потемнело, опять полил дождь.

2. БРАТ И СЕСТРА

На рогатке при въезде в город капитан Крыков спешился и велел седлать себе другого коня. Вороной, с которого он слез, тяжело прядал боками, всхрапывая от усталости. Драгун вынес Афанасию Петровичу из караулки кружку воды, другие двое седлали мышастую в яблоках кобылку. Капрал придержал Крыкову стремя, он легко сел в седло, обдернул на себе намокший под дождем плащ, задумчиво сказал:

- Так-то, Павел Иванович! Наступило наше время. Ты гляди построже, чтобы все караульщики были в готовности, ни единого с рогатки не отпускай. Пушкари твои здесь?

- Здесь! - ответил усатый капрал.

- Пусть с караулки никуда не идут...

Другие драгуны, услышав разговор, подошли поближе. Лукьян Зенин, с которым Крыков в былые времена промышлял зверя, спросил с крыльца караулки:

- Здесь они, Афанасий Петрович?

- Возле Мудьюга. На якорях стоят...

- Сила?

- Там видно будет, Лукаша! - ответил капитан. - Покуда одно ведаю - потрепала их непогода... Ну, живите, ребята!

И слегка ударил кобылку плетью. Кобылка переступила на месте копытами, обиженно повела ушами и сразу же пошла хорошей легкой рысью. Опять прогрохотал гром, дождь стих на мгновение, потом полил с удвоенной силой, так что город словно исчез, провалился за стеною ливня. Кобылка шла ровно, поматывая головой, Крыков ее еще пришпорил, она с рыси перешла на мерный сильный галоп. Жидкая глянцевитая грязь чмокала под копытами. Афанасий Петрович, отвернув лицо от секущего дождя, хмурился, думал...

Спешившись во дворе опустелой нынче таможенной избы, он быстрым шагом вошел в кладовушку, где содержалось зимою оружие таможенной стражи, подпер дверь тяжелой лавкой и, прислушавшись, нет ли кого

поблизости, рывком дернул кольцо люка, который вел в небольшой, выложенный кирпичом подвал. Здесь Афанасий Петрович ощупью отсчитал третий кирпич третьего ряда снизу, вынул его и просунул руку в тайник, где в долбленом, чисто выструганном из березовой плашки ларчике лежала грамота, свернутая и зашитая в вощеное полотно. Спрятав обратно ларчик и заложив тайник кирпичом, Афанасий Петрович поднялся наверх и поехал на Мхи к рябовской избе.

Давно не был он здесь, и сердце его на мгновение сжалось, когда увидел он на крыльце Таисью с коромыслом и двумя ведрами воды. Она обернулась на скрип калитки и тотчас же, легко опустив ведра, пошла к нему навстречу.

- Вот не ждала! - радостной скороговоркой сказала она. - Не по-доброму делаешь, Афанасий Петрович, неладно делаешь! Где же оно видано - пропал капитан, не зазвать его, сколько за ним посылали, а он никак нейдет. Иван Савватеевич, и тот сколько разов спрашивал - где это подевался Афанасий Петрович, загордел, что ли...

- Да уж загордел! - махнув рукой, ответил Крыков. - Больно горд, сие всем ведомо. По-здорову ли живешь, Таисья Антиповна?

И посмотрел прямо в ее лицо, похудевшее, с легкой тенью под глазами, увидел маленькое ухо с бирюзовой серьгой, увидел трепещущий счастливый блеск ее зрачков, розовые, чуть пухлые губы.

- По-здорову, - негромко ответила она, - грех жаловаться, Афанасий Петрович. Ты-то как? Да что мы здесь стоим, чай не бездомные, идем в избу. Ванятка и то все спрашивает: что дядя Афоня, да где дядя Афоня...

Она была счастлива, и ей перед Крыковым было стыдно своего счастья, своего спокойствия, но притворяться она тоже не умела. Он поднялся с ней на крыльцо, взял ведра в руки и вошел в сени. Таисья широко растворила дверь в избу и весело сказала:

- Ванятка, ты гляди, кто к нам пришел!

Мальчик рванулся с лавки и, крепко топая своими подкованными сапожками, с разбегу повис на Крыкове. Тот поднял его и, сжав челюсти, не всилах что-либо сказать, долго смотрел в глаза Ванятке, потом

подкинул к потолку, как делывал всегда, встречаясь с ним, и посадил на лавку, сам сел рядом, обнял его за плечи. Ванятка прильнул к Крыкову, обиженным голосом пожаловался:

- Не ходишь все и не ходишь! Ишь какой! Пушку обещал со мною делать, чтобы палила, а сам все не ходишь!

- Ужо сделаем пушку! - пообещал Крыков. - Она у меня почти что и сделанная, да недосуг было лафет ей вырезать.

- И палит? - спросил Ванятка.

- Еще как палит!

- Громко? - краснея от счастья, спросил Ванятка и руками повернул к себе лицо Крыкова. - Палит?

Афанасий Петрович ответил не сразу, вглядываясь в свежее, румяное лицо мальчика. Странно соединились в нем отец и мать: добрая красота души Таисьи и веселая разумная сила Рябова; зеленые, с искрами глаза кормщика смотрели так, как смотрит Таисья, а розовые нежные губы матери улыбались так, как улыбался кормщик, - насмешливо, хитро.

- Что молчишь? - сердясь и хмуря тонкие Таисьины брови, спросил мальчик. - Громко палит-то?

- Чего громче! - улыбаясь, ответил Афанасий Петрович. - Громче, почитай что, и не бывает...

Сняв Ванятку с лавки, он сказал ему деловито:

- Ты вот что, дружочек. Сбегай к воротам да посмотри там коня моего - не отвязался ли. А коли хочешь, так и хлебца ему снеси...

Ванятка побежал к двери, Афанасий Петрович вынул из кармана грамоту, протянул Таисье, заговорил торопливо:

- Спрячь, Таисья Антиповна, - челобитная. Может, по прошествии времени сгодится добрым людям, а мне более оставлять некому. Челобитная царю Петру Алексеевичу на воровство и мздоимство князя Прозоровского и всех лютых его псов. Подписи под челобитной писаны кровью. Отослать нынче на Москву - дело нетрудное, да чтобы в царевы руки попало - вот где ловкость нужна, и нет такого человека верного. А после баталии мало ли чего случится. Кормщик-то где?

- На Онегу пошел, к дружку своему, - тихо сказала Таисья.

- На Онегу? Кто ж у него там?

- А бог его знает. Будто есть кто-то. Погулять пошел...

- Вот ему сию челобитную и отдашь, он спрячет с умом.

Таисья взглянула на Крыкова, спросила:

- Может, Сильвестру Петровичу лучше?

- Сильвестр Петрович того ж корня, что и воевода! - сказал глухим голосом Крыков. - Сильвестр Петрович человек разумный, честный, храбрый, но что Прозоровские, что Иевлевы - с одного стола едали, коли побранятся, то и помирятся. В сию челобитную моей веры нет нисколько, да воля не моя, - народишко все надеется и в надежде на правду пойдет за нее на плаху. Как же мне эдакое горе не в свои руки отдать?

Таисья ничего не ответила.

Он совсем тихо попросил:

- Коли что - Кузнецу отдашь, Таисья Антиповна...

- Как - коли что? - не поняла она.

- Война. Швед пришел. Али не слышала?

- Как пришел? Куда?

- Да к нам и пришел! - невесело улыбнувшись, ответил Афанасий Петрович. - Гостевать. Потрепало его штормом изрядно, нынче чинится возле Мудьюга...

- Пришел-таки! - охнула Таисья. - Всевать пришел...

Афанасий Петрович молча поднялся, поискал на лавке перчатки, поклонился Таисье. Она смотрела на него, да словно бы не видела. Потом вдруг с силой схватила за жесткий рукав кафтана, притянула к себе, спросила:

- Тебе как же, Афанасий Петрович, на шанцах-то? Первому, что ли, начинать?

- Там видно будет! - спокойно ответил он. - Наше дело воинское. Присяга. Да ништо, Таисья Антиповна, будь в спокойствии. Не продраться вору в город...

Она все смотрела на него не отрывая взгляда, и опять спросила

дрогнувшим голосом:

- Да тебе-то - первому?

Крыков молчал. Тогда она быстро, ловко расстегнула на шее крючочки, потянула серебряную цепочку и стала снимать с себя крестик. Волосы запутались в цепочке; морщась от боли, Таисья дернула сильнее и подала Крыкову крестик, еще теплый ее теплом. Сдвинув брови, он расстегнул на себе кафтан и подал ей свой - медный, на крепком смоленом гайтане. Бледные от волнения, они долго молчали, не зная, что сказать друг другу.

- Ну, теперь прощай! - сказал Афанасий Петрович.

- Прощай, брат! - сказала она. - Ты ведь теперь мне брат. Крестовый брат! - повторила Таисья, и глаза ее засветились мягким и ласковым светом. - Прощай! Дай же я тебя покрещу...

Она трижды перекрестила его, поднялась на носки и, взяв его за плечи, поцеловала в губы - единственный раз в жизни. И он ее поцеловал, потом улыбнулся горько и добродушно и сказал со вздохом:

- Сестра! Ну и хитры вы, Евины дочери! Ай, хитры!

Во дворе он попрощался с Ваняткой, измокшим под дождем, пообещал вскорости доставить пушку и легко сел в седло. Спокойно и ровно билось его сердце, когда в последний раз оглянулся он на высокий забор, за которым шелестели под дождем рябины.

3. ШВЕДЫ ПРИШЛИ

Во дворе Семиградной избы Афанасий Петрович кинул поводья выбежавшему из конюшни конюху, в сенях сбросил тяжелый, намокший плащ, повесил треуголку, приглаживая волосы, отворил дверь. Иевлев, низко склонившись над столом, писал. Подняв голову на скрип двери, он по лицу Крыкова догадался, что произошло, но не спрашивал, ждал. Афанасий Петрович поздоровался, сел на лавку и тогда только сказал:

- Пришла эскадра, господин капитан-командор.

- Какие флаги?

- Флаги разные, шведских не видно. Есть и голландские, и бременские, и

аглицкие. Пушечных портов тоже не видел, хоть смотрел я в трубу и дозорного посылал в челноке - тайно разведать. Корабли штормом потрепаны изрядно, ставят новые снасти, - размышляю, что работы у них немало, покуда готовы не будут - в устье не пойдут...

Сильвестр Петрович кликнул Егоршу, велел собирать без промедления всех офицеров на совет. Егорша убежал. Иевлев, подождав, пока шаги его стихнут, подошел ближе к Крыкову, спросил:

- Афанасий Петрович, ты шпагу здесь, в сей горнице, целовал?

Крыков ответил спокойно:

- Целовал, господин капитан-командор.

- И не забыл сей день?

- Не забыл, и покуда жить буду - не забыть мне того дня.

- Верно ли говоришь?

- Верно! - с тем же спокойствием и достоинством в голосе ответил Афанасий Петрович.

Иевлев помедлил, потом заговорил, не глядя на Крыкова:

- Давеча, в объезде ты был, приезжал на цитадель князь-воевода. Много было всего говорено, а еще ко всякой всячине и то, что в застенке, на дыбе, некоторые воры открылись, будто, как шведы к городу подойдут, - те воры сполох ударят и по-братски примут шведа. Названы ворами Молчан, Гриднев Ефим, Кузнец Федосей из раскольников, коему я поверил и заместо иноземца Риплея определил пушки лить. Еще воры названы Ермил и Голован со товарищи. Сказал далее воевода, есть-де среди воров и над ними верховодит некий офицер. А воров будто не перечесть - повсюду они, и на верфях, и по слободам, и дрягили есть, и конопатчики, и медники, и хлебники, и солдаты, и пушкари...

Крыков вдруг улыбнулся.

- Коли воров столь много - что ж не свалили они воеводу? - спросил он. - Как он об том думает?

И сам ответил:

- Нет, Сильвестр Петрович, врет князюшка, обиженных много - то верно, да не такие они умелые, как воеводе со страху мнится.

Сильвестр Петрович, словно не слушая Крыкова, говорил свое:

- Думал я так: поверить слепо воеводе - значит ни единому своему не верить нисколько. А ежели не верить - значит, побьют нас шведы. И не поверил я воеводе: не поверил, что есть тут хоть один офицер, который, порушив святую присягу, переметнуться может. Не поверил, что как ударят сполох - пойдут люди на меня же с кольями, пойдут для ради того, чтобы швед в город ворвался и начал жен и матерей, стариков и малых ребятишек резать и жечь огнем. Не поверил и приказал тогда же отпустить из острога колодников, велел всех из застенка отпустить и то проклятое место замком замкнуть. А нынче вдруг подумалось; кому поверил? Крыков ответил спокойно:

- Русским людям поверил, господин капитан-командор, и от той твоей веры многие добрые слова говорят не только что по городу, а даже ко мне на шанцы долетели они. Мы не близко, ан и у нас об том твоем добром деле все говорят - и таможенные мои, и мужички некоторые рыбаки, и драгуны. Хорошо сделал, господин капитан-командор. Дай народу нашему продых, покажи ему правду на земле, а не только в небеси богову - не надивишься на чудеса его. Батоги, кнут, правеж, пытка, - господи преблагий, шагу не ступить, чтобы в беду не попасть. Ну, украл мужик каравай хлеба, за что же ему руку-то рубить? От хорошей своей жизни украл, что ли? С голодухи украл...

- Ты для чего о сем? - с подозрением в голосе спросил Иевлев.

- Для того, что милосердным к народу нашему надобно быть. А такие, как воевода...

- Воевода царем поставлен, и не нам с тобою его судить! - отрезал Иевлев.

Крыков строго на него взглянул:

- То не впервой слышу, да только думаю, отчего же, Сильвестр Петрович, и не нам? Чем мы плохи? Ты верь, господин капитан-командор: разные есть люди, разными дорогами на Руси у нас ходят, каждому своя судьба; но не отыскать среди того народишки, о котором толкую, - ни вора, ни татя, ни подлой души, что ворогу шведу поклонится... И не один я так

думаю, многие...

- Какие же они - многие? Те, об которых воевода давеча говорил?

- И те так размышляют.

- Тебе-то оно откуда ведомо?

Афанасий Петрович промолчал.

- Значит, ты и есть тот самый офицер, от которого остерегал меня князь Прозоровский?

- Тот, да не тот! - со спокойной твердостью в голосе сказал Крыков. - Вор и мздоимец, корыстный и неправедный, зверь кровожадный, по смертный мой час злейший мой враг воевода князь Прозоровский и присные его, хоть кем они будут поставлены. На том я стою и стоять буду, господин капитан-командор, и ты на меня рукой не маши, ныне надобно все сказать, нечего мне таиться. Молчан, да Гриднев, да Голован, да иные посадские - чем грешны? Что сил более не имеют терпеть бой, да увечье, да неправду, да голод, да нужду... А есть ли из них хоть един, кто помыслил бы ворогу предаться? Я-то ведаю, от меня они не хоронятся, я сам ихней кости, сам и нынче с ними, и завтра, и навечно. Нож в тебя кинули? Да в тебя ли, Сильвестр Петрович! Разве сам ты не знаешь, как люди здесь мучились? Разве не помнишь ты корабельное строение...

Дверь широко распахнулась, Крыков смолк на полуслове. Пришли стрелецкий голова Семен Борисович, Аггей Пустовойтов, Меркуров, Животовский, Мехоношин. Время было начинать совет.

- Мне бы уехать к месту! - хмуро сказал Афанасий Петрович. - Мало ли чего там случится.

Офицеры сели по лавкам вдоль стен, Сильвестр Петрович объявил то, что уже знали они и от Егорши и от Мехоношина. Были спокойны все, кроме Мехоношина, который как-то сел криво и сидел непоседливо, вскидываясь и словно бы сердясь на сосредоточенное и спокойное состояние самого капитан-командора и других офицеров.

- Перво-наперво о таможенниках поговорим и о драгунах, что на шанцах, - сказал Сильвестр Петрович. - Как делать?

И, подождав, ответил сам:

- Силою остановить эскадру таможенники и драгуны не смогут, то всем ведомо. Но коли такие обстоятельства случатся, что воры, идущие под машкерадными флагами, сами досмотра таможенного запросят, - таможенникам на корабли идти и долг свой выполнять до конца, ибо Афанасий Петрович располагает солдатами умными и порядочно беды и урона может шведам причинить, дабы далее они песен не распевали и генеральной баталии робели. Поручику Мехоношину по нашей диспозиции предлагаю я во всем капитану Крыкову подчиняться и по его, Крыкова, сигналу идти с драгунами таможенникам на выручку...

Мехоношин подергал воротник своего кафтана, заскрипел лавкою, на которой сидел, и со смешком воскликнул:

- Да как нам их выручать, господин капитан-командор, против эскадры? Порубят нас и дальше пойдут, их - сила!

Сильвестр Петрович ничего не ответил Мехоношину и даже не взглянул на него. Стрелецкий голова раскидал седые усы, прокашлялся, заговорил:

- Диспозиция верная, а что рубке быть - того не миновать. Сии воры от таможенников могут первого горя хлебнуть, и их горе зело зачтется под пушками крепости. Поручику же Мехоношину, крест целовавшему, невместно словно на торге торговаться, а надобно встать да попрощаться, как издревле дедами нашими делывалось, да к месту своему воинскому идти. Иди, господин поручик...

Мехоношин встал, огляделся исподлобья. Никто на него не смотрел, все потупились, кроме Иевлева, который вдруг резко спросил:

- А может, занедужил ты, господин поручик? То случается! Скажи, потом поздно будет.

Поручик молча, едва поклонившись совету, вышел, сабля его ударилась о дверной косяк, почти тотчас же процокали по грязи копыта лошади. Встал и Крыков.

- Коли шум будет - мои ребята на шанцах пальнут из пушки, - заговорил он ровным голосом, глядя на Иевлева. - Гонца я тож пошлю с известием - сами ли досмотра попросили, я ли их остановил. Может, и бог поможет

безветрием, в устье бывает нередко, - на якоря становятся, ветра ожидают. По пушке узнаете, что деремся. Пушка скорее всадника - от караульщика к караульщику долетит, от батареи - к батарее. По пушке и сполох ударите.

Капитан-командор кивнул. Взор его выражал удовлетворение, довольство, даже гордость. Крыков обдернул на себе мундир, поправил портупею шпаги, поклонился совету, сказал степенно:

- На сем прощения прошу. Отправлюсь к месту. Коли что - лихом не поминайте!

- И ты нас лихом не поминай! - ответил за всех стрелецкий голова. - Будь в надеже. До города вора не пустим.

Сильвестр Петрович догнал Крыкова в сенях, сказал шепотом:

- Ну, Афанасий Петрович, еще, даст бог, увидимся. К черту в зубы-то не лезь, я тебя знаю. А об чем давеча говорили, авось договорим. Многое ты верно сказал, да не так оно все просто делается. Иди, друг милый...

- Иду, Сильвестр Петрович!

Они обнялись. Крыков вышел. Дождь лил попрежнему, ровный, сильный. Изредка поблескивали молнии, погромыхивал гром...

Вернувшись, Сильвестр Петрович вынул из кармана диспозицию, прочитал вслух, послушал, что сказали офицеры, потом приказал коротко:

- Располагаю так, господа, что имеем мы между собою полное согласие в действиях. Значит, каждому немедля следует идти к своему месту, как прочитал я в диспозиции. Еще раз повторю: колоколов нынче немного осталось, сами знаете - перелиты на пушки. Те, что остались, слушайте со всем вниманием. Слушайте и пушки на береговых батареях. Обо всем новом буду уведомлять без промедления.

Стрелецкий голова Семен Борисович спросил густым голосом:

- Как с киркой с ихней быть, господин капитан-командор?

- То дело унтер-лейтенанта Пустовойтова! - сказал Иевлев. - Иноземцы в кирке будут собираться, - так на них Лофтус лекарь доказал. Соберутся - господин унтер-лейтенант с матросами их там и продержит до самого

конца. Шуметь зачнут - Пустовойтов несмышленым дураком прикинется. Всего и делов... Поручик Животовский на карбасах выйдет на Двину, карбасы имеют пушки, те пушки будут корабельщиков держать в учтивости...

Офицеры поднялись, Иевлев велел Егорше немедленно послать человека с эстафетой в Холмогоры к Афанасию. Егорша, простоволосый, выскочил на крыльцо - искать гонца к преосвященному. Сильвестр Петрович подсел к столу - дописывать наконец письмо Апраксину в Москву. Офицеры разошлись, он скоро остался один, только Егорша порою просовывал голову в дверь, удивлялся на спокойное лицо капитан-командора.

"И еще, друг мой любезный, Федор Матвеевич, - писал Иевлев торопясь, пачкая пальцы, - в недавнее время получил верное известие: воры у нас под боком, быть баталии. То-то сказано - жди горя с моря, беды - от воды. Те воры - шведы, но в надежде мы проявить то, что именуется у вас нынче фермите, а по-нашему - стойкость. Полагаю, ежели воров мы здесь побьем, то будет от того нам великий прибыток, ибо мало они и по сей день биты, а ежели и биты, то немногие люди об том ведают, Нарва же всем памятна. Друг любезный, Федор Матвеевич, отпиши ко мне весточку: чего господа польские магнаты с нас тянут за союз против короля Карла? Тут слышно, что будто Украину? Да будь они неладны, те господа! Такого солдата, как наш, не сыскать, мы с тобою и под Азовом так говорили и под Нарвою. А нынче многие чудеса я повидал и твердо на том стою, что нет силы, которая бы выдержала против нас. Что Шереметев? Здесь слышно, будто господин Шлиппенбах от него крепко почесывается? Дай бог! Пиши ко мне, Федор Матвеевич, да еще шли поболее книг достойных, что есть по наукам фортификации, артиллерии, а главное - что есть доброго о сладчайшем для нас корабельном флоте. Друг любезнейший! Построены у нас уже корабли числом тринадцать, - флот! На те корабли и воззрился проклятый швед, да не дадим, самим сгодятся. Ну, писать кончаю, вон сколько исписал. Поклонись всем нашим, с которыми славно молодость проходила, поклонись и великому

шхиперу, скажи, чтобы был в надежде. Да поднимите там за наше здоровье бокал доброго вина, ибо в труде пребудет наступающий день..."
Он перстнем запечатал письмо, кликнул Егоршу, велел отдать дьякам. Егорша снес письмо, вернулся. Сильвестр Петрович натягивал перчатки.
- Карбас здесь? - спросил он.
- Здесь! - ответил Егорша.
- Ну так пошли, коли здесь.
И еще раз оглядев стол, лавки - не забыто ли что нужное, - он, опираясь на трость, пошел к двери. Дождь лил попрежнему, потоки воды стекали с крыш, Двина побурела от ливня.
- Льет и льет! - сказал Сильвестр Петрович. - Ну, лето...
Когда карбас отвалил, он, стоя на корме, смотрел на город, который должен был оборонять от нашествия. Все было тихо, словно и не пришел лютый швед: дымились трубы, кое-где за слюдяными окнами посадских изб красным светили свечи, в церквах мирно звонили к вечерне.

4. НА ЦИТАДЕЛИ

Инженер Резен и Сильвестр Петрович жгли на доске порох - смотрели, весь ли сгорает, когда караульные оповестили, что на Двине виден струг архиепископа Афанасия, идет с устья, - владыка посещал шанцы.
Старик приехал суровый, усталый, едва ходил, опираясь на свой посох. Рассказал, что был на шанцах, смотрел в трубу на воровские корабли. Пока эскадра стоит неподвижно, делают там какие-то работы. Таможенные солдаты и драгуны к баталии готовы, духом стойки. Еще рассказал, что накануне получил уведомление от вологодского архиерея: вышли якобы к двинянам из Вологды на многих стругах добрые войска, стрельцы с пушками. Над ними полковником едет немец Вильгельм Нобл и полуполковником россиянин Ремезов, вояка храбрый. Везут войска с собою немало ядер, пороху и всякого иного вооружения.
Иевлев, усмехнувшись, ответил, что по всему видно - Вильгельм Нобл не слишком торопится к баталии.
- А чего ему торопиться? - съязвил Афанасий. - Небось, не на гулянку,

еще и убить могут... Ништо, царь Петр Алексеевич проведает, как Нобл поспешает, - не похвалит...

- Путь-то не близкий, владыко. В Тотьме выпьют, в Устюге опохмелятся. Знаем дорогу-то...

Афанасий отмахнулся от шуток, велел показать пушки, что перелиты из колоколов, каждую осматривал внимательно, спрашивал, из какого колокола отлита, каким мастером, далеко ли станет палить? Сильвестр Петрович ответил, что почти все пушки здешнего литья, сработаны мастером Федосеем Кузнецом, умен мужик и дело свое знает.

- А было вовсе пропадал! - сказал Афанасий. - Вишь, каков мастер... Ты его приветил ли, мастера?

- Такого приветишь! - ответил Иевлев. - Только ругается...

- Заругаешься, когда на дыбу вздергивают! - проворчал Афанасий.

Сильвестр Петрович удивился - все знает старик. Осмотрев пушки, Афанасий велел показать ядра - чугунные, железные, каменные. Резен объяснял, как раскаляют ядро в кузнечном горне, как замазывают пороховой заряд глиной, как вкатывают каленое ядро в ствол пушки.

- Порох-то добрый? - спросил Афанасий.

- Порох - ничего.

- Ты отвечай дельно! - крикнул Афанасий. - Ничего! Что такое - ничего?

- А ты не кричи, - попросил Резен.

Афанасий поморгал, потом спросил:

- Да ты, дурашка, знаешь, кто я таков?

- Ты поп, - сказал Резен. - И не кричи. Я не тот, чтобы кричать.

- Храбрый! - заметил Афанасий.

- Да, храбрый!

- Где порох?

- Где надо! - ответил Резен.

- Покажи мне порох.

- Зачем тебе порох? - спросил Резен. - Что ты в порохе понимаешь? Ты поп - и молись, а я инженер, я в порохе понимаю...

- Ты инженер, да - заморский, - щурясь на Резена, сказал Афанасий, - а я

поп, да - русский. И всего повидал за свою жизнь. Веди, Сильвестр Петрович, показывай...

Резен шел сзади, на щеках его проступили красные пятна - он обиделся. Афанасий велел подать деревянную миску, растер в миске пороховую мякоть, посмотрел, не серого ли цвета. Резен сказал Иевлеву по-немецки:

- Понимает!

Афанасий ответил тоже по-немецки:

- Понимаю!

И приказал костыльнику подать листок бумаги. У костыльника бумаги не было, Резен вырвал клочок из записной книжки, старик положил на листок щепотку пороху, сжег. Порох сгорел почти без остатка, бумага осталась целой.

- Порох добрый, а ты говоришь - "ничего"! - попрекнул Афанасий Резена, но уже спокойно. - Монахи мои где?

Монахи из Николо-Корельского монастыря высыпали на плац под мелкий дождик. Подрясники на них пооборвались, сапоги побились, лица у всех были загорелые, носы облупились от солнца, многие сбрили бороды, а Варсонофий отпустил усы. Афанасий, пряча улыбку, благословил свое воинство, негромко сказал Иевлеву:

- Ишь! И с копьями, и с мушкетами! Обучил?

- Обучил, - тоже улыбаясь, ответил Сильвестр Петрович. - Варсонофий у них мужик разумный...

- Начальный человек над ними?

- Капралом зовем, - сказал Иевлев.

- Ну, ну, - сказал Афанасий, - дело хорошее. Водки им не давай, я их знаю, жеребцов стоялых...

И подозвал к себе Варсонофия:

- Усатый экой!

Варсонофий молчал, стоял во фрунт, смирно.

- Табачищем несет! - сказал владыко. - И сала нет. Согнал сало. Так-то приличнее для монаха...

Варсонофий покашлял в кулак.

- Ну, иди, чадо! - усмехнулся Афанасий.

Монах повернулся, как учили, ударил разбитым сапогом, пошел через плац.

- Не вернется в монахи, - сказал Афанасий. - Образ не таков. Нет, не быть ему монахом, удерет... Капралом будет али разбойником...

Прощаясь, Афанасий сказал Резену:

- А ты, господин, не обижайся. Больно много вас, волков, к нам повадилось. Мне про тебя Сильвестр Петрович хорошо сказывал, да я не верил. Прости, коли обидел, не хотел.

Инженер не отвечал, посасывал трубку.

У ворот Афанасий благословил Иевлева, сказал устало:

- Трудно тебе будет, капитан-командор, труднее нельзя! Прощай! Может, и не свидимся.

Сильвестр Петрович поклонился низко, помог старику спуститься в карбас. На валах, на башнях, на стенах крепости, обнажив головы, стояли артиллеристы, стрельцы, монахи, каменщики, кузнецы, плотники - все те, кому предстояло защищать Архангельск в грядущей баталии.

Афанасий, стоя в карбасе, медленно, широко перекрестил их, сказал, не отрывая взгляда от крепости:

- С богом!..

Матросы крюками оттолкнули судно, келейник накинул на плечи владыки шубку, костыльник покрыл ему колени теплым платком...

- Теперь водки выпить да поесть малость! - сказал Сильвестр Петрович.

- Это хорошо! - согласился Резен.

Он протер стекло подзорной трубы и еще посмотрел: Двина была пуста, только дождь моросил, да низко, над самой водой летали чайки. Невидимые дозорные перекликались на валах и башнях крепости.

- Поп какой! - сказал с удивлением Резен, глядя вслед карбасу.

- Поп разумный! Пойдем, Егор. И будь в спокойствии. Нас упредят, узнаем от караулов. Не гляди, что пусто, - по всей реке народ стережет...

Вдвоем спустились с башенной вышки, по мокрому пустому плацу дошли

до крыльца избы, в которой жил Резен, тут остановились. Инженер казал по-немецки:

- У меня аквавита есть - добрая водка. Берег для случая. Немного выпил - давно. С господином Крыковым выпил...

- Господин Крыков, может, сейчас уже и досмотр начал! - произнес Сильвестр Петрович. - А может, и воров рубит. Все может быть...

Они вошли в горницу, инженер зажег свечу, отпер ключом сундук, достал аквавиту и скляницу шидамской горькой, ее осталось совсем немного, на дне. Солдат принес жареной рыбы, котелок с горячей кашей.

- Капитан Крыков не раз задавал мне вопросы о том, как устроены европейские государства, - произнес Резен. - Он словно бы все время ищет ответа на занимающий его вопрос, а что это за вопрос - не знаю. Он много думает, этот человек, и много читает...

Иевлев кивнул:

- Да, он много думает, и трудно живется ему на свете...

Потом, держа прозрачную бременскую рюмку перед глазами, спросил:

- Егор, ответь мне по правде, нынче ответь, перед баталией. Для какой причины ты, иноземец, нам служишь? Зачем тебе умирать для нас? Деньги, золото ты не слишком жалуешь, не как иные иноземцы, то я не раз примечал... Резен разлил золотистую аквавиту по рюмкам.

- Ты, капитан-командор, - русский. Вы, русские, всегда любите знать: зачем, для какой причины, что думает человек, когда молчит. Так?

Сильвестр Петрович кивнул.

- Я тебе скажу. Сегодня надо все говорить. Русский умный народ, русский храбрый народ, русский человек имеет вот такое сердце.

Инженер широко развел руки, чтобы показать, какое огромное сердце имеет русский народ, ушиб пальцы о стену, улыбнулся. Иевлев молча слушал.

- Русский позвал нас, русский думает: иноземец нас научит, мы так не умеем, как умеет иноземец, мы ему дадим золото, много золота. Я инженер, я имею в десять раз больше, чем ты, мой начальник. Вот как сделал русский. А как сделал он, иноземец? Венецианец Георг Лебаниус,

еще лекарь Лофтус, еще Риплей, еще тот, первый, - все они сидят под замком. Вот как они делают, вот как они сделали. Консул Мартус, еще пастор, еще негоцианты в Архангельске - что они сделали?

Резен горячился, ему не хватало русских слов, он заговорил по-немецки:

- Пусть черт их возьмет, я насмотрелся на то, как и что они делают. Я видел их на Москве, в Кукуе, я видел их так, как ты, русский, их никогда не видел и не увидишь. Кто едет сюда? Проходимцы, обманщики, на сто негодяев - один честный. Русские не могут уважать нас, европейцев. Помнишь, капитан-командор: вы приехали учиться, а вас обкрадывали, вы приехали за наукой, а вам показывали фокусы. Зачем долго говорить - вспомним Нарву. Вспомним генералов, которые искали короля Карла, чтобы отдать ему свою шпагу. Я бедный инженер, но я имею свою голову на плечах. Вы позвали меня. Мне захотелось увидеть своих, - я пошел на Кукуй. Мне закричали "виват!" - и меня стали учить, как обманывать вас. Это первое, чему меня учили. Меня не учили русским словам - "хлеб", "работа", "честь", - меня учили, как ничего не делать и получать деньги, много денег, богатство. Я не верил своим ушам. Я сказал им: "Вы - воры!" В ту же ночь, ты не знаешь, был один поединок, потом второй. Нет, они не обиделись, - они испугались, они хотели убрать меня. И тогда я пришел к тебе и спал у тебя - ты не помнишь? У меня была рана вот здесь, возле локтя, я сказал, что напали разбойники. Мне было стыдно... И когда потом я видел, что мне не верят, что на меня смотрят недобрыми глазами, что во мне никто не видит друга, я не огорчился, нет, капитан-командор, я думал: эти русские не такие уж простаки. Они понимают многое и все запоминают...

- Запоминаем! - сказал Иевлев. - И худое запоминаем, и хорошее...

- Это то слово, которое нужно! - воскликнул Резен. - Запоминаем! И я хочу, чтобы ты помнил не только про тех четырех, которые заперты, не только про тех, что сидят сейчас в кирке под стражей, а еще про инженера Резена...

Он поднял рюмку с аквавитой, чокнулся, сказал душевно:

- Это вино дала мне моя мать, когда я ехал к вам. Она сказала: выпьешь

его со своим другом, с земляком, когда встретишься с ним на чужбине. Я пью его с тобой, капитан-командор. Я пью с тобой в ночь перед баталией...

Он отпил немного, встряхнул склянку с шидамской горькой, сказал невесело:

- А эту бутылку я выпил один. Я запирался здесь и пил, - мне было стыдно...

- Ешь кашу, простынет! - сказал Иевлев. - Бери ложку, инженер...

Кашу они съели молча, потом стали говорить о делах. Еще раз побывали на башне, посмотрели на Двину, обошли скрытые на валах пушки, спящих солдат, артиллеристов, матросов. Прощаясь с инженером, Иевлев сказал:

- Ветерок-то с моря, а, Егор? Слабый, а все ж - ветерок! Не двинулась ли эскадра?

- Слишком слаб ветер! - ответил инженер.

Сильвестр Петрович вернулся к себе в избу, повесил плащ на гвоздь, набил трубку табаком. Рядом за стеной спали дочки, рябовский Ванятка, давеча приехавший с матерью на цитадель, Марья Никитишна. Иевлев высек огня, оглянулся на слабо скрипнувшую дверь. На пороге стояла Таисья.

- Что ж ты не спишь, Таисья Антиповна? - спросил Иевлев.

- Вы мне только одно слово скажите, едино! - быстро зашептала Таисья. - Вы только скажите, Сильвестр Петрович, что она за Онега такая? Спехом собрался, спехом ушел. Какая Онега? Ужели и вы не ведаете?

Иевлев посмотрел в ее молящие, тоскующие глаза, ответил не сразу:

- Не ведаю, Таисья Антиповна. Иди, голубушка, спи...

5. ДУРНЫЕ ВЕСТИ

Нил Лонгинов и Копылов сидели рядом, оба неузнаваемо исхудавшие, оба изъеденные морской солью, оба с красными глазами. Других рыбаков, что бились на острове со шведами, Афанасий Петрович уже опросил, написал листы, отпустил; они сидели возле избы на ветру,

разговаривали с таможенными солдатами.

- Сам-то ты своими очами его видел? - спрашивал Крыков Лонгинова.

Рыбак сердито повел носом, не ответил.

- Видел али не видел? - еще раз сурово спросил капитан.

- В щель не больно много увидишь, - ответил Лонгинов. - Ты сам, Афанасий Петрович, на разных кораблях бывал, знаешь, как в трюмах видно. А голос - точно, его голос, и беседовали мы не так уж коротко. Да я бы не поверил, - мне об том деле ихний человек говорил, который пилу принес. Говорил, что-де при адмирале Рябов состоит - в холопях, что ли. Кафтан собаке подарили парчовый, цепи сняли, угощение поднесли. Сидел будто наш Иван Савватеевич, выпивал, деньги ему казначей принес - мешок.

Крыков слушал молча, сидел чернее тучи, шевелил бровями. Табак в трубке погас, он поковырял гвоздиком, стал высекать огонь. Лонгинов вдруг закричал:

- Дединьку повесили изверги, а он, подлюга, им за ихние деньги передался. Ничего, попадется - руками порву, тать, еще артельным был, попомнит...

- Не ори! - велел Афанасий Петрович. - Чего орешь?

Копылов сказал с досадою:

- Тут, Афанасий Петрович, заорешь! Еще не так заорешь! Ты бы повидал, как нас вешать собрались, повидал бы, как мы с ними дрались на острове. Не люди - зверье, и где они таких понабирали...

- Что за человек, который тебе пилу дал? - спросил Крыков.

- А шут его знает. Будто наш, русский, а говорит по-нашему коряво. Не все разберешь, чего он говорит. Мужичок не старый, годов ему, может, двадцать пять - не более...

Афанасий Петрович запыхтел трубкой, насупился, взял перо - написать рыбакам проходной лист, чтобы шли в город, по избам. На шанцах ударили в било: таможенникам - ужинать. Солдат принес в миске щи - пробу капитану. Крыков взял с полки деревянную, резанную Прокопьевым ложку, хлебнул, велел покормить рыбаков тоже.

Когда Лонгинов и Копылов ушли, Афанасий Петрович сел за стол, стиснул голову руками, охнул, выругался. Ужели Ваня Рябов, тот Рябов, которому он отдал самое дорогое, что было в его жизни, тот самый Рябов, которого когда-то, в старопрошедшие годы, вызволил он от злого негоцианта Уркварта, тот Иван Рябов, с которым он пошел к Иевлеву и Апраксину на Мосеев остров, - ужели мог он передаться шведам, служить им за золото, за парчовый кафтан, ужели мог взяться тайно провести эскадру двинским фарватером к городу? Да нет, не могло так быть, не могло так случиться, не видел сего Лонгинов, сам же говорил - Рябов гремел цепями.

"Ну, а если?"

И внезапно остыл, как человек, принявший твердое решение: "Тогда - убью. Найду и убью! Что ж тут размышлять?"

Но тотчас же ему стало стыдно этой мысли: кормщик поведет шведские воровские корабли? Он усмехнулся, задумчиво покачал головою: чего только не наболтают люди, чего только не выдумают...

Еще раз раскурив трубку, он вышел на волю, зашагал к вышке. По пути встретился ему Евдоким Прокопьев, - бежал с дурными вестями: взялся ветер, шведы снимаются с якорей.

- Ветер-то пустяковый! - ускоряя шаг, сказал Афанасий Петрович. - Какой он ветер?

За Крыковым бегом поднялся наверх Мехоношин, взял из рук капитана подзорную трубу, упер рогатину в пол вышки, стал наводить туда, куда смотрел Афанасий Петрович: сомнений больше не было - эскадра под парусами шла к двинскому устью.

- Идут! - сказал поручик охрипшим голосом. Прокашлялся и повторил. - Ей-богу, идут! И сколько!

- Не так уж и много! - усмехнулся Крыков. - Эскадра, а чего ж...

Мехоношин протер окуляр, еще всмотрелся: корабли плыли, словно огромные хищные птицы, и поручик даже оробел при мысли, что грозную эту эскадру остановит Крыков, или капитан-командор Иевлев, или он, Мехоношин.

- Идут! - пробормотал он. - Сюда идут. На нас.

Афанасий Петрович сдвинул треуголку на затылок, повернул трубу к себе.

- Вишь, сколько! - прошептал ему Мехоношин и даже толкнул его под бок. - Сила-то, а? И на каждом пушки, да по скольку пушек...

Крыков не отвечал, все смотрел.

Внизу, на расчищенном теперь плацу, строились таможенники. Барабан бил сбор, капралы перекликали солдат, пушкари под навесом, где стояла новая таможенная пушка, раздували угли в горшке, чтобы зажечь фитиль без промедления, едва потребуется. В мерном шелесте дождя было слышно, как ржали и кусались драгунские кони у коновязи...

- Теперь - богу молиться, более делать нечего! - сказал Мехоношин тусклым голосом.

- А то еще и водку пить! - сдерживая злобу, ответил Афанасий Петрович и крикнул вниз: - Капрал, зарядов иметь не менее дюжины!

- Аички? - спросил снизу Евдоким Прокопьев.

- Разложить бы да всыпать сотню - сразу уши прочистит! - посоветовал Мехоношин.

Крыков наклонился с вышки, повторил насчет зарядов. Евдоким пошел в кладовушку. Мехоношин заговорил примирительным тоном:

- Вот ты все, Афанасий Петрович, показываешь мне свою неприязнь, а я-то прав. Рыбаки сказывают: своими глазами видели на эскадре лоцмана-зменника, об сем прискорбном событии любой солдат на шанцах знает. И кличут того лоцмана - Рябов. Я едва было под арест его не забрал за воровство, да твой капитан-командор меня выгнал, поносными словами облаяв. Теперь расхлебывай...

Крыков покосился на Мехоношина, вновь стал протирать окуляр подзорной трубы.

- Ишь, эскадра, да еще и измена... - продолжал поручик. - А нам здесь животы складывать, за что? При Нарве сии славные войска наголову разбили самого царя, а нынче нас идут воевать, мы и готовы - таможенники да драгуны...

Афанасий Петрович резко повернулся к Мехоношину, сказал с яростью:

- Уйди ты отсюда, поручик, сделай милость для ради бога, спущу под зад коленом, разобьешься - с высоты тут лететь.

Поручик отступил на шаг, спросил, подняв брови:

- Вы изволите говорить ко мне?

Крыков, не отвечая, зачехлил подзорную трубу, спустился вниз, в избу - переодеться. Не торопясь, спокойно вынул из сундучка чистое белье, новые башмаки, чулки, доброго сукна мундирный кафтан. Переодевшись, зарядил два пистолета, один положил в нагрудный карман, другой в кожаную сумку справа. В горницу, не стуча, вошел старый и верный друг капрал Евдоким Аксенович, принес оселок - наточить жало шпаги, сел, как сиживал, работая деревянные ложки или сольвычегодскую цепочку, - спокойно, упористо, в левой руке оселок, в правой - шпага. Тихонько запел:

Не ловея была,

Свежие рыбы трепещущие...

Афанасий Петрович всмотрелся в лицо Прокопьева, освещенное огоньком свечи, подивился, как может человек петь нынче, и тотчас же понял: поет капрал, как дышит, а думает о другом. Лицо его было сурово, мысли носились далеко, а где - кто знает?

- О чем, капрал, задумался? - негромко спросил Крыков.

Прокопьев поднял голову:

- О чем, Афанасий Петрович? Да мало ли о чем! Об веселом нонче дума не идет...

- О чем же - о невеселом?

- Да вот давеча рыбаки сказывали насчет Рябова...

- Вздор все! Враки!

- И я так размышляю - враки. Ну, а как нет?..

Он тряхнул головой, вновь склонился над оселком, и опять в горнице послышалось характерное сухое похрустывание стали об оселок. Крыков застегнул пояс на обе пряжки, сдвинул назад складки кафтана, поправил портупею, задумался, что еще надобно сделать.

- Теперь ладно! - улыбаясь большим ртом, сказал Прокопьев и подал ему шпагу. - Теперь славно будет...

- А твоя-то наточена?

- У нас все слава богу! - ответил капрал. - Хорошо покажемся шведу, не посмеется на нас.

В дверь поскреблись, капрал открыл.

- Ну чего, Сергуньков?

- Пушку принес! - сказал солдат. - Господин капитан давеча сказывали - лафетик ей вырезать. Вот вырезал.

- А-а, пушка! - усмехнулся Прокопьев.

- Да ты входи, - позвал Крыков, - входи, Сергуньков!

Сергуньков вошел, поставил на стол лафетик для игрушечной пушки. Афанасий Петрович вынул из сундучка медный ствол, обтер его суконочкой, примерил к лафету. Ствол подходил. Сергуньков улыбаясь смотрел, как выглядела нынче пушечка - словно настоящая.

- Хобот в ей мал! - сказал, щурясь, Прокопьев. - Коротковат. Вот ужо отделаемся, подумаем, как нарастить хобот...

- Не рассчитал я! - виновато произнес Крыков.

Он накинул плащ на широкие плечи и велел капралу строить таможенников. Прокопьев поправил треуголку, обдернул портупею, вышел. Афанасий Петрович еще помедлил, словно что-то вспоминая, сел за стол, обмакнул перо в разведенную писарем сажу, написал крупно, кривыми буквами:

"Таисья Антиповна, богоданная сестра моя, здравствуй, бью челом тебе в сии минуты, когда дожидаю великого алярма..."

Написанная строчка не понравилась ему, не понравилось и то, что он назвал Таисью богоданной сестрой.

- То-то, Евины дочери! - вздохнул Афанасий Петрович, изорвал бумагу в клочья и вышел из горницы.

6. НАИЗНАТНЕЙШЕЙ СЛУЖБЫ - КАРАУЛЬЩИКИ

Ливень прекратился, мелкий дождь едва моросил. Ветра не было вовсе.

Таможенники, построившись в сумерках, негромко переговаривались. На Двине поскрипывали таможенные лодки.

- На якоря становятся! - крикнул с вышки Прокопьев. - Слышишь, господин капитан?

Крыков легко взбежал наверх, посмотрел: эскадра, чернея на фоне неба, покачивалась немного выше положенного для таможенного досмотра места. На мачтах и реях шла работа: там двигались черные фигурки матросов - убирали паруса.

- Худо ихнее дело! - сказал Прокопьев. - Не угадали. Что ж, сами попросят досмотра, али мы стрельнем?

Афанасий Петрович молчал.

- Здоровые кораблищи-то! - опять сказал Прокопьев. - Пожалуй, не бывали еще к нам такие махины? Воинские корабли?

- Военные, капрал.

- И мне думается - воинские.

- Воры.

- Воры и есть...

В это мгновение на баке флагмана блеснул огонек. И тотчас же над Двиною раскатился звук мушкетного выстрела, а вслед за ним взлетела ракета.

- Ну что ты скажешь! - удивленно произнес Прокопьев. - Сами досмотра просят. Может, еще и не воры?

- Воры, капрал! - уверенно ответил Крыков. - Воры, и надобно нам к сему быть готовыми. Воры, да хитрые еще. Ну, и мы не лыком шиты, повидали ихнего брата. Пойдем!

Внизу он сказал Мехоношину коротко и сухо:

- Коли услышишь, поручик, с эскадры пальбу, ступай с драгунами на выручку...

Мехоношин молчал.

Тогда Крыков отвернулся и, отыскав взглядом высокого старого драгуна Дроздова, сказал ему:

- Слышь, Дроздов, я на тебя надеюсь!

Дроздов ответил немедля:

- Надейся, Афанасий Петрович. Сделаем как надо!

Крыков прыгнул в карбас, солдаты оттолкнулись крюками, капитан приказал:

- Весла на воду!

Сам взялся за румпель, весла поднялись разом. Мокрый таможенный прапорец капрал расправил руками, флаг заполоскал за кормою. Карбас быстро, словно ножом, прорезал тихую, мутную после ливня воду. Солдаты гребли молча, сильно, равномерно, с короткими передышками между гребками, во время которых все гребцы враз наклонялись вперед, занося весло. Лица у таможенников были суровые, все понимали, что их ждет.

- А ну, песню! - приказал Крыков.

Прокопьев изумленно на него посмотрел, даже рот открыл от удивления, капитан повторил:

- Песню, да лихую. Пусть слышат, что за народ на карбасах. Заводи, капрал!

Евдоким сделал страдальческое лицо, завел высоким голосом:

Улица, улица, широкая моя,

Травка-муравка, зеленая моя!

Гребцы подхватили с отрывом, словно в плясе, готовясь к выходке:

Знать-то мне по улочке не хаживать,

Травку-муравку не таптывать...

На втором таможенном карбасе подхватили с угрозою, басистее, ниже:

Травку-муравку не таптывать,

На свою на милую не глядывать...

А на далеком уже берегу, в сумерках, под моросящим дождичком, с уханьем, с

присвистом, словно помогая таможенникам, грянули драгуны:

На свою на милую не глядывать,

Как-то моя милая сидит одна,

Под окном сидит, ему сказывает:

Мальчик ты, мальчик, молодешенек,
Удалая головушка твоя,
Удалая, кудрявая,
Разудалая, бесстрашная...
- Шабаш! - скомандовал Крыков.
Весла поднялись кверху. Карбас в тумане, под шелестящим дождиком, подходил к огромной черной безмолвной громаде флагманского корабля. Мирные, резанные из дерева листья, виноградные гроздья и веселые человеческие лики гирляндами виднелись там, где у военного судна надлежало быть пушечным портам. И мирный, дружелюбный голос спросил с борта не по-русски:
- Wer da?[1 - Wer da? - Кто идет? (нем.)]
- Российской таможенной стражи капитан Крыков с солдатами под государевым знаменем! - громко ответил Афанасий Петрович. - Спустить парадный трап!
Карбас глухо стукнулся о борт корабля. Наверху завизжали блоки, послышались отрывистые слова команд. Над карбасом медленно поплыл парадный трап. А с далекого, теперь невидимого берега все еще доносилась удалая веселая песня:
Улица, улица, широкая моя,
Травка-муравка, зеленая моя!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Кто знамю присягал единыжды, у оного и до смерти стоять должен.
Петр Первый

1. ТАМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР

- Вы их купите за деньги! - произнес Юленшерна.
- Это невозможно! - ответил Уркварт.
- Вы их купите! - повторил шаутбенахт. - Есть же у них головы на плечах. Они, несомненно, догадываются, что корабль военный. Им не захочется умирать. Они получат свои деньги и уйдут, моля бога за нас.

- Я знаю их начальника! - воскликнул Уркварт. - Поверьте мне, гере шаутбенахт, - его купить нельзя.

- Смотря за какую цену! За пустяковую он не захочет продать свою честь, но за большие деньги... Черт возьми, нам нужно, чтобы здесь все прошло тихо. Зачем нам пальба и шум на шанцах? Если таможенники будут подкуплены, все обойдется тихо, и в крепости могут поверить, что мы действительно негоцианты...

Уркварт молчал, опустив голову: что он мог поделать с этим безумцем? Молчал и полковник Джеймс. Но какой же выход, если ветра нет и эскадра, как назло, остановилась неподалеку от шанцев? Сразу начать пальбу? Это неразумно. Ждать, пока таможенники выстрелом из пушки потребуют, чтобы корабли вызвали досмотрщиков? Нет, самое умное все-таки - поступить так, как советует шаутбенахт.

- А лоцман? Что мы будем делать сейчас с лоцманом? - спросил Уркварт.

Юленшерна пожал плечами: лоцмана следовало опять спрятать в канатный ящик. Чтобы он не шумел, на него можно надеть цепи.

- Это его озлобит! - сказал Уркварт.

- Пусть! Зато они не встретятся. Им незачем встречаться. Ничего хорошего из этого не произойдет.

- Нам придется трудно!.. - заметил Уркварт.

- Если придется трудно, то мы будем драться только холодным оружием. Полковник предупредит об этом солдат. Не такая уж большая работа - перерезать ножами дюжину, другую таможенников.

Уркварт вздохнул.

Через несколько минут Рябову веревкой скрутили руки, потом надели цепь-тройчатку. Он вырвался - тогда ему заткнули рот тряпкой и поволокли по трапу вниз. Митеньку связали тоже.

Стол с угощениями был накрыт в кают-компании, здесь же были приготовлены деньги в красивом вышитом кошельке, в ларце лежали судовые документы, искусно исполненные в Стокгольме на монетном дворе. Таможенников должен был принимать Уркварт со всей учтивостью, Голголсен, как старый и известный в русских водах конвой, был

назначен ему в помощники. Матросов для встречи Юленшерна приказал выбрать наиболее благообразных. Чтобы корабль имел еще более мирный вид, полковник Джеймс посоветовал Уркварту не выходить к парадному трапу, якобы шхипер в переходе занемог и чувствует себя настолько слабым, что полулежит, укрытый периною...

Уркварт усмехнулся и напомнил Джеймсу, что оба они достаточно хорошо знают таможенного офицера Крыкова: нечего надеяться на бескровный конец досмотра.

- Что же делать? - спросил Джеймс.

- Делать то, что приказал шаутбенахт! - ответил Уркварт злобно. - Мы все в его власти. Если он считает, что нет ничего проще, нежели обмануть русских, то так оно и должно быть...

Уркварт прилег на диван, велел принести себе перину и теплый шарф, чтобы сделать компресс на горло. Его и вправду стало знобить.

Рядом - в темном коридоре, в двух офицерских каютах, на трапе, ведущем в камбуз, - разместились головорезы дель Роблеса с ножами и кортиками, готовые по приказу испанца начинать бой. Юленшерна ходил в своей каюте наверху, в кают-компании были слышны его твердые решительные шаги.

Полковник Джеймс, заикаясь от страха, спросил:

- А потом?.. Что будет... после таможенного досмотра?..

- До этого надобно еще дожить! - ответил Уркварт. - Идите, гере полковник, идите... Господа таможенники не заставят себя ждать...

У парадного трапа капитана Крыкова встретил штурман "Короны" и, вежливо извинившись, попросил проследовать в кают-компанию, где, по его словам, лежал шхипер, простудившийся в море во время шторма.

Крыков кивнул и, рукою в перчатке придерживая шпагу у бедра, с половиной своих солдат и с капралом (остальным солдатам он приказал остаться на правой, почетной стороне шканцев) пошел к трапу, ведущему в кают-компанию. Перед ним знаменосец Ермихин нес русский флаг, сзади два барабанщика мелко выбивали дробь.

В кают-компании Крыков остановился перед накрытым столом и, точно

не узнав ни Уркварта, ни Голголсена, резким повелительным голосом сказал:

- Его царского величества войск таможенной стражи капитан Крыков с солдатами для производства законного таможенного досмотра и опроса постатейного явился. В виду флага государства российского наперво всего прошу встать...

Барабанщики коротко выбили сигнал, Уркварт поднялся с дивана, прижимая перинку к толстому животу, улыбаясь жирным лицом, ответил:

- Мы старые знакомые, капитан...

Голголсен тоже встал. Крыков выдернул из-за обшлага бумагу, положил ее на спину барабанщику, другой барабанщик подал пузырек с чернилами из сажи, перо. Афанасий Петрович спросил:

- Имя сему кораблю?

- Сей корабль имеет имя "Астрея", - солгал Уркварт.

Крыков написал крупными буквами: "Астрея".

- Сколько ластов?

Уркварт ответил. Афанасий Петрович строго сказал:

- Я, господин шхипер, не первый год ведаю досмотром кораблей, что вы на себе знаете. Брехать же вам невместно. Извольте говорить правду.

Шхипер пожал плечами, прибавил еще сотню. Капитан смотрел на него не мигая, спокойно. Уркварта под этим взглядом передергивало. Как изменился за прошедшие времена когда-то юный таможенник! Как возмужало это простое лицо крестьянина, каким спокойствием, какой уверенностью дышит весь облик этого офицера. И как хорош он в своем мундире с зелеными отворотами на воротнике, с белой косынкой на шее, в перчатках, облегающих руки, при шпаге, прямо и ловко лежащей у бедра...

- Прошу отвечать на статьи опроса! - сказал Крыков.

Уркварт наклонил голову.

- Которого государства корабли ваши? - спрашивал Крыков холодным служебным голосом. - Не были ли вы в заповетреных, иначе - недужных, местах, не имеете ли вы на борту пушек более, чем установлено для

защиты от морского пирата, не находитесь ли вы в союзе и дружбе с королем Карлом, не прибыли ли по его приказанию, не есть ли вы скрытые шведские воинские люди?

- Нет! - твердо ответил Уркварт.

Кают-вахтер подал ему библию. Он положил на нее левую руку, правую поднял кверху, заговорил:

- Богом всемогущим и святой библией клянусь, что корабли каравана моего есть суда негоциантские, в заповетреных, иначе недужных, местах не были, на борту пушек более, чем надобно для защиты от морского пирата, не имею...

Крыков слушал не шевелясь, смотрел в сытое розово-белое лицо Уркварта, думал: "Где же бог? Почему не разразит клятвопреступника на месте? Где молния, что должна пасть на его голову?"

Шхипер приложился губами к библии, Крыков потребовал судовые бумаги. Голголсен, сидя верхом на стуле, уперев изрубленный подбородок в скрещенные ладони, слушал, как ходит в своей каюте шаутбенахт - ждет. Чего? Все равно это не кончится добром. И, щуря один глаз, Голголсен примеривался, куда колоть шпагой наглого русского офицера.

- Чашку турецкого кофе ради сырой погоды? - предложил Уркварт, когда капитан вернул ему бумаги.

- Недосуг! - ответил Крыков.

- Вы будете смотреть наши товары? - спросил Уркварт.

- Буду.

- Большая работа! - сказал шхипер. - Она грозит нам разорением. Ярмарка вскорости закончит свои обороты, дорог каждый день...

- В сем году ярмарки нет! - ответил капитан, прямо глядя в глаза шхиперу. - Об том посланы листы во многие страны...

Уркварт моргал. В кают-компании стало совсем тихо, только Голголсен посапывал, да трещали свечи в медных шандалах. Уркварт не знал, что говорить.

- Ярмарки нет в опасении шведа? - спросил он наконец.

Афанасий Петрович кивнул.

- Еще хуже нам! - сказал Уркварт. - Какие убытки! Мы привезли много прекрасных товаров, а теперь нам должно стоять здесь несколько дней. Матросы получают поденную плату, конвойные солдаты тоже, - из чего я стану им платить? Ярмарки нет, ай-ай-ай. Быть может, нам удалось бы продать наши товары свальным торгом, но только поскорее...

- Да, убытки большие! - согласился Крыков. - У вас еще один корабль потонул возле Сосновца, а другой - в шторм...

Уркварт изумился, замахал руками:

- У нас? Вы ошибаетесь, капитан! У нас все, слава богу, благополучно!

- Значит, не у вас. То была другая эскадра. Тамошние воры силой хватали наших рыбаков и вешали их на нока-рее. Более того: они заковали в цепи кормщика нашего Рябова и запрятали на одном из своих кораблей. Кормщик тот вам, шхипер, небезызвестен, в старопрежние времена был случай, что отыскался он на вашем корабле "Золотое облако"...

Уркварт опять не нашелся, что ответить.

- У вас хорошая память! - сказал он наконец.

- Чего надо - помню! - угрюмо произнес Крыков.

Он повернулся к своему капралу, приказал спокойно:

- Начинать досмотр. Смотреть товары со всем прилежанием. За мной!

Уркварт протянул вперед пухлые руки, воскликнул:

- Капитан! Стоит ли тратить силы? Это продлится бесконечно. Вот кошелек. Здесь - сумма большая, чем та, которая может быть объявлена при конфузии за товары, не обозначенные в описи. Капитан...

Афанасий Петрович посмотрел на кошелек, на шхипера, на конвоя, поднимающегося со стула, повернулся и пошел к двери. Головорезы дель Роблеса - в коридоре, на темном камбузном трапе, в штурманской каюте - затаили дыхание. Мимо них с барабанным боем, твердыми шагами поднимались на ют русские таможенники.

- Вон светится! - кивнул головою Прокопьев на полуоткрытую дверь в адмиральскую каюту. - Вишь, где ихний главный... Вон он - старичок

какой, желтенький...

Крыков замедлил шаги и тотчас же увидел старичка с желтым лицом и бровями ежиком, который неподвижно стоял и слушал, отогнув сухой ладонью большое твердое ухо.

- Он и есть, зверюга! - шепотом сказал Прокопьев. - Вишь, слушает...

И Крыков, не ответив, согласился, что это и есть зверюга, и подумал, что когда все начнется, он придет и убьет этого старичка.

Кают-компания опустела.

- Ну? - спросил Голголсен.

- Что - ну? - ответил Уркварт. - Они все понимают и идут на смерть. Они не хотят драться здесь, они предпочитают бой на шканцах, там их увидят с берега... Берите свою шпагу и идите туда, если не верите мне на слово.

Голголсен поправил панцырь, ребром ладони взбодрил колючие усы, свистнул в пальцы. Дель Роблес просунул темное худое лицо в круглое окошко над столом.

- На шканцы! - сказал конвой. - Ножи в руки! Сколько их всего?

- Шесть десятков! - ответил дель Роблес. - Мы их сомнем в одно мгновение!

Голголсен вынул пистолет из кармана, подсыпал пороху на полку, пошел к трапу.

- Стрелять нельзя! - шепотом напомнил шхипер.

- Я стар для того, чтобы рубиться, - ответил конвой. - Да и не так это просто...

Он поднялся на ют. Из люков, в серой мути моросящего дождя, отовсюду появлялись люди дель Роблеса. Склонившись, они шли вдоль бортов, один за другим, сильные, умелые, в хороших панцырях из гибкой стали, с длинными острыми ножами в рукавах.

Голголсен спустился на шканцы, мотая головой, сказал Крыкову по-русски:

- Пфа, как ошень колотный покод! Пфа! Мокрий покод!

Крыков не ответил, стоял неподвижно, сложив руки на груди под плащом. Его капрал и солдаты ловко ворочали тюки. Теперь Афанасий

Петрович нисколько не сомневался в том, что корабль воинский и построен вовсе не для добрососедской торговли, а для боев. Но уверенности еще было недостаточно, надобно было уличить воров, а когда уличишь - быть бою, добром шведы, разумеется, не отпустят таможенников с корабля. И Афанасий Петрович готовился к тому, что обязательно должно было случиться, - к сражению, и оглядывал шканцы, шкафут, бак не как корабль, а как поле боя, стараясь предугадать ход событий...

Голголсен стоял рядом, хмурился, - тоже ждал, не отрываясь смотрел на сереющие в сумерках огромные лари, в которых Джеймс скрыл своих солдат. Таможенники, шестеро в ряд, подходили все ближе и ближе к ларям, отваливая на ходу тюки и шомполами прокалывая мягкую рухлядь. Тюков было много, таможенники запарились...

- Для какой надобности на шканцах расположены сии лари? - спросил Крыков.

Конвой сделал вид, что не понял вопроса, и почти в это же мгновение стенка ларя бесшумно ушла в сторону, в пазы, абордажные солдаты с топорами шагнули на таможенников, те схватились за шпаги. Голголсен отступил на шаг от Крыкова, выбросил вперед руку с пистолетом, но выстрелить не успел, - желтое пламя опалило ему лицо, и он упал на бок, хрипя, с пулей в груди...

2. МЕХОНОШИН УДРАЛ

На корабле затрещали выстрелы.

Поручик Мехоношин сразу вспотел, ойкнул, побежал за караулку - седлать коня. Руки его не слушались, он задыхался, не мог толком затянуть подпругу. Выстрелы делались чаще и чаще, с Двины донесся протяжный крик. Мехоношин, пригибаясь, потянул коня на дорогу и только здесь сел в седло. Тут ему стало спокойнее, он перекрестился и, прошептав: "Шиш вот вам, стану я ради вас, прощелыг, помирать", - дал шпоры коню и поскакал к Архангельску.

В городе поручик без труда отыскал покосившуюся, поросшую мхом избу

кормщика Лонгинова и вошел с тем властным видом, которого всегда страшились подчиненные ему люди. Однако Нил, еще не отдохнувший с дороги, хлебал щи и поручика не испугался, а белобрысый мальчик даже потрогал шпагу Мехоношина. Девчонка жалась в углу.

- Здорово! - сказал Мехоношин.

- Ну, здорово! - ответил Лонгинов, облизывая ложку.

- Ты и есть кормщик Лонгинов?

- А кто ж я еще? Известно - Нил Лонгинов.

- Сбирайся, тебя князь-воевода требует.

- Чего сбираться? Едва вошел - сбирайся! Дай хоть ночку поспать.

- Нельзя! - твердо сказал Мехоношин. - Спехом велено.

- Да на кой я ему надобен? - рассердился кормщик. - Будто и не кумились.

- Там узнаешь...

Нил вздохнул:

- Куда ж ехать-то? Съезжая будто на замок заперта, - солдаты на шанцах говорили. В самый в боярский дом?

Громыхнула дверь, вошла Фимка с деревянным подойником - доила корову.

- Вот офицер пришел, - виноватым голосом сказал Лонгинов. - К воеводе требует...

Ефимия поставила подойник, поддала ногой мурлыкающему коту, чтобы не совался к молоку, посмотрела на Мехоношина:

- Да он едва с моря вынулся, чего натерпелся-то, господи! Едва шведы смертью не казнили, вешать хотели.

Мехоношину надоело, он топнул ногой, заорал, что выпорет батогами. Нил поднялся, дети жалостно заплакали.

- Конь есть? - спросил поручик.

- Не конь - огонь! - усмехаясь, похвастал Лонгинов.

Вывел из сараюшки старого, разбитого на все четыре ноги мерина, взобрался на него, сказал с озорством:

- Давай, кто кого обскачет? Ух, у меня конь!

Фимка выла сзади, возле избы, провожала мужа словно на казнь.

В Холмогорах Мехоношин сказал воеводе:

- Привез тебе, Алексей Петрович, рыбака-кормщика: сам он своими глазами видел на шведском флагмане кормщика Рябова, знает верно, что тот кормщик шведу предался. Капитан-командору сей Рябов наипервейший друг. Теперь рассуждай...

Прозоровский ахнул, взялся за голову:

- Ай, иудино семя, ай, тати, ай, изменники...

- Думай крепко!

- Ты-то сам как, ты что, поручик?

Мехоношин насупился, молчал долго, потом произнес со значением в голосе, твердо, словно бы отрубил:

- Измена.

- Отдадут Архангельск?

- Отдадут, и сам Иевлев, собачий сын, ключи им подаст.

Прозоровский ударил в ладоши, велел ввести Лонгинова. Кормщик вошел, словно не впервой, в дом воеводы, сонно оглядел ковры, развешанные по стенам сабли, хотел было сесть, воевода на него закричал.

- Ну-ну, - сказал Лонгинов, - что ж кричать-то? Намаялся я, на своем одре столько едучи...

- Говори! - приказал воевода.

- А чего говорить-то?

- Как Рябова изменника видел, что слышал, все по порядку...

Лонгинов неохотно, но в точности, стал рассказывать. Воевода слушал жадно, кивал, поддакивал:

- Так, так, так! Ай-ай! Так, так...

3. АФОНЬКА КРЫКОВ ИМ ДАСТ!

- Палят! - сказал Митенька. - Слышь, дядечка!

- Слышу, молчи! - ответил Рябов.

- И сколь много времени все палят да палят! - опять сказал Митенька. -

Помощь им пришла, что ли?

- Помолчи-ка! - попросил кормщик и приник ухом к переборке, но теперь стало слышно хуже, чем у двери. Гремя цепью, он опять пошел к двери.

- Солдаты? - спросил шепотом Митенька.

- Таможня! - так же шепотом, но радостно сказал кормщик. - Таможня, Афанасий Петрович бьется.

Опять ударило несколько частых раскатистых выстрелов, и тотчас же что-то упало, тяжело шурша по борту корабля. Наверху, на шканцах, раздавались крики, вопли, стоны. Сюда это все достигало глуше, тише, но все-таки было понятно, что наверху идет сражение.

- Сколько ж их? - спросил Митенька. - Мы давеча на шанцах были, немного там таможенников, дядечка. Разве сдюжают? А шведов...

Кормщик отмахнулся, вслушиваясь. Наверху попрежнему стреляли, теперь выстрелы доносились с носа корабля, а на юте стало как будто тише. А потом стало совсем тихо.

- Кончили с ними! - устало садясь, сказал Митенька.

Рябов тоже сел; в темноте было слышно, как он дышит.

- Кончили? - спросил Митенька.

- Еще погоди! - с угрозой в голосе ответил Рябов. - Больно ты скор.

Наверху с новой силой загрохотали выстрелы, Рябов сказал:

- Вот тебе и кончили. Афонька Крыков им даст еще, нахлебаются с ним горя...

Опять завыли, закричали шведы, с грохотом, стуча коваными и деревянными башмаками, полезли наверх по трапу. Мимо проволокли кого-то - стонущего и вопящего.

- Раненый, небось! - сказал Митенька.

- То-то, что раненый! - ответил Рябов. - Не лезь, куда не надобно, и не будешь раненый. Чего им у нас занадобилось? Где ихняя земля, а где наша? Шаньги двинской захотели, вот - получили шаньгу! Да оно еще цветочки, погодя и ягодок достанут.

Он опять стал жадно слушать. Вниз, мимо канатного ящика, все волокли и волокли стонущих и охающих шведов - им, наверное, крепко

доставалось там, наверху, где шел бой, - а навстречу по трапу, жестоко ругаясь, гремя палашами, копьями, мушкетами, лезли другие - взамен раненых и убитых.

- Вот тебе и пришли тайно! - вдруг с веселом злобой в голосе сказал Рябов. - Как же! Проскочили шанцы без единого выстрела, купили таможенников. Небось, в городе сполох ударили, в крепости на валах пушкари с пальниками стоят, а здесь, по Двине, за каждым кустом - охотник!

4. ДРАГУНЫ, НА ВЫРУЧКУ!

При первых же выстрелах на корабле таможенный пушкарь Акинфиев велел своему подручному солдату Смирному идти к драгунскому поручику Мехоношину за приказанием - палить из пушки. Солдат Смирной, недавно узнавший о том, что шведские воры повесили возле Сосновца его старого деда кормщика Смирного, был все еще словно пришибленный, не сразу откликался, когда его звали, не сразу понимал, что от него хотят.

- Степка, тебе говорю! - повторил Акинфиев, возясь под навесом около своей пушки.

Смирной поднялся с обрубка, на котором сидел, виновато переспросил, куда идти, и, шибко пробежав плац, сунулся к поручику в избу. Там он его не нашел и уже медленнее отправился к берегу, где густою толпой стояли драгуны, вслушиваясь в шум сражения на воровском корабле.

- Поручика не видали, ребята? - спросил Смирной.

- Да его здесь и не было! - ответил высокий, могучего сложения, драгун Дроздов.

Другие драгуны тоже сказали, что не видели поручика. Смирной еще потолкался в толпе и побежал к вышке. Там караулил и смотрел в подзорную трубу таможенник Яковлев, больной лихорадкою.

- Ей, Лександра Иванович! - крикнул, задирая голову, Смирной.

Яковлев был солдат старый, основательный, и другие таможенники с драгунами привыкли уважать его.

- Ну, чего тебе, Степан? - спросил сверху Яковлев.
- Поручика ищу. Нет на вышке?
- Найдешь его! - загадочно ответил Яковлев.
Смирной подумал и поднялся к нему наверх. Отсюда были ясно видны вспышки выстрелов на шкафуте и на шканцах шведского корабля. Смирной спросил:
- Где ж поручик-то, Лександра Иванович?
- А убег, собака! - лязгая зубами и крепко кутаясь в меховой тулупчик, ответил Яковлев. - За караулкой жеребца сам заседлал и пошел наметом.
- Убег?
- То-то, что убег.
- Как же мы теперь? Палить нам али нет?
- А вы палите. Афанасий Петрович приказал?
- Приказал.
- Ну и палите на доброе здоровье!
- Как бы Акинфиев не спужался. Он мужик тихий, нет поручика - и не станет палить...
Яковлев плотнее запахнул на себе тулуп и сказал, что палить надо, иначе в городе не узнают, что вор пришел, и не будут готовы к встрече. Что же касается поручика Мехоношина, то пусть Смирной не сомневается, поручик - собака, надо теперь все самим делать.
Смирной сбежал вниз и передал Акинфиеву - палить. Акинфиев поджег в горшке с угольями фитиль и вжал его в затравку. Тотчас же в ответ загремела пушка и на ближней сигнальной батарее, и одно за другим пошли палить орудия вдоль берега Двины, сообщая на цитадель и в город о том, что вражеские корабли пришли, что сомнений больше нет, что сражение началось...
Все выше и выше по Двине гремела пальба, в маленьких прибрежных церквушках, в монастырях, сильно, с воем ударили набаты, мужики-рыбаки двиняне подпоясывались, выходили к берегу с рогатинами, с топорами, с самодельными копьями. В Николо-Корельском монастыре ратники- онахи побежали по стенам, воротники с бердышами заперли

скрипящие на ржавых петлях ворота, завалили бревнами, пошли носить наверх битый камень - к бою.

Драгун Дроздов говорил:

- Оно как же получается? Наших бьют смертно, а мы глядим? Слышь, на корабле палят!..

- Да поручика-то нет? - ответил другой драгун - жилистый черный Мирохин. - Без приказания, что ли, пойдем?

По воде глухо доносились удары набатных колоколов, дальние пушечные раскаты. Драгуны заговорили громче, к ним подошел Яковлев, перебил спор:

- Чего расшумелись, буйны головы? Удрал ваш поручик, сбежал от вас, покинул войско свое. Садитесь по коням, да и за ним. Ваше дело такое - солдатское...

И крикнул:

- Пушкари! Ступай сюда!

Смирной, пушкарь Желудев, маленький Акинфиев, таможенный писарь Ромашкин, которому "вступило в ногу" и который поэтому остался на берегу, кладовщик таможенников Самохин и солдат Шмыгло - подошли ближе. Яковлев громко им приказал:

- Бери мушкеты, крюки абордажные, пищаль с вышки. Спускай карбас - пойдем на выручку.

- Ишь, какие богатыри, - на выручку! - сказал Мирохин.

- То-то, что богатыри! - ответил писарь Ромашкин. - Небось, выручим...

Карбас спустили быстро, драгун Дроздов крикнул:

- Стой, Лександра Иванович, мы с вами!

И побежал к причалу. За ним, громыхая сапогами по дощатому настилу, бежали драгуны, кричали:

- Эй, мушкеты возьмем!

- Погоди, таможня!

- Копья бери, ребята...

Дроздов вдруг заругался:

- Стой! По-глупому делаем! Что ж, они с корабля карбаса не приметят?

Стой, погоди!

Драгуны столпились вокруг него, он объяснял:

- Ударят из пушек - и пропали мы все. Раздевайся до исподнего до самого - и поплывем. По якорному канату вылезем с ножами в зубах, наделаем там делов. А как кашу заварим, другие могут и в лодейке малой подплыть - с мушкетами, с ружьями... Лександра Иванович, ты где?

- А вот я! - откликнулся Яковлев.

- Тебе с лодейкой идти, подойдешь к якорному канату, мы тебя ждать будем.

Быстро стали скидывать кафтаны, разуваться; крестясь, прыгали в холодную воду. Ножи драгуны держали в зубах. Плыли молча, осторожно, старались, чтобы не было шуму. Яковлев на берегу зябко ежился, кряхтел:

- Ну, черти! Ну, молодцы!

Первым по якорному канату полез Дроздов, высунул голову, сразу увидел багор, прыгнул и, схватив багор могучими мускулистыми руками, крутя его над собою, рванулся вперед. Тотчас же два шведа упали, он сшиб третьего, в это время другие солдаты прыгали на палубу - голые, с ножами в зубах, вереща дикими голосами, чтобы напустить на шведа больше страха.

- Прорывайся к своим! - кричал Дроздов, размахивая багром. - Пошли стеною, други!

Тотчас же подплыла лодка с Яковлевым.

Маленький Акинфиев стал принимать с лодки ружья - подтягивал на веревке, потом опять сбрасывал петлю. Драгуны расхватывали мушкеты, ружья, подсыпали порох, целились, палили. Вскорости на палубу взобрался Яковлев, принялся ставить знаменитую таможенную пищаль на рогатку, грозился:

- Вот вы у меня сейчас хлебнете лиха!

Долго целился - с тем чтобы ударить метко, укрепил пищаль и так ахнул, что шведы загалдели:

- Пушка у них, пушка, пушку с собой приволокли...

Дроздов спросил у обожженного, потемневшего Прокопьева:

- Капитан-то где?

- Поначалу вместе бились! - сказал Прокопьев. - Видел я - конвоя он ихнего свалил, еще нарубил воров. Потом будто пропал. А погодя опять его видел, уже без кафтана, весь изорванный, в кровище...

- Живой?

- Был живой.

Дроздов нагнулся над убитым шведским офицером, сорвал с него плащ, накинул себе на голые плечи, пожаловался:

- Застыл на холоду.

И стал пристраиваться с мушкетом поудобнее. Шведы, вопя, подбадривая себя криками, опять пошли на русских...

5. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Афанасий Петрович, прикрывая грудь разряженным пистолетом, медленно, осторожно пробирался к своим. Всюду палили из мушкетов, шведы стреляли, стоя на бочках, на шлюпках, на юте; матросы, словно тени, взбирались по вантам, чтобы оттуда, сверху, стрелять по таможенникам и драгунам. Но драгуны все прибывали и прибывали, - стрельба с каждой минутой делалась все ожесточеннее.

Он прошел еще несколько шагов вперед, но тут какой-то швед узнал в нем русского и яростно набросился на него. Крыков побежал обратно, свистнул по-своему, как свистал на охоте - пронзительно, с резким переливом; потом побежал зигзагами, петляя и продолжая свистеть, чтобы таможенники знали - он жив, с ними, сейчас придет. Возле грот-мачты на него рванулись еще трое шведов, чья-то сильная рука метнула ему под ноги веревку с гирями, но он перепрыгнул через нее и пригнулся, когда дель Роблес пустил в него копье. Они охотились за ним, как за зверем, и вдруг мгновенно потеряли его: он нырнул в люк, на руках съехал по поручням трапа и прижался к шпилю.

Как когда-то, готовясь искать на иноземном корабле поддельное серебро или иные запрещенные товары, он осмотрелся и прислушался: да, здесь

неподалеку была корабельная тюрьма - канатный ящик, там следовало посмотреть - нет ли кормщика Рябова. Он сделал было шаг туда, но вновь попятился - кто-то снизу быстро шел к трапу.

Афанасий Петрович мгновенно поднялся наверх и тотчас же увидел, что из люка навстречу идет человек, в котором он сразу же узнал англичанина Джеймса, бывшего своего начальника, из-за которого он когда-то вешался; узнал его бледное томное лицо, родинку у рта, парик, длинную валлонскую шпагу с гардою, унизанную драгоценными камнями. И Джеймс тоже узнал Крыкова, - лицо его дрогнуло и искривилось.

- Вот ты нынче кому служишь, собачий сын! - тихо сказал Крыков. - Вот ты с кем гостевать к нам пришел...

- Give back![2 - Give back! - Назад! (англ.)] - крикнул Джеймс и выхватил правой рукой свою длинную шпагу из ножен. В левой у него был короткий кинжал с чашей, изрезанной мелкими и кривыми отверстиями для того, чтобы жало шпаги противника застревало в этом щитке.

- Ишь ты, каков гусь! - опять тихо, с презрением, сказал Крыков. - Нож себе хитрый завел, иуда!

И стал делать выпад за выпадом своей шпагой, недлинной и легкой, как бретта, стараясь колоть так, чтобы не попасть в чашу кинжала. Джеймс медленно отступал и терял силы, неистовый напор Крыкова выматывал его. Афанасий Петрович словно не замечал, что длинная валлона Джеймса уже не раз впивалась в его тело, что кровь заливает глаза, что плечо немеет. Он твердо шел вперед не для того, чтобы ранить изменника, а для того, чтобы убить, и гнал Джеймса по палубе до тех пор, пока не прижал спиною к септорам люка и не вонзил свою шпагу в его сердце, пробив страшным прямым ударом толедский нагрудник.

Умирая, Джеймс закричал, его руки в желтых перчатках с раструбами судорожным усилием попытались вырвать шпагу из груди, но сил уже не было, шпагу выдернул сам Крыков. И тогда мертвец, весь вытянувшись, рухнул белым лицом на смоленые доски палубы. Его валлона - оружие, которым он служил стольким государствам, - откатилось в сторону. Афанасий Петрович с трудом нагнулся, сломал шпагу Джеймса о колено,

выкинул оба обломка за борт, потом медленно осмотрелся: на шканцах среди бочек и тюков, возле ларя, у грот-мачты и дальше на опер-деке, возле входных и световых люков, на трапах, у ростр, рядом с камбузной трубой - всюду шел бой. Русские и шведы перемешались в сумерках, под моросящим дождем; в двинском рыжем тумане было плохо видно, и только оранжевые вспышки выстрелов порою освещали знакомый таможенный кафтан, все еще развевающийся русский флаг, искаженное печатью смерти лицо умирающего шведского солдата...

Крыков отер кровь со лба, стал вспоминать, какое дело еще не сделано. Вспомнив, какое это дело, он спустился по трапу и пошел туда, где, по его предположениям, был канатный ящик, в котором должен был томиться Рябов. Шпаги у него больше не было. Он шел, шатаясь, ударяясь о переборки коридора, ноги ему не повиновались, но голова была ясная настолько, что по пути он вынул из гнезда на переборке лом и топор, которые висели здесь вместе с ведрами и баграми на случай пожара. Часовой у канатного ящика не узнал русского офицера в окровавленном человеке с ломом и топором и посторонился, чтобы пропустить его дальше, но Афанасий Петрович дальше не пошел, а поднял лом и ударил белобрысого шведа по голове. Швед еще немного постоял, потом стал садиться на палубу, а Крыков всадил лом в скобу, подрычажил и рванул дверь. Свет масляной лампы тускло осветил Рябова. Он стоял в цепях и прямо смотрел на Крыкова. За кормщиком, у плеча его стоял Митенька - тоже закованный и, широко раскрыв черные глаза, как и Рябов, смотрел на Афанасия Петровича.

- Вишь! - осипшим, трудным голосом не сразу сказал Крыков. - Отыскались! Вот лом - идите...

Он уронил лом под ноги Рябову, оперся рукою о косяк. Его шатнуло, бегучие искры замелькали перед глазами. Он бы упал, но Рябов поддержал его крепко и надежно, с такой ласковой силой, что Афанасию Петровичу не захотелось более двигаться и показалось, что он сделал уже все и теперь может отдохнуть. Но тотчас же он вдруг вспомнил про старика, которого видел давеча под настилом юта, желтого старика с

хрящеватыми ушами, начальника над воровской эскадрой. Его следовало убить непременно, и Афанасий Петрович вырвался из бережных рук кормщика, отдышался, хрипло произнес:

- Вы на бак пробивайтесь! Там - наши...

- Да погоди! - сказал кормщик. - Ты куда, Афанасий Петрович! Нельзя тебе...

- Вишь, какие, - не слыша Рябова, с трудом говорил Крыков. - Нет, измены не было. Я знаю - измены не было...

Он опять отер кровь и пот с лица и, не оглядываясь, с топором в одной руке и с запасным пистолетом в другой вернулся к люку и поднялся по трапу. Неистовая палящая жажда томила Афанасия Петровича, глаза застилались искрами и туманом, но сердце билось ровно, и чувство счастья словно бы удваивало его силы.

- Не было измены! - шептал он порою. - Не было!

Ноги плохо держали его, и раны, которых он раньше не замечал, теперь болели так, что он задыхался и едва сдерживался, чтобы не кричать, но все-таки шел к адмиральской каюте, к желтому старику, к адмиралу, который привел сюда эскадру...

- То-то, - сипло говорил Афанасий Петрович, - вишь, каков!

И шел, прячась от шведов и прислушиваясь к пальбе, которая доносилась теперь издалека. Натиск таможенников и драгун ослабевал, и Афанасий Петрович тоже слабел, но все-таки они еще бились, и ему тоже надо было еще биться.

Когда Афанасий Петрович распахнул перед собою дверь в адмиральскую каюту, желтый лысый старик, с пухом на висках, застегивал на себе с помощью слуг ремни и ремешки стальных боевых доспехов. На столе стояла золоченая каска с петушиными адмиральскими перьями, на сафьяновом кресле висел плащ, подбитый алым рытым бархатом, и на плаще сверху лежала итальянская шпага - чиаванна - в драгоценном чехле.

Афанасия Петровича не сразу заметили, здесь было много народу, он успел оглядеться, ища выгодной позиции.

"Адмирал! - подумал Крыков и удивился - такое мертвое, такое неподвижное лицо было у старика, принесшего страдание, разрушение и смерть на своих кораблях. - Да, адмирал! Его непременно надо убить! Тогда эскадра останется без командира, и нашим - там, с крепости - будет легче разгромить их!"

Но Юленшерна увидел окровавленного, опаленного, едва держащегося на ногах русского, увидел топор в его руке, длинный ствол пистолета, что- о коротко крикнул, нагнулся. К Афанасию Петровичу бросились люди. Выстрел прогрохотал даром, адмирал только схватился за плечо. Афанасий Петрович оперся спиною о каютную переборку, поднял топор, но тотчас же уронил его. В него стреляли со всех сторон, адмиральскую каюту заволокло серым пороховым дымом, и в этом дыму капитан Крыков еще долго видел тени и потом яркий режущий свет. Эти тени, и этот свет, и еще звон, который раздавался в ушах, - была смерть. И когда шведы наконец навалились на него и свалили возле сафьянового кресла на пол - это был уже не он, Афанасий Петрович Крыков, а лишь его бездыханное окровавленное тело.

6. ПОДНЯТЬ ФЛАГИ КОРОЛЯ ШВЕЦИИ!

Дождь все еще моросил.

Шведы дважды трубили атаку, русские отбивались.

Уркварт приказал бить в колокол, горнистам играть сигнал "требуем помощи". Это был позор - флагман эскадры не мог справиться с таможенниками и драгунами. С других кораблей эскадры пошли шлюпки с солдатами и матросами. К утру артиллерист Пломгрэн по приказанию Юленшерны выволок на канатах легкую пушку, перед пушкой матросы крючьями толкали тюки с паклей. Шаутбенахт, серо-кофейный от желтухи, сам навел пушку, матросы отвалили тюки, Пломгрэн вдавил фитиль в затравку. Картечь с визгом ударила туда, где засели русские. Окке в говорную трубу закричал:

- Сдавайся, или всем будет конец!

Ему не ответили. Яковлев тщательно, долго наводил таможенную пищаль,

шепча:

- Она нехудо бьет, ежели правее брать, аршина на два, тогда как раз и угадаешь...

И угадал: Окке рухнул на палубу с пробитым лбом.

Юленшерна опять сам навел пушку. Провизжала картечь, капрал Прокопьев приподнялся, ткнулся плечом в борт, затих навеки. Рядом с ним лежал маленький Акинфиев - тоже мертвый. Поодаль, точно уснул, притомившись на работе, другой пушкарь - Желудев. И писарь Ромашкин, и кладовщик таможенников Самохин и солдат Шмыгло - были убиты, только Яковлев еще пытался забить пулю в ствол знаменитой таможенной пищали, но руки уже не слушались его, шомпол выскальзывал из пальцев. Аккуратно стрелял Смирной, возле него лежали четыре мушкета, - он бил по очереди из каждого. Тяжело дышал весь израненный, истекающий кровью драгун Дроздов. Теряя последние силы, ничего не слыша, он все пытался развернуть погонную пушку, но не смог и опять лег на палубу.

Пушка Пломгрэна ахнула еще раз, с визгом, с воем понеслась картечь. Дроздов поднял голову, потрогал Яковлева, подергал его за полу кафтана.

- Лександра Иванович! - позвал он, не слыша своего голоса.

Таможенник не шевельнулся.

- Лександра Иванович! - громче крикнул драгун.

Все было тихо вокруг. Дроздов с трудом повернулся на бок, посмотрел на близкий сочно-зеленый широкий берег Двины. Жадно смотрел он на траву, на коновязь, на вышку, и вдруг кто-то заслонил от него весь берег.

Дроздов поднял глаза, увидел Смирного.

- Ты что? - спросил драгун удивленно.

Таможенник Смирной, приподнявшись, осторожно вынул из костеневших рук Яковлева пищаль и прилаживал ее, чтобы выпалить...

- Брось! - повелительно, задыхаясь велел Дроздов. - Брось! Иди отсюдова, парень! Иди! Один, да останешься в живых, скажешь, как нас

поручик Мехоношин кинул. Иди! Доплывешь, небось...

Смирной что-то ответил, Дроздов не расслышал, помотал головой:

- Иди! Тебе велю, слушайся! Один - не навоюешь, мы потрудились неплохо. А теперь - иди!..

Смирной поцеловал Дроздова в щеку, всхлипнул, пополз к борту. В это же время драгун начал вставать. Подтянув к себе палаш, он, опираясь на древко таможенного прапорца, встал на колени и, собрав все силы, широкими косыми падающими шагами, подняв над лохматой окровавленной головой сверкающий палаш, пошел на шведов...

Шведы закричали, несколько мушкетов выпалили почти одновременно, а драгун с палашом все шел.

Пломгрэн, побелев, скалясь, вжал горящий фитиль в затравку, опять завизжала картечь, но русский с палашом, занесенным для последнего удара, все шел и шел по залитой кровью, заваленной трупами палубе. Плащ на нем развевался, левая рука высоко держала таможенный прапорец.

Тогда корабельный профос Сванте Багге выстрелил из пистолета. Он целился очень долго, и это был выстрел не воина, а палача. Палаш выпал из руки драгуна, прапорец Дроздов прижал к себе, сделал еще шаг и рухнул на доски палубы.

Сражение кончилось.

Часом позже Юленшерна вышел на шканцы, опустился в кресло, принесенное кают-вахтером, и приказал Уркварту:

- Все трупы, кроме тела полковника Джеймса, - за борт.

- Так, гере шаутбенахт.

- Скатить палубу, чтобы не осталось ни единого кровавого пятна! Открыть пушечные порты! Поднять флаги флота его величества короля Швеции! Более мы не негоцианты...

- Так, гере шаутбенахт!

Погодя Юленшерна спросил:

- Скольких мы потеряли?

- Многих, гере шаутбенахт, очень многих. Но главная наша потеря - это

потеря бодрости...

- То есть как?

- За эту ночь людей нельзя узнать, гере шаутбенахт. Теперь они боятся московитов, и те три дня, которые вы обещали им для гульбы в Архангельске, не кажутся им слишком щедрой наградой...

Шаутбенахт молчал.

- Как вы себя чувствуете? - спросил Уркварт.

- Плохо! На два пальца правее - и пуля этого безумца уложила бы меня навеки.

Уркварт сочувственно покачал головою.

- Этот безумец, - сказал Уркварт, - пытался освободить нашего лоцмана, но Большой Иван предан его величеству. Он не убежал, несмотря на то, что мог сделать это почти беспрепятственно. У него был лом, чтобы освободиться от цепей...

- Вот как! - произнес Юленшерна.

- Именно так, гере шаутбенахт. Теперь я уверен в том, что на лоцмана мы можем положиться.

- Это хорошо, что мы можем положиться на лоцмана! - медленно сказал Юленшерна. - Это очень хорошо...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Воины! Вот пришел час, который решит судьбу отечества.
Петр Первый
С этой минуты армия получает двойное жалованье.
Фридрих Второй

1. АРХАНГЕЛЬСК К БОЮ ГОТОВ!

Егорша Пустовойтов на своем резвом жеребчике рысью объезжал город. Над Архангельском плыл непрестанный, долгий гул набата. Под этот гул колоколов пушкари со стрельцами, драгунами и рейтарами закрывали на набережной проходы надолбами и огромными деревянными ежами, подкатывали пушки, волокли кокоры с порохом, складывали пирамидами

ядра. На широких стенах Гостиного двора воинские люди банили пушечные стволы, ставили на рогатины старые пищали, на боевых башнях наводили орудия в ту сторону, где могли остановиться вражеские корабли.

Разбрызгивая жидкую грязь, из Пушечного и Зелейного дворов, грохоча, мчались по кривым улицам повозки - возили картечь, порох в ящиках, ломы, гандшпуги, пыжи. Из домов, закрывая за собой ворота, один за другим шли посадские люди, кто с копьем, кто с охотничьим длинноствольным ружьишком, кто со старой пищалью, кто с кончаром, кто с вилами. Поморки, бывалые рыбацкие жены, провожали мужей молча, с поклоном. Мужики тоже кланялись, говорили негромко:

- Прости, ежели что!

Жена отвечала:

- И ты меня прости, батюшка!

За отцами шли сыновья - повзрослее. Иногда шагали к Двине могучими семьями - дед, сын, внуки, - все туго подпоясанные, с сумочками, в сумочках, кроме свинцовых пуль, пороха и пыжей, нехитрая снедь - шанежки, рыба, у кого и полштоф зелена вина. На башню Гостиного двора такие семьи входили по-хозяйски, располагались надолго; дед, бывалый промышленник, водивший ватаги в тундру, расставлял сыновей и внуков как считал нужным: кого - смотрельщиком, кого - сменным, кого - заряжающим, чтобы скусывал патрон, подсыпал пороху, кого назначал запасным - на смену. Управившись с делами, укладывались соснуть до времени: когда швед придет - не поспишь.

Егорше Пустовойтову один такой дед сказал сурово:

- Ну, чего глядишь, офицер? Ты на нас не гляди, ты на своих солдат гляди. Мы заряда даром не стравим, у нас порох свой, не казенный. Иди, офицер, иди, нам спать надобно, покуда досуг есть...

Весело стало на сердце у Егорши, когда обошел он башни, на которых расположились семьями мужики-двиняне. Еще веселее сделалось, когда приехал на Соломбальскую верфь - смотреть по приказу Сильвестра Петровича, как тут готовятся к баталии.

Здесь корабельный мастер Кочнев с донцами вздымал на канатах наверх, на палубы недостроенных судов, пушки, из которых надумал палить картечью по неприятелю, когда тот, не чуя для себя беды, подберется к верфи. Те самые люди, которые неволей строили суда, нынче не уходили с Корабельного двора, хоть ворота были раскрыты настежь и стража более не сторожила работных людей. Под мелким дождем, который непрестанно шелестел по двинским водам, плотники, кузнецы, столяры, конопатчики, парусные мастера, сверлильщики, носаки, смолевары таскали наверх, по шатким лестницам, ядра, полами драных кафтанов закрывали картузы с порохом, чтобы не намокли, беззлобно толковали со стрельцами, которые еще накануне оберегали кованные железом ворота.

Попозже, в тележке, кнутом погоняя крепенького мерина, приехал Иван Кононович, выпростал ноги из-под дерюжки, разминаясь, обошел недостроенный восьмидесятипушечный корабль, покачал старой головой:

- Ну что ты скажешь? Такую красоту божью пожгут? Трудились сколько, поту людского, крови что ушло - не посчитать! Ах, ах, будь вы неладны...

Увидел Егоршу, пожаловался:

- Что же вы, господа воинские люди, как неловко делаете...

Мужики, работный народ, глядя на Ивана Кононовича, тоже качали головами. Один помоложе, скуластый, в распахнутом азяме, сказал:

- Отобьемся, Иван Кононович!

Другой, весь налитый мускулами, недобрым голосом посулил:

- Мы, господин мастер, здесь не на перинах спали, не курей с говядиной харчевали. Мы народ нынче злой. Поприветим шведа!

Из толпы кто-то вытянулся, привстал на носки, крикнул:

- Топоров бы хоть дали! Топоры, и те на замок замкнули! Давай топоры, Иван Кононович!

Егорша пробрался вплотную к мастеру, сказал горячо:

- Давай топоры, Иван Кононович, давай об мою голову...

Мужики загалдели, напирая:

- С голыми-то руками разве сдюжаешь?

- Мы двинской земли люди, мы обмана не знаем...

- Как строить корабли - зовете да неволите, а как от шведа оборонить...

- Одни стрельцы не совладают...

Сверху с палубы спустился весь мокрый от дождя, с серым от усталости лицом, мастер Кочнев, позвал стрелецкого пятидесятника. Посоветовались. Егорша сказал твердо:

- Именем капитан-командора приказываю - топоры дать!

Иван Кононович взял лом, сорвал с кладовой висячий тяжелый замок. Мужики встали в очередь. Иван Кононович уговаривал:

- Кормильцы, за топоры-то с меня возьмут, уж вы после боя сами отдайте. Мои-то достатки ведаете - невелики, топорики по цене не дешевы, сами рассудите...

Работные люди выбирали себе топоры не спеша, каждый искал получше, чтобы не со щербиной, да потяжелее, да поухватистее.

- Поживее, братцы! - просил Егорша. - Эдак вам и до ночи не управиться...

Мужичок с круглыми глазами и бороденкой, торчащей вбок, ответил сердито:

- Чего поживее? У тебя вон шпага - тычься на здоровье, да еще нож, да пистолет. Поживее...

Работные люди, выбрав топоры, шли к точилу - точить жала. Иные здесь же тесали себе топорища поудобнее, другие насаживали топоры на долгие ручки, - получалось вроде алебарды, только поувесистее.

Кочнев хитро подмигнул на старого мастера, сказал:

- Топорик себе припрятал Иван Кононович, я видел, самый наилучший...

- Ври толще! - усмехнулся мастер.

- Да уж видел, видел, - смеялся Кочнев, - чего таиться от своих... Он им задаст - шведам, Иван Кононович наш, ох, задаст...

- И задам! - тоже посмеивался старик. - Почему не задать? Молодым был - нынче вспомню...

- А коли швед в тебя из пистолета, Кононыч, тогда как?

- А так, что я дожидаться не буду! Я его топором взгрею, он и побежит...

- Ой, не побежит?

- Ну, тогда зарублю!..

- Не дойдет он до вас! - сказал Егорша. - Не пустим. У нас на цитадели его так огреют, что завернет он обратно в свою землю...

Он попрощался с мастерами, сел на своего жеребчика, поехал в город. У кирки, с палашами наголо, со строгими лицами стояли матросы. Аггей сидел на ступенях, покуривал трубку. В полуоткрытую дверь сердито смотрел консул Мартус, ругался на Аггея, требовал воеводу. Аггей молчал, сидел к Мартусу спиною.

- Чего он? - спросил Егорша брата.

- Выпустить! - пыхтя трубкой, ответил Аггей. - Нет, теперь посидит, отдохнет...

Егорша спешился, сел рядом с братом, рассказал, что видел за длинный день. Аггей угрюмо молчал. На соборной колокольне опять ударили в набат, ударили у Параскевы, у Козьмы и Демьяна. Аггей выбил трубку о каблук, хмуро сказал:

- Проезжал давеча тут солдат Смирной, один на шанцах остался, всех шведы порубили... А Мехоношин, собака, удрал. Говорят, будто к воеводе в Холмогоры подался...

Егорша спросил с испугом:

- И Афанасия Петровича убили?

- Убили будто! - сказал Аггей.

Егорша тихонько охнул, встал. Аггей на него прикрикнул:

- Ты еще завой, лучше будет! Шпагу носишь, матросы на тебя смотрят...

Из двери кирки высунулся пастор, сказал, что хотел бы иметь беседу с достойным унтер-лейтенантом по секрету. Аггей поднялся, подошел к двери, с размаху втолкнул пастора в сени, захлопнул створку с лязгом.

- Еще стереги их, собак. Пушки в кирке в своей держат, народ!

У причала, возле крепостного карбаса Егорша увидел бабиньку Евдоху. Она стояла молча, смотрела на Двину, на отваливающие и приходящие суда. Егорша поздоровался, спросил, за каким делом вышла в такой день из дому. Бабинька ответила виноватым голосом:

- Я-то у Сильвестра Петровича отпросилась в крепость, он и бирку дал, приезжай, говорит, бабушка, твои мази больно хороши для раненых. А Таичка с Ваняткой там гостюют...

Карбас шел медленно на веслах. Навстречу, с моря, тянул ветер, косо хлестал дождь. Молчаливые, словно вымершие, стояли на якорях иноземные негоциантские корабли. Далеко в Соломбале вновь ударил набат, над Двиною поплыли тревожащие гулкие звуки.

2. "НИКТО НЕ ПОБЕДИТ ТЕБЯ, ШВЕЦИЯ!"

Вечером с моря поползли низкие, серые, зловещие тучи, порывами полил дождь, ветер засвистал в снастях "Короны". Двина побурела, вздулась, шумно била в берега. На шанцах пылали подожженные шведами караулка, казарма таможенников, балаганы, в которых жили драгуны.

Ярл Юленшерна в панцыре под кожаным плащом, в стальных наколенниках и налокотниках, в медном позолоченном шлеме с перьями, стоял на юте у гакборта, возле быстро вертящегося колдунчика. Горнисты, выстроившись в ряд, играли сигнал: "С якорей сниматься, следовать за мной!" Медные колокола били боевую тревогу. Эскадра готовилась к сражению: пушечные порты были открыты, жерла пушек глядели в серую мглу; солдаты скручивали и поднимали кверху кожаные переборки офицерских кают; солдатские и матросские койки убирали в сетки, на ростры и в кубрик, чтобы ничего лишнего не было в бою, чтобы ничего не мешало и не путалось под ногами в решительные минуты сражения.

Артиллеристы работали у пушек: вынимали ствольные пробки, раскрепляли, расправляли тали. Готлангеры - артиллерийские прислужники, в коротких курточках без рукавов, в железных нагрудниках - укладывали справа у пушки пыжевник и банник, слева вешали кошель с пыжами, с грохотом кидали на предназначенные места ломы и гандшпуги. Палубные матросы, кряхтя и ругаясь, ставили между каждыми двумя пушками полубочки с водою, над которыми, чадя, горели пушечные фитили. Из погребов артиллерийские носильщики бегом

таскали в корзинах ядра, картечь, порох. Корабельные слесаря раздавали абордажным солдатам исправленное и отточенное боевое оружие. Матросы-водолеи поливали палубы водою, чтобы из-за пустяка не вспыхнул пожар. Корабельные шхиперы командовали натягиванием плетенных из линей сеток над шканцами и баком. Сетки эти должны были удержать во время боя падающие на людей осколки мачт и рей.

Внизу, по трапам и переходам, матросы спускали в глубокий трюм гроб с останками полковника Джеймса, сзади шел эскадренный лекарь, просил жалостно:

- Осторожнее, почтенные господа! Вы не знаете, каких трудов мне стоило нынче изготовить это тело к тому, чтобы оно не испортилось...

Матросы, кряхтя, отругивались:

- Нас-то никто не станет штопать после смерти...

- Нашего брата просто кидают в море...

- У него было написано в контракте...

- В контракте или без контракта - все нынче отправимся на дно...

- Как, гере магистр? Чем кончится этот проклятый поход?

В трюме корабельный слесарь запаял дубовый гроб в железный футляр. Капеллан пошептал губами над покойником и вместе с лекарем отправился наверх, спрашивая по пути:

- Где безопаснее, гере доктор, во время сражения? Под палубным настилом или на шканцах?

По дороге они вдвоем зашли в кают-компанию и выпили по большому стакану бренди. Капеллан захмелел, сделался слезлив, в тоске жаловался, что видел недобрый сон, вспоминал свою тихую родину - город Гафле. Лекарь угрюмо посмеивался, потом бросил кости - чет или нечет. Вышел - нечет.

- Плох? - спросил капеллан.

- Не видать вам Гафле! - сказал лекарь. - Зато вы несомненно попадете в царствие небесное, ибо погибнете за святое дело!

Молча они поднялись наверх.

Здесь ярл Юленшерна хмуро смотрел в смутную даль, слушал, как

перекликаются сиплые голоса матросов:

- Якорь чист!

- Якорь чист, гере боцман!

- Якорь чист, гере лейтенант!

- Якорь чист, гере капитан!

Уркварт, гремя кольчугой, подошел к шаутбенахту, сказал четко:

- Якорь чист, гере шаутбенахт!

Ярл Юленшерна, не оборачиваясь, приказал:

- Благословение, капеллан!

Капеллан нетвердо ступил вперед, молитвенно сложил руки, произнес, запинаясь:

- Да благословит наш подвиг святая Бригитта!

Большой медный колокол зазвонил на молитву. На шканцах, на юте, на баке, на шкафуте, на пушечных палубах, в крюйт-камере все матросы, солдаты, офицеры, наемники, пираты, грабители - от дель Роблеса до Бэнкта Убил друга - преклонили колени, сложили ладони, закрыли глаза, шепча молитвы...

Капеллан молился, по багровому от выпитого бренди лицу катились благочестивые слезы...

- Довольно! - сказал Юленшерна, поднимаясь с колен.

Большой медный колокол ударил опять. Барабаны забили "Поход во славу короля!" Горны на всех кораблях эскадры запели: "Никто не победит тебя, Швеция!" Ярл Юленшерна махнул платком - "поход".

И тотчас же Уркварт в говорную трубу произнес медленно и раздельно:

- Поход! На местах стоять, друг с другом не говорить, табаку не курить, к бою иметь полную готовность...

На пушечных палубах офицеры повторяли:

- Поход! На местах стоять, друг с другом не говорить, табаку не курить, к бою иметь полную готовность...

Корабли медленно, осторожно, один за другим, входили в широкое устье Двины. Пушки настороженно и грозно смотрели из портов. На мачтах ветер развевал огромные полотнища шведских флагов.

3. ФИТИЛИ ЗАПАЛИТЬ!

От самого Святого Носа невидимые шведам глаза сторожили их эскадру. И в те самые минуты, когда в двинском устье ярл Юленшерна приказал поднимать якоря, мужичок в домотканной промокшей рубахе вылез из кустов лозняка, поймал за веревочный недоуздок свою лошаденку, пробежал рядом с лошаденкой несколько шагов по чмокающему болоту, подпрыгнул, повалился на спину лошади животом, перекинул ногу в лапте и, отчаянно болтая локтями, пошел вскачь туда, где дожидался его другой мужичок, готовый к тому, чтобы мчаться дальше - к матросам, сидящим возле сигнальной пушки у шалашика...

Рыбаки, посадские люди, монахи в мокрых подрясниках и рыбацких сапогах, кто с копьем за плечами, кто с топором за поясом, кто с мушкетом, - садились на коней, гнали к цитадели. По новым тайным гатям, по скрытым тропинкам мчались кони, малые посудинки перевозили гонцов через воду, коли случалась она на пути, из прибрежных густых кустарников, из-за скирд сена, из-за березок следили за эскадрой зоркие, привыкшие к морю, недобрые глаза поморов... И задолго до того, как вперед смотрящий флагманского судна увидел Новодвинскую цитадель, там на плацу запели крепостные горны, на выносных валах, на башнях, на стенах тревожно ударили барабаны.

Тотчас же под мелким дождем, придерживая палаши, бегом побежали матросы к своим зажигательным судам - брандерам, готовить их к бою. Скорым шагом пошли на валы, к скрытым до времени пушкам, - констапели, фитильные, наводчики. Мужики- смоловары, разбрызгивая лаптями лужи, вереницей побежали к шипящим и булькающим котлам со смолою - подбросить сухих дровец, чтобы кипящим варевом встретить злого вора, коли прорвется к крепостным стенам. Солдаты с мушкетами, с ружьями, с пищалями чередою поднимались к своим бойницам, раскладывали там свое воинское хозяйство, готовились стоять долго, покуда не покатится обратно клятый враг. Каменщики, плотники, кузнецы, носаки, землекопы, все те, что строили крепость, с тяжелыми

копьями, откованными в час досуга на крепостных Наковальнях, с палицами, с отточенными ножами занимали башни, готовясь биться по силам и по умению, помогать метать камни, лить смолу, кидать бревна на головы ворам. В одно мгновение крепостной двор наполнился сотнями людей и вновь опустел - народ разместился по своим местам, приготовился к бою, замер. Вновь стало тихо, только дождь шелестел, да встревоженные чайки кричали над Двиной.

Сильвестр Петрович в парике с косичкой, в новом Преображенском кафтане, туго перепоясанный шарфом, в плаще и треугольной шляпе, в белых перчатках, при шпаге, с короткой подзорной трубою в руке, вышел из своего дома, оглядел уже опустевший крепостной плац, крикнул в сени:

- Машенька, кисет позабыл, принеси...

Маша принесла кисет, трубку, трут, кремень, огниво, спросила быстро, шепотом:

- Попрощаемся пока?

Он крепко сжал ее руку, ответил так же шепотом:

- Как бомбардирование откроется, ребятишек - в погреб. Покуда пусть в избе сидят, на плац соваться не для чего...

И замолчал.

- Тихо-то как! - сказала Маша, прислушиваясь. - Одни только чайки кричат. Может, они уже и видят шведов?

Сильвестр Петрович окликнул бабиньку Евдоху, Таисью:

- Вы вот что, господа волонтеры, идите-ка под стену. Там вам куда способнее будет. От ядер - каменный навес, никакое ядро не пробьет, места вволю, которого солдата поранят - к вам придет, отыщет.

Он подозвал бегущего по плацу Егоршу, велел:

- Ты, Егор, вели выкатить водки бочонка два-три, пусть бабинька людям подносит, водочка для раненого - дело святое. Да Маше моей не велите распоряжаться, она щедра больно, все до начала баталии раздаст...

Бабинька Евдоха поклонилась, Егорша бегом снес под крепостную стену короб с вещетиньем, с медвежьей мазью, с пахучими травами. Таисья

принесла бутыль с бабинькиным настоем, Маша побежала за холстом для перевязок, за одеялами, за сенниками для раненых. Сильвестр Петрович крикнул ей вслед:

- Все, что есть, неси, ничего в избе не оставляй. Слышишь ли?

- Слышу-у! - на бегу отозвалась Маша.

Сильвестр Петрович пошел к лестнице, что вела наверх. Здесь два мужика застряли с грузом - в лозовой корзине тащили наверх ядра. Корзина прорвалась, зацепилась, мужичок постарше ругал парня, который подпирал корзину снизу. И вдруг Сильвестр Петрович узнал обоих: старший, с бороденкой, худой и ободранный, - тогда, зимой, по дороге в Холмогоры напал на него, на Иевлева. Другой, Козьма, убил давеча во дворе Семиградной избы вора-приказчика. А нынче оба здесь, при своем воинском деле.

Корзина наконец пролезла. Сильвестра Петровича догнал Резен - тоже в парадном дорогом кафтане, выбритый, в пышном парике, - пожелал доброго утра.

- То-то, что доброе! - усмехнулся Иевлев.

По скрипучим ступеням они поднялись на высокую воротную башню, встали у амбразуры, в которую сыростью дышала Двина. Иевлев смотрел недолго, потом сказал, передавая подзорную трубу Резену:

- Гляди, Егор! Идут!

Инженер приладил трубу и сразу увидел белые квадраты и треугольники вздутых ветром парусов, реи, мачты, вымпелы...

- Быстро идут! - сказал Резен по-немецки. - Бесстрашно идут! Нашли лоцмана, черт возьми!

- Нашли! - опять глядя в трубу, согласился Иевлев.

Резен, скрипя новыми башмаками, перешел башню, высунулся в другую амбразуру, велел караульному пушкарю:

- Кузнецам калить ядра, пороховщикам закладывать заряд.

Иевлев смотрел в трубу на Двину, на серые ее воды, где мерно покачивались условленные с Рябовым вешки, как бы позабытые здесь и вместе с тем точно обозначавшие границы искусственной мели, смотрел

на Марков остров, на затаившиеся там пушки, на пушкарей, на молодого офицера, поднявшего шпагу, - опустит, и все пушки его батареи одновременно выпалят по тому месту, где тихо покачиваются ныне вешки и где будет утоплен вражеский корабль...

"Рано поднял шпагу, - подумал Сильвестр Петрович. - Долго еще ждать, рука вовсе занемеет".

Работные люди, один за другим, согнувшись бежали к вороту, на который, быть может, если что случится, будут наматывать цепь. Бежали, прыгали в яму. Отсюда, с башни, Иевлев ясно видел, как становились они к рычагам кабестана, готовились к своему делу. Теперь только собака лаяла на Марковом острове, - веселый лопоухий щенок думал, что люди прячутся и прыгают в яму, играя с ним. Но из ямы высунулась рука, щенка заграбастали и посадили в мешок, чтобы не шумел. И на Марковом острове, как в крепости, никого не стало видно - затаились. Пусть думает швед, что нигде никто не ждет его в этот глухой час...

- Боцман! - не оборачиваясь, зная, что Семисадов здесь, позвал Иевлев.

- Тут боцман! - живо, бодрым голосом ответил Семисадов.

- Хорош у них кормщик, боцман?

- Смело идет! - ответил Семисадов. - Такого не сразу отыщешь...

Резен раскурил трубку, сказал отрывисто:

- На флагмане все порты пушечные открыты и на брамстеньге сигнал выброшен - к бою готовьтесь!

- Мы и то - готовы! - ответил Иевлев.

Головной корабль эскадры с резной, черного дерева, фигурой на носу, показался из-за двинского мыса и тотчас же стал словно расти, вырываясь из пелены тумана и дождя. С башни было видно, как у погонной медной пушки флагмана стоят готовые к пальбе пушкари, как блестят на них мокрые от дождя кольчуги, как грозит им кулаком баковый офицер-артиллерист. Огромный корабль шел кренясь, морской свежий ветер свистал в его снастях, сотни солдат в медных касках, с мушкетами и фузеями, с ружьями и копьями, стояли на шканцах, на шкафуте, на баке, в открытые порты пушечных палуб в три ряда

смотрели стволы орудий...

- Боцман! - не спеша, уверенным, спокойным голосом позвал Иевлев.

- Тут боцман! - раздалось за его спиной.

- Фитили запалить!

- Фитили запалить! - крикнул в амбразуру Семисадов.

- Фитили горят! - почти тотчас же ответил караульный пушкарь.

- Готовсь, пушки! - приказал Иевлев.

Артиллеристы вцепились руками в станки, наводчики медленно двигали клиньями, ворочали гандшпугами, ждали последней команды. Семисадов жарко дышал Иевлеву в затылок - смотрел, как перед амбразурой башни возникает шведский флаг - золотой крест на синем поле.

4. ЭСКАДРА НА ДВИНЕ

Рябов тихо сказал Якобу:

- Попозже заявись к штурвалу. Все-таки трое, легче будет.

Якоб спросил:

- Топор при тебе?

Рябов кивнул, обдернул на себе серебряный парчовый кафтан, туже затянул пояс. Митенька горящими восторженными глазами смотрел на кормщика.

- Вот выпялился! - сказал Рябов. - Чему рад? Смотри кисло, радоваться рано...

Митенька засмеялся, спросил:

- Как так - кисло смотреть? Не научен я, дядечка...

- Вот как прошлые дни глядел, так и нынче...

Он дернул Митеньку за нос, за вихор, пошел из каюты наверх. Якоб свернул к адмиральскому камбузу. Митенька догнал кормщика, вдвоем они вышли на шканцы. Уркварт встретил их приветливо, проводил к штурвалу. Рябов медленным взглядом обвел паруса, стал говорить, что парусов мало. Митенька быстро перевел:

- Господин лоцман советует господину капитану поставить больше парусов, дабы, имея добрый ветер в корму, хорошим ходом проскочить

крепость и не понести урону...

Шаутбенахт кивнул:

- Он прав! Чем быстрее мы минуем русскую цитадель - тем быстрее завершим поход. Но парусов достаточно. Идя таким ходом, как сейчас, мы и то многим рискуем.

Уркварт приложил руки к сердцу, сказал сладко:

- Гере шаутбенахт не уверен в нашем лоцмане, но я утверждаю, что подобного лоцмана не видел никогда.

Ярл Юленшерна молча смотрел на широкие плечи Рябова, на его ладони, спокойно и уверенно лежащие на ручках огромного штурвала. Лоцман вел корабль искусно, по всей повадке кормщика был виден опытный моряк.

- Двина изобилует мелями! - сказал Юленшерна.

- Он знает каждую из них! - ответил Уркварт.

Шаутбенахт с сомнением пожал плечами.

Митенька заговорил опять:

- Господин лоцман думает, что на таком малом ходу тяжело придется под пушками. Господин лоцман знает, что пушек в крепости много и есть пушки большие...

Юленшерна перебил Митеньку:

- Прибавьте парусов, гере капитан, но пусть русский знает, что если корабль сядет на мель, мы лишим его жизни!

Рябов медленно, едва-едва переложил штурвал. Сырой морской ветер с неторопливой, все еще крепнущей силой наполнял паруса, "Корона" пошла быстрее, за ней в кильватер двигалась эскадра. Уркварт подошел к кормщику, похлопал его по плечу, сказал:

- Большой Иван есть наилучший лоцман из всех, которых я знаю. Пусть Большой Иван подружится со старым шхипером, и его жизнь станет прекрасной...

Кормщик усмехнулся, ответил:

- То-то в канатном ящике меня и держишь, господин капитан...

- Но здесь было большое сражение! - воскликнул Уркварт. - Тебя же

могли убить, Большой Иван!

Рябов, не отвечая, переложил штурвал, с осторожностью обходя мели. Матросы передавали по шканцам слова вперед смотрящего:

- На левой раковине затонувший струг, гере боцман!

- На левой раковине затонувший струг, гере лейтенант!

- На левой раковине затонувший струг, гере капитан!

Митенька перевел:

- Струг затонувший слева - по носу!

- Куда не надо - не наскочим! - ответил Рябов.

Корабль шел быстро, мимо в пелене дождя проносились знакомые луга, болотца, деревни, на взгорьях часовни, кресты, поставленные по обету поморами, деревянные старые, покрытые мхом церкви. Рябов, сощурившись, глядел вперед, могучие его руки со спокойной силой держали ручки штурвального колеса, Митенька стоял рядом, близко, тоже смотрел вперед.

- Боязно? - тихо спросил Рябов.

- Нет, не боязно!

Он помолчал, сказал с коротким вздохом:

- Крыкова жалко, Афанасия Петровича, дядечка! Все об нем думаю...

- Жалью моря не переедешь! - горько ответил Рябов. - Жалеть - не дело делать. Легко...

На носу вперед смотрящий ударил в малый колокол, тревожно крикнул:

- Прямо по носу открываются выносные башни крепости!

По шканцам передали:

- Прямо по носу выносные башни крепости, гере лейтенант!

- Прямо по носу выносные башни крепости, гере капитан!

- Загалдели! - сказал Рябов. - Небось, видим...

На шканцах, на пушечных палубах, на баке барабаны дробью ударили к бою! Дечные офицеры сжали зубами свистки. Пушкари припали к открытым портам. Рябов, щурясь, остро смотрел вперед, вглядывался в башни, в крепостные валы, в низкие железные, наглухо закрытые ворота, в зубчатые стены, в серые рваные тучи над крепостной

колокольней...

- Фитильные! Зажечь фитили! - велел шаутбенахт.

Дечные офицеры пронзительно засвистели в свистки, готлангеры подняли ядра, готовясь закладывать новые после выстрела. Юленшерна вынул из кармана платок. В это мгновение к нему сзади подошел Якоб с подносом, поклонился. Юленшерна вздрогнул. Якоб сказал учтиво:

- Кофе для гере шаутбенахта...

- К черту! - отрезал Юленшерна.

Еще раз ударил колокол, по шканцам передали:

- Прямо по носу открылась вся крепость, гере лейтенант!

- Прямо по носу открылась вся крепость, гере капитан!

Корабль шел на крепость. Юленшерна ждал. Еще немного - и он махнет платком. Тогда весь борт ударит из всех пушек - от самых легких на верхней палубе до самых тяжелых на гон-деке.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Не для ради князя Владимира,
Да не для ради княгини Апраксии,
Да для ради земли светлорусские,
Да для ради вдов, сирот, людей бедных.
Былина

1. ПОДВИГ

Прямо по носу флагманской "Короны" открылась вся крепость. Она стала нынче иной, чем тогда, когда кормщик гостевал у Сильвестра Петровича: сейчас ни души не было видно на ее боевых башнях и валах, ни единого звука не доносилось оттуда, где так недавно день и ночь стоял неумолчный грохот тяжелых и больших работ. Можно было подумать, что там все еще спали, и на одно мгновение Рябову стало не по себе: ужели не готовы? Ужели не видят, не слышат, какая идет беда, каким разорением грозит городу шведская эскадра, сколько наемников в шлемах и панцырях стоят на шканцах кораблей, сколько пушек смотрят из портов, сколько жадных глаз шарят по берегам Двины, ища, где будут

грабить, что жечь, кого убивать?

Но зоркий взгляд кормщика тотчас же приметил, что кто-то шевельнулся и скрылся на башне крепости, и по тому, как быстро мелькнул там человек, Рябов понял: ждут, готовы, примут вора как надобно, начнут во-время, не припоздают. Теперь - его черед, теперь наступило время его труду, его работе. И в один краткий миг он приготовился - взглядом приметил вешки, обозначавшие мель, сильнее уперся ногами в смоленые доски палубы, плотнее положил ладони на ручки штурвала.

Митенька стоял сзади, у левого его плеча, переводил, если что нужно было перевести, Якоб приносил шаутбенахту то кофе, то набитую табакомтрубку, то кружку горячего пунша. Сырой ветер посвистывал в снастях флагманского корабля, тяжелые дождевые капли летели в лицо. Крепость все приближалась, все вырастала, грозные строгие башни и валы ее словно бы мчались навстречу кораблю.

- Шел бы ты отсюда к борту, что ли! - сказал Рябов Митеньке. - Не добежишь, как приспеет время.

- А переводить тебе кто будет, дядечка? - спросил Митенька. - Нельзя мне уйти, сразу схватятся...

- Сказано, уходи! - приказал Рябов.

Но Митенька не ушел, остался стоять у левого плеча кормщика, ослушался чуть не в первый раз в жизни, глядел вперед - на башни и валы крепости, на вешки, которые все заметнее покачивались на серой воде. Уже можно было разглядеть прутья, которыми они были связаны, пеньковые веревки, которыми они были стянуты.

- О! - произнес Уркварт. - Московиты в спешке не сняли вехи с фарватера. Тем лучше, черт подери, тем лучше! Тут следует брать левее, не правда ли?

Митенька перевел, Рябов ответил, что так-де и пойдет. Он слегка переложил ручки штурвала, "Корона" чуть накренилась, ветер засвистал громче.

- Дядечка, - шепотом спросил Митенька, - а что Афанасий Петрович, может, живым ушел? Один кто-то ушел...

- Убили капитана! - ответил Рябов. - Не мог он уйти. Офицер бы ушел, солдат бы бросил? Нет, не таков был человек...

Теперь совсем уже недалеко оставалось до вешек, и Рябов, вглядываясь в них, широко, всей грудью вздохнул, окончательно приготовляясь и приноравливаясь к тому, что должен был выполнить. Крутой румянец проступил на его щеках, складка легла между бровями, напряглись и вздулись мускулы под тонкой парчой дорогого кафтана.

Корма "Короны" покатилась вправо, нос шел к вешкам.

В последний раз кормщик взглянул на башни крепости и более уже не отрывал светлого и напряженного взгляда от пути, которым шел корабль.

Рябов ни о чем не думал в эти последние секунды, ничего не вспоминал, ни с чем не прощался. Ни единой мысли о близкой и возможной гибели не подпустил он к себе. Он знал твердо, что будет жив, и тревожился только за Митеньку и за нового своего друга, которые, как ему казалось, могли не поспеть сделать то, что следовало. И, глядя вперед, он сказал им обоим ласково и ободряюще:

- Теперь, братцы, недолго. Теперь держись!

- И то - держимся! - срывающимся от восторга голосом ответил Митенька.

Щеки его пылали, глаза не отрываясь следили за вешками. Якоб тоже смотрел на вешки, крепко стискивая нож под кафтаном. Он был бледнее, чем всегда, еще сдержаннее, чем обычно, и порою поглядывал по сторонам, готовясь к бою, который должен был произойти здесь же, у штурвала.

- Ну, дядечка! - горячим шепотом за спиною Рябова сказал Митенька. - С богом!

В эту секунду Рябов, сжав зубы, в последний раз чуть-чуть переложил штурвал. Почти тотчас же долгий скрежет вырвался, казалось, с самого дна Двины, нос "Короны" медленно вздыбился, корма стала оседать, и длинный сплошной вопль отчаяния и ярости раскатился по орудийным палубам, по шканцам, по юту и по всему кораблю.

Кормщик отпустил рукоятки штурвала.

Тут нечего было более делать - флагманский корабль прочно сидел на

мели. В вое голосов, совсем рядом, оглушающе громко защелкали пистолетные выстрелы, кормщик нагнулся, понял - стреляют в него. Совсем близко блеснуло жало шпаги, он ударил топором, человек, который хотел заколоть его, упал. Митенька и Якоб отбивались за спиною Рябова, он же заслонял их обоих и рубил топором всех, кто бросался на него, так метко и с такой ужасающей силой, что вокруг быстро образовалась пустота, и только выстрелы гремели все чаще и злее.

Ни Рябов, ни Митенька, ни Якоб не видели, как второе судно эскадры с ходу врезалось в высокую резную корму "Короны", они только почувствовали страшный толчок и еще раз услышали вопли команды флагманского корабля, длинный, уже не смолкающий крик и вслед за ним согласный, оглушительный, басистый рев пушек: это одновременно ударили орудия Новодвинской цитадели и батарея Маркова острова.

Отбиваясь топором, Рябов не видел, как оттеснили от него Якоба, как упал Митенька. Но когда раскаленное ядро расщепило палубный настил и разогнало шведов, кормщик оглянулся и понял, что Митенька ранен. Высоко вздев в правой руке топор, кормщик вернулся и потащил с собою Митрия к борту, чтобы прыгнуть с ним в воду, но вдруг стал слабеть и почувствовал, что идти не может, может только ползти. Но ползти тоже было нельзя, потому что его бы смяли, и он все шел и шел, залитый кровью, с топором в руке, волоча за собою Митрия. У самого борта ему помог Якоб, который тоже был ранен и, широко разевая рот, никак не мог вздохнуть.

- Он сейчас прыгнет! - сказал Рябов Якобу про Митеньку. - Он ничего, зашибся, наверное, маненько. Я с ним поплыву, и ты тоже плыви с нами...

Опять просвистело ядро и впилось в палубу.

Якоб потащил Митеньку к пролому в борту, Митенька громко застонал, Рябов приказал:

- Прыгай, не жди! Прыгай!

Они прыгнули вдвоем, и кормщик прыгнул за ними. Уже в воде он

ударился обо что-то головою, и холодная серая Двина сомкнулась над ним.

2. НА КРЕПОСТНОЙ БАШНЕ

- Пали! - приказал Иевлев.

- Пали! - крикнул Семисадов.

- Пали! - закричал Федосей Кузнец своим пушкарям.

И тотчас же вздрогнула воротная башня, вздрогнули валы, и желтое пламя вырвалось из пушечных жерл. Ядра со свистом и воем вгрызались в палубу флагманского корабля, пробивали борта фрегата, взламывали палубные надстройки, в щепки разносили ростры, шлюпки, рангоут. Пороховой дым, гарь, копоть мгновенно, словно тучей, закрыли крепость, и в этой туче пушкари банили стволы, вкатывали ядра, наводили, палили. От пушки к пушке бегал черный Федосей Кузнец, поправлял наводку, широко открывал рот, ждал выстрела. И через несколько минут после начала сражения людям стало казаться, что бой идет уже давно, что ничего особо страшного в этом деле нет, что швед отбиваться не станет и скоро ему конец.

- Виктория, господин капитан-командор! - крикнул Резен. - Им нечего более делать, как сдаваться. Смотри!

Высунувшись из амбразуры до пояса, он рукой показал Иевлеву на вздыбившийся нос флагманского корабля, на фрегат, что шел в кильватер "Короне" и напоролся на его корму. С бортов фрегата, с бака, крича, расталкивая друг друга, прыгали шведы; одни пытались спустить шлюпку, другие взбирались по вантам наверх, третьи молились, простирая руки к небу.

- С ними кончено! - сказал Резен. - Они сели на мель. Как это случилось, что они сели на мель?

- Их посадил на мель кормщик Иван Рябов! - сказал Иевлев. - Свершен великий подвиг, Егор. А что же до того, что можем мы праздновать викторию, - то оно скоро сказывается, да не скоро делывается. Не два корабля в ихней эскадре, и еще не сейчас поднимут они белый флаг.

Викторию добыть надобно, и немало мы потрудимся, покуда дастся она нам в руки. Пойдем к пушкарям!

Инженер показал на уши - не слышу, мол.

- К пушкарям пойдем! - крикнул Иевлев.

Они вышли на выносной вал, где трудились пушкари, щипцами закладывали в жерла пушек раскаленные каменные ядра, поливали шипящую медь стволов уксусом, наводили, вжимали фитили в затравки... Шведы еще не отвечали.

3. СРАЖЕНИЕ

- Белый флаг! - крикнул Уркварт. - Белый флаг, гере шаутбенахт! Мы должны поднять белый флаг. Увидев белый флаг, они прекратят огонь, и мы спасемся, гере шаутбенахт! Иначе гибель, только гибель ждет нас...

Юленшерна наклонился, попросил:

- Повторите, я ничего не слышу.

- Белый флаг! - крикнул Уркварт.

Юленшерна усмехнулся синими губами, поднял пистолет, выстрелил снизу вверх в толстое лицо капитана "Короны". Уркварт упал навзничь, медная каска покатилась по палубе...

Вокруг еще палили из пистолетов, искали русского лоцмана, словно это могло хоть чему-нибудь помочь. Юленшерна сделал несколько шагов по настилу юта, ткнул дулом разряженного пистолета в челюсть трясущегося Пломгрэна, ударил артиллериста ногой, крикнул, срывая голос:

- Грязный трус! Стоять прямо, когда с тобой говорит адмирал!

Пломгрэн вытаращил глаза, вытянулся. Шаутбенахт смотрел на него с гадливостью, - сам он ничем не изменился, ярл Юленшерна: такое же спокойное желтое лицо, такие же хрящеватые уши, такие же кофейные глаза.

- Палача ко мне!

- Палача к ярлу шаутбенахту!

- Палача, и поскорее!

Сванте Багге отыскался тотчас же.

- Дюжину ребят себе в помощники! - приказал Юленшерна.

Двенадцать молодчиков выстроились за спиною Багге.

- Трусов и предателей убивать на месте! - пожевав губами, велел Юленшерна. - Мы должны выиграть сражение. Московиты не могут победить эскадру его величества короля шведов, вандалов и готов. У нас есть пушки, есть ядра, есть артиллеристы...

И шаутбенахт позвал своим сиплым, старческим, но совершенно спокойным голосом:

- Лейтенант Пломгрэн!

- Лейтенант Пломгрэн здесь, гере шаутбенахт!

Юленшерна, все еще жуя губами, огляделся, подумал и приказал попрежнему спокойно и внятно:

- Пушки правого борта к бою! Пушки левого борта к бою! Горнисты, "Слава королю!"

Двое оставшихся в живых горнистов, едва держась на накренившейся палубе, приложили горны к губам. Матросы, подгоняемые плетями боцманов, уже скатывали тлеющую палубу, ломом разбивали подожженные ядром бимсы грот-мачты, заливали свистящее пламя на юте. Абордажные солдаты уже качали рукоятки помпы...

На опер-деке вразнобой загрохотали легкие пушки, на гон-деке грянула одна - тяжелая. Весь корпус корабля содрогался: теперь били орудия и левого и правого бортов - по крепости и по батарее Маркова острова. Русские ядра с воем влетали в пушечные порты, одно ударило в пирамиду пороховых картузов, белое пламя опалило сразу нескольких артиллеристов, другое ядро врезалось в пушечную прислугу, навалившуюся на станок. Несмотря на усилия пожарных матросов, непрестанно - то там, то здесь - вспыхивало пламя.

Лейтенант Пломгрэн, держа шпагу в левой руке, метался по пушечным палубам, кричал в уши оглохшим дечным офицерам:

- Картечь! По валам - картечь! Всюду - картечь! Убью!.. Приготовиться!

Дечные офицеры с испугом поглядывали на своего лейтенанта - не сошел ли с ума...

Юленшерна, неподвижно стоя на юте, приказал:

- К высадке!

Горнисты подняли горны, барабанщик испуганно ударил дробь. Абордажный лейтенант с повязкой на лбу бегом поднялся на ют, подбежал к шаутбенахту. Юленшерна, указывая на Марков остров, велел:

- Вы высадитесь на берег и во что бы то ни стало заставите замолчать пушки.

Лейтенант не понял, Юленшерна повторил. Рядом грохнули два мушкетных выстрела: молодчики Сванте Багге застрелили спрятавшегося матроса. Сванте Багге сам привел офицера связи, шаутбенахт приказал ему передать на другие корабли неудовольствие флагмана: флагман желает видеть пальбу из всех пушек, а не одиночные выстрелы...

Приказывая офицеру связи, он смотрел туда, откуда молодчики Сванте Багге провожали солдат абордажной команды на остров. Каждого, кто замедлял шаг, они оттаскивали от трапа и приканчивали либо ударом ножа, либо выстрелом.

Постепенно все приходило в порядок, хоть ядра русских пушек и продолжали громить корабли. Теперь эскадра повела огонь. И на "Короне" и на других фрегатах и яхтах было еще немало орудий и умелых артиллеристов. Вначале шведские ядра попадали либо в Двину, либо во двор крепости, но позже, когда шведы пристрелялись, ядра все чаще сеяли смерть и разрушение на валах и на боевых башнях цитадели. Уже дважды в русской крепости занимались пожары, и черный жирный дым поднимался к небу, но русские, видимо, тушили огонь. Уже тяжело прогрохотал взрыв в цитадели - наверное, ядро угодило в пороховой погреб. Уже несколько убитых русских пушкарей упали со стены в серые двинские воды. И на Марковом острове загремели наконец мушкетные и ружейные выстрелы - десант, видимо, делал свое дело. Пора было готовить десант в крепость, и Юленшерна уже хотел отдать приказ об этом, как вдруг Сванте Багге приволок к нему на ют солдата из тех, кто побывал на Марковом острове. Зубы солдата стучали, по лицу текла

кровь; сбиваясь, он рассказал, что на острове, кроме пушкарей, много бородатых московитов-мужиков с топорами и кольями. Едва десант ступил на берег острова, как эти мужики выскочили из своих ям и ударили по солдатам с такой силой, что они могли дать только два залпа и были смяты. Многие упали на колени, сдались, многие были убиты, некоторые пытались спастись бегством, но московиты их настигали и безжалостно убивали...

- Трус! - сказал Юленшерна и отвернулся.

Солдат завыл, Сванте Багге велел своим молодцам покончить с ним.

4. МИТЕНЬКА

Молчан сбросил армяк, сел на пень, жадно, долго пил воду. Мужики переговаривались усталыми голосами, один - здоровенный, сердитый - качал головою, крутил в руках топор: какой добрый топор был; а теперь на жале щербина - попортился на шведском панцыре.

- Два мушкета заместо топора, а ему все мало! - сказал Молчан.

Мужик огрызнулся:

- На кой мне ляд мушкеты? Тесать ими стану, что ли? Бери вот оба, дай за них топор...

Другие работные люди засмеялись: хитрый экой - дай ему за мушкеты топор. Стали говорить, почем нынче на торге топоры, почем мушкеты, почем ножи. Выходило так, что мушкет ни к чему не годная вещь: поймают с мушкетом - отберут, да еще настегают кнутом.

За деревьями, за сваленными лесинами стонали раненые шведы. Дождь хоть еще и моросил, но небо кое-где голубело. Попрежнему с Двины тянуло сыростью, кислым пороховым запахом. Тяжело, часто, раскатисто ухали крепостные пушки, шведы непрестанно били со всех кораблей. Батарея на Марковом острове молчала, пушкари банили стволы, остужали накалившуюся медь, полдничали.

- Кашу трескают! - завистливо сказал мужик с бельмом на глазу. - Наваристая каша, мясная, да еще с маслом, ей-богу так...

- Кто?

- Пушкари. До отвала, ей-богу!

Молчан зачерпнул из бочки ведром, подал молодому парню, приказал:

- Сходи, снеси шведам напиться.

Парень не брал ведро, лицо его сделалось упрямым.

- Тебе говорю, али кому? - спросил Молчан.

Парень поднялся, нехотя взял дужку ведра большой рукой. Из-за леса, из-за деревьев староста землекопов старичок Никандр вывел кого-то - тонкого, слабого, - помахал рукой, крикнул:

- Эй, помогите, что ли...

Молчан пошел навстречу, подхватил Митеньку с другой стороны, поглядел в его синее лицо, спросил:

- Из воды?

- Побитый он! - сказал староста. - Никак ногами идти не может. И голова вишь как... Не держится...

Всмотревшись в Митеньку, Молчан вспомнил Соломбальскую верфь, Рябова, черноглазого хроменького юношу, которого опекал кормщик.

- Толмач он, - сказал Молчан, - с кормщиком, с Рябовым на иноземные корабли хаживал. Как же оно сделалось, что нынче из воды вынулся пораненный?

И, пораженный догадкой, вспомнив вдруг, как головной шведский корабль сел на мель, крикнул:

- Слышь, Митрий? Ты с ним был, с кормщиком? На воровском корабле? Да говори ты, для ради бога, не молчи! Кормщик где?

Митенька молчал, валился набок, лицо его совсем посинело.

- Помирает! - сказал мужик с бельмом на глазу. - Клади его сюда, на соломку, - помирать мягче...

Молчан бережно опустил Митеньку на солому, сел рядом с ним, вместе со старостой Никандром стал снимать с него кургузый кафтанчик, рубаху - все тяжелое, мокрое. Староста со вздохом покрутил головой - ну, досталось вьюноше!

- Весь побитый! - сказал тот мужик, что давеча ругался за топор. - Ты смотри, до чего пораненный. И как еще живет...

- Были бы кости, мясо нарастет! - сказал другой мужик, разрывая зубами ветошь на перевязки.

Опять на батарее Маркова острова загрохотали пушки. Митенька вдруг открыл глаза, стрельчатые его ресницы дрогнули, он часто задышал, спросил:

- Где бьют? Чьи пушки?

- Наши, милок, наши, - ласково, шепотом ответил Молчан, - наши, батарея палит...

- А дядечка, дядечка где? - испуганно, порываясь подняться, спросил Митенька. - Дядечка где, Иван Савватеевич?

- Он корабль на мель посадил? - вопросом же ответил Молчан.

- Он... Мы с ним в воду, в Двину повалились! - с трудом шевеля губами, говорил Митенька. - А здесь-то нету его?.. Я поплыл еще, а его нет и нет...

Он содрогнулся всем своим тонким телом, в груди захрипело. Молчан рукой поддержал его голову. Митенька все водил глазами, словно отыскивая Рябова, потом длинно, судорожно вздохнул и зашептал, сбиваясь и путаясь:

- Корабль крепко посадили, не сойти им, нет, теперь уж никак не сойти, хоть что делай... И Крыкова тоже убили, Афанасия Петровича. Много там побито было, я видел, как возле шанцев в Двину кидали драгунов и таможенников наших... Много они побили, воры, да, вишь, нынче и самим конец приходит...

Он опять стал оглядываться по сторонам и, заметив наваленные в кучу шведские каски, мушкеты, ружья, спросил:

- Бой был?

- Был, Митрий, был, невеликий, да был...

- Побили?

- Побили! - сказал Молчан. - Что ж их не побить! Кого насмерть побили, кого повязали, кого поучили, слышь - охают...

- Пить... - попросил Митенька.

Молчан подложил Митеньке под голову свой армяк, велел лежать тихо,

пошел к пленным шведам. Увидев русского, шведы залопотали по-своему, стали на что-то жаловаться или чего-то просить - Молчан не понял. Он подходил к каждому, осматривал, поворачивая перед собою пленного, - искал, наконец нашел - фляжку. Офицер испуганно дернул ее из ременной петли, с угодливым лицом, кланяясь, вытащил пробку. Молчан не стал пить, вернулся к Митеньке, опустился возле него на колени, разжал его крепко стиснутые зубы. Водка пролилась, мужик с бельмом досадливо сказал:

- Лей, не жалей!

Лицо Митеньки теперь посерело, глаза закатились, из-под черных ресниц светились белки. Молчан намочил тряпку, положил на лоб Митеньке. Тот опять весь вздрогнул и затих. Молчан неподвижно на него смотрел. В листьях деревьев прошелестел ветер, выглянуло солнце, заиграло на мокрых стволах берез, в каплях непросохшего дождя. Было слышно, как офицер на батарее кричал сорванным голосом:

- Пушки готовсь! Фитили запали! Огонь!

- Отходит! - сказал Молчан, беря руку Митрия своими жесткими ладонями.

Мужики сняли шапки. Глаза Митеньки медленно открылись, он вздохнул, позвал:

- Дядечка, а дядечка?

И пожаловался:

- Что ж не идет?..

Пушки опять сотрясли землю маленького Маркова острова. Молчан крепко сжал Митенькины холодеющие руки, утешил как мог:

- Погоди, скоро придет дядечка. Отыщется.

Но Митенька уже не услышал, и Молчан, насупившись, закрыл ему глаза. Мужики молча надели шапки. Мужик с бельмом, снимая с костра чугунок, в котором кипела похлебка, позвал:

- Пообедаем, что ли? Не рано, я чай...

Другие обтерли ложки, перекрестились. Молчан все сидел и сидел возле тела Митеньки, думал. Потом сказал:

- Я вот как рассуждаю: искать нам Рябова надо, кормщика. Может, и лежит где в лозняке. Шевелись, артель, поднимайся...
- Вот ужо пообедаем, так и поднимемся, - сказал мужик с бельмом. - Кое время горячего не хлебали. Садись, Павел Степанович, бери ложку...
Молчан подошел поближе к другим мужикам, сел на корточки, зачерпнул похлебки...

5. БРАНДЕРЫ ПОШЛИ

Красивый праздничный кафтан Резена уже давно изорвался и измазался кровью раненых, уже давно инженер скинул его в горячке боя, поворачивая вместе с Федосеем Кузнецом тяжелые пушки и сам вжимая фитили в затравки. Уже ранило Сильвестра Петровича, бабинька Евдоха перевязала ему ногу, и опять капитан-командор вернулся на свою воротную башню, развороченную шведскими ядрами. Уже дважды тушили пожары в крепости. С вала уже снесли по скрипящим лестницам вниз многих убитых пушкарей и положили рядом на булыжниках плаца, а шведские ядра, визжа, продолжали свое дело: то вгрызались в крепостные валы и стены, то падали на крыши солдатских и офицерских домов, то в клочья рвали пушкарей, солдат, матросов.
Двенадцатый час подряд продолжалось сражение.
Крепостной старый попик служил панихиду. Несколько старух стояли возле своих убитых мужиков-кормильцев, держали в руках тоненькие свечки, подпевали попу. Здесь же рядом, в горнах, кузнецы с завалившимися глазами, с лицами, покрытыми копотью, калили каменные ядра, дергали цепь на вал - к пушкарям, раскаленное ядро пушкари поднимали в железной кокоре, оно брызгалось искрами, шипело, когда его вкатывали в пушечный ствол, остуженный уксусом и протертый банником. Цепями же вздымали наверх чугунные и железные ядра. Рыбацкие женки, двинянки, пришедшие со своими мужиками возводить крепость, искали по двору, за избами, за наваленными в кучу досками, щебнем шведские ядра. У каждой женки в руке было по нескольку кругов, этими кругами они мерили объем ядра. Случалось, оно

подходило, - тогда ребятишки с визгом волокли его к крепостной стене, кузнецам. Кузнецы ухмылялись в бороды, - эдак войне и не кончиться до веку...

Во дворе, за крепостными погребами, женщины варили солдатам, пушкарям, матросам, кузнецам кашу-завариху со свиным салом, с говядиной и с перцем. Одна, толстая, краснощекая, размахивая уполовником, кричала сильным мужским голосом:

- А я ему говорю: собака, давай, говорю, сала. Комендант, говорю, велел. А он, вор, руки в боки и меня с насмешкой срамит. Я ему говорю: ты, говорю, собака, мне сам капитан-командор...

В воздухе со свистом пронеслось ядро, ударило в стену погреба. Стряпуха продолжала:

- Да вы слушай, женки, вы меня слушай. Я говорю...

И она рассказала, как поднялась в "самый распропекучий ад", где господин Иевлев сидит, - в башню, и как господин капитан-командор назвал ее "голубушкой" и велел сало на корм воинским людям давать непременно, а коли кладовщик еще заупрямится, "стрелить его на месте поганой пулей"...

- Что же не стрелила? - спросила другая женщина, укачивая на руках ребенка.

- Поганой пули нет, оттого и не стрелила! - ответила стряпуха и, встав на приступочку, глубоко запустила свой уполовник в большой чугунный котел, где кипела каша, фыркая салом.

Другая стряпуха принесла в бадье тертый чеснок с луком, спросила:

- Спускать, что ли, Пелагея?

- Не рано ли? Как спустишь, так и раздавать надобно, а им, небось, не с руки, самое - палят...

- Они палить веки вечные будут! - сказала та, что укачивала ребенка. - Снесем на валы, покушают, а так, что же, на голодное-то брюхо... Давай, Пелагея, наливай, я своей артели понесу. Семка мой, кажись, и уснул...

Положив ребенка под стеночку, на лавку, она взяла деревянную мису с двумя ручками, подперла ее крепким коленом и велела:

- Лей пожирнее - пушкарям завариха-то...

Пелагея с грохотом швырнула на доски уполовник, взяла могучими руками черпак на палке, помешала в котле, чтобы всем досталась одинаковая завариха, налила мису до краев и спросила:

- Управишься одна, Устиньюшка?

- Не то еще нашивала! - ответила Устинья, взяла мису, пошла, ловко и красиво покачиваясь на ходу, скрылась за углом погреба.

В то же мгновение в воздухе раздался курлыкающий, все нарастающий визг, и ядро, взвихрив землю возле босых загорелых ног женщины, ударилось о каменную стену погреба и завертелась там, хлюпая и шипя в луже. Устинья покачнулась, села.

Женки положили ее на траву, возле тропинки, прикрыли тонкое лицо платком... Одна спохватилась:

- Господи, Никола милостивый, каша-то прозябает. А ну, Глаха, понесли...

Грудной Семка проснулся и закричал на лавке, стряпуха Пелагея взяла его толстой рукой, прижала к груди, сказала со слезами в голосе:

- Молчи, сирота, нишкни! Вот раздадим кашу, отыщем тебе мамку, нащечишься еще... Молчи, детка, молчи...

Держа одной рукой сироту, другой ловко орудуя черпаком, Пелагея разливала завариху подходившим женкам и, укачивая мальчика, спрашивала на разные голоса:

- А вот у меня жених каков, женушки, нет ли у вас невестушки под стать? Ай хорош жених, ай пригож, ай богатырь уродился! Пушкарем будет, матросом будет, офицером будет, енералом будет, - не надо, тетки?..

Пожирнее, понавари стее, погуще - с салом и потрохами - стряпуха налила только в одну мису - Таисье для увечных воинов, которых лечила бабинька Евдоха своими мазями, травами и настоями. Таисья поблагодарила поклоном, понесла мису крепостным двором, мимо горящего амбара, из которого монахи, обливая себя водой, чтобы не загореться, таскали кули с мукой и крупами, солонину в бочках, соленую рыбу в коробьях; таскали мимо большой избы капитан-командора, мимо

крепостного рва, в котором вереницею стояли брандеры - поджигательные суда, готовые к бою. Боцман Семисадов, утирая пот с осунувшегося лица, стуча деревяшкой, ловко прыгал с брандера на брандер, рассыпал по желобам и коробам порох, прилаживал зажигательные трубки. Матросы в вязаных шапках ладили на мачтах и реях старых, полусгнивших карбасов, взятых под брандеры, крючья и шипы, которыми зажигательные суда должны были сцепиться с кораблями шведов...

Таисья окликнула Семисадова. Он ловко перемахнул на берег, спросил, ласково улыбаясь:

- Увечным каша-то?

Таисья кивнула. Глаза ее смотрели гордо, она точно ждала чего-то от боцмана. Тот смутился, вынул из кармана трубочку, стал набивать ее, приминая табак почерневшим пальцем. На валах опять ударили пушки, по Двине далеко разнесся тяжелый, ухающий гул, боцман сказал, вслушиваясь:

- Воюем, Таисья Антиповна... Теперь вот брандеры выпустим, пожгем его, вора, чтобы неповадно было...

Таисья все смотрела в глаза Семисадову, было видно, что она не слушает его. Спросила:

- Люди говорят, господин боцман, кормщиком у них Иван Савватеевич шел. Так оно?

- Он и шел! - сразу ответил Семисадов, точно ждал этого вопроса и теперь радовался, что мог на него ответить. - Он и шел, Иван Савватеевич! Ему честь, ему слава вовеки!

Она кивнула спокойно и пошла дальше по камням, возле рва. Семисадов шагнул за нею, испугавшись какой-то перемены, которая произошла в ее лице, попытался взять из ее рук тяжелую мису, но она сказала, что донесет сама - не боцманское дело носить харчи, есть на то женки да вдовы. И светлые слезы вдруг брызнули из ее глаз. А Семисадов ковылял рядом с ней и, нисколько не веря своим словам, утешал:

- Вернется он, Таисья Антиповна! Вернется, ты верь! Кому как в книге

живота написано, а ему жить долго, ему вот как долго жить. Он в семи водах мытый, с золой кипяченый, утоплый, на Груманте похороненный, снегами запорошенный, морозами замороженный, а живой. Ты меня слушай, Таисья Антиповна, слушай меня, я худого не скажу, сам вож корабельный, знаю, каков он мужик - Иван Рябов сын Савватеев...

Со свистом, с грохотом в середину двора упало одно ядро, потом другое, высоко над валами завизжала картечь. Семисадов повернул обратно к брандерам, крича на берегу Таисье:

- Возвернется, ты верь! Живой он!

- Кто живой, дяденька? - спросил молодой матрос, ладивший крючья на мачте брандера.

- Дяденька, дяденька! - всердцах передразнил Семисадов. - Какой я тебе дяденька? Я боцман, а не дяденька! Криво крюк стоит, не видишь?

Сверху, с башни засвистел в свисток Иевлев, потом крикнул в говорную трубу:

- Готов, боцман?

- Гото-ов! - отвечал Семисадов.

- Выходи, жги их, воров!

Семисадов зажег факел, стал тыкать пламенем в запальные рога брандера, замазанные воском. Рога загорелись светло. К воротам, поставленным над водою, побежали солдаты с копьями, отвалили бревна, подняли железные брусья. Ворота заскрипели. Матросы, навалившись грудью на багры, толкали перед собою головной брандер, разгоняли его, чтобы он ходко выскочил на Двину. Семисадов ловко прыгнул в малую лодочку-посудинку, повел перед собою зажигательное судно на флагманский корабль "Корону". Другие брандеры шли сзади, ветер дул от крепости; пылающий, коптящий, жаркий карбас с шипами медленно надвигался на "Корону". Там затрещали мушкетные выстрелы, пули пробивали паруса брандера, с воющим звуком впивались в мешки с порохом, порох загорелся, загорелись и паруса. Семисадов, упершись деревяшкой в скамейку, выгребал на флагманский корабль, толкая перед собою пылающий брандер и все оглядываясь, - как идут другие, нет ли

где заминки. Но другие четыре пылающих карбаса шли широким полукругом чуть сзади. Над горящими карбасами летели ядра, шведские пули проносились близко от боцмана, одна царапнула по руке, другая расщепила весло. Теперь выгребать пришлось одним веслом. Поверх горящих парусов боцман уже видел громаду вздыбившегося шведского корабля, навалился еще раз - из последних сил. Карбас скулою ударился в борт "Короны", крючья и шипы впились в дерево, чадящее пламя лизнуло обшивку, по ней побежали золотые искры. Сверху в Семисадова палили из мушкетов и ружей, совсем близко он видел усатые рожи шведов, их открытые кричащие рты, видел пушечные порты, в которых торчали изрыгающие грохот и пламя стволы пушек, видел свесившегося офицера, который махал шпагой и целился в него из пистолета. Но Семисадову было до всего этого мало дела, так поглощен он был своим брандером, его пылающими парусами, языками огня, которые яростно загибались в пушечные порты нижней палубы...

Баграми и крючьями шведы пытались оторвать от борта прилипший брандер, но пламя лизало их руки, обжигало лица, дерево корабля уже горело. А в это время уже подходили другие брандеры, шипы с силой впивались в обшивку, пылал порох, просмоленная ветошь, пушкари бежали от своих пушек, дым и пламя застилали порты.

Теперь били только легкие пушки верхней палубы, да и то не часто, потому что пожар отрезал подходы к крюйт-камере и подносчики пороховых картузов не могли более делать свое дело...

Семисадов, вернувшись в крепость, с трудом приковылял к бабке Евдохе, пыхтя сел на лавку, пожаловался, что сильно ранен.

- Где, сыночек? - участливо спросила бабинька.

- Ноженьку, ноженьку мою белу поранило, - сказал Семисадов, - пулею поранило, бабинька...

Старушка засуетилась, стала рвать холсты. Семисадов сидел смирный, горевал, потом отстранил бабиньку рукой, потребовал:

- Вина, бабинька! Который человек увечен, тому вина дают, сам слышал - Сильвестр Петрович сказывал. Не скупись, бабуся...

Евдоха усталыми руками налила гданской до краев. Семисадов перекрестился, спросил закуски. Таисья подала ему кус хлеба с салом. Боцман выпил, лихо запрокинув голову, утер рот, вздохнул. Евдоха стояла над ним с холстами, с мазью, с чистой водой. Семисадов ел.

- Покушать, сыночек, успеешь, наперед дай перевяжу! - сказала бабинька Евдоха.

Боцман подтянул штанину. Увечные пушкари, матрос, солдаты враз грохнули смехом: деревяшка, которая служила Семисадову вместо ноги, была внизу вся искрошена шведской пулей. Бабинька Евдоха сначала не поняла, потом засмеялась добрым старушечьим смехом, уронила холст, замахала на боцмана руками. Засмеялась и Таисья - первый раз за все эти страшные дни.

- А чего? - басом говорил боцман. - Ранен так ранен - значит, вино и давай... А на какой ноге воюю - мое дело. Нынче на березовой, завтра на сосновой, а потом, может, и своя новая вырастет за все за мои труды. Соловецкие будто чудотворцы все могут... Помолебствуют с усердием, и пойду я на живой ноге...

6. ДЕЛО ПЛОХО!

- Плохо! - сказал Реджер Риплей. - Плохо, Лофтус. Ваших шведов побили. Ставлю десять против одного, что это именно так!

Лофтус заломил руки, воскликнул с тоской:

- Я не вижу причин радоваться, сэр! Я не понимаю, почему вы так радужно настроены. И меня, и вас, и гере Лебаниуса, и гере Звенбрега ждет веревка...

Венецианец застонал, тихий Звенбрег стал вдруг отпираться: по его словам выходило так, что он решительно ни в чем не виноват, все происшедшее с ним - глупое недоразумение, русский царь, как только увидит Звенбрега, так сразу же его отпустит...

- Но вы забываете, что я во всем покаялся! - сказал своим гнусавым голосом Лофтус. - Моя жизнь сохранена только потому, что я был искренен с русским капитан-командором...

Над крышей избы, служившей иноземцам тюрьмою, с визгом пролетело ядро и ударилось рядом. Кружка, стоявшая на столе, упала и разбилась. Тотчас же ударило второе ядро.

- Вот вам и побили! - сказал Лофтус. - Мы здесь ни о чем не можем судить. Флот пришел - этого для меня достаточно. Флот его величества короля здесь.

Реджер Риплей захохотал:

- Где здесь? На дне? Черт бы подрал ваше величество! Сколько раз я говорил тому шведскому резиденту, который тут находился до вас, что воевать с московитами глупо, а надо с ними торговать, как торгует Англия.

- Вы говорили! - крикнул Лофтус. - Вы говорили! А деньги вы все-таки получили от нас, сэр! И недурные деньги. Что же касается до вашей Англии...

Пушечный мастер погрозил Лофтусу пальцем:

- Не задевайте мою честь, Лофтус, я этого не люблю!

- О, гордый бритт! - воскликнул Лофтус. - Гордый, оскорбленный бритт! Если бы не ваша Англия...

Не поднимаясь с лавки, Риплей ударил Лофтуса носком башмака в бедро. Швед отпрянул к стене, белый от бешенства, ища хоть что-нибудь похожее на оружие. Венецианец с мольбою в голосе просил:

- Господа, я прошу вас, я заклинаю вас именем всего для вас святого. Быть может, это последние наши часы...

Риплей пил воду, ворчал:

- Гнусная гадина! Деньги! Погоди, я еще швырну в твою поганую морду деньги! Он смеет меня попрекать деньгами! Мало я делал из-за этих денег? Ваш Карл должен бы меня осыпать золотом за то, что я делал для него в этой стране, а мне платили пустяки. Деньги!

В избе запахло дымом, Звенбрег потянул воздух волосатыми ноздрями:

- Где-то горит! И сильно горит...

- У них в крепости много пожаров! - объяснил Лофтус. - Я слышу, как бегают и кричат...

Реджер Риплей ответил со злорадством:

- Сколько бы у них ни было пожаров - шведам в Архангельске не бывать! Архангельск останется для нас, и мы его получим...

Он оторвал кусочек бумаги, зажег о пламя свечи, раскурил трубку.

- Сейчас ночь или день? - спросил Лофтус.

В избе, в которой содержались иноземцы, Иевлев накануне сражения приказал зашить окно досками.

Риплей отвернулся. У него были часы, но разговаривать с Лофтусом он не желал. Его разбирала злоба: русские разгромили шведов, царь Петр, конечно, будет очень доволен, всех участвовавших в сражении наградят. Ну, если не всех, то многих. Его, пушечного мастера, во всяком случае наградили бы. Царь Петр дорожит такими иноземцами. И кто знает, как сложилась бы жизнь мастера Реджера Риплея, не соблазнись он шведскими деньгами, а служи только английской короне...

Пыхтя трубкой, пушечный мастер сердился: вот Лефорт, женевец, дебошан и более ничего, даже ремесла толком не знает, а в какие персоны выскочил. Быть бы Лефорту первым министром, не умри он так рано. Умный человек! Ничего не скажешь, - понял, кому надо служить. А он, Риплей? Чем кончится вся эта глупая история? Неужели повесят? Ежели у них попался - будет худо! После Нарвы они стали сердитыми, московиты, и не слишком жалуют иноземцев...

- Действительно, пахнет дымом! - сказал венецианец. - У меня слезятся глаза...

Риплей пыхтел трубкой. Ему хотелось пива. Если бы он сейчас был на валу, несомненно, русский слуга подавал бы ему пиво. Он бы пил пиво и командовал стрельбой. А потом царь Петр поцеловал бы его и произвел в главные пушечные мастера. Главный пушечный мастер - это гораздо больше, чем генерал. Генералы выучиваются своему делу, а пушечные мастера - родятся. Он бы построил себе дом в Москве, посадил бы цветы, выкопал бы пруд и выписал свою Дженни. Как бы она удивилась, увидев такое великолепие. А через несколько лет обессилевшую в войне со шведами Россию завоевала бы Англия. Рано или поздно, Англия все

завоюет, и глупых шведов тоже. Так говорят в Лондоне...

- Слушайте, мы горим! - сказал Лофтус.

Риплей сердито сплюнул. Он не любил, когда ему мешали мечтать.

- Мы горим! - громче сказал Лофтус.

Венецианец вскочил со своего места. Звенбрег, прижимая руки к груди, метался по избе, вскрикивал:

- Эти варвары хотят сжечь нас живьем! Да, да!..

Дыму было уже столько, что пламя свечи едва мерцало. Риплей забарабанил сапогом в дверь, караульный не откликнулся. Тогда Лебаниус схватил скамью и, размахнувшись, стал бить ею в рассохшиеся доски с такой силой, что одна из них сразу отскочила...

- Эй! Зольдат! - крикнул в дыру венецианец.

Караульщик, обычно стоявший в сенях, не отзывался. Едкий дым все полз и полз, и теперь слышен был даже треск близкого пламени.

- Зольдат! - крикнул венецианец, надрываясь.

Риплей выхватил из рук Лебаниуса скамью и, кашляя от копоти и дыма, ударил еще несколько раз. Отскочила вторая доска, потом третья. В углу, где стоял колченогий стол, уже горела пакля, желтые язычки пламени бегали между бревнами.

Задыхаясь, Риплей все бил и бил скамьей, пока не вылетели все дверные доски. Но для того, чтобы спастись, надо было сломать еще одну дверь - наружную, с решеткой, обитую железом. Они опять стали бить скамьей, но дверь не поддавалась, а изба уже горела жарким огнем. Одежда на Лофтусе начала тлеть, венецианец потерял сознание, свалился на пол под ноги другим. Еще немного, и они бы сгорели все, но кто-то стал ломать дверь снаружи. Лофтус, визжа от боли - языки пламени уже хлестали его по спине, - встал на четвереньки. Риплей тоже начал опускаться на пол, когда дверь наконец распахнулась и какие-то женщины выволокли иноземцев на крепостной двор. Здесь, неподалеку от избы, лежал насмерть сраженный ядром караульщик, его разбитая алебарда валялась рядом. Женщины, жалея обожженных, принесли воды, позвали какого-то капрала; капрал побежал под свистящими ядрами -

искать Иевлева. Сильвестра Петровича он не смог найти, но нашел инженера Резена, который, ничего толком не поняв из сбивчивых объяснений капрала, все-таки пришел с ним, чтобы разобраться в происшествии. Венецианец Лебаниус уже умер - задохнулся от дыма, Лофтус тоже был очень плох, судорожно зевал и стонал; один англичанин Риплей, бодро улыбнувшись, сказал, что хотел бы выпить немного русской водки, и тогда все будет хорошо. Инженер приказал принести водки, но его тут же позвали, и он побежал на валы к своим пушкам. Риплей выпил водки, сказал молодой крепенькой поморке:

- Русский женка - доприй женка!

Поморка засмеялась, показывая мелкие ровные зубки. Риплей подумал: "Дженни можно не выписыватъ, Дженни костлявая, можно жениться на русской женщине!" И еще выпил водки.

Лофтус застонал, Риплей ткнул его кулаком под бок, сказал по-английски, с веселой, открытой улыбкой, чтобы русские женщины ничего дурного не подумали:

- Вы, черт вас подери, возьмите себя в руки. Наша жизнь зависит от нас...

Звенбрег тоже открыл глаза, стал слушать. Расплываясь в улыбке, Риплей продолжал:

- Впоследствии мы скажем, что они сожгли венецианца и хотели сжечь нас, но сейчас наше место на валу, где палят пушки. Понимаете? Обожженные, несправедливо оскорбленные, мы, как герои, будем стрелять по шведам. Соберитесь с силами и идите за мной!

Лофтус застонал, спросил:

- Стрелять в шведов?

- Когда дело идет о жизни и смерти, такие, как вы, готовы выстрелить в родного отца! - с той же открытой улыбкой сказал Риплей. - Поднимайтесь, а то мы опоздаем!

Он первым поднялся на крепостной вал и опытным глазом старого наемника сразу оценил положение шведов: они проиграли битву, хотя еще ипродолжали сражаться. На флагманском судне действовало всего

несколько пушек, но команда с него уходила - корабль горел. На фрегате палили пушки батарейной палубы.

На втором фрегате палили все пушки, но куда он годился, этот фрегат, если две яхты и третий фрегат уже готовились к тому, чтобы покинуть Двину и уйти, воспользовавшись благоприятным ветром? Последние три судна еще отстреливались, но только для того, чтобы иметь возможность уйти. Им тоже приходилось туго: ядра батареи с Маркова острова настигали их. Кроме того, Сильвестр Петрович приказал пушкарям спуститься с пушками ниже вдоль Двины и ударить по убегающему фрегату так, чтобы он потерял управление и остановил яхты...

Здесь, на валу, у русских тоже было немало потерь, однако тут властвовал порядок, и по лицам простых пушкарей было видно: они выигрывают сражение и знают, что победят. Порядок был во всем: и в том, как споро и быстро подавались наверх ядра, и в том, как носили порох, и в том, как слушались Резена, Федосея Кузнеца и других начальных людей. И лица русских выражали суровое спокойствие, так свойственное этому народу в минуты большого труда.

Риплей прошелся по главному выносному валу, сунул в рот трубку, засучил рукава обгорелого кафтана и сам, сильными, белыми, поросшими рыжим пухом руками, крякнув, развернул пушку "Волк", которую еще недавно чинил на Пушечном дворе. Пушка была исправная, и как только Риплей ее развернул, к нему подбежал русский парень - подручный убитого пушкаря.

- Ох, и добрая пушка, - ласковым, юным еще голосом заговорил подручный, - ох, и палит! Только пушкаря нашего - Филиппа Филимоныча - зашибло, а мне одному не управиться, не приучен я, как нацеливать; пальнул два раза, да мимо, теперь боюсь...

Риплей кивнул головой, велел банить ствол. Подручный обеими руками поднял банник, потом подал картуз с порохом, потом ядро. Риплей, поджав губы, сердясь на шведов, что проиграли сражение, сердясь на себя, что не угадал, кому служить, щуря глаза, навел пушку чуть пониже шканцев, выждал, покуда затихнет пальба, в тишине, громко, чтобы все

на него посмотрели, крикнул сам себе команду: огонь! - и вжал фитиль в затравку. Пушка ахнула, ядро с визгом рванулось над Двиной, пробило обшивку корабля, оттуда сразу же выкинулось пламя.

Русские пушкари посмотрели на иноземца, - хорошо ударил, может стрелять. Подручный уже обливал ствол пахучим уксусом, готовил второй заряд. Риплей пошел по валу, крепко держа трубку в зубах, выправлял пушки русским пушкарям, хлопал московитов по плечам, говорил сипло:

- Русский пушкарь, доприй пушкарь! Ошень доприй!

Лофтуса и Звенбрега он поставил к другой каронаде, сказал угрожающим голосом, по-английски:

- Целиться буду я! А вы будете палить возможно чаще! Пусть все видят нас! Все!

- Шведский флаг! - воскликнул Лофтус. - Золотой крест Швеции... Вы не смеете стрелять по этому флагу!

Риплей больно толкнул Лофтуса в плечо, показал глазами направо: оттуда шел, опираясь на трость, бледный от потери крови и усталости капитан- омандор Иевлев. Словно не замечая его, англичанин проверил заряд, повернул в цапфах ствол, вдавил фитиль. Пушка опять ударила, ядро влетело в открытый порт средней палубы...

- Польшой викторий! - сказал он по-русски Иевлеву так громко, чтобы слышали все вокруг. - Колоссальный викторий! Шерт фосьми, проклятый швед!

И, захохотав, добавил:

- Ай-ай-ай, сэр! Ми чуть все не скорель в изба. Отин наш иностранец - смерть. Умереть. Он получился жаркое, та, так...

Сильвестр Петрович широко открыл глаза, не понимая. Риплей снова наклонился к пушке:

- Не сейчас, сэр! Сейчас надо воевать! Сейчас надо покончить с этот швед!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

И мы оставляем тебя одного
С твоею бессмертною славой...
Козлов
Русского солдата мало убить, его надо еще и повалить.
Фридрих Второй

1. РЕБЯТИШКИ

Как только шведы начали бомбардирование крепости, Маша повела детей в погреб. Вначале тут сидели только иевлевские девочки да Ванятка Рябов, потом Мария Никитишна стала сгонять сюда и других ребятишек, рассудив, что здесь им будет куда безопаснее, нежели на плацу, где они радостно дивились на шведские раскаленные, прыгающие по булыжникам ядра.

Детям в погребе было скучно, особенно когда Марья Никитишна, отлучаясь к Таисье или на башню к Сильвестру Петровичу, запирала погреб снаружи чурочкой.

Когда Марья Никитишна ушла в третий раз, Ванятка Рябов сказал твердо:

- Пошли и мы! Чего здесь горевать!

- Матушка не велела! - ответила послушная Ириша.

- Да, матушка не велела! - поддержала ее Верушка.

- Ну и сидите! - рассердился Ванятка. - Сидите здесь, а уж я пойду, насиделся...

И не торопясь, своей рябовской походкой поднялся по приступочкам наверх. Поленце отвалилось, Ванятка вышел на плац, огляделся и обомлел: прямо против выхода из погреба ярко и весело горела крыша избы капитан-командора, та самая, где не раз он, Ванятка, гостил, где нынче остался его игрушечный, со всею оснасткою, сделанной отцом, корабль и где стояли люльки с куклами его подружек - иевлевских дочек.

Постояв с открытым ртом, Ванятка обернулся и крикнул в погреб:

- Ей, девы! А изба-то ваша полымем полыхает!

"Девы" с другими ребятишками, топоча, побежали наверх и тоже открыли рты. К иевлевской избе уже спехом шли крепостные монахи, назначенные на этот день воевать с огнем, буде он появится где-нибудь в цитадели. У монахов были ведра, багры, крючья. И покуда одни тушили,

другие, облившись водой, быстро врывались в избу и что-нибудь оттуда выносили; но все это были вещи, которые ни Ванятку, ни девочек не интересовали: ни корабля, ни люлек с куклами монахи не несли.

- Ишь! - распуская губы, сказала Верунька. - Не несут!

- Там еще лоскутков целый короб был! - кривясь от плача, произнесла Ириша.

Ванятка на них цыкнул, они малое время не ревели. Но когда монахи вынесли скатанный ковер, Ириша вдруг вспомнила, что кукольные люльки стояли как раз на этом ковре, и во весь голос заревела. Верунька заревела за ней.

- Ну, завели! - произнес Ванятка. - Разнюнились!

И плечом вперед, маленький, насупленный, пошел к монахам. "Девы" перестали реветь, другие ребятишки с интересом смотрели на кормщикова сына. Ванятка переждал, пока возле ведер не будет никого из монахов, быстро вылил воду себе на голову и так же бочком, плечом вперед вошел в сени, где было очень дымно и где воняло горелым. Здесь кто-то схватил его за вихор, но он вырвался и побежал по знакомым горницам - туда, где он оставил свой оснащенный корабль среди кукол и люлек, среди лоскутков и других игрушек. Дым разъедал ему глаза, он почти ничего не видел, но все-таки нашел и корабль, и люльки, и кукол, и короб с лоскутками. Завернув все это в какую-то тряпку, он по пути еще подобрал три книги, которые давеча читал Сильвестр Петрович, и нагруженный своей добычей, черный и закоптелый выскочил на крыльцо, где кто-то из монахов поймал его и дал ему хорошую затрещину. Из рук монаха Ванятку выхватила Марья Никитишна и, плача, стала его целовать и причитать над ним. А иевлевские дочки и другие ребятишки спрашивали его - как там было, очень ли страшно или ничего.

- Да ну! - сказал Ванятка, выкручиваясь из рук Марьи Никитишны. - Ничего там и нет такого... Дымно и паленым воняет, а так взойти и выйти даже вам можно, ничего...

В это время еще одно шведское ядро, с воем прорезав воздух, грохнулось поблизости о камни и завертелось на булыжниках. Марья Никитишна

схватила девочек и, толкая перед собою Ванятку, погнала их всех в погреб. Иринка и Верунька бежали, роняя лоскутки, за ними бежали в погреб другие дети и никак не могли понять, почему жена капитан-командора все плачет, и смеется, и опять плачет...

В погребе Марья Никитишна развернула книги, которые вытащил Ванятка из горницы Сильвестра Петровича, и про себя, шепотом прочитала: "Исаак Ньютон"...

Книга выпала из ее рук, по щекам полились обильные слезы, она вдруг прижала голову Ванятки к своей груди и, задыхаясь от слез, непонятно заговорила:

- Исаак Ньютон, господи! А мертвых сколько! И батюшку вашего ранило, девочки, и что еще будет, и Иван Савватеевич... Ох, деточка мой милый, голубчик мой родненький...

2. МЕРТВЕЦЫ

"Корона" пылала - русские брандеры сделали свое дело. И ярл Юленшерна, стоя на юте, отдал приказ горнистам играть отход. Горнисты подняли горны к небу, но в вое и в свисте пламени никто не слышал сигнала, да и людей на флагманском корабле осталось совсем немного.

Ветер переменился, красные дымные языки огня уже лизали бушприт фрегата, который врезался в "Корону". Там команда еще пыталась бороться с пламенем, но это делали только немногие смельчаки. Большая часть матросов на шлюпках уходила к яхтам и к тому фрегату, который под огнем русских батарей пытался развернуться в Двине, чтобы, подняв паруса, выйти из сражения.

К шаутбенахту на ют поднялся лейтенант Пломгрэн. Еще два каких-то офицера, которых не знал Юленшерна, вместе с Пломгрэном принялись уговаривать его оставить флагманский корабль. Шаутбенахт молчал: он слушал гром русских батарей, смотрел, как гибнет и позорно бежит его эскадра, думал о том, что все кончено и спасения больше нет. Ему следовало умереть, он знал это, и делал все, чтобы погибнуть, но судьба наказывала его страшнее, чем смертью. Он должен был, прежде чем

умереть, пережить весь позор бесчестья. Он должен был увидеть, как бегут его люди, он должен был услышать проклятия матросов, которые раньше трепетали одного его взгляда.

- Ну что ж, - негромко сказал он, - спустите вельбот...

Но вельбот уже нельзя было спустить, и шаутбенахт Юленшерна оставил свою "Корону" на маленькой шлюпке, бежал с горящего корабля, покинул флагманское судно и более на него ни разу не оглянулся, - ему страшно было смотреть, видеть, думать. Он сидел в шлюпке ссутулившись, закрыв желтое лицо желтыми ладонями, - маленький старичок в медном шлеме с петушиными перьями.

- Навались! - командовал Пломгрэн гребцам. - Шире греби! Навались!

Трупы, обломки мачт, рей, какие-то бочки, ящики задерживали шлюпку. Русские ядра со свистом и шипением падали в Двину, взрывая столбы воды.

- Гере шаутбенахт, снимите шлем! - попросил Пломгрэн. - Они видят адмирала...

- К черту! - сказал Юленшерна.

По шторм-трапу он поднялся на тот фрегат, который разворачивался под огнем русских батарей, на фрегат трусов. Здесь многие были пьяны и не узнавали своего шаутбенахта или делали вид, что не узнают. Здесь уже никто не помогал раненым, и они ползали по шканцам, умоляя пристрелить их. А на юте лежал командир фрегата с размозженной головой. В руке его была зажата бутылка бренди.

Лейтенант Пломгрэн попытался навести порядок, но его никто не слушал, а когда он замахнулся ножом - его убили. Это был конченый фрегат, и ярл Юленшерна остался на нем только для того, чтобы умереть. Визжащие ядра русских, шипя, раздирали паруса, ломали мачты, реи, борта, осыпали картечью матросов, которые бросались в воду, чтоб спастись вплавь. Ядра падали рядом с шаутбенахтом, возле его ног рушилась палуба, у самого его лица пролетали осколки дерева, кованный железом блок со свистом промчался у самого его виска, - а он все был жив. Желтый, с потухшим взглядом, с опущенной шпагой в руке,

шаутбенахт флота его величества мог теперь только безмолвно смотреть на разрушения, происходящие на фрегате.

Он пошел по шканцам, ища смерти.

Мертвецы, плавающие в лужах крови, мертвецы сидящие, мертвецы, застывшие у пушек, мертвецы с остекляневшими глазами преграждали ему путь. Он наступал башмаками на мертвые тела, и звездчатки его шпор вырывали лоскутья из одежд мертвецов. "Продажный сброд! - со злобным презрением думал он. - Проклятые грязные наемники!"

Матрос, которого он не знал, сказал ему дерзость, он оглянулся, ища палача Сванте Багге, и вспомнил, что тело профоса, наверное, уже догорает на "Короне". Тогда, чтобы скорее умереть, Юленшерна ударил матроса по лицу шпагой плашмя. Тот завизжал от боли, бросился на него с ножом. Шаутбенахт сделал короткий выпад, как в дни своей далекой молодости, и с трудом вытащил шпагу из груди наемника, не прикрытой панцырем.

Вытирая шпагу, он увидел, как борт о борт с фрегатом прошла яхта. Им удалось спастись - они уходили в море. Но через несколько мгновений он заметил, что из-за кустов лозняка, густо разросшихся на берегу Двины, одна за другой выходят лодки русских. На лодках были матросы с баграми, с лестницами, с короткими копьями. Они шли наперерез яхте, чтобы взять ее абордажным боем.

Юленшерна отвернулся. И тотчас же упал на скользкую от крови палубу, оглушенный, навзничь. А русское ядро, которое поразило его, еще долго крутилось и шипело рядом, толкая мертвых и раненых, - последнее ядро, которое русские выпустили по замолкнувшему фрегату.

3. ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!

Когда много часов тому назад головной шведский корабль с торчащими из портов пушками, с развевающимися флагами, с солдатами в кольчугах и медных шлемах, кренясь, под полными парусами показался на двинском фарватере, Таисья стояла на выносном валу крепости. Флагманский корабль, вырвавшись из пелены дождя, надвигался на

цитадель; Таисья, вытянув вперед тонкую шею, ждала. Сердце ее стучало громко, кровь отлила от лица. Всем своим существом она знала, что должно случиться какое-то удивительное событие, и в уме связывала это событие со своим вдруг исчезнувшим несколько дней назад мужем.

И событие произошло: ей не надо было объяснять, что случилось. И юность ее и годы девичества прошли на море. Кормщик, который с такой уверенностью вел огромный многопушечный корабль по двинскому стрежу, не мог ошибкою сесть на мель. Он мог сделать это только нарочно, намеренно, положив живот свой за други своя, и кормщиком этим был, несомненно, Рябов.

В те короткие мгновения, когда резная из черного дерева огромная дева над бушпритом флагмана поднялась в воздух, а все судно со скрипом и скрежетом накренилось, когда на шканцах затрещали выстрелы и началось сражение, Таисья сразу же поняла: свершен подвиг, и ее кормщик там, среди врагов. Страшно напрягая зрение, не слыша ни грохота пушек, ни свиста ядер, ничего не замечая, она смотрела на корабль, где, наверное, в эти минуты озверелые шведы мучали, терзали и убивали дорогого ей человека, человека, которого столько раз теряла и опять находила. Она все- аки еще надеялась, что он спасется, кинется с борта корабля в воду и поплывет к крепости, к ней, своей жене, к своему сыну...

Но время шло, кормщика же не было.

До боли в глазах вглядывалась Таисья в серые воды Двины, но видела в них лишь трупы шведов в зеленых кафтанах...

Потом, перевязывая раненых, подавая им воду и еду, помогая бабиньке Евдохе в ее милосердной работе, она ни на единое мгновение не забывала о своем страшном несчастье, но горе ее словно бы отдалялось, словно бы затихало, а сердце все более и более наполнялось чувством светлой гордости, когда слышала она разговоры увечных пушкарей, матросов и солдат о кормщике, которого силой вынудили вести эскадру, а он поставил ее под пушки крепости...

Имени кормщика многие еще не знали, но она-то знала твердо, что это -

ее Иван Савватеевич, и никому, однако же, не говорила, находя утешение своему горю в том, что раненые при ней гадали о судьбе отважного и верного долгу кормщика. С жадностью и с благодарным светом в глазах слушала она тех, которые предполагали, что кормщик вполне мог спастись. Один раненый пушкарь уверял, что даже видел сам, как некий человек на шканцах рубился топором, уходя от наседавшей на него толпы.

Сражение тянулось и тянулось, пушки палили, раненых и убитых становилось все больше и больше, а Таисья то надеялась, то переставала верить. Ей чудилось, что кормщик идет по крепостному валу и сейчас вот окликнет ее, назовет по имени. То казалось ей, что он зовет ее с берега, увечный, не может вынуться из воды и умирает на прибрежном песке. Тогда она терялась, смотрела неподвижно или вдруг бежала на вал, над которым свистели ядра, и опять долго, с тоской смотрела на двинские воды, на которых покачивались тела убитых шведов...

Когда Сильвестра Петровича ранило и солдаты принесли его на плаще под крепостную стену к бабиньке Евдохе, Таисья замерла от испуга, - показалось, что сейчас он скажет ей верную и страшную весть. Но он молчал. На бескровном лице его ярко блестели синие глаза. Она подала ему кружку с водой, он пригубил, вздохнул, взял Таисью за руку. Быть может, он не узнал ее, быть может, просто был в забытьи, когда сказал громко, твердо, ясно:

- Русского человека имя держать честно и грозно!

Таисья ничего не ответила, другие увечные подняли головы с соломы, вслушались. Капитан-командор опять замолчал надолго.

- Честно и грозно... - повторил молодой матрос шепотом.

Сильвестр Петрович услышал шепот, объяснил:

- В старину так говорилось: дабы во всем свете русского человека имя держать честно и грозно.

Бабинька Евдоха туго затянула ему ногу холстом, он еще немного полежал, кликнул своих солдат, они повели его обратно на воротную башню - командовать. Брови его были сурово сдвинуты, губы сжаты.

Таисья проводила его до лестницы, все надеялась услышать слово про кормщика. У ступенек он остановился отдышаться, сказал словно в споре:

- Крепость! Что - крепость? Человек - вот крепость истинная, непоборимая. Человек!

Таисья слушала затаив дыхание, ей казалось, что Сильвестр Петрович говорит о кормщике. И в самом деле он говорил о нем.

- Крепость! - повторил он, глубоко глядя Таисье в глаза. - Рябов, кормщик, - вот крепость, надежнее которой нет на земле. Он подвиг свершил. Ему обязаны мы многим в сей баталии, ему, да Крыкову покойному, Афанасию Петровичу, да еще таким же русским людям...

- Сильвестр Петрович! - воскликнула она. - Сильвестр Петрович!

Но к нему подошел Егорша Пустовойтов с вопросом о том, как выходить абордажным лодкам, и капитан-командор ушел с ним.

Поближе к вечеру Таисья узнала, что инженер Резен допрашивал пленных шведов, выплывших на двинский берег возле крепости. Мокрые, иззябшие, испуганные ожиданием смерти, они дрожа сидели под стеною, куда не падали ядра, дикими глазами смотрели на русских кузнецов, раскаляющих в горне круглые камни. Один - долговязый, с белыми волосами - был ранен в плечо и держал рану рукой; кровь стекала по его пальцам. Другой, тоже раненый, что-то пытался объяснить приставленному к нему караульщику, показывал на мушкет, потом себе на грудь.

- Стрелить себя просит! - объяснил матрос. - Не надо, мол, ему такой жизни...

- Ну и дурень! - крикнул караульщик. - Не надо. Нам по одной дадено, не по две. Одну стратит, другой не получит...

Таисья послушала, отыскала Резена, спросила у него несмело:

- Шведские люди про кормщика ничего не ведают, господин? Может, хоть слово сказали?

Резен не понял. Таисья рассказала подробно, он, утешая, дотронулся до ее руки:

- О, нет, нет, разве мы можем сказать, что убили? Его нет - это так, но это еще не значит, что он убит, это еще ничего не значит. Один, который был с ним, умер, это мы хорошо знаем, переводчик, он умер на Марковом острове. А лоцман - нет, про лоцмана еще не знаем...

Таисья не дыша смотрела на инженера. Он еще раз тронул ее руку:

- Все будет хорошо, да, да, капитан-командор послал искать, его ищут, лоцмана, его ищут солдаты, матросы, ищут все. Его найдут. Никогда не надо терять надежду...

4. РУССКИЙ ФЛАГ

Коптящий едкий дым полз по шканцам оставленного командой судна.

Юленшерна повернулся на бок, захрипел, сделал еще одно усилие и увидел над собою голубеющее северное неяркое небо, по которому бежали рваные облака.

Сколько прошло времени?

Может быть, тянулся все тот же бесконечный день, может быть, наступил новый?

Он напрягся, затих: ему показалось, что он слышит грохот канонады. Но было совсем не так: это на "Короне" - на палубах, у орудий - рвались картузы с порохом. Шаутбенахт вздохнул с облегчением: все-таки сражение еще не кончилось, судьба смилостивилась над ним, он умрет под гром своих пушек. И чтобы умереть с честью, как подобает адмиралу, он заставил себя повернуть голову - тогда он увидит шведский флаг на грот-мачте, синий флаг с золотым крестом, флаг, которому он прослужил всю свою длинную жизнь.

Но флага не было.

Вместо синего полотнища он увидел белую тряпку, которая развевалась на двинском ветру. Еще один удар судьбы, еще одно последнее унижение; проклятые наемники сдались и бежали с судна, им важнее всего было сохранить свои жизни, свои дрянные, никому не нужные жизни...

Задыхаясь от боли и ярости, коротко и хрипло дыша, собрав последние

силы, он пополз к мачте, чтобы попытаться сорвать эту позорную белую тряпку. Но сил не было, ползти он не мог. Он мог только уткнуться в палубный настил своим желтым старым лицом и лежать так неподвижно, призывая бога сжалиться и послать ему скорую смерть, которая все не шла, все медлила...

Он вновь потерял сознание и пришел в себя оттого, что кто-то ловкими и быстрыми движениями обыскивал его, шарил по его карманам. У него не было сил повернуться, но сильные руки перевернули его, и он увидел близко над собою смуглое, жесткое лицо боцмана дель Роблеса. Испанец, зажав подмышкой пистолет, грабил своего адмирала, и Юленшерна не удивился этому, он только попросил едва слышно:

- Убей же меня, скотина! Убей хоть сначала...

Но боцман выронил пистолет и попятился. И вновь потянулось время, бесконечное время.

Наверное, прошло еще много часов, прежде чем Юленшерна очнулся. Резко и близко трещали мушкеты и ружья. Ему стоило неимоверных усилий поднять голову. Своими желтыми немигающими глазами он долго смотрел на рослых людей в коротких куртках без рукавов, в вязаных шапках, смотрел, как они по-хозяйски ходили по шканцам, спускались в люки, заливали тлеющую корму и переговаривались друг с другом усталыми грубыми голосами воинов, победивших в сражении. И вдруг он понял, что на корабле русские, что корабль взят в плен и что судьба приготовила ему еще последний страшный удар - его возьмут в плен.

Словно в тумане, он видел неподалеку от себя тяжелые большие сапоги, видел, как к ногам русского моряка упала белая тряпка, видел, как русский привязывает к фалу полотнище трехцветного флага, такого же, как тот, что развевался на их крепости.

Вот что готовила ему судьба перед пленом: он должен еще увидеть, как на грот-мачте шведского военного фрегата взовьется русский флаг.

Нет, этого он не увидит. Довольно позора в его жизни. Хватит ему унижений.

Шепча ругательства запекшимися бескровными губами, он поднял

пистолет, уроненный испанским боцманом-грабителем, и стал целиться в того русского, который уже тянул флаг. Русский флаг, развеваемый двинским ветром, медленно поднимался на мачту. А Юленшерна целился, целился бесконечно долго.

Но выстрела он не услышал.

На полке пистолета не было пороха.

И никто из русских не услышал, как щелкнул курок.

Русские горячими глазами смотрели на грот-мачту, туда, где весело развевался на ветру огромный, новый, трехцветный флаг. И взрыв, который прогремел над Двиною - это надвое разломилась охваченная пламенем "Корона", - как бы салютовал победе русских и в то же время извещал шведов, что их командующий, шаутбенахт ярл Эрик Юленшерна отправился в последнее плавание, из которого никто никогда не возвращался.

5. ВИКТОРИЯ

Быстрым шагом Таисья пошла вдоль крепостной стены за церковь, где у калитки, окованной железом, стоял караульщик с мушкетом, толкнула калитку, ударила по железу тонкой рукой.

- Чего колотишь? - спросил караульщик. - Не велено туда ходить...

- Солдаты туда пошли с матросами! - сказала Таисья. - Кормщика искать, Рябова, того, что корабль шведский на мель посадил, а я ему - кормщику - женка, пусти за ради бога...

Караульщик дернул железный засов, калитка распахнулась, двинский ветер ударил Таисье в лицо. Здесь было кладбище, крепостной погост, на котором работные люди и трудники, согнанные царским указом со всех концов двинской земли, хоронили умерших на постройке цитадели. Под березовыми и сосновыми крестами, у ими же выстроенных стен, вечным сном спали каргопольские, кеврольские, мезенские каменщики, носаки, плотники, землекопы из Чаронды, пинежские, архангелогородские, холмогорские кузнецы. И странно было видеть нынче на этом погосте шведских матросов и солдат, спасшихся от смерти...

Их было тут много, они шли навстречу Таисье, под караулом монахов с алебардами, спотыкались о могильные холмики, стонали, падали, вновь поднимались - бледные, молчаливые, измученные...

У воды она остановилась, подумала - куда мог поплыть кормщик. И, ничего не решив, пошла вдоль реки, вглядываясь в волны, подходя к каждому мертвому, которого вода прибивала к берегу.

Она шла долго, ноги ее проваливались в глубокий прибрежный песок, вязли в болоте, голова порою начинала кружиться от усталости, но она непременно должна была обойти весь остров и сама, своими глазами увидеть всех мертвых.

У старой караулки Таисья остановилась, позвала:

- Ваня-я-я!

Сильный ее голос потонул в далеком грохоте пушек.

- Ваня-я-я! - громче позвала она.

Пушки теперь молчали, и в тишине она словно бы услышала ответный зов или стон.

Проваливаясь по колено в болоте, собрав все силы, она побежала к берегу, к кустам лозняка. На мгновение ей стало страшно, но она пересилила страх и раздвинула руками густые ветви лозы. Тут, на пнях, бревнах-плавунах и корневищах, наваленных течением реки, боком, неудобно лежал человек в коротком красном намокшем кафтане и пристально смотрел на нее серыми глазами...

- Не бойся! - сказал он твердым голосом. - Не бойся меня. Я не враг тебе - я русский, а не шведский человек. Помоги мне подняться и увидеть вашего начального офицера. Мне нужно торопиться, потому что силы меня оставляют, и весьма возможно, что я вскоре умру...

Таисья подошла к нему ближе, ступила на качающиеся плавуны, он вцепился в ее руку, но не смог встать и виновато улыбнулся, как улыбаются сильные и мужественные люди, убедившиеся в собственной слабости.

- Я потерял много крови, - словно извиняясь, сказал он. - Но ничего! Еще раз помоги мне...

Таисья опять протянула ему руку, он стиснул зубы и встал на ноги. Вместе они миновали топкий берег и взобрались на пригорок, но здесь силы совсем оставили его, и, застонав, он опустился на мокрую траву. Таисья стояла над ним, жалея, и не знала, что делать. Он коротко и часто дышал.

- Нет! - сказал незнакомец. - Так не будет. Ты пришлешь сюда сильных мужчин, которые в короткое время донесут меня до вашего начального офицера. Жив ли он - капитан-командор Иевлев?

Таисья кивнула.

- Жив, только раненый...

- Я тоже сейчас только раненный, - усмехнулся незнакомец, - но скоро могу быть и мертвым. Надо торопиться. Иди! И назови капитан-командору мое имя: Якоб, Яков по-вашему.

Она пошла, повинуясь силе, которая звучала в его голосе, повинуясь упрямому выражению его серых глаз.

В крепости, на валах, барабаны били отбой, весело, торжествующе, победно перекликались горны. Таисья спросила, что случилось, - бегущий мимо матрос крикнул диким, словно пьяным голосом:

- Виктория! Сдались шведские воры!

Таисья поднялась на воротную башню, - Иевлева там не было. Под тяжелыми тучами, опять набежавшими с моря, догорала корма "Короны". Нос корабля, оторванный взрывом, уже исчез под водою. А на всех других судах эскадры ветер развевал полотнища русских флагов, и было видно, что там уже хозяйничают русские матросы в своих вязаных шапках и коротких курточках - бострогах. По Двине же, к крепости и к полоненным кораблям, взад и вперед деловито и быстро сновали лодки, доставляли на суда русских матросов, а оттуда привозили раненых и сдавшихся шведов.

На валах, на башнях, у пушек молча стояли пушкари, не веря еще, что все кончено. Некоторые утирали пот и копоть с лиц, иные крестились, третьи протирали орудия и переговаривались друг с другом усталыми голосами. В раскрытые настежь крепостные ворота стрельцы вводили

пленных; шведы шли молча, опустив головы; сапоги их гремели по булыжникам.

Сильвестра Петровича Таисья нашла сидящим на лавке у крепостной церкви, он допрашивал пленного шведского офицера. Таисья наклонилась к Иевлеву, шепотом рассказала про человека в красном кафтане. Капитан-командор сначала не понял, переспросил, но тотчас же велел увести шведа и кликнул боцмана Семисадова. Тот пришел, стуча деревяшкой. Иевлев приказал ему собрать без промедления сюда, к церкви, матросов при палашах, солдат, стрельцов, барабанщиков, горнистов. Четыре человека с носилками бегом побежали, куда показала Таисья. Иевлев послал за лекарем Лофтусом, сказал ему по-немецки:

- Не знаю, какой вы лекарь, но приказываю вам применить все ваше искусство к тому человеку, которого сейчас принесут. Если вы спасете его, ваша судьба облегчится.

Лофтус поклонился низко, прижал растопыренные пальцы к груди. Матросы уже подходили, бережно и осторожно неся носилки. Сильвестр Петрович с трудом поднялся. В одной его руке была трость, другой он опирался на костыль. Трость он положил на лавку, свободной теперь рукой выбросил шпагу "на караул". Матросы с палашами у плеча, стрельцы с мушкетами, солдаты с ружьями - застыли, не понимая, кого они встречают с такими почестями. Иевлев тихо спросил:

- Якоб?

- Яков! - ответил человек в красном кафтане, приподнимаясь на носилках.

Сильвестр Петрович отсалютовал шпагой, горны и барабаны ударили генерал-марш. Якоб силился сесть, спутанные светлые его волосы свешивались на лоб, в глазах дрожали слезы. Иевлев наклонился к нему, заговорил тихо, сдерживая волнение:

- Здравствуй, друг добрый. Имел о тебе письмо от господина Измайлова. Нынче отдохнешь, завтра будем говорить обо всем долго. Ранен?

Якоб ответил спокойно:

- Предполагаю, что ранен смертельно. Сейчас хочу сказать лишь о том,

что имел честь видеть, как свершен был великий подвиг лоцманом, коего я узнал и душевно полюбил за непродолжительное время. Флагманский корабль "Корона" был посажен на мель сим достойнейшим кавалером на моих глазах. Шведские офицеры и матросы попытались тотчас же убить лоцмана, но он мужественно сопротивлялся и нанес немало ударов шведам своей сильной рукой, вооруженной топором. Ему удалось спрыгнуть с корабля в воды реки, и более я его не видел... Слава ему вовеки!

- Слава! - повторил Иевлев.

Матросы подняли носилки, понесли Якоба к избе Резена - только дом инженера не пострадал от шведских ядер. Марья Никитишна обняла Таисью за плечи, осталась с ней сидеть на лавке возле церкви. За носилками поспешал Лофтус, говорил слова утешения, сыпал учтивостями, хвастался своим искусством.

Впереди стучал деревяшкой Семисадов, покрикивал:

- А ну, с пути, православные! Сворачивай!

Стрельцы, пушкари, солдаты, монахи, крепостные трудники уже сошли с валов, оставили караулы, ворота, башни; толпились на плацу, отдыхали после ратной работы, закусывали под крепостными стенами, у разбитых и сгоревших изб и амбаров, на церковной паперти, перекликались:

- Эй, капрал, жив?

- Ничего, живой...

- А говорили - голову тебе оторвало.

- Моя пришита крепко...

Плац шумел, как ярмарка, солдаты уже выкатили из погребов бочки с водкой и медом, все громче делался смех, солонее шутки. Возле разрушенной ядрами крепостной бани пушкари угощали пленного шведского канонира водкой и сухарями. Он жадно пил и ел. Пушкари смеялись:

- Что, брат, взял Архангельский город?

- Женка, небось, плачет, убивается, а? Женатый?

- Он молодой, гулять к нам пришел, за богатством...

Швед кивал, глупо улыбался, счастливый, что жив, что теперь не убьют.

Монахи, подвыпив, пошли к Иевлеву просить не гнать их в монастырь. Сильвестр Петрович, положив раненую ногу на лавку, сидел возле погреба, где во время баталии прятал дочек и Рябовского Ванятку. Варсонофий поклонился, Иевлев спросил:

- А чего ж вы тут делать будете?

- Гулять, господин капитан-командор, будем малым делом...

- Во ангельском чине? - улыбаясь, спросил Иевлев.

Варсонофий разгладил солдатские усы, покашлял в кулак. Другие монахи тоже покашляли. Семисадов сказал:

- А что, Сильвестр Петрович, может, и оставим которых на цитадели...

За погребом сильные женские голоса завели песню, она понеслась над крепостным плацем, над валами, над башнями, над тихой Двиной - удалая, громкая, праздничная:

Бражка ты, бражка моя,

Хмельна бражка, остуженная,

Крепка бражка, рассоложенная...

В крепостных воротах с громом, яростно ударили барабаны, победно запели горны. Народ поднялся на ноги, толпа хлынула к дороге - смотреть, как несут знамена со шведских плененных кораблей. Стрельцы, солдаты, матросы, бросая шапки вверх, кричали:

- Слава!

- Любо!

- Ура-а-а!..

Толпа напирала, передние, взявшись за руки, не пускали тех, кто был позади, иначе бы народ смял все шествие. Барабаны били все громче, все ближе к Иевлеву. Он встал, держась рукою за стену погреба, дочки и Ванятка забрались ногами на лавку рядом с ним, горящими глазенками смотрели на Егоршу Пустовойтова, который со шпагой, вытянутой вперед, мерно шагал по булыжникам, бледный, с торжественно-суровым лицом. За ним в ряд шагали четыре барабанщика, за барабанщиками шли горнисты - играли сбор. Дальше шел единственный спасшийся

таможенный солдат Степан Смирной, обожженный, с рукою на перевязи, - нес кормовой флаг плененного корабля. За ним матросы, откинувшись назад, высоко выбрасывая ноги, несли флаги с других судов шведской эскадры - вымпелы, гюйсы, стеньговые флаги.

В двух шагах от Сильвестра Петровича Егорша остановился, ударил каблуками, поднял шпагу выше головы, сказал срывающимся, но громким голосом:

- Господин капитан-командор! Флаги с полоненных шведских кораблей, в честном сражении нами отбитые - гюйсы, вымпелы, малые прапорцы, - доставлены в Новодвинскую цитадель, в ваши руки, как вы есть старший морской начальник и над крепостью командир!

У Иевлева дрогнуло лицо. Коротким точным жестом он показал перед собою на булыжники:

- Стелить здесь!

Таможенник Смирной широко взмахнул древком, синее с золотом полотнище кормового флага, морщась в складки, легло на камни. Матросы вышли вперед, кинули на булыжник гюйсы, прапорцы, вымпелы. Сильвестр Петрович, сдвинув брови, четко приказал Семисадову:

- Возьми Ванятку, боцман!

Семисадов взял маленького Рябова на руки, пригладил ему волосы шершавой мозолистой ладонью, вопросительно взглянул на Иевлева. Сильвестр Петрович кивнул на флаги, устилающие землю. Боцман, догадавшись, шагнул вперед, сильными руками высоко держа Ванятку, словно бы показал его народу; потом одним движением поставил мальчика крепкими ножками, обутыми в сапожки с подковками, на синий шелк флагов, вымпелов, гюйсов. Толпа вздохнула единым счастливым вздохом, рыбацкие вдовы и женки, матери и сестры, утирая слезы, тянули шеи - увидеть сироту; мужики, солдаты, матросы закричали, заговорили все разом:

- Слава!

- Любо!

- Рябовский мальчонка!

- Любо нам, любо! Так делаешь, капитан-командор!

- Что на мель корабль посадил - того сирота!

- Добро ему.

Народ шумел, словно море в штормовую погоду, напирал на матросов, что окружили шведские флаги, голоса делались все громче, все мощнее.

- Любо то, любо!

- Слава!

Ванятка постоял на шелках, застеснялся, огляделся, будто привыкая, потом, не зная, куда девать руки, сунул их за вышитый поясок испачканной на пожаре рубашки и пошел по флагам, по синему с золотом шелку, пошел к тем, кто бился весь нынешний день со шведом, - к закопченным усталым пушкарям, к матросам, что вели брандеры на вражеские суда, к землекопам, кузнецам и плотникам, которые построили крепость и сражались наравне с воинскими людьми. Чьи-то дюжие руки еще раз подняли Ванятку над головами, чей-то радостный голос крикнул:

- Вот он, Рябов Иван сын Иванович! Слава!

- Слава! - подхватил народ.

- Честно и грозно во веки веков! - беззвучно, одними губами прошептал капитан-командор. - Во веки веков!

За его спиною плакала, не утирая слез, Таисья.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ШТАНДАРТ ЧЕТЫРЕХ МОРЕЙ

Мой кров - стал небо голубое,
Корабль - стал родина моя...
Лермонтов

Царю из-за тына не видать.
Пословица

Быть делу так, как пометил дьяк.
Поговорка

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. С ДОНЕСЕНИЕМ В МОСКВУ

В избе Резена Сильвестр Петрович велел подать себе чернила, перо и бумагу и сел за стол - писать письмо царю, но едва вывел царский титул, как пришел инженер и сказал, что есть новая, добрая весть. За Резеном виднелся тот самый востроносенький сержант прапорщика Ходыченкова, который недавно просил у капитан-командора медную пушечку для солдат, стоящих на порубежной заставе.

- Что за добрая весть? - измученным голосом спросил Иевлев.

Сержант ступил вперед, рассказал, что шведский рейтарский отряд давеча напал на Кондушскую порубежную заставу, дабы прорваться на Олонец. Но прапорщик Ходыченков к сему воровству был готов, спал все нынешнее время вполглаза, народ на заставе - не прост, шведов порубили крепко. Из тысячи человек живыми ушли не более трехсот, остальные похоронены близ валуна именем Колдун. Хоронили два дни, оружия получили много: и фузеи, и шпаги, и пушки.

- И твою, господин капитан-командор, в целости доставил обратно! - заключил сержант.

Иевлев поздравил сержанта с викторией и, велев его поить и кормить сытно, опять принялся за письмо. Вначале он думал в подробностях описать всю картину боя, но вдруг почувствовал такую слабость, что едва не свалился с лавки: в ушах вдруг тонко запели флейточки, перед глазами с несносным зудением промчались сонмы мух, перо выпало из пальцев...

- Попить бы! - попросил Иевлев.

Егорша подал в кружке воды, Сильвестр Петрович пригубил, закрыл глаза, строго-настрого приказал себе: "Пиши немедля. Дальше хуже будет!"

И коротко, без единого лишнего слова, написал царю, что шведы разбиты наголову, корабли взяты в плен, Архангельску более опасность не угрожает. Во всем письме было семь строк.

- Мне и ехать? - спросил Егорша.

- Тебе, дружок, - утирая потное лицо и морщась от мучительной боли в раненой ноге, ответил Иевлев. - Пойдем к Марье Никитишне, она и денег даст - путь не близкий. Коли коня загонишь - покупай другого, мчись духом. Возьми со двора на цитадели чиненое шведское ядро - привезешь государю сувенир...

Он еще отпил воды, собираясь с мыслями, тревожась, чтобы не забыть главное. Егорша ждал молча.

- Еще вот: по пути в Холмогорах перво-наперво посети ты преосвященного Афанасия. Старик немощен, небось в ожидании истомился. Ему все расскажи доподлинно, пусть порадуется. Пожалуй, и к воеводе наведайся. В сии добрые часы о позоре давешнем поминать не след. Миновало - и бог с ним!

- Что он за позор? - спросил Егорша.

Иевлев строго на него взглянул, не ответил.

- Как князь-то испужался? - вспомнил Пустовойтов. - Об сем, что ли?

- Не твоего разума дело! - отрезал Иевлев. - После владыки поспешишь к воеводе князю Алексею Петровичу. Его обходить невместно нам. Со всем почтением боярина Прозоровского с великой викторией поздравишь. Коли пожелает, пусть и он государю отпишет - по чину. Да ты слушаешь ли?

- Слушаю! - угрюмо ответил Егорша.

Он взял запечатанное воском письмо, завернул в платок. Сильвестр Петрович покачал головой:

- А и грязен ты, Егор. И грязен, и изорвался весь...

- То копоть пороховая! - обиженным голосом молвил Егорша. - А кафтана другого нет, что на мне одет - самый наилучший...

- Мое-то все погорело! - сказал Иевлев и велел Резену дать Егорше во что переодеться. Инженер вынул из сундука красивый кафтан, короткие штаны, добротный плащ.

Егорша вышел из резеновскон избы, оглядел плащ, забежал к Марии Никитишне за деньгами, зашагал к причалу. Молоденький матрос положил ему в карбас чиненое шведское ядро. Карбас отвалил от

крепости. У Егорши толчками, сильно билось сердце, ему было жарко, хотелось рассказать всем, что нынче же едет на Москву к самому государю Петру Алексеевичу - везет донесение о виктории над шведами. Но говорить не следовало...

Архангельск встретил Егоршу веселым перезвоном колоколов, - колокола на звонницах остались маленькие, звонили тоненько, от этого звона на сердце стало совсем хорошо. Всюду - в улицах и переулках, на Воскресенской пристани, возле Гостиного двора - сновали посадские, еще с ножами, с пищалями, с мушкетами - шли отдыхать. По Двине на веслах один за другим двигались карбасы и лодьи тех промышленников, что сидели в засадах, назначенных покойным Крыковым. Охотников встречали женки с пирогами, со штофами, целовались с мужьями, кланялись им. А возле пушек галдели беловолосые мальчишки, похлопывали по стволам, пытались поднять тяжелые банники, пугали:

- Как пальну!

Коня Егорша взял из конюшни Семиградной избы, сел в седло, приторочил к нему ядро, подскакал к рогатке. Караульщики, узнав Пустовойтова, спросили, по какой надобности отъезжает из города. Здесь Егорша не выдержал, сказал словно невзначай:

- К Москве - от капитан-командора с донесением государю об виктории.

Караульщик постарше снял шапку.

- Ну, давай бог! Может, и наградит тебя царь-батюшка. В старопрежние времена так-то бывало: который весть добрую привезет - тому награждение, а который чего похуже, того и за караул...

Другие караульщики засмеялись:

- За караул? Больно, брат, славно: тут покруче берут...

- Да уж башку оттяпают...

- И на рожон вденут...

Старик вздохнул:

- Оно так: близ царя - близ смерти. Поди знай-угадай! Ну, да у Егорши дело верное. Еще бывает спросит царь - чего тебе за добрую твою весть надобно. Тут, Егор, враз отвечать поспешай. Ежели помедлил - с таком

останешься. Знаешь, чего спрашивать-то?

- Знаю! - твердо ответил Егор.

- Ты полцарства спрашивай! - сказал издали белобрысый караульщик. - Полцарства, да к ему царевну впридачу...

- Зубоскалы! - молвил старик. - Не царевну ему бы, а корову да овец во двор. Изба-то вовсе, я чай, прохудилась...

Караульщики со смехом подняли шест, Егор выехал из Архангельска. И тотчас же в воображении своем он увидел себя не в густом придвинском бору, а на Москве, в государевых покоях. Вот идет к нему навстречу государь Петр Алексеевич, читает донесение, целует Егора и спрашивает, чем его наградить. А Егор отвечает:

- Определи меня, господин бомбардир, в навигацкое училище, что в Сухаревой башне. Буду я учиться со всем старанием и прилежанием и стану капитаном большого пятидесятипушечного корабля...

Бьют барабаны, трубят рога, и Егорша на коне въезжает в навигацкое училище... Огромные сосны стоят в навигацкой школе, не слышно людских голосов, не видно учеников... Ах, вот оно что! Это не школа. Это бор, - не доехал Егорша до навигацкой школы. Задремал в пути с усталости. Но ничего, он доедет. Непременно доедет...

На рассвете Егорша добрался до Холмогор. Подворье владыки Афанасия удивило его невиданным безлюдьем: словно вымерли многочисленные службы, над архиерейской поварней не видно было дыма, по двору не сновали, как всегда, иподиаконы, хлебные, сытенные, рыбные старцы, мастера-золотописцы, серебряники, свечники, раскормленные архиерейские певчие...

- Что у вас поделалось? - спросил Егорша бледного, с очами, опущенными долу, келейника.

- Что обезлюдели?

- Ни души не видать-то...

- Владыко всех к Архангельску отослали - свейского воинского человека бить. Сами, из своих ручек протозаны раздавали, алебарды, сабли, мушкеты, сами здесь учение во дворе делали. Сотником над ними пошел

ризничий наш отец Макарий...

Егорше стало смешно, но он сдержался, не показал виду, только утер рот ладонью. Келейник быстрым шагом сходил в покои, вернулся, сказал:

- Ждет тебя владыко!

Афанасий стоял в своей опочивальне, держась худой рукой за изножье кровати. Он был в исподней длинной белой рубахе, с колпачком на седых волосах, худой, неузнаваемо изменившийся за эти дни.

- Ну? - крикнул он. - Что молчишь? Язык отсох?

- Виктория! - полным, глубоким голосом возвестил Егорша. - Наголову разбит швед. Кончен вор!

Владыко всхлипнул, хотел что-то сказать и не смог. Долго длилось молчание. Егорша подумал, что Афанасий опустится сейчас на колени и начнет творить молитву, но старик, вместо молитвы, вдруг поклонился и сказал:

- Спасибо тебе, внучек. Теперь и помирать способнее станет. Хвораю - старость одолела, давеча собрался к вам на цитадель, да силенок не хватило.

И стал выспрашивать о подробностях сражения, да так толково, что Егорша подивился - можно было подумать, что владыко в старопрежние времена воевал. А когда Егорша, прилично к месту и к сану Афанасия, рассказал, что шведов побито порядком и тела их до сих пор плывут по Двине, Афанасий без всякого смирения в голосе ругнулся:

- Ну и так их перетак! Звали мы их к Архангельску, волчьих детей?

Погодя спросил:

- Воеводу оповестил о виктории?

- Сейчас к нему буду! - отозвался Егорша.

- Умно! Не для чего с ним ныне собачиться. Вреден, пес, многие пакости способен свершить, крепкую руку на самом верху имеет. Паситесь его, детушки, срамословца окаянного, сквернавца, доносителя...

Егорша с изумлением взглянул на Афанасия - что о князь-воеводе говорит. Тот, словно догадавшись о мыслях Егора, пояснил:

- Опасаюсь, детушка, доброты капитан-командора. Горяч он и добер

невместно. Ныне с великой викторией на прошлое дурное махнет рукой, а сии змии, небось, не позабудут, зубами и поныне скрыпят. Засели, поганцы, здесь в Холмогорах - и дьяки все трое, и думный дворянин, анафема, и сам тать-воевода, еще с офицером неким беглым. Прозоровский будто денно и нощно зелено вино трескает, до горячечных видений допился. Сей ночью бос и наг по двору метался, срамоты на всю округу. Для того о сем сказываю, чтобы берегся ты у него в хоромах...

- Да как берегтись-то? - недоуменно спросил Егорша.

- Потише будь, поклонись пониже, шея не сломается... Ну, иди, внучек, иди, детушка, утомился я, лягу. Иди с богом...

Он благословил Егоршу, лег. Егорша вышел. Келейник проводил его до калитки, прошептал скорбно:

- Совсем слабенек наш дедуня. Ох, господи!

У дома воеводы попрежнему прохаживались караульщики, назначенные Сильвестром Петровичем. Полусотский кинулся навстречу Егорше, тот, сидя в седле, коротко рассказал про одержанную над шведами победу. Солдаты сбились вокруг Егорши, жадно выспрашивали, он отвечал с подробностями, как села на мель флагманская "Корона", как в корму ее ударил фрегат, как вышли брандеры, как абордажем пленили яхту. Полусотский спросил:

- Может, и нам к Архангельску идти? Чего тут более делать? Воеводу, я чай, никто нынче не обидит, кончен швед.

- Все недужен князь? - спросил Егорша.

- Спился вовсе! - смеясь, ответил полусотский. - Давеча на крышу влез - кукарекал. Смотреть, и то срамота...

- Что ж, идите! - сказал Егорша. - И впрямь делать тут более нечего. Свита воеводская при нем: кто его тронет?

Он спешился, постучал хлыстом в ворота.

На крыльце боярского дома Егорша почти столкнулся с Мехоношиным. Тот отступил в сени. Егорша побледнел, крепче сжал в руке хлыст, раздельно сказал:

- Вот ты где, господин поручик.

- А где мне быть? - тоже побледнев, спросил Мехоношин.
- Будто не знаешь?
- Не знаю, научи! Позабыл что-то...
- Ужо, как вешать поведут - вспомнишь!
- Меня вешать?
Егорша, не отвечая, вошел в сени, властно отворил дверь. Навстречу, мягко ступая, кинулся дьяк Гусев, зашептал, дыша чесноком:
- Почивает еще князь-воевода! Немощен... Столь велики недуги...
- Буди! - приказал Егорша. - Недосуг мне.
- Никак не велено! - кланяясь повторял дьяк. - Строг, на руку скор...
- Ждать мне нельзя! - сказал Егорша. - Еду к Москве с донесением государю...
Дьяк испугался, побежал по скрипучим половицам - к воеводе. Егорша сел на лавку, задумался. Через покой широким шагом, словно не замечая Егоршу, прошел Мехоношин. Хлопнула одна дверь, потом другая. Сверху, с лестницы на Егоршу смотрели старые девки-княжны, осуждали, что-де не кланяется, не спрашивает про здоровье. Недоросль Бориска подошел поближе, заложил руки за спину, осведомился:
- Верно, будто викторию одержали?
- А тебе что? - грубо спросил Егорша.
- А мне то, что я воеводы сын! - выпятился недоросль.
- Таракан ты запечный, а не воеводы сын! - ответил Пустовойтов. - Постыдился бы спрашивать.
Старые девки зашептались, укоряли Егоршу, что-де не знает шевальерства, не обучен плезиру, небось, как прочие иевлевские, - портомоин сын. Егорша сидел, глядя в сторону, поколачивая хлыстом по ноге.
В доме все время слышалось движение, бегали слуги, носили воеводе моченую клюкву, рассол, тертый хрен, пиво - опохмелиться. Сверху иногда доносилось грозное рычание, уговаривающий голос Мехоношина. За спиною у Егорши скрипели двери, половицы, перемигивалась дворня. Казалось, что вся боярская челядь о чем-то сговаривается. Егорше

надоело, он сказал старушке карлице:

- Ты, бабка, скачи быстрее, сколько мне ждать?

Карлица завизжала мужским голосом, перекувырнулась через голову, пропала в сумерках воеводского пыльного дома. Тотчас же пришел думный дворянин Ларионов, без поклона, сурово, словно арестанта, повел Егоршу по ступеням наверх в горницу. Воевода сидел отвалившись в креслах, лицо у него было серое, опухшее, глаза едва глядели, лоб повязан полотенцем с тертым хреном. Думный Ларионов сел на лавку, вперил в Егоршу острые глазки, стал качать ногою в мягком сафьяновом сапожке. За спиною воеводы покусывал губы поручик Мехоношин. Подалее перешептывались дьяки. Егорша поклонился Прозоровскому, передал, что было велено Сильвестром Петровичем. Воевода неверным голосом, плохо ворочая языком, спросил:

- Иевлев твой да Крыков - дружки?

- Как - дружки? - не понял Егор.

- Одного поля ягода?

Мехоношин все облизывался, все покусывал губы, слушал, пряча взгляд. Ларионов покачивал ногою, смотрел исподлобья, словно бы к чему-то готовясь.

- Рябов да Крыков дружки, - продолжал воевода, - то мне ведомо. Крыков с капитан-командором, небось, тоже прелестные листы читали, одним миром воры мазаны, одно скаредное, подлое дело затеяли...

Егорша, напрягшись, побелев, прервал воеводу:

- Сии поносные слова, князь-воевода, мне слушать непереносно. Я по делу на Москву послан и должен там быть без всякого промедления...

- Ты?

- Я, князь-воевода!

- А ты какого роду-звания?

Егор, насупившись, чувствуя беду, ответил, что роду он простого. Тогда тонким голосом, словно читая по книге, думный дворянин сказал, что негоже ему, смерду, мужицкому сыну ехать пред светлые государевы очи. Поедет к Москве иной человек, дворянского роду, а Егорше

приказано от воеводы сидеть здесь, в Холмогорах. Егорша вспыхнул, закричал, что ему велено отбыть самим капитан-командором. Тогда вперед вышел Мехоношин, прищурился:

- Подай-ка письмо!

- Тебе?

- Мне!

- А ты кто таков здесь есть?

- Таков, что тебе мой приказ - в закон!

Воевода что-то замычал, тоже протянул руку за письмом... Егорша, плохо соображая, трясясь от бешенства, выбежал во двор - к коновязи. Вороного его жеребца здесь не было.

Какие-то слуги в однорядках, жирные, здоровые, косматые, играли возле коновязи в зернь. Ругаясь, Егорша спросил, где его жеребец, куда воры свели коня, для чего делают не по-хорошему? Слуги, пересмеиваясь, не отвечали. Тогда он схватил самого здорового за ворот, тряхнул, поставил перед собою, но тотчас же сзади его ударили под колени, и он упал навзничь - в гущу челяди. Несколько слуг навалилось ему на грудь, другие на ноги. Он потерял сознание.

- Полегче, полегче! - сказал Мехоношин. - Досмерти-то и не для чего. Бери, кидай в яму, где Лонгинов скучает, вдвоем повеселее им будет.

Слуги взяли Егоршу за ноги и за руки, понесли в сад; тут под дубочком была вырыта яма с крышкою из железных полос. У ямы Егоршу положили на землю. Мехоношин наклонился над ним, поискал в его карманах, нашел письмо Сильвестра Петровича к царю и возвратился к воеводе. Прозоровский стоял у окна, охал, сгонял с пива пену, пил маленькими глотками.

- Теперь нам обратного пути нет, князь! - сказал Мехоношин. - Начали дело, надо, не робея, до конца делать...

- Беды как бы не было! - прижимая рукою полотенце ко лбу, заохал Прозоровский. - Смело больно начали, пропадем, поручик...

- Хуже не будет! - со значением произнес Мехоношин. - А коли с умом делать - ничего и не откроется. Поеду я сам к Москве, все великому

государю поведаю о тебе на первом месте. Нам самим об нас и думать, другие-то не помогут.

Прозоровский сел на лавку, запричитал:

- Голова моя кругом пошла, все вертится, ей-ей, свет не мил...

- Пить нынче надо поменее! - твердо сказал Ларионов. - Не шуточное дело затеяли, думать тебе немало об том деле, князь... Полки идут сверху, - может, те полки тебе еще и послужат. Припоздали со шведом драться - то тебе, князь, наруку. Да перестань ты охать, иначе я и толковать более не стану, как об стенку горохом...

Прозоровский испугался, схватил думного дворянина за руку:

- Ты меня не оставляй. Я по-твоему, по-твоему, миленький! Все сделаю, все, что присоветуешь. Не серчай, голубь. Сядь со мною. Мне бы водочки, винца гданского самую малость, голову прочистить. Болит, разламывается...

Мехоношин громко, словно хозяин в доме, кликнул слугу, тот принес водки, поручик сам налил воеводе. Князь опохмелился, велел читать иевлевское письмо царю. В письме ни слова не было ни о Мехоношине, ни о воеводе, ни о Ларионове.

- Может, тайно написано? - спросил Прозоровский. - Есть такие чернила, ничего не видать, а погреешь на свече - проступят слова. То тайнопись, знаю, слыхал. Погрей на огоньке...

Ларионов погрел на свече, тайные буквы не проступили. Воевода сам взял бумагу, повертел, понюхал, - все еще не верилось, что в письме нет доноса на него. Взявшись за голову, Прозоровский завопил:

- Для чего так сделали? Он обо мне и не пишет худого! Теперь пропадем, - гонца повязали, для чего так по-глупому...

Вопя, ругаясь, он застучал на Мехоношина с Ларионовым кулаком. Думный дворянин поднялся с места, цыкнул, как на собаку:

- Цыть! На все Холмогоры шум поднял! Нет об нас в письме? Да гонец бы все словами пересказал, для того и послан, ужели не догадаться тебе, воевода? Раскудахтался! Тут дело хитрое, думать надо, как от сего Иевлева отбиться...

- Вот и я тоже... Как?

- Помолчи. Слушай, что сказывать стану. Али я тебе про Крыкова да про сего Сильвестра даром давеча говорил? Надобно Иевлева накрепко к сему государеву преступнику привязать, - добро, что тот помер и голоса подать не может. Надобно, чтобы оба они стали государю лютыми ворогами. Ты на том стой крепко - он тебе поверит, с самого Азова верит, ты ему верный слуга, добрый раб, а про Сильвестра что он знает? По Иевлеву надобно насмерть бить. Егора-гонца схватили - добро! Он молод: как его Поздюнин на пытке взденет - все, что нам надобно, скажет. Государю те пытошные листы с гонцом и пошлем. А покуда сами напишем, что Крыков показал, мало ли как оно было, мертвый-то нам не помеха. Ты, князь-воевода, сиди тихо, помалкивай, мы с господином поручиком все как надо сделаем, по-доброму будет... Садись, поручик, хлопотное нам время настало, давай побеседуем, с чего начинать...

Мехоношин сел, налил себе водки, выпил. Думный Ларионов говорил ровным, твердым голосом. Князь слушал его молча, моргая, крестился, вздыхал...

2. НЕ НАШЛИ КОРМЩИКА...

Трудники и работные люди с Маркова острова осторожно оттолкнули лодку с пологого берега. Молчан и другой незнакомый мужик налегли на весла, суденышко с телом Митеньки спокойно пошло по тихой, гладкой Двине.

Таисья поправила саван, которым покрыт был Митенька, посмотрела в его строгое лицо. Молчан негромко спросил:

- Мужем тебе был Иван Савватеевич?

- Мужем.

- Знал я его. Вместе корабли на Соломбале строили.

- Давно то было.

- Давно. Нахлебались там лиха. И он, покойничек Митрий, с нами трудился. Сколь годов миновало, а все помнится...

Сильно навалившись на весла, Молчан из-под суровых мохнатых бровей

посмотрел на Таисью и сказал глухо:

- Может, и лучше для Митрия-то, что помер.

- Лучше? - удивилась Таисья.

- А ты думаешь - помирится воевода на том, что кормщик твой да толмач Горожанин город спасли, когда он, воевода-князь, в Холмогорах затаился?

Таисья не ответила.

- Вишь, как! - сказал Молчан. - И говорить тебе нечего. Я давеча со своим народишком мужа твоего берегом искал да все думал: ну отыщется, как тогда делать? Мы-то ведаем: задумал воевода худое, посадил у себя в Холмогорах тайно за караул кормщика Лонгинова, и того Лонгинова отвез ему поручик Мехоношин, иуда! А женка Лонгинова, Ефимия, баба смекалистая, к мужику своему пробилась, он ей к поведал, для чего держат: дьяк пишет со слов его, как Рябова Ивана сына Савватеева да толмача Митрия Горожанина на свейском воинском корабле Лонгинов видел и как они бежать с корабля не хотели...

- О, господи! - ужаснулась Таисья.

- То-то, что господи! На бога только и надейся, он поможет... Дождешься!

И рассказал:

- Давеча кинулись на наш Марков остров шведы с мушкетами, с ружьями, с саблями, многолюдны, злы - чисто бешеные волки! А у нас чего? Кулак да топор! Мы кто такие? Мы беглые, рваные ноздри, рубленые пальцы, нас и за людей не чтут. А кабы не мы - те воры сбили бы пушки, пушкарям- о с ними никак не совладать! Мы не допустили! Долго дрались - порубили шведа. Теперь мужики на острову толкуют: уходить не станем, выйдет нам милость, капитан-командор отпустит нас за нашу кровь пролитую, будем люди вольные, простят. Я отвечаю: "Мужики, мужики, какая вам милость выйдет, вы беглые холопи, вы от своего боярина ушли, вас князь ищет, чего ждать нынче? Свое дело сделали, шведов порубили. Пока шум да гулянка, тут нам самое время в леса подаваться. И еще дело такое - мушкеты от шведа забрали, ружья, пули, порох, - есть с чем уходить!" Нет, не верят мне. Сидят, дожидаются,

милости им надо...

Он скрипнул зубами, сказал со злобой:

- Дождутся, пока воевода солдат пригонит - нас в узилище забирать. Знаем, как оно бывает. Не впервой милости ждем...

От крепостных ворот, увидев лодку, побежали дозорные. Аггей Пустовойтов поставил матросов, они вздели мушкеты на караул. В крепостной церквушке уныло ударил колокол. Лодка скрипнула бортом о пристань, ее подтянули баграми, народ на берегу закрестился, скинул шапки, послышались голоса:

- Митрий-толмач...

- Молодешенек - вовсе дитя...

- А с ним кормщикова вдова...

- Его-то не нашли...

Аггей Пустовойтов протянул Таисье руку, она вышла на берег. Инженер Резен сказал ей:

- Господин капитан-командор еще послал отряды, чтоб искали по всему берегу - и выше и ниже крепости. Не надо отчаиваться.

Таисья молчала. Гроб с телом Митеньки под звон колокола понесли в церковь, туда, где отпевали других погибших в сражении. Как во сне, ни о чем не думая, ничего не понимая, едва переставляя ноги, Таисья вошла в крепостные ворота, постояла на плацу, опять пошла к дому Резена...

3. ЛОФТУС, РИПЛЕЙ И ЗВЕНБРЕГ

Возле крыльца, сложив руки за спиною, прогуливался подвыпивший краснорожий, с желтой гривой волос пушечный мастер Риплей. Наконец из дому вышел Лофтус. Риплей громко спросил:

- Как состояние больного?

- К моему сожалению, он очень плох! - сказал Лофтус. - Его раны смертельны. Но будем надеяться на милость божью.

Лекарь взял пушечного мастера под руку, прошелся с ним, сказал шепотом:

- Я подозреваю, что сей раненый и есть тот человек, которого с таким

усердием искал в Стокгольме королевский прокурор Аксель Спарре.

- Он - русский?

- Несомненно. Но мы должны говорить иначе...

Оглядываясь, он опять зашептал на ухо Риплею. Пушечный мастер внимательно слушал.

- Но выпустит ли? - спросил он.

Лофтус опять зашептал. Риплей остановился, задумался.

- Смелый план! - сказал он.

Вдвоем они отыскали Звенбрега.

- Это наруку воеводе! - шептал Лофтус. - Что же касается до возможных неприятных последствий, то мы не станем их ждать. Вместе с негоциантскими кораблями, которые скоро снимутся с якорей, мы покинем негостеприимную Московию. Нам есть на что обидеться, не правда ли?

Риплей ответил сердито:

- А мои деньги? Кто мне отдаст мои деньги? Я немало здесь заработал, я должен получить свое!

- Сэр, вы заработали виселицу, если говорить откровенно! - сказал Лофтус. - Я знаю много про вас и не советую вам дорожиться. Вы служили и Швеции и Англии, но меньше всего русским. Впрочем, воевода охотно и сполна расплатится с вами, если, конечно, наш план удастся. Звенбрег тоже одобрил план Лофтуса и присовокупил от себя, что взаимоотношения воеводы и капитан-командора нынче напряжены до крайности, так как, несмотря на все торжество полной победы, воевода до сих пор не прибыл на цитадель.

- И это нам тоже наруку! - сказал Лофтус. - Надо действовать возможно скорее...

Втроем они вернулись к избе Резена, и пушечный мастер попросил караульщика вызвать на крыльцо капитан-командора. Сильвестр Петрович долго не шел, потом появился, ведомый под руку матросом. Его лицо совсем посерело, было видно, что он измучен. Увидев Иевлева, Риплей тотчас же заговорил добродушно-угрожающим, раскатистым

голосом.

- Сэр! - сказал он. - Разумеется, мы в вашей власти, но мне хотелось бы напомнить вам, что сражение закончено и более ничто не угрожает спокойствию и благополучию прекрасного города Архангельска. Вы подозревали нас в сношениях с противником, вы долгое время продержали нас в заточении, это заточение кончилось для одного из нас прискорбно: инженер Георг Лебаниус, венецианец, скончался от ожогов. Надеюсь, вы разделяете наше горе. То, что мы невиновны, доказано нашим поведением во время баталии: вы сами изволили видеть - впрочем, видели это и многие другие, - как мы палили из пушек по нашему общему врагу и делали это не хуже ваших пушкарей...

- Вы слишком длинно говорите, сэр! - устало перебил Иевлев. - Что вам угодно от меня?

- Нам угодно от вас, - совсем уже наглым тоном ответил Риплей, - нам угодно от вас только одного: освобождения! Мы не желаем более пребывать здесь жертвами ваших нелепых подозрений. Дайте нам судно, которое доставит нас в Архангельск, дабы мы могли наконец вымыться, поесть и почувствовать себя теми, кем нам назначено быть от всевышнего бога...

Иевлев молчал, глядя то на пушечного мастера, то на Лофтуса, то на Звенбрега.

- Что ж, - наконец произнес он по-английски. - Вы все это недурно придумали. Как послушаешь, то и впрямь станет вас жалко. Невинные страдальцы, да и только. Вот вы какие, и по шведу из пушек палили, чем не герои? Молодцы ребята, славно постарались. Да только все-таки придется вам малое время еще на цитадели побыть. Нынче недосуг, а завтра потолкуем с подробностями.

Он отвернулся и велел матросу увести себя обратно в избу.

- Ну? - спросил Риплей.

- Мы уйдем ночью сами! - сказал Лофтус. - Не думаю, чтобы это было так трудно. Победители веселятся, они нам не слишком помешают... Впрочем, есть еще один способ...

И лекарь Лофтус обратился к матросу, стоящему на крыльце.

- Вот что, любезный мой друг! - сказал он ласково. - Сейчас, как ты сам слышал, господин капитан-командор был так добр, что разрешил нам взять его лодью, дабы добраться до города. Он говорил по-английски, ты, должно быть, не понял? Сбегай к людям, которые дежурят на лодье, и передай им слова господина капитан-командора.

Матрос подумал и вернулся в избу. Риплей выругался.

- Вы болван, Лофтус! - сказал он. - Сейчас мы пропадем...

В горнице Сильвестр Петрович сидел неподвижно, склонившись над человеком в красном кафтане. Тот что-то рассказывал ему вполголоса. Капитан-командор слушал внимательно.

Матрос кашлянул.

Сильвестр Петрович обернулся к нему.

- Лодью там толкуют, господин капитан-командор, до города чтобы на твоей отправиться, - сказал матрос. - Будто ты велел...

- Ну, велел - так и дать лодью! - размышляя о постороннем, ответил Иевлев, - что по десять раз об одном толковать...

Матрос вышел.

- Мы, я надеюсь, можем отправляться? - уверенным басом спросил Риплей. - Что приказал господин капитан-командор?

- Отправляйтесь! - ответил матрос.

- Тогда проводи нас, человек! - распорядился Риплей. - Не то опять придется утруждать беспокойством господина Иевлева...

Матрос проводил иноземцев до караульни и передал именем капитан-командора приказание отпустить всех троих на карбасе Иевлева в город.

Когда суденышко отвалило от крепости, Лофтус произнес со вздохом:

- Порою приходится рисковать, ничего не поделаешь! Но теперь-то мы в безопасности, чего нельзя сказать о господине Иевлеве.

- Ему придется скверно! - подтвердил Звенбрег.

- Мы об этом позаботимся! - добавил пушечный мастер Риплей. - Он долго нас не забудет!

По тихим двинским водам карбас на веслах быстро скользил к городу.

4. РЕМЕЗОВ И НОБЛ

Два стрелецких полка, посланные по московскому указу из Ярославля и Костромы, через Вологду, к Архангельску по Двине на стругах, запоздали и подошли к Холмогорам через день после разгрома шведов на Новодвинской цитадели.

Драгунский поручик встретил командиров обоих полков на пристани и, сквернословя, повел их к воеводе. Полковник Вильгельм Нобл и полуполковник Ремезов, испуганные собственным запозданием и суровостью встречи, робко вошли в богатые палаты князя Прозоровского и, не садясь, переглядываясь друг с другом, учтиво отвечали на допрос, учиненный сердитым драгуном. Мехоношин, развалясь на лавке, задавал вопросы один за другим: почему-де столько ползли, где пьянствовали, не по шведскому ли наущению прибыли так поздно, для чего стояли восемь дней в Устюге Великом...

Дьяки, примостившись у стола, быстро писали опросные листы.

Вильгельм Нобл сначала бодрился, после же вопроса об Устюге Великом скис и так заврался, что дородный и сипатый полуполковник Ремезов только крякал, а драгунский поручик стал смеяться. По лицу его было видно, что он хорошо знал, чем именно занедужил полковник Нобл по пути в Архангельск...

- Ну, будет! - сказал драгун, отсмеявшись. - Сегодня или завтра князь-воевода отпишет на Москву естафет и оттуда выйдет для вас решение. На добрый исход сей наррации надежды не имею. Нынче война, за подобное воровство надобно аркебузировать - казнить расстрелянием...

Полуполковник вдруг вскипел:

- Больно скор, поручик! Аркебузировать! Оботри молоко на губах, да послужи с мое!

Драгун поднялся, тоже закричал. На крик слуга широко распахнул двери, вошел воевода, заругался с порога:

- Измена! Куда ни глядишь - подсылы, лазутчики, перескоки, пенюары. Вам когда велено было прибыть к месту? Зачем в Устюге бражничали,

ярыги? Зачем в Усть-Ваге гуляли столько ден? Дабы ко времени не прийти? Дабы швед викторию одержал? Дабы нас тут всех шведы порубили, да город пожгли, да меня, князя, на столб вздернули?

Вильгельм Нобл бледнел, крючконосое, усатое лицо его обсыпали капли пота. Ремезов моргал. Дело оборачивалось к худу. Надо было покаяться.

- Князь-воевода, повинную голову меч не сечет! - с низким поклоном сказал полуполковник Ремезов. - Тебя не обманешь, ты и в Устюге нас видел и про Усть-Вагу ведаешь. Было, что греха таить, помилуй. Виноваты, да не так уж страшно - сам лучше нас знаешь, каково стругами такое войско тянуть. Стрельцы вовсе измучились, два судна дорогою потопили, пушек потеряли семь добрых...

- И за пушки взыщется! - пригрозил воевода.

- Прости! - опять поклонился Ремезов. - Послужим тебе как прикажешь. Ежели где измена - пошли, мы тех воров не пожалеем, скрутим, народишко у нас злой на дело...

Прозоровский вздохнул, спросил:

- Да ты из каких Ремезовых? Не боярина ли Саввы Сергеевича сродственник?

- Сын, князь! - сказал полуполковник. - Меньшой его...

Воевода подобрел, покрутил головою:

- Течет, течет время. Меньшой, а голова седая... Садись, слушай! Садись и ты, полковник. Не ладно у нас тут, ох, не ладно. Того и разгневался я, что один, один вот с ним, с поручиком, тяжко нам, трудно, ох, трудно...

Вильгельм Нобл, отставив ногу, упершись в колено рукой, приготовился слушать. Ремезов опирался на эфес сабли. Князь долго молчал, словно бы собираясь с мыслями, потом заговорил туманно, непонятно, таинственно. Наконец, как бы поверив во всем стрелецким начальникам, зашептал:

- Измена, воровство, лютое воровство. Капитан-командор Иевлев, стольник, царев потешный, - вымолвить страшно! - предался шведам, служит им с давнего времени - не за страх, за совесть. Против царского указу учинил злое дело: послал в море, навстречу свейскому флоту,

своего человека, посадского монастырского служку Рябова Ивашку. Тот Ивашка, подлое семя, за шведское золото повел с моря флот двинским фарватером на город, дабы великое разорение учинить, и корабли пожечь царские, и верфи спалить, и Архангельск, и Холмогоры, и Вавчугу, и другие прочие места...

Вильгельм Нобл слушал жадно, кивал головой. Ремезов смотрел на воеводу круглыми глазами, удивлялся.

- Тот Ивашка многие годы до нынешнего лихого часа в нетях ходил, - говорил воевода, - возвернулся богат, откуда? Из свейской земли - вот откуда. Иевлев, иудино семя, на свою цитадель шведских подсылов принимал и там с ними тайно беседовал, там они у него и пропадали нивесть от какой причины. Наилучших мастеров-иноземцев, верных царю слуг, тот Иевлев всяко бесчестил и порочил, веры им не давал нисколько, за караул безвинно брал, а как воровские корабли дошли до цитадели и баталия учинилась, тот Иевлев едва иноземцев смертью не погубил, едва они живыми не сгорели в остроге...

Полковник Нобл сердито крякнул - он не любил, когда московиты дурно обращались с иноземцами, - крепко сжал жилистый кулак. Ремезов же, наоборот, услышав об иноземцах, поостыл.

- Что же они за иноземцы?

- А ты молчи, полуполковник, слушай! - велел князь. - Иноземцы те люди верные. Как они из заточения спаслись, то не прятаться пошли, а на крепостные валы поднялись и зачали из пушек по шведу палить. Пушечный мастер там аглицкого роду, сам пушки наводил и сам пушкарями командовал, и оттого немалый урон шведы понесли. И многие русские пушкари, и многие стрельцы, и солдаты, и матросы, поперек измены, не щадя живота, полегли мученической смертью. А иевлевские люди, иудино семя, не таясь в своем бесстыдстве, с великими почестями приняли в цитадели шведского воинского человека в красном кафтане, трубили ему в трубы, в барабаны били, как и мне, воеводе, никогда не делают. С тем человеком вор Иевлев беседовал долгое время - до самой его, шведа, кончины, и глаза ему закрыл, и свечу в руки дал...

- Ежели свечу по православному обычаю дал, то, может, тот человек и не швед был? - усомнился Ремезов.

- Молчи да слушай! - прикрикнул воевода. - Иноземец, инженер из венецианской земли, тем Иевлевым был замучен насмерть, сгорел живьем. Иноземцы-негоцианты, в городе Архангельском проживающие, по его, вора, указу все были под караул взяты и только нынче отпущены. Пушки на кораблях негоциантских, купеческих он, вор, велел имать, от того великую обиду на нас иноземцы имеют, ни один корабль более торговать не придет...

Вильгельм Нобл закивал: конечно, не придут, зачем приходить?

- То-то, что не придут! - сказал воевода. - Которые же людишки тайные листы читали и прелестные слова говорили против воеводы, и против боярина, и против работы на верфях, и против негоциантов, - те людишки Иевлевым на волю выпущены. Для чего так? Для того, что они по сполоху собрались шведу передаться и со шведом нас резать, и головы наши на рожны сажать, и ремни из нас резать. Поручику, господину Мехоношину, сам вор Иевлев сказывал: передадимся-де шведам, выйдем к ним в море навстречу, вывезем на подушке ключи от города Архангельского, поклонимся подарками, будут нам почести, будет нам добро, веселыми-де ногами ходить зачнем. Верно ли говорю, господин поручик?

Мехоношин поклонился:

- Так, князь-воевода!

- Висеть ворам в петле! - заключил Прозоровский, вставая. - Тебе, господин полковник, и тебе, господин полуполковник, приказываю: идти, не медля никакое время, стругами на цитадель, поставить на ней караулы; вора Иевлева моим воеводским именем и указом одеть в железы, вора Ивашку заковать и под стражей доставить в Архангельск, в острог, под крепкое заключение. С вами отправится сей поручик, ему быть комендантом крепости. Нынешнего же дня или завтра, как управитесь с арестованием воров, отпишу я естафет его величеству Петру Алексеевичу, пошлем воров перед ясные очи князя-кесаря, а коли

нам велят - и мы разберемся, на огне живо тати заговорят...

Полковник смотрел на воеводу с готовностью, Ремезов сидел потупившись.

- А что вы с войском припоздали - то вам в заслугу не вменится! - строго, угрожающе добавил Прозоровский. - Коли сделаете на цитадели добром - позабудем и Великий Устюг и Усть-Вагу. Коли так же будете стараться, как на пути от Вологды, - пошлю еще естафет. Больно много нынче вороги наши народишка воинского подкупают, то на Москве ведомо. Идите!

Стрелецкие начальники поклонились, ушли на свои струги.

Воевода снова сел на лавку, расставив ноги, отвалясь, - грузный, насупленный. Глаза его бегали, он опять начал бояться затеянного дела.

- Либо он тебя, князь, либо ты его! - заговорил Мехоношин. - Хребет ломать надо сразу же, немедля! Упустим время - сожрет с потрохами. Нынче любовался я на тебя, сколь мужественно ты с ними беседовал. Устрашились и по ниточке ходить станут...

Князь перебил:

- Народишко, народишко подлый, вот кого боюсь. Станут болтать нивесть что, всем ведомо, который человек шведское судно на мель посадил.

Мехоношин сказал с презрением:

- Народишко? Народишко, князь-воевода, под батогами отца-матерь забудет, не то что кормщика. Запалим веники, вздернем на дыбу, погладим огонечком, побежит по городу страх божий - живо замолчат. А заробеем - пропадем. Заробеем, князь, и отъедет челобитная на тебя к Москве, тогда поволокут в Преображенский, к самому князю-кесарю...

Прозоровский заерзал на лавке, замахал руками:

- Тьфу, тьфу, типун тебе на язык.

- Имать воров надо, - сказал Мехоношин - всех, до единого. На Марковом на острове тати согнаны, беглые холопи, рваные ноздри, рубленые персты. Я их облавой переловил по лесам, а вор Крыков уговорил Сильвестра поставить тех татей на остров. Всех надобно за караул в узилище, от них, небось, и челобитная на тебя, на воеводу нашего...

Он натянул перчатку, полюбовался рукою, оправил на бедре шпагу. Прозоровский пыхтел, моргал, ничего не решался ответить.

- Сразу бы и кончил тех воров на Марковом! - предложил Мехоношин.

- Много ли их? - спросил воевода.

- Порядком.

- Ты поначалу Иевлева забери, другим разом - беглых. Боюсь шума, поручик... Кормщик-то не отыскался, Рябов?

- Не слышно...

- Ну иди, иди, делай...

Мехоношин ушел.

Прозоровский, насупясь, думал беспокойные свои думы. Тихо ступая на носки, незаметно появился дьяк Гусев, сказал, что пушечный мастер аглицкий немец Реджер Риплей спрашивает деньги за государеву службу, как было договорено. Князь велел заплатить.

- Сполна? - спросил дьяк.

- Сполна! Да все ли они написали, что надобно?

- Все, князь...

После дьяка явилась княгиня Авдотья, исплаканная, испуганная, стала спрашивать, верно ли толкуют, будто князь велел Иевлева за караул брать. Воевода ощерился, вытаращил глаза, заорал, что не ее ума то дело, замахнулся на дородную княгиню палкой. На отцов крик прибежали старые девки с недорослем - унимать воеводу. У него от бешенства побагровел носик, затряслись жирные щеки, сам понимал, что неладно делает, да обратного ходу не было. Орал на всех долго, потом прилег отдохнуть, но едва задремал, причудилось такое, что лучше бы и не ложился. Княгиня сбрызнула его с уголька, помолилась над ним, сказала сквозь слезы:

- Может, к городу поехать, князюшко? Ждут, небось, тебя, воеводу, праздник там, колокола звонят...

- Мехоношин здесь?

- Нету еще.

- Думный дворянин воротился?

- В городе он, князюшко...

Воевода опять заробел - без своих подручных он всего боялся. Да еще, как назло, закололо в подкрылья - начал разбирать утин, старая болезнь. Князь разохался и стонал до тех пор, пока не принесли дьяки естафет от думного дворянина. Тот писал, что Архангельск готов к встрече воеводы, порядок наведен, караульщики везде расставлены, с часу на час отопрут и съезжую, которую вор Иевлев на замок запер. Покуда никак не отыскать палача Поздюнина, от страху нивесть куда запропастился - ни слуху, ни духу...

- Ишь, трус экой! - посетовал воевода. - Наказать надобно...

Он выпил водки, захрупал соленым огурцом. Доброе расположение вновь возвращалось к воеводе. Сидел, широко расставив ноги, говорил со вздохами:

- Без острога, без узилища, без тюрьмы крепкой городу не держаться. То всем ведомо: какое воеводство без палача...

Дьяки соглашались:

- Оно так!

- От века поставлено...

- Иначе никак...

Во дворе с гиканьем готовили воеводе поезд - возвращаться в город править, судить, наводить истинный порядок. Закладывали карету, возки для приживалок и приживалов, телеги для челяди...

В дверь просунулся дьяк Молокоедов, сказал с прискорбием:

- Владыко преосвященный Афанасий совсем плохи, князь-воевода. Будто исповедоваться собрали их и причащать святых тайн, да они не допустили, - рано, говорят. Может, побывать тебе к ним?

- Недосуг, недосуг! - отмахнулся воевода. - Да и не для чего! Не больно дружны были...

Молокоедов смутился, еще покашлял:

- А все ж...

- Иди! - крикнул князь. - Без него управлюсь! Недосуг - и все тут!

Но тотчас же сробел, передумал, велел подавать себе шубу и горлатную

шапку, посох и карету. До подворья Афанасия было не более ста саженей, но воеводе не следовало ходить пешком, и он проехал это расстояние в карете. По ступеням его вели под руки Гусев и Абросимов. Келейник, увидев воеводу, со всех ног бросился в опочивальню к Афанасию. Тот в ответ вдруг слабо усмехнулся, сказал с досадою:

- Ишь ты! Помирать меня учить приехал. Наука нехитрая, сам помру. Все учат - учителя! Гони в шею...

5. ВОЕВОДА СНОВА В АРХАНГЕЛЬСКЕ

К вечеру поезд воеводы въехал в Архангельск.

Завидев карету князя и его конную стражу, завидев форейторов, гайдуков, ездовых, гарцующих конников, посадские посмеивались, переговаривались, мальчишки, не боясь нагаек, свистели в пальцы, улюлюкали. Княгиня, сидя рядом с воеводою, совсем закисла от страха, старые девки княжны, кривляясь по заграничному манеру, произносили непонятные слова:

- Ах, ах, каковы мужичье, так-то встречают своего дигнитара...

- Ах, ах, никакого политесу!

- Майн либер фатер, не ждите от сих артизанов - фемиды...

Князь молчал, сопел, смотрел на солдат с работными людьми, которые снимали надолбы и рогатки с берегов Двины, на пушкарей, которые на рысях увозили с боевых мест пушки, короткие мортиры, кулеврины, наваливали на подводы плетенки с ядрами, со звоном швыряли ломы, банники, прибойники, пыжевники...

Город более не готовился к бою с врагом, город перестал быть крепостью. У раскрытых настежь рогаток караульщики ели свою кашу, дозорные на конях более не стояли у въезда. Весело перезванивались оставшиеся на звонницах и на церковных колокольнях малые колокола; на улицы, на торговую площадь, на берега Двины высыпали мастеровые, ремесленники, корабельщики, рыбаки, дрягили, перекупщики. Народ смеялся, то там, то здесь люди запевали песню, женки на углах торговали печеной рыбой, голосисто выхваляя свой товар, тетки-

калачницы продавали сдобные калачи. Матросы не строем, а порознь, прогуливались по улицам в своих ярковасильковых безрукавках, в шапках, насаженных на одно ухо, - это были матросы, уже понюхавшие пороху в сражении на цитадели, уже ступившие на палубы плененных кораблей. Скоморох с медведем веселил толпу возле Гостиного двора, похаживал, стуча каблуками по дощатому настилу, где только что стояла длинноствольная пушка.

Внезапно карета остановилась.

Гайдуки с плетьми стали напирать на народ, но толпа сгрудилась так тесно и такой руганью встретила воеводских холопей, что те сразу же сробели и подались назад.

- Чего там? - спросил князь.

- Скоморох с медведем, - ответила княгиня Авдотья. - Ах, ах, сколь презабавен...

- Посунься, коровища! - приказал воевода.

Княгиня вдруг обмерла, замахала руками, княжны стали из флакончика нюхать иноземную соль, недоросль засмеялся, широко разинув рот. Князь- оевода поначалу не понял, потом побагровел от страшной обиды: на медведе торчком торчала горлатная шапка, сделанная из корья, - такую, только из меха, один воевода имел право носить во всем Придвинском крае. А скоморох между тем веселил подлых людей, словно и не замечая поезда князя, который остановился перед самым помостом, где теперь звенел своими колокольцами ученый медведь.

- Продергивай! - захрипел князь гайдуку.

Гайдук замахнулся плетью, но тотчас же возле него просвистел камень, народ заулюлюкал, еще камень ударил в карету. А скоморох кричал:

- Ну, Михаил Иванович, покажи, как воевода от шведа бежит...

Медведь, держась за живот, рычал, пятился, тряс башкой, показывал, что боится, хватая лапищей своего поводыря, волок за собою - убегать...

- А теперь, Миша, покажи сего воеводу, как он посулы берет! - сипатым голосом кричал скоморох. - Покажи, Мишенька...

Медведь, рыча, пошел вперед...

Князь зашелся совсем от бешенства, заорал в окно кареты:

- Плетьми его! За караул, живо...

И озверел еще более: свитские тоже смеялись, гоготали, издали глядя на скомороха и на его медведя в горлатной шапке, но увидев перекошенное, багровое от бешенства лицо князя, гайдуки мигом перестали смеяться, пустили коней наметом, засвистали, ударили по толпе нагайками. Народ с криком, пряча головы от ударов, отпрянул, кони топтали людей, роняя пену, вздымались на дыбы. Помост со скоморохом открылся - медведь мирно стоял перед княжеской свитой, нюхал воздух, облизывался. Скоморох его оглаживал, приговаривал белыми губами:

- Ничего, Михайло Иванович... Ничего...

И в том, как поглядывал скоморох на вооруженных конников, было что-то такое гордое и бесстрашное, гневное и насмешливое, что князь отворотился и не стал более туда глядеть. А вылезая из кареты в своем дворе, сказал встречающему думному дворянину Ларионову:

- Хорош у тебя порядок, собачий сын! Хорошо своего воеводу приветил... Ну погоди, еще потолкуем...

И распорядился:

- Скомороха пороть батогами нещадно, смертно, нынче же! Медведя вздеть на рогатину! Гайдукам и иным прочим, что гоготали, видя бесчестье своему боярину, - по пятьдесят кнутов каждому...

Ларионов поклонился, дьяки с испугом переглядывались.

Попозже пришел Ларионов, сказал своим твердым голосом, что скоморох преставился, а шкуру медвежью он, думный дворянин, приказал выделать для воеводских покоев.

Всю ночь воевода не мог уснуть - ждал вестей из крепости. В длинной до колен, цветастой шелковой рубахе, задыхаясь от духоты, закрыв все ставни, утирая пот полотенцем, ходил по скрипящим половицам, пинал сафьяновыми татарскими ноговицами сонных мурлыкающих котов, звал караульщиков, спрашивал сырым от страха голосом, тихо ли в городе. Караульщики не знали, воевода грозился:

- Смотреть с усердием, шкуру спущу!

К утру, не раздеваясь, задремал на лавке, и опять, как давеча в Холмогорах, привиделось ему дурное: черная вода, и его туда бросают, в воду, он хочет бежать, а не идут ноги...

Разбудил воеводу дьяк Абросимов, доложил, что иноземцы ждут воеводской милости - проститься, их корабли уходят нынче в море. Дьяк Гусев держал на подносе корабельные пассы, каждый был написан на александрийской бумаге, и при нем - копия по-латыни. Воевода, потный от дурного сна, всклокоченный, принял капитанов и шхиперов приветливо, каждому корабельщику отдал пасс, сказал, что нынче бесчинствам капитан-командора положен конец. Консул Мартус поклонился, ответил, что счастлив слышать добрую весть. Прозоровский пригласил корабельщиков непременно быть к ярмарке в будущем году. Слуга подал вино мальвазию. Пушечный мастер Риплей провозгласил здравицу за воеводу князя Прозоровского - просвещенного и великодушного вельможу. Иноземцы закричали "виват". Консул Мартус провозгласил другую здравицу - за князя Прозоровского, победителя шведов. Гости опять закричали "виват". Князь, развеселившись, велел гостям садиться за трапезу. Пушечный мастер Риплей сидел слева от воеводы, говорил участливо:

- Мы все, просвещенные европейцы, понимаем, как вашей милости трудно иметь дело с варварами, подобными Иевлеву. Но наши письма, вкоторых дословно описаны мытарства, постигшие нас в Московии, несомненно попадут в руки великого государя. Преславный государь прольет слезы над нашей участью и строго покарает виновных...

Часом позже воевода с крыльца своего дома видел, как на негоциантских кораблях корабельщики стали поднимать паруса, готовясь к выходу в море.

Вернувшись в горницу, Прозоровский позвал дьяков, велел им читать вслух все, что написали иноземцы. Дьяки читали, переводили, толковали написанное. Воевода слушал и кивал головою - хорошо написали иноземцы, как надо написали, теперь строптивому Иевлеву - конец...

Но на сердце все-таки было неспокойно: из крепости Мехоношин еще не

вернулся.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Всех офицеров без суда не арестовывать, кроме изменных дел.
Петр Первый
И вы пороху не теряйте, и снарядов не ломайте:
Меня пулечка не тронет, меня ядрышко не возьмет.
Песня

1. ВАШУ ШПАГУ, КАПИТАН-КОМАНДОР!

На крепостном погосте палили из мушкетов, ружей и пищалей - три залпа в воздух над могилой. Семисадов и Аггей Пустовойтов поправляли кресты на могилах Митеньки и Якоба. Народ уже разошелся, с моря дул прохладный ветер, над свежими могильными холмами трудников, работных людей, пушкарей, солдат и стрельцов еще молились, тихо плача, женки, матери, сестры. У одного холмика стоял на коленях матрос, держал на руках грудного мальчонку - сына, ладонью бережно подгребал к холмику черную двинскую землю. Над этой могилкой матросской женки Устиньи тоже стреляли из ружей и мушкетов...

Внезапно из крепостной калитки, размашисто шагая, появился Резен, подошел к Иевлеву, сказал торопливо по-немецки:

- Дорогой друг, здесь драгун Мехоношин и с ним два стрелецких начальника - оба чрезвычайно важные и неприступные. На стругах множество стрельцов - из Вологды. Занимают караулы, командуют всем и требуют вас. Ищут также лоцмана...

Сильвестр Петрович вынул трубочку изо рта, хотел что-то спросить, но не успел. Железная калитка со скрежетом отворилась, на погост вошел поручик, за ним - худой как жердь, крючконосый, с торчащими в стороны усами полковник Нобл, третьим - полуполковник Ремезов, невысокого роста, дородный. Сзади шли солдаты с саблями наголо, чужие, нездешние.

Иевлев, спираясь на костыль, поднялся, сунул трубку в карман, подождал. Мехоношин подошел совсем близко. Сильвестр Петрович

смотрел в его бегающие глаза. Аггей Пустовойтов и Семисадов, не доделав свою работу, тоже подошли.

- Вы есть бывший капитан-командор Иевлев? - спросил Мехоношин тусклым голосом.

- А ты что, не знаешь меня?

Поручик на мгновение смешался.

- Я есть капитан-командор Иевлев, и не бывший, а нынешний и будущий, и не тебе, убежавшему своего долга воинского, не тебе, забывшему присягу, со мной говорить! - бледнея от гнева, сказал Сильвестр Петрович.

Мехоношин, оборотившись к стрельцам, крикнул:

- Полусотский, отобрать у сего вора шпагу!

Кряжистый стрелец подошел к Иевлеву, тяжелой рукой взялся за портупею. Иевлев рванулся, костыль выскользнул из-под его локтя. Потеряв равновесие, Иевлев ступил на больную ногу и, захрипев от боли, упал. Аггей и Семисадов бросились к нему, подхватили на руки. Резен оттолкнул Мехоношина в сторону, обнажил шпагу. От могильных холмов, не понимая, что случилось, бежали женки, солдаты, матросы...

- Ну! - крикнул Резен Мехоношину. - Вынимайте свою шпагу, черт возьми!

Мехоношин попятился, вперед вышел полковник Нобл.

- Не надо лишней крови! - сказал он с немецким акцентом. - Сейчас нельзя помочь. Сейчас надо исполнять приказание.

Он незаметно мигнул своим стрельцам, они зашли за спину Резена, навалились на него сзади, выбили шпагу из его рук. Семисадов, оттолкнувшись деревяшкой, бросился на стрельцов, за ним бросился в драку Аггей, но их живо скрутили обоих. Мехоношин, стоя поодаль, опять приказал:

- Полусотский, отобрать у сего вора шпагу. Али ты меня не слышал?

Иевлев, сидя на чьей-то могилке, тихо стонал, пот катился по его страшно побелевшему лицу. Полуполковник Ремезов сказал ему тихо:

- Господин капитан-командор, вручи мне твою шпагу.

Иевлев поднял измученные глаза на Ремезова, вдруг поверил ему, дрожащими пальцами отстегнул пряжку на портупее, поцеловал эфес шпаги, протянул ее полуполковнику. Тот также бережно ее принял, говоря по-прежнему негромко, дружественно:

- Прошу - подчинись нынче всему. Воеводою поднята ябеда, время рассудит, люди помогут. Из сопротивления же ничего доброго сейчас произойти не может...

И, отстранив рукою стрельцов, подошедших к Иевлеву, чтобы заковать его в цепи, Ремезов властно приказал:

- Капитан-поручик немощен, и железы на него одевать не можно! Подать носилки!

Принесли носилки. Егор Резен, вырываясь из рук стрельцов, ругался по-русски и по-немецки.

Кругом на погосте шумела толпа, из калитки шли вологодские стрельцы, крепостной народ, ничего не понимающие пушкари, матросы, солдаты. Кто-то пустил слово "измена", оно передавалось из уст в уста. Мехоношин, шаря по крепостным амбарам, зашел в избу Резена, выспрашивал, где кормщик; всюду говорил, что Иевлев предался шведам и нынче его ждет позорная казнь. Люди не верили, переглядывались. Один рыбак сказал, что измены быть не могло, его Мехоношин тотчас же перетянул хлыстом по лицу, так что сразу брызнула кровь. Кормщика Рябова не нашли, все в один голос говорили, что он потонул. По крепостному плацу, шумевшему народом, четыре стрельца молча несли носилки. Иевлев лежал, закрыв глаза. Семисадов, стуча деревяшкой, шагал рядом, глотая слезы, подкладывал Сильвестру Петровичу под раненую ногу сенца, чтобы было мягче. Возле карбаса Иевлев сказал боцману:

- Ну, Семисадов, не думал, что меня после сей баталии так провожать будешь?

Боцман только скрипнул зубами.

Мехоношин и полковник Нобл остались на цитадели - наводить порядок. На карбасе Ремезов сел рядом с носилками, укрыл Иевлева плащом.

Матрос спросил:

- Господин капитан-командор, прапорец вздымать?

- Что за прапорец? - осведомился Ремезов.

- Прапорец по морскому уставу вздымаем, означающий: "Старший морской начальник - здесь"...

Ремезов спросил гневно:

- А где же старший морской начальник?

- Так что... вот они... - растерянно ответил матрос. - На карбасе господин капитан-командор...

- Значит, вздымай, коли на карбасе! - сказал Ремезов. - Вздымай!

Матрос ловко намотал на руку фал, дернул. Прапорец взвился на мачту, весело развернулся, захлопал на двинском ветру. Сильвестр Петрович лежал молча, смотрел в бледное, едва голубое небо. Там косо, с криками носились чайки, выше медленно плыли пушистые облака.

- Женат, господин капитан-командор? - спросил Ремезов.

- Женат.

- И детей имеешь?

- Дочек двое.

Ремезов вздохнул, покачал головой.

- Что вздыхаешь?

- Того вздыхаю, что опасаюсь - длинному быть делу. Петр Алексеевич-то тебя знает?

- Знает малость, - не сразу ответил Иевлев.

- Жалует?

- Жалует царь, да не жалует псарь. Слыхивал такое? А то еще говорят на Руси - царские милости в боярское решето сеются...

Он помолчал, неожиданно усмехнулся, произнес непонятные Ремезову слова:

- Жаль, помер господин Крыков, погиб в честном бою. Посмеялся бы ныне вволюшку, на меня глядючи. Надорвал бы, я чаю, животики. Все по его свершилось!

2. ДОЖДАЛИСЬ МИЛОСТИ!

О том, что Иевлева взяли за караул, на Марковом острове узнали почти тотчас же. Узнали и то, что поручик Мехоношин стал начальным человеком и искал в крепости кормщика Рябова, которого тоже собирался забрать в узилище.

Молчан, проведав обо всех событиях, злобно крякнул, плотнее закутался в продранный тулупчик, сказал мужикам:

- Теперь дождались! Говорил вам, дуроломам, уходить надобно! Нет, милости, мол, дождемся. Теперь как же - дождетесь! Не нынче-завтра нас имать зачнут, всех в узилище погонят, все вспомнят...

Мужики не отвечали. В тишине было слышно, как в крепости барабаны бьют вечернюю зорю, как играют там горны: новый командир делал учение.

Молчана знобило, хотелось попариться в бане, попить молока, поспать в избе. На острове всегда было сыро. От мозглых двинских туманов, от постоянных в это лето дождей, от лесной волчьей жизни ломило кости. Кутаясь в свой драный и прожженный тулуп, он неподвижно просидел до сумерек, потом сел в посудинку, поехал в недальнюю деревеньку - авось, где топят баню, пустят бездомного человека.

Деревенька была бедная, серая. Молчан посмотрел на дымы, вспомнил, что нынче суббота. Невеселый двинянин, весь в морщинах, сивобородый, неразговорчивый, без единого слова пустил чужого к себе - париться. Баня была жаркая, воды вдосталь. Помывшись, Молчан зашел в избу - попить молока. Белобрысые внуки неразговорчивого хозяина облепили гостя. Он гладил их головенки, с болью вспоминал своих братишек и сестренок, оставленных им на произвол судьбы. Ребятишки стрекотали, он отвечал им, улыбаясь открытой, доброй улыбкой. Дед сидел на лавке поодаль, дратвой зашивал прохудившийся сапог. Со двора, от соседки, пришла старуха бабка, поклонилась гостю, рассказала, что побитому нынче полегчало, попил квасу и поел кашицы. Молчан насторожился, погодя спросил, что за побитый?

- А купец, что ли, кто его знает! Кафтан на нем больно богатый! - сказала

старуха. - Как давеча сражение сделалось, его там поранили, воды двинской вдоволь наглотался, к соседушке к нашему и приполз. Думали, помер, а он - вон каков мужик - ожил, уходить хочет...

У Молчана блеснули глаза, он поднялся, заспешил искать недужного. Старуха велела детям проводить гостя, они побежали перед ним веселой ватагой. С бьющимся сердцем вошел Молчан в низкую прокопченную избу. В поставце над лоханью горела лучина, робкий ее свет озарял лицо Рябова, лежащего на лавке. Ноги его были покрыты старой овчиной, в головах была большая подушка, глаза смотрели с доброй насмешкой.

- Небось, и похоронили меня? - спросил он. - А я опять живой! Сказывай, похоронили али еще ждете? Как раз нынче лежу да считаю, когда ж все оно было? Вчера али ранее?

Молчан сел на лавку, собрался было ответить, но не смог - заплакал. Рябов все смотрел на него неподвижным взглядом, потом опять спросил:

- Митрий-то живым вынулся?

- Помер Митрий, - тихо ответил Молчан.

- Помер... - повторил кормщик.

- У нас на острове на Марковом и помер! - сказал Молчан. - Весь побитый был. Ты-то как сюда попал?

Рябов долго не отвечал, потом заговорил слабым голосом:

- Теперь и не вспомню! Застыл в воде-то, раненный. На берег вынулся сам не свой. Лозняк там, гущина, вроде болотца. Ну и пополз. Собаки, слышал, брехали, дымом пахло, я все полз...

Он закрыл глаза, утомился. Дети, пришедшие с Молчаном, переглядывались, толкали друг друга. Один паренек - постарше, лет десяти - сказал:

- Ямелька корову выгонял, Ямелька сам видел...

Ямелька, спрятавшись за других ребятишек, сказал оттуда басом:

- Видел - лежит в кровище, и всего делов.

- А где лежал?

- Где? Возле тына и лежал...

- Теперь-то ништо! - сказала хозяйка, белолицая поморка. - Теперь все

слава господу, а поначалу думали - покойник. И не дышал...

Она сменила лучину, спросила Молчана украдкой:

- Что за человек? Кафтан-то больно богатый, парчовый, такого и воевода по будням не наденет...

Рябов услышал; не открывая глаз, сказал:

- Что мне воевода, когда я сам рыбак!

Хозяйка поманила Молчана пальцем, зашептала ему в ухо:

- И что за гость такой, ума не приложу. Стал мужик мой его давеча раздевать, глядит - кошелек. Денег золотых - не счесть...

...Уже давно вернулся хозяин, давно ушли соседские дети, давно молодайка легла спать на печь - Молчан все сидел возле Рябова, не решаясь сказать ему про судьбу Сильвестра Петровича. Говорили о другом - о баталии, о том, как погиб Крыков, как шведы высадились на Марковом острове, как начали сдаваться шведские корабли, как взорвалась "Корона". Наконец, уже далеко за полночь, Молчан решился - рассказал все.

- Вишь как! - не удивившись, задумчиво произнес Рябов. - На самого капитан-командора руку подняли. Смел, воевода, смел, ничего не скажешь... Да и то, Павел Степанович, ихняя воля...

- То-то, что ихняя, покуда мы овцы. И тебя, рыбак, скрутят да в узилище упрячут, коли с нами не уйдешь...

- Оно так...

- А запрячут за караул - живым не выдерешься, нет...

- За что запрячут-то?

- За измену будто бы...

Рябов усмехнулся, лицо его стало недобрым.

- За измену? И капитан-командора за измену?

- А как же! Погоди, кормщик, слушай что скажу: нам всем уходить надобно. Уйдем в тайгу, я пути тамошние знаю. Самоединов отыщем добрых, не пропадем. А с прошествием времени подадимся на Волгу, в степи. Не со здешнего воеводы, с другого, да шкуру сдерем. Ты вовсе слаб, кровинки в лице нету, куда тебе в узилище идти, уморят там, знаю.

Тебе иначе, как с нами, пути нету. Я своих нынче же выводить стану. Упираются мужики, милости ждут, да не дождутся. Уйдем за рогатку, женке твоей подадим весточку, что-де жив, а покуда сбирайся. Коней купим, ускачем...

Кормщик, не отвечая, опять закрыл глаза. Молчан поднялся, пошел к двинскому берегу, к своей посудинке. Ночь стояла теплая, туманная, темная. На острове никто не спал, но костра не жгли, сидели в яме, тесно прижавшись друг к другу, слушали Федосея Кузнеца, который только что заявился из города.

- Об чем толк? - спросил Молчан.

- Имать нас нынче собрались! - злым, усталым голосом ответил Федосей.

- Доподлинно знаю. От верного человека, от солдата, что дозорным на Пушечном дворе стоял. Вспомнил господин Мехоношин, как ловил вас по лесам...

- Не дадимся! - оскалился Молчан. - Мушкеты у нас есть, ружья, порох. Баранами не пойдем...

Мужики заговорили разом, заспорили, иные хотели нынче же уходить, другие стояли за то, чтобы принять бой и поквитаться за свои обиды. Федосей Кузнец говорил, что извергов надобно поучить, чтобы не ходили своих же мужиков имать.

К утренней заре в яму сволокли все оружие, отбитое у шведов. Кузнец, ругаясь под нос, осмотрел ружья, мушкеты, показал незнающим, как надобно заряжать, как целиться, как палить. Утром дозорный увидел на Двине два струга с солдатами. Воинских людей было много, на солнце поблескивал ствол пушки. Струги шли к Маркову острову.

- Вот она и милость! - сказал Молчан. - Дождались!

И велел с острова уходить без боя.

Мужики подчинились, стали переправляться к деревеньке. Струги шли медленно, их сносило течение, солдаты гребли неумело, не по-здешнему. Последним на острове оставался Федосей Кузнец. Горьким взглядом оглядел он стены Новодвинской цитадели, с которых палили его пушки, посмотрел на корму шведского флагманского корабля, которая все еще

возвышалась над водой, взглянул туда, где ставил ворот и цепь для бережения от шведа, и, держа в руках мушкет, стал опять вглядываться в головной струг. Глаза его щурились, он долго искал взглядом и наконец увидел думного дьяка Ларионова, который, поставив ногу в щегольском сапоге на низкую закраину струга, что-то говорил долговязому и худому полковнику-немцу.

- Вишь, показывает! - шепотом сказал Кузнец лопоухому щенку, оставшемуся вместе с ним на острове. - Вишь, чего делает. Свой, крещеный, думный дворянин...

Не торопясь он сжал мушкет ладонями и стал медленно поднимать ствол от блескучей, бегущей воды, все выше, к стругу и еще выше - по кафтану думного Ларионова. Думный дворянин был одет нынче так же, как в ту ночь, когда он командовал палачом и бобылями на съезжей, - тот же серо-горячего цвета камзол и расстегнутый рудо-желтый немецкий кафтан. По камзолу были нашиты пуговки - серебряные и золотые вперемежку. По этим пуговкам и повел Кузнец мушкет вплоть до мгновения выстрела. Лопоухий щенок от неожиданности вякнул, думный дворянин взмахнул руками и упал навзничь в струг - мертвым. Там засуетились, струг накренился, солдаты загалдели, заряжая свои мушкетоны. Федосей же не стал ждать и быстрым шагом пошел к переправе. За ним, испуганно помаргивая, побежал пес.

- Ты палил? - спросил Молчан, когда Кузнец догнал своих.

- Я.

- А что тебе было велено? Палить?

Кузнец ничего не ответил. Молчан хотел было заругаться, но вгляделся в Федосея, подумал и произнес мирно:

- Видать, и тебя припекло. Вон оно как случается-то. Ну-к, что ж, ныне с тобой мочно и в леса идти али подалее - зипуна добывать.

В этот же день мужики, предводительствуемые Молчаном, скрылись в дремучем придвинском бору. С собою на подводе увозили они совсем еще слабого кормщика Рябова.

3. РЕМЕЗОВ

На съезжей полуполковник Ремезов позвал караульщиков, остался с ними один на один, долго на них смотрел, наливаясь гневом, потом засучил рукав и, покрутив в воздухе огромным красным волосатым кулаком, зычно крикнул:

- Видали? Ежели хоть един волос с его головы...

Караульщики закланялись, стали божиться, колотить себя в грудь.

- Сей капитан-командор - государев преступник! - опять заговорил Ремезов. - Коли с ним что приключится - от вас и пеплу не сыщут...

Караульщики опять закланялись.

Ремезов прогнал караульщиков вон, задумался, потом по гнилым, осклизлым ступеням спустился вниз, в темную камору, где на соломе лежал Сильвестр Петрович.

- Денег не надобно ли? - суровым голосом спросил полуполковник.

- Не надо! - ответил Иевлев.

Ремезов сел на лавку, попросил:

- Расскажи, капитан-командор, все как есть. Я тут не останусь, тайно поскачу к Москве, мне правду надобно знать...

Сильвестр Петрович рассказал все в подробностях. Ремезов выслушал внимательно.

- Коли что, капитан-командор, крепись. Сказанного назад не вернешь. Ослабеешь - напишут на тебя сказку, где тогда правду сыскать?

Иевлев молчал.

- Еще беда - кормщик твой потонул! - сказал Ремезов. - Что молчишь?

- Того молчу, - тихо, спокойным голосом ответил Сильвестр Петрович, - того, господин полуполковник, молчу, что думаю: шведа разбили, корабли российскому корабельному флоту числом тринадцать сохранили, народ в Архангельске не побит, сироты, да женки, да старухи за нас бога молят. Значит, беды и нет. Апраксину на Москве первое поведай: корабли целы, да еще шведские в полон взяты, пусть сочтет - с прибытком воевали...

Дородный полуполковник невесело усмехнулся:

- Да ты, как я погляжу, чудак, господин капитан-командор. Ну, бог тебе судья...

Он поднялся, в темноте нащупал руку Иевлева, ласково пожал:

- Прощай! Супругу твою навещу, дочек тоже. На Москве семейство Хилковых ты назвал?

- Хилковых. Измайлова тож...

Ремезов вышел из съезжей, на ходу пугнул караульщиков вытаращенными глазами, огляделся по сторонам, сел в седло...

На улице, придерживая коня, Ремезов спросил у проходящей молодайки:

- Добрая, куда на Холмогоры дорога?

Молодайка показала, полуполковник ударил жеребца плетью, поскакал к архиепископу Важескому и Холмогорскому - за советом, как просил Сильвестр Петрович.

Владыко принял Ремезова в опочивальне - хворал тяжко, - ничего о происшествии с Иевлевым не знал. Не слушая Ремезова, радостно заговорил:

- Разбили, разбили проклятого шведа, в первый раз наголову разбили, вот радость, вот чудесно-то...

Глаза у Афанасия в сумерках опочивальни светились, как у молодого, он все радовался, со слов Егорши рассказывал Ремезову так, словно сам видел, как головной корабль был посажен на мель, как разом заговорили пушки крепости и Маркова острова, как шведы попались на острове в плен и как русские флаги были подняты на плененных шведских кораблях. Полуполковник слушал, молча кивал.

- Да ты что невесел? - спросил владыко.

Ремезов вздохнул, рассказал, как давеча взят был за караул Иевлев. Афанасий приподнялся на локте, крикнул:

- Врешь! Все врешь! Не может того статься...

Полуполковник не ответил ни слова. Владыко надолго задумался, потом сказал:

- Худо!

И повторил:

- Худо, брат, худо!

Он сел на своей огромной, пышной постели - высохший, старый, в колпачке на косматой голове; беспомощно озираясь, пожаловался:

- Куда правде против кривды? Вот ты уже сед, а много видел, чтобы правда сильнее кривды была? В острог попасть, за караул, палачу в лапищи - легко, враз, а выйти, ох, детушка, ох, нелегко из него, проклятого, выдраться. Что делать? К кому идти за милостью? Кто не забоится самому Петру Алексеевичу слово молвить? Ты? Кое слово ты, глупый, вымолвишь, ежели сам от стрелецких полков, сам того змеиного роду, что учинил мятеж? Разве дадут тебе веру против боярина князя Прозоровского? То-то и горюшко, что Иевлев Сильвестр Петрович с покойным господином Крыковым в дружелюбии был, а Крыков сей воеводою бунтовщиком объявлен. Стой, молчи, не говори, дай подумаю, раскину умишком...

Келейник принес гостю ужин, владыко прихлебывал мальвазию, смотрел завалившимися глазами на мигающую в углу лампаду, размышлял. Потом, загибая худые пальцы жилистых рук, стал считать, что худо:

- Перво-наперво, дружок, худо, что иноземцы замешаны в сем деле. Иностранца на Руси ныне жалуют, и так сделалось, что чем он, злыдень, более плутует, тем ему наибольшую веру дают. Другое худо - князинька Прозоровский в великой чести у государя с самого азовского бунта. Еще худо - шведский воинский человек в красном кафтане. То дело и для меня самого темное. Четвертое горе - кормщика в живых нету. Пятое - ты со своими стрельцами припоздал, Прозоровскому наруку. Самое же наипервейшее худо, что все оно, друг милый, известно, чьих рук дело, да темно, да закручено, да запутано. Как теперь нам правду сыскать?

Афанасий опять замолчал, раздумывая. Полуполковник сидел опустив голову, упершись ладонями в колени, хмурил седые брови.

- А наихудшее из всего, - тихо, доверительно добавил Афанасий, - наихудшее, что не все понимают нынешние времена как должно - и сердцем и умом. Не все доходят, чтобы поразмыслить, по какому пути Русь пошла. Одно только и видят, что беспокойство да кувыркание, что

не по- едовски, дескать, живем. Вякают суесловы немудрыми устами: которая-де земля меняет обычай свой, та недолго стоит; бороды жалеют, кафтаны длиннополые, прибытки воровские свои. Петру Алексеевичу тоже нелегко. Много измены, воровства, мздоимства, лести, клеветы, злодейства. Как тут разобраться - кто бел, кто черен?

Рассуждали долго.

К ночи владыко приказал подать себе перьев, чернил, бумаги самой наилучшей - писать письмо государю. Келейник поставил возле Афанасия ларец для письма, шандалы со свечами, сахарной воды. Ремезов, чтобы не мешать, вышел на крыльцо. Заливисто, но слабо, перебивая друг друга негромкими трелями да веселым треском, пели в архиерейском саду соловьи. Полуполковник заметил:

- Ишь, поздно каково ныне распелись...

Юноша костыльник, обратив к Ремезову бледное лицо, сказал с улыбкою:

- То, господин, не соловьи. То наши птахи - именем варакушки. До соловья варакушке не дотянуться, а нам ничего, нам любо и ее послушать. Соловей-то далее Свири не летывает - чего ему у нас в холоде делать, а варакушка у нас завсегда пением своим утешает...

- Ишь ты, варакушка! - сказал, вслушиваясь в щелканье, полуполковник.

- То-то, что варакушка...

- А и верно, вроде нашего соловушки норовит трель взять. Вишь, как высоко забирает? А?

- Заберет, да и сорвется. Все ж не соловей!

На рассвете Ремезов опять садился в седло. Еще пуще, еще заливистее пели варакушки в темных купах дерев архиерейского росистого сада. Афанасий, стоя на крыльце - маленький, согнутый болезнью, - кашлял, говорил:

- Как Вологда минуется, старайся, полуполковник, ежели ночью - с людьми ехать. Дороден ты, богато выглядишь, конь у тебя хорош, седло с набором, сабля в серебре, а на пути шалят боярские недоросли, крепко шалят. Как на государеву службу, так нет их - отчего "нетчиками" и прозываются, - а как в лес разбойничать - подавай. Воеводы проклятые с

них мзду гребут, боятся имать, есть, что и запросто с теми лесовыми боярами в доле. Да что лес - в самом Ярославле-городе от них не проехать, не пройти, так и свищут, так и рыщут, дьяволы, прости господи... Ну, поезжай, дружок...

Жеребец, фыркая, выбрасывая тонкие породистые ноги, легко вышел за ворота. Ремезов поправился в седле, вдохнул полной грудью чистый утренний воздух, со взгорья оглядел широкие, в легком тумане луга, тихую Двину, розовое небо.

Всю длинную дорогу до Вологды полуполковник вспоминал Иевлева и с каждым часом пути укреплялся в мысли о том, что Иевлев - храбрый и честный воин и что ему, Ремезову, удастся развеять клевету и ябеду Прозоровского.

Ночуя на постоялых дворах, он спал понемногу, не пил водки, размышлял, и чем ближе была Москва, тем больше он верил в доброе завершение трудного своего дела.

Миновав Ярославль, Ремезов, не дожидаясь попутчиков, которых не было уже более суток, зарядив пистолеты, решил ехать один. Хозяин постоялого двора долго и со значением в голосе уговаривал полуполковника заночевать, но он заупрямился и, весело попрощавшись, тронул коня шпорами.

Ночь была темная, сырая, беззвездная.

Ремезов ехал быстро, напевал слышанную в пути песню, считал, сколько еще осталось езды.

В лесу, в ложбине, конь с ходу споткнулся передними ногами, упал. В это же самое время туго натянутая веревка полоснула Ремезова по лицу. Его выбросило из седла, он грянул затылком о придорожный пень и умер сразу. Люди в кафтанах доброго сукна, в терликах, туго подпоясанные, с ножами и пистолетами, разорвали на нем дорожную однорядку, отрезали кошелек, сняли дорогой пояс, саблю.

- На коне сумки посмотри, - властно приказал молодой голос. - Казна-то настоящая, небось, там...

- У тебя, князинька, кошель! - ответил голос с дороги. - Другого нету...

Князинька все искал на теле Ремезова еще что-нибудь, нашел сложенное и запечатанное письмо, повертел его, разорвал и бросил. Ладанку и золотой крестик он положил в карман, крикнул:

- Коня-то застрелите, черти рваные. Мучается конь...

На дороге, под дождем, засмеялись:

- Коня ему жалко. Вишь, добрый стал. Может, и полуполковника тебе жаль?

Взяв дородного Ремезова за руки и за ноги, дворовые люди и слуги снесли его лесом к оврагу, раскачали и кинули тело вниз.

- Так и отца родного убьют! - негромко сказал пожилой слуга. - Свой своего режет...

- А тебе чего? - спросил другой слуга, помоложе. - Тебе-то больно надо? Пусть друг дружку жрут, все меньше на нашей шее сидеть станут.

На дороге в ровном шуме дождя глухо хлопнул пистолетный выстрел - жалостливый князинька застрелил коня.

4. СТРАШНО ВОЕВОДЕ!

Перед дальней дорогой воевода долго учил Мехоношина, как вести себя на Москве с государем и иными сильными мира сего, кому поклониться в иноземной слободе - Кукуе, кого одарить в приказах. Поручик кусал губы, смотрел в стену, мимо князя - волновался. Во дворе в сгущающихся сумерках мотали головами кони, позвякивали колокольцами, старые девки княжны приказывали слугам укладывать поручику в возок дорожную еду.

Денщик подал Мехоношину плащ, слуга воеводы подошел поближе с подносом - выпить посошок. Князь сам налил большую чару, княгиня Авдотья поднесла из своих рук. Мехоношин опрокинул водку в открытый рот, из ладони закусил моченой брусничкой. Княгиня запричитала:

- На кого ты нас оставляешь, сыночек, исхлопочется князь, каково ему без тебя при его недугах...

- Цыть, дура! - топнул ногой Прозоровский. - Иди отсюдова, нечего...

Княгиня, подвывая, ушла, воевода наставлял:

- Об Иевлеве, коли сам не спросит, молчи. Коли спросит, поведай с печалью - так, дескать, и так, воевода-князь не верит, поверить страшно. Только для всякого опасения и взяли за караул. А опасение, что-де был он крепко дружен с твоим, государь, вором и злым преступником Крыковым... тут насчет стрельцов и вверни, да как похитрее: что-де были некие скаредные приходимцы на Архангельске, смутьяны и подстрекатели от Азова, мятежники-ярыги. Об том давнем на Двине-реке злодействе вспомни, об убиенном человеке. И очи свои все долу, будто страшно тебе его, батюшку-государя, прогневить. Ему стрелецкие дела вот как - поперек горла встали, он на сие сразу прогневается. Еще Лонгинова опросной лист, да что иноземцы на Иевлева отписали - ему самому в руки дашь. Да не торопись, - понял ли, дабы сей окаянный Сильвестр за прохождением времени здесь в узилище за караулом уходился. Слаб он, ранен, авось антонов огонь прикинется, тут мы его и похороним...

Мехоношин сурово перебил:

- Под лежачий камень вода не течет, князь-воевода. Узилище разное бывает. Коли заробеешь, пропали мы. Делай разумно, пусть живым гниет, собака. Подсыпать ему, дьяволу, в кашу али во щи зелья, - там и концы в воду. Дружки у него на Москве - и Меншиков и Апраксин, и другие знаменитые мужи горою за него, за живого, станут, а коли помер - ничего им не сделать. Об сем думать надлежит...

Князь проводил Мехоношина до возка, перекрестил его трижды, облобызал. Старые девки княжны стояли поблизости, приседали, делали новомодный плезир, просили не позабыть ихнее хотение: привезти из Москвы куафера, чтобы строил прически и ставил мушки. Мехоношин пообещал. Возок тронулся, скрипя, раскачиваясь; загремели дорожные певучие колокольцы...

И в ту же ночь, едва уехал Мехоношин, все пошло через пень-колоду, кувырком: только князь лег почивать, заявился дьяк Абросимов со страшной вестью - беглые ярыги, что жили на Марковом острову, стрельцам не дались, ушли в леса, многие с оружием, отобранным у

шведов, а когда учинена была погоня, то открыли они по стрельцам пальбу и думного дворянина Ларионова убили злою смертью. Впрочем, Ларионова убили еще до начала сей погони, а полусотского и еще стрельцов побили на лесной опушке...

Думного дворянина внесли в княжеские покои, положили на рогожу, на пол, под образа, подвязали ему челюсть платком, дьячок стал читать книгу-псалтирь.

- Для чего сюда-то, для чего ко мне? - плачущим голосом закричал воевода. - Несли бы в церкву, экие головы дубовые...

- В церкву народишко не пущает! - со вздохом ответил Абросимов. - Грозятся его оттудова выкинуть...

И опять заговорил, что беглые ярыги всем бедам зачинщики, они и тайную челобитную на князя написали, и хоть ушли сии ярыги в леса, но в городе есть у них свои люди, те люди по Архангельску прелестные слова пускают и всяко грозятся, что-де отольются воеводе его неправды, мздоимства, утеснения, попалят еще его хоромы, воткнут голову на рожон и за ним семейство изведут...

- О, господи, а советчиков-то нету, один я как перст! - завопил воевода. - Ларионова кончили, поручик к Москве скачет...

Тараща глаза, сел на лавке, велел звать к себе Вильгельма Нобла и Ремезова. Иноземец явился тотчас же, а Ремезова отыскать не смогли нигде - словно в воду канул.

- И его, его кончили, - залопотал князь, - чует мое сердце, кончили полуполковника...

В испуге велел звать опального ныне стрелецкого голову Семена Борисыча. Тот пришел не один, а в сопровождении угрюмого Аггея Пустовойтова. Ни стрелецкий голова, ни Аггей садиться не пожелали, встали столбеть у двери. Вильгельм Нобл посматривал на них с опаской, молчал. Воевода заегозил, заговорил искательно, что-де беда, все худо, великое злодейство учинено, верный государев слуга думный дворянин Ларионов убит злой смертью, беглые холопи да смерды ушли в леса, эдак и бунта легко дождешься... Сей Ларионов, ныне покойный...

- За дело и убили! - глухим басом, бесстрашно перебил воеводу Аггей Пустовойтов. - Не ходи, бесстыжая рожа, трудников имать. Они со шведским десантом сражались доблестно, они батарею на Марковом острове спасли, а их - за караул?

Прозоровский было вскинулся на дерзость Аггея Пустовойтова, заорал, но к нему шагнул Семен Борисович, скрипнул зубами, заговорил тихим от гнева голосом:

- Ополоумел ты, князь? Что деешь? Кого за караул берешь? Господина Иевлева капитан-командора заточил? Был бы спаситель города кормщик Рябов жив, ты бы и его скрутил? За что честного человека, мужественного вьюношу Пустовойтова Егора в подземелье держишь? За то, что он абордажным боем шведский корабль полонил и на том фрегате российский флаг поднял? Ох, князь-воевода, все помирать будем, велик грех ты на душу принял. Заперся ты за своим тыном - и того не ведаешь, что в городе народишко говорит! Все ходуном нынче пошло, все вразброд, все к худому. Али, думаешь, не знают люди, кто у воеводы правая рука? Не знают про драгунского поручика Мехоношина? Позабыли, думаешь, как сей иуда, свое войско оставив, от сражения бежал? Опомнись, князь! Немедля же отпусти из узилища Сильвестра Петровича, Пустовойтова Егора, рыбака Лонгинова...

Воевода ударил кулаком по столешнице, крикнул тонко, визгливо:

- Да ты с кем говоришь? Ты как смеешь?

От звука собственного голоса он взбодрился, еще ударил кулаком, подошел к стрелецкому голове, посмотрел на него яростно, сбычившись.

- Поручик Мехоношин тебе - иуда, а вор Иевлев - победитель шведа? Скор ты, господин стрелецкий голова, скор и смел, да только смел где не надо! Думал я - образумился Семен Борисыч, остыл на холодке, догадался, кто вор, а кто городу радетель. Так нет, каков был, таков и остался - ругатель, упрямец. Что ж, ничего, видать, не поделать! Отставлю я тебя от твоего дела. Господину Ноблу с нынешней ночи быть стрелецким головою, ему воры, да пенюары, да истинные иуды - не други, не товарищи, не братья...

Семен Борисович гордо поднял голову:

- Не тобою я поставлен, князь, не тебе меня и гнать.

- Врешь! - глумливо крикнул Прозоровский. - Врешь! Ты стрелецкий голова, а все вы государю воры и обидчики, всех вас не жалует Петр Алексеевич, все вы ему злодеи. Недаром говорится: что зубец, то и стрелец. Не пожалеют тебя на Москве, а я тому помогу...

Аггей Пустовойтов сказал с тоскою:

- Уйдем, Семен Борисыч, чего тут...

Стрелецкий голова обернулся к Аггею, не поклонившись воеводе, тяжело ступая, пошел к двери...

Вильгельм Нобл сидел на лавке, все молчал, смотрел на воеводу непонятным взглядом, жевал кончик длинного уса.

- Ремезов где твой? - спросил воевода.

Иноземец пожал плечами.

- Может, и его холопи убили?

Нобл опять пожал плечами.

- Говори! - приказал Прозоровский. - Что молчишь? Ты - отныне стрелецкий голова, советчик мне, помощник ревностный, радетель. Ну и советуй, - один ведь я, один как перст. Мехоношин поручик к Москве скачет, - как мне быть нынче?

- Я буду делать все, что вы мне прикажете! - ответил наконец Вильгельм Нобл. - Я воинский человек. Но я в ваших делах ничего не понимаю и ничего не хочу понимать. Я тут лишь служу. Пусть ваши дьяки пишут мне ваши приказания на бумаге, да, да, на бумаге. И там на листе пусть будет ваша роспись. Тогда я буду делать. А без листа с вашей росписью - я ничего не могу, потому что имею семейство и отвечаю за него перед всевышним. Вот.

- Ишь, каков! - сказал Прозоровский.

- Да, таков! - произнес Нобл. - Только таков, и не иначе.

- Хитер ты гусь!

- Я старый гусь! - сказал Вильгельм Нобл. - Я служил многим государям, и теперь я поумнел. Пусть будет бумага...

Он замолчал. Прозоровский сопел, не зная, как поступить. За дверью шептались старые девки княжны, охала встревоженная ночными гостями княгиня Авдотья. Князю опять стало чего-то страшно, у него затряслись руки, засосало под ложечкой. Во дворе вдруг почудились чужие голоса, он прислушался, - нет, голоса были своих людей, болтали конюхи...

Внезапно распахнулась дверь, пришел дьяк Абросимов, принес дурные вести: возле съезжей, несмотря на поздний час, толпятся посадские, матросы, солдаты - ругаются, лают воеводу, дьяков. Палачу Поздюнину прошибли голову камнем, бобылям-подручным тоже намяли бока. Бабы отыскали некоего пришлого протопопа, тот бесстрашно служил за Сильвестра и за убиенного кормщика Ивана службу в церкви Параскевы-ятницы. Женки и солдаты, пушкари и рыбаки, матросы и дрягили так облепили церквушку, что в нее не протолкаться. А рейтар не согнать, боятся за поздним временем выходить на улицу.

Воевода выслушал, приказал Вильгельму Ноблу выводить своих стрельцов.

- Бумагу! - серым голосом ответил Нобл.

Прозоровский продиктовал дьяку бумагу. Новый стрелецкий голова, шевеля усами, прочитал воеводский указ, бережно спрятал в нагрудный карман, натянул перчатки. Воевода велел подать себе шубу, шапку, саблю. Лицо его стало совсем бурым, когда взглянул он, выходя, на заострившийся белый нос думного дворянина...

Садясь на коня, он приказал слугам стеречь дом как зеницу ока, никого под страхом смерти не впускать, никому не спать, даже вполглаза.

Сзади, бренча оружием, переругиваясь, позванивая стременами, садились в седла стрельцы, егеря, конвой князя-воеводы.

Выезжая из ворот, Прозоровский еще не знал, что он сделает, мысли никак не собирались в голове, сердце колотилось, как у воробья, страх не проходил, но вместе со страхом он уже чувствовал прилив той отваги, которая так свойственна трусам, когда дело идет об их собственной шкуре.

Не более как через час Вильгельм Нобл расставил по улицам рогатки, у

которых было велено дежурить стрельцам-караульщикам из новых полков. По затихшему городу Прозоровский послал облавы - хватать бродяг, ярыг, смердов, беглых холопей, тащить на съезжую. У тына возле узилища поставлены были рейтары с копьями и заряженными мушкетами. Смелого протопопа, что служил за Сильвестра в церкви Параскевы-Пятницы, схватили и бросили в яму. Двух рыбацких женок, которые обозвали князя поганым словом, поволокли на расправу к Поздюнину. Пушки, что стояли прежде для бережения от вора шведа, князь-воевода велел повернуть на дороги, идущие к Архангельску, зарядить картечью, палить для всякого бережения - нещадно.

Город замер, затаился. Всюду погасли огни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Две головни и в поле дымятся, а одна в печи гаснет.
Пословица

1. ЗА ПРАВДОЙ

Светало.

Сонно, скучно, с хрипотцой перекликались петухи в московских переулках. Ночные стражи, убрав рогатки, уходили спать. Звонари, накинув рваные тулупы, поеживаясь на осенней мозглой сырости, поругиваясь на ветру, ждали на колокольнях, когда ударит Иван Великий, а между тем уже тащились к рынкам, грохоча по мостовицам, скрипя немазаными осями, обозы с живностью, с солониной, с рыбой, с подмосковной дичью, с битыми гусями, с дровишками. Гостинодворцы, крепко закрывая за собою калитки, крестясь истово на медный, басовитый, долгий звон, шли торговать, кабатчики открывали царевы кабаки, табашник - свою новоманерную лавку, бабы с оладьями, с пирогами, с чесночными пампушками выхваляли свой товар, покрытый засаленными тряпками. Божедомы, служители убогих домов, на рогожках пронесли тела убитых в ночь лихими людьми - упокойничков - на Варварский крестец для опознания родными. Караульщики поволокли

дородного, седого, без шапки, - он горько прощался с бежавшими за ним женщинами. Проходящий мужчина со злорадством молвил:

- Ишь, влопался. Поймали-таки раба божья...

- Разбойничек? - спросил Молчан.

- Зачем разбойничек? Боярский сын. Ему ныне шестой десяток пошел, а он до сего дня в нетях пробыл, писался боярским недорослем. Вишь, ныне и поволокли. Поди-кось послужи...

Москва просыпалась.

На ходу закусывая, бежали работные люди за Неглинную, на Пушечный двор, за Москву-реку, на Воронежскую дорогу - в мастерские, по литейным, столярным, ткацким заведениям. Попы с приличным пением понесли на руках, на полотенцах, чудотворную икону к усадьбе занемогшего боярина. Конное войско бесконечным потоком, ряд за рядом двигалось по улице, солдаты хмуро смотрели из-под широких полей шляп, офицеры прятали подбородки в шарфы, пропуская перед собою конницу, командовали по-новому, непонятными словами. За конным войском ехали новые пушки, пушкари в повозках подпрыгивали на скамейках, - такого ни Молчан, ни Федосей Кузнец еще не видывали.

- Зришь, каковы пушки? - спросил Кузнец.

- Здоровые! - сказал Молчан.

Кузнец проводил артиллерию истомленным взглядом, прислонился к забору, закрыл глаза. Молчан беспокойно огляделся - как бы не попасться перед самым концом пути, подергал Федосея за рукав азяма, сказал негромко:

- Пойдем, Федосеюшка! Чать, близко! А то - вон кружало, может от чарочки полегчает...

- Ну ее к дьяволу! - выругался Кузнец.

Лицо у него совсем посерело, кожа стала сухая, словно у неживого, одни только зрачки остались прежние - горели как угли. На всем пути к Москве - в лесу и на постоялых дворах, в овинах и на печи у доброго мужика - Кузнец подолгу трудно кашлял, никогда не мог толком согреться, ел мало, неохотно. Чем ближе было к Москве, тем больше

слабел Федосей, и последние дни Молчан совсем было приготовился к тому, что похоронит друга у торной дороги. Но Кузнец все шел и шел, гулко кашлял, плевался и не жаловался, словно был здоров, только все опасался:

- Как бы на рогатке нам не попасть. Эдакую дорогу прошли, вдруг схватят. Ты - беглый, я - воеводе первый ворог. Закуют, да и вся недолга. Пропала наша челобитная...

И с испугом в глазах хватался за грудь, - там была зашита драгоценная бумага.

- Проскочим! - утешал Молчан.

Рогатку обошли, долго плутали среди подгородных изб, огородов, заборов. Эта последняя ночь дорого далась Федосею, он совсем ослабел, ноги дрожали, липкий пот то и дело проступал на лбу, кашель разрывал впалую грудь.

- Пирога пожуешь? - спросил Молчан. - Пироги хорошие, с мясом...

- Ну их...

- Может, в церкву зайдем, там потеплее...

- Иди ты с церквами со своими...

Наконец двинулись дальше. Молчан спрашивал дорогу, прохожие показывали по-разному. К усадьбе Полуектова оба путника дошли совсем обессиленные. Молчан долго стучал в ворота, никто не отзывался, даже псы не лаяли за высоким забором, поросшим мхом. Федосей сидел на бревне - дышал часто, с хрипом.

Ворота открыл старый слуга Пафнутьич, из-под ладошки, слезящимися глазами посмотрел на Молчана, спросил, кого надо.

- Поклон тебе от Таисьи Антиповны! - ответил Молчан.

- Что за Таисья Антиповна?

- А та женка добрая, у которой проживает ныне супруга капитан-командора Иевлева - Мария Никитишна.

- С поклоном и пришли от Архангельска?

- С делом пришли, а как Москва город нам незнаемый, то и надумали мы, дедуня, у тебя совета спросить...

- Какие мои советы! - вздохнул дед. - Вишь, стар, словно пень трухлявый, едва ноги волочу. А дело-то ваше, и-и, соколики, трудное. Родион Кириллыч, названный Марье Никитишне батюшка, все об том деле мозговал, да так и помер, не дождавшись доброго ему окончания...

Кузнец все кашлял. Под серыми тучами, низко ползущими над Москвой, пронзительно кричало воронье. Старик воротник вздыхал, с жалостью смотрел на путников: уж очень были они измучены, ободраны, изъедены голодом и холодом.

- Какое ж ваше дело? - спросил Пафнутьич.

- Царя-батюшку ищем.

- А он вас, поди, дожидается. Для чего ищете-то?

- Для правды, дед. Пусти отдохнуть. Недужен сопутник мой, да и я притомился. Некуда нам более деваться. Останемся эдак без угла на Москве - живо схватят, тогда пропали...

Старичок подумал, пустил. Ободранный кот, мяукая, встретил гостей. Старик поставил на щербатый стол горшок пустых щей, положил деревянные ложки, отрезал хлеба. Молчан, не перекрестив лба, сел хлебать, Федосей от еды отказался, лег на лавку, отвернулся к стене.

- Не больно щи-то твои навариcты, дединька! - сказал Молчан.

- С таком варил, - посмеиваясь, ответил Пафнутьич.

Пообедав, Молчан тоже прилег отдохнуть, а к вечеру, когда старик зажег копеечную свечку, путники доверили деду то, что не доверяли никому: рассказали про челобитную на воеводу Прозоровского.

Старик слушал, оглаживая своего драного кота, кот покойно мурлыкал. Молчан говорил, Кузнец, кашляя, ему подсказывал. По старой усадьбе покойного Родиона Кирилловича гулял сердитый осенний ветер, скрипел оторвавшейся ставней, выл в печных трубах, - здесь же, в воротной избушке, было тепло, тихо, пахло печеным хлебом, воском.

Выслушав обоих, старик сказал:

- Вам тут все внове, а я жизнь изжил, знаю. Правду-то не завтра отыщешь. Тую правду люди почитай что от рождения до смертного часа все ждут не дождутся...

- Мы не ждем! - перебил Молчан. - Мы за ней - ходим...

- Толк един, что ждать, что ходить. Родион Кириллыч, покойник, тоже на месте не сидел. И у Апраксина бывал, и к Меншикову Александру Данилычу наведывался, и к самому Головину доходил. Все горю-беде сожалеют, все душою помочь хотят, а вот как - того никто не знает. Погоди, говорят, Родион Кириллыч, - со временем разберемся. Со временем! А приехал от вас из Архангельска офицер - запамятовал, как звали, - сказывают люди, золота не жалел и от того, или от чего другого в большую силу взошел...

- Мехоношин? - спросил Молчан.

- Вроде бы так, Мехоношин. Обласкан сильно. И вотчину ему пожаловали, за его к царевой службе усердие, и холопей множество, и угодий - и земель и лесов... Золото - оно многое делает...

Кузнец переглянулся с Молчаном, сказал хрипло:

- Золото! Что золото? У нас и золото есть, не бедные...

- Вы-то?

- Мы-то, дединька.

Старик с сомнением покачал головою.

- Ты нам ход укажи! - попросил Молчан. - Ты нам человека с головою дай, за нами дело не станет... Ярыгу хитрого, дьяка умелого, мы не за спасибо - заплатим по чести...

И, рассердившись, достал далеко запрятанный кошелек, туго набитый золотыми монетами.

- Во! Гляди! Тут червонцев сот четыре с лишком...

Пафнутьич замахал руками, замигал, словно ослепленный, заудивлялся - с таким богатством, а сами голодные, сапоги у Молчана разбитые, Кузнец в лаптях.

- Не наши деньги! - круто сказал Федосей. - Для дела деньги! От сих денег жизнь зависит человека доброго...

- А сами-то вы злодеи, что ли? - тоже рассердился дед. - Вон дошли, что и вовсе покойники! С головою делать надобно...

Попозже, к ночи он надел треух, взял в руки посошок и отправился к

хитрому дьяку, к которому не раз хаживал по поручениям покойного Полуектова. Сему дьяку решено было деньги не показывать, а дать червонец за совет. Еще малую толику серебра потратили на угощение - чтобы сиделось дьяку ладно и чтобы ушел восвояси веселыми ногами.

Дьяк был хитрый, востроносый, пучеглазенький, весь поросший белым цыплячьим пухом. На шее висела у него на ремешочке чернильница-узырек, заткнутый тряпицей, в мешочке были чиненые перья, ножик, орленая бумага. Пил он много, ел - куда только умещалось, и при этом был костляв и тощ до того, что кафтан болтался на его плечах.

После водки и студня он отвалился к стене, наклонил набок тонкую шею, приготовился слушать. Федосей отпорол сверток, в котором была челобитная, бережно развернул лист, подал его дьяку. Тот, цмокая языком, вздыхая, прочитал, вскинул на Кузнеца выпученные блеклые глазенки, спросил - за чем же дело стало, когда челобитная написана да кровью подписи под ней выведены? Кузнец ответил, что дело за тем, как подать сию челобитную в государевы руки.

- То-то, как подать! - усмехнулся дьяк.

- Затем тебе и кланяемся! - сказал Кузнец. - Научи, будь отцом родным.

- Государя и на Москве-то ныне нет.

- Как же быть?

- Верного человека ищите!

- Где же его взять?

- То-то, где взять! - опять усмехнулся дьяк. - Тут ошибешься - и пропал, злою смертью помрешь. Небось, воевода ваш, князь-то Прозоровский, не пожалеет золотишка за сей лист. То в любом приказе ведомо. Схватит писец челобитную, да и поскачет к воеводе Прозоровскому... Думать надобно, потом делать...

Молчан вынул из кармана золотой, положил на стол перед дьяком. Тот попробовал монету на зуб, подивился, что шведская, спросил, откуда взята.

- От шведа и взята! - загадочно ответил Молчан. - Об сей денежке можно бы и сказку сказать, да недосуг ныне...

- А ты скажи! - попросил дьяк.

- Сказать, Федосей?

- Скажи! - ответил Кузнец. - Может, дьяк подобрее станет к делу к нашему...

Не торопясь, глухим голосом Молчан поведал дьяку историю подвига Рябова и спасения города Архангельска от шведского нашествия. Дьяк слушал, кивая, глаза его зажглись, губы задрожали, цыплячий пух на лице заходил ходуном. Шмыгая носом, он кинул монету обратно на стол, сказал смягченным голосом:

- И я, братие, человек русский, не возьму сии сиротские деньги. Он живот свой не устрашился положить за други своя, а мне мздоимствовать с горькой его печали? Пусть живоглоты подавятся, мне не надо, прокормлюсь...

И вновь стал спрашивать: где нынче кормщик Рябев, не помер ли еще в заточении господин капитан-командор Иевлев, как писалась челобитная, зверствует ли князь-воевода попрежнему. Молчан и Кузнец отвечали наперебой, пучеглазый дьяк слушал задумчиво, морщился, соображал. Было видно, что хочет помочь, ищет, да не знает, как. Поднявшись, сказал твердо:

- Ждите. Взавтра наведаюсь. По Москве не шатайтесь, ныне крепко беглых имают, пропадете ни за грош. Узнаю, чем помочь, кого из государевых добрых дружков где сыскать...

Всю долгую осеннюю ночь бредил и горько жаловался в бреду Федосей Кузнец: то жарко спорил он с богом и укорял его священным писанием, то спрашивал, как человеку жить, то кощунствовал и грозился злою своего недруга топором зарубить насмерть. И страшно было слушать отрывочные, хриплые, гневные и скорбные слова во тьме бесконечной ночи...

Утром Федосей, не вставая с лавки, разглядывая почерневшие ладони, тихо рассказывал деду Пафнутьичу, как занемог: шведское ядро во время баталии ударило в крепостной вал, осыпался кирпич, пушка поползла вниз и свалилась бы со стены, если бы он не вцепился в лафет

изо всех сил. Покуда подоспели другие пушкари, покуда подложили плашки, покуда подрычажили бревном, - он все держал лафет. С того дня и стал кашлять кровью.

- Бывает! - сказал Пафнутьич. - Порвал ты, мил человек, становую жилу. Теперь молиться надо...

Кузнец блеснул глазами, спросил старика:

- Кому молиться, дед?

Старик испугался, заморгал подслеповатыми глазками:

- Ты что? Как говоришь...

Молчан, зашивая прохудившийся сапог, миролюбиво сказал:

- Будет тебе, Федосей, шуметь. А занемог ты, братик, куда ранее. Еще как цепь ставили на Марковом острове - перхал все. Ничего, со временем отдышишься. Дело наше сделаем, уйдем на Волгу, тепло там, солнышко - во светит! Кумыс станешь пить, от него большая польза человеку бывает...

Федосей молчал, светло глядя перед собою, словно бы видел жаркий день над Волгою, плес, словно бы грелся на благодатном солнце.

- Наши-то мужички, небось, уж там гуляют... - сказал Молчан.

- Какие ваши?

Молчан, хитро и коротко усмехнувшись, ответил:

- Наши, дединька! Которые на цепи сидеть не желают. Разные мужички...

- Беглые, что ли?

- Зови беглыми...

- А вы того... - опасливо сказал старик, - вы бы полегче!

- Мы и так - полегче.

К ранним сумеркам пришел, запыхавшись, дьяк, торопясь, держа голову набок, глотая слова, спехом поведал все, что удалось ему вызнать по приказам: Меншиков Александр Данилович не то в Новгороде, не то во Пскове, искать его трудно - нынче туда поскакал, а завтра в иное место. Апраксин Федор Матвеевич был завчерашнего дни в Москве...

- Был, был, как же, - подтвердил дед, - был мимоездом, а все же со временем справился - заглянул и сюда...

- Сюда? - удивился дьяк.

- А чего ж! У нас и сам Петр Алексеевич бывал, не брезговал нашим хлебом-солью. Книги некоторые ему, государю, Родион Кириллович давал. А Апраксин Иевлеву Сильвестру Петровичу добрый друг, вроде брата. Приехал, повыспросил, как сам-то господин Полуектов помирал, поглядел книги да листы покойного, заказал мне со всею строгостью: храни, дед, яко зеницу ока сии богатства. Мне что... Я к тому и приставлен...

- Ты ему про Иевлева ничего не сказал? - спросил Федосей.

- Не посмел, мой батюшка. Дело хитрое. Зашумел бы еще на меня. Опала царская - остуда злая, а мое дело холопье... Сам посуди - Родион Кириллыч, и тот ничего поделать не мог, - что ж я-то? Небось, и вдова старается...

- Какая еще такая вдова?

- А Марья Никитишна! Который человек в узилище схвачен - тот, почитай, покойник. Пытают ноне крепко, не сдюжить...

- Стар ты, дед, а умом не разбогател! - сердито молвил Федосей. - Пытка! Знаем, видели...

- Ну, ну! - опасливо попросил старик. - К чему слова сии...

Дьяк перебил значительно:

- Вот размышляю я, люди мои добрые, размышляю и додумался: живет на Москве един только муж всесильнейший, самому государю свойственник, что ему челобитную отдать, что Петру Алексеевичу...

- Нам - царю! - хмуро молвил Молчан. - Мы к царю идем, не иначе.

- Ишь каков! Не иначе как к царю? Не просто, борода, нонче к царю попасть. Бери пониже. И пониже, да поближе...

- Кто ж он таков - твой пониже, да поближе?

- Погоди, не торопи, больно уж страшно его святое имечко, - не перекрестившись, и не выговоришь. В ворота к нему никто не захаживает. Сам государь одноколку свою на улице, возле дома, ставит. В карете, и то рядом не сядет, а всегда насупротив, и зовет его, будто, зверем. Сесть пред сим знаменитейшим мужем и не тщись кто бы ты ни

был, хушь какая расперсона: граф, али князь, али еще какой кавалер. Прежде как ему поклониться - надобно кубок хлебного вина на перце настоенного выпить, а подает то вино не кто иной, как злой медведь. Не выпьешь заздравную - медведь накажет...

- Ромодановский? - угрюмо догадался Молчан.

- Он самый, князь-кесарь Федор Юрьевич...

- Посулы берет?

- Ни в жизнь.

- Челобитную царю доставит?

- Как вздумается. Поверит - доставит, не поверит - самого тебя вздернет. Государь за честность его во всем ему верит. Может, когда и не пожалует, да потом простит...

- Что ж... Только бы взойти... - произнес Молчан.

Пафнутьич замахал слабыми старческими руками:

- И-и, соколик, не вздумай, батюшка! Погубит людишек, и вся недолга, он зверюга лютый, пытатель, кровищи пролил...

- Погоди, дед, не шуми попусту! - велел Молчан и, оборотившись к дьяку, стал спрашивать, как можно к сему князю-кесарю на глаза попасть.

Дьяк сказал, что нет такого замка, который бы золотым ключом не отпирался. Сам кесарь честен, да вокруг него разный народишко кормится, ход найти можно. Федор Юрьевич набожен: ежели прикинуться странником и поднести сему зверю какие ни есть от святых мест подношения, может и выслушает дело...

- Не ходи, Степаныч, не для чего! - крикнул с лавки Федосей. - Челобитную изорвет, потопчет, - как тогда будем?

- А я, Федосеюшко, без челобитной. Челобитная при тебе останется.

- Да ведь не выдраться от него живым! Сказнит!

- Меня-то? - с недоброй усмешкой молвил Молчан. - Нет, братие! Не народился еще тот человек, которому написано кончать меня. Я заговоренный...

И стал отсчитывать дьяку золото, потребное на подкуп людишек, кои оберегали князя-кесаря от просителей.

2. БЕЗ ЧИНУ, БЕЗ ВРЕМЕНИ...

Проснувшись на рассвете и чувствуя себя невыспавшимся и разбитым после длинной дороги из Пскова, Петр велел позвать цирюльника и послал за Ромодановским. Рядом, в соседнем покое, несмотря на ранний час, уже толпились люди, смутный гул голосов доносился в царскую опочивальню, где цирюльник, правя бритву о розовую ладонь, ровными движениями дочиста выбривал круглые щеки и подбородок с ямочкой.

- Чище, чище! - велел Петр. - Ишь, возле уха оставил. Да не возись, словно баба старая, недосуг нынче...

- Что касается до клочка невыбритого возле уха, - по-немецки ответил цирюльник, - то пусть ваше миропомазанное величество не затрудняет себя беспокойством. Это место у вас несколько раздражено и будет выбрито одним лишь прикосновением моего лезвия перед самым концом процедуры. Что же касается слов вашего миропомазанного величества о том, что я вожусь, как старая баба, то что делать? Я немолод, государь, я в том возрасте, когда мне нечем кичиться перед слабым полом, брить же государя - это величайшая ответственность, и, конечно, я не могу позволить себе торопиться, чем бы мне ни грозила медлительность. И, наконец, последнее ваше замечание о недосуге. Но был ли он у вас когда-нибудь, сей досуг, государь?

- И мелешь, и мелешь! - сказал Петр. - Ну чего мелешь? Проваливай, надоело. Не надо мне примочек твоих, иди, иди...

Денщик подал ему кафтан, он туго опоясался, велел:

- Зови, кто там первым пришел. Да еды вели подать сюда, оголодал я путем...

Вошел Ягужинский, поклонился:

- С благополучным...

- Тебе бы такое благополучие! - огрызнулся Петр. - Черти, шаркуны. Не тебя звал. Кто там дожидается...

Ягужинский, обидевшись, поджал губы:

- Я, государь, по делам, не терпящим отлагательства, сижу с ночи.

- Ну?

- Некоторые пастыри монастырские весьма многие пишут к твоей государевой милости...

- И во Псков писали! - не садясь и глядя на Ягужинского своими выпуклыми, насмешливыми глазами, молвил Петр. - Не продохнешь от них. Которым еще писать станут - пригрозись батогами. И повтори им, дьяволам, что слуг в монастырях и служников оставить самое малое число, где лишние будут - накажем. Еще напиши, дабы никакие монастыри под страхом великим ни земель, ни деревень покупать не смели. А новгородского игумна вели нынче же моим именем в монахи разжаловать...

Ягужинский быстро писал на грифельной доске.

- Я ему еще когда наказал - все мельницы, перевозы, мосты, пустоши, рыбные ловли в оброк желающим отдать, давеча купчину новгородского в пути повстречал - не отдают, говорит, в оброк. А нам оброчные доходы вот как нужны, позарез. И чтобы сана сего игумна отрешить. За плугом пусть походит, землицу поковыряет...

Денщик принес недожаренную впопыхах курицу. Петр стоя разодрал ее, стал грызть крепкими зубами, крикнул:

- А хлеба-то, Снегирев?

И, не сердясь, добродушно заворчал:

- Вовсе головы потеряли, во дворце царевом и поесть толком немочно.

- Несвычны, государь, - молвил Ягужинский. - Где сие видано: не в столовом покое, безо всякого чину, безо времени...

Ведомый под руки двумя преображенцами, вошел Ромодановский, земно поклонился, пыхтя сел на лавку. Петр, словно не замечая его, еще более часа слушал Ягужинского, диктовал указы, то о делании шляп из бобрового пуху и о том, чтобы сей пух более за море не возить, то о присылке к Москве из сибирских городов живых соболей и магнитного камня, то о том, что надобно дрова пилить, а не рубить топором. За Ягужинским велено было звать некоего иноземного моряка и навигатора по фамилии Боцис, прибывшего на русскую службу. Про Боциса

Ромодановский сказал со вздохом:

- Сему плавателю морскому верю, Петр Лексеич, не всем сердцем. Прибыл к нам без всяких договоров, денег вовсе не спрашивал, об твоем государевом жалованье не любопытствовал. С чего это мы ему занадобились?

Петр скосил на князя-кесаря глаза, посоветовал недобрым голосом:

- А ты его, Федор Юрьевич, попытай маненько! А?

И пригрозился:

- Ну, погоди, зверь! Поговорю ныне! Ты в Архангельске...

Дверь распахнулась, твердым шагом, не кланяясь, ровно неся свое начинающее полнеть тело, вошел комодор Боцис с переводчиком из Посольского двора. Дойдя до Петра, он быстрым и строгим взором посмотрел ему прямо в глаза и только тогда поклонился. На нем был короткий форменный кафтан, шитый серебром, под кафтаном камзол из тонкой телячьей кожи, у бедра толедская старая шпага без портупеи, в кольце.

- Боцис? - спросил Петр. Он всегда смущался, начиная беседу, смутился и ныне, но ненадолго. Дернув щекой, велел переводчику узнать, что привело господина комодора в Россию.

Боцис внимательно выслушал переводчика, подумал, заговорил не спеша, низким, спокойным голосом. Переводчик кивнул головой:

- Комодор Боцис услышал в далекой Далмации о том, что здесь началось строение флота. Его привлекла мысль быть полезным при начале большого дела, когда еще...

Он стал подыскивать слова, Петр помог:

- Я понимаю по-немецки.

- Когда еще не сделаны непоправимые поступки...

- Вздоры - он сказал, а не поступки! - улыбнулся Петр. - Потом, дескать, ничему не поможешь, а вначале можно и начать по-хорошему. Так ли? Что ж, комодор рассудил верно. Где господин Боцис служил ранее?

- Во флоте венецианском. Командовал галерами.

Петр задумался. Острый взгляд его упал на руку Боциса, на черный,

глухой, без всяких украшений перстень. Спросил:

- Для чего такое?

Боцис посмотрел на свой перстень, ответил не спеша:

- Сей перстень, ваше миропомазанное величество, означает вечный для меня траур.

- По ком?

- Сие имеет значение лишь для меня одного.

Царь дернул щекой, - так ему редко кто отвечал. Но Боцис смотрел без всякой дерзости, взгляд у него был честный, открытый. Петр Алексеевич опять кликнул Ягужинского - велел писать указ на определение комодора Боциса к строению галерного флота. Когда далматинец пошел к двери, Петр позвал его, удивился:

- Что же о государевом жалованье не спрашиваешь?

- Я приехал не на год, не на два, - ответил Боцис. - Я приехал, ваше миропомазанное величество, на вечное служение. Послужу - видно будет...

И, поклонившись, он ушел со своим переводчиком, а Петр запер за ними дверь на засов, сел на лавку, обернулся к Ромодановскому. Тот сидел неподвижно, словно колода, обсасывал ус, утирал пот шелковым, вышитым листьями и виноградными лозами платком.

- Ты что там, пес, натворил? - спросил Петр. - Ты для чего ероев в острожную ямину закопал?

Князь-кесарь выдул ус изо рта, с трудом повернул голову без шеи, ответил ровным высоким голосом:

- Для чего? А для того, Петр Лексеич, что сии ерои и не ерои вовсе, а злые тебе враги. Которые и по сей день пытаемы - воры с Азова, - они тем ворам стрелецким первые други. Ерои! Капитан Крыков был архангельским стрельцам головой, они поносные листы читали, скаредные слова про твою государеву персону говорили, они...

- Так то Крыков некий! - крикнул Петр. - А Иевлева пошто приплел?

- А ты погоди, батюшка, не кричи! - своим уверенным, тихим голосом перебил царя князь-кесарь. - Кричать не дело делать, да и пуганый я, не

испужаюсь. Как в прежние годы из-за моря приехал, кто был виноват в стрелецком бунте? Не я ли? Я и повинился, сказал: руби мне голову царской рукой, бери топор-мамуру, виновен, государь. Ты меня в уста облобызал...

Ромодановский пальцем снял слезу с глаза, помолчал. Молчал и Петр, косо поглядывая на князя-кесаря.

- Стрельцы вновь головы свои змеиные подымают, вновь шипят, жалами нацеливаются. Для чего, государь? Чтобы, тебя живота лишив, Русь повернуть на обратную дорогу. Ну, московский бунт давно был, крепко за него, людишек побили, а Азов? Азов-то не кончен! От Азова ниточки - тоненькие, а есть, по всей по матушке Руси побежали. И еще заговор стрелецкий открылся под рукою у верного твоего слуги - у князя Алексея Петровича Прозоровского. Город богатый, народишку пришлого много, свейские воинские люди пришли, под сие дело крутую кашу заварить можно, а как взопреет та каша - поздно станет. До Москвы докатится. Так говорю, Петр Лексеевич?

Петр молчал, стараясь раскурить свою трубку. Табак был сырой, трут плохо тлел.

- Дело темное, горькое, страшное, государь! - опять заговорил Ромодановский. - И мне, мнишь, в радость тебя сими вестями печаловать? Мне бы тихо доживать, да чтобы для тебя радость за радостью нашивать, а не огорчать сими горькими вестями. Я, государь, не шутя со всем вниманием прибывшего от Архангельска доблестного твоего слугу поручика Мехоношина выслушал, я не раз и не два с ним беседовал, во все подробности взошел, я листы прочитал некоторые и стороною про воеводу князя Прозоровского выведал. Верен он тебе, как и на Азове был верен, как и покойный Лефорт был тебе верен. И по-хорошему сделал, что сих злоумышленников в узилище заключил...

Трубка наконец раскурилась, Петр весь окутался дымом, молчал. Ромодановский все говорил своим высоким, ровным голосом, рассказывал про заговор в Архангельске, про восставших на острове мужиков, про то, как убит был верный царев слуга - думный дворянин

Ларионов, про то, как ушли мужики добывать зипуна в дальние леса, как тех мужиков поставил к делу в свое время Сильвестрка Иевлев - вор и государственный преступник. Было будто бы слышно, что те лесные приходимцы, бесчинствуя на дорогах, убили государева офицера господина Ремезова, что...

- Про Ремезова врешь! - перебил Петр. - Ремезова не они убили, а князя Черкасского племянничек, коего ты изловить никак не можешь...

- Они! - упрямо повторил Ромодановский. - Они и к Москве придут, от них всего жди. Они верных тебе людей - бояр, да князьев, да воевод всех изведут...

- Уж бояре да князья - чего вернее! - крикнул Петр. - Одни Хованские да Милославские чего стоят. Я-то помню...

Князь-кесарь смолчал, вздохнул.

- Не поверил бы про Иевлева, когда бы не Прозоровский! - молвил Петр. - Но только, что Алексей Петрович человек верный, то истинно. Ежели азовские смерды да холопи на Архангельске взыграли - Сильвестр первым на них бы пошел, истинно так...

Ромодановский молчал; блестящими, оплывшими глазками смотрел на Петра, слушал, как тот, дергая щекой, вслух то утверждает невиновность Иевлева, то вдруг сомневается, припоминая какие-то давние слова, сказанные Сильвестром Петровичем не то на Переяславском озере, не то в Преображенском... Слушал и поддакивал царю:

- Так, так, Петр Алексеевич, так, ненаглядный, так, солнышко краснее. Не просто то дело, нет, не просто. А ныне времена не легкие, сам говоришь - пред большими делами стоим, многое ожидаем, с недовыдерганными корнями стрелецкими - как сии дела делать? Коли смута зачалась, верчение сделалось...

- Так ведь Сильвестр-то! - опять мучаясь и не веря крикнул Петр. - Сильвестр! Мне давеча Меншиков говорил да Головин - оба в два голоса, что де кто-кто, а Иевлев... Ты вот что, ты, Федор Юрьевич, пошли к Архангельску какого ни есть мужика потолковее. Пущай сам допросит - с умом. Али, может, сюда привести? Тут бы и потолковать?

- Да для чего сюда, Петр Лексеевич? Там и народишко весь, там оно и виднее. А мужика, что ж. Мужика - подумаем. Покуда их еще всех изловят, не враз оно сделается. Ведь бунт готовился. Страшное дело. Думного-то дворянина...

Петр замахал руками, оскалился:

- Слышал, знаю. Ну, иди, трудись, иди. Что-то вовсе ты звероподобен сделался, князинька! Вина много трескаешь? Морда оплыла, синий весь...

С трудом поднявшись, князь-кесарь ответил смиренно:

- Винища и не вижу. Трудов немало, Петр Алексеевич, да при сих трудах один я. Всем иным либо недосуг, либо жалостливы. А я...

Он опять утер слезу, подошел к руке. Петр руку отдернул:

- Ну-ну, иди, иди.

И, помолчав, добавил:

- Одно в тебе есть - не сребролюбив. Одно - единое. Не сребролюбив и будто бы предан. Будто бы...

Когда князь-кесарь был уже в дверях, спросил:

- Афанасий чего пишет? Он-то знает! Без него нельзя, слышишь ли?

- Слышу, государь! - с трудом кланяясь, ответил Ромодановский. - Как не слышать!

Петр кликнул денщика, сердито приказал закладывать одноколку.

3. ЗВЕРЬ

К всесильнейшему цареву свойственнику Молчан попал на третий день после беседы с дьяком и на подворье встретил Мехоношина, который быстрым шагом шел к калитке. Поручик что-то насвистывал и был в таком добром расположении духа, что даже не заметил сивобородого мужика, прижавшегося к высокому тыну.

"Худо, - подумал Молчан, - вовсе худо!"

Но все-таки не ушел, а остался ждать и прождал с полудня до сумерек. Перед самым вечером шустрый парень вышел к нему возле черного крыльца и спросил:

- Для чего князь надобен?

- То, брат, я ему самому и поведаю.

- Вишь, как...

- Да уж так.

- А коли так, то и иди себе, смерд, со двора, да богу молись, что живым отсюдова справился.

Молчан огорчился, что срывается столь дорогое дело, и, стараясь говорить поелейнее, рассказал:

- Проведавши об великом благочестии князя-кесаря, желал бы я, раб недостойный, сему Федору Юрьевичу в ихние ручки поднести нечаянно мне доставшиеся свечу царьградскую, скляницу песка с реки Иорданской, да еще щепу от дуба маврикийского...

Парень поцокал зубом, покачался с каблука на носок и велел идти за ним. Молчан пошел, запоминая, для всякого опасения, путь. Сначала парень поднялся на галерею, потом зашагал по лестнице вниз. В темноте миновали многие тихие покои, где пред образами теплились лампады; потом вошли в низкие, глухие, со сводчатыми потолками сени. Окна здесь были забраны репьястыми железными ржавыми решетками, в стенах Молчан приметил железные с цепями кольца, лавки были ободраны, и пахло, словно в глухом бору, зверем. Мутный свет едва полз в маленькие слюдяные фортки, скоро и он погас, вечер догорел. Было душно, очень тихо и жутковато.

- Как княжеский дворецкий взойдет - так ему и подашь дары свои, - со странной усмешкой молвил парень. - Он тебе за то и зелена вина поднесет, ты не чинись, пей...

- Мне бы князю самому в руки...

- Не наша воля. Дворецкий, может, и сделает. Жди...

Молчан сел на лавку, еще огляделся. Перед небольшим иконостасом, перед старого письма иконами мягким светом светила лампада. По углам сеней в шандалах потрескивали новые, видать только что зажженные свечи.

С тяжелым чавкающим сырым звуком открылась вдруг низкая, кованная

железом дверь. Молчан вгляделся, вздрогнул, встал, прижался к стене. Вместо князя, которого он ждал, в сумерках, принюхиваясь, держа огромную, лобастую голову чуть набок, поблескивая умными и недоверчивыми маленькими глазами, из глубокого лаза выходил бурый, в свалявшейся шерсти, старый, матерый медведь.

Глухо поваркивая, взбрасывая высокий зад, он совсем вошел в сени, потянул в себя воздух и уставился на человека. За спиною Молчана, из-за репьястого железа его позвали. Ковыляя и принюхиваясь, мягким шагом с перевалкою он пошел на зов и, поднявшись на задние лапы, принял поднос, на котором были штоф вина, кубок и калач.

- Его и одаришь! - раздался из-за железной решетки покойно-насмешливый голос. - Он примет.

Молчан подумал мгновение, ответил с хитростью:

- Освященную свечу царьградскую, песок с реки Иорданской, щепу дуба маврикийского сей зверь получит от меня, егда умру. Сие кощунство вы, холопи благочестивейшего князя, без ведома его творите, и быть вам перед Федором Юрьевичем в ответе, паки и перед государем-батюшкой...

Из-за решетки коротко посвистали, медведь, покачиваясь и принюхиваясь, пошел на Молчана. Молчан не отступил, но тверже оперся спиною о стену, вынул нож, с которым никогда не расставался, и, держа его на высоте груди жалом вперед, приготовился ждать того последнего мгновения, когда надо будет ударить - метко и всего один раз, ибо долго драться с таким матерым зверем немыслимо.

- Убери нож! - раздался тот же покойно-насмешливый голос.

- Уведи зверя! - ответил Молчан.

Медведь подошел и еще понюхал, потом вдруг смешно поклонился.

- Пей чару! - сказали из-за решетки.

- Про чье здоровье?

- Про здоровье князя-кесаря боярина Ромодановского...

- Ин выпью!

Держа все так же нож в правой руке, Молчан налил левой из штофа в

кубок до краев, выпил крутыми глотками и закусил калачом. Вино было простое, сильно настоенное на перце. Закусив, Молчан быстро смял калач, вдруг неожиданно сунул в приоткрытую жарко дышащую пасть медведя. Зверь стал было жевать, но калач неудобно пристал к небу, и медведь зацмокал. Он был так близко от Молчана, что тот видел будылья от соломы в его свалявшейся шерсти на загрудинье и слышал запах парного мяса, который исходил из розовато-синей пасти зверя...

- Отдай же ему что принес для князя! - велел покойный голос из-за решетки.

- Не отдам!

- Так он и сам, детушка, возьмет, да только и с твоей шкурой!

И пронзительный свист - острый и короткий - вдруг пронесся по низким, душным сеням. Молчан тотчас же сорвал с подноса кубок, в котором было недопитое, наперченное вино, плеснул этим вином в налитые кровью глаза медведя и, выждав, пока зверь, всхрапывая и вытягиваясь вверх, занес над ним свою могучую, когтистую лапу, ударил наотмашь ножом в бурую шерстистую грудь, повернул жало и, чувствуя на своем лице горячую кровь, отскочил в сторону - глядеть, как пятится, ревя и хрипя перед смертью, то, что назначено было для его убийства.

Медведь рухнул огромной башкой о скамью, судорога прошла по его туше, поток темной крови растекся по полу, и с жалким стоном зверь околел. В сенях вновь стало тихо. Молчан обтер руки, достал из-за пазухи узелок с подношением, вздохнул.

Не сразу отворилась решетка в репьях. Пыхтя, закладывая седую прядь волос за ухо, вышел грузный, дородный боярин, пнул носком околевшего медведя, спросил отрывисто:

- Для чего медведя мне убил, смерд? Ко мне с ножом подбирался? Ходят, дары носят, знаем, - говорил он, исподлобья вглядываясь в Молчана, - а у каждого либо нож, либо петля, либо отрава...

Сивые усы висели над его красными, мокрыми губами, глаза смотрели тускло, мутно, щекастое лицо было покрыто потом. А из дверей один за другим показывались поддужные - здоровые мужики из княжеской

челяди...

- Медведя убил, с ножом пришел, для чего так?

С тоскою слушал его тусклые слова Молчан. Для чего пришел он сюда? Для того пришел, чтобы пожаловаться на страшные кривды и злейшие утеснения Прозоровского, для того, чтобы замолвить слово за Рябова и Иевлева, пришел за правдою - и вот травят его медведем, а когда он убил медведя, то ответит за то своею жизнью! Вот те и правда!

- Говори!

Молчан и теперь ничего не сказал - только взглянул на князя-кесаря. Тот вздернул плечом, отворотился. И тотчас же на него пошли холопи Ромодановского. Он мог еще отбиваться, нож был в его руке, но такая ужасная, такая горючая тоска стиснула ему сердце, что весь он обмяк, сел на лавку и дал себя скрутить ремнями...

В тихом дворе, под крупными, холодными звездами, его били. Он не чувствовал. Потом его бросили в какой-то подвал, потом на телеге, ночью, повезли куда-то далеко, должно быть на смерть. Но в переулке, за горелыми избами подвода вдруг остановилась, ему дали напиться, подняли, натянули поповскую рясу. Спотыкаясь, плохо соображая, он пошел за старухою, которая объясняла ночным караульщикам, что ведет не лихого человека, но батюшку - исповедовать умирающего. Караульщики посмеивались:

- Хорош поп-то! Видать, от доброго угощения ты его ведешь...

Старуха плевалась, жаловалась, что трезвого попа об эту пору никак не сыскать.

К петухам, к рассвету, в час, когда со скрежетом и скрипом открываются железные полотнища Фроловских ворот в Кремле, старуха привела Молчана на подворье покойного Полуектова. Здесь его ждали с едою, с водкою, с натопленной баней. Федосей, глядя на друга, утирая вдруг посыпавшиеся из глаз обильные, мелкие слезы, молвил:

- Ишь, Степаныч... Говорил я... Где ж... рази ты послушаешь...

Молчан не отвечал, глядел перед собою тоскующим взглядом. Дьяк радовался, хвастался своим пронырством, хитростью, умелостью, что-де

от самого Ромодановского из лапищ вытащил. Молчан сказал Федосею:

- Худо дело наше: самого Мехоношина - подлюгу-поручика там видел, веселенький шел. Уж он тут нашепчет...

Пафнутьич охал:

- Все без толку. Золото, почитай, кончили, - ахти, батюшки, деньжищ сколь много, а для чего...

После бани сделали совет и решили по совету дьяка подаваться к Воронежу: там Апраксин, он, может, и примет челобитную, а коли примет, то быть той челобитной в руках у Петра Алексеевича.

- Быть ли? - с угрюмой злобой спросил Молчан.

- Для чего ж идти! - крикнул Федосей. - Лучше уж здесь околевать...

- Ну, ин пойдем! Ножа вот только у меня нынче нет, а без ножа за правдой ходить боязно...

Пафнутьич купил незадорого добрый короткий кинжал, Павел Степанович полдня его точил на камне в сараюшке. Еще через день дьяк, чтобы не перехватили Молчана с Федосеем по пути караульщики, спроворил им лист с подписью и с висячей черной сургучной печатью. В листе было написано, что они гости-купцы суконной сотни, едут к Воронежу по своей торговой и комерц надобности.

- Что оно за комерц? - спросил Федосей.

- А кто его ведает! - ответил дьяк. - Велено так писать, мы и пишем. Комерц - значит комерц...

Федосей взял из рук дьяка бумагу, посмотрел на свет, покачал головою:

- Хитрая работа! Сам трудился?

- А кто же?

- Хорошо постарался. По торговой и комерц. Ишь...

Дьяк выпил за свои старания чарку водки, закусил капусткой, сказал, что надобно бы путникам приодеться, эдак и с любым комерцем их схватят. Пафнутьич, подумавши, молвил, что в полуектовском доме осталась кое-какая одежонка, покойный, надо быть, не осудит нисколько, ежели ту одежонку отдаст он на богоугодное дело Кузнецу да Молчану. Как-никак, все оно на пользу Сильвестру Петровичу...

- В своей тележке ехать надобно! - еще опрокинув чарку, посоветовал дьяк. - Сторговать незадорого можно. А пешком с сей бумагою негоже.

Молчан и Федосей переглянулись: денег оставалось вовсе немного.

- Он верно толкует! - сказал дед. - Покуда пешком протрюхаете, Федор Матвеевич и отъедет. Ныне подолгу-то на месте не сидят... Кому добро, коли не застанете?

В этот же вечер путники сторговали пару буланых коньков, ладную тележку, под рядно подложили сенца и, приодевшись в старые, добротного сукна кафтаны покойного окольничего, на прохладной зорьке, поутру выехали из ворот усадьбы Полуектова. Пафнутьич, всхлипывая и поеживаясь на утреннем холодке, поклонился вслед тележке и сказал дьяку, который закусывал прощальный посошок калачом:

- Ой, дьяк, сколь еще горя они примут, сколь мучениев. Да и доедет ли Федосеюшко до Воронежа? Слаб он ныне, немочен...

- Оно так...

- Не дожить ему до дела!

- Оно верно, что не дожить. Ну, а Молчан доживет. Того никакая сила не поломает. Одно слово - мужичок непоклонный...

4. КЛЯТВА

Ехали торной дорогой на Серпухов - Тулу, Елец - Воронеж, торопились, чтобы застать Апраксина на месте, спали урывками, более заботясь о копях, нежели о себе. Кузнец был куда беспокойнее Молчана, торопил непрестанно и все горевал, что не поспевают...

На зорях уже брали крепкие осенние утренники, дорожная грязь хрустела под коваными колесами тележки, но попозже пригревало солнышко, делалось тепло. Молчан, оглядывая тихие осенние поля и холмы, бедные деревушки, одинокие придорожные избы, узнавал родные места, невесело рассказывал Федосею о давно прошедших годах, о том, как мыкал здесь страшное крепостное житьишко, как били его батогами на дворе у боярина Зубова, как, замахнувшись ножом на своего князя,

ушел он в леса и зимнею порою жил там словно волк...

Федосей слушал рассеянно, глядел перед собою на дорогу горячечными глазами, надолго задумывался и, когда Молчан окликал его, словно бы пугался, вздрагивал. Ото дня ко дню становилось ему хуже. Он подолгу не мог вздохнуть, и тогда серое, изможденное недугом лицо его синело, пальцы скрючивались, он валился в тележку или просил остановиться и отлеживался на холодной сырой земле. Из груди его вырывались сипение и хрипы вперемежку с ругательствами на самого себя. А Молчан стоял над Федосеем, широко расставив ноги, глядел на него темным тоскующим взглядом и утешал неумело:

- Ты погоди... От Воронежа мы с тобой на Черный Яр подадимся, на Волгу-матушку. Там мужички наши поджидают, вздохнем малость. А оттудова к Астрахани. У меня там и дружки есть и хибару сыщем. Отогреешься, слышь, Федосей... Ты погоди!

Неподалеку от Ельца Молчан не выдержал, попросился свернуть с торной дороги в сторонку. Глухим от волнения голосом объяснил:

- Деревенька там - Дворищи. Вполглаза посмотрю, и далее поедем. Может, живы еще матушка с батюшкой, сестренка, братишка...

Федосей ответил опасливо:

- Гляди, да не попадись. Узнает кто...

- Я - поздним часом, ночным.

- Кому надобно и ночью видит...

- Нож со мною есть.

Тележку поставили в рощице, коней отпрягли, стреножили, Молчан ушел. Кузнец лежал неподвижно, смотрел в черное, вызвездившее небо, говорил с богом, горько корил его неправдами, что живут на земле, человеческими бедами, страшными несчастьями. Уныло, со злобою гукал филин, настороженно фыркали испуганные чем-то кони. Мерцали бесчисленные, далекие, холодные осенние звезды, - Федосей говорил с ними, как с богом, ругался на них, что-де смотрят, а ничего и не видят, что правда али неправда - все для них едино...

Томительно тянулась долгая ночь. Только к рассвету вернулся Молчан.

Федосей спросил его, повидал ли он своих. Молчан ответил, что не повидал, не довелось.

- Живы ли?

- Пожег всех боярин Зубов еще в те старопрежние времена! - запрягая коренника, ответил Молчан. - Спалил избу и стариков моих спалил живьем, и сестренку, и брата...

- Живьем?

- Живьем!

- Всех?

- Всех, до единого!

- Да за что же?

- За меня, за то, что я нож поднял на боярина и от его гнева ушел на Волгу...

Днем Кузнец видел, как развернул Молчан чистую тряпицу, в которой собрана была горстка земли, как снова завязал узелочек и спрятал его на груди. Более Молчан не вспоминал и не рассказывал, смотрел так же, как Федосей, перед собою на дорогу, сдвинув брови, крепко сжав губы.

Неподалеку от сельца Усмань Федосей велел Молчану остановиться и попросил постелить дерюжку на взгорье при дороге. Молчан с недоумением взглянул на товарища, сказал, что в сельце способнее будет отдохнуть.

- Нет, - сурово произнес Федосей, - приехал я, друг. Стели - помирать буду.

Молчан постелил. Был погожий, тихий, теплый день. Из сельца доносился благовест, Молчан вспомнил, что нынче воскресенье.

- Звонят! - глухим голосом произнес Федосей. - Ему звонят, богу, чтобы знал: Кузнец идет, обо всем спросит... И спрошу.

Он закрыл глаза, отдыхая, потом велел Молчану вынуть из его сапога золотые, припрятанные там, и забрать деньги к себе. Молчан, не споря, переложил кошелек, сел рядом с Федосеем на дерюжку, погладил его по худому плечу.

- Скоро! - пообещал Кузнец.

- Лежи, лежи!

- Уже нынче не вскочу, не побегу! - усмехнулся Федосей. - Доехал до места. Как оно в подорожной про нас сказано...

Долго вспоминал, потом с веселой важностью произнес:

- По торговой и комерц надобности...

И вдруг, приподнявшись на локтях, иным голосом строго велел:

- Сгоревшими батюшкой да матушкой твоими, Степаныч, братом да сестренкой, всеми сиротами да вдовами, всем горем и слезами, что ведаешь, - поклянись мне в сей час, что не отступишь от дела, кое нами начато, отдашь челобитную, кровью подписанную, не сробеешь ни пытки, ни самой смерти... Один ты теперь, одному-то куда труднее...

Молчан слушал, смотрел в слабо вспыхивающие глаза Кузнеца.

- Говори! - с тревогою попросил тот.

- Сделаю все как надобно! - твердо ответил Молчан. - Ты будь в спокойствии...

- Челобитная-то на мне.

- Знаю.

- Возьми, покуда жив я...

Молчан расстегнул кафтан на Федосее, ножиком подпорол толстые нитки. Федосей, точно успокоившись, лег на спину, вновь стал глядеть в небо с бегущими в нем легкими белыми облачками.

- У нас-то, поди, морозы! - сказал он вдруг.

- Где у нас?

- В Архангельском городе.

- Пожалуй, что и так...

- Клюквы бы кисленькой покушать...

Он кротко вздохнул.

- Похоронишь меня здесь, при дороге. Все веселее: люди едут, какие и песни поют, какие про свои дела толкуют. А на погосте, что ж... лежи с мертвыми...

- Похороню.

- Томно тебе, поди, сидеть-то со мной. Ты в сельцо сходи, погляди,

каково там, а я тем временем и справлюсь...

Но Молчан никуда не пошел, сидел возле Федосея, пока тот не впал в предсмертное забытье. Здесь же, поклонившись мертвому и поцеловав его холодеющий лоб, выкопал он взятой у проезжающего мужика лопатой могилу, сюда привез ему плотник из недальней деревеньки некрашеный гроб, сюда в надежде наживы пришел и поп с дьячком. К вечеру, к ветреным сумеркам, под низкими серыми тучами Молчан опустил гроб в могилу, постоял у невысокого холмика, а чуть позже в сельце Усмани, в кабаке, помянул новопреставленного Федосея чаркою водки. Чтобы не терять дорогого времени, всю эту ночь ехал без остановки...

5. В ВОРОНЕЖЕ

Приехав в город, Молчан два дня неотступно искал пути к Апраксину и, как ни бился, сыскать не мог. Здешние приходимцы - нагнанные воеводами по цареву указу лесовые пильщики, самопальные, бронные, пушечные мастера, зелейщики, конопатчики, плотники и столяры - ничего толком не знали, а если кто и знал, то побаивались вымолвить лишнее слово. Корабельные трудники-мужики на упрямые расспросы Молчана только отнекивались да пожимали плечами: Федора Матвеевича - и в личико-то его не видывали, ведать об нем не ведаем, куда нам, неумытым, вверх-то глядеть, за то, пожалуй, и спросят.

Шагая по удивительному своим многолюдством Воронежу, по его слободам, по земляному, пещерному городу, где бедовал рабочий люд, Молчан сердился: "Ну, народ! Сколь много слоняется его здесь - хушь в сажень складывай, а человека не видно".

В тоске вышел на реку, посмотрел корабли, выстроенные нагнанными мужиками: судов было много, стояли в линию, словно красуясь. Маленький мужичок с добрыми детски-голубыми глазками, с льняной бороденкой, в закатанных на жилистых ногах портках, с удовольствием в голосе говорил:

- Вишь, тот-то - баркалона именуется, князя Черкасского постройки. А за

ним "Барабан" - боярина Шереметева. Вон "Весы" - кравчего Салтыкова, еще "Сила", да "Отворенные врата", да "Цвет войны" - князя Троекурова...

- Троекурова? - спросил Молчан.

- Его...

- Он построил?

- А как же! - торопливо согласился мужичок. - Его кумпанство...

- Кумпанство, кумпанство! - со злобою в голосе передразнил кроткого мужичка Молчан. - Его кумпанство! Мужики хрип гнут, мужики помирают, кровью изошли, а он - кумпанство!

Мужичок заморгал растерянно, Молчан пошел в сторону, насупив клочкастые брови, сурово глядя перед собою на скучные ряды землянок, в которых жили строители царева корабельного флота. Из душных лазов доносился тяжелый, сырой дух, ребяческий плач, старческий кашель, пьяная ругань. Здесь же на таганках варилась скудная пиша, тут ели, отдыхали, спали, устав от каторжного, непосильного труда. Отсюда и бежали в дальние леса, в заозерную северную сторону, в далекие жаркие степи...

Проходя городской площадью, Молчан увидел правеж: человек с дюжину немолодых мужиков стояли, взявшись за поручень у приказной избы; возле них устало прохаживался палач, двигая острыми лопатками под пропотевшей от работы рубахою, бил с оттяжкою лозовыми батогами по налившимся кровью, синим, набухшим мужичьим икрам. Один - огромный, сивобородый, с завалившимися глазницами и потным лицом - приметился Молчану особым выражением какого-то скорбного и гневного терпения...

- За что их? - спросил Молчан у старика, стоящего опершись на посох возле церкви.

- Старосты они, батюшка. Бегит народишко ихний от корабельного строения, а тут еще речку Воронеж да Дон затеяли очищать, чтобы поглубже для кораблей были. Люди-то и вовсе побегли. Ну, им отдуваться...

Две старухи с деревянными подойниками принесли страдальцам молока. Палач присел в сторонке, старосты пили из подойников жадно, старухи крестили мучеников, утирали их потные лица.

Попозже, к вечеру, в царевом кабаке под бараньим черепом Молчан слушал рассудительного корабельного мастера, пришедшего с далекой Колы, неторопливого, с медленной речью. Мастер рассказывал, каково нелегко строить здесь на Воронеже суда. Помещики шлют в кумпанство стариков, да бывает мальчишек лет восьми-девяти, именуя их рабочими душами. Старики вовсе работать не могут, помирают в одночасье. Иноземцы, как и в Архангельске, когда там корабли строились, по большей части ничего в корабельном деле не смыслят, а только лишь ругаются да пишут господину Апраксину друг на друга доносы; голландцы не хотят слушаться датчанина, датчанин зубами скрежещет на итальянца, народишко от сего дела терпит горя - и не пересказать. Был адмиралтеец Протасьев - мужик башковитый, да ныне схвачен за караул вместе с воеводою Полонским, набрехали на них иноземцы нивесть чего...

- От их добра дождешь! - молвил Молчан.

Корабельный мастер, угостившись вином, наконец показал Молчану, где жительствует Федор Матвеевич Апраксин. Но едва Молчан вошел в калитку, как увидел Фаддейку Мирошникова - главноуправляющего приказчика у князя Зубова. Фаддейка был все таким же, как двадцать лет назад: мордастым и тяжелым, с огромными болтающимися руками. На совести этого человека был не один десяток засеченных им насмерть крепостных князя, но Молчан сдержал себя, чтобы не идти на верную гибель. Почти всю эту ночь он не сомкнул глаз - все гадал, для каких дел Мирошников торчал во дворе Апраксина и долго ли еще там проторчит.

На следующий день он опять увидел Фаддейку, и случилась эта встреча так, что и Мирошников его заметил, даже окликнул, но Молчан ушел не оборачиваясь, а управитель не стал его догонять, - решил, верно, что обознался.

Так наступил четверг. Утром в этот день писец с верфи подтвердил, что

Федор Матвеевич непременно уедет завтра, в пятницу. Надо было решиться, и Молчан решился.

В сумерки вошел он во двор избы, в которой жил Апраксин, и поднялся на невысокое крыльцо. В сенях слабо светил слюдяной фонарь, пахло кислыми щами, на овчинных полушубках, наваленных горою, дремал дежурный солдат. Из-за двери доносился гомон, громкие голоса спорящих, удалая песня.

- Тебе кого? - спросил солдат.

- Апраксина мне, Федора Матвеевича, по государеву делу! - внятно, четко ответил Молчан. - Здесь ли он?

Солдат снял с крюка тусклый фонарь, посмотрел на Молчана.

- Купец?

- Гость суконной сотни.

- Проходи!

Молчан вошел.

Прямо против двери, упираясь кулаками в широкую скамью, откинув голову, чему-то смеялся толстый, розовощекий, до сих пор еще кудрявый боярин Зубов. Несколько свечей, воткнутых в горлышки штофов, освещали его лоснящийся подбородок, шитый золотом кафтан, чарки, сулеи, блюда на столе, багровые от вина и духоты лица других пирующих.

- Ей-ей, перепьюсь! - смеясь, говорил Зубов. - Куда мне пить! И годы не те, и дело еще не сделано, - лес-то не продан...

- Продашь, князь!

- Твой-то лес, да не продать!

- Пей!

- Будет вам, право, будет! - все смеялся Зубов. - Нынче и так сколь премного выпито. Да и куда торопиться - чай, не на свадьбу...

Молчан стоял неподвижно: на этого человека за многие его неправды поднял он нож в старые годы. От него, от Зубова, ушел он в леса. Зубов в своих угодьях травил его собаками, как зверя. Зубов живьем сжег всю семью Молчана, от него, от князя, бежал Молчан на Волгу, с Волги - на

далекий вольный север. И вот нынче судьба свела - привелось встретиться.

Медленным движением сунул Молчан руку за пазуху, стиснул кинжал, но тотчас же опомнился: что бы ни случилось, должен он добиться Апраксина, не может он ради своего дела погубить челобитную, подписанную кровью. Надо смириться, утишить свое сердце.

- Тебе кого? - крикнул Молчану человек, сидящий рядом с Зубовым.

Зубов тоже взглянул на Молчана, на мгновение широкие брови его приподнялись, словно бы он узнал своего беглого холопа, но ему поднесли чару, и он отвел глаза.

"Узнал али не узнал? - подумал Молчан. - Вспомнил али не вспомнил?"

И степенным шагом прошел мимо шумливого застолья в дальнюю комнату, где при свете свечей, сняв кафтан, раздумывая над чертежом, с циркулем в руках стоял Федор Матвеевич Апраксин, но не такой, каким был он много лет назад в Архангельске, когда наезжал на Соломбальскую верфь, а другой: с глубокими залысинами на высоком лбу, с мешками под красными глазами, с опущенными плечами.

Не сразу он посмотрел на Молчана своим усталым взглядом. А когда посмотрел, то словно бы не увидел, все еще шептал про себя цифры, и белые пальцы его поигрывали циркулем.

- Кто таков? - спросил он наконец. - Велено никого сюда не пускать, все едино таскаетесь с утра до ночи. Чего надо?

- Прочти, Федор Матвеевич! Да нынче и прочти - до господина Иевлева касаемо, - настойчиво сказал Молчан и положил челобитную на корабельный чертеж перед Федором Матвеевичем. - Прочти и погляди - подписано кровью.

Апраксин швырнул циркуль, сел, потянулся за трубкой, но не дотянулся, - рука его так и повисла над столом. Долго, медленно, слово за словом читал и перечитывал он повесть о страданиях и пытках, о вымогательствах и насилиях, о дыбе и кнуте, обо всем, что творил воевода Прозоровский на протяжении тех лет, пока правил Севером. Читал о том, как силою и ложью вынудил он непокорных двинян

написать государю бумагу, вчитывался, раздумывал, и на бледном его лице проступали красные гневные пятна. Но странное дело: Молчану вдруг показалось, что не только разгневан Федор Матвеевич, а в то же время и доволен, словно бы ждал он такой бумаги и теперь скрытно радовался, что она у него в руках.

- Кто писал сей лист? - спросил он погодя.

- Многие двиняне.

- Не Крыков капитан?

- Не Крыков! - помедля ответил Молчан.

И опять ему показалось, что его ответом Апраксин доволен.

- Точно ли ведаешь, что не Крыков?

- Ведаю, что не он.

- Врешь!

- Врать не обучен!

Взгляды их встретились, оба помолчали. И, зная, что поступает умно и правильно, Молчан произнес:

- Сия челобитная, коли в руки государевы попадет, много может облегчить участь капитан-командора нашего Сильвестра Петровича Иевлева...

- Тебе-то что до него за дело? - спросил Апраксин.

- А такое мне до него дело, что под ним мы и шведского воинского человека на Двине побили, он из крепости, мы с острову. Про высадку шведов слышал? Как на острове те шведы побиты мужичками некоторыми были? Слышал? Вот в те поры мы и узнали Иевлева Сильвестра Петровича...

- Что в Архангельске говорят? За какие грехи он в узилище брошен?

- И он схвачен и Рябова-кормщика ищут не за грехи, а за правду...

- Так все и говорят?

- Все, да что в сем проку? Иноземцы, слышно, на него написали сказку, будто шведского воинского человека с почестями в цитадели принял; сам будто изменник и кормщика ради изменного дела послал к шведам на корабли...

- Есть ли такие, которые сему верят?

- Таких не знаю.

Опять помолчали. Федор Матвеевич вдруг спросил:

- Ты-то сам кто таков?

- А то тебе и ни к чему, Федор Матвеевич! - ответил Молчан. - Назовусь - ни хуже, ни лучше не станется. Проходимый я человек, и вся недолга.

- Беглый?

- Ну, беглый!

- От кого беглый?

- Беглый я от господина Зубова, который у тебя в столовом покое вино пьет. От него я беглый.

- И видел его, как ко мне шел?

- Видел, Федор Матвеевич.

- А все же пошел?

- Пошел.

- Может, он тебя и не помнит?

- Он не помнит, люди его помнят.

- Для чего ж ты шел?

- Челобитную нес. Не мои слезы, не моя кровь. Нес - и донес.

- А далее что будет?

- Там поглядим...

Федор Матвеевич с любопытством еще посмотрел на Молчана, спросил:

- Не моряк?

- Вроде бы и нет.

- Зря!

Он кликнул человека, велел ему вывести Молчана из дому.

- Ежели в столовом покое остановят сего негоцианта, скажи: некогда ему. Понял ли?

Солдат сказал, что понял, но Павел Степанович видел по его глазам, что ему невдомек, о чем идет речь...

Застолье в столовом покое стало еще веселее: два помещичьих недоросля плясали под рожечную музыку, офицеры, здешние дворяне,

корабельные мастера-иноземцы хлопали в ладоши, топали ногами, улюлюкали. Зубов стоял у двери, отхлебывая мед из кубка, не мигая смотрел на Молчана. Павел Степанович помедлил, но солдат-провожатый слегка подтолкнул его в спину, молвя:

- Иди, иди, господин купец, иди веселее...

За спиною князя в сизом табачном дыму стояли неподвижно, словно неживые, его люди, челядь в малиновых туго перепоясанных кафтанах - здоровые, сытые. А Фаддейки не было - он ждал во дворе...

- А ну, купца пустите! - молвил солдат за спиною Молчана, - а ну, поживее. Некогда господину гостю...

Князь, покосившись, слегка посторонился, солдат сказал вслед Молчану, что вот-де и вся недолга, и тотчас же Павел Степанович увидел Мирошникова, который пятился перед ним во дворе. Со всех сторон на него двигались зубовские люди, лунные блики прыгали по их лицам, и кинжал, который он держал в руке, теперь не мог ему помочь.

Он подался назад - и к забору, его тотчас же настигли и сбили с ног. Почти в это же мгновение княжеская челядь покрыла его дерюгой, чтобы он малость призадохнулся, и стала бить его сапогами. Потом его кинули на подводу и повезли до завтра в воронежскую усадьбу князя. Тут было и свое узилище, и погреб с дыбою, и палач для крепостных...

Поздней ночью Молчан очнулся, попил из корца воды, стал думать, как помочь своей беде. И вдруг спохватился - где рябовские золотые?

Золотые оказались в сапогах, княжеская челядь его не разула.

Попив еще воды и отдышавшись, Молчан подполз к дверям и окликнул караульщика.

- Чего тебе? - спросил грубый голос.

- Взойди! - попросил Молчан.

- Эва! - сказал караульщик. - Взойди! Хитер-бобер! Не велено нам.

- Серега, что ли? - хитро спросил Молчан.

- Серега давеча сменился.

- А тебя как величают? Лукашкой, что ли? - гадал Молчан.

- Семка я...

- Гордеевский, что ли?

- Не... Парфеновский...

- Парфеновский, Семка! - радостно, шепотом сказал Молчан. - Родня, ей-богу родня! Да ты, небось, крестником приходишься деду моему... Слышь! У меня золото есть. Много! Отпусти, отдам...

Семка усмехнулся, было слышно, как он почесывается за решетчатой дверью.

- Золото?..

- Ей-ей, золото! - громче, смелее заговорил Молчан. - Не отпустишь - все едино достанутся деньги князю. А денег много, с ними чего хочешь делай. Женатый ты?

- Нет, не женатый...

- Вот и вовсе ладно. Со мной казаковать пойдешь. Ты только погляди...

Он просунул сквозь решетку монету, караульщик взял ее, подивился:

- И верно, золото...

- Думай, Семка. Как рассветет - поздно будет...

Семка подумал, сказал со вздохом:

- Не я один. У ворот опять караульщик стоит, по улице хожалый ходит. Пропадем все...

- Золота много! - сказал Молчан. - Ты меня слушай, Семен, слушай чего скажу... Коней надо еще свести. На конях уйдем! На Волгу! Слушай, друг, у меня там народишко есть - кремень мужики. А продашь меня - все едино золото князю достанется. Ты наклонись пониже, слушай чего скажу... У меня золота кошелек полный. Поди, взбуди Серегу, иных ребят - всем хватит...

Еще не стало рассветать, когда Семка, сам не дыша от страха, отворил дверь узилища. Караульщика у ворот Молчан ударил ломом, тот упал не крикнув, словно куль с шерстью. Семен в это время выводил с конюшни лошадей. Хожалый за тыном постукивал колотушкой, покрикивал: "слушай!" Его тоже пришлось оглушить. Да и что их, боярских холуев-караульщиков, жалеть?

Днем беглецы были уже в безопасном от Воронежа расстоянии, ехали не

торопясь. Молчан спрашивал, где хоронятся беглые, как их отыскивать. Семен толком ничего не знал.

День был солнечный, но холодный, огромное прозрачное голубое небо висело над степью. Молчан, с трудом шевеля распухшими губами, говорил:

- Кумпанства! Какие такие кумпанства? Корабли, вишь, строят бояре! Как же, бояре! Нагнали народищу помирать, экая силища - мужики. Гнемся перед ними. А без нас что? Ни хлебца, ни дровишек! Робеем, оттого и худо терпим. Собрались бы числом поболее, тогда и берегись нас, тогда бы и боярство нам поклонилось, тогда бы и царь правду сведал. Князей, да бояр, да воевод перевешать, царя спросить: как жить станем? Небось бы, и зажили правдою, как надобно...

Семка жевал горбушку хлеба, опасливо посматривал на опухшее от побоев лицо Молчана, слушал его твердую, суровую речь, отвечал неопределенно:

- Оно так, конешно... Ежели с толком...

Молчан вдруг насупился, приказал:

- Поезжай сзади! Муторно мне и толковать с тобой! Лизоблюды вы боярские, истинно холуи...

...В это же самое время Федор Матвеевич Апраксин показывал Федору Алексеевичу Головину челобитную, подписанную кровью двинян, и, словно бы думая вслух, говорил:

- Сими днями будет государь здесь, подам ему сию челобитную, да что толку? Бывает, что и читать не станет, спросит только, про кого? Ну, про князиньку, про Алексея Петровича, будь он неладен.

Федор Алексеевич хмурился, тряс головой, вздыхал:

- Тут бесстрашно надобно, Федюша. Тут на кривой не объедешь. Истинно - капля по капле и камень долбит. Со всех сторон - ты, я, Меншиков, каждый понемногу...

- Мы понемногу, а Ромодановский помногу.

Головин усмехнулся:

- Все мы у сего дьявола в лапищах. Чего возжелает - того и нашепчет.

Стрельцами все пугает...

Погодя Апраксин говорил:

- Сведал я в точности: трое иноземцев на него, на Сильвестра, донос написали. Сим доносом и начал пакостить князинька Алексей Петрович. Пустил нить, завелась паутина! Господи пресвятый, что слез иноземцы из народа выбили, что крови волею сих наймитов пущено, другая бы Волга потекла. Как сию кривду повернуть?

Головин усмехнулся:

- Терпением, Федюша, не чем иным, как только терпением. Терпением да упорством...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Среди долины ровныя,
На гладкой высоте
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте...
Мерзляков

1. ТРУДНО ОДНОМУ!

Потом они сидели в чуме возле огня и молча ели жареную оленину. Совсем состарившийся Пайга, сморщенный, с редкой седой бороденкой, смотрел на Рябова добрыми простодушными глазами, выбирал для него лучшие куски мяса, протягивал на острие ножа. Так же поступал старший сын Пайги - Сермик, тоже седой, коренастый, плечистый. Рябов жевал медленно, в зеленых его глазах отражался огонек камелька, он думал свои невеселые думы.

- Ладно твоя инька-женка! - сказал Пайга, утешая кормщика. - Все совсем ладно в городе. Инька ладно, сынка ладно...

Рябов молчал. Сермик ловко отрезал кусок мяса, попробовал - мягкое ли, протянул Рябову.

- Сыт я, друг! - сказал кормщик. - Вот сыт!

Сермик огорчился, еще откусил от куска, опять протянул Рябову. Пайга велел сыну самому съесть этот кусок. Рябову отрезал другой.

- Ну, народ! - сказал Рябов. - Говорю - не лезет!

Сверху подул ветер, дым сразу наполнил весь чум, кормщик нагнулся пониже, чтобы дым не ел глаза. Пайга облизал руки, нож. Сермик сидел красный от сытости, улыбался. Кормщик все думал, хмуря брови.

- Пора мне, вот чего! - сказал он.

Пайга и Сермик не поняли.

- Собираться к дому пора! - задумчиво повторил кормщик.

Теперь Пайга понял и рассердился. Он всегда сердился, когда кормщик говорил о доме. Зачем ему город? Привезли из города всего израненного, а он опять туда собирается.

- Нынче ладно стал! - сказал Пайга, надувая щеки и показывая всем лицом, как потолстел Рябов. - Нынче здоровый стал!

И он еще надулся.

Сермик, глядя на отца, засмеялся, показывая черные редкие зубы.

- Много олешка надо! - сказал Пайга. - Кровь надо олешка. Тогда совсем жирный будешь, хороший. Тогда ладно...

- Ну ее, кровь, - шутливо морщась, ответил Рябов. - С души воротит...

- Кровь ладно! - сердито сказал Пайга. - Совсем дохлый был, вовсе дохлый, когда привезли. Нынче какой стал!

Сермик тоже рассердился - они оба сердились, когда Рябов не хотел есть парное оленье сердце или пить горячую оленью кровь. А Рябову было весело поддразнивать их. Они сердились и обижались быстро, как дети, и как дети радовались, когда Рябов их слушался.

- Не дохлый я был! - дразня, сказал он. - Чего выдумали! Дохлый! Я - хороший был. Жирный... Живой я был, а не дохлый!

- Живой? - крикнул Пайга.

- Ц-ц-ц! - зацмокал Сермик. - Совсем дохлый был. Ничего не говорил - вот как.

И он показал, какое лицо было у Рябова, когда его привезли в тундру и внесли в чум. Рябов расхохотался. Сермик тоже засмеялся. В темноте завозилась и засмеялась инька - жена Сермика, она укачивала ребенка и не смела сидеть с мужчинами у огня.

- Пожил - значит, пора и честь знать! - сказал Рябов. - Сами говорите - жирный стал. Скоро теперь соберусь, не нынче-завтра...

- Завтра снег будет - промышлять пойдем! - сказал Пайга.

В это время за стенами чума послышался громкий злой собачий лай. Рябов прислушался и быстро поднялся на ноги. Пайга тоже вскочил. Все они ждали из города младшего сына Пайги, но собаки не стали бы так злобно лаять на Тенеко.

- Иди, иди! - сказал Пайга, толкая Рябова в другую половину чума, в синикуй, где стояли идолы-божки и висела православная икона. - Иди, иди скоро, Иван!

Собаки теперь лаяли совсем близко, и уже слышны стали голоса самоедов, которые вели гостей к чуму Пайги.

Синикуй, отделанный оленьими шкурами, был темен. Рябов лег тут на оленью постель, прислушался. В случае появления солдат воеводы он мог уйти - шест был давно подпилен, стоило только отвернуть оленьи шкуры, и сразу же - воля. Куда идти - он тоже знал. Весь народ самоедов был здесь ему другом. Но уходить сейчас не хотелось, несколько дней подряд он зверовал в тундре и устал...

Гости меж тем уже входили, вернее - вползали в чум. По голосам их было трое и, как показалось вначале Рябову, все - незнакомые. Один говорил по-русски, охал и жаловался самоедам на тяжелую дорогу, другие двое переговаривались по-иностранному, и кормщик узнал их голоса - одноглазый перекупщик Шантре и его слуга Франц. Вот куда нынче занесло негоциантов: опять, видно, разгулялись, наступило для них вольное житье...

Иноземцы не узнали бы Рябова, так он зарос бородой и изменился за время жизни в тундре, но кто был третий - русский, - он не знал и потому остался лежать за пологом из оленьей шкуры. А гости шумно стаскивали с себя теплые одежки, жаловались, что в тундре подмораживает, и приветливо здоровались с самоедами, которые наполняли постепенно просторный чум гостеприимного Пайги.

Несмотря на то, что была уже ночь, Сермик, поточив нож, побежал резать

олешка, а его инька стала строгать на доске мерзлую рыбу. Путники же говорили в это время льстивые речи о том, что они от других самоедов много наслышаны, какой охотник и зверолов Пайга, как он богат песцами и какие добрые и почтительные у него сыновья. Пайга смеялся в ответ и говорил свое любимое "ладно".

Сермик принес дымящуюся печенку оленя, горячее парное сердце. Гости сели вокруг огня, другие самоеды из становища завистливо стояли за спинами приезжих. Рябов слегка отвернул оленью шкуру, внимательно вгляделся: одноглазый Шантре и его слуга сидели к нему спинами, русский был незнакомый. В руке русский купец держал большую медную флягу с водкой - отвечал угощением на угощение.

Кормщик перестал глядеть, отвернулся с досадой: опять напоят самоедов, опять за гроши отдадут они все, что напромышляли, опять будут, протрезвев, с угарными головами, сечь прутом своих божков, ругаться на православную икону, грозить и своим чурбанам и русскому богу, что не дадут им больше никогда ни кусочка оленьего мяса... А дело зимнее, надо и соли, и капканы новые, и сети поизносились, и пороху бы хорошо для зверованья.

Полежав немного, он сел, потянулся, прислушался. Пайга уже требовал еще водки, инька доставала песцовые шкурки, старик грозился купить всю водку, какая есть у купцов. Другие самоеды тоже побежали за шкурами. "Не надо бы, пожалуй, вылезать", - подумал кормщик и усмехнулся, зная, что не удержится, вылезет.

Гости не удивились, увидев русского: мало ли людей бродит по тундре. Пайга обрадовался, закричал заплетающимся языком:

- Иван, садись, пей, Иван!

Кормщик сел рядом со стариком, спокойно вгляделся в лисье, поросшее шерстью лицо русского купца, в его бегающие трезвые глазки. Шантре на своем ноже поджаривал в пламени ломтики мяса, пил свое вино из своего серебряного стаканчика. Слуга Франц разрывал зубами оленину, чавкал, жир капал ему на колени...

- Что ж, доброго застолья! - сказал Рябов спокойно.

- Садись с нами! - ответил купец, как подобает, приглашая крещеного выпить.

- Да уж сел! - усмехнулся кормщик.

Купец протянул ему щербатую чашку, плеснул водки.

- Промышляешь?

- Малым делом...

- Хороша ли охота?

- Для кого как, - ответил Рябов.

- Чернобурые есть ли?

- Почему не быть? Есть...

- Да ты, братец, пей. Угощаю! - пренебрежительно сказал купец.

Рябов пригубил, думая о купце словами песни: "Живет на высокой горе, далеко на стороне, хлеба не пашет, да рожь продает, деньги берет да в кубышку кладет". Усмехнулся, пригубил еще, отставил чашку.

- Чего смеешься-то? - спросил купец.

- А разве ты не велишь?

Купец беспокойно замигал, не зная, что ответить, потом отворотился, решив не обращать на Рябова внимания. Инька просунулась между Пайгою и мужем, положила на колени старику ворох песцовых шкурок. Шантре протянул длинную руку, стал, вытянув губы, дуть на мех, смотреть одним глазом подшерсток. Самоеды пили, фляга пустела. Пайга хвастался, что у него песца много, есть и получше, чего только нет у Пайги. Разве не самый лучший охотник старый Пайга? А его сын Сермик? Недаром Сермик родился в тот год, когда было много волков. А Тенеко? Пусть кто- нибудь скажет, что Тенеко плохой охотник. Ничего, ничего, придет время - старый Пайга купит своему младшему доброе ружье, тогда все увидят, как он может стрелять! Даже Большой Иван, и тот хвалит Тенеко. Пусть только купцы не жалеют водки, им незачем ехать в другие становища. Пайга здесь за все расплатится...

Шантре мигнул своему Францу, тот, утерев рот ладонью, пошел к нартам - за водкой.

- Для чего не пьешь? - спросил купец Рябова. - Ты пей, с тебя не спрошу,

небось православный...

- Чего пить-то? - спросил Рябов.

- А вино...

Рябов взял отставленную чашку, выплеснул водку в пламя камелька, спросил негромко:

- Другой не привез ли, господин купец? От сего зелья и помереть недолго.

Купец хотел было заругаться, но только смерил кормщика презрительным взглядом. Негоциант Шантре перестал жевать, самоеды, не понимая, смотрели то на купца, то на Рябова.

- Да ты кто таков взялся на мою голову? - плачущим голосом вдруг спросил купец. - Ты что за князь заявился? Сидит сычом, бельма выпучил, его по-христиански угощаешь, вино доброе, хлебное, а он...

- Не верещи! - внушительно сказал Рябов. - Зачем шумишь? Сиди, купец, чином. А кто я таков - то дело не твое. Одно ведай: меня здешние люди знают, а тебя с твоими дружками первый раз и видят. Что я велю - то здесь и станется, по-моему будет, а не по-вашему. Пришел торговать - торгуй, а варевом своим не опаивай.

Шантре принял флягу из рук своего слуги, с милостивой улыбкой сам разливал самоедам. Рябов строго произнес:

- Более не будет!

И вышел из дымного чума наружу.

В черном холодном осеннем небе, словно над морем, ясно горели и переливались, трепеща далекими огнями, крупные звезды, и у Рябова вдруг защемило сердце, показалось, что никогда более не услышать ему равномерного и мощного дыхания океана, не увидеть больше моря, как видит его корабельщик в далеком плавании, показалось, что навечно обречен он таиться, будто тать, либо в тайге у добрых самоедов, либо в подклети у бабиньки Евдохи, либо еще где...За что?

Или не пробито тело его злыми шведскими пулями, или заедает он на своем веку чужой хлеб, или сиротские слезы где-то льются по его кривде?

Тяжело шагая своей валкой, цепкой, морской походкой, он обошел чум, сел на купеческие нарты, задумался, почесывая шею остроухому псу, привалившемуся к его ноге. Пес сладко вздыхал. Из темноты подошли два других, встали поодаль, дожидаясь, пока и их почешут...

- Нанялся я вам чесать? - спросил Рябов.

Из чума вылез Франц с флягой в руке, подошел к нартам. Рябов сидел неподвижно, чесал шею псу. Другой пес, что стоял поодаль, зарычал на Франца.

- Будет вам водку жрать! - сердито произнес Рябов. - Иди отсюдова! Скажи: не велено!

Франц спросил с угрозою:

- Что такое?

- Иди отсюдова! - поднимаясь с нарт, сказал Рябов. - Иди!

Франц переложил флягу из правой руки в левую, правой стал шарить нож. Рябов ударил слугу по запястью с такой силой, что нож упал. Слуга осторожно попятился к чуму. Теперь все три собаки сердито рычали. Кормщик подобрал нож, тускло блестевший под ногами, положил его на бочонок, привязанный к нартам, вернулся было к чуму. Подумал немного - пошел назад к нартам. Собаки смотрели, ждали. Он сказал им, посмеиваясь:

- Вот, глядите, чего делать стану.

Ударил черенком ножа по затычке, повернул бочонок набок; водка, булькая, полилась на землю. Псы подошли нюхать, Рябов спросил серьезно:

- Не по нраву? А? Вам не по нраву, дурашкам, а я б нынешнего дни хватил. Ох, хватил бы! Хошь она и зелье, хошь она и отрава, а хватил бы. У нас как говорится? Горе не заедают, а запить можно...

Водка выливалась медленно, тогда он поднял бочонок руками, накренил. Из чума вылез Пайга, закричал:

- Иван, Иван, неладно делаешь, Иван!

- То-то, что ладно! - попрежнему с усмешкой ответил Рябов. - Иди, дед, иди! За водку я заплачу, ничего, меня-то не обсчитают, я ей, треклятой,

цену знаю...

2. ДОМОЙ ПОРА!

Переночевав в чуме у Пайги, купец сурово приказал Рябову заплатить за вылитый бочонок. Кормщик заплатил - ни много, ни мало, как раз в меру. Самоеды шумели вокруг, обижались, что гость платит гостю, но перечить никто не посмел. Когда совсем рассвело, Шантре начал торг: менял куски сукон, свинец, ножи, иглы, порох - на шкурки зверей. Самоеды - трезвые, наученные кормщиком, - дорожились, добрые меха таили, меняли что поплоше. Иноземец от злости кусал тонкие губы, купец бил себя в грудь кулаком, божился, менял товар из полы в полу, а когда торг подходил к концу, Рябов велел Пайге нести лисиц самых добрых, кидать перед торговыми людьми шкуры песцов - все то, что припрятывали до поры до времени. У Шантре при виде дорогих мехов один глаз увлажнился, Франц вынул из длинного ящика ружье, Пайга дрожащими руками потрогал ложе, ствол, погладил ружье, словно живого человека. Шантре потребовал еще лисиц. Рябов мигнул старику - прибавляй-де, но не помногу.

Пайга положил шкуру, Шантре потянул ружье к себе.

Пайга положил еще одну шкуру.

Шантре выпустил ружье из рук.

Рябов взял кусок свинца, мешочек пороху - положил к Пайге.

Шантре крикнул:

- Он у вас - князь, этот Иван?

Самоеды не поняли. Рябов, покуривая трубочку, командовал торгом, словно и впрямь был самоедским князем.

Расторговавшись, купцы уехали. Самоеды опять сели у огня в чуме Пайги; качая головами, рассматривали покупки, дивились на себя, как умно все нынче сделано, - купцы побывали, а горя нет, никто не плачет, никто на себе одежды не рвет, никто по земле не ползает пьяный. Кормщик ел строганину, лукавыми глазами всматривался в лица седых стариков самоедов, думал: "Дети, право, дети! Как есть ребята

несмышленые..."

Попозже из города вернулся Тенеко - младший сын Пайги, привез новости от Семисадова и Таисьи. Новости были короткие:

- Неладно. Сидеть чум надо. Город ходить не надо...

Вот и все новости.

Рябов, насупившись, ушел за олений полог, лег на спину... Неладно! Неладно - значит, Сильвестра Петровича не выпустили из острога и выпускать не собираются. Неладно означает, что зверюга-воевода все еще властвует, что дородный полуполковник на Москве ничему не помог. Закинув сильные руки за голову, щуря зеленые с искрами глаза, он лежал неподвижно, думал: Иевлев - раненый, измученный своим увечьем, один в тюрьме, в темной, сырой, холодной каморе. Небось, несладко одному, недужному, не зная, когда день, а когда ночь, ждать мучителей, истязателей, палачей.

Старый Пайга несколько раз заглядывал за олений полог: Рябов лежал неподвижно, смотрел пустыми глазами. Пайга шептался с сыновьями, выговаривал Тенеко за то, что огорчил он своими вестями дорогого гостя. Тенеко, весь поглощенный новым ружьем, не слышал отца.

Вечером Рябов сел на свое всегдашнее место у огня, сказал, что завтра с утра уходит. Самоеды всполошились, Пайга закричал:

- Неладно, Иван, неладно!

- Ладно, дед! - ответил кормщик.

Тогда самоеды стали между собой совещаться, - может быть, они обидели Большого Ивана? Шумели долго. Рябов посасывал свою трубочку, молчал, смотрел на огонь, как всегда вечерами. Над пламенем, на деревянной решетке в дыму коптилась оленина, инька - жена Сермика - ловко шила оленьими жилами, все было как раньше и вместе с тем - иначе. Рябов - уходил...

Они знали, что он никогда не меняет своих решений, и не спорили с ним, а только просили остаться и быть с ними всегда - завтра, и еще завтра, и еще, потому что у них хорошо, привольно, просторно, а в городе "больно пыльно". Рябов молчал улыбаясь, а самоеды рассказывали ему, как они

построят для него чум и дадут новые нюки - оленьи постели, чтобы чум был теплый, и вырубят ему умы - шесты, чтобы чум был высокий, как они подарят ему олешек много-много и собак подарят, чтобы сгоняли оленье стадо, и нарты подарят, чтобы было на чем ехать в другое место...

Улыбаясь, он слушал, как они хвалят ему свое бедное житье, которое он уже хорошо знал, как рассказывают о глубоких озерах, где столько рыбы, что ее не переловить ни завтра, ни еще завтра, ни потом, как хвастаются ягодой морошкой, птицей в тундре, быстрым, легким ходом нарт по снежному насту, гостеприимством своего народа.

Они говорили долго, перебивая друг друга, и лица их делались все грустнее и печальнее по мере того, как он отказывался остаться.

Ночью, пока кормщик спал, Пайга съездил за тадибеем - колдуном, который должен был "бить кудес", то есть заколдовать Рябова и внушить ему, что он остается в тундре. Кормщик открыл глаза, когда колдун уже стоял над ним в своей хохлатой шапке из меха росомахи, с бубенцами, нашитыми по швам малицы, с оловянными бляхами по спине и по плечам. Колдун не мигая смотрел на Рябова острыми глазками, и кормщик тоже смотрел на него не мигая, как бы говоря взглядом:

"А я тебя, плута, насквозь вижу..."

- Ладно, Иван, ладно будет! - беспокойным шепотом из-за плеча тадибея сказал Пайга. - Ладно!

Тадибей ударил сушеной заячьей лапкой по своему обтянутому кожей оленьего теленка решету, присел, завизжал, завертелся, опять вскочил. Самоеды испуганно поползли вон из чума, Пайга сидел на корточках, в детских глазах его было выражение ужаса...

- Бесей он из меня гонит, что ли? - спросил Рябов.

Колдун все вертелся. Барабан его трещал, на лице тадибея выступил пот. Безобразно кривляясь, он прыгал по чуму, выл, шипел змеем. Рябову надоело, он сел на шкурах, огладил волосы, сказал сурово:

- Будет. Слышь, что ли? Будет, говорю...

Тадибей приостановился, кормщик вынул из кошелька монету, протянул колдуну:

- На вот за труды.

Колдун подкинул денежку на ладони, спрятал ее за щеку, тоже сел. Рябов взял из его рук решето, заячью лапку, посмотрел бляхи на малице, пестрые суконки, пришитые к рукавам, медвежьи кости на шапке, сказал раздумчиво:

- Каждому своя снасть. Рыбаку одна, зверовщику другая, попу третья, колдуну тоже своя... Оно так - кормиться всем надобно...

За ночь выпал обильный снег. Пайга, жалостно прижимая руки к животу, все уговаривал остаться, сулил добрую охоту, пугал городом, что-де опять там погонят работать и кормить не станут, а только будут стегать кнутом, и кормщик вновь сделается "совсем дохлый".

Провожать его вышло все становище.

Каждый вел ему оленя - для иньки-женки, для сына, для самого Рябова, для хорошего друга, для пира, который он задаст, когда вернется. Рябов отнекивался, самоеды обижались. Тогда он стал отдаривать - ножом, порохом, свинцом, поясом, рукавицами. Самоеды, зайдясь, еще погнали олешков, понесли шкуры, пыжиковые шапки, малицу, совик. Рябов, сорвав с головы шапку, наступил на нее сапогом: он тоже зашелся - дарить добрым людям, так дарить; снял с плеча единственное, что имел, - ружье, протянул его Пайге. Пайга не брал, отмахивался. Тогда кормщик стал сбрасывать с нарт лисьи шкуры, песцов. Пайга подбирал, обратно совал в нарты. Все галдели, у всех были потные лица, у всех блестели глаза.

Наконец старший сын Пайги - Сермик взмахнул хореем, бросился на ходу в нарты, крикнул гортанно, протяжно:

- Оле-ле-ле-о!

Рябов тоже повалился в легкие санки, олени побежали, сразу набирая ход; сзади самоеды, делаясь все меньше и меньше, махали руками, шапками, кричали прощальные слова, и одно из них долго дрожало в морозном бодром воздухе:

- Ладно-о-о!

Рябов плотнее закутался в пушистую, очень теплую малицу, оправил

совик, улегся поудобнее в нартах. Еще долго виднелись черные дымы над чумами, потом и они исчезли. Бесконечная, искрящаяся под солнечными лучами тундра раскинулась на необозримые пространства вокруг.

Рябов закрыл глаза, задремал.

А Сермик запел песню.

Пел он долго: рассказывал олешкам, тундре, небу, снегам - какого хорошего гостя он провожает. Это большая честь провожать такого гостя, как Иван. Он куда сильнее самого матерого медведя и куда добрее самого доброго идола. Самоеды очень жалеют, что от них уезжает такой хороший и добрый друг. Старый Пайга плачет. Давно бы умер старый Пайга, если бы не Иван. Он умер бы много лет тому назад, когда на него накинули петлю и поволокли в город. Пропал бы он там. А Большой Иван заступался за старого Пайгу, жалел его и никому не позволял бить его. Зря уезжает Большой Иван. Как останутся без него самоеды? Плохо им будет теперь. Большой Иван всегда советует правильно, не обижает стариков, ласкает детей, жить бы ему да жить в тундре, а он вдруг собрался и теперь едет. Убьют его в городе. Разумный человек Иван, а делает глупости, как малый ребенок. Прощай, Иван, ничего тебя теперь не ждет, кроме смерти. Придется твоим друзьям проломать в стене той избы, где ты умрешь, дыру и вынести тебя, мертвого, на погост. Там положат в гроб твою чашку, ложку, хорей, чтобы было чем погонять олешек на том свете, а над могилой разломают нарты и накроют ими могильный холм. Нет, Иван, наверное ты не такой уж и умный, если едешь помирать. Плохо помирать! Зачем помирать? Вот как весело бегут олешки, как играет снег под солнечными лучами, сколько всяких следов звериных на свежем снежку, как много у тебя подарков, русский Большой Иван. Не надо тебе помирать...

3. ШПАГА АФАНАСИЯ ПЕТРОВИЧА

К ночи мороз стал забирать крепко.

Соловецкие монахи, задрав рясы, бегали по Архангельску - искали

хорошего кормщика, чтобы спехом вывел из Двины большие монастырские лодьи и карбасы, пришедшие в город за мукой и крупой.

Кормщик не находился. Один ушел в Холмогоры, другой подрядился рубить лес и только вчерашнего дня отбыл с артелью, третий занедужил, четвертый потонул во время баталии - упал с горящего брандера, пятый нивесть куда подевался.

Семисадов на костыле, прыгая по светлице, сказал соловецким мореходам:

- Мне отлучиться нельзя, я на цитадели нахожусь боцманом. Начальник у нас нынче, упаси боже, до чего строг. Забьет кнутами насмерть, собак таких поискать. А вам, честные отцы, нисходя к вашему горю, дам совет: идите на Мхи, проживает там кормщика Рябова вдова Таисья Антиповна. Поклонитесь, может, и сжалится, выведет суденышки ваши...

Монахи поблагодарили, поднялись уходить, потом вдруг всполошились:

- Да ты что, шутишь, боцман? Бабу - кормщиком?

- У нас мучки пшеничной, почитай, три тысячи пудов...

- Овес...

- Просо...

- Гречки у нас сколько кулей!

- Ты нам мужика скажи, для чего бабу?

Семисадов сердито ответил:

- Она с младых ногтей по морю хаживает, а вы - мужика! Она прошлого года сколько кораблей двинским стрежем вывела. Идите, отцы, нечего мне с вами время препровождать...

Монахи еще покидались по городу, поспрашивали, что за тетка такая - Таисья, кормщикова женка. Им отвечали, что Таисья Антиповна женщина доброй жизни, рукодельница, от своего сиротства многие искусства ведает, а последнее время стала сама кормщить, и морского дела старатели на нее не нахвалятся. Хаживает не токмо двинским стрежем, но и в море, компас-маточку знает, не пуглива, приветлива, сколько дадут - столько и возьмет, да еще и спасибо скажет.

- Откуда же бабе та премудрость? - спросил монах Симеон.

- Хаживала с добрыми кормщиками, обучилась... Да и муж у ней был, почитай, наипервеющий у нас кормщик - Рябов Иван Савватеев.

- Тот, что шведа на мель посадил?

- Тот, отче, тот самый...

Монахи еще между собою посовещались: ждать нечего, Двина встанет - тогда пропали, осталась обитель без муки и крупы. Да и богомольцы сбегут - холодно сидеть на лодьях и карбасах. И так они, бедняги, уже волком воют...

Таисья приняла Симеона с приличной вежливостью, тотчас же собралась, вышла к нему в бахилах, в меховушке, в теплых рукавицах. У причалов, где стояли монастырские суда с медными крестами на мачтах, собрала всех монахов-корабельщиков, сказала, под какими идти парусами, как смотреть за головной лодьей. Монахи трясли бородами, кивали. На рассвете ветер засвежел, двинская вода пристыла льдом к бортам и на палубах судов соловецкой флотилии.

- Вон она - цитадель! - сказал монах Симеон, обдирая сосульки с бороды.

- Здесь и баталия была. Вон он - корабль шведский, который супруг твой на мель посадил...

Таисья молчала.

- Велик подвиг! - со вздохом произнес Симеон. - Велик! Для такого дела достойного - и помереть благо. Вечная ему память...

Симеон перекрестился истово, Таисья смотрела в сторону - на выносные валы, на башни крепости, - вспоминала тот трудный день. Потом со всей силой налегла на стерно, обходя мель и высоко поднявшуюся корму шведского корабля "Корона". Там, на холодном ветру, что-то работали матросы, был слышен стук топоров и треск отдираемых досок. Таисье показалось, что ее окликнули и кто-то ей машет шапкой. Она провела соловецкую лодью совсем близко от мели и услышала знакомый голос:

- Таисья Антиповна-а! Давай к ша-анцам!

"Егорша! - с испугом узнала она. - Егорша Пустовойтов! Да откуда он взялся? Из узилища? Когда?" И тотчас же решила, что ошиблась, что Егорше здесь никак не быть, - томится, бедняга, на съезжей.

- Знакомый, что ли? - спросил Симеон.

- Кто его знает! - уклончиво ответила Таисья.

Монах ушел в каюту греться, Таисья еще оглянулась на крепость. Сзади, под всеми парусами, красиво, ходко шла соловецкая флотилия, солнечные лучи играли на медных крестах.

У сгоревших шанцев Таисья попросила спустить себе маленькую посудинку. Симеон, выпивший водочки-спопуточки, довольный, что лодьи нынче же будут в море, отвязал кошелек, высыпал ей на ладонь серебро, поблагодарил:

- Ну, Таисья Антиповна, выручила ты нас, бог тебя спаси. Кормись, добрая, а сей монет - сыночку твоему на пряники.

На шанцах таможенники были все незнакомые, жили в землянках, сгоревшие казармы чернели под свежим снегом. У хмурого усатого солдата Таисья спросила, не привиделся ли ей давеча господин Егор Пустовойтов.

Солдат удивился:

- Чего привиделся? Он нынче с утра здесь был, теперь начальным человеком над нами - заместо Крыкова Афанасия Петровича покойного...

- Вернется сюда?

- А как же не вернется? Вот землянку ему солдаты ладят. Ты погоди, покушай с нами каши, небось притомилась кормщить...

Таисья спустилась в землянку к таможенникам, села к печурке, стала греть руки. Вскорости пришел солдат Смирной, поклонился, вынул из-за пазухи малую пушечку, поставил ее на стол:

- В золе на горелище давеча отыскалась. Возьми, Таисья Антиповна, для сыночка твоего покойным Афанасием Петровичем делана. Его любовь, его забота...

Она взяла из рук Смирного почерневшую тяжелую пушечку, дохнула на медь, стала оттирать рукавом. Ствол игрушечной пушечки заблестел не сразу, но она оттирала настойчиво, осторожными, однообразными движениями, и медь сначала посветлела, потом засияла, как горячий уголь.

- Вишь, как! - сказал Смирной. - Огнем горит!

Сидя в землянке у печки, Таисья дремала, когда приехал Егорша. Он был не один - с матросами, похудевший, продрогший, голодный. Таисья не сразу узнала Пустовойтова, - так изменила его тюрьма.

- Я ведь сразу со съезжей на Мхи пошел к тебе, Таисья Антиповна, - быстро говорил он, - а ты только к лодьям отправилась. Побежал на пристань - монахи паруса вздевают. Кричал, кричал, не услышала ты... Сильвестр Петрович здоров, ничего. Отпустили меня, с чего не знаю, спехом, да сразу на шанцы приказали ехать - таможенным поручиком...

- Похудел ты, Егорушка...

- Похудеешь! - усмехнулся Пустовойтов.

И, поджав губы, стал разворачивать сверток, что принес с собою. Смирной поставил свечу поближе. Егорша разворачивал бережно, не торопясь.

- Что это? - спросила Таисья.

- Шпага! - сказал Егорша. - Афанасия Петровича шпага. Я в давние времена ее для него купил, он ее целовал, как произвели его в капитаны. А нынче отыскалась она на шведском корабле. Вот и буквы вырезаны на ней, покойный Прокопьев резал - видишь: Афанасий Крыков... Вот судьба!

Он поднял свечу повыше, показал буквы.

- Не повредило нисколько. Зажало ее сильно меж досок. Ржавчину очистим, в церкви повесим. Надо бы на цитадели, да собака Мехоношин, небось, не пустит...

К вечеру шпага блестела как новая. Егорша завернул ее в кусок чистого холста. К землянке, скрипя по свежему снегу, подъехали сани. Егор укрыл ноги Таисье полушубком, сам сел рядом, заговорил утешающе:

- И меня отпустили, и Лонгинова. Что стряслось - ума не приложу. Аггей сказывает - на Москве проведали, теперь воеводе недолго жить. Дьяки воеводские вовсе напуганы, мелют вздоры. Недолго теперь Ивану Савватеевичу ждать, скоро вернется из тундры из своей.

- Он и то измаялся! - сказала Таисья.

Ехали долго, полозья порою царапали мерзлую землю, первопуток был еще плох, морозный ветер сек лицо Таисье, руки ее заледенели. Егорша дважды в пути забегал в кружала, грелся водкой...

Поп церкви Параскевы-Пятницы еще только вставал, когда Таисья с Егоршей постучались в его покосившуюся гнилую избу. Услышав стук, попадья вздула огонь, поп вышел сердитый, непроспавшийся, никак не понимал, чего от него хотят.

- Капитан Крыков вора шведа первым встретил, - сказал Егорша, - и сам первый бой на себя принял. В том бою он честной смертью и погиб. Сия шпага его должна в церкви быть, таково ей место...

- По-доброму надо, батюшка! - попросила Таисья.

- По-доброму, так в храм на цитадели и несите! - ответил поп. - Мое дело стороннее. Пришли ни свет ни заря, стучат, вешай ихнюю шпагу. Чай, не образ...

Егорша побледнел, крикнул:

- Ты курохват да блиножор, - меру знай языком болтать! Не образ! Али ты архангельского народа не знаешь? Назавтра придут к тебе посадские, да дрягили, да рыбари, сам им земно поклонишься, дабы шпагу сию в алтарь тебе отдали.

- Не поклонюсь!

- Ну и леший с тобой, пес ты, а не поп!

Поп заругался, замахал на Егоршу руками, тот, выйдя с Таисьей, сказал:

- Ништо, Таисья Антиповна! Назавтра понесем шпагу в цитадель, откроют ворота, не посмеют, собаки, нарушить святое дело.

И добавил со вздохом:

- Был бы здоров преосвященный Афанасий, задал бы им страху - долгогривым, долго бы помнили...

4. ДОМА

Рябов сидел у стола, откинувшись на лавке, не торопясь пил вино. Бабинька уже сменила штоф, с опаской посматривала на Ивана Савватеевича, что не закусывает. Он не хмелел, только глаза его

делались светлее, словно бы зорче, да лицо становилось от водки строже. Марья Никитишна без слез, прямо глядя перед собою, рассказывала, как давеча были здесь дьяки Абросимов да Гусев, всех выслали из избы вон, стали ее спрашивать про Сильвестра Петровича, часто ли наведывался к Иевлеву покойный Крыков, чего они вместе делывали, об чем говорили, не поминали ли царевых злых ворогов - Милославских, да Хованских, да иных прочих...

- Ну?

- Вестимо, не поминали, говорю. А они опять за свое. Один вот здесь на лавке сидит, да глазищами меня сверлит, а другой позади, все покрикивает...

- Выгнать бы тебе их взашей, Марья Никитишна!

- Они узилищем стращали, Иван Савватеевич. Мы, говорит, тебя, даром что боярская дочка, в железы закуем, да на дыбу взденем, там закукуешь по-нашему, по-доброму. И еще все пытали про некоего шведского человека, что на цитадели был с почестями принят. А я-то знаю, мне Сильвестр Петрович еще в те поры сказывал, то - русский, Якоб его имечко, наш православный... Не верят. Лаяли меня поносными словами...

Она крепко вытерла лицо ладонями, повела плечом.

- И чего делать, ума не приложу. Егоршу отпустили, Лонгинова тож, а Сильвестр Петрович все томится, и никому не ведомо, когда кончатся его мучения.

- Об чем они там с Егором толковали? - спросил Рябов.

- Об том же! Дружен ли был покойный Крыков с Сильвестром Петровичем.

- А он чего?

- Правду сказал: дружны. И беседовали подолгу, и вдвоем бывали. Чего ж, люди воинские, мало ли...

Кормщик пристально посмотрел на Марью Никитишну, налил себе вина, медленно выцедил, погодя молвил:

- И с чего ты, Марья Никитишна, думаешь, что сим дьякам-курохватам надобно правду говорить? Ничего им не надо от нас слышать, ни единого

слова. Молчи знай да помалкивай, да еще молчи. А коли молчать невмоготу - толкуй одно: не знаемо, слыхом не слыхала, видом не видала. Так- о... Сей дьяк тебе одного лишь худа желает, от твоего худа - его хорошо. Так и не давай ты ему ни синь пороха, пусть хошь лопается на твоих на глазах...

- Я ведь... как лучше хотела, Иван Савватеевич...

- Шут с ними, с дьяками с сими! - молвил Рябов. - Наперед помни, что сказал. Я всякого навидался, Марья Никитишна, старый воробей, меня на мякине не проведешь...

Задумался ненадолго, потом спросил:

- Федосей Кузнец сюда не наведывался ли?

- Надо быть, захаживал! - ответила бабинька. - Да только верно не упомню, Ванечка. Народу-то к нам ходит - не перечесть, одни не живем. И к нам и к Марье Никитишне...

Кормщик взглянул на Иевлеву, она кивнула головою:

- Верно, многие бывают. От Москвы некоторые люди. Чудно как-то. Зайдет, посидит, от кого - помалкивает, потом вдруг должок некий отдаст - будто бы издавна Сильвестру Петровичу должен. Кто сам - молчит, потом, уходя, обнадежит. И не впрямь, а с осторожностью...

- И многие такие?

- Да вот - живем еще, и деньги есть...

Рябов усмехнулся, светло поглядел на Марью Никитишну, спросил:

- Выходит, свет не без добрых людей?

- Выходит, что так. Опалы стерегутся, а дело свое делают...

Он набил табаком трубку, примял табак пальцем, закурил. Марья Никитишна негромко рассказывала, как прожила это время, как пропала бы без Таисьи и без бабиньки Евдохи, без Ванятки...

- Да, уж и пропала бы! - сказала бабинька. - Что клепать на себя.

Обернулась и произнесла назидательно:

- Хошь ты, матушка Марья Никитишна, и дворянского роду, а спеси в тебе дворянской ни на грош нет. Женка и женка, как другие некоторые наши двинянки. Работой не гнушаешься, дарма слезы не льешь, дети

твои обихожены, давеча и дровишек наколола...

- Не я колола - Ванятка! - улыбнулась Марья Никитишна. - Он не дал!

- Тоже мужик? - спросил Рябов.

- А что? - сказала бабинька Евдоха. - Чем не мужик? Не едины женки да девки в избе живем, при нас парень. Давеча девы - Верунька да Иринка - мыша забоялись, он того мыша помелом и погнал. Мужик!

- Не сробел мыша-зверя?

- Он у нас не робкой дюжины...

Кормщик допил водку, потянулся, вышел наружу. Уже совсем рассвело. Флюгарка на крыше избы жалобно поскрипывала, в подклети кричалпетух. Было морозно. Из бани валил дым, пора было таскать воду. Бабинька Евдоха тоже вышла на крыльцо, сказала, вздрагивая на холоду:

- И что оно на свете деется, Ванечка? Когда его отпустят, Сильвестр-то Петровича? Так все ничего, а вот не спит она. Не спит и не спит. Какую ночь проснешься - сам ведаешь, сон у меня старушечий, легкий, - как глазыньки открою - смотрит. И темно, а все слышу - смотрит. Смотрит и смотрит...

Рябов не ответил, велел:

- Ванятку буди, бабинька, я с ним завсегда люблю париться. Он еще и не знает, что я к дому вернулся. И самоедина Сермика подымай, заспался. Пусть кочевью своему расскажет, как его большой Иван паром парил и мылом мылил, небось разахаются...

Ванятка выскочил на крыльцо, еще не разлепив сонных глаз, ахнул, увидев отца, смешно завизжал на олешек, что, словно в тундре, похаживали себе на крепких копытцах по двору.

Вдвоем с сыном кормщик долго возился с Сермиком, пока тот дался, чтобы с него содрали все его одежки. Бабка Евдоха, наметая глубокий сугроб во дворе, качала головою, слушала веселую возню в бане, улыбалась:

- Ну, беси, прости господи, прямо беси! Для острога парится, а сам чего вытворяет...

И колотила в банную стену ручкой метлы:

- Угорелые! Баню сломаете!

Там опять заячьим голосом закричал Сермик. Забасил в ответ, уговаривая, Рябов. Дверь заходила ходуном, потом вновь все стихло. Рябов говорил Сермику:

- Да ты что дуришь, парень! Вон какой мужик уродился, а бани боится. Сколько медведей побил, первый охотник в тундре, а воды с мылом ему страшно. В бане мыться - худо и убожество отмывать, лепоту и хорошество намывать...

Ванятка прыгал наверху, на полке, оттуда кричал:

- Тять, он на нас поглядит - и сам зачнет мыться. Тять, ей-ей так!

Сермик - голый, мускулистый, сердитый - ругался:

- Дохлый буду от бани, зачем неладно делаешь?

Рябов зачерпнул деревянным ведром кипятку, влил в бадью с холодной водой, веселясь плеснул в Сермика. Сермик подпрыгнул, закричал, за отцом плеснул Ванятка, потом еще раз Рябов. Сермик перестал визжать - заулыбался, глядя на Рябова и Ванятку, натер ветошку мылом, размазал мыльную пену по груди и по широким плечам.

- Что, брат, ладно? - спросил Рябов.

- Ладно, ладно! - ответил Сермик. - Если дохлый не буду - совсем тогда ладно...

Мылись и парились долго.

Когда отдыхали, сидя втроем на полке, Ванятка спросил тихонько:

- Тять, а то верно, что ты воровской корабль на мель посадил перед пушками?

Рябов засмущался; гладя сына по мокрой, в мелких кудряшках голове, ответил:

- Мало ли чего...

Ванятка вскинул на отца глаза, спросил упрямо:

- Ты посадил али нет?

- Надо было, так и посадил, сынуша...

Ванятка кивнул довольный, потом еще спросил, разглядывая шрамы на

спине, на плечах отца:

- За то и раны, батя?

- За то и раны, детка...

- Честные, значит, раны, тять?

- Честные, Ванюша! - понимая, улыбаясь, ответил кормщик.

Сермик тоже поводил пальцем по шрамам, поцокал, покачал головой:

- Ошкуй?

- Медведь, медведь, брат! - все еще улыбаясь, ответил Рябов. - Шведский медведь, ошкуй шведский...

Не договорив, он вдруг улюлюкнул лешачьим голосом, ткнул головой в дверцу, она отвалилась наружу в морозный день. Рябов выбросился в сугроб, наметенный бабинькой Евдохой. Ванятка, визжа, бросился за отцом. Оба, словно волчки, закрутились в рыхлом снегу, поднялись, побежали обратно в баню, в самый горячий пекучий пар; Сермик смотрел на их багровые тела вытаращенными глазами, цокал языком...

После бани, разомлевшие, пили с гостями квас, с Тимофеем Кочневым, с Иваном Кононовичем, с боцманом Семисадовым. Говорили о кораблях, спасенных от шведа. Теперь флот стоял в Соломбале. Там же снастили другие корабли. Иван Кононович жаловался, что нынче без Иевлева работы идут туго, иноземные мастера совсем ничего не делают, воевода в корабельном строении не смыслит, а слышно, что царь к лету собирается быть в Архангельске...

- Выходит, сохранили мы корабли-то? - угрюмо спросил Рябов.

- Сохранили! - сказал Иван Кононович, и глаза его за очками зажглись. - Ох, корабли! Поглядел бы ты, кормщик! Большие, добрые, для океанского ходу...

- Мы построили, мы и сберегли! - так же угрюмо заметил Рябов.

Боцман Семисадов осторожным голосом рассказал новость, будто давеча слышал: едет в Архангельск новый воевода - стольник Василий Андреевич Ржевский, а про князя будто ничего не известно. То ли быть ему здесь же без должности, то ли поедет кормиться в другие места.

Рябов слушал равнодушно, новостям не радовался.

- Может, и полегчает малость народишку-то! - сказал Семисадов.
- От них полегчает! - отозвался Рябов. - Тот - стольник, сей - князь. Поп попа кает - только перстом мигает...
- Ничего, - сказал Кочнев. - Прищемят, авось, хвост Прозоровскому...
- А может, что и впрямь до Москвы достигло? - спросил Семисадов.
Кормщик не сразу ответил, смотрел на огонь в печи. Бабинька у окна творила тесто на пироги, вздыхала:
- Ставить тесто, а радости нету, - не взойдут пироги, ахти мне...
У порога, там, где тянуло холодом со двора, дремал Сермик, за стеною о чем-то спорили иевлевские дочки. Ванятка стоял возле отца, смотрел на него со вниманием, слушал, как тот говорил:
- До Москвы достигло, как же... В воде, братья мои, черти, в земле - черви, в Крыму - татары, в лесу - сучки, в городе - крючки. Полезай киту в пузо, там окошко вставишь и зимовать станешь, более податься некуда...
Корабельные мастера и боцман смеялись. Ванятка спросил:
- Сказка такая, тятя?
- Не сказка - быль! - ответил Иван Кононович.
Еще посидели, поговорили. Семисадов сказал:
- Неосторожно ты все ж, Иван Савватеевич, в город-то пришел. Как бы греха не случилось...
Кормщик быстро взглянул на боцмана.
- Какой такой грех? Я сам в острог пойду, на съезжую. Сколько можно таиться? И ему, капитан-командору, чего ждать доброго, когда кормщик сбежал?
- Да ты в уме? - спросил Семисадов.
- То-то, что умнее тебя! - отозвался Рябов. - Он там немощный, раны его болят, один, да еще за меня отвечает. Нет, я им, псам, сам отвечу. Добро помнить надо, а разве не Сильвестр Петрович в те старопрежние годы бумагу мне выпросил у царя, чтобы монаси меня в подземелье своем не сгноили? Да и ты, я чай, помнишь, как мы с солдатами в монастырь пришли, вызволили рыбаков с Митрием покойным. Он и Таисье моей

много помог, когда я на Груманте зимовал, он и Ванятке моему крестный... Нет, брат, стыдно мне так жить.

Иван Кононович вздохнул:

- Стыдненько, да сытненько...

Семисадов перебил:

- То - правда, что человек он - неплох, и когда баталия была - его головой дело решалось. Он и крепость построил, он и пушки отлил, он и...

- То-то, что он.

- Оно к худу не будет, пожалуй! - согласился Семисадов. - Должно к доброму все сотвориться. Тебе, Иван Савватеевич, чего только не доставалось, ан все ты живой. И в море, и на Груманте, и на шведском корабле. Ничего, и ныне живым вынешься. Должно, за то, что живешь по правде...

Рябов засмеялся, ответил лукаво побасенкой:

- Как та женка, что гостью угощала, да, перепугавшись, и говорит: доедай, кума, девятую шанежку, мне все едино от мужа битой теперь быть...

Набухшая дверь с грохотом отворилась, вошла Таисья, испуганным голосом спросила с порога:

- Пришел?

- Пришел! - поднимаясь навстречу жене, ответил Рябов. - Хватит в тундре сидеть.

Как всегда на людях, он говорил с ней коротко, отрывая слова, но глаза его смотрели горячо и пристально, так же, как много лет назад, когда нанялся покрутчиком к ее отцу. И так же, как тогда, она словно бы слабела от этого взгляда.

- Жил бы себе и жил в тундре, - тихо сказала она. - Вон, слава богу, какой здоровый стал... Чего тебе здесь-то делать?

- И козлу, говорят, недосуг, - улыбаясь ответил кормщик. - И у него своя забота: надо коней на водопой провожать...

- Схватят тебя, Ванечка...

- А я не дамся! Я сам первый туда пойду.

Таисья знала, что он не шутит, так же, как понимала, - он пришел в город только затем, чтобы самому отправиться на съезжую... Но все это было так страшно, что ей не хотелось верить, и она пока только отмахнулась и молча начала стаскивать кожаные рыбацкие рукавицы, разматывать платок, разуваться. Она даже улыбалась, но слезы помимо ее воли текли по щекам, и плечи стали вздрагивать от рыданий.

- Да ты что, Таичка? - теряясь от вида плачущей жены, спросил Рябов. - Намаялась, что ли?..

- Не намаялась, - рыдая и не зная, что ответить, говорила она, - ничего я не намаялась, а только... еще беда, Ванечка: господина Крыкова шпагу отыскали, Афанасия Петровича... Повезли ту шпагу в церковь, - не взял батюшка... Все боятся, воеводы боятся. Поп, и тот боится, а чего? Чем он- о, покойник, грешен? Для чего шпагу в церковь не берут?

Таисья, всхлипывая, закрыла рот ладонью, в избе сделалось совсем тихо. Потом Семисадов сказал с глухой угрозой в голосе:

- Ничего, не испужаемся! Не больно пужливые! Сделаем как надо! Помирать - не в помирушки играть, а как Афанасий Петрович смерть принял - дай боже любому воинскому человеку. Быть его шпаге в церкви, да не у Параскевы, а в нашей, крепостной. С честью ту его доблестную шпагу внесем, и никто нам на пути не встанет, а встанет - сомнем. Верно говорю, Иван Савватеевич?

- Верно! - твердо и спокойно ответил Рябов.

5. КАК ЖЕ ИНАЧЕ БЫТЬ?

Весть о найденной шпаге доблестного капитана Крыкова, исконного двинянина и доброго человека, молниеносно облетела весь город Архангельск. Дружившие с Афанасием Петровичем, знавшие его близко много о том постарались, и крепкими словами поносили архангелогородцы того курохвата-попа, который посмел отказаться принять в церковь оружие погибшего капитана.

Стрелецкий полковник Вильгельм Нобл доложил о брожении умов в

городе князю Прозоровскому. Тот сердито засопел, но противодействовать не решился, а только сказал:

- Сбавить бы им, дьяволам, пыху, да как оно сделать? Ты вот чего... полковник... ты, этого! В крепость нечего шпагу тащить, а есть тут возле Гостиного двора часовня во имя Спаса нерукотворного, пусть там шпажонку его и вешают. Не на вовсе, а лишь на время. Все едино, Крыков сей перескок - он к шведам в полон ушел, так я на Москву и отписал...

Вильгельм Нобл с удивлением поднял брови: воевода в последние дни начал нести такую околесицу, что даже ко всему привычные дьяки только перемигивались.

- Но посадские люди, все здешние ремесленники и иные простолюдины желали бы видеть шпагу именно в крепостной церкви! - произнес полковник.

- Не к чему!

- Они будут шуметь!

- Как велено - делай! - произнес, не слушая, Прозоровский.

Полковник говорил. Воевода, подперев ладонями опухшее, бессмысленное лицо, смотрел на стенной ковер, на котором развешано было богатое оружие. "О, мой бог, он опять совершенно пьян!" - подумал Нобл, поклонился и ушел.

После беседы с полковником воевода занимался с дьяками. Дьяк Абросимов разложил перед князем опросные листы и рассказал, что давеча делалось на съезжей: кого пытали легонько, кого по второму разу, кто сильно пыткою "изумлен" был, а кто и не сдюжал - отдал богу душу.

- Пустовойтов что? - спросил воевода.

- Отпущен, как тобою, батюшка князь, велено. Что крепко были дружны Крыков со злодеем твоим Иевлевым - то все с его слов записано, а более чего нам надо?

- Кто челобитную к Москве свез? - спросил воевода.

И крикнул бешеным, неистовым голосом:

- Изведу всех, дознаю правду, злодеи мои, убивцы, иродово семя! Где те воры, пошто не пытаны, для чего не изловлены? Кто верного моего думного дворянина Ларионова стрелил смертно? С мушкетами, с ружьями на Волгу ушли, зипуна добывать, царевы злые вороги, а вам хоть что? Куда вы смотрели, псы? Где злодей мой, мужик Кузнец?

Дьяки, растерявшись, мямлили вздор, воевода совал жирный кулак им в лицо, топал ногами; зайдясь, рванул Молокоедова за бороду, поволок на расправу. Тот заверещал поросячьим голосом, князь отшвырнул его, повалился на лавку. Абросимов, вытягивая шею, шептал:

- Не иначе, как от Марьи Никитишны все зло, не иначе, как от нее. Сидит в рябовской избе - гордая, белая, кровинки в лице нет, а все с нами - как со псами шелудивыми. Бесстрашная ведьма! И от нее люди на Москве бывали, и к ней приходимцы некоторые наведывались - то подлинно, князь-воевода. Середь белого дня остерегаются, а как потемнее - и туда, на Мхи.

- От кого приходимцы?

- То не дознано. Может, и от того самого господина Апраксина - злого тебе ворога, может и от Головина Федора Алексеевича, может от Меншикова... Давеча на торге говорили: был будто здесь тайно некий человек, прозывался фискал, об тебе дерзостно спрашивал, а когда стали ему руки вязать, словно бы в воду канул...

- Отпустили, ироды! - завизжал князь.

- Как бы не так! - молвил издали, негромко, но с дерзостью в голосе, побитый Молокоедов. - Как бы не так, князинька! У сего фискала грамота с печатью и с

подписом...

- Чей подпис?

- То-то, что чей! Самого Апраксина. Крутит он там и на Москве и на Воронеже, все поперек князю-кесарю делает, вцепился зубищами, что и не оторвать.

Воевода поднялся, пнул ногой стреканувшего от него кота, заходил из угла в угол. Дьяки жались у двери, он их словно позабыл, так они и ушли

без всякого приказания.

Попозже приехал Мехоношин, встревоженный, злой. Облизывая тонкие губы, спросил, верно ли, что Ржевский уже на пути из Москвы к Архангельску. У князя ослабели ноги, он открыл рот, долго не мог вымолвить ни слова, потом шепотом спросил:

- На Москве-то, на Москве тебе что сказывали? Разве о сем речь была? Обласкали, одарили, а ныне вдруг...

- Видать, новое нечто пронюхали! - сказал Мехоношин. - Князь-кесарь так, а другие иначе. Больно ты прост, Алексей Петрович, больно головою крепок. Тут размышлять надобно...

- Да как размышлять, коли Ржевский едет?

- Едет не торопясь. Ему еще в Вологде дела препоручены.

И, кривясь от ненависти к воеводе, Мехоношин заговорил о том, что в беде никто не повинен, кроме самого князя: давно надо кончить с Иевлевым, мертвецы не болтливы, помер в узилище - и спроса нет. Горе мыкают нерешительные, слабые, те, что ни единого дела до конца сделать не могут. Вор капитан-командор, кабы после баталии попридержал покрепче иноземцев, может и не увяз бы, как нынче. А еще лучше было бы для него кончить в крепости и Риплея, и Звенбрега, и Лофтуса. Небось, нынче с досады пальцы грызет...

- Да ты научи, чего мне делать? - забормотал князь. - Как мне жить-то, господи преблагий...

- Как?

Мехоношин наклонился к самому лицу воеводы:

- А так, что перво-наперво развязаться с Иевлевым! Ночью с верными людьми придушить его в подземелье, - кто распознает, какой смертью он кончился?

- Где же сих людей взять?

- Коли крепко занадобится - отыщешь. Давно надо было то сделать, еще в те поры, когда я на Москве был, порошка подсыпать, али петлей удавить, али топором в темный час по башке. И Егора с Лонгиновым зря отпустил, не для чего было...

- Да, легко тебе говорить, когда письмо от Апраксина не тебе, мне...

- А ты бы то письмо Ромодановскому - дескать, кого мне, батюшка князь-кесарь, слушать... И с хитростью, дабы на Федора Матвеевича тоже тень почернее кинуть. Господин Ромодановский один противу их всех стоит, един никому не верит, един свою думу думает. Он бы эпистолию твою, князь-воевода, может до времени и придержал бы, а как над Апраксиным какая туча повиснет - письмо бы и пригодилось. Хаживал я к нему, знаю, чего князю-кесарю надобно. Имаешь-де ты здесь на Архангельске государевых воров, как на Азове делывал, бьешь нещадно к их царского величества удовольствию, рубишь корни, а корни те далече протянулись - и к Хованским, и к Милославским, и еще нивесть к кому. Я об том князю-кесарю сам говорил на Москве. А заводчиков всему делу здесь двое: первый - Крыков, на него все валить можно, он не ответит. Стрелецкий, дескать, бунт на Москве тоже не без него был. Егора бы вздели на дыбу, он и про Иевлева то же бы сказал. Сильвестр ныне слаб - со второй, с третьей пытки кончился бы...

Мехоношин подумал, добавил:

- Нет, нынче, пожалуй, поздно, князь. Уже не совладаешь. Робок ты. Сам все и погубил. И мужиков, которых я согнал тогда, не для чего было отпускать, на пытке многое бы сказали...

- Да разве ж я... Да господи... Своею волей, сами ушли...

- На то ты и воевода, чтобы не ихней волею делалось, а твоей, Алексей Петрович. Теперь, заместо того, чтобы корчиться у тебя в застенке, - гуляют. Думного убили, зипуна добывать пошли, жгут вотчины...

- Что же делать-то? - дребезжащим голосом спросил Прозоровский. - Пропадать нам теперь?

- Которые не до конца доделывают - тем пропадать! - безжалостно ответил Мехоношин. - Тут робость невместна. Али так, али эдак. Али ты голову срубишь, али тебе ее срубят. А за что рубить - есть. И то он, сам-то, долго молчит, терпит, ждет. Верный был ему слуга князь Прозоровский. Ну, а как все вызнается...

Воевода совсем помертвел, взмолился:

- Поручик, голубь! Один я, советчиков никого нет, вели, как быть, все по-твоему станется: какими людишками Иевлева кончать, кого хватать. Научи, соколик, не оставляй в горький час, вызволи...

Поручик, позевывая, будто оно ему и ни к чему, стал говорить, как надобно делать дальше. Прозоровский слушал, угодливо кивал, благодарил...

В дверь постучали, пришел Молокоедов, принес письмо. Князь сорвал печать, Мехоношин принял из его дрожащих рук бумагу, прочитал сначала про себя, потом наглым, бесстыжим голосом вслух. Письмо было совсем короткое: что-де едет к Архангельску воеводою на Двину князь Василий Ржевский, князю же Прозоровскому за многие его службы и ради преклонных лет и злых недугов жить отныне где похочет - хоть в своей вотчине, хоть в Архангельске, хоть в Холмогорах...

- Вишь, как! - шепотом промолвил Прозоровский.

- Да уж так, - усмехнулся Мехоношин. - Видать, дошла челобитная...

- С чего ж оно тебе видать? - спросил воевода. - Сказано: за многие его службы и ради преклонных лет и злых недугов. Коли б дошла - разве так обернулось бы?

- Дошла, дошла челобитная, батюшка! - встрял Молокоедов, и лицо его уже не выражало никакого почтения к князю-воеводе Прозоровскому. - Отставили тебя, Алексей Петрович, от кормления - это наперво, а далее, небось, быть суду, начеты станут считать, людишек опрашивать. Ой, худо тебе, батюшка, худо, князь, вовсе худо...

И без спроса, без поклона Молокоедов пошел к двери - звонить по городу, что воеводству Прозоровского пришел конец, рассказывать про него были и небылицы, вздыхать, качать с укоризною головой и жаловаться, как тяжко под ним было справлять государеву службу...

- Ты... куда? - по старой привычке было гаркнул князь, но тут же одумался и замахал ладонями: - Иди, иди! Иди уж...

Но Молокоедов еще постоял с улыбочкой, поморгал, и, опять-таки не поклонившись, ушел навсегда из воеводского дома.

- Что ж теперь делать станем? - спросил Прозоровский совсем робким,

виноватым голосом у Мехоношина. - Как теперь быть, поручик? Может, и верно от греха подальше в вотчинку, да и пересидеть там тихохонько грозу. Как скажешь?

- В вотчинку? - с недобрым смешком произнес Мехоношин.

- Туды. Тихохонько.

- И оттудова достанут! - сказал Мехоношин. - У Апраксина ручища длинная. Не ныне, так завтра, а только достанут. Непременно достанут... Спеху- о нет. Про дела твои не все знают, да, видать, и помнят заслуги твои на Азове. Иначе бы сразу на аркане поволокли, потому что, князюшка, наделал ты тут дел, наломал дров нешуточно...

Прозоровский просипел что-то невнятное, сидел обмякнув, смотрел пустыми глазами. Мехоношин поднялся, сказал, что зайдет попозже, тогда и решат, что делать; не торопясь, посвистывая, отправился к дьяку - получать государево жалованье всем служителям Новодвинской цитадели. Денег было много, считали долго, Мехоношин не раз и не два все пересчитывал сызнова. Для бодрости поручик велел принести полштофа вина.

- Как там воевода-то? - спросил дьяк.

- Худо! - ответил Мехоношин. - Спросят с него, строго спросят.

- Да уж не миновать...

Пересчитанные деньги дьяк услужливо всыпал в кожаный мешок, пошел провожать поручика до крыльца. Мехоношин приторочил сумку к седлу, поймал ногой стремя, не оглядываясь выехал за ворота.

Здесь ждали его два солдата - провожать казну. Он сказал им, что денег нынче получить не пришлось, оглядел рассеянным взором улицу, объехал кругом Гостиного двора и, постучав рукоятью нагайки в кружало к Тощаку, велел вынести самой лучшей водки. Тощак вынес.

- На, лови! - сказал Мехоношин и бросил целовальнику золотой.

Тощак поймал монету, поклонился.

Мехоношин, не глотая, вылил себе в горло вино, закусил корочкой и крепко сжал шпорами бока коню. Жеребец с места пошел наметем к холмогорской дороге.

Тощак проводил офицера взглядом, вернулся в кружало, сказал двум матросам из цитадели, игравшим в кости на щелчки:

- Сам поручик ваш подъезжал. Щедрый! Разбогател, видать!

- Домок бы ему в шесть досок! - ответил матрос. - Пес он, а не поручик...

Другой добавил:

- Добрые-то люди не живут, помирают, а такая шкура - вишь? Веселыми ногами ходит...

Дверь заскрипела, вошли еще человек десять матросов; Тощак налил им вина по маленькой, накидал в миску соленой рыбы. Они выпили не садясь; старшой - плечистый, румяный - приказал:

- Пошли ходом! После обедни сразу шпагу выносить будут!

Тощак догадался:

- Афанасия-то Петровича?

Крикнул губастого малого - сторожить, надел шубу с лисой, шапку, рукавицы. По улице, торопясь, шел народ: стрельцы в ярких цветастых кафтанах, подбитых стриженым бараньим мехом, матросы в своих жестких негреющих куртках, посадские, рыбаки, рыбацкие женки, зверовщики, промышленники, таможенные солдаты.

Аггей Пустовойтов строем повел своих матросов, таможенниками командовал Егорша, на конях поехали драгуны. В узкой Пробойной улице народ внезапно остановился, дорогу перегородили стрельцы полковника Вильгельма Нобла. Сидя в высоком седле, носатый, сизый от холода, он закричал, что хода к реке нет, что шпагу велено нести в часовню Спаса нерукотворного, что в крепости ее держать невместно. Какой-то низкорослый, плечистый дрягиль с ненавистью в хриплом голосе крикнул:

- Ты своих иноземцев учи, мы сами ведаем, чего нам делать!

Медники, хлебники, квасники, другие посадские сразу зашумели, заругались:

- Отъезжай с пути!

- Честью просим!

- Други, напирай!

- За узду его бери, за узду!

Чубарый конек полковника попятился, стрельцы, посмеиваясь, стали заворачивать своих коней в переулок. Нобла прижали к высокому тыну, народ прорвался, пошел быстрым шагом. Шпагу на чистой, вышитой руками Таисьи подушке нес таможенник Смирной, справа другой солдат нес таможенный прапорец. За городской рогаткой барабанщики враз ударили марш-парад. На снегу ярко, по-зимнему ослепительно светило солнце, с елей, с берез осыпались сверкающие снежинки. Рябов шел рядом с Ваняткой, по очереди брал на руки скоро устававших иевлевских дочек. Народ посматривал на него, все громче переговаривались люди: вот, мол, идет кормщик Рябов, тот, что посадил вражеский корабль на мель, тот, что был будто убит насмерть. Посадские оглядывались на него - огромного, широкоплечего, светло глядящего перед собою, узнавали Ванятку, вспоминали тот день, викторию, грохот пушек, свист ядер, шведские знамена на каменьях крепостного плаца.

После Смирного нес шпагу Егорша Пустовойтов, потом пушкарь - старенький, седенький. Про него рассказывали, что он из своей пушки сбил шведский кормовой флаг. Чем дальше берегом Двины двигалось шествие, тем больше народу прибавлялось к нему. Двинские рыбаки, подпоясываясь на ходу, догоняли народ, бежали женки, ребятишки.

Уже смеркалось, когда народ добрался до парома. Двина совсем почти стала, паром весь обледенел, иногда останавливался. На выносных валах крепости опальный стрелецкий голова Семен Борисович приказал зажечь смоляные факелы, крепостные пушкари стояли у пушек с зажженными фитилями - готовились к орудийному салюту. В широко раскрытых воротах крепости стояли матросы с палашами наголо, крепостные барабаны били "встречу". Тут на короткое время сделалось замешательство: Аггей Пустовойтов силой вытащил вперед Рябова, подал ему подушку, на которой тускло поблескивала шпага покойного Афанасия Петровича.

Кормщик сбросил шапку, холодный ветер растрепал его золотые с сединою волосы. Ему было жарко, бараний полушубок он расстегнул,

могучая грудь мерно вздымалась. Барабаны били не смолкая. Когда шествие миновало ворота, на валах запели горны, торжественно зазвонил колокол на крепостной церквушке. Совсем одряхлевший крепостной попик Иоанн в церковных вратах принял подушку, приложился к эфесу шпаги, понес ее вешать под образа.

Семисадов, стоя на паперти, поднял и опустил факел.

Пушкари на валах сунули фитили в затравки, могучий грохот потряс стены крепости, в церкви заколебались огоньки свечей. Пушкари выпалили трижды, трижды пороховое пламя освещало Двину, обледеневшую корму "Короны", березы на Марковом острове.

Когда все кончилось, Семисадов спросил у Рябова:

- Ну? Ладно сделали? Мехоношина, слава богу, куда-то черт унес, а то бы не дал ни из пушек палить, ни шпагу в церкви повесить.

Кормщик ответил:

- Сделали ладно, теперь помянуть надобно. Я Тощаку еще давеча велел ждать гостей.

Поздним вечером Тощак, кланяясь, встречал дружков покойного Афанасия Петровича. На столе уже была раскидана скатерть, за загородкой старуха пекла блины, - никуда не гоже поминанье без блина. Встречая народ, целовальник говорил приветливо:

- Помянем и кто богат и кто беден. Господина капитана память не уважить - черту душу продать.

Гости посмеивались:

- Она у тебя давно продана.

- Вы с чертом издавна побратались!

- Что съедим - заплатим, твое угощение известное.

Первый поминал Афанасия Петровича подручный пушечного мастера Кузнеца, мужчина с прокопченным лицом и пристальным взглядом умных карих глаз. Поднял кружку, сказал сурово:

- Что ж, Афанасий Петрович, друг добрый! Послужим и на том свете боярам: им в котлах кипеть, а нам - дрова подкладывать.

Рябов и Семисадов переглянулись: слова были странные. Но подручный

Федосея Кузнеца говорил так, будто знал что-то про Афанасия Петровича, чего другие не ведали. Залпом выпил свое вино, свел темные брови, задумался. Тощак принес миску блинов, Аггей Пустовойтов разлил по кружкам еще вина. Поминали не торопясь, каждый говорил, как помнил Крыкова, каким он был человеком, говорили и о большом и о малом, и о веселом и о печальном. Охотник, старик Кусков, улыбаясь, вспоминал, как Афанасий выслеживал зверя, как ходил на медведя. Таможенный солдат Смирной рассказал, как господин капитан-поручик учил таможенников искать воровские товары, чтобы неповадно было иноземным шхиперам обкрадывать государеву казну. И все вдруг словно бы услышали лукаво-насмешливый голос Крыкова, все, с радостью и гордостью за своего мужика-двинянина, вспомнили простое его обличье, веселый, искоса, взгляд, смелое да умное упрямство в таможенном нелегком деле.

После Смирного говорил Рябов, говорил глухо, медленно, и словно другой Афанасий Петрович появился среди застолья: тот, что, горько обиженный неправедными мздоимцами и сильными мира сего, не поддался горькой обиде, а еще нашел в себе силы честно служить капралом; тот, что помогал в нужде сиротам и не только добрым советом, но и делом; тот, что, став офицером, не забыл своего брата - мужика-рыбака, не забыл солдата, не забыл, от чьей он плоти и от чьей крови; тот, что и в добрый и в худой час - всегда был ровен, спокоен, дружествен; тот, что любил послушать песню, любил застолье, громкую жаркую беседу...

Когда расходились, подручный пушечного мастера Кузнеца, посмеиваясь, спросил Рябова:

- А не понял ты, кормщик, чего я давеча об котлах да боярах говорил?

- Теперь, кажись, понял! - ответил Рябов.

- Понял ли?

- Понял, друг. И тебе так скажу: покойник Афанасий Петрович тем и хорош был, что не шумел много. Знал поговорку, как у нас говорят: тише кричи - бояре на печи.

Уже ночь наступила, когда Рябов пришел домой. Ванятка, намаявшись за день, весь разметавшись, спал на широкой лавке. Таисья поднялась навстречу мужу, обняла его, припала к широкой груди.

- Собрала? - тихо спросил он.

Таисья молча кивнула на узелок, лежащий на лавке у печи. Она не плакала, только лицо ее было очень бледно.

- Озябла? - спросил кормщик.

- Должно быть, озябла! - спрятав лицо у него на груди, ответила она.

Он молчал, не зная, как утишить ее страдания, ласково поглаживая ее вздрагивающее плечо...

- Студено на дворе? - спросила Таисья.

- Морозит!

Ванятка вздохнул во сне, зачмокал губами, завозился на лавке.

Рябов оглянулся на него, крепче обнял жену.

- Ты не бойся, лапушка! - сказал он тихо. - Как же иначе быть? Иначе ладно ли?

Она не отвечала.

- Не идти, что ли? - совсем тихо, как бы испытывая ее, спросил кормщик. -

Сбежать?

Таисья молчала.

- Вишь, как! - со вздохом сказал кормщик. - Надо, детынька, идти. По совести, иначе и жизнь не в жизнь. Иначе как же? Иван вырастет, укорит: ты, скажет, почему не по-хорошему тогда сделал? Почему Иевлева капитан-командора кинул в беде? Как же мне тогда и доживать? Да и Марье Никитишне, горемыке, обещался я давеча. Слово-то дадено...

Таисья откинула голову, жадно взглянула в его зеленые глаза, сказала со стоном:

- Сколько ж так можно, Ванечка? Извелась я, Ванечка, измучилась вся. Голова мутится, нет более сил у меня.

Он молчал, смотрел на нее сверху с печальной нежностью, словно и вправду был виноват. А она говорила, захлебываясь слезами, задыхаясь,

упрекая его в том, что самое тяжкое, самое страшное он всегда берет на свои плечи, всегда делает сам: и в монастыре пошел против братии первым, и когда суда на верфи строил - никому не поклонился, и на Груманте было ему хуже, чем другим, и корабль шведский взялся посадить на мель, и в тюрьму теперь идет на лютые муки...

- Сын у нас без отца растет, Ванечка! - рыдая говорила она. - Я все одна да одна, вдова при живом муже...

- Выходит - оставаться? - строго спросил Рябов.

Она не ответила - вдруг стихнув, глядя на него с испугом. Слезы еще катились по ее щекам, но она больше не плакала, ждала, закусив губу.

- То-то, что не можно мне оставаться! - сам себе ответил он и взял узелок с лавки.

Таисья рванулась к нему, заслонила собою дверь.

- Будет тебе, Таюшка! - с суровой нежностью сказал он, отстраняя ее с пути. - Будет, лапушка. Жди. Еще свидимся...

И притворил за собою дверь.

Таисья вскрикнула, руки ее отпустили косяк, за который она держалась, ноги подкосились. В тишине она ясно услышала его твердые неторопливые шаги по скрипящему снегу, услышала, как отворил он калитку. Потом все стихло.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Тюрьма мне в честь, не в укоризну,
За дело правое я в ней;
И мне ль стыдиться сих цепей,
Когда ношу их за отчизну.
Рылеев

1. СО СВИДАНЬИЦЕМ, СИЛЬВЕСТР ПЕТРОВИЧ!

По скрипящему морозному снегу, помахивая узелком, не торопясь, переулками он вышел к Двине и остановился надолго. Круглая холодная луна освещала своим неласковым светом вмерзающие в лед корабли - те самые тринадцать судов, что остались целыми после шведского

нашествия. Семисадов привел их на зимовку к городу, и теперь Рябов с радостью и гордостью узнавал знакомые обводы, мачты, реи, бушприты. Вот "Павел", который он провел тогда перед иноземными кораблями. Вот другое судно, на котором ходили в море и спасались в Унских Рогах. Вот корабль, который построен в Соломбале. Вот еще "Святое пророчество". Вот "Апостолы"...

Щурясь, посасывая короткую трубочку, сплевывая горькую слюну, он всматривался в корабли, в огоньки, которые там мелькали, вслушивался в протяжные звуки старой поморской песни, которую пели матросы, и, дивясь, качал головой: было странно, что на таких больших, для океанского ходу, кораблях русские матросы поют русские песни, было непривычно смотреть на русские многопластовые военные суда - русский флот!

"А чего? И я сам эти корабли строил! - думал Рябов. - Я, да еще Иван Кононович, да Молчан пропавший, да самоедин Пайга, да Тимофей, - мало ли нас было. Строили, глядишь - и выстроили. Теперь ничего и не скажешь, нынче - флот".

Ему вспомнились шведские военные корабли и "Корона", которую он посадил на мель и на которой убили Митеньку; он вздохнул, пожалел Митрия, что не увидит, как весной, в полную воду пойдут корабли в море.

"Не пожгли! - спокойно думал Рябов, вслушиваясь в широкий вольный напев, несущийся с большого корабля, - не пожгли шведские воры! Вишь, близко было, да не сделалось. И Семисадов с Иевлевым хорошо надумали увести тогда флот. Вдруг бы меня шведы, как Митрия, убили, может и удалось бы им, окаянным, к городу проскочить. Тогда спалили бы, воры, корабли..."

Он еще постоял, жалея флот, который могли бы спалить, - дорого дался он, ради него умерло столько народу. Потом подтянул потуже пояс на полушубке и, словно бы торопясь за делом, пошел вдоль Двины, мимо кораблей - к съезжей.

Здесь, несмотря на позднее время, кормщик застал какое-то смутное

беспокойство и даже смятение. Дьяк Гусев, увидев Рябова, отвел от него свои подпухшие глазки и сделал вид, что не заметил кормщика. Другой дьяк, Абросимов, суя кулаки в лицо старому драгуну, кричал на него, что ежели персона не сыщется, то от драгуна и мокрого места не останется. Здесь же в углу, злобно тараща глаза, размашисто писал при свете витых свечей стрелецкий полковник Нобл. Скрипучая черная дверь то и дело хлопала, впуская и выпуская матросов, рейтар, стрельцов и драгун; под окошком, заделанным железными прутьями в репьях, часто слышался конский топот, ржание, сиплая брань продрогших людей.

Рябов сел на лавку, положил возле себя узелок, подождал. Погодя спросил:

- Домой мне, что ли, идти, али как?

Дьяк не услышал вопроса. Рядом с кормщиком на лавке переобувался рейтар с веселыми живыми глазами. Кормщик спросил у него шепотом:

- Чего они тут - сбесились, что ли?

Рейтар подтянул сапог, поправил голенище, сказал неопределенно:

- Сбесишься!

- Кого ищут-то?

- Комендант сбежал с крепости - господин Мехоношин. И казну увел...

Рябов присвистнул, в глазах его вспыхнули веселые искры.

- Много ли казны-то?

- Не считал, да будто - много. Государево жалованье, подрядчикам платить. Небось, нам с тобой той казны на всю бы жизнь хватило... Теперь ищи ветра в поле. Конь у него добрый, сам - малый не промах, золото у него нынче есть... Да то еще не все, а самое начало...

- А что ж конец?

- Воевода новый едет. Ржевский - стольник.

- А наш-то?

- Будто вовсе недужен. Как про Мехоношина узнал - так и повалился. Не крикнул.

- Помер?

- Зачем помер? Живет. Языка лишился. Мычит будто и все пальчиком к

себе подзывает. Святых тайн причастился.

Рябов покачал головою:

- Ишь ты...

Рейтар переобулся, потопал по полу сапогами, сказал весело:

- Так-то получше, а то вовсе заколели ноги. Опять посылают - искать.

Он ушел, Рябов поднялся с лавки, подошел к дьяку Гусеву. Тот вскинул на него отекшие глазки, будто бы припоминая, что за человек перед ним. Абросимов, отвернувшись, задумчиво жевал пирог.

- Как же будет-то? - спросил кормщик.

- Чего как будет?

- А того! - с насмешкой отозвался Рябов. - Вон он - я. Слышал, искали меня. Пришел. Веди куда надо, а не то - я домой дорогу не забыл...

- Ты мне не указывай! - сказал Гусев.

И зашептался с Абросимовым. Полковник Нобл все писал, попрежнему тараща глаза. К съезжей еще подъехали драгуны, вновь бухнула дверь. Через малое время пришли два караульщика, у одного в руке был слюдяной фонарь. Гусев кивнул на кормщика. Молча они вывели его в сени, повели по ступенькам вниз. Из темноты дышало холодом и плесенью, как в подземелье Николо-Корельского монастыря. Рябов ступал медленно, нащупывал ногою кривые ступеньки. Караульщик пихнул его в спину, крикнул:

- Живее, ярыга!

Рябов повернулся, схватил караульщика за ворот, прижал к каменной стене, - тот захрипел сразу. Другой, крутясь в узком проходе, пытался ударить Рябова алебардой по голове - не удавалось, не мог повернуться.

- Ты у меня попомнишь ярыгу! - с яростью сказал Рябов. - Ты у меня на веки вечные попомнишь...

И пошел дальше.

Внизу были еще сени с железной решетчатой дверью. Ключарь в драном полушубке пил из деревянной миски снятое синее молоко. Караульщики, испуганные, встали поодаль.

- Кто таков? - спросил ключарь стариковским шамкающим голосом.

- А тебе не все едино? - ответил Рябов.

Старик всмотрелся, ахнул:

- Иван Савватеевич! Господи преблагий, взяли-таки антихристы...

Рябов молчал, не узнавая. Потом вспомнил - рыбачили когда-то вместе.

- Нашел себе место, дед, под старость.

Ключарь махнул рукой, запричитал:

- Один я, Иван Савватеевич, один на всем божьем свете. Есть-пить-то надобно... Ой, горе... Как ты меня в тот год злосчастный из воды вынул, как я остался без сына, как пошел мыкаться... А ноги-то ноют, руки-то как крюки, а именья-то всего животов - собака да кошка...

Рябов все смотрел на старика, потом сказал жестко:

- Чего там, дед, растабарывать. Знал бы - не вынул из воды. Веди куда надо.

Старик загремел замком, попросил тихо:

- Прости для бога, Иван Савватеевич. Отслужу.

- Бога и проси! - сказал Рябов. - Ему ловчее вас прощать.

- Отслужу, Иван Савватеевич...

- Отслужишь и без прощения.

Старик втянул плешивую голову в плечи, отворил железную дверь. Рябов вошел, оглядел стены, по которым ползла вода, плесень по углам, гнилые истлевшие бревна. Прислушался: в остроге было тихо, как в могиле.

- Иевлев где - Сильвестр Петрович? - спросил кормщик.

- Вот - камора.

- Здесь и держите - немощного?

- Все ж посуше. И печка есть - топим.

- К нему веди!

- Плох он. Недолго протянет.

- Открывай-ка.

Старик опять загремел ключами. Кормщик вошел первым. Старик сзади поднял над головою глиняный горшок, в котором коптил фитиль. Рябов сразу увидел Иевлева: он сидел против двери у стены, привалившись

боком к печке.

- Пришел! - слабым, но радостным голосом сказал Сильвестр Петрович. - Я знал, что придешь.

- Пришел! - ответил кормщик. - Пришел, Сильвестр Петрович. Гостинца тебе принес. Здравствуй!

- Здравствуй! - попрежнему радостно сказал Иевлев. - Здравствуй, коли не шутишь, на все четыре ветра. Верно говорю? Не запамятовал еще в узилище, как вы, поморы, здороваетесь?

- Не запамятовал! - садясь возле Иевлева и развязывая узелок, молвил Рябов. - Оно дело нехитрое. Получай, господин капитан-командор, гостинцы. Табачок перво-наперво - добрый. Кремень, да огниво, да трут. Я гостинчика тебе по-своему собирал, как на Грумант, вроде бы на зимовье: чего там надобно, то и в тюрьме нужно. Снадобья, чтобы мы с тобой не зацынжали. Мазь бабинька Евдоха послала, лечить тебя будем. Так. Трубочка - обкуренная, хорошая. Теперь от супруги от твоей принимай...

Он говорил, и как бы даже не глядел на Иевлева, пока раскладывал на топчане гостинцы. Сильвестр Петрович справился с собою: быстро утер мокрые глаза, стал дышать ровнее, спокойнее, вновь заулыбался.

Светильню Рябов приказал не уносить. Ключарь попробовал было поспорить, что-де не велено, но кормщик так на него посмотрел, что тот поклонился и ушел.

- Да сыро что-то! - вслед старику крикнул Рябов. - Затопил бы, старый грешник!

Погодя оба закурили трубки.

- Ну что ж! - молвил кормщик, оглядывая стены каморы. - Ничего. На Груманте-то не в пример хуже было. Нынче отдохнем, а с утра пораньше за дело возьмемся - не узнаешь, Сильвестр Петрович, какие хоромы будут...

Иевлев молчал. Синие его глаза ярко светились в полумраке.

- Важно заживем! - говорил Рябов. - А пока слушай, я тебе новости расскажу.

И стал рассказывать про князя Прозоровского, про сбежавшего поручика Мехоношина и про нового воеводу Ржевского, который вскорости должен прибыть в Архангельск.

- Одного Ржевского я знавал в прежние годы, - задумчиво произнес Иевлев, выслушав рассказ кормщика. - Василием звали. Он, должно быть, и есть...

- Что за мужчина?

Сильвестр Петрович ответил с неудовольствием:

- Князь Ржевский человек разумный, смаху не рубит, осторожный, воеводствует не первый год...

- Боярин?

- Доброго роду...

- Я чай, не лучше нынешнего?

- Воевода царевым указом ставится! - почти с гневом отрезал Иевлев. - Не наше дело об нем толковать...

- Ой, наше! - невесело усмехнувшись, молвил Рябов. - Наше, Сильвестр Петрович. Загнали нас ни за что ни про что в узилище, а судить их не нам. Нет уж, господин капитан-командор, нам!

- Поживем - увидим! - угрюмо произнес Иевлев.

- То дело другое: прежде времени голову ломать не к чему. Давай, Сильвестр Петрович, закусим, да и спать повалимся до утра. Ноне денек у меня был хлопотный...

Он разложил на топчане чистый платок, ловко нарезал копченую оленину; хитро подмигнув, вытащил из сапога скляницу зелена вина, протянул Иевлеву, тот, запрокинув голову, хлебнул. Рябов сказал ласково:

- Со свиданьицем, Сильвестр Петрович. Чтобы, как у нас говорится, - в будущем году, да об эту пору, да с тем же дружком, да еще и с пирожком.

Выпил, покрутил головою, удивился:

- Смотри, как проскакивает! Соколом! А ведь ныне, как я из тундры вынулся, тверезый ни минуты вроде не был...

И добавил с грустью:

- Нехорошо, а как сделаешь? Надо же человеку отдохнуть?

2. ВОЕВОДА РЖЕВСКИЙ

И пошли один за другим острожные, похожие друг на друга дни...

Где-то там, наверху, где светило солнце и день отличался от ночи, а вечер от утра, - дьяки Гусев и Абросимов пеклись о том, чтобы здесь, внизу, в сырой и мозглой каморе побыстрее померли два узника. Помрут - и все, помрут - тогда один Прозоровский всему виновник, помрут - ищи-свищи концы. И тюремные караульщики, и стража на съезжей, и злая баба, что стряпала острожникам хлебово, и бобыли, состоящие при палаче Поздюнине, и сам Поздюнин - все знали, чего хотят дьяки, но страшились погубить узников без прямого на то приказа. Дьяки же такой приказ не решались дать без ведома воеводы Прозоровского, который лежал без движения, смотрел в потолок мутными бессмысленными глазами и жалостно мычал.

Новый же воевода Ржевский все не ехал.

А узники не умирали, и даже более того - немощный Иевлев стал поправляться.

Дьяки, растерявшись, ругались и пугали караульщиков жестокими карами, но караульщики теперь не так трепетали дьяков, как прежде, и более слушали Егора Резена, заходившего к ним в избы вместе с одноногим боцманом. Резен был щедр, не скупился на угощение и часто повторял, что приедет царь Петр, и тогда все узнают, что за люди капитан-командор и кормщик Рябов. А боцман сердито посмеивался и сулил тем, кто будет жесток к узникам, такую казнь, что у караульщиков мурашки бегали по спине. Кроме того, многие знали о подвиге Рябова во время шведского нашествия, знали и о том, что он сам пришел в узилище, чтобы не оставить в беде Иевлева. И чем дальше, тем больше чинились послабления двум узникам, а дьяки уже старались не замечать ничего и даже не спрашивали, живы Рябов с Иевлевым или померли.

Дни шли один за другим - однообразные, без перемен - до самого Сретенья, когда приехал наконец новый воевода. Слухи о нем были

невеселые. В остроге сразу стало известно, что воевода Ржевский недоверчив, говорит мало, от ответов на прямо заданные вопросы уклоняется, привез на верфи многих корабельных мастеров-иноземцев и время свое препровождает с ними. Кочнева и Ивана Кононовича он с работы согнал, даже не побеседовав с ними. С инженером Егором Резеном Ржевский сразу же жестоко поругался и на глаза его к себе не пускает. Говорили также - и это было самым удивительным и неприятным для узников, - что князь Василий уже несколько раз навещал немощного Прозоровского, утешал его, что, дескать, клеветы рассеятся и верная государю служба вознаградится, что сам он, Ржевский, прибыл сюда временно, пока суд да дело, а там и Алексею Петровичу придется попрежнему честно и мудро править Придвинским краем. Он же, князь Василий, отъедет на давно обещанное ему воеводство куда потеплее - на кормление в Астрахань...

Слушая нерадостные вести, Рябов угрюмо посмеивался:

- Оно так! Рука с рукавичкой завсегда дружлива. Нет, Сильвестр Петрович, я так рассуждаю: надо нам с тобою отсюдова тайно уходить. Сию правду паки и паки дожидаючись, головами расплатимся...

Иевлев сердился:

- Не дури! Я от царева суда не побегу! Да и статно ли мне, капитан-командору, яко татю в ночи, тайно бежать...

На Власия-бокогрея в марте месяце поздно ночью ключарь разбудил Иевлева и Рябова и дрожащим шепотом сказал им, что Ржевский сейчас же будет на съезжей для беседы с ними. Дьяки уже приехали и ждут. Сильвестр Петрович, опираясь на костыль, с трудом поднялся по крутым осклизлым ступеням и в изнеможении опустился на лавку. Кормщик, не ожидая от нового воеводы-боярина ничего хорошего, хмуро стоял у печки.

Ждали долго.

Наконец мерзлая дверь распахнулась, караульщики вздели алебарды. Ржевский, в коротком дубленом полушубке, широко шагая, вошел в избу, простуженным голосом с порога спросил Иевлева:

- Пошто развалился? На ассамблею зван?

Иевлев, не вставая, ответил:

- Али не признал меня, Василий Андреевич?

Воевода, стараясь не встречаться с Иевлевым взглядом, усмехнувшись одним ртом, помедлил, потом внятно произнес:

- Вон ты куда гнешь? Нет, нынче не признаю. Да и не для того нас государь воеводами ставит, чтобы мы, верные ему слуги, некоторых иных, честь свою забывших, за старинных дружков признавали...

- Дружками-то мы с тобой, князь, не были, сие ты соврал! - негромко, но сильно произнес Иевлев. - Что же касается до чести, то ежели ты, суда не дождавшись, мне еще такое скажешь - костыля не пожалею, изувечу! Чина моего флотского меня никто еще не лишал, об том помни...

Князь Василий опять усмехнулся с видом человека, которому многое ведомо, крикнул:

- Кто там? Огня!

Гусев, трепеща от выпавшей чести, подал свечу. Ржевский закурил трубку; попыхивая дымом, стал листать бумаги. Осторожно дышали у порога караульщики, дьяки неподвижно стояли за спиною воеводы. Иевлев думал, опустив голову. Рябов прищурившись смотрел в сторону - из гордости, чтобы новый воевода не думал, будто здесь так уж его боятся и ждут от него решения. Ржевский читал долго, порою тыкая пальцем в лист, с раздражением спрашивал дьяков:

- Чего здесь? Об чем? Живо говори, недосуг мне...

Дьяки, задеревенев от страха, путались, пороли вздор, перебивали друг друга. Бумаг по иевлевскому делу было очень много - дьяки ели свой хлеб не даром, и то, что они говорили воеводе, было так нелепо и дико, так непомерно глупо, что Рябов громко с тоскою вздохнул.

Ржевский поднял свой взгляд на него, кормщик со спокойной злобой посмотрел на князя.

- Подойди! - велел Ржевский.

Кормщик подошел на шаг ближе.

- Ты и есть Рябов Ивашка? - спросил Ржевский надменно.

- Я и есть Рябов, да не Ивашка, а Иван Савватеевич! - зло и угрюмо ответил кормщик. - Ивашкою звали годов двадцать назад, а то и поболе. Ныне питухи, пропившиеся в кружале, и те так не зовут...

- Ишь, каков! - откинувшись на лавке, сказал воевода.

- Каков есть!

- Кормщик?

- Был кормщиком, стал - острожником.

- Еще и покойником за добрые свои дела станешь! - посулил Ржевский. - Плачет по тебе петля-от!

- Того и тебе, воевода, не миновать! - с той же спокойной и ровной злобой сказал Рябов. - Смерть и тебя поволокет. Отмогильное зелье даже для князей не отрыто...

Дьяки охнули на страшную дерзость, караульщики поставили алебарды в угол, готовясь крутить кормщику руки, но Ржевский как бы вовсе ничего не заметил, только едва побледнел. В избе снова сделалось тихо. Сильвестр Петрович поднял голову, посмотрел на широкую спину, на широкие гордые плечи Рябова: кормщик стоял неподвижно, точно влитой...

- Не тихий ты, видать, уродился! - заметил Ржевский.

- На Руси - не караси, ершей поболее!

- Ты-то за ерша себя мнишь?

- Зачем за ерша? Есмь человек!

Князь Василий сел прямо, уперся локтями в стол. Ему было неловко перед этим бесстрашным мужиком, он все как-то не мог угадать - то ли улыбаться надменно, то ли просто велеть высечь батогами кормщика, то ли встать и ударить его в зубы.

Тусклым голосом спросил:

- Таким и жизнь прожил, ершом?

- Не прожил, проживу!

- Не по чину шагаешь, широко больно...

- Журавель межи не знает - через ступает!

Ржевский подумал, крутя ус, спросил с презрением:

- Как же тебя, эдакого журавля, да шведы купили?

Рябов задохнулся, руки его судорожно сжались в кулаки, но караульщики сзади навалились на него. Гусев ударил под колени, кормщик поскользнулся, рухнул навзничь. Покуда его держали караульщики с дьяками, из загородки вырвались в помощь солдаты с поздюнинскими бобылями.

- Убрать его отсюда! - громко, громче, чем следовало воеводе, сказал Ржевский. - Вон!

Кормщика выволокли. Ржевский долго сидел молча, потом велел уйти всем, креме Иевлева, сам запер дверь на засов, заговорил, стараясь быть поспокойнее:

- Ты давеча вопросил - не признаю ли тебя, Иевлев? Что ж, признал, как не признать, помню и озеро и иные разные наши бытности...

- По бытностям ты горазд, князинька! В те нежные годы наушничал, ныне, вишь, в застенки людей тянешь...

Ржевский устало отмахнулся:

- Полно, Сильвестр! Что пустяки городить. Было, многое было, а сталось так, что я куда правее всех вас ныне, по прошествии времени. Сам рассуди, каков народишко на царевой службе: один вор, другой ему потатчик, третий мздоимец, четвертый пенюар, пятый и мздоимец, и вор, и пенюар. Я от младых ногтей никому веры не давал, всех подозревал, никому другом не был. И верно делал, верно...

- Да уж куда вернее!

- Погоди, что зря ругаться. Ты ныне узник, я - воевода. Случись тебе на мое место встать, облобызал бы ты меня?

- Нет, князь Василий, но только и к Прозоровскому бы с утешениями не езживал...

Ржевский быстро, остро взглянул на Иевлева, ненатурально усмехнулся:

- И о том вы здесь ведаете?

Сильвестр Петрович кивнул:

- И о том ведаем.

Воевода нахмурился, помолчал, спросил, перелистывая бумаги:

- Послана была тобою челобитная, на Воронеж, Апраксину, Иевлев?
- Мною? - удивился Сильвестр Петрович. - Какая такая челобитная?
- Уж будто и не ведаешь? Уж будто не ты послал туда беглого холопя князя Зубова!
Иевлев смотрел с таким непритворным удивлением, что Ржевский только пожал плечами и заговорил попроще, не судьею, а собеседником:
- Сей смерд в прежние времена поднял руку на своего боярина, потом на Волгу ушел, искать зипуна, у них, у татей, тако о бесчинствах говорят. С Волги будто сюда, на Двину, подался, а когда его ныне на Воронеже Зубов велел имать, он вдругораз от него сбежал, да еще смертоубийство сделал и холопя за собою в степь увел. Беглого сего, Молчана кличкою, здесь знают, он и тут воду мутил, к бунту подбивал и крепко был дружен с лютым государю ворогом капитаном Крыковым...
- Крыковым! - воскликнул Иевлев.
- Его-то знаешь, а то, я думал, и на сего человека удивишься.
- Крыков Афанасий Петрович погиб доблестно, и честное имя его...
Ржевский с неприязнью поморщился:
- Полно, Иевлев! Твой Крыков с сим же Молчаном прелестные листы читал, кои и тебе ведомы. Что пустое врать! Али не знаешь ты, какие тайные беседы в крыковской избе бывали? Али тебе там не случалось сиживать? Вон Егор Пустовойтов показывает, что об многом ты с Крыковым наедине говаривал, - о чем? Ужели ни разу Азов помянут не был, где князь Прозоровский государевых ворогов имал? Ужели о том, что Прозоровского холопей здешние воры как курей бьют, не беседовали вы? Ужели не подумалось тебе, Иевлев, ни единого разу, что твой прославленный Крыков - тать, государю нашему изменник, что...
- Князь Василий! - сурово оборвал воеводу Сильвестр Петрович. - Ты думай чего хочешь, а мне сии слова слушать - претит. Коли за делом меня позвал, так дело и говори. Ужели сам ты веришь в то, о чем ныне речь ведешь? Ужели пьяный вор, бездельник и дурак, зверюга Прозоровский так обдурил тебя? Ты правду ищи...
- Правду? - крикнул вдруг Ржевский. - Правду? А где она, правда? Вон об

тебе сколько написано - гора, видишь? И по-аглицки, и по-немецки, и по-венециански! Где она, правда, в котором листе? Как твой кормщик скажу: есмь человек. Поверил бы тебе, да в листах написано - не верь! Отпустил бы тебя из сего узилища, да и своя голова, я чай, дорога, с меня спросят, а ноне на Руси словом не спрашивают, все более дыбою, да колесом, да плахою. Всюду разное шепчут. Из Москвы людей шлют, что-де Прозоровский ни в чем не повинен, обнесен клеветою, а не при деле до времени...

Сильвестр Петрович поднял взгляд, спросил резко:

- К чему сия жалостная беседа? Чтобы я, слушая тебя, возрыдал на твои горести? Нет, не возрыдаю! Я тебя, друг любезный, с Переяславля помню, каков ты умник! Правду ему не отыскать. А ты ее ищешь? Для чего не почел наипервейшим долгом гишторию мою прискорбную разобрать, как сюда приехал? Так оно поспокойнее? Чтобы как иначе, случаем, фортуна не повернулась. Чтобы не просчитаться перед государем? Ты еще захворай, иначе все едино спросят...

Ржевский ударил ладонью по столу, крикнул:

- Молчи!

- А коли мне молчать, так и ты не жалуйся на свою долю, - отрезал Иевлев. - Более и толковать нечего...

Ржевский вернулся к столу, вновь стал листать бумаги, как будто в них и была правда. В наступившей тишине сделалось слышно, как за дверью словно стоялые кони топчутся караульщики, как снаружи, за слюдяными, в решетках окнами покрикивают "доглядывай!" В морозном ночном воздухе стучали колотушки, на колокольне церкви Параскевы отзванивали часы. Медленно проходила ночь, Ржевский все читал. К утру Иевлев взглянул на князя, подумал: "Слабый человек! Совсем слабый! Боязно ему и думать, не то что делать".

- Кто таков Риплей? - спросил воевода.

- Подсыл и пенюар! - резко ответил Иевлев.

- Лофтус кто?

- Шведского короля Карла шпион!

- Георг Лебаниус?

- Лофтуса правая рука.

Ржевский откинулся на лавке, хохотнул, осведомился:

- Эдак и покойный Лефорт...

- Там видно будет, - угрюмо перебил Иевлев. - Внуки узнают...

- Что ж, однако, они узнают? - насторожившись, спросил воевода.

Сильвестр Петрович начал было про Азов, как Лефорт подвел под шанцы подкоп, отчего погибло более трехсот человек, но тотчас же понял, что об этом толковать не следовало, и махнул рукою на полуслове...

- Таково и бунтовщики стрельцы на Москве болтали, - сухо сказал воевода. - Истинно так: еретик Францка Лефорт. Не гневайся, Иевлев, но все оно - от Крыкова твоего, - верно говорит князь Прозоровский...

- Прозоровский в ход пошел! - горько усмехнулся Сильвестр Петрович. - То-то дождусь я правды...

Воевода полистал еще, зевнул, потянулся. За слюдяными окошками медленно розовела морозная заря.

- Тут враз не управиться! - сказал он, складывая листы. - Тут, Иевлев, не день и не два надобны. И еще рассуждаю: не в моей воле об сем деле решать...

- В чьей же?

- Решить об тебе един только государь может - Петр Алексеевич...

- А я думал - ты! - с издевкой в голосе произнес Иевлев. - Все ждал: почитаешь листы, да и отпустишь. Ин, нет!

Кивнул, поднялся, пошел, тяжело опираясь на костыль. Ржевский окликнул:

- С ногой-то что?

- А я, вишь, князь Василий, в баталии был, так там палили...

- Как же кормщик-то целехоньким вышел?

Сильвестр Петрович обернулся у двери, морщась от боли в ноге, сказал:

- Семнадцать ран на нем - ножевых, сабельных, пулевых. Живого места нет. И не тебе над ним смеяться, князь Василий...

Его лицо исказилось бешенством, срывающимся голосом он крикнул:

- Доблестного воина, истинного и достославного героя, коими Русь держится, по изветам иноземцев да злодея Прозоровского, заточили в узилище, катам на радость! В уме ли ты, Ржевский? Время минется, истина наверх выйдет, не было еще того на свете, чтобы с прошествием годов правда потерялась, все узнают люди, ну, а как узнают - каким ты тогда предстанешь? Я не к совести твоей говорю, ты ее не ведаешь, я - к хитрости говорю. Глупо, глупо, князь Василий, делаешь, ну да шут с тобой, что тебе кланяться, о чем тебя просить...

Он повернулся к двери; забыв про засов, дернул скобу, выронил костыль, ушибся ногой и с коротким стоном припал к бревенчатой стене съезжей. Ржевский подхватил его за плечи, поднял костыль. Сильвестр Петрович дышал рывками, холодный пот катился по его серому лицу.

Отворив дверь, воевода крикнул дьяков. Гусев и Абросимов вошли с поклонами, совсем напуганные, ничего не понимающие: подслушивали, как узник Иевлев орал на воеводу князя Ржевского. Князь Василий заговорил строго:

- Господина Иевлева содержать в остроге, твердо памятуя, что есть он капитан-командор и от сего своего звания никем не отрешен. Нынче же будет к нему прислан лекарь, и тот лекарь станет ходить к нему как похощет. В естве и в ином прочем чтобы отказу сии узники не слышали. Кормщика Рябова содержать совместно с господином капитан-командором, а впрочем, как им возжелается...

Дьяки кланялись сначала только воеводе, потом еще пуще - Сильвестру Петровичу. За открытою дверью жадно слушали караульщики: вышло узникам послабление, - видать, правы были инженер Резен да одноногий веселый боцман. Ох, трудна государева служба - поди знай, угадай, каково завтра случится.

Сильвестра Петровича увели под локти, узник сразу стал персоною. Ржевский опять опустился на лавку, сердито принялся листать бумаги. Дьяки посапывали за спиною, готовились объяснять, ежели спросит воевода, нынче в пользу капитан-командора. Уже совсем рассвело, утренние лучи солнца пробивались в окна. Ржевский поворотился к

дьякам, спросил усталым голосом:

- Виновен Иевлев в сих злодействах и скаредностях али не виновен?

Дьяк Гусев прижал ладошки к груди, воскликнул:

- Воевода-князь, коли ежели поворотить все евоное дело так, чтобы оно вышло на невиновность...

Дьяк Абросимов толкнул дружка острым локтем, перебил:

- Иноземцы, князь, таковы, что и нивесть чего напишут, а только...

- Виновен он в измене? - крикнул бешеным голосом Ржевский. - Виновен али нет? Что столбеете? Дьяки вы али мокрые курицы?

Гусев и Абросимов прижались к стене, ждали от князя боя. Ржевский прошелся по избе, велел прятать листы, натянул шапку, уходя спросил Абросимова:

- Ну? Виновен али нет?

Тот весь съежился и ответил быстро:

- То не нам ведать, князь-воевода. То ведает бог да великий государь.

3. ОСТРОЖНАЯ ЖИЗНЬ

Ни назавтра, ни через неделю, ни через месяц воевода Василий Андреевич Ржевский на съезжую - за недосугом или по другой какой причине - не наведывался, и об узниках как бы снова забыли. Острожная жизнь вновь вошла в свою колею, и опять потекли одинаковые, похожие друг на друга дни...

Первым в каморе обычно просыпался Рябов; сладко и длинно зевал, с хрустом потягивался, спрашивал Иевлева благодушно - как почивалось. Сильвестр Петрович, которого мучила бессонница, тревожили тяжелые мысли, отвечал сердито, что почивалось - хуже нельзя...

- Ишь! - удивлялся Рябов. - А мне хошь бы что! Пришел сон милый, да и повалил силой...

Лежа, некоторое время беседовали в темноте, Иевлев - сердито, Рябов - со своим всегдашним спокойствием и благодушием. Вставать Сильвестру Петровичу не хотелось, но он знал жестокую неумолимость кормщика во всем том, что касалось распорядка острожного дня, и хоть нехотя, а все-

аки поднимался, постепенно начиная испытывать чувство, схожее с удовольствием, от того, как он во всем подчиняется воле Рябова. А тот уже стучал бахилами в дверь, требуя огня у ключаря и переругиваясь с караульщиком, не понимающим, для чего узники встают ни свет ни заря.

Как только покорный старый, плешивый ключарь приносил светильню, Рябов принимался готовить свою салату - траву, которая на Груманте спасла его от цынги. Он подливал в нее масличка, рубил луку, чесноку, соленой рыбы и ставил миску на стол, лукаво поглядывая на Иевлева, который смешно тосковал в предвкушении ужасного завтрака. Запивали салату настоем хвои, заваренной кипятком и остуженной на холоду.

- Хороша дьяволица салата! - говорил Рябов, запуская деревянную щербатую ложку на дно миски. - Она, Сильвестр Петрович, без привычки,может и на пареную мочалу смахивает, а как во вкус взойдешь да обвыкнешь, ну - милое дело! Ты кваском-то, кваском запивай, квасок добрый, игристый, гляди не захмелей только...

Иевлев сдерживался, чтобы не ругнуться, не ударить кулаком по столешнице. На кормщика он старался не смотреть, ел опустив голову. Но однажды не сдержался, стукнул ладонью по столу, закричал:

- Будет дурака-то валять! Одно да одно, каждый день одно...

Рябов ответил спокойно:

- Острог, Сильвестр Петрович, ничего не поделаешь. Не себя, чай, веселю, тебя - недужного, несвычного. Я-то не ты, в людях живал, свету видал: топор на ногу обувал, топорищем подпоясывался. И по столу не бей - нехорошо...

Погладил рукою стол, объяснил:

- Бабинька Евдоха еще когда меня учила: не бей, Ваня, по столу, стол - божья ладонь, со стола хлеб да рыбу едим. Божья али нет - не ведаю, а сказано ладно...

Иевлев сорвался с места, лег на топчан, отворотился к вечно сырой стене. Ему хотелось ответить кормщику чем-нибудь таким, чтобы тот замолчал надолго, но слова не шли, и злоба таяла.

Когда пришло время обедать, кормщик как ни в чем не бывало поставил

на стол миску с похлебкой, нарезал хлеба, окликнул:

- Сильвестр Петрович, а Сильвестр Петрович...

Иевлев рывком сел за стол, взял ложку, не глядя на кормщика, попросил:

- Прости, Иван Савватеевич! Прости, дружок... Обидел я тебя нынче. Не чаял...

Рябов ответил спокойно:

- Кабы ты обидел! Недуг обидел, а с него спрос короток.

После обеда в острожных подвальных сенях вдруг зашумели голоса, послышался зычный хохот, раздалась веселая брань - пришел инженер Егор Резен с грамоткой от воеводы, чтобы не чинить ему препон в помещении узников.

- Я теперь есть медикус! - говорил Резен. - И для чего мне не быть лекарем? Я буду лечить ваши души, не так ли?

Вынимая из карманов снедь, табак, примочки, мази, декохты, перескакивая с русского на немецкий, Резен рассказывал новости о воеводе Ржевском, о верфях, о крепости; потом вдруг хлопнул себя ладонью по лбу, закричал:

- Виктория, капитан-командор, преотличная виктория. Господин Шереметев с большим войском пошел в Ливонии на шведа Шлиппенбаха и двадцать девятого декабря при мызе Эрестфер наголову разгромил шведское войско. Три тысячи шведов убито, триста пятьдесят человек взято в плен. Фельдмаршал господин Шереметев сим свои дела не покончил. Сбирается большое войско - дальше бить шведа.

Сильвестр Петрович, побледнев, слушал, переводил Рябову. Тот ножичком строгал палку - чинить Иевлеву поизносившийся костыль. Резен рассказывал, как Меншиков отвез победителю орден Андрея Первозванного, царский портрет в бриллиантах, указ о возведении в генерал- ельдмаршалы; рассказывал, как на Москве в те дни служились благодарственные молебны, гремели пушки, как на кремлевских башнях и стенах развевались отнятые у шведов знамена.

- Кому - сон, кому - явь, кому - клад, кому - шиш! - сказал Рябов. - Да ничего, Сильвестр Петрович, не для себя старались.

И спросил:

- А чего это за Андрей Первозванный?

Сильвестр Петрович объяснил, какие бывают ордена. Рябов выслушал без особого интереса, даже не сказал свое обычное "ишь ты!" Потом только усмехнулся, посетовал:

- Давали бы знак такой, чтобы с ним в острог не волокли. Висит на тебе бирка и означает: "Сего мужа ни по чьей воле батогами не бить, на дыбу не вздевать, ноздри щипцами не рвать!"

Резен понял, хлопнул кормщика по плечу, уютно усевшись на топчане, стал рассказывать дальше. По его словам выходило, что воевода Ржевский убежден в невиновности Сильвестра Петровича и Рябова, но по трусости отмалчивается и надеется, что все дело решится без него...

- Оно так! - кивнул Иевлев. - Трус он отменный...

Инженер рассказал еще, что заслуги Прозоровского на Азове, как он там имал бунтовщиков, не забыты, и только поэтому капитан-командор и кормщик еще не отпущены. Бывший князь-воевода считается заслуженным вельможею и верным царевым слугою - от того вся и задержка. Но все идет к лучшему: недавно, сими днями, Марью Никитишну посетил полковник Вильгельм Нобл - с превеликим почтением сообщил ей, что к весне ждут к Архангельску некую персону и персона та прибудет непременно. Сия персона и решит судьбу Прозоровского, а с ним и узников, ибо по отдельности тут думать не о чем.

Помолчали. Сильвестр Петрович задумчиво приминал пальцем табак в трубке. Рябов поднялся, взял у него костыль, стал прилаживать свою палку.

- Весна, поди, на дворе-то? - спросил Иевлев.

- Да, уже тепло! - ответил Резен. - Ну что ж, капитан-командор, давай лечить тебя буду...

Он посмотрел Иевлеву ногу, покачал головой, сделал перевязку. Опять заговорили о крепости, о кораблях, о флоте. Инженер рассказал, что есть слух, будто шведы не оставили своей затеи пожечь Архангельск и сбираются сюда опять, что крепость велено всю одеть камнем, поставить

еще батареи, что в город идут еще войска.

Ушел Резен поздно, и после его ухода Сильвестр Петрович совсем загрустил. Кормщик обладил костыль, сам его опробовал - ловок ли, прошелся по каморе, хромая, из угла в угол, сказал весело:

- Хорош костыль, с таким и воеводе не зазорно ходить. Ну-кось, Сильвестр Петрович, спробуй...

Иевлев прошелся с костылем, Рябов похвалил:

- Ей-ей, выходка у тебя нынче другая!

Утром, когда дед-ключарь топил печку в каморе, Иевлев вдруг спросил:

- Я нынче ночью, Иван Савватеевич, вот что подумал: откуда вы на Груманте дровишками запасались? Вон сколько там прожили, и на холод ты не жаловался. Ужели столько лесу водой пригнало?

- Зачем лесу, - сказал Рябов. - Мы камнем топили.

- Каким таким камнем?

- Митрий покойник отыскал. Ручей там вымерз, он его ковырял чего-то и однажды принес камень: черный, на глаз вроде слюды. Думали, может, тот камень - железный, может из него руда пойдет? А нам железо вот как надобно было. Положили в печь - вытапливать, а он возьми и сам займись. Да таково жарко!Иевлев приподнялся на локте, спросил:

- И много там камня такого?

- Много. Митрий по ручьям ходил с клюшечкой, все бывало постукивал. После на шкуре иглой вышил - вроде бы чертеж камню.

- Где же шкура сия?

- А бог ее знает, Сильвестр Петрович...

Опять ели салату, запивая ее хвойным настоем, еще говорили о Груманте, как ловится в тамошних озерах рыба-голец, какие там растут березы да ивы...

- Ох, махонькие! - рассказывал Рябов. - Поларшина, не более. А на ветру ляжешь летом рядом с березкой с такой - шумит, ей-богу шумит. Как всамделишная. Ну, оно дело такое, лучше не слушать. Сразу тоска разберет... Птиц - тоже силища. Как свой базар соберут, прибоя не слыхать. И тебе гагары, и тебе чистики, и тебе кайры. Кроткий

народишко-то птичий, незлобивый. Такая уймища сберется - гнезда негде свить; они, бедняги, и несутся прямо на камни, бездомные... И до чего ж лихо летают - гагары-то: крылья сложит, да как нырнет головой вперед, в море! И вынырнула и распустилась, словно цвет в поле. Распустится - и качается на волне...

Он весело рассмеялся, вспоминая жизнь "птичьего народа", сел на корточки перед устьем топящейся печки, с аппетитом затянулся трубочным дымом.

4. СИНТАЗИС И ПРОСУДИА

Как-то Иевлев осторожно, с мягкостью в голосе, спросил:

- Иван Савватеевич, а ты грамоте-то знаешь?

Рябов ответил не сразу:

- А на кой она мне надобна?

Сильвестр Петрович промолчал, но поближе к вечеру, когда ключарь принес заправленную светильню, заговорил решительно:

- Вот чего, друг милый: я тебя во многом слушаюсь, и ты мне здесь вроде бы за старшего. То - истинно. В едином же послушайся ты меня...

Рябов бросил вырезать ножиком ложку, с удивлением посмотрел на Иевлева:

- Об чем ты, Сильвестр Петрович?

- Отгадай.

Кормщик подумал, хитро прищурился, спросил:

- Об грамоте об своей. Мудрено, пожалуй?

- Вздор! - сказал Иевлев твердо. - Чем так сидеть, давай, брат, учиться...

Рябов пожал плечами, огладил отросшую в тюрьме бороду, засмеялся, что-де бородатому невместно грамоту учить. Нашлась книжица, Сильвестр Петрович велел развести сажи с водой. Ключарь принес сверху несколько гусиных перьев. Рябов, сидя у печки, старательно взбалтывал в склянице будущие чернила.

Сели рядом. Сильвестр Петрович с тонкой улыбкой взглянул на вспотевшего своего ученика. Тот мягко улыбнулся в ответ.

В светильне потрескивал жир, от печки тянуло теплом, со стены в углу медленно, каплями скатывалась вода. В сенях переговаривались караульщики.

Тихими стопами шла весенняя ночь.

Рябов, посапывая, словно от непомерной тяжести труда, мелко вырисовывал буквы. Большие руки его не справлялись с листком бумаги, она мялась, рвалась, разведенная сажа часто заливала написанное. Кормщик ругался шепотом, по-морскому, как в шторм.

- Ладно на сегодня! - сказал Сильвестр Петрович.

Кормщик выписал еще буковку, поднялся, залпом выпил корец воды. Через несколько дней он знал уже много букв, справляться с делом стало легче - перо он не стискивал в пальцах, разведенную сажу не проливал, воды пил меньше...

- Нынче будет у нас грамматика! - произнес Сильвестр Петрович и спросил: - Что есть грамматика?

Рябов смотрел не моргая, с удивлением.

- Грамматика есть известное художество благое, и глаголати и писати обучающее. Каковы есть части грамматики? Насти грамматики есть...

Сильвестр Петрович поднял палец:

- Повторяй: орфографиа.

- Орфографиа! - с трудом повторил кормщик.

- Этимологиа.

- Этимологиа...

- Синтазис.

- Синтазис...

- Просудиа.

Кормщик молчал, глаза его смеялись.

- Ну! - сказал Иевлев. - Что ж ты? Просудиа...

- А ну ее к шутам, - сказал Рябов, - просудию. Чего мне с ней делать-то?

Опять писали буквы, слова; наконец кормщик нарисовал свое имя - Иван Рябов. Иевлев велел прочесть. Рябов прочитал и удивился.

- Просудиа! - ворчал он, вырисовывая буковки. - Оно тебе не просудиа.

Который князь али боярин, тому и просудиа сгодится, а нам и без нее тошно. Рябов Иван - то добро, а просудиа нам, Сильвестр Петрович, ни к чему...

Иевлев не спорил. Дойдет дело и до просудии, и до последующих глаголов, и до залогов. До всего со временем.

В эту ночь Сильвестр Петрович долго не спал - думал: флот, моряки, штурманы, шхиперы... Как обучить их непонятным этим просудиам? Почему не по-русски, не просто рассказано то, что надобно знать тысячам людей?

И в сумерках сырой каморы виделось ему лицо кормщика, насмешливый блеск зеленых глаз, слышались сказанные давеча слова: "Который князь али боярин, тому и просудиа сгодится, а нам и без нее тошно!"

Он улыбнулся, засыпая: "Кому - сон, кому - явь, кому - клад, кому - шиш!" Вот как говорят они, а тут - просудиа...

Утром, спозаранок Сильвестр Петрович взял в руки перо, нарисовал земной шар, полюсы, градусную сетку, заговорил как можно проще. Рябов слушал внимательно, кивал; было видно, что он все понимает и что ему интересно.

- Сей круг нарицается некватор али равнитель! - говорил Иевлев. - Вишь, где он проходит? И разделяет собою весь шар земной на два полшария...

После обеда опять засели за географию. Сильвестр Петрович медленно объяснял, как запомнил по учебнику:

- Состояние земель, если кто прилежно хочет разуметь, то подобает ему знать градусы али степени по долготе и широте. Широту, Иван Савватеевич, считаем мы до высоты полюса али оси мира, от равнителя к северу и к югу по девяносто градусов. Долготу считаем от меридиана, проходящего чрез гору на острове Тенерифском, к востоку, разделяя круг земной на триста шестьдесят частей, градусами именуемых...

- Ловко! - сказал Рябов.

И, высунув кончик языка, сам стал чертить градусную сетку.

Вечером, куря трубки, рассуждали о шведах, как они придут во второй раз. Рябов долго слушал не перебивая, потом спросил:

- А флот свой, господин капитан-командор, мы долго будем прятать? По осени, как шел я на съезжую к вам, посмотрел. Ничего корабли, как надо. И пушки стоят. Выйти им навстречу, да и свалиться по-настоящему?

Сильвестр Петрович ответил вопросом:

- Совладаем ли?

- Народишку бы нашему поболее веры дали, так еще и не то с ним творить можно! Я-то знаю... Верно говорят: что плохому - по уши, удалому - по колено...

Иевлев горько улыбнулся:

- Рассуждаем, а сами в узилище. Много нас спросят, как до дела дойдет...

Легли спать поздно и долго не засыпали. Иевлев, лежа на спине, тихим голосом рассказывал старые были о великом пути из варяг в греки, о водном пути между Черным и Балтийским морями. Рябов слушал, глядя в черный низкий потолок. В сумерках медленной чередой проходили перед взором кормщика Аскольд и Дир, испуганный византийский император Михаил, послы императора Василия, с богатыми дарами вышедшие навстречу русским, Олеговы дружины, плывущие морем, щит на вратах Царьграда...

- Ты погоди! - вдруг сказал Рябов. - Оно где ж, твое Балтийское море?

Сильвестр Петрович поднялся, нагнувшись над столом, нарисовал карту - Черное и Балтийское моря. Кормщик горячо дышал ему в затылок.

- И в Италию наши суда хаживали! - говорил Иевлев. - Вишь - вот им путь был.

Теперь слушай про Святослава. У него и болгарские были воины, и венгерские...

После Святослава и его походов опять вернулись на Балтику. Сильвестр Петрович рассказывал о Великом Новгороде и его кораблях, о том, как новгородские дружины в древние времена плавали по Ладожскому озеру, по Финскому заливу и Балтийскому морю, как ходили в Швецию, в Данию, как имели свой Гостиный двор на острове Готланде в городе Визби, как шведы лет шестьсот назад напали на русские корабли в

Балтийском море, как датский король Свен IV захватил в плен под стенами Шлезвига караван русских судов и все русские товары роздал в жалованье своему войску...

- Оно как же выходит? - спросил Рябов, тыча пальцем в рисунок на столе.

- Выходит, что и Нева наша?

- А чья, как не наша? - горячо ответил Иевлев. - Ты гляди, как новгородцы хаживали. Вон их дорога-то. Они и берегли Неву пуще глаза. А те все на устье пялились - как бы закрыть его нам. Кто только сюда воровать не ходил, господи боже мой, - не пересказать. Лет с полтыщи король шведский Сверкер и епископ его Ескиль на шестидесяти кораблях пошли в Балтийское море - разбойничать; три новгородские судна их разбили. Эрих шведский Ладогу осадил, народ сам дома выжег и в крепости заперся с посадником Нежатою. Побили шведов. В лето 1240 года папа Григорий воззвал к крестовому походу на Русь, и шведы пошли в Неву множеством кораблей. Князь Александр Ярославович Невский так их разгромил, что они два корабля одних только знатнейших персон убитыми назад повезли...

Говорили до рассвета, поминали Грозного, Вишневецкого, Адашева, былые морские походы. Иевлев подробно, как знал сам, рассказывал о самозванцах, о междоусобицах, о врагах и союзниках иноземцах, которые хитростями и силою отнимали балтийское побережье у России, о том, как остался у Руси один выход в море, как царь Петр воевал Азов и для чего он это делал.

Заснули, когда караульщики в сенях уже поднялись на ноги.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мы бились жестоко - и гордые нами
Потомки, отвагой подобные нам,
Развесят кольчуги с щитами, с мечами,
В чертогах отцовских на память сынам.
Языков

1. ЗА КАРАУЛОМ

Прошли весенние, теплые дожди, прогремела над Архангельском первая в нынешнем году гроза, а в жизни узников ничего не изменилось: так же завтракали проклятой салатой, так же наведывался "медикус" Егор Резен, как умел лечил раны Сильвестра Петровича, такие же длинные, нескончаемые беседы вели вечерами кормщик и капитан-командор.

Без новостей Резен не приходил: однажды рассказал, что видел у Марии Никитишны некоего приезжего московского человека, сей человек близок к государственному консилиуму, оттуда сведал, будто шведы вновь собрались воевать Архангельск и готовят для этой цели большие силы - много кораблей, пушки, матросов, и опять ищут лоцмана.

- Ой ли? - не поверил Иевлев, но задумался надолго.

Попозже Егор рассказал, что под Вологдой, в бору рейтарами пойман поручик Мехоношин вместе со своими лесными разбойничками-дворянами, нынче везут его в Архангельск, скоро быть ему тут, в остроге.

И с воеводой Прозоровским произошли события загадочные: при всей его хворости он не помер, как ждали, а оправился, мычать перестал и собрался даже удариться в бега, но не осилил, князь Ржевский бывшего воеводу настиг и посадил под жестокий караул в своем дому...

- С чего ж в дому, а не в узилище? - спросил Иевлев.

- Мало ли! - пожал плечами Резен. - Князь Ржевский ничего не хочет делать совсем. Он делает немного, чуть-чуть. Он очень осторожный, сей князь. Однако же из всего происшедшего можно сделать некоторые выводы...

- Что гадать! - молвил Иевлев. - Мы уж вдосталь нагадались, сыты по горло гаданиями. Давай лучше, инженер, о деле потолкуем...

И они принимались обсуждать подготовку архангельских войск и цитадели к будущему сражению с той шведской армадой, которая ожидалась в самом скором времени.

Сидя вдвоем у шаткого стола, Резен и капитан-командор подолгу спорили друг с другом, чертили новые валы, скаты, обломы, размещали надолбы, крестиками обозначали места безопасных пороховых погребов, таких, чтобы не сгорели, как случилось в прошлую баталию. По-иному ставили

батареи на берегах Двины, рассчитывали силу огня, по-новому расписывали пушки и пушкарей, вспоминая, как кто осилил военную работу в минувшем жарком сражении. Говорили, конечно, и о кораблях, коим надлежало выйти в море, дабы свалиться с вражеским флотом на далеких подступах к городу...

Рябов, притулившись неподалеку от спорщиков, что-нибудь делал, какую-нибудь мелкую работу - чинил Иевлеву прохудившийся сапог, ставил заплату себе на кафтан, помалкивал и поглядывал на инженера и Сильвестра Петровича добродушно-насмешливыми глазами.

- Чего смеешься-то? - спросил как-то Иевлев.

- Да больно весело глядеть, как вы в узилище, за караулом сидючи, с ворогом воюете...

- То не война, то еще лишь диспозиция! - со смущенной усмешкой ответил Иевлев. - От тоски чего не начнешь делать...

Он отодвинул от себя лист бумаги и надолго угрюмо задумался, а кормщик пожалел, что шуткою своею огорчил капитан-командора.

Мехоношина с его людьми действительно привезли и заключили в камору рядом с Сильвестром Петровичем и Рябовым. Первый день он со своими разбойничками - дворянскими детьми - шумел и ломился в дверь; потом, после того как караульщики, усмиряя поручика, разбили ему ребро, затих, но ненадолго. Тогда караульщики пошли на усмирение второй раз...

- О господи, зверье проклятое! - со стоном сказал Сильвестр Петрович. - Убьют ведь его...

Больше поручика не было слышно совсем.

На той же неделе рейтары доставили в узилище бывшего воеводу князя Прозоровского. В камору к нему притащили наковальню и молот; тяжело ступая, пришел тюремный кузнец. Было слышно, как заклепывает он на боярине ножные и ручные кандалы, как подвывает когда-то всесильный воевода, как глумливо орут на него и поносят те самые дьяки, которые в недавнем прошлом робели одного только взгляда боярина Алексея Петровича.

Дед-ключарь сказал Рябову, что воеводу велено держать в великой строгости на хлебе и на воде, что ждут ему всякого худа и великого бесчестья...

На все эти события кормщик и капитан-командор только переглядывались.

2. НЕ ГОРЯЧ И НЕ ХОЛОДЕН

Утром в Холмогоры на богатом струге, убранном коврами, приплыл Двиною воевода Ржевский. Нынешней ночью конный гонец привез царев указ - встречать без всякой пышности, войска не выводить, из пушек не палить. Воевода побеседовал с гонцом, приказал стрелецким полкам, высланным для встречи, тотчас же двигаться к Архангельску, а сам пошел к Афанасию попросить благословения.

Старик сидел на крыльце, грелся на солнце - в скуфеечке, в порыжелом подряснике. Перед ним на задних лапках сидел щенок, умильными, сладкими глазками смотрел на архиепископа, тот ему ласково выговаривал:

- Вовсе ты, пес, зажрался. Разве ж оно мыслимо - хлебца собаке не есть? Давеча от каши отворотился. А каша сладкая, с медом. Я, владыко, сию кашу не без удовольствия вкушаю, а ты - собака беспородная, непутевая, лаять, и то не выучилась, а от каши нос воротишь...

Воевода Ржевский стоял молча, слушал беседу владыки со щенком, не верил, что Афанасий не видит важного гостя. Наконец Афанасий поднял голову, прищурившись спросил:

- Не князь ли Василий Андреевич?

Ржевский смиренно поклонился. Глаза Афанасия блеснули недобрым светом, долго молча он смотрел на воеводу. Тот подошел к руке, владыко не благословил, не предложил сесть, не спросил о здоровьи. Все вглядывался. И щенок смотрел на Ржевского как-то хитро, потом припал мордой к земле и слабо, тонко тявкнул.

- Поди, поди! - велел Афанасий собаке. - Поди прочь!

Щенок не послушался, еще прыгнул, опять припал передними лапами,

залаял неумело. Костыльник подхватил его на руки, унес.

- Так вот ты каков, воевода, - негромко произнес Афанасий. - Не разобрать - молод али стар...

- Будто бы и не стар, - полушутя ответил Ржевский. - А молодость, владыко, - тоже за делами, да заботами, да мыслями - в одночасье пропала...

- Прозоровский куда старее тебя.

- Раза в два.

- А Иевлев Сильвестр Петрович моложе?

- Моих лет.

- Так, так! - владыко покачал головой. - Так. Оба в узилище и сидят? И Прозоровский и Иевлев? И кормщик тоже? Да Мехоношин с ними?

Ржевский молчал, не понимая, куда гнет Афанасий.

- Не знаешь - кто прав, а кто виноват? Не разобрал?

- Не мне судить, - скромно ответил воевода. - Кто прав, а кто виноват - то ведает бог да великий государь.

- А ты не ведаешь? - тонко, с хрипотцой спросил Афанасий. - Ты, Иевлева Сильвестра от младых ногтей помня, не разобрал - есть он подсыл и изменник, али ерой, коим Русь гордиться должна? Не разведал ты, кто таков Прозоровский? Об Рябове - славнейшем кормщике - не удосужился истину узнать?

Ржевский вздохнул, улыбнулся вежливо:

- Не так все сие просто, владыко. Темное дело, трудное, немалое время раздумывал я об нем, да и не мне решать...

- Оно спокойнее - не тебе решать. Писание знаешь?

- Православный! - чуть обиженно ответил воевода.

- Помнишь ли о тех, кто не горячи и не холодны? Не их ли господь обещал изблевать с уст своих? О, роде лукавый, как быть с такими, как ты, коли господь покуда только лишь обещает, а вы и не боитесь? Для чего послан ты был сюда? Дабы разобраться в сем хитросплетении! И разобрался, знаешь все, неглуп на свет уродился, но рассуждаешь про себя, что не скорохват ты, что Ромодановский - одно, а Апраксин -

другое, что надобно знать, по чьему велению делать, что голова у тебя лишь одна. Так говорю?

Ржевский улыбался бледно, помалкивал: проклятый поп умен, как змий, читал в сердце, бил наотмашь - наверняка. И не следовало ему возражать, еще более озлобится, а Петр Алексеевич ему верит. И, слушая жесткий голос Афанасия, его грубые мужицкие слова, он раздумывал - не выпустить ли сейчас, немедленно, мгновенно из узилища капитан-командора с кормщиком, или оно будет нехорошо перед самым приездом царя?

- Денные тати, звери окаянные, что делаете? - спрашивал Афанасий. - Жену доблестного ероя Иевлева курохваты дьяки пужают острогом, пужают, что посиротят детей, что пустят вовсе по миру. Для чего? Дабы на супруга своего показала облыжно, дабы отца детей своих предала дыбе, дабы угождение сделать некоторым скаредам и мздоимцам, некоторым трусам, потерявшим доблесть свою и мужество! Да и был ли ты, ни холодный, ни горячий, таким, как прочие истинные люди русские бывают? Что глядишь? Думаешь, слаб Афанасий, на ладан дышит, не повалить ему меня? Ан повалю! Я только сего часу и дожидаю на сем свете. Земной человек - Афанасий, хушь и в обличьи скорбном. Грешно, да никто нас с тобою не услышит: нынешнею ночью не спал, все виделось, как тебя перед государем поносными и срамными словами ущучу, как залебезишь ты, воевода, завертишься, а я тебе хрип рвать буду! Не страшен Прозоровский - страшен Ржевский. Прозоровский со временем на дыбе будет, а ты, змей, безбедно земной путь свой окончить можешь - в славе и почестях. Так не дам же я тебе того. Каждый твой вздох я отсюдова, из Холмогор, от Архангельска слышал, каждую твою мысль поганую да трусливую видел. Иди отсюдова! Не гоже мне тебя к столу не звать - ты воевода, я смиренный старец, - да кровь во мне не та. Пущу костылем за трапезой при людях - хуже будет! Иди на свое подворье, да приготовься царю говорить. Я давно знаю что скажу...

Ржевский все-таки поклонился, смиренно вздохнул, ушел. Келейник принес в кубке лекарство - бальзам, присланный Апраксиным из Москвы.

Афанасий, морщась, проглотил, поправил на голове скуфейку, велел подать себе "того проклятого пса". Пес лежал на спине, старик чесал ему розовое брюшко, спрашивал:

- И откудова ты такой уродина народился? И кто твои батюшка с матушкой? И что она такая за глупая собака, которой владыко пузо чешет?

Погодя здесь же на солнышке подремал немного, потом попозже, когда с Двины прибежали монахи - взял костыль и, слабо ступая, совсем дряхлый, но с суровым блеском в зрачках, пошел к пристани - встречать царя. Кроме Ржевского, здесь никого не было. По блескучим водам широкой реки медленно и важно на веслах двигался струг под царевым штандартом. Петр без кафтана сидел на борту, речной ветер надувал его белую полотняную рубашку с круглым голландским воротником. От солнца и ветра лицо у него было темное, лупилась кожа на носу, ярко блестели белые, ровные зубы. Спрыгнув на доски пристани, он быстрым шагом подошел к Афанасию, всмотрелся в него, сморщился:

- А и постарел ты, отче! С чего так? Немощен?

От него пахло потом, смолою, пеньковыми снастями. Афанасий молчал, рассматривал царя, вокруг шумели свитские - прыгали со струга на прогибающиеся сырые доски пристани, выкидывали бочонки, ящики, корзины. Гребцы с трудом волокли тяжелого Головина, он смеялся, что-де уронят его в воду.

- И ты, государь, ныне не молодешенек! - произнес Афанасий. - Ишь, седина пробилась...

Он вдруг всхлипнул, но сдержался и сказал только:

- Дождался я тебя.

Низко поклонился, попросил:

- Почти, государь, моей хлеба-соли отведать. Всех прошу, кроме как господина князя-воеводу Ржевского. Ему за моим столом не сидеть!

Ржевский страшно побледнел, Петр спросил строго:

- Дуришь, старик?

- А хоть бы и так! - спокойно и даже величественно ответил Афанасий. -

Немного дурить-то осталось, сам видишь, прежнее миновалось, бороды более не рвать...

Петр пожал плечами, пошел вперед. Александр Данилович Меншиков, натягивая на ходу кафтан, дернул окаменевшего Ржевского за рукав, спросил:

- Что, Васька? Отъюлил свое? Упреждал я тебя, сукин ты сын, делай с Иевлевым по-доброму. Все искал Федору Юрьевичу подольститься, все искал, как на всех угодить. Вот и угодил...

И, догнав Апраксина, весело осведомился:

- Сильвестра-то отпустили?

Федор Матвеевич быстро взглянул на Меншикова, ответил:

- Плох он будто бы, и все в узилище. Скорее бы, вот уж истинно минута дорога...

Уже солнце село, когда Петр вышел с архиепископского подворья. Он был один, без шапки, в расстегнутом кафтане, курил трубку. Возле ворот с непокрытыми головами дожидались царя боцман Семисадов, Егор да Аггей Пустовойтовы и старик Семен Борисович.

- Ну? - негромко, басом спросил Петр.

И крикнул:

- Знаю, все знаю! Хватит!

Потом приказал:

- Позвать сюда Ржевского!

В густой темноте безлунного, беззвездного вечера монахи, служники Афанасия, побежали искать воеводу. Петр сидел на лавке у ворот, молча попыхивал сладко пахнущим кнастером, слушал захмелевшего Осипа Баженина, который хвастался тем, как быстро и в точных пропорциях построил нынче фрегат. Было очень тепло, тихо, где-то погромыхивал гром, гроза все собиралась, да никак не могла собраться. Из ворот вышел Меншиков, пошатываясь сказал:

- Ну, накормил дед, да, накормил. Ты, мин герр, рыбку не кушаешь, а у него рыбка, и-и...

Петр не ответил. Меншиков еще шагнул вперед, засмеялся:

- Ничегошеньки не видать. Мин герр, может, я уже и помер, а? Может, мне оно все причудилось?

- Венгерское всегда так бьет! - с лавки молвил Петр. - Иди на голос, сядь.

Александр Данилыч сел, сладко зевнул, опять засмеялся:

- Ай, дед, ну, дед! Как он про Ваську-то Ржевского. И лупит, и лупит! Я так раздумываю - гнать надо взашей Ржевского...

- Раздумываешь? - угрюмо спросил Петр.

- А что, мин герр, как не гнать? Ты на Воронеже, да на Москве, да еще как мы ко Пскову того... ехали, все меня щунял, что-де я за Сильвестра говорю. А выходит - моя правда. И Федор Матвеевич...

- Будет молоть! - оборвал Петр.

И вновь стал разговаривать с Баженином.

Когда Ржевского отыскали и привели к Петру, он позвал его в дом Афанасия, заперся с ним в дальней тихой келье и, не садясь, спросил:

- Ты для чего сюда послан был?

- Князь-кесарь Федор Юрьевич...

Петр сжал зубы, размахнулся, ударил воеводу огромным кулаком в лицо. Тот покачнулся, Петр схватил его за ворот кафтана, ударил об стенку, тараща глаза швырнул на пол, пнул ногой...

Потом, отдышавшись, велел:

- Чтобы и духу твоего здесь не было. Возвернусь к Москве, там еще поспрашиваю. Нынче же вон отсюдова... Паскуда...

И велел Баженину сбираться на верфь - смотреть фрегат.

3. КАФТАН И ЗАСТОЛЬЕ

В Троицын день, незадолго до обеденного времени отворилась дверь, с поклонами, испуганный вошел дьяк Абросимов, пришепетывая, объявил:

- С избавлением, господин капитан-командор! Государь вскорости в Холмогоры прибудет. Воевода туда отправился - встречать. А уж ты, Сильвестр Петрович, да ты, Иван Савватеевич, не обессудь! Наше дело холопье, сам знаешь, что сверху велено, то нами и исполнено. А уж я ли

не старался по-хорошему...

Ключарь прибрал камору, дьяк распорядился принести березовых веток, свежего квасу.

С теми же вестями прибежал Егор Резен: государь-де идет на струге Двиною, с ним Меншиков, Апраксин, Головин, далее следуют царевич Алексей и множество войска. Слышно, что государь на архангельские дела гневен и что будет беседовать с Афанасием, а об чем - никому не ведомо.

- Знает про то игумен, который звонок бубен! - с усмешкой сказал Рябов.

- Неведомо! Будешь с нами завтрак кушать, господин инженер?

- О, салат теперь не надо! - воскликнул "медикус". - Совсем скоро домой! Да, сегодня, завтра...

- Как вернемся, тогда и скажем - домой пришли! - молвил кормщик. - А ныне не пропадать едову-то!

И, насупившись, сел за салату, как за тяжелую работу. Но она в это утро совсем не шла в горло. Рядом взвыл, прикинувшись поврежденным в уме, поручик Мехоношин; визжал, скребясь в дверь и вымаливая хоть захудалого попишку - исповедаться, боярин Прозоровский, ругались караульщики. Рябов, пережевывая салату, только головою качал:

- Ну и ну! Недаром говорится, кто жить не умел, тому и помирать не выучиться. Срамота, ей-ей...

- Может, пред свои очи призовет, во дворец, - погодя предположил Иевлев.

- Позовет ли? - усомнился кормщик.

- Как не призвать? Коли сам сюда не пришел - призовет.

- И гуся на свадьбу волокут, да только во шти! - со злой усмешкой сказал Рябов.

Молчали долго.

Опять вошел дьяк Абросимов, уже не кланяясь; велел кузнецу одеть в железы обоих узников - и Рябова и Сильвестра Петровича. Кормщик заругался. Абросимов зычным голосом крикнул караульщиков, обоих узников скрутили, повалили на землю, цепь в стенное кольцо продел сам

Абросимов. Квас и березовые ветви убрали.

От тугого железного обруча у Сильвестра Петровича открылась рана, обильно хлынула кровь. Кормщик, разорвав зубами рубашку, попытался перетянуть ему ногу выше раны, но кровь все текла и текла. Было видно, что Иевлев слабеет, что силы оставляют его. Утешая Сильвестра Петровича и сам нисколько не веря в свои слова, Рябов говорил:

- Недосуг ему, господин капитан-командор. Ты не печаловайся! С того и заковали, что не сразу сюда он подался. Дело его царское - куда похощет, туда и путь держит. Ну, а холуй - он, известно, всегда холуем останется - заробели, что больно ласковы к нам были, и в иную сторону завернули. Полно тебе, Сильвестр Петрович...

За ночь Иевлев совсем ослабел: еще одна рана открылась на ноге. Рябов, до утра не смыкая глаз, пытался так оттянуть кандальный браслет, чтобы железо не въедалось в края раны, но Сильвестр Петрович метался, кандалы выскакивали из рук кормщика. К рассвету, совсем измучившись, Рябов сказал ключарю:

- Вот чего, старик! Я тебя в прежние времена из воды вынул - отслужи ныне службою: лекаря надобно. Сам зришь - господин Иевлев вовсе плох, не унять мне кровь. Помрет - с тебя царь спросит, тебе в ответе быть, а спрос у него короткий, сам про то ведаешь...

Ключарь испуганно замахал руками, зашамкал:

- Иван Савватеевич, нынче никак того не можно. Рейтары округ узилища стоят, - мыш, и тот не проскочит! Дьяки словно угорели: давеча мне кнутом грозились, царева гнева вот как страшатся. Помилуй, не проси, что мне жить-то осталось, слезы одни...

И ушел, заперев камору на засов, дважды повернув ключ в замке.

Рябов сел в угол, стиснул зубы.

Сильвестр Петрович так измучился, что и рукою больше не мог пошевелить - совсем ослабел. Теперь он бредил. Кормщик вслушался в его ясный шепот, в короткие восклицания и - понял: Иевлев командует сражением. То, чего не свершил он в жизни, свершалось нынче в воспаленном его мозгу: ему виделись корабли и чудилось, что он ведет в

бой русскую эскадру. Сухие губы Иевлева четко произносили слова команды, едва слышно хвалил он своих пушкарей, абордажных солдат и орлов матросов, которые великую викторию одержали над вором неприятелем.

Глухо звеня кандалами, кормщик подошел к топчану, опустился перед Иевлевым на колени, низко склонил голову. Рядом на полу стоял кувшин с водою; Рябов макал в воду ветошку, смачивал ею запекшиеся губы Сильвестра Петровича. Так миновал вечер, наступила теплая ночь.

Было совсем поздно, уже пропели вторые петухи, когда на лестнице послышался тяжелый топот сапог и желтое пламя жирно коптящих смоляных факелов осветило сырые своды каморы, черную солому, на которой неподвижно вытянулся Иевлев, склонившегося над своим капитан-командором кормщика.

Царь Петр в зеленом Преображенском кафтане, простоволосый, огромный, подошел вплотную к топчану, спросил властно:

- Занемог?

- Отходит! - ответил кормщик, глядя на Иевлева.

Царь наклонился к Сильвестру Петровичу, взял его руку, кликнул лекаря. Ноздри короткого носа Петра трепетали, зрачки выпуклых глаз блестели гневно и ярко, рот под жесткими щетинистыми усами был крепко сжат. Лекарь оттиснул кормщика, солдаты с факелами подошли ближе.

Рябов встал с колен, взглянул Петру в глаза.

Они долго смотрели друг на друга, оба огромные, на голову выше всех свитских, и внезапно лицо Петра - загорелое, обветренное, суровое - словно бы незаметно дрогнуло и на короткое мгновение смягчилось. Он за плечи притянул Рябова к себе и, ничего не говоря, с удивленным и небывало- асковым выражением глаз, трижды, уколов жесткими усами, поцеловал в губы; потом, как бы устыдившись этого своего поступка, но все еще крепко держа кормщика за плечо, оборотился к Иевлеву, над которым хлопотал иноземец-лекарь.

- Was?[3 - Was? - Что? (Нем.)] - грубо спросил у него Петр.

Тот успокоительно закивал.

Перепуганный и оттого неловкий, острожный кузнец зубилом отворял цепь, чадили и трещали факелы; постаревший, с отеками под глазами Апраксин аккуратно разводил в кружке коньяк с водою. Петр, все держа Рябова за плечо, с тревогою всматривался в лицо Иевлева. Продолжая делать мускулистыми, голыми, поросшими волосами руками свою работу, лекарь быстро, сурово, по-немецки объяснял, что, весьма вероятно, капитан-командор и скончается, так как кровь покинула многие хранилища, хоть, впрочем, отчаиваться еще рано.

- Вон еще - цепь! - крикнул Петр кузнецу. - На кормщике!

Тот, робея царя, свиты, чадящих факелов, подошел к Рябову, упер зубило, ударил молотом. Зубило со скрежетом сорвалось.

- Не так делаешь! - сердясь сказал Петр. - Прямо поставь, а не вбок, мастер! И бей с оттягом!

Кузнец прикусил губу, ударил еще раз, заклепка выскочила. Петр сам сорвал с кормщика цепи и быстро, крупными в ссадинах пальцами стал расстегивать на себе Преображенский кафтан. Одна роговая пуговица никак не расстегивалась, он дернул, оторвал. Свитские бросились помогать, Петр гневно повел плечом:

- Сам! Не мешайся!

- Сам, мин герр, все пуговицы поотдерешь! - ворчливо молвил Меншиков.

- Погоди, не спеши...

Он расстегнул на Петре пряжки пояса, отцепил шпагу с портупеи. Царь скинул с плеч кафтан, протянул, скомкав, Рябову. Тот, не понимая, не брал. Со всех сторон свитские подсказывали:

- Тебе кафтан, тебе, по обычаю!

- Бери, мужик, царь со своего плеча кафтаном жалует!

- Бери, надевай...

Рябов взял кафтан, кто-то сбоку зашипел:

- Становись на колени, лобызай персты царевы, падай, кланяйся...

- Денег! - приказал Петр.

- Тут деньги, мин герр! - сзади сказал Меншиков и подал кошелек.

Петр высыпал золотые на ладонь, подумал малое время, потом протянул

все Рябову. Свитские зашептались: на сей раз государь нисколько не поскупился, не пожалел, против обыкновения, золота. Кормщик взял деньги, широко улыбнулся, сказал Петру:

- И за золотые спасибо, государь! Поотощал я малость на казенных харчишках, теперь, глядишь, погуляю.

Царь, не слушая, вскинув голову, говорил раздельно, громко, внятно:

- Жалуем мы тебя, кормщик Рябов Иван сын Савватеев, первым лоцманом и матросом первым нашего Российского корабельного флота и от податей, тягот, повинностей и иных всяческих разорений быть тебе и роду твоему навечно свободными...

Он обернулся, с внезапной яростью в голосе приказал свитским:

- Пиши, не то, неровен час, забудете!

Рябов осторожно, чтобы не разорвать в плечах, натягивал кафтан. Лицо его теперь было так же бледно, как у Иевлева, на лбу проступила испарина. Свитские смотрели на него с ласковыми улыбками, один пузатый стал помогать застегивать пуговицы.

- Управлюсь, чай не маленький! - отступя от свитского, молвил кормщик.

Он поклонился царю поясным поклоном, не торопясь расправил широкие плечи, спокойно посмотрел в карие, искрящиеся глаза Петра, спросил:

- Хлеба-соли придешь ко мне, государь, отведать?

Петр усмехнулся:

- Одного зовешь, али со всей кумпанией?

Рябов медленно обвел глазами свиту, как бы рассчитывая в уме, потом сказал:

- Ничего, можно! Взойдут, авось не треснет изба...

И, помедлив, добавил:

- А не взойдут, на волю вынемся. У нас оно по обычаю, на волюшке застолье раскидывать...

Пришли солдаты с носилками, осторожно положили на них Иевлева. В сенях стоял несмолкаемый грохот - там кирками и топорами взламывали узкую дверь, рушили старый кирпич, ломами отрывали железо, чтобы пронести Сильвестра Петровича. Лекарь пошел за капитан-командором.

Петр сел на топчан, вытянул длинные ноги, уперся одною рукою в бок, другою - в колено, отрывисто приказал:

- Прозоровского сюда и палача!

Взглянул на Рябова:

- А ты, ломцан, иди, да нас дожидайся! Управишься? Обедать придем!

- Не впервой гостей-то потчевать! - усмехнулся Рябов. - Чай, русские, не немцы...

Петр едва приметно нахмурился, но Рябов не увидел этого. Валкой своей, моряцкой походкой он вышел в сени, глазами отыскал совсем обмершего от страха старика ключаря, бросил ему червонец с тем, чтобы тот не позорил свою старость в остроге. Старик закланялся, зашамкал. Рябов поднялся наверх, полной грудью вдохнул свежий, прохладный воздух и хотел было перекинуться несколькими словами с караульщиками, как вдруг снизу, из подземелья услышал длинный, воющий, страшный крик Прозоровского. Махнув рукой, страдальчески сморщившись, Рябов поспешно вышел за ворота и зашагал к избе на Мхах.

Неподалеку от церкви Параскевы-Пятницы встретился ему Семисадов.

- Богатым быть, не признал! - сказал спокойным голосом боцман. - Здорово, кормщик! Что оно на тебе - кафтан новый, что ли?

- Да, вишь, приоделся маненько! - ответил Рябов.

- Добрый кафтан! - щупая грубыми пальцами сукне, сказал Семисадов. - Знатный кафтан! Пуговицы вот жалко нет - оторвалась. Такая пуговица тоже денег стоит. Роговые?

- Надо быть, роговые.

- Я тебе деревянную вырежу, да сажей и покрашу. Пришьешь, незаметно будет...

Он усмехнулся и добавил:

- Ишь, каков кафтан! Погляжу я на тебя, кормщик, да и сам в острог напрошусь, коли там кафтанами дарят...

- Да уж там дарят...

Они набили трубки, Семисадов ловко высек огня.

- Выходит - к дому идешь? Отпустили?

- Да вроде бы пока что и отпустили!

- Царь, что ли?

- Он, Петр Алексеевич...

- Ловко ты отделался! - сказал боцман. - Хитро отделался, кормщик. Недаром у нас говорится: близ царя - близ смерти. Не угадаешь чего - пропал. Шапка тут, а голова потерялась...

Он засмеялся:

- Верно ли говорю?

- Оно так! - согласился кормщик. - Особливо без добрых людей. Слышал, и ты будто в Холмогоры ездил с другими некоторыми?

- Было ездили. Афанасий, владыко, своего келейника за нами посылал.

- Говорили чего царю?

- Не поспели! Зашумел на нас: знаю, говорит, все сам знаю...

- Что ж знал, да за караулом держал?

- Его, Савватеевич, воля. Я так располагаю - хорошо еще, что отпустил...

- А для чего нас держать надобно было?

- Ему, небось, виднее! - с усмешкой молвил Семисадов. - Говорю - хорошо, что отпустил. Сильвестр-то Петрович как?

- Не гораздо здоров. Унесли.

- Отживет! - уверенно сказал Семисадов. - Теперь ему ничего, теперь почтят. Слышно, большой чин ему получать. Кому худо, Иван Савватеевич, так худо Прозоровскому. И Ржевскому ныне будет несладкое житье. Худее не бывает.

- Пошел в попы - служи и панихиды! - отозвался Рябов. - Каждому свое.

- Уж им-то выйдет верная панихида...

Поговорили про шведов. Семисадов рассказал, что будто крейсировала эскадра в Белом море, да куда-то ушла. Рябов спросил:

- Нынче здесь будешь?

- Здесь, в Архангельске.

- Дорогу к моей избе не забыл?

- Кажись, не забыл.

- А коль не забыл - приходи, застолье раскинем. Царь золотишком

пожаловал, погулять надобно...

- И то - не шубу шить.

- То-то, что не шубу. Уж и позабыл, как гулять-то с легким сердцем. Приходи, боцман.

- И то приду. Поздравим тебя, что выдрался.

- Меня поздравим, других помянем, кого и похвалим за верную дружбу. Дела найдется. Ну, пойду я, пора мне...

Ему до колотья в сердце хотелось домой на Мхи, но неудобно было спешить на глазах у Семисадова, не мужское дело торопиться в свою избу, не пристало мужику с сединою в бороде скакать козлом к своим воротам. И потому до самого угла он шел медленно, вразвалку, только потом побежал, тяжело стуча бахилами по ссохшейся земле. У калитки своей кормщик постоял немного - не держали ноги.

Потом нажал на щеколду, пересек двор и поднялся на крыльцо.

4. ВНОВЬ В ВОЕВОДСКОМ ДОМЕ

Странно, словно во сне прожила это длинное время Марья Никитишна. Была пора, когда казалось ей, что останется она совсем одна на свете, что все отвернутся от нее, от опальной, что не получить ей нынче весточки от старой, доброй подружки, что никто не вспомнит о ней, затерянной на Мхах в далеком Архангельске.

Но случилось иначе.

Первым прислал за ней келейника владыко Афанасий. Она заробела, но бледный, кроткий; с опущенными долу очами послушник настойчиво присоветовал ей непременно ехать, и она отправилась. За весь длинный путь келейник не сказал ей ни единого слова. Молчали и монахи-гребцы. День выдался на редкость тихий и теплый, Двина словно застыла, млея под пекучими солнечными лучами, от прибрежных лесов густо и душно пахло смолою...

Афанасий встретил ее молча, утешительных слов не говорил, ничего не обещал. Но низкий его голос был ласков, взгляд из-под нависших бровей - строг и спокоен, на душе у Марьи Никитишны вдруг стало легко, словно

ничего и не случилось страшного и непоправимого. С умной усмешкой слушал он ее рассказ о том, как наезжали к ней дьяки, как требовали, чтобы очернила она Сильвестра Петровича, как пугали ее острогом и далекою ссылкою. Потом вдруг велел:

- Как в недальние времена ко мне приедешь - дочек возьми. Пущай на подворье резвятся. У меня, вишь, и сад неплох, кошка окотилась - котятки есть, монах один - выпивашка, эпитимью отбывает - искусен сказки рассказывать, слушаю его подолгу. Да не реви, детушка, ни к чему!

Марья Никитишна утерла быстро посыпавшиеся слезы, но тотчас же разрыдалась навзрыд. Афанасий сидел неподвижно, опустив голову, лотом сказал негромко:

- Ох, горе-горе! Да ништо, минуется. И не одна ты - об том помни. И он не один - славный твой ерой Сильвестр Петрович. Знай - да не болтай попусту, - многие люди на Москве об нем помнят и все, что надобно, делают. Трудно им - с осторожностью надобно, Петр Алексеевич шутить не любит; ежели торопясь, еще и напортишь... Деньжата-то есть?

- Есть, владыко.

- Много ли?

Она промолчала. Провожая ее, он что-то тихо приказал своему костыльнику, к карбасу погнали подводу с бочкою масла, с кадушкою меда, мешками муки. Марья Никитишна испугалась, сказала, что не надо ей ничего, он ответил строго:

- Не тебе, глупая, дочкам - Иринке да Веруньке. Со временем пришлю за ними нарочного. И еще прихвати с собою сего кормщика сына...

С детьми она прожила на архиерейском подворье неделю, вместе с ними слушала сказочника монаха-запивашку, на карбасе плавала по Двине, ездила в тележке любоваться с холмов на медленно текущую реку. Здесь же варили ушицу, рябовский Ванятка скакал верхом на подслеповатом мерине, девы ахали, глядя на Ваняткино проворство...

Афанасия она почти не видела, он хворал, был занят. Однажды она с удивлением узнала в человеке, который выходил из покоев Афанасия,

Егора Резена. Окликнула его, но он не услышал, сел в седло и уехал. Какая-то тайная работа, постоянная и трудная, делалась вокруг нее, и она понимала, что многие люди помогают Сильвестру Петровичу и Рябову, думают о них, никогда их не забывают...

Однажды, субботним вечером в рябовскую избу на Мхи пришел неизвестный человек в плотном, доброго сукна кафтане, с внимательным, пристальным взглядом, спросил Марью Никитишну, помолчал, сел на лавку, утер большое рябое лицо платком, потом передал ей поклон от Александра Данилыча. Она, вспыхнув, поблагодарила, спросила, каково меншиковское здоровье.

- Ничего, здоров! - ответил незнакомец. - Дочки по-здорову ли?

- И дочки, благодарим покорно, здоровенькие.

- То - слава богу. Раны как Сильвестра Петровича?

- Рассказывают, не слишком хорошо. Да ведь там...

Незнакомец перебил:

- И там помочь можно. Золотым ключом любые, матушка, двери отворяются. Был бы ключ!

И, покряхтев, вынул из глубокого кармана кошелек:

- Сгодится.

Захаживали еще люди: с добрым словом - от посла в Дании Измайлова, с посылочкой - от Андрея Андреевича Виниуса, с целебным элексиром для Сильвестра Петровича - от некой особы, не пожелавшей себя назвать.

Так шло до тех пор, пока вдруг серой ночью, в самое глухое время вернулся домой Иван Савватеевич, а вслед за ним, еще ничего не поспевшим толком рассказать, Марья Никитишна увидела Меншикова, совершенно такого же, как много лет назад, - веселого, в лентах, чуть томного. Поздоровавшись с ней так, будто расстались они только вчера, перецеловав дочек, он велел Марье Никитишне немедленно собираться на иное жительство, достойное семейства славного ероя и шаутбенахта Российского флота Иевлева. Во дворе же рябовской усадьбы в эту рассветную пору уже ржали и кусались лошади в московских упряжках, царевы кучера бранились друг с другом и прегалантные камердинеры с

пажами Меншикова, ничего не спрашивая, сами вязали в узлы иевлевское имущество...

Марья Никитишна, с красными пятнами на щеках, стыдясь слуг, ничего еще толком не понимая, одела сонных дочек, забыла попрощаться с рябовским семейством, вернулась, обняла Таисью, бабиньку, самого Рябова, вновь оказалась на крыльце, спросила Меншикова:

- Да куда же ехать, Александр Данилыч? Закружилась я вся, не понимаю ничего...

Она дрожала от утренней свежести, а он, поглядывая на нее своими окаянными глазами, чему-то все улыбался и помалкивал. Она вдруг вспомнила про кошелек золотых, что он послал, и про золотой ключик, но он, усмехаясь, пожал плечами:

- Впервой слышу! Что за кошелек? Я, Марья Никитишна, человек бедной, чин имею всего лишь поручика, откудова у меня золото кошельками. С царева жалованья бомбардирскому поручику не разгуляешься...

Он подсадил ее в тележку, удобно и ловко подал ей дочек, мышастые сытые кони взяли ровно, спереди - с криком - "гей, пади!" - побежали знаменитые меншиковские скороходы, тележка мягко, покойно закачалась на широких ременных рессорах, и Марья Никитишна поняла: страшное горе ее избыто, нынче все пойдет по-новому, пришел час правды! И когда тележка свернула в ворота опального воеводы Прозоровского, Марья Никитишна сидела с высоко поднятой головой, совсем другая, чем минуты назад, не похожая на себя в юности, когда она с Апраксиным - счастливая, добрая, легкая - первый раз подъезжала к этому же дому, где ждал ее, думал о ней, не ведая, что она едет, молодой Сильвестр Петрович. Нет, нынче во двор усадьбы воеводы въехала совсем иная Марья Никитишна...

Здесь никто еще не спал: дюжие солдаты в расстегнутых Преображенских кафтанах, с трубками в зубах, дьяки Молокоедов, Гусев с Абросимовым, еще какие-то суровые ребята выволакивали на высокое резное крыльцо укладки, узлы, сундуки, плетенки, с робким воем металась средь обилия своих вещей простоволосая, опухшая от слез

княгиня Авдотья, похаживал востроносенький, словно бы пришибленный, тихий недоросль, причитали и говорили иностранные жалостные слова жилистые княжны. Завидев Меншикова, солдаты багинетами стали распихивать семейство бывшего воеводы, чтобы не застило дорогу, а Марья Никитишна негромко сказала:

- Что же оно деется, Александр Данилыч? Куда их? За что?

Княгиня Авдотья смаху упала перед Меншиковым на колени, взмолилась в голос:

- Господи Иисусе-Христе, батюшка, помилуй, куда же нам управиться в экую даль, хушь до завтрева, до вечерку повремени со ссылкою, не одна я - с детьми...

Полные белые руки княгини обнимали башмаки Меншикова, она прижималась нарумяненным лицом к его ногам, а он нетерпеливо и раздраженно кричал солдатам:

- Али государева указа не ведаете? Выкидывай их отсюдова, черти, дубье, олухи! Сказано вам: сей дом нынче же отдать шаутбенахту Иевлеву со чады и домочадцы...

Преображенцы оттащили княгиню, но она все еще продолжала визжать, и нестерпимые ее вопли Марья Никитишна долго еще слышала в доме, когда уже припала к изголовью постели, на которой дремал Сильвестр Петрович...

Наконец загремели колеса подвод, увозивших в далекую ссылку семейство князя Прозоровского, заскрипели закрываемые ворота, а погодя - в тишине - длинно и легко вздохнул Иевлев. Марья Никитишна, стоя возле постели на коленях, тихо и счастливо плача, мелкими поцелуями покрывала ввалившуюся щеку, худую руку, бледный висок мужа. Он еще вздохнул в дремоте, потом открыл глаза, радостно молвил:

- Маша? Я будто и слышал, да все думалось - снится.

Она не ответила - быстрые мелкие слезы капали на его руку.

- Полно, - попросил он. - Ныне все горе позади...

И вдруг спросил:

- Кто тут все будто бы кричал? Все кричал да визжал, а?

Из двери, раскуривая трубку, жестко ответил Меншиков:

- То злодея твоего - Прозоровского семейство в ссылку увозили. Поделом сей сволочи!

- Поделом? - приподымаясь на локте, спросил Иевлев. - Им-то с чего поделом? Глупым сим бабам да девкам-полудуркам, им для чего ссылка да заточение?

Меншиков ответил не сразу, угрюмым голосом:

- Тако живем, Сильвестр! Тут рассуждать не для чего, в мозгах лишь верчение может сделаться. Тако... повелось! Он тебя не сожрал с семейством - ныне платится...

И, затворяя за собой дверь, посоветовал:

- Не тревожь голову. Спи, господин шаутбенахт...

Но никто в это странное утро не мог уснуть в огромном воеводском доме. То и дело доносились голоса из столового покоя, приехал Апраксин, с ним Головин, потребовали тотчас же Машеньку Иевлеву, потребовали смотреть дочек - каковы выросли красавицы, потребовали еды, питья, веселья по случаю, всем известному. Едва Марья Никитишна вышла с неприбранными волосами, едва трепещущая новых хозяев воеводская челядь понесла закуски и вина, во дворе загремели кованые колеса кареты, и владыко Афанасий, слабо переставляя свои отекшие ноги, вошел в сени. Его усадили в кресла, он налил себе сам в кубок мальвазии, сказал Иевлеву:

- Не про твое здоровье, капитан-командор...

Меншиков поправил:

- Шаутбенахт, владыко...

- То мне все едино! Не про твое здоровье, Сильвестр! Про твое еще чашу не раз и не два станут пить...

Он помедлил, обвел всех своим пристальным и суровым взором, молвил спокойно:

- Про то сию чашу вздымаю, что не перевелись и не переведутся на русской земле люди, кои, никого не устрашившись, за верные други своя,

себя не жалеючи, скажут самоинужнейшее слово. Про твое здоровье, Федор Матвеевич, про твое, Александр Данилыч!

Афанасий пригубил вино, спросил у Меншикова:

- Что зубы скалишь, господин поручик?

- А того, - с усмешкой ответил Меншиков, - того, владыко, смеюсь, что неверно ты говоришь. Я трусом отроду не бывал, то вы все ведаете, а сего - боюсь. Боюсь, отче, паки и паки боюсь, и не смерти, леший с ней, помирать все станем, а страха боюсь - своего страха, когда поволокут к князю- есарю, да заскрыжещет он зубами, да нальется кровью, да покажет тебе орленый кнут, да палача Оску, да пихнет в закрылье к дыбе. Тебе, владыко, из Холмогор не видать, а мы, приближенные, знаем, каково под пыткою человек изумлен бывает. Не устрашившись! Как бы не так, отче! Бывало весь потом обольешься, покуда из себя то самоинужнейшее слово выдавишь. И ждешь! А ну, как тебе за то слово...

Граф Федор Алексеевич Головин взглянул на Меншикова исподлобья маленькими, догадливыми, пронзительно-умными глазками, покачал головой:

- Полно, Александр Данилыч! Не ко времени сии речи! Сделано - и слава тебе богу, и верные слова владыко сказал! Про ваше здоровье пью!

Сильвестр Петрович, дотоле молчавший в своих креслах, спросил:

- Ответь, Федор Матвеевич: ты думал обо мне, что изменник я и вор? Не всегда, не поутру, а вдруг - ночью - не бывало? Не вступала в голову мыслишка: может, и впрямь Иевлев перескок - к шведам перекинулся, нас всех вокруг пальца обвел? Не думалось так никогда? Ни единого разу?

Апраксин с ленивой улыбкой отмахнулся:

- Вздор городишь, господин шаутбенахт!

- То-то, что не вздор. Сидючи в узилище, денно и нощно размышлял я: ужели верят они сему навету, подлой на меня ябеде? Ужели меж собою в Москве али на воронежских верфях говорят: не разглядели мы, каков был Сильвестр. Не увидели змия! И еще думал почасту: ужели он сам, с коим прошла вся наша юность, с коим мы потешные корабли на

Переяславском озере ладили, с коим под Азов дважды ходили, с коим нарвское горе хлебали, ужели он...

Головин постучал по столу ладонью, строго прервал:

- Полно, господин шаутбенахт! Об сем предмете говорить не станем! Ни до чего доброго не доведет нас такая беседа...

Сильвестр Петрович вздохнул, замолчал надолго, погодя ушел в опочивальню. Марья Никитишна пошла за ним - он пожаловался:

- Слаб я, Маша, еще...

Она села рядом с ним, он взял ее руку, почти шепотом сказал:

- Трудно что-то...

- Да что трудно? - воскликнула она. - Что, Сильвеструшка, что, когда ныне и ерой ты, и шаутбенахт...

Он посмотрел на Марью Никитишну каким-то иным, новым взглядом - замолчал и более уже ей не жаловался.

Попозже Федор Матвеевич, утешая ее, говорил:

- Тяжко ему, Маша, многотрудно бедной душе его. Как не понять? Вскипит вдруг честная кровь, не совладать с собой. И в самом деле - как оно было? За подвиг и еройство истинные взяты оба в острог, в узилище, за караул, на пытки и посрамление - кем? Страшно подумать! Погоди, Маша, сие с прошествием времени минется. Отдохнет Сильвестр Петрович, оттает острожный лед в его сердце. И ты, Машенька, не горюй! Дел у тебя ныне, вишь, какое множество: дочки, муж адмирал, гости, воеводская усадьба, почитай весь Придвинский край на поклон бывает. За делами и минется невеселая эта пора...

Хлопот действительно было - не оберешься: в самое разное время вдруг появлялся Петр, голодный, усталый, жадно ел, искал, где бы поспать в холодочке; отоспавшись, вновь исчезал на верфях, в крепости, на Пушечном дворе. Все свитские - от самых начальных до мелкого народу - норовили быть поближе к воеводскому дому: почаще следовало попадаться Петру на глаза в усердии, чтобы не забыл. С Марьей Никитишной и с Иевлевым Петр Алексеевич был особенно ласков, от этого в воеводскую усадьбу повадились ходить на поклон. Марья

Никитишна и сердилась, и нравилось это ей: ходили и ездили многие - и гости торговые, и попы, и игумны окрестных монастырей, и какие-то льстивые, верткие, совсем незнакомые люди из Устюга, Мезени, Вологды. Во дворе торчали, ища случая услужить Марье Никитишне, дьяки - те самые, которые совсем недавно мучили ее и терзали расспросами о Сильвестре Петровиче. Как-то она пожаловалась на них Меншикову; тот усмехнулся, показывая белые как кипень, плотные зубы, тряхнул завитым париком, сказал:

- Экая ты, Марья Никитишна, привереда. Все, матушка, не без греха. Велено им было делать - они и делали, ныне иной ветер подул - они подлещиваются. По-твоему бы, и нас всех плетьми разогнать надобно. Люди - человеки, с тем и прости.

- Воры они, мздоимцы, лиходеи! - в сердцах сказала Марья Никитишна. - То всем ведомо...

- А ты честного дьяка видала? - сердясь, спросил Меншиков. - Коли знаешь, назови, я его Петру Алексеевичу покажу, - он, гляди, в фельдмаршалы такого монстру определит...

Марья Никитишна махнула рукой, ушла. Долго в этот вечер ходила из покоя в покой, узнавала светелки и горницы, сени и лестницы - все те места, по которым звонко стучали каблучки ее сапожек в те далекие годы, когда приехала она к мужу в Архангельск впервые. Вот здесь, в этой самой светлице, Сильвестр Петрович когда-то стаскивал с нее шубы и сказал, что закутана она, словно капуста. А здесь стоял у тогдашнего воеводы Апраксина медный глобус, полы тут были покрыты белыми медвежьими шкурами, здесь они и обедывали, подолгу засиживаясь за столом. Как тихо было тогда, как тепло, как покойно на сердце. Свистит за стенами метель, Маша задремывает у горячей печи, а мужчины курят свои трубки и говорят о делах...

Она ходила по воеводскому дому, а за нею неслышна двигалась воеводская челядь - няньки, мамки, дворецкий, горничные девушки, старуха ключница, карла с карлицей, - все были наготове, все ждали ее приказания, ее слова, ее взгляда, как еще совсем недавно ждали взгляда

и слова воеводы Ржевского...

Все эти люди теперь боялись и трепетали ее, а ей было и стыдно, и гадко, и страшно.

- Ничего мне не надобно! - сказала она вдруг громко голосом, в котором слышались слезы. - Идите отсюдова, призову, ежели дело будет...

Когда она вернулась в опочивальню, Сильвестр Петрович неподвижно лежал навзничь, глубоко запавшими глазами жестко смотрел перед собою, на огонек лампады. Она пожаловалась ему, что устала, что неспокойно ей нынче в этом чужом доме, что трудно ей от искательных взглядов челяди, что хорошо бы обратно к Рябовым на Мхи. Он с грустной улыбкой укоризненно сказал:

- А сама ни разу там не была.

- Да когда же мне, Сильвеструшка...

- Управилась бы, коли верно надобно...

Марья Никитишна промолчала: управилась бы - разумеется, так, но все-таки трудно было идти туда нынче, от беспокойного, но такого благополучного и почетного житья здесь, в воеводском доме. А Сильвестр Петрович, словно читая ее мысли, молвил:

- Вот уж истинно: суета сует и всяческая суета...

- Взавтрева и соберусь, непременно соберусь! - воскликнула Марья Никитишна.

Но и завтра не собралась, не собралась и послезавтра.

Сильвестр Петрович теперь подолгу сидел под разлапистой елью в воеводском саду, где поставили ему нынче кресла, чтобы не утомляла его шумная и постоянная суета хором. Здесь, задумчиво щурясь, перелистывал он Ньютонову сферику, играл с дочками, невесело и сосредоточенно размышлял. Отсюда он послал за Рябовым матроса и от души посмеялся, слушая рассказ лоцмана о застолье, раскинутом для Петра, о том, как прогуляли все дареные царем деньги и как лишь в Соломбале отыскал он, Иван Савватеевич, пятак на опохмелку. Беседовали долго, лоцман был тоже задумчив, все приглядывался к Иевлеву, словно искал в нем что-то и не находил, потом с укоризною

покачал головой:

- А ведь и полно бы тебе, Сильвестр Петрович!

- Чего полно? - понимая смысл слов Рябова и радуясь тому, что кормщик догадывается обо всем происходящем в его душе, спросил Сильвестр Петрович. - Об чем толкуешь? Чего полно?

- Говорю: полно, - всего и делов! - повторил лоцман. - Тебе ведомо, лишние-то слова болтать невместно!

И круто переменил беседу, спросив, довольна ли Марья Никитишна воеводским домом. Иевлев взглянул через плечо на челядь, что металась то на ледник, то в поварню, то в погреб, на кучеров, что лаялись возле своих экипажей, на меншиковских скороходов, спавших в холодке возле тына, вздохнул, сказал, что довольна, все сбирается на Мхи, да никак досуга не выберет...

- Делов ныне немало у нее! - подтвердил Рябов.

- Хозяйствует...

- Домина ничего!

- А что бы Таисье Антиповне наведаться? - спросил Иевлев. - Взяла бы да и пришла...

- Не придет!

- С чего же?

- А как же ей прийти, господин шаутбенахт? С черного-то крыльца?

Иевлев нахмурился, сказал сердясь:

- Для чего же с черного?

- Да ведь с иного, с боярского, челядь не пустит! - молвил Рябов. - Рыбацкая женка, да с князьями, с графами...

Он усмехнулся добродушно, добавил:

- Оно бы и ничего, и бог с ним, да толичко Иван мой Иванович все в гости к вам сбирался, к девам, в воеводский дом...

- Сбирался? Так за чем же дело стало? - оживленно сказал Иевлев. - Ты, брат, Иван Савватеевич, бери и веди. Что ж... придет, навестит Ванятка, поиграют они... Ты не сумлевайся...

Покуда Иевлев говорил, кормщик смотрел на него сверху вниз - точно бы

с сожалением, потом попрощался и сказал решительно:

- Нет, не приведу! Нельзя ему с черного крыльца, не таков малый вырос. Высоки ныне хоромы твои, а нам покуда что и в своей избе не тесно. Уж ты не серчай, Сильвестр Петрович...

Он ушел не торопясь, поглядывая по сторонам с добродушной усмешкой, ничем не обиженный, такой гордый сердцем, что Иевлев вдруг страстно позавидовал могучей этой натуре.

Два дня подряд царь Петр водил в воеводский дом к Марье Никитишне на обеды иноземцев - старых и недобрых знакомых Иевлева во главе с консулом Мартусом. Обеды были пышные, длинные, с заздравными тостами, многими переменами и речами. В выпуклых золотисто-карих глазах царя горели и потухали искры; он, топорща усы, подолгу толковал о боге, о грехах мирских и о том, что по примеру отцов и дедов своих задумал соблюсти ныне некое древлее благочестие: уйдя от сует суетных, накрепко решено им отправиться на Соловецкие острова в тамошнюю святую обитель, дабы возблагодарить угодников божьих Зосиму и Савватия за спасение города Архангельска от нашествия шведов. Иноземцы переглядывались, кивали, одобряли мудрее царево решение, а Сильвестру Петровичу все казалось, что государь смеется и что ныне он уже иначе разговаривает с иностранцами, чем в те годы, когда каждый приезжий из-за моря человек казался уже и честным, и умелым, и умным, и преданным его цареву делу. И пил с иноземцами Петр куда меньше, чем раньше - в молодости, и неосторожного слова от него Иевлев не услышал ни единого. Прежними были громкий смех, да подергивающаяся вдруг щека, да манера больно хлопать собеседника ладонью по плечу...

А когда, отобедавши во второй раз, иноземцы, ведомые консулом Мартусом, ушли веселыми ногами, Петр вдруг сказал:

- Не расходись, господа совет, побеседуем, свои люди, приустал я ныне с сими ворами да с пенюарами...

Расстегнул кафтан, налил всем в кубки венгерского вина, что оставалось еще на погребе Прозоровского, пригубил, мягким непривычным голосом

произнес:

- Помянете меня, ей-ей, верно говорю: ныне же будут своим потентатам тайнописью строчить, что-де русский царь Петр, его миропомазанное величество, на год к Соловкам молиться отбыл.

И лукаво взглянул на Апраксина:

- А и рады вы с Сильвестром, радешеньки! Ваша, ваша правда, на сей раз ваша, да только как быть? Вовсе без иноземца? По примеру древлему, а?

Он положил огромную, в смоле и копоти, ладонь на плечо Иевлеву, надавил с ласковой силой, взглянул в глаза Сильвестру Петровичу и тотчас же со вздохом отворотился к другим. Было видно, что он чем-то встревожен нынче и хочет разговаривать, но не знает, как начать беседу.

Погодя встал, прошелся возле стола, покашливая сказал:

- Честный и разумный, усмотревший что-либо вредное или придумавший что полезное, разве не может говорить мне прямо, без боязни? Что молчите? Или вы тому не свидетели? Полезное я рад от любого слушать! "Тиран, тиран", - давеча прочитал я об сем в иноземных курантах! Да знают ли они все мои обстоятельства? Недоброхоты мои извечные недовольны мною, то - истинно, да разве мне похвалы нужны сих скаредов? Невежество и упрямство всегда на меня ополчалось, как задумал я перемены ввести и нравы исправить. Вот кто тираны, а не я! Что молчите, носы повесили? Разве усугубляю я рабство? Разве не обуздываю я озорство упрямых, разве не смягчаю дубовые сердца, разве жестокосердствую, заводя порядок в войске и в гражданстве? Пусть злобствование клевещет, когда совесть моя чиста, а неправые толки разнесет ветер, - верно ли, Сильвестр?

Иевлев поднял глаза на Петра, напрягся и ответил не спеша, ровным, негромким голосом:

- Мне, государь, на вопрос твой ответить трудно. Я только из узилища выдрался, где, почитай, год острожником ежечасно дыбы ждал, али еще какого нравов исправления. Размышлял же так: под пытку хватать воинского человека, единственно от ябеды злокозненного государству ворога, едва ли к пользе повести может. Нынче меня, завтра Апраксина,

там Меншикова, с ним Шереметева да Репнина - кому оно на руку? Дыба, да виска, да кнут орленый...

- Будет! - крикнул Петр.

У него потемнело лицо, дернулась щека, он хотел было что-то сказать еще, но промолчал и опять принялся ходить возле стены из угла в угол. Так он ходил долго в тяжелом молчании, сложив руки за спиною, ссутулясь, как всегда, когда бывало ему трудно в жизни. В столовом покое стало совсем тихо.

Погодя, резко вздернув головою, Петр повернулся и уехал к себе на остров один, спать во дворец.

- Пронесло! - тихо сказал Меншиков и утер скатертью пот с лица. - Ну, господин шаутбенахт, язык у тебя...

- Пронесло ли? - спросил Головин.

- Истинно пронесло! - улыбаясь сказал Апраксин. - И пронесло, и на пользу Сильвестр слова свои вымолвил.

Головин вздохнул, покачал головой:

- Дай-то боже!

И тотчас же все заговорили, зашумели; при Петре нынче было словно бы душно, а без него подул свежий ветер.

Александр Данилыч, громко перекрывая голосом всех других, говорил:

- В недавнее время он у нас спрашивал - ей-ей, крещусь, вот не вру, - что вы, братцы, дома делаете? Вот идешь, дескать, ты, Александр Данилыч, к дому. Что ты там делаешь, дома-то? Как живешь, не трудясь? Так и сидишь, сложа руки? А случился тут Шеина батюшка, боярин, так и отвечает: "Мало ли нуждишек, государь, по усадьбе, дела найдется". А он, Петр Алексеевич, таково со скукою на боярина очами повел: "Знаю, говорит, ваши дела - все меня пересуживаете"...

Было что-то грустное в этом рассказе Меншикова, и еще горше сделалось на сердце у Сильвестра Петровича. Он совсем затих, опустил голову и задумался, представляя себе, как в эти минуты Петр, бесконечно встряхивая кудрями и скалясь, протягивает к денщику ноги, чтобы стащил ботфорты, а потом лежит на своей узкой, жесткой кровати, глядит

во тьму широко открытыми, вопрошающими глазами и спрашивает шепотом:

- Как быть? Как делать? Как?

А ответа нет, нет никакого ответа. О господи, легко судить, а как работать тот труд, который навалил на свои плечи Петр Алексеевич? Как?

Утром с визитом к Сильвестру Петровичу в сад под разлапистую ель пришел консул Мартус. В отменно изящных выражениях он сказал, что по своему плохому знанию русского языка только нынче узнал о высочайшем пожаловании капитан-командора чином шаутбенахта, что он приносит господину Иевлеву свои самые искренние поздравления и радуется за то, что фортуна смилостивилась над таким примечательным офицером и извергла его из бездны бесчестья, горя и скорби, дабы обрадовать чином, большим государевым жалованьем и признаниями доблести...

- О каких скорбях и бесчестиях соболезнует господин консул? - осведомился Сильвестр Петрович.

Мартус поискал слова поосторожнее и пояснил, что речь идет о заключении доблестного господина Иевлева без всякой его вины на продолжительное время в острог.

Иевлев прямо, не мигая смотрел в лицо консула своим трудным, недобрым взглядом. Мартус поклонился дважды. Сильвестр Петрович видел, что лоб и переносье консула покрылись мелкими капельками пота.

- И далее что имеет мне сказать господин консул? - спросил Сильвестр Петрович.

Мартус объяснил, что за морем имеются в разных местах целебные воды, которые очень могут помочь расстроенному состоянию здоровья господина контр-адмирала. Государь, его миропомазанное величество, несомненно, отпустит доблестного своего слугу для лечения, он же, консул Мартус, со своей стороны, напишет всюду рекомендательные письма. Воды, несомненно, принесут большую пользу господину

шаутбенахту и, главное, вернут ему былое доброе расположение духа.

- А, господин консул о моем добром расположении духа печется! - ответил Сильвестр Петрович. - За то благодарим. Что же до посещения марциальных или каких иных вод, то ныне нам недосуг. Время такое, что каждый день может ненароком некое воровство учиниться, не так ли? Вот и надобно в оба глядеть...

Консул еще поклонился, ушел, держа шляпу в руке. Глаза у него были растерянные: что-то даже пугающее виделось ему в том, как слушал русский контр-адмирал слова сочувствия и соболезнования.

Вечером Сильвестр Петрович не вышел к столу.

Где-то далеко раздавались веселые и пьяноватые голоса наработавшихся за день людей, а Сильвестр Петрович лежал на старой своей кожаной подушке у раскрытого окна, смотрел на далекие добрые звезды, вздыхал с облегчением и думал о том, что лед в его душе начал таять, что и глупо и смешно обижаться в сей земной юдоли, да еще архангельской, да еще под воеводою Прозоровским, что надобно дело делать, коего так бесконечно много, что и не знаемо, как подступиться.

5. БЫТЬ ПОХОДУ!

Через несколько дней Сильвестр Петрович спозаранок отправился на цитадель и провел там за старой, милой, веселившей душу работой много часов подряд. После обеда сюда приехал и царь. К вечерней заре Петр на плацу крепости рыл яму, чтобы посадить березу, которую привезли с Маркова острова. Было ветрено, береза, словно бы радуясь тому, что обнаженные корни ее скоро вновь уйдут в землю, тихо и счастливо лепетала листьями. Матросы, привезшие дерево, молча стояли вокруг Петра Алексеевича. Царь, спрыгнув в яму, сильными движениями выбрасывал оттуда заступом землю. От работы щеки его разрумянились, глаза ярко блестели, рубашка на боках и на лопатках пропотела.

Выкинув наверх заступ, он протянул большую заскорузлую, не царскую руку Семисадову, уперся носком сапога в стену ямы и велел:

- Тяни, боцман!

Семисадов встал поплотнее, потянул, но деревяшка сорвалась, и боцман едва сам не свергнулся вниз. Петр басом захохотал, засмеялись и матросы. Семисадов обиделся, сказал сердито:

- То-то, смехи! Тяни, спробуй, когда он сам эка дернул...

Петр протянул другую руку, оттолкнулся, покачиваясь встал на край ямы. Двинский ветер сразу разметал его волосы, надул рубашку. Матросы ловко подняли дерево, понесли корнями к яме. Сильвестр Петрович, опираясь на костыль, подошел ближе, тростью пододвинул корень, чтобы не оборвали. Петр велел:

- Отойди, Сильвестр, не мешайся для бога, отдавят тебе напрочь ноги, вишь медведи какие...

И, растолкав матросов, сам взял в руки белый ствол дерева, подержал на весу и ровно опустил в яму. Шестью заступами, споро, вперебор, начали кидать черную, влажную землю.

- Чтобы выросла, да с моря видна была корабельщикам - берег, Россия, - натягивая кафтан, сказал Петр. - Будет видна али нет, Сильвестр?

- Будет, государь, да не нынче! - задумчиво ответил Иевлев. - Покуда разрастется, чтобы над цитаделью подняться. Нескоро, я чай! Нам не увидеть...

- Нам многое не увидеть, - так же задумчиво произнес Петр. - Кормщик Рябов как шведского флагмана на мель сажал, не надеялся викторию сам увидеть, однако же подвиг свой свершил...

Сильвестр Петрович вдруг улыбнулся.

- Чему смеешься? - удивился Петр.

- Давеча, как сей первый лоцман тебя, государь, угощал, будто ты, подняв за него кубок, назвал поступок его достойным Публия Горация Коклеса...

Петр кивнул:

- Ну, назвал...

- А про сего Публия Коклеса Рябов в неведении. И прочие двиняне не знают. Зело огорчен кормщик...

Царь засмеялся:

- За ругань почел?

Иевлев, тоже смеясь, объяснил:

- Лучше бы, говорит, по-нашему сказал, а то, говорит, Бублий. Какой такой Бублий? Теперь, говорит, ребятишки кричат: бублий горяч, бублий горяч!

Петр Алексеевич громко захохотал:

- Нынче же при всех растолкую, что за Бублий...

И крикнул Семисадову:

- Воды, боцман, не жалей...

Береза на плацу уже шумела своей сочной светло-зеленой листвою, будто век тут стояла. Царь спросил:

- Тяжело тебе до кладбища сходить, али справишься?..

Стражи распахнули перед Петром и Сильвестром Петровичем железную калитку. Здесь, за крепостными валами, ветер посвистывал громче, по Двине перебегали белые пенные гребешки. Покуда шли к погосту и между могилами, капитан-командор рассказывал:

- Многое, великий шхипер, ежели не все, что дознавали мы о воровских замыслах, передавалось нам от сего славного Якоба. Не щадя живота своего, покойный делал для отчизны, не за страх, а за совесть, более, нежели человеческой натуре возможно. Тайные письма его тебе ведомы: все в них было сущей правдою. На шведском флагмане в последние минуты он кинулся защищать нашего кормщика, и здесь был ранен смертельно...

Петр, внимательно слушая, сел на лавку возле невысокого могильного холма, кивнул, чтобы Иевлев говорил дальше. Сильвестр Петрович был еще слаб, голос его срывался:

- В ладанке на шее имел сей достославный муж щепоть земли русской; так поведал он мне в последние часы своей жизни. Земля та была взята его матушкой. И в Колывани...

Сильвестр Петрович задохнулся, помолчал. Петр сидел отвернувшись, так, чтобы Иевлев не видел его лица.

- И в Колывани ладанку сию он принял из рук матушки, лежащей на

смертном одре.

Иевлев расстегнул кафтан, снял с шеи ладанку на серебряной потемневшей цепочке, протянул ее Петру. Петр долго молчал, потом тихим голосом попросил:

- Ты вспомни, чего покойник хотел, все вспомни - его воля свята...

Сильвестр Петрович рассказал про Хилкова. Петр кивнул:

- Достойный муж. Что можно - велю, сделают. С осторожностью надобно, дабы ему же не повредить. Брат наш король Карл крепко ныне зол, да, чаем, еще злее в скорогрядущие времена станет. Хилков в его власти, сорвет сердце на нем...

Он поднялся с лавки, поправил крест на могиле Якоба, подошвой сапога примял землю. Иевлев вынул из кармана лист бумаги, развернул.

- Что там? - спросил Петр.

- Якоб с собою привез для твоей милости, великий шхипер. Толком не разобрал я, откуда взято, бумага была вовсе раскисшая, чернила не везде сохранились. Свейский король Густав-Адольф будто лет сто назад писал...

- Читай! - все уминая землю, велел Петр.

- "Кексгольм, Нотебург, Ям, Копорье, Орешек, Ивангород, - читал Иевлев, - составляют ключи Лифляндии и заграждают Балтийское море от России. Ежели ей возвернуть Нотебург или Ивангород или оба города вместе, и если бы Россия подозревала свое собственное могущество, то близость моря, рек и озер, которых она еще не оценила, дала бы ей возможность, благодаря огромным ее средствам и неизмеримости ее пределов, покрыть Балтийское море своими кораблями, так что Швеция находилась бы в опасности..."

Петр, положив руку на крест, слушал, двигал темными бровями. Карие глаза его смеялись.

- Ишь, голова! - сказал он весело. - Что раньше-то не прочитал сей лист?

- Не имел в Архангельске. Здесь он был, на цитадели, а как меня отсюда воеводским указом в узилище поволокли, в те поры лист тут и остался...

Петр, не слушая, перебил:

- Зело умен был сей Густав-Адольф. А Карл, брат наш, того, и не утрудил себя подумать, об чем Густав-Адольф сто лет назад горевал.

Сильвестр Петрович молча смотрел на Петра. Тот вынул из нагрудного кармана трубку и кисет, выбил огонь, сильно затянулся душистым кнастером, спросил:

- Веришь, господин шаутбенахт, что шведы в нынешнем году вновь припожалуют в город Архангельск?

- Не слишком верю, великий шхипер.

- То-то, что не веришь. Почитай, и ныне от той своей визитации почесываются, что ж соваться. Нет, не будет их ныне...

Помолчал и строго добавил:

- Точную ведомость имею - не будут к нам шведы.

Иевлев изумленно смотрел на Петра.

- Думаешь, для чего тогда здесь время препровождаю? Для чего в море выхожу, в трубу смотрю, велю шведа ждать?

Он засмеялся, довольный удивлением Сильвестра Петровича:

- А для того, господин шаутбенахт, что сей хитростью обманываю брата моего Карла. Пусть его думает, будто легко нас провести. Пусть его тешится, что мы-де все наши силы тут держим, и неотступно его флота к себе ждем, и нивесть в какой тревоге денно и нощно пребываем. И пусть также думает, что некоторый замысел наш мы вовсе оставили.

- Какой замысел?

- А такой, что прошедшей зимою замыслили мы крепость Нотебург, наш исконный Орешек, от брата Карла взять боем, да только лед поздно встал, не могли полки наши санями до места дойти, и сей промысел отложен, а ныне будто мы здесь шведа ожидаем в страхе... Запутать его надобно...

Глядя вдаль, на Двину, он заговорил медленно:

- Мы еще тут побудем, а потом на Соловецкие острова отправимся молиться святым угодникам - Зосиме и Савватию. Все корабли, что здесь построены, с нами пойдут, а на тех кораблях - солдат четыре тысячи и матросов сколько соберем, пушки добрые, припас пороховой. Да еще

пойдут с нами два легких фрегата, кои можно бы было перетащить сухим путем, волоком - на катках да полозьях...

Сильвестр Петрович ахнул, на исхудавшем его лице проступил слабый румянец.

- Догадался? А подсылы да пенюары божьим соизволением да хитростью пусть брату Карлу отпишут, как мы в молитвах пребываем да на Соловках старым обычаем душеспасительно беседуем.

Петр снова сел рядом с Иевлевым, черенком трубки стал выводить на земле могильного холмика будущий путь войска:

- Гляди со всем вниманием: Соловки!

Он нарисовал кружок.

- Отсюда, как белые ночи сойдут, двинемся на Усолье Нюхоцкое - вот оно, на берегу...

- Ведаю, государь.

- Туда, как ты еще немощен, были посланы не глупого ума мужики - Ипат Муханов да Михайло Щепотев, а в помощь им работный народ с Соловков, от Сумского острова да от Кемского городка, с Выгозерского погоста, да еще онежские, белозерские, каргопольские, - все с лошадьми. Подвод более двух тысяч. Там со всей тайностью рубят просеку, наводят гати, мосты. Велено ни единого трудника не отпускать, покуда войско наше баталию не довершит. Гляди далее, как пойдем: вот через болото на Пул-озеро... Не позабыл беседу нашу давнюю на Москве?

- Нет, государь, не позабыл.

- То-то! Нынче наступило время делать!

Петр провел прямую линию и перечеркнул ее.

- Вот сие озеро: оно в стороне останется, вправо. Отсюдова к Вожмосальме. Здесь фрегаты наши спустим, и водою по Выг-озеру к реке Выгу и на деревню Талейкину. Речки тут - Мурома, Мягкозерская. Далее болотами и лесами - на Повенец...

- И вновь - Нотебург! - произнес Иевлев.

- Нотебург! - повторил Петр. - Издавна сие задумано, и быть нам иначе

нельзя, Сильвестр. Должно на славную викторию уповать: Нотебург-решек - Балтика! Море Балтийское...

Он остро взглянул в глаза Иевлеву, сказал с угрозой:

- Ни едина душа знать о сем промысле не должна, яко о дне смерти своей. Кроме кумпании нашей, никто о сем не ведает. Понял ли?

- А капитаны, великий шхипер, что с тобою прибыли, - Памбург да Варлан?

Петр долго вглядывался в Сильвестра Петровича, - было видно, как вскипает в нем раздражение. Потом, сдержавшись, ответил:

- Памбург да Варлан - капитаны к службе усердные и долг свой воинский не позабудут.

Встал, велел сухо:

- Пойдем, прохладно делается...

Он пошел вперед не оглядываясь, раздраженно вздергивая плечом. Возле калитки обернулся, спросил у отставшего Иевлева:

- Памбург да Варлан! И они тебе плохи? На Апраксина да на тебя не угодишь. Отмалчиваетесь, а делаете по-своему. Я-то помню, как за Крыкова горою встали, что-де иноземцы его утесняют, а Крыков - мужик не прост, Прозоровский не все врет, есть за ним и правда.

Словно предчувствуя несогласие, Петр шагнул к Иевлеву навстречу, щетиня усы, негромко, но с глухим, непреоборимым гневом в голосе произнес:

- Для ради того, что героем погиб в честном бою со шведом Крыков твой, не велел я шпагу его убрать из церкви. Давеча смотрел я опросные листы - с кем он водился: беглые от Азова, расстриги - старца Дия дружки, мятежное семя, стрельцы - сучьи дети, коим плаха уготована, ярыги, что по-над Волгою зипуна достают...

Иевлев стоял неподвижно, не отвечая, опустив голову, опираясь на костыль.

- Словно об стену горохом! - сказал Петр. - Что молчишь? Что думаешь?

И уже без гнева, но с недоброй насмешкой в голосе, посулил:

- Сдружись ты поближе с сим Крыковым, худо бы, Иевлев, с тобою

кончилось. Вон Толстому - жизнь не в жизнь. Умен мужик, а я-то помню. Все помню. Служит ныне верно, да ведь я не забывчив. Ну? Что помалкиваешь?

- Крыков покойный доблестную смерть принял! - смело глядя в выпуклые глаза царя, ответил Сильвестр Петрович. - Я ему не судья, государь, как не судья и тем, которые шведов побили на Марковом острове. Более ничего не знаю, на том прости...

- Бог простит! - с угрюмой усмешкой, отворачиваясь от Иевлева, молвил царь. - Идем, не рано, я чай!

На валу цитадели их обоих ждал инженер Резен - показывать стрельбу из новых пушек.

- Начинай! - велел Петр.

Пушки палили исправно, ядра с визгом летели над широкой, полноводной Двиной, пушкари в новых кафтанах, быстрые, ловкие, работали споро и весело. Царь остался доволен стрельбой, похвалил Резена, велел новые пушки нынче же спехом ставить на корабль "Святые Апостолы". Резен не понял, для чего; Петр объяснять не стал; широко шагая, пошел к пленному шведскому фрегату, названному теперь "Фортуна". На корме и на мачтах нового судна развевались белые с синим андреевские флаги. Матросы вздернули на грот-мачту государев штандарт - флаг с двуглавым орлом, у которого в клювах виды двух морей: Белого и Каспийского, в правой лапе - вид Азовского моря, левая лапа свободна.

- Вспомни нонешний разговор! - сказал царь Иевлеву, кивнув на штандарт.

Иевлев вгляделся, понял. Царь все смотрел на штандарт.

- Льстим себя счастливой мыслью, что аллегория сия вскорости будет видоизменена.

Петр поднялся на ют, где у штурвала на ветру прохаживался Рябов, весело крикнул издали:

- Здорово, кормщик!

- Здравствуй, государь! - спокойно и приветливо ответил Рябов.

- Отваливай! - велел царь.

Матросы отпустили канаты, засвистела боцманская дудка, запел сигнальный рожок. Рябов переложил штурвал. Марсовые побежали по вантам - ставить паруса. Петр, сложив руки на груди, строгими глазами смотрел на два иноземных негоциантских судна, быстро бегущих к Архангельску. Потом, проводив их взглядом, пощипывая жесткий ус, велел Иевлеву:

- С сего дня повелеваю иноземным корабельщикам, как проходят мимо Новодвинской цитадели, приспускать оба марселя до половины стеньги!

Подумал и добавил:

- В память о бывшей здесь над шведами виктории!

6. ПОТРУДИЛИСЬ!

- На Соловки в скорое время пойду молиться! - сказал Петр, стоя возле плеча Рябова.

Первый лоцман осторожно молчал.

- Возблагодарить господа за победу над шведами, помолиться Зосиме и Савватию - угодникам...

Рябов ничего не ответил.

- Тебе идти шхипером эскадры с нами! - другим, деловым голосом произнес Петр.

Иван Савватеевич быстро взглянул на царя.

- Эскадра немалая, тринадцать кораблей, да с ними два фрегата новых: "Святой Дух" - на нем капитаном Памбург, и "Курьер" - на нем капитаном Варлан.

- А над эскадрой кто пойдет адмиралом?

- Апраксин Федор Матвеевич.

- Что ж, можно! - спокойно глядя вперед, на покрытую пенными барашками Двину, сказал Рябов. - Матросы нынче у тебя, государь, истинные; оно с толком сделано, что поморов набрали на твои корабли. Народ привычный, добежим. Иевлев-то Сильвестр Петрович с нами пойдет?

- С нами.

- Ну и ладно!

Фрегат шел быстро. Вперед смотрящий бил в медный колокол, чтобы случаем не потопить рыбацкую посудинку. Рябов, щурясь, искал взглядом знакомые приметы - часовню, колено реки, избу на взгорье. Петр негромко спросил:

- Боязно было шведский корабль вести, кормщик?

- На смерть, как на солнце, во все глаза не взглянешь, государь! - ответил Рябов. - Все думалось: жить еще буду, не помру. Так и сталось, живу, да только вот от тебя милость - ребята на улице кричат: "Бублий горяч, бублий горяч!"

Царь засмеялся, объяснил:

- Не бублий горяч, а Публий Гораций Коклес, римлянин достойнейший. Сей римлянин вначале с Герминием и Ларцием, а позже един защищал мост на реке Тибр против этрусков, пока мост позади него не был разобран. Гораций тогда бросился в реку... Римляне позже поставили ему памятник.

- Ишь ты! - сказал Рябов. - Большое дело... И давно приключилось?

- Годов с тысячу назад, а то и более.

Кормщик присвистнул.

- Не оробел, значит, мужик! - сказал он погодя. - Тоже, небось, думал: спасусь, дескать...

Сзади, постукивая костылем, к штурвалу подошел Сильвестр Петрович, сказал, что время позднее, как раз к спуску корабля на верфь только поспеть, там, наверное, заждались. Вдали уже блестели маковки архангельских церквей.

- На верфь пойдем? - спросил Рябов.

- Разворачивай на верфь! - велел Петр.

Аггей Пустовойтов закричал в говорную трубу командные слова, матросы резво разбежались по местам. Была видна соломбальская верфь и стоящий возле нее на якорях военный флот. На утреннем свежем ветре реяли кормовые андреевские флаги, на мачтах развевались вымпелы,

матросы ведрами скатывали палубы, с кораблей доносилось пение рожков, треск барабанов. У Петра дернулась щека, он впился взглядом в корабли, толкнул Иевлева:

- А? Ничего не скажешь! Эскадра!

Фрегат выполнил маневр, лег на галс. Опять зашелестела вода за кормою, ветер резко засвистал, в снастях. Корабли эскадры словно росли на глазах, делались больше, выше, мощнее. Уже блестели на солнце медные погонные и ретирадные пушки, уже виднелись в раскрытых портах стволы тяжелых орудий, уже слышны были командные слова капитанов, выбежавших на ют, чтобы видеть государев фрегат.

- Хороши корабли? - хриплым от волнения голосом спросил царь Рябова.

- Потрудились ничего! - ответил кормщик. - Построили. И шведу не дали пожечь, тоже потрудились. Вот он нынче и есть - флот!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Не смигни - так и не страшно!
Пословица

1. НЕРУШИМОЕ РЕШЕНИЕ

Проснувшись со светом, Ванятка Рябов протер кулаками глаза, дважды сладко зевнул и хотел было спать дальше, но вдруг вспомнил свое нерушимое решение и сразу сел на лавке, испугавшись того, что сам определил для себя.

Недолгое время поразмыслив и совсем проснувшись, он перестал робеть. Все задуманное опять, как накануне, представилось ему нетрудным, простым и легко исполнимым делом: стоило только одеться и уйти со двора. Мать крепко спала. Отец, должно быть, ушел к своему флоту. Сироты бабиньки Евдохи, раскидавшись, сопели на печи. Ванятка с опаской на них воззрился: они могли погубить все дело - вечно таскались всюду за ним и поднимали рев, если он их оставлял.

Нет, сироты спали крепко.

Ванятка оделся, осторожно постучал новым подкованным каблуком по

полу, чтобы ловчее ходилось, завязал на себе пояс и, не тратя времени на поиски гребня, пальцами расчесал кудрявые волосы. Так как он был щеголем и уходил из дому надолго, а может быть, навечно, то прихватил с собою еще и кафтан, недавно перешитый из отцовского. Теперь осталось только вынуть из подпечка запрятанный туда накануне узелок. Такой узелок мать обычно справляла отцу, когда он собирался в море, такой же, готовясь в плавание, завязал себе и Ванятка. В узелке были шаньги - одна надкусанная, другая совсем целая, печеное яйцо, соль да огурец, тоже надкусанный.

Стараясь не шуметь, Ванятка вышел и сразу же на крыльце столкнулся с бабинькой Евдохой, которая очень удивилась, увидев мальчика в такую рань, и еще больше удивилась, заметив, что у него в руке узелок, а на плечах новый кафтанчик.

- Куда ж, мужик, собрался? - спросила бабинька Евдоха. - В церкву, что ли?

Ванятка подумал - он никогда не отвечал сразу, - насупился и сказал, что нет, не в церкву собрался.

- Не в церкву - так куда же?

- А пойду малым делом погуляю. Чего ж мне и не погулять?

- Погуляй, погуляй, дело хорошее!

На лице бабиньки Евдохи показалось озабоченное выражение, и Ванятка, догадываясь о том, что сейчас скажет бабинька, сердито заморгал.

- Сиротам бы, я чай, тоже не грех с тобой-то...

- А чего им, сопливым, со мной! - жалостно заговорил Ванятка. - Я, ишь, вымахал каков, а они и ходить-то толком не обучены. Доброе гуляние - таскай их на закукорках. Ей-ей, бабинька, они махонькие, пущай поспят...

Бабинька Евдоха согласилась, и Ванятка перестал моргать.

- Корабли станешь смотреть?

- И корабли погляжу. Им ныне в море идти, последний день на Двине-то...

- Иди, погляди. А кафтан чего кобеднишний надел?

- Что ж мне без кафтана? Все в кафтанах, а я в рубахе? Справили - вот и надел.

- В узелке-то что? - спросила бабинька.

- Ества в узле! - сказал Ванятка, зелеными глазами глядя на старуху снизу вверх.

- Ишь, каков мужик! - одобрила бабинька. - И об естве подумал. Надолго, видать, собрался...

"Навечно!" - хотел было ответить Ванятка, не умевший лгать, но во-время прикусил язык. Бабинька развязала узелок, покачала старой трясущейся головой, вздохнула:

- Мало тебе, парень, будет, коли до вечера пошел. Ты на еду злой - в тятьку. На вас коли едун нападет, хозяйке смертушка. И шаньга надкусанная. Погоди, лапушка, я тебе творожку туесок положу да тресочки свеженькой...

Ванятка сел на крыльцо, подперся кулаком, загрустил: "Не бывать мне более здесь, матушка возрыдает, бабинька убиваться станет". Но тотчас же решил твердо: "Ништо им! Повоют да перестанут. Тятенька со мною, не пропадем, еще и гостинцев привезу по прошествии времени".

Бабинька вынесла еды, завязала узелок получше, гребнем расчесала Ванятке кудри, еще подарила ему грош, - что ж мужику безденежно гулять!

- Покушаешь - квасу напьешься, - сказала бабинька, - у людей верно говорят: сытая курица и волка залягает. Иди с богом, да не балуйся с иными парнями, в воду еще ненароком канешь.

Ванятка, открывая калитку, ответил, как взрослый:

- Кану - вынусь! Не топор, не утону.

Старушка качала головой, дивилась: еще давеча дитяткой был, а нынче мужик.

Летит, летит время...

А Ванятка меж тем подходил к усадьбе воеводы и отворачивался, чтобы иевлевские девы - Верунька и Иринка - не могли подумать, будто они ему уж так больно нужны. Ему часто приходилось нынче ходить этим путем, и

он всегда отворачивался и не глядел на высокий тын, из-за которого слышались зычные голоса офицеров, князей и иных свитских, - пусть себе девы про него и не вспоминают, по прошествии времени такое услышат, что ахнут, да только поздно будет, он все едино к ним не пойдет, не таков он уродился, чтобы за здорово живешь обиды прощать. Не зовут в свои хоромы - и не надобно. Нам и на Мхах не дождит, мы и сами пироги кушаем!

Немного пообижавшись, покуда путь шел возле дома воеводы, Ванятка, выйдя на Двину, сразу воспрянул духом: корабельный флот, вытянувшись большою дугою, стоял на якорях неподалеку от берега. Карбасы, лодьи, струги, речные насады - со всех бортов облепили суда; матросы с криками втаскивали на палубы кули, бочки, коробья, тянули на канатах малые и большие пушки, ядра в сетках, порох в деревянных сундуках. Маленькие посудинки с корабельными офицерами быстро сновали на веслах между судами; офицеры, в черных треуголках, в зеленых Преображенских кафтанах с отворотами, в белых перчатках, при шпагах, легко взбегали по трапам. На некоторых судах тянули, проверяя перед походом, снасти, на других легко постукивали деревянные молотки конопатчиков, на третьих капралы и боцманы делали с матросами учения. Двина кипела жизнью, и Ванятке было весело думать, что скоро он тоже будет на корабле и выполнит свое нерушимое решение.

К пристани то и дело подходили малые посудинки и шлюпки, но от "Святых Апостолов", как нарочно, долго никто не шел, и Ванятка стал было подумывать, не добраться ли до флагмана с другого судна, как вдруг о бревна причала стукнулся борт большой шлюпки, и рулевой, встав на банку, крикнул:

- Кому на "Апостолов"? Живо!

Ванятка подошел поближе, сказал:

- Мне на "Апостолов".

- А ты кто ж такой будешь? - спросил матрос, весело глядя на Ванятку и скаля белые зубы.

- Рябова, кормщика, сын буду.
- Ивана Савватеевича?
- Его.
- Вон ты кто таков!
- Да уж таков.
- А звать тебя как?
- Звать меня Иваном.
- Выходит, Иван Иванович?
Ванятка несколько смутился и промолчал.
- К батьке, что ли, надо? - опять спросил матрос.
- К нему!
- А он на "Апостолах" ли?
Другой матрос - загребной - сказал, откусывая от ржаного сухаря:
- Где ж ему быть, Ивану Савватеевичу? На эскадре. Садись, Иван Иванович, доставим.
Ванятка спустился в шлюпку, спросил:
- На лавку, что ли, садиться?
- Лавка, друг, в избе осталась, а у нас, по-флотскому, - банка! - наставительно сказал загребной, аппетитно пережевывая сухарь.
Ванятка слегка покраснел и, поглядывая на матроса с сухарем, уселся и развязал свой узелок. На него, по всем признакам, напал тот самый едун, о котором давеча говорила бабинька Евдоха.
- Ишь, каков наш Иван Иванович! - сказал совсем молодой матрос с курносым и веснушчатым лицом. - Запасливый дядечка. Чего-чего у него только нет!
- Тут на всю кумпанию станется закусить! - радушно предложил Ванятка. - Угощайтесь...
Но матросы не стали угощаться Ваняткиными запасами, сказав, что им идет свой харч от казны и того казенного харча за глаза довольно.
Сверху, с пристани, знакомый голос окликнул:
- С "Апостолов", ребята?
И Сильвестр Петрович, уже без костыля, только с тростью, спрыгнул в

шлюпку.

- Вот тут кто! - удивился он и, сев рядом с Ваняткой, взял его жесткими пальцами за подбородок с ямочкой. - Ну, здорово, крестник. Оботри-ка, брат, лик, весь в твороге...

Ванятка покорно утерся.

Шлюпка отвалила от Воскресенской пристани и ходко пошла к флагманскому кораблю эскадры, который стоял на двух якорях посередине сверкающей под солнечными лучами Двины.

- Что ж в гости не ходишь? - спросил Сильвестр Петрович.

- Не мы съехали! - ответил Ванятка. - Которые съехали - тем и почтить приходом-то, по обычаю.

- А ты откудова обычай знаешь?

- Бабинька сказывала...

- То-то, что сказывала. А ты - мужик. Тебе бы дев-от и почтить приходом первому.

Ванятка подумал, потом ответил негромко:

- Больно надо... Чай, не помрем...

- Тоже бабинька сказывала?

- Не. Тятя...

Он светло, своим особенным, Рябовским взглядом посмотрел в глаза Сильвестру Петровичу и произнес внятно:

- Мы и богови-то земно не кланяемся, нам шею гнуть ни перед кем не свычно...

- Тятя говорил?

- Не. Мамынька учила.

- С того и не ходишь?

- По обычаю! - твердо сказал Ванятка. - Которые съехали, тем и почтить...

Сильвестр Петрович грустно вздохнул, спросил, где ныне первый лоцман. Ванятка промолчал. Спросил, зачем Ванятке на корабль, - тот опять промолчал. Иевлев внимательно вгляделся в густо румяное, дышащее здоровьем лицо мальчика, задал еще несколько хитрых вопросов и

мгновенно разгадал Ваняткино тайное и нерушимое решение.

По трапу они поднялись вместе, рука об руку вошли в большую адмиральскую каюту, убранную цветастыми кожами и бронзой. Здесь, над большой картой, сидели царь и Федор Матвеевич Апраксин. Оба они были без кафтанов: царь - в белой рубашке, Апраксин - в шитом серебряными цветами камзоле. Сильвестр Петрович посадил Ванятку поодаль, в кресло, открыл перед ним слюдяное окно, дал ему в руки подзорную трубу - смотреть куда захочет, - и велел помалкивать. Ванятка, непрестанно и смачно жуя из своего узелка, стал смотреть в удивительную трубу, тихонько при этом ахая от восторга, а Иевлев сел близко к царю, наклонился к нему и сказал, улыбаясь своими яркосиними глазами:

- Вот, государь, моряк будущего флота Российского. Сбежал из отчего дому, дабы уйти с флотом в море. Хитер парень, да и мы не лаптем щи хлебаем...

Царь боком взглянул на Ванятку, спросил коротко:

- Кто? Он?

- Он. Жует да в трубу глядит.

- Чей такой?

- Рябова кормщика сын, а мне крестник.

Оторвав усталый взгляд от карты, Апраксин произнес:

- Он не един, Сильвестр Петрович. Отбою нет от волонтеров. Солдат палками сгоняем, а здешние жители - двиняне и поморы - приходят на корабли, просят взять в матросы. В Поморье - колыбель матросам корабельного флота. И успешно справляются с новым для себя и трудным делом. Есть которые в запрошлую неделю бостроги получили, а нынче корабль знают как свои пять пальцев.

Петр задумчиво сказал:

- Добро! Располагаем мы в недальние времена набрать отсюда двинян да беломорцев для нашего корабельного флота не менее тысячи людей, дабы из них ядро образовать истинных матросов...

- Не только матросов, но и офицеров, государь! - сказал Апраксин. -

Немедленно же надобно некоторых юношей в навигацкое училище препроводить. Вот давеча Сильвестр Петрович поминал убитого шведами Митрия Горожанина, а таких, как он, и в живых поныне немало...

- Пиши им реестр! - велел Петр. - Спехом надобно делать, от Архангельска нынче же и отправим. Время дорого, после некогда будет.

Он налил себе кружку квасу, выпил залпом, велел позвать кают-вахтера.

За дверью послышались пререкающиеся голоса, испуганный шепот, высунулась чья-то усатая голова:

- Кого, кого?

- Кают-вахтера! - сердясь, приказал Петр.

Опять зашептались, забегали. Апраксин, скрывая улыбку, крикнул:

- Филька!

Тотчас же вошел парень в рубахе распояской, с чистым взглядом веселых глаз, русоволосый, босой.

- Запомни, Филька, - строго сказал Апраксин. - Кают-вахтер есть ты, Филька. Понял ли?

- Давеча был тиммерману помощник, констапелю помощник, нынче кают-вахтер! - ответил Филька. - Слова-то не наши, легко ли...

Апраксин повернулся к царю:

- Моряки - лучше не сыскать, а с иноземными словами трудно. Звали бы по-нашему - денщик, плотник!

- Не дури! - велел Петр. И приказал кают-вахтеру Фильке: - Сходи за царевичем, чтобы сюда ко мне шел.

Филька, поворотившись на босых пятках, убежал. Петр подозвал к себе Ванятку. Тот со вздохом оторвался от трубы, нехотя слез с кресла. Царя в лицо он не знал, потому что в тот день, когда было у кормщика раскинуто застолье, угорел от табака, что курили гости, и все перепуталось в его голове - мундиры, усы, шпаги, кафтаны, камзолы, пироги, кубки. Запомнилось только, как Таисья наутро сказала кормщику:

- Ну, Иван Савватеевич, неси денег хоть пятак. Проугощались мы.

Отец тогда почесал затылок, пошел доставать пятак.

- Знаешь меня? - спросил Петр, когда Ванятка, держа в руке трубу, остановился перед ним.

- Не знаю.

- Я у твоего батюшки в гостях был.

- Много было! - сказал Ванятка, вертя в руках медную трубу. - И полковники были, и енералы были, и шхиперы были, и сам царь был...

- Про царя-то, небось, врешь?

- То-то, что не вру.

- Ну, а не врешь, тогда по делу говорить будем. Вырастешь большой - кем станешь?

- Я-то, что ли?

- Ты.

- А моряком стану.

- Корабельным, али рыбачить пойдешь?

Ванятка заложил за щеку последний кусок шаньги, подумал, ответил сказкой, что сказывала бабинька Евдоха:

- Вырасту как надо, пойду к царю в белокаменны палаты, поклонюсь большим обычаем, попрошу его, нашего батюшку: "Царь-государь, ясное солнышко, не вели казнить, вели миловать, прикажи слово молвить: дед мой Савватий кормщиком в море хаживал, отец мой Иван на твоей государевой службе, прикажи и мне на большом корабле в океан-море идти..."

Петр широко улыбнулся, потянул Ванятку к себе, сжал его коленями, спросил потеплевшим голосом:

- Кто обучил тебя, рыбацкий сын, как с царем говорить?

- А бабинька Евдоха! - дожевывая шанежку, ответил Ванятка и продолжал: - И поцелует меня царь-государь, ясное солнышко, в уста сахарные, и даст мне в рученьки саблю вострую, булатную, и одарит меня казной несчетною...

Царь захохотал громко, крепко сжимая Ваняткино плечо, сказал:

- Быть тебе моряком, парень, подрасти только маленько...

Дверь заскрипела. По лицу Петра скользнула тень, он оттолкнул от себя

Ванятку и велел:

- Иди вот - с царевичем поиграй. Идите на шканцы али на ют, пушки там, всего много - походите... Идите оба, поиграйте.

- Трубу-то с собой брать али здесь оставить? - спросил Ванятка, и было видно, что он не может уйти без трубы.

- Бери, бери, с собой бери! - с готовностью сказал Петр. - И трубу бери, и что там еще есть. Сильвестр Петрович, дай им по мушкету, сабли дай...

У Ванятки от восторга совсем зарделось лицо, он повернулся к бледному мальчику, который, свеся длинные руки, стоял рядом, толкнул его локтем, чтобы тот понял, каково ладно им сейчас будет, но мальчик даже не пошевелился.

Ванятка и Алексей вышли с Иевлевым. Петр долго сидел молча, потом, глядя в окно, шепотом произнес:

- О господи преблагий, ограбил ты меня сыном!

- А? - спросил Апраксин, отрываясь от карты.

- Считай, меряй! - ответил Петр, думая о своем. - Считай, Федор Матвеевич, нынче нам ошибиться никак не возможно...

2. ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ

Оставшись вдвоем с Алексеем, разглядывая пистолет, Ванятка спросил:

- Слышь, Алеха, а пошто тебя царевичем дразнят?

- Я и есть царевич...

Ванятка усмехнулся:

- Врал бы толще. Коли ты царевич, я - царь.

Он взвел курок пистолета, прицелился в мачту, сказал басом:

- Как стрельну!

Корабль едва заметно покачивался, Двина сверкала так, что на нее больно было смотреть. Кругом на флагманском судне шли работы, матросы поднимали на блоках дубовые пушечные лафеты, запасные реи, сложенные и связанные паруса. Широко и вольно разливалась над рекою песня, настойчиво, весело, вперебор перестукивались молотки конопатчиков, с лязгом бухали молоты корабельных кузнецов. К "Святым

Апостолам" то и дело подваливали струги, шлюпки, карбасы; казалось, что грузы более некуда будет принимать, но бездонные трюмы все еще были наполовину пусты. От яркого солнечного света, от серебристого блеска Двины, от всех этих бодрящих шумов большого и слаженного труда Ванятке хотелось бегать, лазать по трапам, прыгать и радоваться, как радуется теленок на сочной весенней траве, но мальчик, с которым ему велено было играть, сидел неподвижно, скучно щурился и молчал.

- Не пойдешь корабль смотреть? - спросил Ванятка.

- А чего на нем смотреть?

- Во, сказал! Чего смотреть! Пушки, как где на канатах тянут, поварню...

Он лукаво улыбнулся:

- Может, там пироги пекут, нам поднесут...

Алексей жестко приказал:

- Сиди здесь.

- Тогда давай в трубу глядеть!

- Не надобна мне труба твоя...

- Не надобна? Труба не надобна? - изумился Ванятка. - Да ты только раз в ее глянь - не оторвешься. Ты погляди-кось, чего в нее видно...

- Не липни! - велел Алексей.

- Ну и... нужен ты мне больно!

И Ванятка сам стал смотреть в трубу, спеша наглядеться вволю, пока никто не отобрал дивную машину. Но одному все-таки смотреть было не так интересно, и Ванятка начал вертеться, ища случай уйти с драгоценной трубой куда-нибудь подальше - к другим ребятам.

- Чего крутишься? - спросил Алексей. - Сиди, как я сижу.

У Ванятки сделалось скучное лицо. Оба сидели на бухте каната рядом, смотрели вдаль. Над Двиною, над малыми посудинками и большими кораблями с криками носились чайки. Мимо, по шканцам, то и дело проходили какие-то дородные, пузатые бояре, низко, почтительно, даже с испугом кланялись Алексею. Тот, глядя мимо них, не отвечал, а одному скроил поганую морду и показал язык. Другой боярин - жирный, рыхлый, с висячими мокрыми усами - подошел с поклоном поближе, поцеловал

царевичу руку, спросил о здоровье, сказал, что на Москве-де нынче благодать, не то что в сем богом проклятом Архангельске. Царевич не ответил, боярин ушел с поклонами, пятясь.

- Поп ты, что ли?

- Поп? - удивился Алексей.

- А коли не поп - для чего он к твоей руке-то прикладывается?

Алексей усмехнулся с презрением, ничего не ответил.

- Архангельск ему плох! - обиженно сказал Ванятка. - Богом проклятый! Вон у нас река какая, двор Гостиный, корабли. Облаял город, а пошто?

Подумал и добавил:

- Пойду я от тебя. Бери трубку свою и мушкет. Пойду... Чего так-то сидеть.

- Ну куда ты пойдешь? - с сердитой тоской, повернувшись к Ванятке всем своим длинным белым лицом, спросил Алексей. - Чего тебе надо? Сидим, и ладно. Еще навидаемся. Качать будет, море с волнами, скрипит, шумит...

Его передернуло, он хрустнул пальцами, ссутулился, как старик, опять заговорил:

- Крик, шум, бегают все, покою никакого нет. Для чего оно, море? Ну, вода и вода, кому надо - пускай по морю и ездит, а мне для чего?

Ванятка круглыми глазами смотрел на Алексея, не понимая, о чем тот говорит.

- Спи, велит, на корабле, обвыкай! А как тут спать, когда он так и ходит, корабль сей проклятый? Так и трясет его, так и качает...

Царевич все говорил и говорил, хрустя пальцами, а Ванятка перестал слушать, стал следить за тем, как матросы на блоках поднимали на корабль шлюпку. От тихого голоса царевича, от того, как хрустел он пальцами белых рук, как по-старушечьи поджимал губы, Ванятке сделалось нестерпимо скучно. Он поднялся, чтобы уйти, но Алексей вдруг ногтями больно ущипнул его за ногу и велел с визгом в голосе:

- Сказано - сиди!

- Да ты пошто щиплешься? - рассердился Ванятка. - Ты, парень, как обо

мне думаешь? Я тебя так щипну, что ты за борт канешь, одни пузыри вверх пойдут...

- Щипнешь - тут тебе голову и отрубят! - ответил Алексей.

- Голову?

- Напрочь отрубят! И на рожон воткнут! Щипни, спробуй!

- Не забоюсь!

- А вот и забоялся!

Ванятка сбычился, склонил кудрявую голову набок, крепко сжал кулаки. Алексей стоял перед ним - высокий, с волосами до плеч, белолицый, злой, - и кто знает, что бы случилось дальше, не появись в это время на шканцах кормщик Рябов. Спокойным шагом подошел он к мальчикам, положил руку на плечо сыну, повернул Ванятку к себе.

- Ступай-ка, детка, домой! - велел он ровным и добродушным голосом. - Ступай, лапушка. Мамка там об тебе убивается, бабинька Евдоха плачет... Идем, на шлюпку отведу, идем, сынушка...

Алексей дернул Рябова за рукав, крикнул:

- Ему наказно при мне быть, при моей особе!

- Так ведь он, господин, тебя поколотит...

- А поколотит - казнят его!

- Для чего же мне оно надобно? - усмехнувшись, ответил Рябов и снова обратился к Ванятке: - Нет, сынушка, быть нынче по-моему. Пойдем!

Алексей топнул ногой, Рябов словно бы и не заметил этого. Не торопясь отвел он сына к трапу и, с ласкою глядя в его полные гневных слез глаза, тихо заговорил:

- Ладно, деточка, ладно, родимый. Ты его лучше, ты его смелее, ты его сильнее, да ведь недаром сложено, что и комар коня свалит, коли волк пособит. Он - комар, да за ним волков сколько! Иди, детушка, домой, да не тужи, подрастешь маненько - пойдем с тобою в море на большом корабле, паруса взденем...

- Решение-то мое, тятя, нерушимое, - плача крупными в горох слезами, сказал Ванятка.

- Что оно за решение?

- Нерушимое - на корабле с тобою идти!

- Пойдешь, голубочек, пойдешь! - успокоил Рябов. - Не нынче, так скоро. И будет из тебя добрый моряк, поискать таких моряков. И нерушимо твое решение, нерушимо...

Он спустился вместе с сыном по трапу, посадил его в шлюпку, дал ему целую копейку на гостинцы и долго махал рукою, стоя у корабельного борта.

3. НА БОГОМОЛЬЕ!

Вечером город Архангельск провожал государев флот. К двинскому берегу в карете, подаренной Петром, приехал Афанасий, но выйти на пристань по слабости уже не мог. Отходящим кораблям салютовали пушки, громко и торжественно звонили колокола. С иноземных торговых судов внимательно смотрели на цареву яхту в подзорные трубы, архангельские иноземцы-негоцианты во главе с консулом Мартусом переговаривались:

- Вот его миропомазанное величество - в скорбном для моления платии.

- К Зосиме и Савватию отправляется.

- Сие надолго. Русские цари любят молиться.

- Но зачем целым флотом?

- Они говорят, что так будет угодно их богу.

Афанасий в последний раз помахал рукою кораблям - они уходили один за другим, попутный ветер надувал серебряно-белые паруса. Но у Новодвинской цитадели флот вновь встал на якоря. Под покровом темной августовской ночи тайно, без огней и разговоров, начали принимать на суда преображенцев, матросов, стрельцов, пушкарей. Люди поднимались по трапам молчаливой чередою, корабельщики разводили их в назначенные места, где уже были приготовлены котлы с масляной кашей, бочки квасу, сухари на рогожках.

На "Святых Апостолах" у трапа стоял сам Петр Алексеевич с Иевлевым, Апраксиным и Меншиковым. Преображенцы даже в темноте узнавали царя, он негромко с ними пошучивал. Меншиков, не успевший за

хлопотами поужинать, точил крепкими зубами сухую баранку. Иевлев и Апраксин, стоя поодаль, негромко переговаривались. Дул теплый попутный ветер. Крупные, яркие звезды смотрели с неба на эскадру, на карбасы, с которых шли люди, на валы и башни крепости. Пахло смолою, иногда ветер доносил с берегов запахи сухих трав. Было слышно, как Петр порою спрашивал:

- Чьи люди?

Из темноты отвечали:

- Князь Мещерского, государь, полку.

- Князь Волконского полку!

- Кропотова, государь!

Меншиков хотел было закурить трубочку, Петр ударил его по руке:

- Ты, либер киндер, я чаю, вовсе одурел?

- Гляжу - и не верю! - тихо сказал Апраксин Иевлеву. - Истинно дожили. Флот. И немалый корабельный флот.

Петр издали спросил:

- Господин адмирал, не довольно ли? Четыреста душ приняли...

- Пожалуй, и довольно! - ответил Апраксин.

- Чего довольно? - откуда-то из темноты спросил Рябов. - Еще сотни две можно взять. Не лодья, я чай, не коч и не карбас, - корабль!

Боцман Семисадов считал:

- Четыреста шесть, четыреста семь, четыреста восемь, - давай, ребята, веселее...

На рассвете эскадра миновала шанцы и вышла в открытое море.

В адмиральской каюте стрелецкий голова Семен Борисович, вновь назначенный исправлять прежнюю свою должность, рассказывал царю подробности битвы под стенами Новодвинской крепости. Сильвестр Петрович сидел отворотясь, лицо его горело от волнения. Егорша Пустовойтов, стоя неподалеку, добавлял то, что не было известно стрелецкому голове. Иногда вставлял свои замечания и Аггей. Петр слушал с жадностью, болтал ногою в блестящем ботфорте, посасывал давно потухшую голландскую трубочку. Потом отворотился к окну - там,

за кормою несущегося под всеми парусами флагманского судна, четким, красивым строем, вся в мелких, сверкающих под солнцем брызгах, шла эскадра - корабли, фрегаты, яхты.

- Идем флотом! - сказал Петр Алексеевич. - Морским флотом. Седловаты еще корабли наши, многое в них куда как не совершенно, а все же эскадра. Не азовский поход, иначе все нынче, иначе...

Попозже Сильвестр Петрович поднялся на шканцы, к Рябову, который в белой, сурового полотна рубахе, с расстегнутым воротом, в кафтане, накинутом на плечи, стоял возле корабельного компаса. Увидев Иевлева, он широко улыбнулся, сказал:

- Слышал, как за шаутбенахта пьют? На берегу и мы поздравим, Сильвестр Петрович. Контр-адмирал флоту Российского. Большое дело. Застолье надобно для сего случая раскинуть ден на пять, а то и на всю неделю... Рад я за тебя, господин Иевлев...

- Рад, рад, а чему сына учишь, - ответил Сильвестр Петрович. - Он вот моих дев приходом не почтил какое время...

Рябов ответил строго:

- Делу учу, господин шаутбенахт! Как сам прожил, так и он жить будет. И ты сам знаешь, чья правда - моя али Марьи Никитишны...

Подошел, постукивая новой березовой деревяшкой, Семисадов, поздравил с царевой милостью - вся команда слышала, как Петр пил здоровье контр-адмирала Иевлева, поздравили еще ребята в лихо посаженных вязаных шапках. Обветренные лица с лупящимися носами весело улыбались, крепкие мозолистые, просмоленные руки пожимали руку Иевлева. Кто-то басом сказал:

- Ты построже, Сильвестр Петрович, мы народ веселый. А за бешеным стадом - не крылату пастырю быть, то всем ведомо...

Матросы засмеялись, Иевлев отмахнулся, пошел по кораблю смотреть порядок. Веселый соленый морской ветер свистел в снастях, корабль покачивало, равномерно поскрипывал корпус судна, остро пахло смолою, пеньковыми канатами, водорослями. На баке матросы пели песню. Иевлев остановился, прислушался:

Как во городе во Архангельском,
Как на матушке, на Двине-реке,
На Соломбальском тихом острове
Молодой матрос корабли снастил.
"Вот и песни про нас сложены", - подумал Сильвестр Петрович.
Как во городе во Архангельском
Я остануся без матросика,
Люба-люба моя, разлюбушка,
Молодой матрос, шапка вязана.
Шапка вязана, шпага черная,
Глаза синие - парус бел,
Пушки медные, снасть пеньковая,
Молодой матрос, не забудь меня...
Сильвестр Петрович набил трубку черным табаком, подошел к обрезу, в котором тлел корабельный фитиль, закурил. Матросы все пели бодрыми голосами:
Как во городе во Архангельском,
Как на матушке, на Двине-реке,
На Соломбальском тихом острове
Твоя любушка слезы льет...
Кто-то сзади дотронулся до его локтя - он обернулся. Рябов со странным весело-сердитым выражением лица сказал Сильвестру Петровичу на ухо:
- Мой-то пострел чего сотворил...
- А чего?
- Сын богоданный, Иван...
- Здесь он, что ли? - догадался Сильвестр Петрович.
- Здесь, чертенок. И как взобрался - никто не видел. Что теперь делать?
У Сильвестра Петровича дрожали губы - не мог сдержать улыбку. Улыбался и Рябов, но глаза глядели озабоченно.
- Отодрал бы как Сидорову козу, да рука не поднимается! - сказал он. - Я в прежние времена так же на лодью удрал к батюшке, и хватило же дурости - об том Ваньке поведал. Теперь и спрос короток...

- Как на Соловки придем - отдашь парня монасям, они домой доставят! - посоветовал Сильвестр Петрович.

Рябов сердито крякнул:

- Еще раз уйдет! Нерушимое его решение, теперь хоть убей - по-своему сделает...

- А что он сейчас?

- Да что, - ничего! Сидит в трюме, сухарь точит.

- Не укачался?

- Будто нет...

Сильвестру Петровичу опять стало смешно.

- Ты не горюй, Иван Савватеевич! - сказал он. - Таисье Антиповне отпишем с Соловков, будет малый при тебе. Ты у штурвала, он с тобой, пусть привыкает к морскому делу. А со временем отошлем на Москву, в навигацкую школу.

Рябов взглянул в глаза Иевлеву, тихо сказал:

- Кабы так дело шло, а то ведь иначе повернется. Солдат тайно брали, для чего? Не для богомолья же, Сильвестр Петрович? Крутую кашу завариваем, чую... Ну да ладно, что там...

К сумеркам Ванятка стоял рядом с отцом у штурвала. Лицо его покраснело от ветра, глаза слезились, но он стоял твердо, по-отцовски и так же, как кормщик, щурил зеленые глаза...

- А царевича ты не робей! - тихонько говорил Рябов сыну. - Он, небось, наверх и не выйдет, на море и не взглянет. Укачался Алеха. А как стишает - ты иди к солдатам в трюм, они не обидят.

- Ужин-то давать станут? - осведомился Ванятка.

- Должно, дадут!

- То-то, что дадут. Мне вот брюхо подвело.

Ужинали отец с сыном из одной миски - хлебали щи, заедали сухарем. Рядом стоял боцман Семисадов, удивлялся:

- Справный едок твой-то парень. Ежели приметам верить - долго жить на море станет. Я в его годы тоже не дурак был хлебца покушать, да куда мне до него, твоего сынка...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Дружно - не грузно, а один и у каши загинет.
Пословица

1. В СОЛОВЕЦКОЙ ОБИТЕЛИ

10 августа флот стал на якоря у Заяцкого острова. Петр с сыном Алексеем, с графом Головиным, с Меншиковым и командирами полков съехали молиться в обитель, над которой неумолчно гудел колокольный звон в честь царева прибытия, а Иевлеву и Апраксину велено было выйти в море и, разделив корабли на две эскадры, повести длительное потешное сражение. Корабли делили конаньем - жеребием, приговаривая и перехватывая рукою палку:

- Перводан, другодан, на колодце угадан, пятьсот - судья, пономарь - лодья, Катерине - кочка, сломанная ножка, прела горела, за море летела, в церкви стала, кум да кума, по кубышке дыра, на стене ворон, жил сокол - колокол: корабль мне, корабль тебе, кому корабль? Мой верх!

Свитские бояре, кудахча от страха, еще рассаживались в шлюпки - идти к берегу, а на судах обеих эскадр уже начиналась та напряженная деятельность, которая всегда предшествует крупным маневрам или сражению. Корабли Сильвестра Петровича подняли синие кормовые флаги, эскадра Апраксина - белые. Иевлев в контрадмиральском мундире, при шпаге, в треуголке медленно прохаживался по шканцам, Апраксин оглядывал со своего флагманского корабля хмурые берега островов, суету на судах синего флота, таинственно улыбался и вздыхал: с Иевлевым даже в шутку сражаться было нелегко.

После всенощной баталия началась.

Пушечная раскатистая пальба всю ночь беспокоила обитель, мешала спать, будоражила монахов. Братия из бывших воинских людей - отец оружейник, отец пороховщик, отец пушечник далеко за полночь торчали на монастырской стене, переругивались друг с другом, бились об заклад, кто победит - синие или белые. Монастырские копейщики лаяли друг

друга непотребными голосами, игумен разогнал их по кельям посохом, приговаривая:

- Ишь, воины клятые, ишь, развоевались!

Утром с башни монастыря Петр в трубу оглядывал маневры кораблей и радовался хитростям обоих адмиралов. Море ярко сверкало под солнцем, корабли двигались величественно, словно лебеди, красиво серебрились круглые дымки пушечных выстрелов, ветер развевал огромные полотнища трехцветных флагов, - синие и белые флоты на мачтах все-таки несли русские флаги.

- Что ж, нынче и не совестно на Балтике показаться! - неторопливо произнес Федор Алексеевич. - Как надо обстроились...

- Вздоры городишь, - оборвал Петр. - Мало еще, ох, мало...

- Строят больно, мин гер, не торопясь, не утруждаючи себя, - пожаловался Меншиков. - Истинно говорю, чешутся, а дела не видать быстрого...

Петр повернулся к Александру Даниловичу, сказал с бешенством:

- Ты больно хорошо! Для чего, собачий сын, и ныне монастырь обобрал? Что тебе монаси спать не дают? Всего тебе, дьяволу, мало! Сколь сил кладу, дабы сих монасей работать заставить, а ты им безделье сулишь и за то посулы с них тянешь! Черт жадный, я тебе золото твое в утробу ненасытную вгоню!

Размахнувшись, он ударил Меншикова подзорной трубой по голове с такою силой, что из оправы выскочило одно стекло и, подпрыгивая, покатилось по камням башни. Александр Данилович наклонился, поднял стекло, проворчал:

- Возьми, мин гер Питер. Потеряешь - опять я бит буду!

И пожаловался Головину:

- Во всяком деле моя вина, а что доброе делаю - того никому не видно...

- То-то бедолага! - сердито усмехнулся Петр и стал опять смотреть на далекие корабли.

Весь день он провел на башне, только ко всенощной сходил в собор и, растолкав монахов на левом клиросе, запел с ними низким, густым басом.

Здесь было холодно и сыро, Петр Алексеевич поеживался, потом вдруг стянул с головы графа Головина парик, напялил на свои кудри и опять стал выводить низкую ноту, смешно открывая рот. А плешивый Головин косился на царя и оглаживал руками стынущую лысину. В монастырской трапезной вместе с монахами Петр со свитою поужинал рыбными щами и вновь отправился на башню, томясь в ожидании вестей. Ночью он спал беспокойно, часто вскакивал, садился на подоконник, жадно вдыхал морской воздух, спрашивал:

- Данилыч, спишь?

Тот, подымая голову от кожаной дорожной подушки, дерзко огрызался:

- Хоть бы очи дал сомкнуть, мин гер, ей-ей ум за разум у меня заходит от сей жизни. Днем колотишь, ночью спать не велишь...

- Ну, спи, спи! - виновато басил Петр.

И шел в соседнюю келью - говорить с Головиным. Тот не спал - сидел в длинной шелковой рубашке с ногами на лавке, расчесывал голую жирную грудь, удивлялся:

- Не спишь, государь? А надо бы! Ты, государь-надежа, молодешенек, тебе сон наипервеющее дело. Давеча поглядел на тебя - глаза красные, сам весь томишься. Беречься надобно...

Петр вздыхал по-детски:

- Нету сна, Алексеич! Нету!

- А ты тараканов считай, - советовал, уютно позевывая, Головин. - Один таракан да два таракана - три таракана. Три таракана - да к ним един таракан - четыре. Четыре да еще таракан - вот тебе и пяток. С сим и заснешь. Я в твои-то годы никак до дюжины не доживал...

Царь вдруг рассердился:

- Спать все горазды. Выдумали дьяволы ленивые: едут в тележке в дальний путь - не спят. А на место приехал - и повалился. Так всю Россиюнекий полномочный господин и проспит. Ныне велю: спать в пути, а как куда доехал - исправляй дела...

- По нашим-то дорогам не больно поспишь...

- А ты не робей! - жестко сказал Петр. - Ремнями пристегнись к возку,

чтобы не вывалиться, и тараканов своих считай. Дела, Алексеич, больно много у нас, а спим - будто все переделали...

Он говорил сердито и видел, что Головин в сумерках улыбается, но не с насмешкою, а с грустью и с какою-то странной, несвойственной ему умиленностью.

- Что смешного-то? - резко спросил Петр.

- Смешного? - удивился Федор Алексеевич. - Что ты, государь. Я вот слушаю тебя и думаю - трудно тебе, а? Трудно эдак ночи-то жить. Ночи, ведь они длинные, ох, длинные...

Так миновало еще четыре дня. На пятый в келью, которую занимал Петр, вошел высокий, решительного вида, распухший от комариных укусов офицер и, поклонившись, вынул из-за обшлага бумагу. Рукою Щепотева были написаны всего два слова: "Идти возможно".

Петр, счастливо глядя на офицера, велел подать ему кружку двойной водки - сиречь крепыша. Офицер стоял прямо, развернув широкие плечи, взор его светился яростным обожанием.

- Сей крепыш пить тебе за успех некоторого известного нам дела, - твердым молодым голосом произнес Петр, - и пить до дна...

Офицер, не отрывая взгляда от Петра, крепко прижимая щепоть, перекрестился и единым духом выпил всю кружку. Меншиков поднес ему крендель. Он крендель бережно спрятал за пазуху, поклонился как-то странно, набок и стал оседать. Александр Данилович с дежурным денщиком его подхватили.

- Со всем бережением и с честью уложить! - велел Петр. - Он ни в чем не повинен, кое время не спал, славно исполнил долг свой...

И приказал палить из монастырской башенной пушки трижды, дабы флот становился на якоря.

Меншиков пошел на башню.

Петр догнал его, дернул за рукав, сказал с восторгом в голосе:

- Нынче же и выйдем, слышь, Данилыч!

- Да уж вижу! - ответил Меншиков все еще обиженным голосом.

Тысячи чаек носились над монастырскими стенами, кричали, падали

отвесно в воду. Толкая друг друга плечами, Петр и Меншиков забили в ствол заряд, не одну, но полторы меры пороху, долго прибивали ржавым пробойником пыж. Тощий монах с длинной бородой держал в руке тлеющий фитиль. Петр подсыпал в затравку пороху, монах-пушкарь спросил:

- Благослови, государь, палить?

- Благословляю! - усмехнулся Петр.

Пушка пальнула три раза, флагманский корабль ответил условленным сигналом - два выстрела и погодя еще два. Синий флот пошел к острову - принимать государя.

Прощаясь, Петр говорил архимандриту:

- Монасей, отче, ни единого на берег не спущай! Долгоязычны больно, наболтают чего не след. И в соборе служите якобы при мне, а ежели кто засомневается - с тем построже. Здесь, дескать, государь - обитель твоя, вишь, раскинулась - спасается со схимниками, либо на иной островишко отъехал. Особливо берегись, отче, праздно болтающих, един такой многих жизней может лишить...

Монахам руку для целования не дал, крикнул сердито:

- Рано прощаетесь! Я в море до утра, долго у вас буду...

После всенощной он уже был на "Святых Апостолах", выспрашивал подробности потешного сражения, хохотал, откидывая назад голову, дразнил горячившихся Апраксина и Сильвестра Петровича. Оба адмирала так загорели за эти дни в море, что Меншиков назвал их арабами. Памбург, сидя рядом с Петром, говорил ему по-немецки, шепотом:

- Не нахожу слов, чтобы выразить мое удовольствие службою под командой столь доблестных адмиралов. Они еще не слишком опытны и немало им предстоит изучить в морском искусстве, но бог наделил их острым умом, храбростью, хитростью и силою воли.

Варлан кивал лохматым париком, пил пиво, хвалил матросов.

Петр с грустной улыбкой сказал вдруг:

- А я сижу и вспоминаю юность нашу - Переяславль, и как господин Гордон тогда тонул, вечная ему память, добрый был воин...

Все помолчали немного, потом молодость взяла свое, вновь начался хохот, пошли шутки.

...К вечеру 16 августа эскадра встала на якоря перед Усольем Нюхчей. Часть кораблей Петр приказал сосредоточить под горою Рислуды, часть привел к Вардер-горе. Здесь флот уже ждал адмирал Крюйс, серый от лихорадки. Петр с ним расцеловался, сказал, кивнув головой на Апраксина и Сильвестра Петровича:

- Справились, дошли, а, Корнелий Иванович? Вот Федор, вот Сильвестр, да шхипером на эскадре Рябов, кормщик.

Адмирал Крюйс медленно поднял взор, поправил крупные кольца парика, сказал голосом негромким, но исполненным скрытой силы:

- Я льщу себя надеждой, государь, ваше миропомазанное величество, что в недалеком будущем, когда главные части флота будут на Балтике, мне удастся послужить России вместе с моими молодыми собратьями господами Иевлевым и Апраксиным. Я надеюсь также, что многое дурное, к сожалению слышанное мною об иностранцах, рассеется со временем...

- Ну, ну! - не глядя на Крюйса, сказал Петр. - Ну, ну, чего там. У нас, Корнелий Иванович, доброму человеку все - и почет и чины, не поскупимся...

Всю ночь лил обильный, шумный дождь; на рассвете, не ожидая, пока просохнет земля, приступили к выгрузке. Матросы, солдаты, пушкари, офицеры, монастырские приписанные мужики, надсаживаясь, со страшным трудом выволакивали из липкой тундровой грязи тяжелые дубовые лафеты, пушечные стволы, бочки с мукой, с соленой рыбой, с сухарями, нагружали на сотни телег, поданных к самому берегу, о который разбивалась мутная морская вода. Телеги тут же вязли по самые ступицы, лошади хрипели, оскальзываясь, валились в грязь. Меншиков босой (эдак было легче), в закатанных портках, своею рукою наказывал недогадливых, нерадивых, ругался с десятскими, потом вдруг распорядился строить дощатый помост. Выгрузку остановили, навели мостки для телег, Петр, надрывая горло, голодный, обросший щетиной, сам установил черед, - дело пошло потолковее. Кони перестали падать,

подводы вязнуть. Неподалеку от новой дощатой пристани, на сухом пригорке плотники под руководством Сильвестра Петровича делали салазки и катки под те фрегаты, которые должны были отправиться волоком. Петр побывал и здесь, аршином померил каток; выставив вперед нижнюю челюсть, подумал, потом кивнул:

- Ин ладно!

Огромная его фигура в коротком кафтане, в ботфортах, с черными, висящими вдоль лица мокрыми волосами, то появлялась на кораблях возле выгружаемых трюмов, то шел он к берегу, стоя в шлюпке, то, проваливаясь в грязь выше колен, промерял шестом место для выгрузки войск. Так же страстно, самозабвенно и притом еще весело, с заковыристыми прибаутками и руганью работал Александр Данилович. Встречаясь в этот день то на берегу, то на кораблях, они ничего друг другу не говорили, только переглядывались да поплевывали, посасывая свои трубки.

Вернувшись незадолго до обеда на флагманский корабль, Петр умылся, переоделся в сухое белье, кликнул цирюльника. Филька, кают-вахтер, принес ему на подносе зеленого стекла стаканчик водки и крендель с тмином; он выпил, зябко, уютно передернул плечами и сел писать письмо к своему союзнику Августу II, королю польскому.

"Мы ныне обретаемся близ границы неприятельской, - быстро, кривыми, круглыми буквами писал Петр, - и намерены, конечно, с божьей помощью некоторое начинание учинить..."

Написанная фраза очень ему понравилась своею хитростью, он с удовольствием прочитал ее умному Головину, выслушал одобрение и, сделав плутовские глаза, стал писать дальше. В каюту, не постучав, вошел, тоже прибранный, выбритый, в парчовом кафтане, в туфлях с серебряными пряжками, Меншиков, положил на стол письмо от Щепотева.

- Чего вырядился? - спросил Петр, оглядывая Александра Даниловича.

- А того вырядился, что нынче есть день моего рождения! - отрезал Меншиков. - Коли никто не помнит, так хоть я не забыл...

- Но? - удивился Петр.

Посчитал по пальцам и кивнул:

- Не врет, верно!

- То-то, что верно!

- Читай письмо от Щепотева.

Меншиков распечатал, прочитал с трудом, по складам:

"Дорога готова, и пристань тож, и подводы, и суда на Онеге собраны во множестве. А подвод собрано две тысячи, и еще будет прибавка, а сколько судов и какою мерою, о том послана милости твоей роспись с сим письмом..."

- Роспись читай! - велел Петр, продолжая писать письмо дальше. Меншиков поджал губы, подождал. - Читай роспись! - приказал Петр.

Александр Данилович прочитал.

- От Бориса Петровича еще письмо к тебе, мин гер, - сказал он, складывая бумагу. - Просит Шереметев послать ему Апраксина в помощь...

Петр кивнул:

- Шереметев даром не попросит. Небось, и верно нужен. Потолкуем нынче, напомни...

- Напомню.

Написав Августу и прочитав все письмо Федору Алексеевичу Головину, успевшему задремать на лавке у стены, Петр принялся за письмо к Шереметеву.

"Мы сколь возможно скоро спешить будем", - писал он, и дальше в туманных, но несомненно понятных Шереметеву выражениях описывал трудный маршрут своей армии.

- С гонцом? - спросил Меншиков, запечатывая сургучом второе письмо.

- Да с таким, чтобы живым не дался!

Еще поглядел на Меншикова, сказал ласково:

- Кончим дела-то - справим праздничек твой. Рождение!

Дверь скрипнула, в каюту вошел первый лоцман Рябов - мокрый насквозь, с огромной, еще живой семгой в руке, сказал с усмешкою:

- Петр Алексеевич, я ее споймал, а повар не берет, - дескать, не станешь ты рыбу есть...

- Вон Данилыча порадуй, - ответил Петр, - ему ныне праздник. Вели повару к обеду изжарить.

Рябов вышел, Петр крикнул ему вслед:

- Ты пошто своего парня таишь? Веди его к царевичу, все веселее им двоим...

Кормщик не ответил - вроде как не услышал.

- Трудно царевичу играть, - произнес Меншиков, - не так здоров нынче.

Петр, тараща глаза, спросил недобрым голосом:

- Ты откудова знаешь - здоров, не здоров? Лекарь?

Но тотчас же смягчился и велел:

- Иди смотри, чтобы порядочен был стол...

2. МЕЖДУ ДЕЛОМ

После обеда, за которым пили здоровье славнейшего господина Меншикова, на флагманском корабле, в адмиральской каюте, надолго засели за кружки гретого пива с коньяком и кайенским перцем. Густо задымили трубки, сразу же завелся спор, все спокойно здесь расположившиеся понимали, что нескоро удастся еще так посидеть и побеседовать, как ныне ради дня рождения господина Меншикова. И Петр был спокоен, в ровном, насмешливо-добродушном расположении духа прогуливался по каюте и сипловато говорил:

- Я нимало не хулю алхимиста, ищущего превращать металлы в золото, алы механика, старающегося сыскать вечное движение, для того, судари мои, что, изыскивая столь небывалое и чрезвычайное, сии ученые мужи внезапно изобретают многие побочные, но изрядно полезные вещи. И потому, господа консилиум, не суйте вы ваши носы длинные в занятия ученых, не мешайтесь не в свое дело своими ремарками, но всяко поощряйте таких людей, ибо истинные безумцы противное сему чинят, называя упражнения ученых мужей бреднями...

- Да я, мин гер... - начал было Меншиков.

- Об тебе речь особая, монаший заступник! - с тем же добродушием в голосе перебил Петр. - Ты что давеча про них говорил, про монасей-то, что они, вишь, больно прижаты ныне и в нищете животы свои влекут. Ты, душа, запомни накрепко: монастырские с деревень доходы надлежит употреблять на богоугодные дела и для государства, а не на тунеядцев. Старцу потребно в молитве пропитание да одежда, а монаси наши вот как зажирели. Врата к небеси - вера, пост и молитва, и я...

Он помедлил, взглянул в упор на Меншикова и раздельно, с насмешливой силой произнес:

- И я, Александр Данилович, прости на том, очищу монасям путь к раю хлебом и водою, а не стерлядями да винами. Да не даст пастырь богу ответа, что худо за заблудшими овцами смотрел!

Сильвестр Петрович, издали поглядывая на царя, думал: "Недавно, еще на Переяславле, да в Архангельске, когда спускали там на воду первую для него яхту, был он совсем юношей, длинноруким, голенастым мальчиком, а ныне муж многоопытный, проживший годы многотрудной жизни".

Он наклонился к Апраксину, сказал ему шепотом:

- Сколь быстро протекло время с дней нашей юности, Федор Матвеевич. Гляжу на самого себя, и не верится...

Апраксин лениво усмехнулся:

- Фабула наизнатнейшая - беседовать о днях невозвратимо убежавшей юности. Пользы мало, а все думается...

Он придвинулся к Сильвестру Петровичу ближе, взял его за локоть, заговорил тихо:

- Труды наши первые помнишь ли? Переяславль-Залесский, приезды в Архангельск, удивление на те силы, что увидели мы в двинянах-поморах; помнишь ли, как строили на Вавчуге и в Соломбале корабли? Сколь тяжко было самим нам - неумелым, сколь трудно, да, вишь, справились...

- Не нами сделано! - поправил Иевлев. - Народом.

- И мы, я чай, народ, Сильвестр...

- Нам легче.

- Что-то по тебе не вижу, чтобы так легко было! - смеясь ответил Апраксин. - Едва ноги таскаешь... Нет, друг мой добрый, авось по прошествии времени и нас помянут, не даром мы с тобой хлеб ели. Мысли твои ведаю: куда как много людей мрет, куда как тяжко дело наше делать. Вот и нынче - выходим в поход на соединение с Шереметевым и Репниным. Многие ли останутся живыми после похода? Но как же быть? Не доделать начатое? Думай, господин шаутбенахт: ужели баталия на Двине и спасение флота лишь само для себя сделано? Нет, то, что под стенами Новодвинской цитадели начато, - к Балтике идет...

Иевлев молчал.

- Близок час, когда увидим мы штандарт четырех морей. Близко время, когда вернем мы себе все наше. А что тяжко, то как же быть? Как?

Петр подошел поближе, взял обоих за уши, стукнул головами, спросил весело:

- Об чем шепчетесь?

- Все об том же, государь! - ответил Апраксин. - О нашем, что себе возвернем...

Петр вгляделся в Федора Матвеевича, посмотрел на Иевлева, сказал, словно продолжая начатую мысль:

- Фортуна скрозь нас бежит: блажен, иже имается за власы ее. Что Карл Двенадцатый запутал упрямством, то нам распутать надлежит умом. А как сие ныне не помогает, то распутаем силой и оружием, авось с божьей помощью и ухватим фортуну за власы. Впрочем, все то - аллегории, а вот и дело...

И опять пошел ходить по каюте из угла в угол, попыхивая трубочкой и рассуждая:

- Из всего того выводим: шведа бить возможно. Нынче бьем, сражаясь два против одного, скоро начнем их побеждать равным числом, да, пожалуй, не скоро, а нынче так и делается. Вот в июле разгромили мы шведские флотилии на Чудском да на Ладожском озерах, тогда же Шереметев опрокинул Шлиппенбаха при мызе Гуммельсгоф. Всю пехоту

шведскую побил, из шести тысяч едва пять сотен спаслось; все пушки, все знамена у нас. Шлиппенбах в превеликой конфузии едва ноги в Пернов унес. Иевлев Сильвестр, славный наш контрадмирал, эскадру брата нашего Карла под стенами крепости Новодвинской тож разбил наголову...

Дверь каюты широко растворилась. В мокром плаще, в низко надвинутой треуголке, в облепленных грязью ботфортах вошел незнакомый офицер, поискал глазами царя, поклонился старым обычаем - низко, с трудом расстегнул негнущимися пальцами сумку, достал письмо. Петр, хмурясь, протянул руку, приказал:

- Огня!

Меншиков взял со стола подсвечник, посветил. Петр читал долго, рот у него дернулся, он сильно сжал зубы, потом сказал, проглотив комок в горле:

- Поздравляю вас, господа консилиум, с нежданной счастливой викторией: тринадцатого августа Петр Апраксин наголову разбил войско шведского генерала Кронгиорта у реки Ижоры... Виват господину Апраксину и славному его отряду!

Все поднялись с мест, тесня друг друга пошли к большому столу, на котором разостлана была карта. Здесь же, притулившись на лавке, спал офицер, привезший добрую весть. По лицу спящего было видно, что он смертельно устал. Меншиков и Апраксин держали подсвечники, смотрели, как шли русские войска рекою Невою до Тосно и до Ижорской земли. Царь большим, вывезенным еще из Голландии карандашом выводил на карте стрелы. Одна уперлась острием в Канцы-Ниеншанц...

- Ладно ударил! - сказал Головин.

- Теперь сюда все гляди! - велел Петр и карандашом повел кривую линию - это был путь, которым двигался полковник Тыртов, гоня пред собою шведов. - Вот куда погнал - в Нотебург...

Он очертил большой круг. В круге были две крепости - Нотебург в Ладожском устье Невы, и Ниеншанц - при слиянии Охты с Невою. Все молчали. Все было совершенно понятно.

- С рассветом выходим! - сказал Петр. - Теперь - спать...

Адмиральская каюта опустела. Петр задул лишние свечи, окликнул Апраксина, уходившего последним:

- Сядь, Федор, посиди...

Апраксин опустился на лавку, взглянул на Петра. Тот все еще стоял над картою, раздумывал, потом заговорил неторопливо:

- Жалко мне тебя отпускать, да ничего не поделаешь. Шереметев тебя просит - ему не даю: корабли надобно строить - множество, а для кораблей тех верфи. Делай моим именем как надобно, ничего не щади...

Федор Матвеевич слушал молча, спокойно смотрел своими умными, понимающими глазами в глаза Петра.

- Ничего не щади! - повторил Петр. - Ныне болтают: народишко мрет... Пусть болтают, все смертны. А на Балтике быть нам хозяевами, ибо без нее сколь много терпим разорений и убытков, да и торгуем из рук вон плохо. Корабли надобны, флот, балтийский флот...

- Когда повелишь ехать, государь?

- Нынче же и поезжай!

- Поеду.

Он коротко вздохнул, царь дернул его за рукав, утешил:

- Останется и на твою долю воевать. Долго еще, Федор Матвеевич, не к завтрему управимся, не на один день работать. Ты - не горюй!

- Я и то...

- Ты у меня адмиралтейц-гер, тебе куда труднее, драться-то попроще, нежели строить...

Проводив Апраксина до двери, позвал Меншикова и сел к столу. Данилыч пришел зевая, в ночных на меху туфлях, заспанный...

- Я было и спать прилег...

- Да уж ты своего не упустишь. Чай, выспался?

Данилыч зевнул, потер щеки ладонями, покряхтел, потянулся:

- Загонял ты нас, батюшка, мин гер, мочи нет...

- Вас загоняешь, таковы уродились. Вели, либер киндер Алексашка, бить в барабаны, играть рожечникам, горнистам, делать всему войску большой

алярм. Покуда соберутся - рассветет. Не умеем еще быстро, по-воински собираться, не научились. Иди, Алексашка, начинай!

Александр Данилыч еще почесался, длинно зевнул, ушел, но почти тотчас же в ровном шуме дождя, в осенней беломорской сырости и мзге - запели горны на кораблях, забили барабаны на берегу, где в шатрах дрогли и стыли во сне солдаты. На судах эскадры зажглись условные огни. Весь лагерь пришел в движение, заскрипели немазаные оси подвод, заржали лошади, запылали факелы. Петр смотрел в окно, удивляясь и радуясь на Меншикова: умеет дело делать, быстр словно молния, орел-мужик!

Под звуки горнов, под барабанную дробь сел дописывать письмо Шереметеву:

"Изволь, ваша милость, немедленно быть сам неотложно к нам в Ладогу: зело нужно, и без того инако быть и не может; о прочем же, как о прибавочных войсках, так и артиллерийских служителях, изволь учинить по своему рассуждению, чтобы сего богом данного времени не потерять..."

Продолжая писать, он кликнул кают-вахтера, чтобы тот позвал ему воспитателя царевича - немца Нейгебауера. Воспитатель пришел сразу же, в шлафроке, в ватном колпаке, поклонился у двери.

Петр писал, фыркая. Нейгебауер долго ждал, потом покашлял. Петр обернулся, резко, по-немецки спросил, как себя чувствует царевич.

- Его высочество рыдает, - ответил немец.

- С чего бы?

Немец пожал плечами.

- Одевать царевича и собираться в путь! - приказал Петр. - И без проволочек!

Нейгебауер опять пожал плечами.

- Идите!

Немец ушел, пятясь и кланяясь. Петр запечатал письмо Шереметеву, накинул плащ, вышел на ют - смотреть движение войска.

3. ГОСУДАРЕВ ПУТЬ

Уже светало.

Огромные массы солдат, матросов, фузилеров, пушкарей шли через деревню в мутном свете наступающего дня, под дождем. То и дело застревали в колдобинах подводы, свистели кнуты, в толпе раздавалось: "разо-ом, дружно взяли!" Одна подвода проскакивала, и тотчас же ныряла другая, вновь слышалась ругань, и люди все шли, шли, шли по узкой улочке Нюхчи, никогда не знавшей такого обилия народу.

И на взгорье, на суше странно было видеть два фрегата, "Курьер" и "Святой Дух", которые хоть и медленно, но все же двигались, словно плыли среди сотен людей, тянувших канаты, подкладывающих катки и салазки.

Петр перекрестился, вздохнул, не оглядываясь на свитских, молча спустился по сходням - догонять армию. Старухи и старики, детишки и молодухи - нюхоцкие староверы смотрели не без страха на быстро шагающего по вязкой грязи черноволосого, с трубкою в зубах царя всея великия и малыя и белыя Руси. Он шел не глядя под ноги, оскальзываясь, угрюмый и озабоченный, слегка выставив по своей манере одно плечо, размахивая длинными руками, а за ним поспешали кают-вахтер Филька с царевым кованым погребцом, цирюльник, важный, носатый, медленно соображающий повар Фельтен, дежурный денщик Снегирев, иноземец лекарь...

Старики, провожая царя взглядом, крестились, качали головами, раскольничий нюхоцкий поп Ермил бормотал:

- И куда их, еретиков бритомордых, псовидных, басурманов, понесло? О, горе, горе! Не иначе - рушить древлие наши острожки-монастырьки, ну да не отыщут, потонут в болотищах, засосет, дьяволов, сгинут нетопыри, лиходеи, никонианцы поганые, трубокуры... Тьфу, наваждение...

И в самом деле, словно наваждение, исчезла царева армия, будто морок - закрылась желтым беломорским сырым туманом, мзгою, дождем. А в древней деревеньке Нюхче все осталось попрежнему, только не ко времени стали перекликаться петухи, да порченый мужичок Феофилакт,

закрыв ладонями плешивую голову, подвывал у околицы:

- Ахти, ахти мне, ай, батюшки-матушки, сестрички-братушки...

А древние старики, опираясь на посохи, все смотрели вослед трубокуру царю, качали головами, перешептывались:

- Истинно - антихристово пришествие!

- Тьфу, рассыпься!

- За грехи наши карает нас господь!

Когда вышли из деревни, Меншиков сказал Петру:

- Нахлебаемся горя, мин гер Питер!

Петр ответил угрюмо:

- Я об том и не ведал. Неужто нахлебаемся?

И, ткнув рукою в сторону фрегатов, что скрипели и ухали на полозьях, жестко произнес:

- В свое море, словно тати, свои корабли пешим путем тянем. Ну погоди, погоди, брат наш Карл, не столь долго учиться, в недальнее время ученик выучеником сделается...

Александр Данилович заплевался через плечо:

- Тьфу, тьфу, тьфу, вот не по душе мне, мин гер, когда ты эдак толкуешь да рассчитываешь. Чего загадывать, все в руце божьей!

Днем войско миновало еще посад дворов на десяток, Святую гору и Святое озеро. Топь вовсе расползлась от сплошного дождя, грунтовую дорогу совсем размыло, труд пяти тысяч мужиков, нагнанных на строение государева пути, пропал здесь даром. Преображенцы, шедшие в голове колонны, остановились; мужики из Соловецкой, Каргопольской, Олонецкой, Белозерской вотчин по пояс в гнилой болотной воде рыли канавы, сгоняли воду, наваливали новые гати. Бомбардирский урядник Михайло Щепотев говорил Петру:

- Более половины твоего пути, государь, болотами проложено. А болото, бодай его, текет. Что народишку схоронили на строении - не перечесть. Гнус жрет, мокреть, сырость, холодище. Я весь чирьями пошел, думал: пора и мне, уходила меня дороженька...

Петр сидел на поваленном гнилом дереве, мерил по карте циркулем, грыз

мундштук трубки.

- Так и выходит! - сказал Иевлев. - Урядник верно посчитал: от Вардегоры до Вожмосалмы сто девятнадцать верст, из них шестьдесят шесть мостами застлано. Да на Повенецкий уезд клади еще шестьдесят топи...

- Чтобы гати дальше дождями не размыло, - сказал Петр. - Льет без передыху...

- И льет - худо, а худее всего, что мужики бегут, - вздохнул бомбардирский урядник. - Да и то сказать, государь, обреченный народишко. Живым отсюдова работному человеку не выдраться...

Гонец на взмыленной лошаденке, прискакавший из деревушки Пермы, рассказал, что дальше идти возможно, гати лежат крепко, вода не подступает. Туда, к Пул-озеру, выведено более двух тысяч народу, да за худой охраной поболее сотни ушло. А надо бы отводить канавы, беречься, каждая пара рабочих рук дорога...

- Пужнем мужика! - пообещал Петр.

И велел для острастки тут же казнить смертью через повешение двух беглых работных людей, которые пойманы были на кордоне - уходили от болотной каторги.

В мозглой сырости, под дождем глухо ударили барабаны. Мужиков поволокли к пеньковым петлям. Петр стоял близко, смотрел исподлобья тяжелым взором - спокойно, как мужиков торопливо исповедует и причащает походный поп, как вешает армейский профос. После свершения казни повел плечом, сказал Меншикову:

- Вот, либер киндер Алексашка, так-то! И своего велю вздернуть, когда не по-доброму сделает. Нам обратной дороги нету. Понял ли?

Меншиков, насупившись, промолчал.

К полудню завыли полковые трубы подъем: идти дальше. Работных людей повесили хитро, все воинские части нынче должны были идти мимо двух длинных трупов с темными, большими, заскорузлыми руками тружеников. Первыми, как всегда, двинулись преображенцы - шагая по четыре в ряд, косили глаза на мертвецов. За преображенцами пошли

полки гвардии Мещерского, Кропотова, Волконского, за солдатами волоком катились фрегаты, далее гремели по гати подводы с запасными брусьями для мостов, с досками, с гвоздями. Проходя мимо повешенных, и солдаты, и матросы, и офицеры крестились быстро, украдкой шептали:

- Ныне отпущаеши...

И вздыхали коротко.

На каждой версте каторжного пути стояли караулы - неусыпно поправляли гати, отводили воду, подбивали чурбаками дорогу. Под фрегатами трещали и прогибались мосты. Как назло, непрестанно шумел ровный дождь, мглистое небо не сулило ничего хорошего. Уже на двадцатой версте кони, впряженные в корабли, стали падать. Их пристреливали, мужики-караульщики оттаскивали прочь с пути армии, тут же свежевали, варили возле своих шалашей похлебку, жадно ели горячее.

Так наступили сырые сумерки первого дня похода.

Петр ни разу не сел в свою одноколку, тяжело шагал рядом с фрегатом "Курьер", иногда подкладывал сам катки, делал это лучше других. В каждый фрегат было впряжено по сто коней, но они не справлялись, пришлось запрягать по сто десять, сто двадцать, сто тридцать.

Когда совсем стемнело, трубы запели "отдых". Пройдя двадцать семь верст, армия заночевала в лесу за Остручьем. Петру Алексеевичу поставили для ночевки избушку, вроде тех, что строят себе зимовщики; солдаты полезли на деревья, кому посчастливилось - попадал на лавасы - помосты, какие делают себе медвежатники, иные дремали у костров...

А далеко сзади, возле пройденной побитой, изломанной дороги, уже заливаемой мутными болотными водами, под шелестом дождя, неподвижно висели два работных мужика. Из тьмы, снизу на них жадно смотрели облезлые волки, глаза их нехорошо горели в густой тьме осенней ночи. Погодя один - матерый, с запавшими боками, с торчащими ребрами - поднял острую морду и завыл. Вой передался дальше, по болотам, по чащобе, к лагерю войск. Ванятка беспокойно задвигался, Рябов погладил сына по щеке, сказал негромко:

- Спи, дитятко! Волки воют, да ведь ты не испужаешься...

- Не испужаюсь, - сонным голосом ответил мальчик.

- Далеко они. Столь далеко, что и пужаться не к чему. Спи, парень!

На вторые сутки пути занедужило более сотни народу, на третьи триста двадцать, потом больных бросили считать. Солдаты, матросы, офицеры, трудари оставались помирать в лесу - человек по десять, по двадцать. Им клали сухарей, мучки, вяленой рыбы, оставляли и оружие - отбиваться от зверя, пока будет силы.

Петр похудел, осунулся, его крутила лихорадка, но выпуклые глаза попрежнему смотрели с угрюмой твердостью. И длинные ноги в огромных, со сбитыми каблуками ботфортах все так же вышагивали рядом с фрегатом.

Царевич Алексей со своим гугнивым немцем ехал в карете-берлине, оттуда порой доносились его капризные вопли и длинный плач. Царь никогда не спрашивал, что с мальчиком, только неприязненно морщился. Сильвестр Петрович, Меншиков и Головин трусили на низких, но крепких и выносливых татарских лошадках.

Первый лоцман с сыном старался идти в хвосте колонны - было неприятно думать, что Ванятку, ежели он попадется на глаза, вновь потребуют к царевичу, Ванятка шагал молодцом, не хныкал, но во сне, на привалах, плакал и жаловался, что "болят ноженьки". Кормщик растирал сыну ноги водкой, а с зарей Ванятка опять вышагивал трудные версты государевой дороги.

Корабельные мастера Кочнев и Иван Кононович сопровождали фрегаты. Передвижение судов было самым трудным делом в походе. То и дело приходилось придумывать, как тащить фрегаты в гору, как переправлять их через болота, как сделать, чтобы не застряли на камнях. Лошади падали одна за другой, новых найти не удавалось. Измученные, ослабевшие, отощавшие люди заменяли коней, впрягались сотнями, царь Петр сорванным голосом кричал:

- Разо-ом взяли! Дружно-о бери! Бери дела-ай!

По барабанному бою вся колонна должна была идти к фрегатам на

выручку. Барабан бил по многу раз на дню, "Святой Дух" и "Курьер" опять сдвигались с места, скрипели по каткам, по гатям, по мостам...

Памбург весь путь шел пешком, курил трубку, пил перцовую водку из фляжки, говорил Сильвестру Петровичу:

- Это не может быть, но это есть! Тут идти нельзя, но вы идете! Сим путем достигнуть цели невозможно, но вы ее достигнете! Хо-хо, я бы хотел дожить до конца вашего похода, чтобы посмотреть начало удивительных и достославных времен, кои непременно откроются...

Иевлев устало посмеивался.

По мере удаления от берега Белого моря путь делался суше и лесистее. Но попрежнему тяжело давались переправы через реки. Режи - клетки, через которые уложены были мосты, - не выдерживали тяжести фрегатов, начинали оседать бревна, доски. Армия останавливалась, работные мужики делали мост наново. Переправлялись через широкие протоки и на плотах...

Речки Чижма, Остречье, Имелекса, Клаза, Перма, Резка остались позади, на пятый день пути начали переправу на плотах через реку Выг - шириною в двести пятьдесят сажен, а позже к вечеру армия увидела красивейшее озеро, все в маленьких, дивных островках, сверкающее под лучами осеннего, негреющего солнца.

Здесь Петр собрал совет: как идти - в обход или строить пловучий мост. Тимофей Кочнев, весь раздувшийся от комариных укусов, простуженным, неслышным голосом сказал, что надобно наводить пловучий мост. Иван Кононович с Рябовым и инженером Егором Резеном отправились в челне - делать промеры; Резен записывал цифры на бумаге, Иван Кононович мерил, Рябов греб двумя корявыми веслами.

За день мост навели. Пушки, подводы с ядрами, с порохом, войска - двинулись через озеро.

- Давно уже идем! - сказал Ванятка отцу. - Пора бы и дойти...

- Тебя-то не больно звали, - ответил кормщик. - Сам навязался.

- Подошва, вишь, оторвалась! - пожаловался Ванятка. - На ночлеге бы подкинуть новую.

- Вот тебе будет подошва, как домой возвернешься! - посулил кормщик. - Поваляешься у матери в ногах, неслух... Вишь, отощал как, одни кости от парня остались...

Когда поднимались с моста на крутой берег, Ванятку окликнул Сильвестр Петрович:

- Эй, крестник, садись со мной на коня, поедем вдвоем, авось повеселее!

- Чай, и так дойду, не помру! - ответил Ванятка.

Но не выдержал искушения, сел на попонку, кинутую перед седлом. Сильвестр Петрович поправил на мальчике шапку, вздохнул:

- А и грязен ты, парень!

- Дойдем - отмоемся...

- И шея в цапках... вишь - всего закидало...

- Комарье - известное дело...

- Дома-то на печи, я чай, получше... Поспал бы вволюшку, а там щец похлебал бы, да под рябины играть. Глядишь, и девы проведали бы тебя...

Ванятка сурово отмалчивался.

С каждым днем шли все быстрее, теперь уже знали, как справляться с бедами, которые в начале пути казались непоправимыми. Из массы войска - гвардейцев, матросов, пушкарей, из подводчиков-мужиков, из трудников, сопровождавших армию, - незаметно, понемногу выделились умельцы, хитрецы, кто посмекалистее, потолковее, кто знает дорогу. Их порою созывал Петр, они все кричали друг на друга, ругались, - тут, казалось, все были равные: солдаты и офицеры, мужики и бояре. Петр называл их учтиво, с лукавством в голосе "господа совет" и за дерзости не обижался, хоть несколько раз и побил особо упрямых советчиков.

Когда перевалили крутой, трудный масельский перевал и пошли вниз, стало легче. Люди повеселели. Александр Данилович Меншиков вдруг, словно простой солдат, первым завел песню. Голос у него был теплый, берущий за душу, солдаты радостно подхватили, ветер широко разнес по взгорью, над русскими знаменами, над полками, над фрегатами и подводами гордые вопрошающие строки песни:

Про наше житие про святорусское:
От чего у нас начался белый вольный свет?
От чего у нас солнце красное?
От чего у нас млад светел месяц?
От чего у нас звезды частые?
От чего у нас ночи темные?
От чего у нас зори утренни?
От чего у нас ветры буйные?
- Что за песня? - спросил Памбург у Иевлева.
Сильвестр Петрович засмеялся:
- Песня духовная, да поют ее по-своему, на солдатский лад.
Памбург покачал большой головой, сказал с веселым удивлением:
- Черт вас возьми, что вы за народ!
Иевлев на своем пегом жеребчике проехал к голове колонны, Памбург взял капитана Варлана под руку, подмигнул ему, посулил:
- Даю вам слово честного человека в том, что они возьмут Нотебург и выйдут на Балтику. И знаете что? Они это сделали бы и без нас с вами, вот что самое грустное.
- И даже, может быть, без своего царя Петра, - сказал Варлан, - если вы хотите знать...
За день пути до Повенца колонну встретил Егорша Пустовойтов, посланный вперед, сказал Петру, что лодки на озере готовы, что скот бьют - мяса армии хватит, что бани топятся повсеместно. Ванятке Егорша привез в переметных сумках свежих ржаных лепешек, творогу и жареного петуха.
Ванятка принялся за еду, потом вдруг испугался:
- Облопаешься-то - ноги не потянут. Ужо, как дойду, покушаю. Верно ли, тятя?
- Притомился? - спросил Егорша.
- Ничего, обвыкаю.
Он поднял к Егорше похудевшее, в потеках грязи, в цапках лицо, подмигнул, похвастался:

- Сколь народу путем повалилось, а я иду - обмогаюсь...

- Ты, известно, мужик двужильный! - молвил Егорша.

- Двужильный не двужильный, а, небось, не повалился. И на подводах почитай что и не ехал. Вот разве с Сильвестром Петровичем...

На вечерней заре 27 августа голова колонны влилась в Повенец. Труднейшая часть пути была пройдена. Солдаты и матросы, снимая шапки, крестились, утирали потные лица, перешучивались. Барабанщики по шесть человек в ряд били марш-парад, белоголовые мальчишки-повенчане, зайдясь от восторга, пятились перед войском. Пели матросские корабельные горны. Петр, сидя верхом, глазами считал свою армию: она стала вдвое меньше, чем та, которая вышла из Нюхчи.

Поутру, едва рассвело, Петр с Иевлевым, Памбургом и Варланом командовал спуском фрегатов в воды Онежского озера. Было ветрено, над плещущей равниной Онеги медленно плыли низкие свинцово-черные тучи. Тимофей Кочнев, весь изорванный, в смоле и в копоти, сиплым, страдающим голосом кричал матросам:

- Легше делай, легше, ироды! Теперь разом берись; разом...

Солдаты грузились в лодки. К берегу по вновь проложенной дороге ползли пушки, подводы с ядрами, с порохом. Дымились костры, на которых варилась каша. Командиры собирали своих людей, перекликали перед посадкой на суда, распределяли, кому грести, кому ставить паруса, кому сидеть на руле. Люди повеселели, урядники ругались беззлобно, для порядку. Щепотев сказал Головину:

- Теперь народишко так рассуждает: ныне жить будем, не помрем в одночасье. Да и то, Федор Алексеевич, такую путь пройти и во сне не приснится...

Головин усмехнулся:

- Какой сон! Вишь - похудел вдвое, портки не держатся...

Ванятка с отцом пришли к воде из бани, распаренные, сытые, мальчик удивился:

- Здоровое озеро-то! Вроде моря. И конца-краю не видно...

- Увидишь вскорости...

- Онежское! - задумчиво сказал Ванятка и вдруг быстро присел на корточки.

- Ты чего? - спросил Рябов.

- А вон царь глядит! Опять прикажет с Алехой со своим играть! Хоть озолоти - не пойду...

4. ПОРА ПРИВЫКАТЬ

На "Святом Духе" уже топилась поварня. Царевич Алексей, хрустя пальцами, встряхивая головой, ходил по каюте, жаловался воспитателю-немцу: -- У меня болит живот. И здесь, в груди, тоже колотье. Пусть он велит мне ехать в Москву. Иначе я умру.

Нейгебауер пожал плечами.

- Дурак! - крикнул царевич. - Дурак! Ты только и можешь, что пожимать плечами! Дурак!

Царский повар Фельтен накрывал стол, ставил приборы. Фрегат покачивался, скрипел на озерной волне, тарелки ездили по столу. Царевич все хрустел пальцами, потом повалился на пол, забил ногами, закричал:

- В Москву, в Москву, о-о-о!

Нейгебауер наклонился к Алексею, тот ударил его коленом в грудь, завизжал еще громче. В это время Петр вошел в каюту, остановился у двери, втянув голову в плечи, молча подождал, пока перестанет визжать Алексей. В наступившей тишине недобрым голосом царь велел:

- Коли и в самом деле недужен царевич - отправляйтесь!

Алексей сел на полу, неловко, упираясь руками, повернулся набок, встал. Петр смотрел на него издали, как на чужого.

Когда дверь за Алексеем закрылась, Петр вздохнул, крикнул Фельтену подавать обед. Ел, не замечая, что подано, здесь же, возле тарелок, писал письмо королю Августу: "Мы нынче в походе близ неприятельской границы обретаемся и при помощи божьей не чаем праздны быть..."

Вошел Меншиков, Петр сказал ему сердито:

- Прикажешь ждать тебя обедать, что ли?

- А мне не разорваться! - ответил Александр Данилыч. - Делов-то нынче...

- Справляются? - продолжая писать, спросил царь.

- Ничего, по малости.

Он сел, налил себе чарку водки, выпил, закусил. Петр Алексеевич дописал письмо, Меншиков рассказал:

- С нечаянной радостью тебя, господин бомбардир. Гонец прискакал, нынче полковник Тыртов близ Кексгольма наголову разбил эскадру Нуммерса...

Петр открыл рот, погодя крикнул:

- Врешь!

- Божиться, что ли?

- Где гонец-то?

- А там, где все они, черти пегие: повалился спать. Суда Тыртова сцепились на абордаж с парусниками, два шведских корабля сожгли, два взяли в плен. Шведы, не дождавшись помощи - сикурсу, ушли из Ладоги.

Меншиков взял руками кусок бараньего бока, стал обгладывать.

- Далее говори! - крикнул Петр. - Что далее было?

- Виктория была. Пора, государь, привыкать! - чавкая, ответил Александр Данилыч. - Человек триста шведов побито, пять судов они потеряли... Тыртова жалко - убили, дьяволы, картечью насмерть... Ништо - поквитаемся, все помянем. Мне Тыртов, покойник, дружком добрым был, я за него душу вытрясу из них...

Он вытер руки, поднялся:

- Собираться выходить, что ли? Не рано. Велю паруса вздымать, как скажешь?

- Бей алярм!

Меншиков вышел, барабаны ударили "поход".

Перед вечернею зарею наконец задул попутный ветер.

Петр был на берегу, провожал царевича. Алексей стоял возле кареты, наклонив голову, прижав руки локтями к бокам, очень бледный. Губы у него вздрагивали - вот-вот заплачет.

- Вам следует поклониться вашему батюшке, его миропомазанному величеству! - сладко сказал Нейгебауер.

- Ты, Алешка... - начал было Петр и замолчал.

Царевич быстро вскинул на отца большие, глубокие, затравленные глаза и вновь потупился.

Петр Алексеевич шагнул к сыну, взял его за плечи своими сильными, большими ладонями, наклонился и неудобно прижал мальчика к себе. Тот коротко задышал, всхлипнул, приник к отцу, пахнущему смолою, табаком. Петр ласково и крепко поцеловал сына в бледную щеку, потрепал по мягким волосам и заговорил, наклонившись, тихо, так, чтобы никто не слышал:

- Ты, Алешка... ничего... погодишь, побольше вырастешь, тогда и пойдешь со мною в поход. Ныне-то тебе трудновато, хиленький ты у меня, тяжко, поди. А с прошествием времени...

Алексей всхлипнул, заплакал, Петр от него отступился, сказал Нейгебауеру:

- Что он у тебя всегда ревет... Забирай... Поезжайте...

И, не оглянувшись более на карету, пошел к "Святому Духу", где выбритый до синевы Памбург, стоя на шканцах, ломаным языком кричал приличные истинному моряку соленые слова...

- Сниматься, мин гер? - спросил Меншиков.

- С богом! - ответил Петр.

И, повернувшись спиною к берегу, по которому, увязая в песке, тащилась карета-берлин, Петр внимательным и угрюмым взором стал оглядывать работающих на фрегате матросов, просторное, широкое озеро, быстро бегущие тучи. За фрегатами двинулась флотилия лодок под холщевыми и рогожными парусами, там слышались песни, какие-то веселые выкрики, треск барабана...

Но далеко уйти не удалось.

Ветер к ночи упал, потом переменился. Возле Поворотного острова Петр приказал возвращаться на ночевку в Повенец. Солдаты и матросы жгли на берегу костры, пили какую-то хмельную брагу, рассказывали сказки.

Петр, один, неслышно подсаживался к людям, пощипывая усы, покуривая трубку, хмурился. Народ, заметив царя, замолкал, Петр шел дальше, гневно и горько понимая, что его боятся. За ним - невдалеке - тенью бродил Меншиков, иногда уговаривал пойти поспать, потом опять пропадал во тьме.

На фрегате в кают-компании сидели Памбург, Варлан и Крюйс, пили черный кофе из маленьких каменных чашек, курили трубки, оживленно болтали. Когда Петр вернулся, они поднялись, переглянулись, стали пятиться к дверям.

- Куда? - спросил царь.

- Пожалуй, время спать, - ответил Корнелий Иванович. - Мы предполагаем, что ваше величество...

- Я сам выгоню, когда захочу! - крикнул Петр. - Сам! Сам!

Голос его сорвался, он грохнул кулачищем по столу, приказал убираться к черту и долго сидел один, тупо глядя на пламя свечи и прислушиваясь к поскрипыванию фрегата у причала...

А утром на шканцах он был угрюмо-спокоен, смотрел вдаль, вдыхал всей грудью холодный и сырой воздух Онеги и молчал, сосредоточенно что-то обдумывая.

Когда суда плыли по Свири, Петр часто приказывал остановиться, съезжал на берег, широкими шагами ходил по прибрежным лесам, наведывался в деревеньки, толковал с мужиками. Больше всего времени проводил он в дубовых рощах - с Иевлевым и корабельными мастерами Иваном Кононовичем и Кочневым. Сам обмерял стволы, считал деревья, прикидывал способы, коими следовало охранять корабельные леса от воров- порубщиков. Возвращаясь в шлюпке-верейке на фрегат, говорил Сильвестру Петровичу:

- Прикажу на каждые пять верст виселицы ставить, тогда, я чай, подумают, прежде чем за топор браться. И воров удавленных чтобы не снимали, пока воронье не расклюет сию падаль. Будут качаться ради страха божья...

Иевлев с корабельными мастерами молчали. Дул осенний ветер, гнал

серую волну по Свири. Шумели бесконечные, в желтеющей листве, густые леса. Мужичок в посконной рубахе, лысый, в лаптишках, стоял на берегу, удивленно смотрел на царскую флотилию - на корабли, лодки, струги, кочи...

На флагманском фрегате пальнули из погонной пушки - идти дальше. Петр ушел в свою каюту, Иван Кононович вздохнул, сказал Иевлеву негромко:

- И что это, батюшка Сильвестр Петрович, все мы виселицами стращаем? Ну срубил мужичок по недомыслию дуб, так ведь дуб - он дуб и есть, а человек-то - божья душа? Ах ты, господи, сколь вешать будем, сколь рубить, да пытать...

Речной ветер высек из его глаз стариковскую слезу, он снял ее пальцем, удивился:

- Скажи пожалуйста: на пять верст виселицу. Ох, много...

Сильвестр Петрович молчал: он научился теперь молчать подолгу, упорно, угрюмо и спокойно...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Покажи на деле, что ты русский.
Суворов
Чтоб истребил господь нечистый этот дух
Пустого, рабского, слепого подражанья...
Грибоедов

1. ОРЕШЕК

В сентябре месяце армии Петра, Шереметева и Репнина начали сосредоточиваться на известняковых берегах Назии - короткой речушки, впадающей в Ладожское озеро. Войска подтягивались медленно, несмотря на то, что делали в сутки тридцативерстные переходы. Дороги, размытые осенними дождями, были труднопроходимы, люди устали, пушки застревали в грязи.

Наконец собран был военный совет, после которого войска совершили быстрый переход к крепости Нотебург.

Под низко плывущими темными тучами косые лучи багряного предвечернего солнца освещали островерхие свинцовые кровли крепостных зданий, серые девятисаженной высоты стены с зубцами, башни по углам крепости, холодные воды Невы.

Солдаты, роя апроши и редуты, подтаскивая пушки, поднося ядра, невесело переговаривались:

- Башни-то, башни. Сажен по двенадцать высотою - не менее.

- Им оттудова мы все как на ладошке...

- Зачнет смолою поливать - почешешься...

- И камень крепкой! Подновили фортецию свою. Видать, нашего брата попривetят...

- Одно слово - Орешек! Ну-кось, раскуси, спробуй!

- Покряхтим тут...

- И как его, беса, брать? У нас вроде бы и лестниц таких штурмовых нету - длинных-то...

В шатре у Петра тоже было невесело: охотники из преображенцев разведали, что правый берег Невы сильно укреплен, попасть туда со стороны озера немыслимо - увязнешь в болотах и пропадешь вовсе. Стало известно также, что в крепости достаточно продовольствия для длительной осады, что там много хорошо обученных артиллеристов, вдосталь пороху, ядер, мушкетов, ружей и всякого иного воинского припасу. О командире Нотебурга было известно, что он крепко зол на русских, храбр, поклялся флага не спускать до последнего и о том отписал королю Карлу XII...

Петр слушал разведчиков, стиснув ладони коленями, пригнув голову. Генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев, без парика, с шишковатой плешивой головой, в теплом, подбитом мехом камзоле, был рассеян, слушал охотников не слишком внимательно, вертел на пальце дорогой с бриллиантом перстень. Князь Репнин, круглолицый, румяный, хлебал деревянной ложкой кислое молоко, аппетитно закусывал сухарем. Когда преображенцы, получив по гривне за вести, ушли, Петр поднялся с лавки, спросил у Шереметева:

- Худо, Борис Петрович? Может, и не разгрызть нам сей Орешек?

Фельдмаршал взглянул на Петра отечными глазами, подумал, потом ответил спокойно, совершенно уверенно:

- С чего же не разгрызть, государь? Управимся.

Петр сердито напомнил:

- Ты и под Нарвою грозил управиться, однако же преславную получили мы конфузию...

Борис Петрович не отрывая глаз смотрел на Петра.

- Что выпялился?

Шереметев вновь стал вертеть перстень на пальце. Грустная улыбка тронула его большой рот, он вздохнул, покачал головой.

- Говори! - приказал Петр.

- И скажу! - ответил Шереметев сурово. - Отчего же не сказать? Я тебе, государь, завсегда все говорю, не таюсь...

Он помолчал, собираясь с мыслями, потом заговорил своим сипловатым, приятным, мягким голосом:

- Ты, государь, изволил мне Нарву напомнить. Что ж, помню. Горький был день, горше на моем веку не изведывал. И срам тот на смертном одре вспомню. Но еще помню и помнить буду, как на совете и пред твоими царскими очами и пред иными генералами я, впоперек изменнику, змию, подсылу герцогу де Кроа, свою диспозицию объявил: блокировать город малою толикою войска, а со всем большим войском идти против брата твоего короля Карла и дать ему сражение, в котором бы все наши войска соединились. Но диспозиция моя, государь, уважена не была, ты меня изволил по носу щелкнуть и сказать: "Заврался ты нынче, Борис Петрович, сколь опытному в воинском искусстве кавалеру герцогу перечишь". А теперь ты и сам, государь, ведаешь, кто прав был - я али доблестный кавалер де Кроа. Так не кори же за то, в чем моей вины нету... А ныне мы здесь счастливо обретаемся без подсылов и изменников, ты, да я, да Аникита Иванович князь Репнин. И не посрамим русского имени, возвернем древний наш Орешек под твою державу, коли занадобится - и живота не пощадим... Трудно будет? Потрудимся, нам

ныне не привыкать трудиться, мы выученики твои, а у тебя руки в мозолях и сам ты первый на Руси работник... Так я говорю, Аникита Иванович?

Репнин ответил издали:

- Так, господин генерал-фельдмаршал, так, истинно...

Петр вынул из кармана большой красный фуляр, громко, трубно высморкался, утер лицо. А когда собрался совет и генералы, полковники, капитаны сели по лавкам, Петр был тверд, спокоен и говорил со своей обычной жесткостью:

- Шведа мы зачали с богом бивать. Биты заносчивые сии армии в Лифляндии господином достойнейшим нашим фельдмаршалом Шереметевым. Брат командира крепости Нотебург, Шлиппенбах, от нашего российского оружия бежал к Сагнице - за двадцать верст от боя, не помня себя. Сей же Шлиппенбах от Гуммельгофа в Пернов бежал. Я для того об сем ныне напоминаю, что стоим мы под стенами фортеции Нотебург и непременно должны сию крепость взять и Неву тем самым в ладожском ее устье очистить. Кто какие имеет по делу мнения?

Мнений было много.

Петр слушал внимательно, переглядывался с Шереметевым, Репниным, Иевлевым, кивал головою. Люди говорили толково, это были обстрелянные, повоевавшие офицеры.

Совет кончился далеко за полночь. Петр с трубкой вышел из шатра, прислушался к затихшему, уснувшему лагерю. Потом произнес негромко:

- Сии мужи верностью и заслугами вечные в России монументы!

- Кто? - живо, из осенней, холодной темноты, спросил Меншиков.

- Да уж не ты, либер Сашка! - с усмешкою ответил Петр. - Какой из тебя монумент?

Александр Данилыч обиделся, ушел в шатер. Петр ласково его окликнул, еще покурил, пошел спать.

2. У СТЕН НОТЕБУРГА

Осень выдалась ранняя, суровая, часто шли холодные дожди с мокрым

снегом, с Ладоги свистел пронизывающий ветер.

Люди дрогли, мокли, болели, умирали. Мертвых едва поспевали хоронить, на крутом ладожском берегу быстро разрасталось кладбище...

Над бивуаками шумело крыльями, зловеще каркая, воронье, по ночам в лесах завывали волчьи стаи.

Сильвестр Петрович с двумя тысячами матросов и работных людей трудился на Ладоге, снаряжал лодьи, которые должны были отрезать выход шведам к морю. Для этого лесорубы прорубили от озера к Неве просеку, по ней волоком передвигали боевые суда. Огромные новые, крепкие лодьи на Ладоге оснащивали к баталии, плотники настилали помосты на носу и на корме каждого судна, ставили щиты для стрелков, оружейники и пушкари писали дегтем по настилам номера пригнанных пушек. Готовые к бою суда, снабженные еще штурмовыми лестницами, вытаскивали воротом на берег, потом люди и лошади впрягались в пеньковые лямки и волокли лодьи к Неве. Работа шла круглые сутки, Петр Алексеевич не уходил с просеки - сам подкладывал катки под лодьи, сам следил за перевозкой пушек, сам смотрел оружие и пороховые припасы.

Едва Сильвестр Петрович начал спускать свои суда в Неву, шведы разведали русских и под покровом плотной осенней ночной мглы послали из крепости несколько лодок, вооруженных пушками, - бить картечью. С визгом летело раскаленное железо, изредка слышался крик, стон - погибший солдат, матрос или трудник падал в воду. Во тьме совсем близко переговаривались шведы, был слышен плеск весел, шведские командные слова.

Меншиков тайно подтащил к берегу Невы несколько пушек, самые опытные пушкари долго наводили стволы, потом ударили ядрами.

Шведы загалдели, один какой-то завизжал высоким, пронзительным голосом.

- Вишь, каков! - со злорадством сказал Александр Данилович. - Не нравится ему... А ну еще, ребяточки, пирожка им, чертям!

Шведы ушли.

Этой же ночью тайно к Сильвестру Петровичу нехоженными болотными тропами явилось трое ладожских рыбаков. Иевлев принял пришельцев в своем балагане, вгляделся в лица, обросшие бородами, спросил, что за люди.

- Люди русские, - сказал тот, что был постарше, - да сидим кое время под шведом. В том безвинны - и отцы наши сидели и деды. Ныне прослышали кое-чего, - деревня наша невелика, сорок три двора, мир собрался, велел идти поклониться старым обычаем...

Рыбак дотронулся рукою до земляного пола балагана, разогнулся, прямо и остро посмотрел в глаза шаутбенахту русского корабельного флота.

- Орешек будете промышлять?

- Будем! - твердо ответил Иевлев.

- Доброе дело. Воду здешнюю знаете?

- Узнаем со временем.

- А мы и ныне знаем. И реку Неву знаем по всему ее ходу. Небось, сгодится. Еще знаем крепостцу Ниеншанц. Ходим туда водою, почитай до залива, по торговым делам. Деревеньку Усть-Охту знаем, городок торговый прозванием Ниен. Еще речку Оха-иоки, Чернавку, мызы Кискена и Вихари, Эйкие и Макуря, еще Еловый да Березовый острова...

- Ты погоди, отец, - попросил Иевлев. - Садись, да толком побеседуем. Тебя звать-то как?

Старого рыбака звали Онуфрием сыном Петровым Худолеевым. Двух других Степаном и Семеном. Не чинясь, сели на рогожи, приняли кружки с горячим на меду сбитнем. Попозже в балаган наведался Рябов - тоже присел послушать. Пришел и Меншиков. Рыбаки подробно рассказывали нужные вещи - об обороне шведами морского устья Невы, о том, что за человек шведский майор Конау, да комендант Иоганн, да советник Фризиус, да каковы пушки там, да сколько народу солдат, пушкарей, офицеров. По словам старика Худолеева выходило, что майор Конау - главный властелин крепости Ниеншанц, великий любитель охоты и загонщиками держит многих русских мужиков, те мужики все шведские дела ведают и немалую пользу могут принести русскому лагерю.

Иевлев кивнул:

- То умно. Ищи их, Онуфрий Петрович.

Еще Худолеев рассказал, что в Ниене в заключении томятся двое русских людей, имена их неизвестны, один - царев слуга - шел будто бы морем к своей земле, да был перехвачен шведскими воинскими моряками, другой первому денщик, малый расторопный, тому назад недели две пытался было бежать, да, видать, не в добрый час - споймали шведы...

- Надо освободить! - сказал Меншиков.

- Без золота того не сделать, - вздохнул Худолеев. - Ребятки наши хотели, да, вишь, мошна пуста. А швед на золотишко падок...

Александр Данилыч порылся в кошельке, высыпал на ладонь рейхсталеры, выбрал три - похуже видом, поистертее - и, отдавая Худолееву, пообещал:

- Уворуешь червонцы - повешу! У меня суд скор и строг, шутить не люблю, на сивую бороду не взгляну...

Рыбаки обиделись все трое. Младший, Степан, сказал старику:

- А ну его и с золотом, дядя Онуфрий. За сии монеты и беседу не зачнешь, а он еще грозится. Пущай обратно берет... Где кто постарше, царь, что ли?

Меншиков засмеялся, хлопнул Худолеева по плечу, произнес примиряюще:

- Полно тебе, дядечка! Говори толком, сколько денег давать? Мне на дело не жалко, я порядок люблю, понял ли?

На рассвете, в холодном, сыром тумане, Рябов из-за мыска вместе с тремя рыбаками вышел на верейке делать промеры, чтобы флот, когда отправится на правый берег, не застрял на мелях. Онуфрий Худолеев посмеивался:

- Не верите нам, черти. Мы как говорим, так оно и есть...

Иван Савватеевич мерил сначала шестом, потом веревкою с камнем. Степан да Семен напамять перед промером говорили глубину. Все сходилось точно. Онуфрий, определив по ухваткам в Рябове моряка, спросил:

- Ты-то откудова такой уродился, дядя?

- Придвинские мы, с Белого моря...

- Ишь... Это к вам шведы большим флотом пришли - жечь город ваш? Что-то болтали здесь в Ниене.

Рябов пожал плечами, вздохнул:

- А откудова мне ведать?

Шведская пуля цокнула в корму верейки, другие злым осиным роем пропели над головами рыбаков. Онуфрий Худолеев пригнулся, удивился:

- По нас бьют?

- По нас, дядечка. Война, вишь! - со смешком ответил Рябев.

Утром в балагане Иевлева Рябов рассказывал про здешних мужиков, что смекалисты и ничего не врут - свое дело знают. Можно верить сим троим сполна.

Ладожских рыбаков Худолеева да Степана с Семеном отпустили к делу почетно. Сильвестр Петрович сказал им доброе напутствие, дал по ножу белой стали, компас, по два листа бумаги - замечать на ней шведские укрепления. Онуфрий, прощаясь, сказал:

- Нашего брата, русского мужика, здесь немало. Живут - хуже нельзя. Вроде и не человеки - божье подобие, хуже скота. Ты, господин контр-дмирал, теперь жди - прослышишь наши дела...

От громкого разговора проснулся Ванятка, которого Сильвестр Петрович взял к себе в балаган, проводил взглядом уходящих незнакомых мужиков, потянулся сладко и рассказал:

- А я, тятя, теперь барабанщиком буду. Ей-ей! Давеча дядечка Александр Данилыч мне повстречался. "Ты, говорит, для чего дарма царев хлеб заедаешь? У нас так не водится. Служить надобно..."

Иевлев подтвердил:

- Верно, так и было: Меншиков велел...

- Кафтан, приказал, чтоб мне справили...

- Наука большая, - сказал Рябов. - Не враз совладаешь. Да и барабан где взять, небось лишних нету...

- Барабан отыщем! - пообещал Ванятка и стал обуваться.

День опять прошел в работах: укрепляли батареи, подвозили ядра, перетаскивали просекой последние лодьи. Петр с Шереметевым, Репниным и Меншиковым сидел в низком, наскоро построенном шалашике, сжав черенок трубки крепкими зубами, раздумывал над планом Нотебурга, намечал, где быть батареям по правому берегу, где ставить летучий мост через Неву, откуда идти лодкам охотников, когда начнется штурм. Считали пушки, исправные лодьи, сколько солдат можно нынче отправить в бой.

- Пушек имеем нынче восемьдесят восемь, - сказал Шереметев, - солдат с матросами более двенадцати тысяч. Располагаю - в ближайшее время начнем бомбардирование...

- Чтобы сикурсу с Балтики им, иродовым детям, не подали! - грызя ногти, сказал Меншиков. - Отрезать надобно намертво...

Репнин подошел к Петру, пальцем показал на карте, где следует переплывать нынче Неву, чтобы взять шведский редут.

Ночью, в кромешной тьме ударили дробью, раскатились барабаны. Солдаты, зарядив мушкеты, спрятав запасные заряды за щеку, бегом, напирая друг на друга, шли к воде, подымались на помосты лодей, стискивались плотно один к другому. Печально, уныло, пронзительно завывал осенний ветер. Лодьи покачивались, скрипели, бились бортами друг о друга. У берега прапорщики и поручики перекликались:

- Готова-а!

- Сполна-а-а!

- Все здесь!

Сильвестр Петрович поднялся на помост своей лодьи, велел барабанщику бить поход. Барабан продребезжал коротко, пятьдесят огромных лодей отвалили от берега, строем пошли через реку. Здесь, над шведскими шанцами, грозно шумел лес...

Лодки с тупым шелестящим звуком тыкались во вражеский берег, солдаты прыгали с помостов в камыш, в воду, в прибрежную тину. Слева, из темноты, донесся громкий голос Петра:

- Живо, молодцы, живо, не отставать! Взводи курки! Пальба

плутонгами...

Шведы все еще молчали.

Сильвестр Петрович, позабыв про больную ногу, спрыгнул в воду, поднял над головой пистолет, чтобы не замочить замок; опираясь на трость, побежал к берегу. Сзади, карабкаясь по обрывчику, ругался Шереметев, Репнин с тяжелым палашом в руке обогнал Иевлева.

- Багинетом коли! - кричал Петр. - Наш Орешек, ребята, наш! За мной, быстро...

При вспышках выстрелов навстречу Иевлеву словно бы неслись высокие черные сосны, березы, рогатки шведских шанцев, полыхающие огнем стволы мушкетов. Меншиков был уже там - рубился саблей. Солдаты, кряхтя и ругаясь, дрались во рвах, в которых засели шведы. Иевлев спрыгнул туда, ударил жилистого шведского офицера тростью по голове, упал, поднялся, побежал дальше, отыскивая врагов, но их больше не было.

Барабаны по приказу Петра выбили отбой, баталия кончилась, правый берег принадлежал русским. Петр, стоя на курганчике, рукою в перчатке показывал, куда ставить пушки для обстрела крепости. Егор Резен с ним спорил, другие иноземцы-артиллеристы соглашались. Сильвестр Петрович подошел, оперся на плечо Резена, вслушался. Петр вдруг кивнул - согласился с Резеном.

- Здорово, Егор! - сказал Иевлев.

- Здорово, - торопливо ответил Резен.

И убежал к своим пушкарям.

Сильвестр Петрович утер потное лицо, огляделся: над Невою, над плоскими ее берегами, над свинцовыми конусными кровлями крепости, над павшими в бою и над живыми занималась утренняя холодная багровая заря...

3. МИЧМАН КОРАБЕЛЬНОГО ФЛОТА

- Ну? Чего деется? - спросил Петр, входя в шатер.

- А ничего и не деется, - позевывая и почесываясь, ответил Меншиков. -

Спину чегой-то заломило после нынешней баталии. Я в горячке-то не приметил, а мне некий швед, курицын сын, багинетом али прикладом ружейным в межкрылья въехал. Веришь не веришь, мин гер, ни согнуться, ни разогнуться. Может, черева отбиты?

- Ты не жалобись, либер Саша, - сказал Петр. - У которого человека черева отбиты - более молчит, а ты ровно сорока. Ничего, жить будешь вдосталь, коли не повесим тебя... Еще чего нового?

Меншиков подумал, потом вспомнил:

- А еще, мин гер Питер, наши рыбаки ладожские, докладывал я тебе давеча о них, которые к шаутбенахту Иевлеву бывали, привели-таки русских полонянников. Откупили у шведов. Золотишко-то я давал, помнишь ли?

Петр про золотишко пропустил мимо ушей. Александр Данилыч кашлянул, рассказал, что россияне доставлены сюда, в лагерь, сидят в балагане у Иевлева. Один - дворянский недоросль Спафариев - был послан за море через Архангельск, да не угадал, как раз перед шведским нашествием его оттудова Сильвестр Петрович завернул на сухой путь. С сим недорослем денщик-калмык кличкою Лукашка...

Лил проливной, с завываниями, осенний дождь. Над Ладожским озером, над невскими рукавами, над осажденной крепостью Нотебург, над всем огромным русским лагерем визжал ветер. Полог царева шатра набух, капли падали на стол, на карты и бумаги, огненные язычки свечей вытягивались и коптили. Было холодно, сыро и неприютно.

Петр, швырнув плащ на постель, кряхтя стал снимать облепленные грязью, тяжелые ботфорты. Александр Данилович почесывался, вздыхал, сетовал, что боль в межкрыльях делается с каждою минутой все нестерпимей, а тут и бани нет - попариться толком.

- Не нуди ты для бога, Санька! - ложась на походную, жесткую постель и с наслаждением вытягивая ноги в красных протертых чулках, попросил Петр. - И что ты за человек небываемый: ну сделал дело, все то видели, ероем шведа бил, воздается тебе, ведаешь сам, а тянешь с запросом. Не отбиты у тебя, собаки, черева, и не думаешь ты того, а жилы мои

мотаешь...

- Не вовсе, а отбиты! - упрямо сказал Меншиков.

- Врешь, пес! И никакой швед тебя в межкрылья не бил...

- Ан бил!

Петр скрипнул зубами.

Повар Фельтен принес кусок холодной говядины, сухари и кувшин с вином.

- А щи? - сердито удивился Меншиков.

Фельтен не отозвался: он не любил болтать лишнее.

Какие щи в такую погоду? На чем их сваришь?

- Как воевать, так мы о погоде не толкуем, - сказал Меншиков. - А как щи сварить добрые - погода. Всыпать, собаке, палок, нашел бы огня...

Петру Фельтен принес маленький кусок любимого им лимбургского тягучего, острого сыру.

- Давеча больше было! - угрюмо заметил Петр Алексеевич.

Фельтен молчал.

- Больше было сыру! - повторил Петр. - Слышь, Фельтен? Я сколько раз приказывал беречь его. Возят из-за моря, по цене дорог, в сапожках ходит. Кто ел?

Повар по-немецки ответил, что давеча в шатре был фельдмаршал Шереметев, полюбопытствовал отведать, пожевал и плюнул, а он, Фельтен, не посмел господину фельдмаршалу ничего сказать.

Петр молча съел сыр с сухарем, потом велел Меншикову привести дворянина Спафариева.

- Не поздно ли, Петр Алексеевич? Чем свет канонада зачнется, так и не отоспимся...

- Алексашка! - угрожающе произнес Петр. - Не выводи для бога из терпения. Истинно отобью черева...

Покуда Меншиков ходил за дворянином Спафариевым, Петр, глядя в полог шатра, считал в уме, сколько уйдет ядер до конца штурма. Выходило много. Он хмурился и считал с начала. Потом стал прикидывать в уме время, потребное на доставку сюда обоза пороху и

зажигательных трубок. Его клонил сон, но он знал, что не уснет, как не спал все эти дни осады Нотебурга.

- Привел! - сырым голосом сказал Меншиков, входя в шатер и сбрасывая плащ. - Влазь, господин навигатор!

Петр, не вставая, скосил блестящие карие глаза, посмотрел, как плотный, розовый, белобрысый, схожий с молочным поросенком парень, странно вихляясь упитанным телом, тяжело впорхнул в шатер и, раскинув руки в стороны, опустился на одно колено.

- Ловко! - садясь за стол и подвигая себе оловянную тарелку с мясом, молвил Меншиков. - Видать, крепко студирован наукам господин навигатор...

Царь все смотрел молча.

Дворянин, подволакивая одной ногою, как делают это парижские прегалантные кавалеры, и широко разводя ладонями по парижской же моде, подошел ближе и надолго замер в длинном и низком поклоне, таком низком, что локоны его огромного парика почти касались грязного ковра на земле. Потом по телу Спафариева словно бы пробежала судорога, он перебрал толстыми ногами в тугих шелковых чулках, припрыгнул, передернул плечами и, сделав на лице кукольную умилительную улыбку, прижал руки к сердцу.

Александр Данилович, не донеся ко рту говядину, так и замер, дивясь на дворянина. Петр помаргивал. Было слышно за свистом осенней непогоды, как говорят у шатра караульщики.

- Кафтан где шит? - неожиданно спросил Петр.

- Ась? - испугался дворянин.

- Где кафтан, спрашиваю, шит?

- В граде Парыже искусством славного тамошнего портного - кутюрье месье Жиро.

- Почем сему Жиро плачено?

- На ливры, мой государь, не упомню, а на штиверы за косяк, потребный для сего кафтана, плачено двадцать девять штиверов.

Меншиков вздохнул:

- Добрая цена! За такие деньги мы пушку покупаем...

- Ты-то молчи! - крикнул Петр. - Ты-то на казну жалостлив!

Александр Данилович втянул голову в плечи: он знал, чем грозит упоминание о таком предмете, как казна, для него.

- За кружева, что из рукавов торчат, сколько плачено?

- Сии кружева брабантские, мой государь. За кружева да за венецианский бархат для камзолу плачено осьмнадцать да двадцать три штивера...

И, помахивая рукавами, слегка изгибаясь телом, он медленно повернулся перед царем, чтобы тот увидел отменное изящество всего его парижского туалета.

- Башмаки тоже в Парыже строены? - спросил царь.

- Там, мой государь. Славному сему башмачнику ле ботье имя Грегуар.

- Изрядно! - ровным голосом, таким ровным, что Меншиков совсем съежился, сказал Петр. - Видать, не даром ты за морем столько лет провел. Галант! Небось, и всем новоманерным танцам обучен?

Дворянин развел руками с непринужденностью и изяществом, как научен был кавалером Фре Депре. Жест этот означал скромное признание своих отменных достоинств.

Петр сел на постели, набил табаком трубочку, задумался. Дворянин, стоя перед царем в изящной позе, улыбался неподвижной, выученной за морем, наиприятнейшей улыбкой: губы его были сложены сердечком, толстую ногу в башмаке с пряжкой и бантом он выставил вперед. И был так доволен собою, что не замечал нисколько, как не соответствует его персона этому набухшему от дождей шатру, рваным чулкам царя, скудной еде, что была поставлена на сосновом столе.

- Такие, как ты, прозываются за морем - шаматон, - произнес Петр. - Шаматон - сиречь, по-нашему, коптитель небесный. Так ли?

Спафариев с изяществом поклонился.

- Менуэт знаешь ли? - вдруг спросил Петр.

- Танцы все, мой государь, знаю отменно: церемониальные, как то польский, англез, алеманд, и контраданс, еще голубиный, где амур меж

двумя голубочками показан...

- Куафюры, сиречь прически женские, знаешь ли?

- Как не знать! Ныне в граде Парыже, государь, дамы подколками, фонтанжами и корнетами шевелюры свои украшают...

- Стой, погоди! - слегка скалясь и сверля дворянина ненавидящим взглядом своих выпуклых глаз, приказал Петр. - В сих галантных науках ты многое превзошел. Но посылали мы тебя, дабы навигаторство изучать. Помнишь о сем?

Дворянин мгновенно посерел.

- Помнишь ли?

Меншиков вздохнул, потупился: он знал, что сейчас будет, и затосковал, как всегда в ожидании припадка бешенства у Петра.

- Помнишь ли? - крикнул Петр.

- Помню, - прошелестел дворянин.

- Добро! Ну, а коли помнишь, так ответь: как перебрасопить гротмарсарей по ветру на другой фокагалс?

Меншиков отворотился: и этот страшный, гибельный для недорослей вопрос он тоже слышал не впервой. Сейчас глупый дворянин попытается сделать невозможное и пропадет. Сознался бы, что не знает, - все лучше. Но дворянин начал плести обычный вздор:

- Перебрасопить, государь, гротмарсарей по ветру для навигатора задача нетрудная. При сем маневре...

У Петра дернулась щека, взгляд стал диким:

- Не трудно? Дурак! - поднимаясь во весь свой огромный рост, загремел он. - Пес непотребный, пять годов навигаторству обучался, а того не понимает, что задачу мою так же решить немыслимо, яко пяткой себе загорбок почесать. Любому матросу сия старая шутка ведома, а ты, галант, шаматон, алеманд, потроха я из тебя вытрясу, черева отобью...

Петр ударил его кулаком в лицо - он завизжал. Петр замахнулся ножнами тяжелого палаша, ударил наотмашь - Спафариев повалился на землю, пополз. Меншиков из угла сказал:

- Полегше бы, Петр Алексеевич, убьешь, пожалуй, у тебя рученька

чижолая. Остуди обиду, пригубь винца...

И, поглаживая локоть Петра, косо на него поглядывая, он налил ему вина, подал. Петр посмотрел, пить не стал. Спафариев, забравшись за бочки и кули, повизгивал, утирал кровь с лица кружевным рукавом, жалостно кашлял. Опять стало слышно, как льет дождь, как свищет над холодной Ладогой ветер. У шатра ругались царевы караульщики, кого-то не впускали...

- Вели впустить! - приказал Петр Меншикову.

Весь вымокший, залепленный дорожной грязью, заросший черной щетиной вошел бомбардирский урядник Щепотев, сказал, что обоз с порохом и с ядрами для метания в исправности доставлен, по пути на болотищах всего две подводы с лошадьми потопли, да еще один мужик - возница - насмерть расшибся...

- Ну, молодец! - сразу веселея, похвалил Петр. - Я ныне как раз думал - ранее субботы не добраться тебе. Иди спи, бомбардир! Иди...

Урядник ушел, Петр подумал, погодя спросил:

- Размышлял ты, Спафариев, когда-либо, для чего дана тебе господом голова? Ужели толико для того, дабы алонжевый сей парик на нее напяливать?

Недоросль промолчал.

Петр велел показать без промедления дипломы, полученные дворянином в Париже. Спафариев, опасаясь таски и выволочки, протянул бумаги из-а ящиков и кулей Меншикову. Тот подвинул царю шандал с оплывающими сальными свечами, Петр стал читать вслух о том, что сиятельный кавалер и господин Спафариев наделен от провидения выдающимися дарованиями и с божьей помощью усердно и успешно закончил курс наук по навигаторству, кораблестроению, артиллерии, фортификации, астрономии, математике и иным прочим художествам. Отменному кавалеру сему, говорилось в дипломе, вполне можно доверить командование как галерой, так и большим морским кораблем.

Дочитав, Петр спросил с кротостью в голосе:

- Сколько золотых штиверов заплатил ты, негодный, за сей о себе

диплом?

Спафариев молчал, всхлипывая.

- Ты отвечай! - посоветовал Меншиков. - Правду отвечай, не то хуже будет...

Дворянин рухнул за ящиками на колени, взвыл оттуда, протягивая к царю толстые руки в перстнях:

- Пощади, государь. Правду говорю, как на духу. Я ничему не учен, за меня денщик мой по моему приказу изучал. Сей диплом не мне дан, но смерду моему Лукашке. Оный денщик, отменных способностей быв, за меня все делал и именем моим прозывался в коллегиуме, а также на верфи, где корабли строятся. Он, государь, в море плавание имел, а я, воды убоявшись, в Парыже танцам и иным галантностям...

- Опять, поди, брешешь? - перебил Петр.

Дворянин, стоя на коленях, перекрестился.

- Зови денщика! - приказал Петр Меншикову.

Александр Данилович вышел. Неподалеку от шатра ругались солдаты, оскальзывались в грязи кони, волоча пушки, - к утру орудия должны были ударить по крепости с новой позиции. Петр вслушался в шум, прикинул, туда ли едут. Ехали куда надо - на мысок.

Когда Меншиков привел денщика, Петр внимательно в него вгляделся своими искристыми выпуклыми глазами, подозвал поближе, спросил отрывисто:

- Лукашка?

- Кличут Лукою, государь.

- Верно ли, что ты, холопь и крепостной дворянина Спафариева человек, за него надобный курс навигаторства и иных художеств изучил? Отвечай правду. Не бойся...

- Ты говори, Лукашка, - шмыгая разбитым носом, подтвердил дворянин. - Ты не бойся, твоей вины тут нету...

Денщик стоял перед царем в спокойной позе бывалого моряка - чуть прирасставив для устойчивости ноги, с руками в карманах короткого, крапивного цвета суконного кафтана. Было заметно, что он соображает,

как себя вести, и приглядывается и к царю и к жалкому своему барину, но вместе с тем в Лукашке нельзя было заметить и тени искательности - просто он был неглупым мужиком, себе на уме, вовсе не желающим попадать впросак. И Петр смотрел на него не торопя и не пугая: поведение спафариевского денщика понравилось Петру - он умел угадывать сразу смышленых людей, - и Лукашка показался ему мужиком с головою. Да и вид денщика - обветренное, скуластое, выбритое досиня лицо, белые, плотные, мелкие зубы, широкие плечи, - все внушало доверие к этому человеку.

- Ну? - наконец сказал царь спокойно и добродушно. - Долго думать будешь? Отвечай - обучен али не обучен?

- Обучен, государь, - низким, глуховатым голосом ответил калмык.

- Силою дворянин тебя посылал в учение?

- Зачем силою? - с короткой и доброй усмешкой ответил Лука. - Он, господин мой, ничего, жалиться грех. По амурной части ходок, а чтобы драться - не упомню. Нет, государь, не силою. Самому мне науки любопытны...

Дворянин жалостно всхлипнул за ящиками. Калмык косо, но с сочувствием взглянул на него и потупился.

- На вопросы, кои задам тебе, берешься ответить? - быстро спросил Петр.

- Что ж, государь, не ответить. Коли знаю, так и отвечу, а коли нет - прости...

Петр велел Меншикову прибрать со стола и разложил перед собою меркаторские карты, чертеж судна, циркуль, записки свои по новому корабельному строению, листы с добрыми пропорциями для галиота. Он делал все это не торопясь и взглядом как бы поверял Лукашку: испугается или нет. Но тот нисколько не испугался, хоть лицо его и было напряжено, а смышленые, зоркие глаза поблескивали острым любопытством.

- Садись здесь, насупротив!

Денщик сесть сразу не решился, еще постоял для приличия.

- Сказано, садись...

Лукашка расстегнул кафтан у горла, сел на самый край лавки. Петр углубился в рассматривание корабельного чертежа. Лукашка улучил мгновение и быстро, подбодряюще, одним глазом подмигнул Спафариеву. Тот только шепотом застонал в ответ.

- Что сие есть? - спросил Петр, ткнув указательным пальцем в чертеж.

- Стень-вынтреп! - ответил калмык.

- Сие?

- Сие, государь, гротбомбрамстеньга...

- Ты что, чесноку налопался, что ли? - неприязненно принюхиваясь, спросил Петр. - Несет от тебя...

- Его, государь! - скромно ответил Лукашка. - Соскучился, покуда у шведов в узилище сидели. Две головочки покрошил, да с сухариком, да с водицей...

Петр поморщился, стал спрашивать дальше, потом велел:

- Дыши в сторону!

Денщик отвечал на все вопросы точно, ясно, все понимая, но со скукою в голосе. Потом вдруг произнес:

- То, государь, ей-ей, и ученая сорока зазубрит. Коли делаешь мне екзамен по чину - спрашивай дело. Кораблем командовать - голова нужна, ты, люди сказывают, сам мореход истинный, для чего свое царево время на вздоры тратишь. Спрашивай по-истинному!

Царь с долгим изумлением посмотрел на калмыка и усмехнулся, увидев, что тот сам напуган своими словами.

- Ну-ну! - вздохнул Петр. - Не без наглости ты, навигатор!

- Прости, государь, - согласился Лукашка. - Да и то ведь, коли попал я науками студироваться, так скромника с потрохами бы сожрали...

- Сие верно! - смелея, подтвердил из-за ящиков и кулей дворянин. - В Парыже, государь, ежели правду...

- Ты молчи! - крикнул Петр. - Шаматон, собака!

И опять стал спрашивать калмыка и, спрашивая, заспорил с ним, где лучше и ловчее закладывают корабельный киль - в аглицких верфях али в голландских. Царь горячился и зло таращил глаза, а Лука был спокоен

и даже посмеивался - так совершенно был уверен в своей правоте. И болезни корабельного дерева - табачный сучок, крапивный сучок, роговой - калмык знал, и как вить пушечный фитиль, и как вязать морской узел - кошачьи лапки...

- Ну, братец, утешил! - сказал Петр, утомившись спрашивать и спорить. - Зело утешил. Добрый моряк с прошествием времени будет из тебя для флоту русского. Женат?

- Нет, государь, не женат...

- Оженим. И невесту тебе сыщу - лебедь.

Подумал, потер шершавыми ладонями лицо, отфыркнулся, словно усталый конь, и велел Меншикову писать от своего государева имени. Александр Данилыч перестал зевать, рассердился: писать он едва умел, забывал буквы, торопясь, иногда только делал вид, что пишет, - полагался на свою память, а потом все почти дословно пересказывал Ягужинскому или иному, кто силен по письменной части.

Петр диктовал быстро, отрывисто:

- За сии доброхотные к отечеству своему заслуги холопя дворянина Спафариева калмыка Лукашку именовать отныне господином Калмыковым Лукою... по батюшке...

Написал?

Меншиков написал только "за сии доброхотные", но кивнул головою:

- Пишу, государь...

Петр задумался на мгновение:

- По батюшке - Александровичем!

Меншиков изумился, взглянул на Петра.

- Пиши, пиши! - крикнул тот. - Будет тебе сей Калмыков названным сыном, ты ему и приданое дашь - на обзаведение что человеку нужно: мундир, шпагу, золотишка в кошелек, ты у меня не беден, есть из чего... Далее пиши: сему Калмыкову звание дадено отныне мичман, и служить ему надлежит на фрегате "Святой Дух" в должности старшего офицера здесь, в Ладоге, покуда не опрокинем мы крепость Нотебург.

Написал?

- Пишу...

- Больно медленно пишешь...

- Кую ночь не спамши, государь, понеже...

- Понеже! Пиши далее: дворянина же Спафариева жалуем мы...

Петр помедлил, жестко усмехнулся и заговорил раздельно:

- Жалуем мы званием - матрос рядовой и повелеваем ему служить без выслуги лет, сиречь пожизненно, на том корабле, где флаг свой будет держать флоту офицер господин Калмыков Лука Александрович...

Дворянин громко всхлипнул за своими ящиками. Петр на него покосился, сказал назидательно:

- Ишь, разнюнился! Ранее надо было думать...

- Я - думал! - с тоскою произнес недоросль. - Я, государь, думал, что отменными своими манерами и галантом при твоем дворе замечен буду. Бывает, что некоторые сиятельные метрессы посещением княжества и столицы удостаивают, надобны им шевальеры галанты для препровождения времени... И сей обиходный политес...

Петр захохотал, замахал руками:

- Сему пять годов обучался? Пять годов? Либер Сашка, слышишь, на что казна наша пошла? Да господи, да ежели для метрессы галант занадобится, мы нашего Преображенского полку солдата... любого... о, господи...

Он не мог говорить от смеха, отмахивался руками, тряс головой. Отсмеявшись, утерев слезы ладонью, приказал Меншикову:

- Налей-ка нам, Данилыч, по кружечке анисовой для утра - господину флота мичману да мне. Ныне весь день трудиться, зачнем с богом штурмовать. Выпьем покуда для сугреву, а господин рядовой матрос Спафариев спляшет нам, чему его в граде Парыже обучали. Танец алеманд, что ли?

Страшно побледнев, дворянин высунулся из-за ящиков, сказал с ужасом:

- Помилуй, государь-батюшко!

- А ты отечество свое миловал в парыжских ресторациях, сукин сын? - крикнул Петр. - Миловал? Пляши, коли велено!

Неподалеку от царева шатра, на мыску, рявкнули пушки, да так, что на столе задребезжал штоф с анисовой, съехала на землю тарелка. Шведы без промедления ответили, и началась утренняя кононада.

- Вот тебе музыка! - перекрывая голосом грохот орудий, сказал Петр. - Добрая музыка! Под сей танец алеманд гарнизон цитадели Нотебург кой день пляшет, пляши и ты! Ну!

Дворянин Спафариев вышел вперед, постоял у лавки, словно собираясь с силами, потом вывернул толстую ногу, изогнул руку кренделем. Мичман Калмыков, сидя рядом с Петром, вздохнул невесело. Орудийный огонь все мощнее и громче гремел на Неве. Шатер ходил ходуном, запах пороха донесся и сюда, где-то неподалеку со свистом ударилось ядро. Спафариев начал танец алеманд - два мелких шажка, полупоклон, еще шажок. По толстым щекам его катились слезы, и губы, сложенные сердечком, дрожали.

- Какой танец пляшешь? - крикнул Петр.

- Сей танец именуем - алеманд!

- Так пляши веселее, как учили вас, галантов, для метресс...

Спафариев попытался улыбнуться, широко раскинул руки и присел, как полагается во второй фигуре танца алеманд.

- На каждом корабле надлежит среди матросов иметь забавника, сиречь шута, - сказал Петр Калмыкову. - Когда дослужишься до капитана судна, не забудь на оное дело определить сего парижского шаматона. От прегалантностей его матросы животы надорвут...

- Уволь, государь! - твердо и спокойно ответил вдруг Калмыков. - Я на своем корабле, коли дослужусь, шута держать не стану. Со временем будет из господина Спафариева матрос...

- Неуча и в попы не ставят! - поднимаясь с лавки, сказал Петр. - Шут он, а не морского дела служитель...

Калмыков спорить не стал: шатер разом наполнился людьми - пришел Шереметев в кольчуге, Репнин, Иевлев, полковники, капитаны, поручики. Сильвестр Петрович увидел Спафариева, шепотом спросил у него:

- Как?

- Худо, ох, худо, - трясущимися губами произнес недоросль. - Матросом без выслуги...

Меншиков подал Петру плащ, царь вышел первым, за ним с громким говором пошли все остальные. Иевлев, уходя, утешил:

- Коли служить будешь, выслужишься! Эх, батюшка, говорил я тебе в Архангельске...

Махнул рукою, ушел догонять царя. Неумолчно, гулко, тяжело грохотали пушки. Спафариев стоял неподвижно, полуоткрыв рот, содрогаясь от рыданий.

- Ну полно тебе, сударь, реветь-то белугою, ты большой вырос, не дитя, оно будто и зазорно, - оправляя на дворянине алонжевый парик и одергивая кафтан, говорил Калмыков. - Пощунял тебя, сударика, Петр Алексеевич, ничего ныне не попишешь, - значит, судьба. Отплясал свое, теперь, вишь, и послужить надобно...

- По рылу он меня хлестал сколь жестоко! - пожаловался дворянин. - Свету я, Лукашка, божьего не взвидел...

- И-и, батюшка, - усмехнулся мичман, - однава и побили! А я-то как в холопях жил? Ты - ничего, не дрался, да зато маменька, твоя питательница, что ни день, то колотит! И батоги мне, и своею ручкою изволила таску задавать, и кипятком бывало плеснет, и каленой кочергой достанет! А то един раз, да сам государь! Оно вроде бы приласкал. Полно, сударь, кручиниться. Пойдем на корабль. Потрудишься, матросской кашки пожуешь, сухарика морского поточишь зубками, оно и веселее станет...

Дворянин ответил неровным голосом:

- Палят ведь там, Лукашка! Ядра летают... Долго ли до греха. А?

- Так ведь война, сударь! - наставительно молвил Калмыков. - Какая же война без пальбы? И ядра, конечно, летают, не без того. Ну, а вот Лукашкою ты меня более, батюшка, не называй. Отныне я для тебя - господин мичман, господин офицер, али для крайности - Лука Александрович. Так-то. Ошибешься - выпорют как Сидорову козу.

Морская служба - она строгая. Служить, так не картавить. А картавить, так не служить. Понял ли?

- Как не понять, господин мичман Лука Александрович...

- Вишь - понятливый. И вот еще что, мой батюшко! Ты передо мною-то не ходи. Не в Париже. Нынче уж я пойду первым, а ты за мною, потому что я офицер, а ты - матрос...

И мичман флота Калмыков вышел из государева шатра в серые рассветные сумерки, в низко ползущий туман, среди которого вспыхивали оранжевые дымные пороховые огни выстрелов и беспрерывно грохотали тяжелые осадные орудия русской артиллерии.

4. РАЗГРЫЗЕН ОРЕШЕК!

С рассветом на обоих берегах реки непрестанно грохотали пушки. Ядра с воем летели в крепость - рушили зубцы башен, рвали в клочья шведских пушкарей, поджигали крепостные постройки. Русские артиллеристы, скинув кафтаны, засучив рукава, проворно работали свою военную работу, целились тщательно, банили стволы, подносили ядра.

Петр с трубкой в руках, сложив руки за спиною, прохаживался возле раскаленных орудийных стволов, смотрел запалы - не разгорелись ли до беды: дважды уже случались несчастья - заряд выкидывало в орудийную прислугу. Испорченные пушки заменялись новыми, старые откатывали подальше - на переливку.

Цитадель отбивалась яростно, невский холодный ветер раздувал королевское знамя со львом. Было понятно, что шведы твердо решили не сдаваться, несмотря на все усиливающийся напор русской армии. Петр раздумчиво говорил Шереметеву:

- Не столь они смелы, Борис Петрович, а непременно подмоги ожидают. И не иначе, как с озера...

Оба фрегата, "Святой Дух" и "Курьер", непрестанно курсировали по Ладоге, ждали шведской эскадры с десантом. Памбург и Варлан смотрели в подзорные трубы, тщетно искали встречи с противником; по озеру катились однообразные волны, да ветер свистел в снастях.

Незадолго до полудня мичман Калмыков заметил в трубу две яхты и шхуну. На фрегатах пробили тревогу, фитильные с горящими запалами побежали к своим пушкам. Но шведские суда не приняли боя, ходко ушли с попутным ветром.

В эту же пору в Нотебурге вспыхнул большой пожар: багровое пламя внезапно выкинулось возле Флажной башни, потом взметнулись еще два снопа и раздался страшной силы взрыв. Тотчас же накренилась и осыпалась стена у Колокольной башни. К пролому побежали шведы - солдаты, каменщики, кузнецы, - поволокли железные ежи, надолбы из бревен, столбы. Покуда пристреливались пушки, шведы заделали пролом начерно и стали засыпать его запасным камнем. Погодя последовало еще несколько взрывов, и всю цитадель заволокло медленно ползущей копотью - вонючей и плотной.

- Не виктория ли? - грызя ногти, спросил Петр. - А, господин фельдмаршал?

- Погоди, государь! - жестко глядя на космы копоти, ответил фельдмаршал. - Всему свой час. А легко они не сдадутся. Их воевать - не просто.

В сумерки охотники пошли отбивать неприятельские лодки, что стояли под крепостью. Преображенец Крагов, да семеновец Мордвинов, Егорша Пустовойтов и еще с дюжину народа половчее - сели в длинную ходкую лодью, положили большие мешки с шерстью и, подойдя к острову с наветренной стороны, подожгли порохом мешок. Черный, едкий, вонючий дым сразу согнал шведов с вала, охотники кинулись к лодкам, но лодки оказались прикованными толстыми железными цепями. Шведы, опомнившись, стали бить вниз с верха картечью. Егорша, Крагов, Мордвинов топорами прорубали днища шведских суденышек... Из этой вылазки не вернулось семь человек.

Нотебург пылал.

Но флаг со львом все еще развевался.

- Смотри, никак не хотят уходить! - сказал Рябов Иевлеву. - Крепко засели, смелые черти...

- Без судов не взять! - ответил Сильвестр Петрович.

И усмехнулся:

- Помнишь, как они к нам на Двину пришли, воры? Небось, не чаяли в те времена, что мы не токмо их не пустим, но и за своим добром вон куда приедем!

Огни огромного пожара всю долгую ночь отражались в черной, гладкой воде Невы, освещали балаганы, шатры и землянки русского войска, лодьи, стоящие у берега, штурмовые лестницы, положенные на щиты судов, крюки для абордажа, прислоненные к щитам. Солдаты, назначенные к штурму, носили на лодьи мешки с козьей шерстью - доброй защитой от пуль. Всю ночь русские пушки непрестанно громили пылающую крепость. Петр, неподвижно стоя у своего шатра, смотрел на пожарище, стискивал в руке подзорную трубу, говорил Шереметеву и Репнину:

- Врут, господа шведы! Что наше - тому нашим и быть. Теперь зримо - не повторится более Нарва. С утра зачнем кончать фортецию ихнюю, так, Борис Петрович?

Генерал-фельдмаршал подумал, вгляделся в пылающий Нотебург, сказал веско:

- И то, Петр Алексеевич, пожалуй, что и пора. Более тридцати пушек у нас к переливке назначены, восемь тысяч ядер пушечных к нынешнему дню брошено, три тысячи трехпудовых бомб, пороху, почитай, пять тысяч пудов пожжено...

В воскресенье одиннадцатого октября перед рассветом Меншиков доложил царю, что от госпожи Шлиппенбах прибыл барабанщик-парламентер и желает видеть фельдмаршала...

- От госпожи? - удивился Петр.

- Будто от госпожи...

- Зови сюда! Да не говори ему, кто я. Капитан бомбардирской компании Преображенского полка...

Барабанщик пришел, поклонился, протянул письмо с красивой печатью из красного воска. Петр развернул бумагу грязными руками, Меншиков

посветил ему смоляным факелом. Вокруг стояли пушкари, факел высвечивал лозовые корзины с ядрами, ствол орудия, бритые, закопченные лица русских артиллеристов.

Супруга коменданта Нотебурга Шлиппенбаха от своего имени и от имени всех прочих жен шведских офицеров просила русского фельдмаршала - дозволить им, бедным женщинам, выйти из крепости, где невозможно быть от великого огня и дыма...

- Перо да бумагу! - приказал Петр.

Покуда бегали за пером, чернилами и бумагою, Петр велел попотчевать шведа барабанщика вином и закускою. Меншиков подставил спину, Петр написал большими кривыми буквами, что к фельдмаршалу он, капитан, не едет, быв уверен, что господин Шереметев не согласится опечалить шведских дам разлукою с мужьями; если же изволят оставить крепость, то не иначе, как взяв с собою любезных своих супругов...

Подписался Петр так: капитан бомбардирский Петр Михайлов.

Барабанщик ушел, Петр сказал Меншикову спокойно:

- Пусть сдаются на аккорд, а хитрить с нами нечего. Дамы! Хватит, посидели в нашем Орешке. Да и негоже супругов разлучать в тягостные для них времена. Я своим не вотчим, а шведам не батюшка родной...

Пушкарям, стоявшим поблизости, понравились слова Петра, они заговорили разом, перебивая друг друга осипшими голосами:

- Нет, друг добрый, так оно не пойдет!

- Покуда от Нюхчи шли - сколь своего народу схоронили.

- А в Лифляндии!

- Под Нарвой они нас жалели? Раненых прикалывали...

Петр сквозь зубы велел:

- Начинай!

И ушел в шатер.

Офицер-артиллерист встал повыше, взмахнул шпагой, крикнул тонким голосом:

- Пушки к бою готовь!

Канонада вновь началась.

От рева орудий дрожала земля. Теперь все, от солдата до генерал-фельдмаршала, знали, что начинается штурм. Ядра долбили каменные стены, вновь и вновь занимались пожары в крепости, там от бушующего пламени плавились свинцовые крыши. Еще не рассвело, когда в соснах, где ждали готовые к штурму матросы и солдаты гвардии, ударили барабаны. Люди бегом побежали к лодьям, суда на веслах ходко пошли к крепости. Идти было легко, ветер дул в спины.

Шведы не сразу поняли беду. На головной лодье шел Меншиков, на другой - Голицын. Репнина и Шереметева Петр оставил при себе - на берегу; оттуда в подзорные трубы они смотрели, как штурмующие ставили к стенам лестницы, как взбегали наверх, как шведы, опомнившись, сбрасывали их с девятисаженной высоты на камни, как лили на штурмующих кипяток, расплавленную смолу, свинец...

Лодьи, лодки, струги ссаживали солдат, те, закрываясь мешками с козьей шерстью, шли к стене - по телам убитых и сброшенных вниз шведами-опейщиками, а суда возвращались за новыми и новыми подкреплениями. Два фрегата - "Святой Дух" и "Курьер" - тоже подвозили солдат и матросов. Памбург был в самом начале штурма контужен, оглох и ничего не понимал, мичман Калмыков уложил его в каюте на подушки, поднялся на шканцы, крикнул в кожаную говорную трубу:

- Стоять по местам! Слушать мою команду! С сего мгновения я командир корабля! Который морского дела служитель, шведского огня убоявшись, свое воинское дело и долг позабудет - пристрелю на месте, как собаку...

Дворянин Спафариев уже в матросском бостроге, в вязаной шапке, перебирая ногами, стоял неподалеку, мелко крестился. Мичман крикнул ему:

- Ей, матрос Спафариев! К делу! Живо!

Того отшвырнуло к пушке, где велено ему было подавать ядра, констапель в бешенстве наподдал ему сапогом, недоросль завертелся волчком. С визгом возле самой головы мичмана пролетел сноп картечи, фрегат швартовался возле острова, весь левый борт бил из пушек, прикрывая своих людей. Рядом перевернулась большая лодья, в струг

ударило ядро. Трупы медленно плыли по Неве.

Когда взошло негреющее красное солнце, лодки и струги подвезли к фортеции охотников с гранатами. С горящими фитилями в зубах охотники стремительно поднимались по гнущимся лестницам, выхватывали из сумок гранаты, скусывали, швыряли на стены. Шереметев медленно перекрестился, низко поклонился Петру, поправил на себе пояс, саблю, пошел к реке...

- Ты побереги себя-то! - со сдержанной нежностью сказал Петр. - Горячо там...

Генерал-фельдмаршал шел не торопясь, холодно и спокойно глядя вперед своими круглыми орлиными глазами. Рябов подал ему верейку. Он сел, лодка рванулась вперед. Шведы увидели сверкающие доспехи Бориса Петровича - по нем стали бить, он сидел неподвижно, вертел перстень на пальце. Войско на острове встретило его восторженным, длинным хриплым "ура", он пошел к штурмовой лестнице, взялся руками в перчатках с раструбами, по-молодому быстро поднялся наверх - в самое пекло рукопашного боя...

А внизу подвезенные пушки били по заделанному шведами пролому прямой наводкой: сыпался камень, рушились бревна и надолбы, отваливались железные ежи.

Петру с мыса было видно, как шведы бежали с боевых башен, как Меншиков, который уже давно переправился на остров, без кафтана, в шелковой, словно пылающей яркой рубашке, с тяжелой саблей в руке - рубился на стене. Иногда и его и сверкающие доспехи Шереметева затягивало дымом и копотью, и тогда казалось, что оба они погибли, но налетал ветер, и опять делалось видно, как бьются генерал-фельдмаршал Шереметев и бомбардирский поручик Меншиков, как редеют вокруг них защитники цитадели и как все больше и больше и на башнях и на стенах - русских солдат...

- Шаутбенахт господин Иевлев пошел! - сказал Петр, глядя в трубу. - Видишь, Аникита Иванович?

Репнин, раненный в самом начале нынешнего штурма шальной пулей, с

трудом взял трубу, посмотрел: было видно, как Иевлев, хромая, в своем зеленом мундире, с высоко поднятой шпагой, бежит к пролому в стене и как валит за ним лавина матросов в коротких бострогах и вязаных шапках на одно ухо. Сверху в моряков пальнули картечью, несколько человек упали, но голова штурмующей колонны уже влилась в пролом, бились там ножами, палашами, резались вплотную, душили шведов голыми руками. Перед Сильвестром Петровичем был двор крепости, окровавленные булыжники, брошенное шведское оружие, тела убитых...

А на крепостной башне, над воротами в это время появился высокого роста старик с развевающейся седой бородой. Он был один - сутуловатый, суровый, костистый, с большой подзорной трубой в руке. Долго, очень долго он осматривался в эту трубу, и красное осеннее солнце играло в его латах, в наплечниках, в пластинках шлема.

- Кто таков? - спросил Петр.

- Дружок нашему фельдмаршалу! - усмехнулся Репнин. - Брат того Шлиппенбаха, которого он все сие время по Лифляндии гонял. Осматривается. Смотрит - и не верит! Нет, господин Шлиппенбах, так оно и есть. Худо вам, вовсе худо...

Опустив трубу, старик еще постоял, потом махнул длинной рукой и совсем сгорбился. А на башне, где только что развевался шведский флаг со львом, стала медленно подниматься косо оторванная белая тряпка...

- Виктория! - тихо сказал Петр. - Кончены шведы, Аникита Иванович.

- Здесь кончены! - осторожно ответил Репнин.

Генерал-фельдмаршал Шереметев в это самое время, осторожно ступая ушибленной в баталии ногой, спускался к лодке. Он был так же спокоен, как и тогда, когда Рябов вез его на остров, только лицо его потемнело от копоти да во всех движениях видна была усталость. За ним в верейку сели Меншиков и Сильвестр Петрович. Все молчали. Рябов сильно навалился на весла, пошел обходить фрегаты и скопившиеся здесь лодьи. Уже неподалеку от своего берега Борис Петрович сказал с усмешкой:

- Намахался я саблей-то. С отвычки все жилочки ноют. А может, и

старость на дворе, - как разумеешь, Сильвестр Петрович? Беспокойно живем...

Сильвестр Петрович ответил, набивая трубочку:

- Да и то не дети, господин генерал-фельдмаршал...

- Не дети, не дети, а человек с дюжину порубил! - сказал Меншиков. - Меня, братие, голыми руками не возьмешь. Один, вижу, бежит, выпучился, шпажонку вон как вздел...

Шереметев с Иевлевым переглянулись, потупились.

Лодка врезалась в пологий берег.

К воде, навстречу победителям, выставив плечо вперед, отмахиваясь ладонью, сияя, быстро шел Петр Алексеевич. Барабанщики, выстроившись в ряд, били отбой. Справа, чуть впереди, стоял Ванятка, палочки в его маленьких крепких руках взлетали легко, брови были насуплены, весь вид говорил: "Нелегкая, да важная наша работа - барабанить!"

- Господам победителям виват! - негромко, но с силой и гордостью произнес Петр. - Виват, други мои добрые, сыны отечества истинные!

5. ПОГОДЯ

У государева шатра стояли тележки, к Петру Алексеевичу приехали купцы - из Москвы, из Архангельска, из Вологды, из Ярославля. Один богатей - сухой, в морщинах, с жидкой бородой, - кланяясь Меншикову, говорил:

- Доподлинно ведаем, господин, шведские купцы сложились, деньги собрали немалые, с гонцом отослали те деньги королю Карлу, дабы не сдавал он свою крепость, что стережет выход к морю - Балтийскому, что ли, как его звать-то. Шведским негоциантам мы имеем чем ответить. Поклонись Петру Алексеевичу, приехали, дескать, к его милости, припадаем, дескать, к его стопам - не обессудь, прими, собрали по малости, - я чай, сгодится для походу. Не нынче-завтра час наступит, будем и мы с барышом нашими товарами торговать...

Петр, веселый, молодой, словно в давно минувшие дни строения

переяславского потешного флота, блестя карими глазами, быстро писал, стоя у высокой, колоченной из неструганых досок конторки, письмо Апраксину, разговаривая в это же время с Борисом Петровичем Шереметевым...

"Объявляю вашей милости, что помощью победодавца бога, крепость сия, по жестоком, чрезвычайном, трудном и кровавом приступе, сдалась на аккорд..."

- Так кого же, Петр Алексеевич? - спросил Шереметев. - Дело не шутошное. Цитадель побита крепко, многие работы надобно начинать, да и швед не замедлит ее обратно отбить...

- Кого, как не Данилыча! - спокойно ответил Петр. - Ему и быть комендантом. За ним спокойно, сделает все как надо...

- Данилыча - добро! - согласился Шереметев и стал читать заготовленный лист про ремонтные работы во вновь отвоеванной крепости. Петр, слушая и хмуря брови, писал другое письмо на Москву - Ромодановскому, корил князя-кесаря, что больно медленно шлет аптекарей и лекарей, отчего некоторые ранее своего времени померли злою смертью. Не дописав, сказал Шереметеву:

- Железа-то где столь много нам, господин фельдмаршал, набраться? И без железа ладно будет - забьем сваи смоленые, они хорошо держатся...

И стал писать новую бумагу - кому какие награды за взятие крепости Нотебург. Сзади подошел Александр Данилыч, дотронулся до плеча царя, сказал:

- К твоей, государь, милости...

Петр, не дописав указ, обернулся, поглядел на купцов и увел их беседовать.

Тотчас же донесся его бас:

- Деньги суть артерии войны, без них что делать? Оживится нынче торговлишка, разбогатеете, господа негоцианты, иначе дела пойдут. Думали мы, рассуждали - иметь другой порт, да господь не дал. Что ж, свое незамедлительно получим. Об том не сумневайтесь, да получим-то не задаром. И вам кланяемся - просим: помогите делом...

Богатей, бледный от волнения, совсем посинел, услышав слово "просим", губы его скривились, бороденка затряслась:

- Да государь, да господи ж, да ты...

- Сукна доброго надо на армию поставить, - говорил Петр, - да только без обману. В недавние времена гость Жилин поставил гниль, за то повесим. Слышите: доброго сукна! Еще телеги надобны на железном ходу, множество. Кожу подошвенную, юфть на сапоги, пуговицы роговые - кто будет делать? Вы думайте, завтра с утра побеседуем не спеша...

Купечество кинулось к ручке. Петр, не глядя на них, совал свою большую лапищу - в чернильных пятнах, в ржавчине, в пороховой копоти, лапищу не самодержца всея Руси, коей должно пахнуть росным ладаном, - лапищу трудника, мужика, солдата...

В шатре шумели генералы, лилось вино, начинался великий бой с "Ивашкою Хмельницким". Купцы - старообрядцы-самосожженцы - гуськом потянулись от греха к выходу. Меншиков схватил одного - самого злого по виду, худого, измученного постами, - налил кубок, сунул в руку кус вареной поросятины:

- Пей, дядя, за преславного государя нашего...

Купец на мгновение обмер, потом хватил весь кубок разом, закусил поросятиной, зашептал:

- Не мой грех, не мой... Чур, не мой...

- Врешь, дядя, не зачураешься бога-то! - пугнул Меншиков. - Кипеть тебе в смоле, что поросятину жрал. Ныне какой день?

В царев шатер пришел мичман Калмыков, спокойно, с достоинством сел меж генералами и полковниками, стал аппетитно есть жирное мясо. Петр на него взглянул, спросил у Меншикова негромко:

- Ты сыну своему названному, Данилыч, золотишка на обзаведение дал, али запамятовал? Дай уж сейчас, за хлопотами еще позабудешь?

И протянул ладонь.

Александр Данилыч развязал кошелек, высыпал на руку царя пригоршню червонных. Петр подождал еще, смеясь попросил:

- Не мало? Ты не жалей, господин поручик...

Калмыков деньги принял спокойно, завязал в платок, поклонился царю. Тот его обнял за плечо, стал выспрашивать шепотом, как все было на фрегате. Лука Александрович похвалил Памбурга - что, и контуженный тяжко, не хотел покинуть шканцы, - команду, ходкость судна. Царь кивнул, опять пошел к своей конторке - писать. Все шумнее, все веселее делалось в шатре, более других шумел Меншиков, рассказывал, как давеча генерал Кронгиорт задумал подать сикурс осажденным и что из этого вышло. Его перебивали, он орал все громче, что-де без Меншикова ушел бы комендант Ерик Шлиппенбах, он - Меншиков - того Ерика приметил и не дал ему бежать, пугнул, замахнувшись, едва не проколол шпагою, да сорвалась рука, а то быть бы старикашке на том свете. Шереметев слушал, вздыхая; Аникита Иванович Репнин слушал радостно, с сияющими глазами: он любил вранье Меншикова, как любил сказки, песни про богатырей, не думая - правда оно или выдумка.

- Ври, ври больше! - тоже слушая Данилыча и проглядывая почту, сказал Петр. - Ерик! Ты возле сего Ерика и близко не был. Мы-то видели...

Он отложил прочитанные письма послов из разных государств и стал писать Виниусу: "Правда, что зело жесток сей орех был, однако ж, слава богу, счастливо разгрызен..."

- "Ври"! - издали обиженно сказал Меншиков. - Разве ж тебе, господин бомбардир, отсюда все видно было? Да и трубу ты, государь, попортил, как в Соловецкой обители по голове некую персону огрел. Сия труба нынче ненадежна, в нее не все видно...

- Что надобно, то видно! - ответил Петр. - Да и твои хитрости без трубы зело заметны. Как давеча с купцами любезничал... Некая персона...

Он покрутил головою, захохотал, подозвал к себе Сильвестра Петровича. Иевлев подошел с куском ветчины, - с начала баталии крошки еще не было во рту.

Петр спросил:

- Вышли шведы?

- Сбираются. Многие, великий шхипер, от ран ослабели, иные от голоду. Мертвых своих не имеют сил похоронить достойно...

Петр кивнул, задумался на мгновение, покусывая кончик пера, потом сказал негромко, словно стесняясь своих слов:

- Помощь надобно им подать, дабы голодные накормлены были, жаждущие напоены. Давеча не велел я жен ихних отпускать, просил парламентер ихний, - да ведь как сделаешь?

И, подумав, нахмурившись, он повторил давешнюю фразу:

- Я своим не вотчим, Сильвестр.

Иевлев промолчал.

- С политесом теперь выпустить жен надо, как-никак свое отмучились. Чтобы галант был, невместно иначе...

Сильвестр Петрович поклонился.

- Иди, работай! Бабам шведским вина вели дать ренского али венгерского, оно и подешевле станется. Сам думай, как делать, чтобы и с политесом и не больно сладко. Не то возомнят. Да возвращайся сюда же, отдохнем малость от трудов марсовых. Вели водку солдатам да матросам выкатывать, как-никак заслужили, пусть гуляют вволюшку...

Иевлев вышел, спустился по отлогому берегу к самой воде. Здесь, сидя на раскладном стуле, уже дожидался комендант Нотебурга Шлиппенбах; сверкая ненавидящими глазами, держал шлем на коленях, барабанил по пластинам пальцами. Ладожский ветер шевелил его седые с прозеленью волосы, раздувал длинную бороду.

- Господин Шлиппенбах не может встать по причине ранения в ногу, - сказал швед переводчик. - Господин Шлиппенбах принужден слушать аккордные пункты сидя.

Секретарь Шафиров и поручик Жерлов поняли, принесли Иевлеву скамейку, дабы мог он читать тоже сидя. Сильвестр Петрович развернул на ветру бумагу, кашлянул, стал читать аккордные пункты, написанные Шереметевым с поправками Петра:

- Весь гарнизон с больными и ранеными, со всеми принадлежащими ему вещами отпущен будет в Канцы водою или сухим путем с провожатыми. Коменданту Нотебурга, всем офицерам и солдатам дозволяется выступить с женами и детьми из трех проломов свободно и безопасно, с

распущенными знаменами, с музыкою, с четырьмя железными пушками, в полном вооружении, с потребным количеством пороху и с пулями за щекой...

Шлиппенбах выслушал перевод, ему подали перо, он подписал бумагу выше Шереметева, хромая пошел к лодке. Рябов сзади дотронулся до локтя Иевлева:

- По-здорову ли, господин контр-адмирал?

- Живем помаленьку, Иван Савватеевич...

- А народу побито порядком! - молвил лоцман. - До шести сотен. Могилу копают братскую... Сухарика дать?

Он разломил пополам огромный ржаной сухарь с торчащими остьями, аппетитно откусил от своей половины. Иевлев тоже стал жевать, отдавая приказания, как вести шведам в крепость харчи.

- Еще кормить их, клятых! - сказал Рябов.

- Надо! - ответил Иевлев.

В полках под соснами ударили в барабаны - к водке. Возле распиленных пополам бочек стояли старшины - вина в этот день не жалели никому. Из царского шатра доносились веселые клики, на лужку, перед государевым знаменем, играли рожечники. Александр Данилович в своей яркой, цвета пламени, рубашке выскочил козырем вперед, прошелся ловким плясом. Гвардейцы проводили бомбардирского поручика одобрительным хохотом, веселыми возгласами:

- Славно!

- Сей - могет!

- Делай, Данилыч!

- Жги, господин поручик! Рви!

За Меншиковым - белый от выпитого вина, с остановившимся взглядом и встрепанными волосами - появился купец-самосожженец, пошел сперебором, молодецкой выходкой. Александр Данилыч сунул пальцы в рот, засвистал лесным лешим, завился перед купцом, пошел кружиться, манить пальчиками, визжать на разные голоса. За ними двоими плавно, ровными стопами, с улыбкой появился Аникита Иванович Репнин, под

ноги пляшущим кинулись плясуны-гвардейцы, завертелись волчками под быстрые переборы рожечной музыки:

Тары-бары-растабары,

Серы волки выходили,

Белы снеги выпадали...

- Чаще, рожечники! - молил Меншиков. - Чаще, други!

Самосожженец, перебирая на месте козловыми сапожками, визжал:

- Утешь, Данилыч! Еще утешь! По смерть не забуду! Утешь, сокол!

А в царевом шатре кричали "виват" фельдмаршалу Шереметеву, бомбардирскому капитану Петру Михайлову, Репнину, Памбургу, Варлану...

В сумерки Сильвестр Петрович отдал приказ выпускать шведов. В крепости глухо забили барабаны, в проломе появился знаменосец в латах, за ним шел Шлиппенбах. Каждый солдат имел во рту две пули, нес ружье, шпагу, ранец с припасами. Солдат и офицеров вышло всего сорок один человек, за ними шли женщины. Раненых понесли на носилках русские матросы.

- Еще на караулах человек с десяток! - произнес Шереметев. - Остальные побиты. Корить нечем - хорошо дрались...

Ночью Петр узнал, что генерал Кронгиорт идет на помощь шведам. Тотчас же в верейке он вместе с Шереметевым и Сильвестром Петровичем переплыл Неву и приказал шведскому майору снять караулы. Швед сделал вид, что не понимает.

- Вяжи его! - велел Петр. - Тогда поймет!

Майора поволокли в сторону, он крикнул громко, пронзительно по-шведски своим караульщикам, чтобы кидали факелы в пороховые погребы. Сильвестр Петрович ударил солдата шведа головою в живот, полковник Чамберс схватил другого за глотку. Секретарь Шафиров пихал факелы в бочку с водой. В кромешной тьме стало так тихо, что все услышали шелест дождя...

- Сучьи дети! - тяжело дыша, молвил Петр. - Взорвали бы фортецию...

С утра было торжественное вступление фельдмаршала с генералитетом и

армией в крепость. Троекратно ударили все пушки - и русские и отобранные у шведов, - троекратно протрещали залпы из всех ружей и мушкетов. После молебствия Меншиков объявил государевым именем новое название Нотебурга. Сию крепость повелено было именовать Шлюссельбург - что значит Ключ-город, ибо отныне отперты ворота в исконные свои земли.

Под пение горнов и барабанный бой фельдмаршал Шереметев поднялся на западную башню и, низко поклонившись войскам, повесил ключ от крепости на железный крюк, вбитый в камень...

На ночь в цитадели поставили караулы, а спать уехали на берег. Перед тем как сесть в шлюпку, Ванятка потянул отца в сторону, сказал доверительно на ухо:

- Тятя, тут за щебнем барабан ихний остался. У меня-то худой, весь измятый...

- Что ж, бери, заслужил, - усмехаясь ответил лоцман.

Ванятка подобрал шведский барабан, сунул в шлюпку под банку, на берегу тотчас же побежал испытывать, подальше, к роще.

Всю ночь на берегах Невы и в цитадели горели костры - большие и малые, на кострах кипели котлы с варевом. В русском войске почти никто не спал. Солдаты, сидя на пнях, на пушечных лафетах, на срубленных соснах, поминали битву, показывали руками, как кто колол багинетом, бил прикладом, лез по штурмовой лестнице. Побывавших в пекле битвы слушало молодое пополнение, белобрысые парни. Еще не нюхавшие пороху испуганно переглядывались, бывалые солдаты рассказывали страшнее, чем было на самом деле, хоть было и достаточно страшно...

Поздней ночью Сильвестр Петрович с Егором Пустовойтовым, Рябовым, Резеном и Кочневым отправились на шлюпке в крепость - смотреть, что в ней надобно делать. Русские костры неверным багровым светом освещали сгоревшие дома гарнизона, расплавившиеся крыши, кучи ядер...

- Ну что ж, - сказал Сильвестр Петрович, - посчитаем прибытки нынешние. Пиши, Резен, роспись - чего нам досталось.

И стал диктовать.

- Пушек чугунных числом сто семь. Мортир - одна. Гаубиц - семь...

Егорша издали крикнул:

- Господин шаутбенахт, вы гляньте...

- Чего глядеть-то?

- Есть чего...

Иевлев подошел поближе, Егорша высоко держал факел. Коптящее пламя осветило ствол большого орудия, искусную резьбу, старые литеры...

- Наша пушка! - скрывая волнение, сказал Иевлев. - Литье давнее, при царе Иване Васильевиче так работали. Что ж, пиши, инженер: пушка русского литья, добрая... Может, какой Кузнец над ней трудился...

Считали ядра - одиннадцать тысяч штук, порох - двести семьдесят бочек, шпаги - триста, пять тысяч ручных гранат, свинец, селитру, смолу, латы, ружей более тысячи. Потом все вместе осматривали башни, давая им новые русские имена: этой быть Шереметевской, этой - Репнинской, этой - Головина.

На рассвете, обойдя крепостные стены и тайные ходы, арсеналы и пороховые погреба, вернулись в лагерь. Утро было холодное, с Ладоги дул пронизывающий ветер, по Неве бежали белые пенные барашки. В шлюпке Кочнев сказал:

- А на берегу виселицы поставлены...

Сильвестр Петрович всмотрелся, увидел: на лагерном плац-параде, выстроившись побатальонно, стояли неподвижно гвардейцы Преображенского и Семеновского полков, солдаты Романовского, Гордона, фон Буковина.

Однообразно, уныло, дробно трещали барабаны, высвистывала флейта.

- Чего такое? - спросил Рябов.

Шлюпка врезалась в низкий берег, Сильвестр Петрович медленно пошел к плац-параду, протиснулся между работными людьми и очутился у виселицы, перед которой двумя шпалерами стояли преображенцы. У каждого из них в руке был гибкий прут, и этими прутьями гвардейцы наотмашь с поддергом хлестали голого до пояса рослого солдата,

который медленно и устало шел, привязанный руками к ружью. Немного погодя Сильвестр Петрович понял, что солдат не сам идет - его волокли два сержанта, и путь солдата вел к виселице. Так под взвизгивания флейты и треск барабана его подвели к низкому эшафоту и поставили на колени. Обнаженная спина солдата почернела и вздулась, а в некоторых местах была словно изорвана, лицо его, бескровное, усохшее, не имело никакого выражения, только страшно синели белки полузакрытых глаз...

- Кто таков? - спросил Иевлев у стоящего рядом угрюмого офицера с обожженной щекой.

Офицер покосился на контр-адмирала, ответил, с трудом двигая изуродованными ожогом губами:

- Сей скаред от приступа бежал, со струга выпрыгнул и схоронился в лесу, а в его сумке фитили были, господин шаутбенахт. Без фитилей гранатных мы остались...

Он помолчал, отворотившись, потом добавил:

- Велено за сие воровство оного изменника после прогнатия скрозь строй казнить смертью через повешение и без исповеди, а также без святого причастия, с заплеванием лица...

Армейский профос - палач, мужчина медлительный и мощного телосложения, - отвязал приговоренного от ружья, поднял с колен, трижды плюнул в его белое, уже мертвое лицо и накинул ему на шею петлю. Барабаны забили нестройно, флейта завизжала. Профос поглядел на секретаря Шафирова - не скажет ли вдруг помилования. Шафиров, сидя на лошади, махнул белым платком. Палач поплевал на ладони, взялся за конец пеньковой веревки, ударом ноги вышиб из-под казнимого скамью. В наступившей вдруг тишине раздалась команда, гвардейцы и солдаты вздели ружья на караул.

Сильвестр Петрович, вернувшись к себе в балаган, выпил кружку сбитня, унял в себе дрожь, хотел было прилечь, да раздумал, вновь потянуло на люди. Когда, покурив трубочку, вышел в лагерь, на крепости Шлюссельбург - Ключ-город вздымали русский трехцветный флаг.

Солдат после свершения обряда казни перестроили лицом к Неве,

артиллеристы встали с зажженными фитилями у своих пушек. На фрегатах "Святой Дух" и "Курьер" тоже приготовились к пальбе.

Александр Данилович Меншиков - бомбардир, поручик Преображенского полка, нынешний губернатор и комендант Шлюссельбурга - двумя руками, ровно стал натягивать шкерт, огромное полотнище медленно поползло по новому флагштоку Государевой башни к холодному осеннему небу.

Ветер с Ладоги, налетев порывом, развернул флаг, громко щелкнул им над зубцами башни.

Петр, стоя неподалеку от своего шатра, вдавил фитиль в затравку. Пушка ахнула, за нею нестройно загремели другие орудия. Шереметев негромко сказал царю:

- С добрым началом тебя, господин капитан. Наше нам возвернулось. Истинно - разгрызен Орешек!

И истово, старым русским обычаем, дотронувшись рукою до приневской земли, поклонился русскому флагу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Я забывал себя, когда дело шло о пользе отечества.
Суворов

1. ВЕТЕР БАЛТИКИ

В апреле войска Шереметева покинули лагерь, раскинувшийся по берегам возле Орешка, и стремительным маршем двинулись болотами и лесами вдоль Невы. По реке шли лодьи, струги, фрегаты - везли пушки, ядра, порох, продовольствие для всей многотысячной русской армии. Солдаты шли бодро - перед походом они получили государево жалованье, новые, доброго сукна кафтаны, крепкие башмаки. На привалах варили щи с головизной, давалось по чарке водки. Страшный переход от Нюхчи до Ладоги многому научил.

Весна стояла поздняя, но взялась она дружно: враз собралось греть солнышко, зазвенели ручьи, осели и стаяли снега.

Во главе армии ехал на вороном донском жеребце Борис Петрович Шереметев; опустив поводья, задумавшись, вдыхал всей грудью запах сосны. Рядом с ним, стремя в стремя, красиво сидел в высоком испанском седле Аникита Иванович Репнин, вглядывался вперед - в чащобу, где прокладывал путь арьергард из рейтаров и гвардейцев с работными людьми. Сзади, среди других генералов, тоже верхом на караковой кобылке, устало дремал царь Петр Алексеевич. Какой уж день его мучила лихорадка, он совсем пожелтел, губы у него спеклись от жара и лицо покрылось пятнами. Лейб-медик Блюментрост, прибывший с Петром из Москвы, потчевал его елексиром цесаря Рудольфа - из сабуры, мирра, опопонакса и других смол. Елексир не помогал, Блюментрост разводил руками:

- Значит, государь, дело не в болезни, а в грусти, которая у вас на душе...

Петр отмалчивался, требовал иных лекарств, истово глотал всякую дрянь. Ничего толком не излечивало.

Миновав две трети пути до Ниеншанца, сторожившего морское устье Невы, Борис Петрович Шереметев приказал остановить армию. Длинное "сто-ой!" понеслось над полками гвардии, над дивизией князя Репнина, над отрядом Чамберса, над полками Якова Брюса. Конница спешивалась, пехота располагалась на отдых. Фельдмаршал велел собирать совет. Петр, кряхтя, тяжело слез с коня, его обступили генералы. Репнин разложил карту. После короткого совещания решено было послать вперед на судах две тысячи человек для рекогносцировки боем. Командовать отрядом было приказано подполковнику Нейтерту и капитану Преображенского полка Глебовскому. Сам же Шереметев с конницей числом в пять тысяч сабель двинулся к Усть-Ижоре.

Петру, который остался при основной армии, постелили войлок, он прилег на солнышке отдохнуть. Тихо, спокойно шумели старые сосны, позванивал ручей, пахло тающими снегами, сосною, прошлогодней прелью. Было слышно, как неподалеку ровно беседуют Иевлев, Рябов и здешние рыбаки - Онуфрий Худолеев с парнями Семеном и Степаном - о

фарватере реки Невы.

- Не так! - говорил Рябов. - От самой Преображенской горы корабельный ход посредине речки, и не более как пятьдесят сажен. А при устье Дубровки отмель - вы на плоскодонках ходите и промера не делали. Как раз фрегат и посадишь...

Иевлев засмеялся:

- Он по сему делу знаток - как на мель сажать...

Ладожские рыбаки все вместе заспорили:

- Нету отмели! Мы сколь много...

- А ну об заклад? - спросил Рябов. - Давеча про Пеллу вы тоже языки чесали, нету-де там отмелей, а на поверку чего вышло?

Петр вздохнул, потянулся. Его лихорадило, взгляд у него был тусклый, он часто облизывал губы, сплевывал в сторону. Лейб-медик принес питье в стакане, царь пригубил, но пить не стал.

- Поискали бы мне, что ли, клюквы...

Холодную, подснежную клюкву сосал с удовольствием. Потом позвал Иевлева, спросил:

- Гонцов не было?

- Не было, Петр Алексеевич...

Петр на мгновение закрыл глаза. Было видно, что он томится. Возле него, прикрытая камнем от ветра, лежала карта, он вновь ее развернул, стал спрашивать у рыбаков, где что расположено на Неве за Ниеншанцем. Рыбаки робея показывали: вот на сей речке - как ее имя, незнаемо, - возле Невы большой сад шведского майора Конау. Здесь - деревенька дворов на пять, сена косят копен до ста, хлеба сеют коробов двадцать, не более. Тут - Васильевский остров именуется сие место - охотничий замок господина шведа Якоба Делгарди, отсюдова он и медведей бьет, и волков, и лосей. Хорошая охота. Здесь, на Фомином острове, - поместье Биркенгольм, большая вотчина, держит народишку русского барон на работах на своих человек до двух сотен. И деревенька при нем дворов на сорок. Тут-то посуше, а кругом, почитай, все болотища, сухого места не отыскать. Вот разве что Енисари - посуше будет... Здесь Враловицын

посад, тут Первушина мыза. Дорог нет, тропочки меж болотами...

Петр слушал, покусывая сухие губы, позевывая от подступающего озноба. Потом, услав рыбаков, неприязненно спросил:

- Пушки Виниус прислал?

Сильвестр Петрович осторожно ответил, что, может, и дошли к Шлюссельбургу, но здесь покуда не слышно.

- Не слышно, говоришь? - усмехнулся Петр. - Нынче Ромодановскому отпишу - запляшет у него старый козел, спехом дело делать зачнет...

И полулежа на войлоке, в неудобной позе стал быстро писать:

"Сир! Извествую, что здесь великая недовозка артиллерии есть, чему посылаю роспись, из которых самых нужных не довезено: 3033 бомбов трехпудовых, трубок 7978; дроби и фитилю ни фунта; лопат и кирок железных самое малое число; а паче всего мастера, которые зашрубливают запалы у пушек, по сей час не присланы, отчего прошлогодские пушки ни одна в поход не годна будет, отчего нам здесь великая остановка делу... О чем я сам многажды говорил Виниусу, который отпотчевал меня московским тотчасом. О чем изволь его допросить: для чего так делается такое главное дело с таким небрежением, которое тысячи его головы дороже? Из аптеки ни золотника лекарств не прислано: того для принуждены мы будем тех лечить, которые то презирают..."

Дописал, подумал, потом, прочитав вслух Иевлеву, спросил:

- Под Усть-Ижорой, что ли, князь Александр Невский Биргера разбил?

Сильвестр Петрович кивнул:

- Под нею, государь. До Усть-Ижоры гнал, а битва-то была ранее. Говорится в летописи, что приидоша свеи в силе велице и мурмане, и сумь, и емь в кораблих, множество много зело, свеи с князем и бискупом своими и сташа на Неве в устье Ижоры, хотя восприяти Ладогу...

- Восприяти! - сурово, краем рта усмехнулся Петр.

В Усть-Ижоре для Петра был построен шатер. Александр Данилович жарил на штыке над пламенем костра добрый кусок баранины, рассказывал весело:

- Ты, мин гер, погляди вокруг, чего деется: русских мужиков наперло видимо-невидимо, отовсюду из-под шведа к тебе бегут. И харчишек нанесли, и молока, и творогу, ей-ей, словно где на Волге али на Москве-реке. И бабы и девки, слышь, - песни старые поют...

Петр ушел в шатер. Меншиков, дожаривая мясо, с грустью вдруг сказал Аниките Ивановичу Репнину:

- Пришли, навалило народишку... А как спроведают наше житьишко, как зачнут с них подати рвать, как погонят на корабельное строение...

Потряс головою, вздохнул:

- И-эх, князинька... С Виниусом-то слышал? Пошло письмо на Москву дружку нашему, доброму Федору Юрьевичу. Пропал старичок...

Репнин насупился, ответил глухо:

- Провались оно все, думать, и то немочно, голова трескается...

Петр сидел в шатре на лавке, перед ним у стола стояли Глебовский и немец Нейтерт. Капитан - иссиня бледный, с простреленной нынче шведской пулей шеей - бешеным голосом рассказывал, что господин подполковник не изволил поддержать его во время приступа - отговорился тем, что приказа не имеет; неприятель поставил засаду - драгун; несмотря на сие обстоятельство, драгуны были сбиты и вал взят, однако же шведы от погони ушли и заперлись в Ниеншанце, а победа могла быть полной...

- Ну, подполковник? - спросил Петр.

- Я не имель приказ.

- А глаза имел? Уши имел? Голову?

- Я не имель приказ, - с достоинством, спокойно повторил немец. - Я не имель приказ. А когда я не имель приказ, тогда я не делал сикурс.

- Пшел вон! - со спокойной злобой сказал Петр Нейтерту.

Немец вышел, высоко неся голову, позванивая серебряными звездчатками шпор.

- Глебовский! - позвал Петр.

Тот, не двигая головой от страшной боли в шее, где застряла пуля, подошел ближе, встал смирно.

- Приказа у него не было! - вдруг крикнул Петр. - Понял? Не было приказа! И верно, не было! А более ему ничего не понять! А тебя я не виню. Ты все сделал как надо! Не виню! Иди! Скажи там лекарю моему, чтобы пулю тебе вынул...

Глебовский стоял неподвижно, из глаз его ползли слезы.

- Ну? - раздражаясь, спросил Петр. - Что еще? Чего ревешь, словно девка?

- Народу у меня побито тридцать два человека, - сказал Глебовский. - Я с ними, государь...

- Не виню! - крикнул Петр тонким, не своим голосом. - Сказано, не виню! А побито... Ну побито, чего ты от меня-то хочешь? Иди отсюда, иди, чего еще надо...

Глебовский вышел. Петр лег на кровать, укрылся, свернулся, как в детстве, клубком. Колотились зубы, обмирало сердце, вместе с кроватью он то несся куда-то вниз, в тартарары, то его вздымало под далекие черные тучи. Было страшно, смертельная тоска терзала все его существо, жалким голосом он позвал:

- Ей, кто там! Меншикова ко мне, губернатора шлюссельбургского!

Денщик побежал за Александром Данилычем, тот сел рядом с Петром, заговорил ворчливо-ласково, с доброй укоризной:

- Ишь, чего выдумал, мин гер, занемог перед делом-то... Да и полно тебе, никуда ты не летишь, все чудится. То - лихорадка-лиходея разбирает, трясовица треклятая. Мы живым манером Блюментроста позовем...

- Ну его, не надо! - попросил Петр.

- А не надо, и шут с ним, с немцем. Не надо - так мы тебе, Петр Лексеич, водочки на стручковом турецком перце поднесем, ты от ее в изумление придешь, пропотеешь гляди, а там сподднее сменим, в сухоньком и вздремнешь. Ты, мин гер, притомился, вот что...

От голоса Меншикова сделалось будто бы поспокойнее, кровать перестала проваливаться, теплая рука Данилыча, его мягкий голос, ласковые слова - все вместе словно бы убаюкивало, как в младенческие годы тихая песенка Натальи Кирилловны. Петр задремал, но во сне

жаловался:

- Не ведаю я, не ведаю, о господи преблагий!

- Полно, мин гер, чего ты там не ведаешь! - будил Меншиков. - Спи себе, да и только...

На цыпочках, осторожно вошел Блюментрост, погрозил Меншикову пальцем, вынул из кармана склянку, произнес непонятные слова:

- Эссенция мартис аперативо кум суко поморум, имеет силу разделительную и питательную...

Меншиков понюхал эссенцию, вздохнул, а когда Блюментрост ушел - вылил склянку за полог шатра. Потом от скуки и для препровождения времени сел писать письмо. Писал он очень плохо - составлял буквы друг с другом в кривой ряд и почти перед каждой задумывался.

"Дарья Михайловна, Варвара Михайловна, здравствуйте на множество лет! Благодарно милости вашей бью челом, что изволите ко мне писать о своем здравии"...

Тут он надолго задумался. На Дарье Михайловне он давно собрался жениться, писал же к обеим сестрам Арсеньевым, жившим у хором царевны Наталии Алексеевны. Надо было в письме тонко и с политесом намекнуть о своем чувстве к Дарье. И Александр Данилыч вновь принялся приставлять буквы друг к дружке:

"Паки благодарствую за вашу ко мне нелицемерную любовь, за любительскую присылку, Дарье Михайловне за сорочку и за алмазное сердце... Не дорого мне алмазное сердце, дорого ваше ко мне любительство..."

Подписался он очень крупными буквами так:

"Губернатор шлюссельбургский и комендант, бомбардир поручик Преображенской и кавалер Александр Меншиков"...

Петр негромко окликнул:

- Данилыч, ты что там кропаешь?

Меншиков слегка порозовел, утер пот со лба, ответил:

- Да так, мин гер, на Преображенское некая писулька...

- Покажи...

- Да, мин гер...

- Покажи! - велел Петр.

Александр Данилыч подал письмо, свечу.

- Ишь ты! - промолвил Петр. - Откуда же ты кавалер?

- Да ведь, мин гер, ну чего, ей-ей, - заговорил Меншиков. - Все так пишут, я-то не хуже иных некоторых...

- Кавалера - замажь! - велел Петр.

Меншиков вздохнул.

Петр сказал назидательно:

- Ты, брат, еще не кавалер, а курицын сын, - то помни крепко. И не заносись. Станешь служить толком - достигнешь и кавалерства. Ложись, спи...

Александр Данилыч замазал чернилами слово "кавалер" и лег спать.

Поутру царю стало легче. Двадцать девятого апреля он со свитою увидел валы Ниеншанца, обложенные полками осадного корпуса Чемберса и Брюса. Дивизия Репнина уже переправилась на правый берег Охты и обложила город Ниен кругом - от Охты до Невы. Там, в меднозеленом вечернем небе таяли дымки шведского селения...

- Туда - море! - сказал Петр, указывая плетью вперед.

От жара у него блестели глаза и на скулах проступил румянец, но всем вокруг него казалось, что он здоров, бодр и весел. Он и в самом деле был весел.

- Верно говорю, Сильвестр? - спросил Петр. - Там оно, море, Балтика? Туда указываю?

- Туда! - ответил Иевлев. - Там оно - Варяжское море. Отсюдова начинался древний путь - из варяг в греки.

Генералы, господа совет, смотрели вперед со всем старанием, но не видели ничего, кроме легкого вечернего туманчика, странного, диковинного неба да шпиля шведской церкви.

2. ПОД НИЕНШАНЦЕМ

Недоставало платформ под мортиры, фашин и туров, нехватало лопаток и

кирок, бомб, мешков с шерстью.

С превеликими трудами, под огнем шведских батарей, возвели последнюю траншею и подвели к ней подступы. Егор Резен ставил мортирную кетель - батарею - у озерца, в вершине залива Охты; ставил пушки генерал-инженер Ламберт. Петр бывал то у Резена, то у Ламберта, сам особенно в дело не совался, но смотрел с интересом. Александр Данилыч Меншиков дважды пугал шведов - "делал комедию", будто он с охотниками идет на приступ. Шведы швыряли бомбы, камни, заключенные в каркасы, били картечью...

После полудня ударили барабаны. Шестьдесят лодок с четырьмя ротами семеновцев и тремя преображенцев пошли вниз по течению реки - для осмотра ее устьев и взморья. С крепостных верков открылась орудийная пальба, но ядра не долетали до флотилии, а гвардейцы кричали шведам срамные слова, понося ихних артиллеристов...

Петр смотрел на тихие речные воды жадно, ни с кем не разговаривал, ждал взморья. Кроме Рябова да Иевлева никто толком не понимал, куда так пристально и неотрывно смотрит бомбардирский капитан...

Ко взморью пришли поздно, уже смеркалось, жемчужный туманчик пал на тихо шепчущие воды; но остро, по-особому маняще пахла морская даль; из туманчика, навстречу флотилии, под косым морским парусом шла лодка финна-рыбаря, сомнений более не оставалось: Балтика...

Долго в молчании Петр курил свою трубочку, долго смотрел вперед, потом вдруг резко вздернул плечом, сказал жестко:

- Корабли надобны, Сильвестр, да много! Флот! Что ж лодки-то...

И велел:

- К берегу!

У прибрежной мызы стоял коротконогий, с обветренным, красным сморщенным личиком финн-рыбак. Белобрысый внучонок жался у его ног.

- Ты кто таков? - спросил Петр старика.

Тот подумал, встал попрямее, выставил вперед подбородок, ответил гордо:

- Кто такоф? Я рипацкий староста. А фот ти кто такоф, а?

Петр серьезно, без усмешки ответил:

- Я русский царь.

Финн сплюнул далеко в воду черную табачную жвачку, посмотрел на Петра, задрав голову, снизу вверх, поморгал, вздохнул, поверив:

- Тоже толшность немалая. Клопот мноко цару, а?

Солдаты-гвардейцы усмехались, стоя вокруг. Петр невесело ответил:

- Много, старик, хлопот. Что верно, то верно. Едва управляемся...

- И я етва управляюсь. Кажтый по-своему телает, кажтый умный сам... Шерти проклятые... Тут рипак Тускала брал сеть, я коворил...

Петр не стал слушать, спросил, не угостит ли его староста на мызе молоком. Финн хитро посмотрел на царя, на Иевлева, на Меншикова, на огромного Рябова, обвел взглядом гвардейцев, ответил:

- Отин раз я укощу всех и сам помирать стану от голот.

Но молока и ржаную лепешку вынес. Гвардейцы купили на соседней мызе странной рыбы - корюшки, пахнущей свежим сеном, развели костер, сварили ушицу. Золотое солнце, рассеивая своим теплым светом туманчик, поднималось над тихими водами. Александр Данилыч раздавал финнам листы, доставленные из Москвы; там было написано, что всем здешним приневским жителям под рукою царя всея великия и малыя и белыя Руси будет покой, справедливость, а разорения им никакого не ждать. Бомбардирский урядник Щепотев, малый толковый, покуда читались листы, торговал у здешних людей двух телок, да доброго кабанчика, да еще бычка. Финны для пробы заломили цену подороже. Щепотев, посетовав на запрос, положил на стол золотой. Финны привели еще коровенку, двух поросят, стали рубить головы уткам и гусям. Щепотев говорил:

- Вы идите под крепость Ниеншанц, там становитесь на торг. Солдат у нас много, офицеров, енералов, народ богатеющий, каждому охота лапши с курятиной похлебать. Расторгуетесь, куда как жить станете. И рыбу везите на торг.

- Корюшку повезти? - спросил староста.

- И корюшку, и которая получше. И нас вы, други, не опасайтесь. Мы на свою землю вышли, тут россияне издавна стояли. А вам мы остуды не сделаем. Вы для нас старайтесь, мы вас не обидим... Шведа здесь вскорости не будет, тут, господин староста, им делать нечего...

Старик, польщенный учтивостью Щепотева, довольный крупными коммерческими операциями, которые происходили возле его мызы, вынул из- апечки бутылку зеленого стекла, налил в кружки вонючей темной водки. Петр пригубил, закусил творогом, поднялся. Староста, провожая русского царя к лодке, жаловался:

- Тут рипак Тускала брал сеть, я коворил: ты сеть утеряешь, а рипак Тускала - нет, нет... Ты, царь, позови Тускала, ты ему скажи...

Петр, садясь в лодку, ответил:

- С Тускалой ты, господин староста, и сам управишься... У меня делов и без Тускалы вот - по горло...

Тридцатого апреля началось бомбардирование крепости. В самом начале, близ полуночи, в Ниеншанце загорелся цейхгауз. Прицелом на бушующее пламя дали залп одновременно все осадные орудия...

Утром из ставки фельдмаршала Шереметева медленным шагом к валам крепости пошел русский трубач. На нем был новенький Преображенский кафтан, перевязь через плечо, короткая шпага, на треуголке плюмаж. Трубу он нес, уперев ее в бедро, горлом вперед. Гвардейцы переговаривались:

- Братие, да он - Тихон Бугаев, с первой роты...

- Никакой не Тихон, то - царев трубач Лобзин.

- Антип, а не Лобзин...

- Ты гляди, каков важен. И гетры новые выдадены...

- А чего! Пущай глядят свейские дьяволы - исправен-де трубач...

Трубач Семен Прокундин, не кланяясь пулям, вышел пред самые ворота крепости, избоченился; ловко вскинув трубу, протрубил вызов. На воротной башне показались два шведских барабанщика, ответили барабанным боем. Трубач еще раз протрубил. С длинным скрипом отворились ворота, за ними в латах, в шлемах, с копьями на изготовку

стояли шведы - для всякого опасения, не ведет ли трубач за собой войско.

Войска не было. В русском лагере видели: трубач встречен с почетом - офицер в белых перчатках учтиво подал оловянную тарелку, на ней стоял стаканчик водки. Копейщики сделали копьями на караул, ворота затворились. Воевать пока перестали. Гвардейцы безопасно ходили под стенами цитадели, переговаривались со шведами, что пора-де им уходить, сидение в крепости ничем хорошим не кончится. Шведы объясняли знаками - мы-де люди маленькие, над нами начальство есть.

Парламентера ждали очень долго.

Ответ трубач Прокундин вручил Борису Петровичу Шереметеву. Петр читал из-за плеча фельдмаршала. Шведы писали, что крепость вручена им от короля для обороны и что от милостивого аккорда должно им отказаться.

- Палить залпами нещадно до сдачи! - велел Шереметев. - Будет болтать попусту.

Тотчас же ударили все пушки и все мортиры одновременно. Охту заволокло серым дымом. Били залпами - всю ночь непрестанно. Ядра падали в крепость, пробивали крыши домов, долбили провиантские склады, караульни, крепостную солдатскую кухню. На рассвете внутри Ниеншанца занялся еще пожар, а вскоре на валу крепости появился швед-барабанщик и ударил "к сдаче". Осадные батареи замолчали. В шатер Шереметева явился бледный шведский майор в сером мундире - принес черновик условий капитуляции. Петр, пережевывая ноздреватую горбушку хлеба, суровым голосом сказал:

- Сие к чертовой матери! Прошлого раза едва Орешек нам не взорвали стражи ихние. Караульщиков наших назначить незамедлительно, а ихних всех вывести за цитадель...

И, взяв перо, стал чиркать в условиях.

В десятом часу утра внутрь крепости с развернутым знаменем, под пение труб и бой барабанов, вошел Преображенский полк, а в "палисады" - на прикрытом пути - Семеновский. Ярко светило солнце, играло на трубах,

на шпагах, на стали багинетов. Шведы - именитые жители Ниена, отсиживавшиеся в неприступной, как казалось им, крепости, - с изумлением смотрели на русских, словно не веря своим глазам, спрашивали друг у друга: неужто свершилось, неужто пал Ниеншанц...

А бомбардирский поручик Меншиков, поигрывая окаянными веселыми глазами, покрикивая "левой, левой, детушки, старайся!", держа шпагу на караул, вел своих орлов мимо господина вице-адвоката Герца, мимо Христиана Роземюллера - уездного судьи, мимо Акселя Лиельгрена - тюремного надзирателя, мимо господина Линдемарка - таможенного смотрителя в Ниене, мимо их супруг и дочерей, мимо офицеров сдавшейся крепости - к пороховым погребам, к арсеналу, к пушкам, к бастионам. Рядом с ним, стараясь попасть в ногу, поспешал юркий шведский лейтенант, въедливо объясняя:

- Сей бастион именуется - Гельмфельтов, сей - Кервиллов, а сей в честь преславнейшего государя нашего - Карлов...

Меншиков вдруг остановился, сказал по-русски, громко, так что солдаты слышали:

- А иди-ка ты, офицер, отсюдова туда-то и туда-то! Карлов! Мы бастионы и сами окрестим, без твоего подсказа! Иди от меня! Прискучил!

Офицер задохнулся, схватился было за шпагу. Меншиков с железным лицом, с отдельной улыбкой на тонких губах, посоветовал:

- Ты сии ухватки забудь. Дам в морду - ввек не прочухаешься, паскуда! Вишь - кулак!

И осторожно, чтобы не заметили шведские дамы, показал шведу кулачище с надутыми синими венами.

Шведы в это время выходили из крепости. Именитые граждане с узлами в руках, с мешками и сундуками искали, где бы нанять лошадей, - их кареты, экипажи и кони были отобраны русским войском. Иоганн-Генрих Фризенгольм, получивший титул барона за то, что дал Карлу деньги на ведение войны с московитами, немолодой мужчина с изрядным брюхом, изнемогая под тяжестью своего сундука, говорил вице-адвокату фискалу Герцу:

- Ну что вы на это скажете, гере вице-адвокат? Я не пожалел все свое состояние, я отдал даже приданое жены, я отдал деньги своих детей - и для чего? Для того, чтобы потерять наш Ниен и нашу крепость...

- Ненадолго, гере Фризенгольм, - сказал вице-адвокат. - Совсем ненадолго. Флот адмирала Нуммерса близок, не пройдет и недели, как шведская метла выметет отсюда этот московитский мусор. И мы выстроим новый Ниен и новую крепость - такую неприступную...

- Только не на мои деньги! - перебил Фризенгольм. - Что касается меня, то я не дам больше ни скиллинга. Поверьте моему честному слову, гере вице-адвокат!

3. "АСТРИЛЬД" И "ГЕДЕАН"

Меншиков, отвалясь, сидел в холодочке против только что схваченного на море шведа, спрашивал через переводчика:

- Моряк?

Швед отмалчивался, утирал рот зеленым фуляром. Бомбардирский урядник Щепотев сказал из-за спины Александра Данилыча:

- Да мы ж видели, как его на шлюпку, дьявола, спустили. С ним еще народишко был, те половчее его - не попались в засаду.

Меншиков подумал, спросил погодя:

- Ты с кораблей, которые идут к Ниеншанцу - дабы сделать сикурс? Него тебе велено крепостному коменданту указать?

Петр издали сказал:

- Оставь его, Данилыч! У него присяга. Сами додумаемся...

Но швед вдруг спросил, сколько ему заплатят, если он все скажет по правде. Рябов дернул Иевлева за рукав, остерег:

- Ты скажи, Сильвестр Петрович, Меншикову: обманет швед. Я тоже так торговался.

Но швед не обманул, сказав, что на два условных выстрела с эскадры Нуммерса крепость должна отвечать тоже двумя выстрелами. Так и сделали. Охотники с взморья оповестили, что шведские корабли, услышав ответ на свой сигнал, спокойно встали на якоря. Александр

Данилыч отсчитал шведу деньги, но меньше, чем договорились. Швед обиделся, Александр Данилыч крикнул:

- Еще лаешься, пес! Тридцать червонных тебе дал, более, чем Иуде, у того - серебро, у тебя - золото!

С Гутуевского острова опять прибыл гонец, из расторопных щепотевских ребят, рассказал, что два вражеских судна подошли к самому устью Большой Невы и дожидаются утра, дабы идти к реке Охте. Петр собрал совет. Сильвестр Петрович заговорил первым:

- Наши фрегаты для сего дела жаль, государь. Неровен час, потеряем, - они первые наши военные корабли здесь. Пока еще других дождемся. Идти надобно лодками...

Меншиков рассердился:

- Вздор несешь, Сильвестр! Как со шведами свалишься абордажем? Пока с лодок полезем - всех перебьют...

Чамберс согласился со вздохом:

- С лодок на корабли - нельзя. Плохо.

Брюс развел руками:

- Трудно, государь...

Петр огляделся, поискал глазами, крикнул позвать первого лоцмана. Тот сказал осторожно:

- Да ведь как делать, Петр Алексеевич! По-дурному - побьют, а по-умному - мы их кончим. Невою идти к ним - проведают, надо с тайностью. Проведал я от тутошних рыбаков, ныне и сам посмотрел - есть еще речушка, лодки по ней пройдут, тою речушкою и выскочим...

Царь надолго задумался. Чамберс спал сидя, Брюс усталыми глазами смотрел на полноводную, поблескивающую под солнцем Неву. Шереметев дотронулся до руки Петра, сказал негромко:

- Лоцман дело говорит. Так и надобно поступать.

К сумеркам две флотилии лодок, шведами не обнаруженные, достигли истоков реки Ерик. Преображенцы, семеновцы, здешние рыбаки, архангельские поморы - гребли бесшумно, весла не скрипели в уключинах, говорить было запрещено под страхом смерти.

Ночь была светлая, как всегда в этих местах в мае, по небу плыли легкие, пушистые облачка, но горизонт заволокло, и Петр с надеждою посматривал на мглу, повисшую над морем.

Половина лодок была оставлена у истоков Ерика. Другая половина с Петром и Меншиковым спустилась вниз к деревне Каллина. Здесь затаились, ожидая первой большой набежавшей тучи, для атаки на неприятельские суда. Было сыро, в тишине Рябов толкнул локтем Петра - показал, как лось пьет из реки воду. Кое-кто из солдат дремал, иные напряженно всматривались в серые сумерки...

Под утро низкая, серо-рыжая туча сразу надвинулась на обе флотилии, преображенец Завитухин крикнул дважды совой, гребцы подняли весла. От деревни Каллины флотилия Петра заходила со стороны взморья, вдоль низменного побережья Васильевского острова. Вторая группа лодок под командованием Иевлева шла встречным курсом. "Астрильд" и "Гедеан" начали было вздымать паруса, чтобы уйти под прикрытие мощных пушек своей эскадры, но шквалистый ветер, темнота, узкость реки, отсутствие лоцманов испугали командиров кораблей более, чем неизвестные лодки,появившиеся невдалеке. Паруса решили убирать, но в эти секунды Завитухин еще раз закричал совой, и преображенцы с семеновцами, искусные стрелки, начали бить по кораблям залпами. Шведы развернули свои пушки, над головами гребцов засвистела картечь.

- Навались! - крикнул Петр. - Живо! Разо-ом!

Лодки рывком подались вперед к кораблям. Рябов переложил руль, лодка Петра первой очутилась у кормы "Астрильда", Иван Савватеич схватился было рукою за шторм-трап, но Петр оттолкнул его и с гранатой в руке первым поднялся на борт судна. С другого борта уже поднимались преображенцы Иевлева, матросы мичмана Калмыкова бежали по шканцам, пушкари Чамберса с горящими фитилями в зубах, с высоко занесенными гранатами, с ножами и мушкетами, бились врукопашную, прикладами сбрасывали шведов в море, резали кинжалами. На несколько мгновений сделалась совершенная тишина - без единого выстрела,

слышна была только хриплая ругань да ровный глухой шелест дождя. Потом Рябов увидел, как Иевлев метнул гранату, как ее пламя положило на ют двух матросов. К Сильвестру Петровичу, рубясь короткой саблей, Меншиков гнал шведского офицера. Швед отбивался шпагой. Александр Данилыч ударил от плеча - швед с разрубленной головой рухнул под ноги Иевлеву. В это время из люка, спереди вырвалось пламя. Рябов кинул на люк кошму, опрокинул бочку с водой. Меншиков, сбрасывая с плеч кафтан, похвалил:

- Верно сделал, господин первый лоцман, корабль добрый, еще сгодится.

На "Гедеане" барабаны забили отбой.

Дождь прошел, тучи унесло. Петр, сидя на скамье под утренним легким ветром, допрашивал пленных: каковы прочие корабли эскадры, что за птица адмирал Нуммерс, за каким бесом лезут не в свои земли, какими ядрами палят, много ли имеют продовольствия. Шведы, не веря тому, что остались живы, не понимая толком, как все случилось, отвечали на все вопросы подробно...

По парадному трапу, возле которого уже стояли русские матросы, поднялся Борис Петрович Шереметев, посмеиваясь сказал Иевлеву:

- Ну, Сильвестр Петрович, с викторией вас, господа. Рассуждали мы с князем Репниным, как плыли сюда в лодке: как награждать вас, храбрецов. В разряде не сыскано, такого бывалого - не случалось, брать корабли на море эдаким манером. Надобно в сундуках искать, как делалось, ибо и не чаем, чем чествовать ероев...

Петр сказал Шереметеву в ответ:

- Медаль выбьем с надписом "Небываемое бывает". Так, Сильвестр?

Рябов, стоя поодаль, одолжившись у солдата преображенца пластырем, заклеивал себе ранку на шее.

- Выходит, оно и есть - Балтийское море? - спросил за его спиною Ванятка.

Иван Савватеевич обернулся, сказал всердцах:

- Вот я тебе ужо уши-то надеру!

Ванятка попятился, раскрыв от удивления рот.

- Родного отца не признал? - сказал кормщик. - Тебе кто велел на абордаж идти?

Ванятка подумал, потом ответил:

- Мне, тятя, никто не велел, да барабанщики как пошли в лодью - от гвардии, я и рассуди - от моряков-то ни единого нету барабанщика. Что станешь делать? Пошел...

- Пошел, - передразнил Иван Савватеевич. - Тожа барабанщик! Больно ты нужен здесь. Где барабан-то твой?

- В воду канул, как мы с кораблем сцепились! - сообщил Ванятка. - Вот, одни колотушки остались. И как я его не углядел. Ремень был прелый, что ли... А колотушки есть...

И показал отцу барабанные палочки.

- Теперь взыщут! - посулил Рябов.

Ванятка вздохнул:

- Пороть будут?

- И пора бы за все твои прегрешения...

- Не выпорют! - сказал Ванятка. - Я себе еще добуду.

Они стояли рядом у борта плененного корабля, смотрели вдаль, в тающий под лучами утреннего солнца туман, оглядывали бегучие воды залива.

- Море оно, Балтийское, тятя? - опять спросил Ванятка.

- Море подальше будет! - сказал Рябов. - А где мы с тобой нынче, лапушка, то - залив.

Ванятка огляделся по сторонам - не любил, чтоб люди слышали, как отец называет его лапушкой. Но поблизости никого не было.

- Залив-то морской?

- Морской.

- Выходит - дошли? Долго шли...

- А все ж пришли!

- Пришли, да солдаты говорят: еще баталии будут. Ждут - огрызаться станет швед; крепок, говорят, воевать, не научен сдаваться в плен.

- Жгуча крапива родится, да во щах уварится! - усмехнулся Рябов и

привлек к себе Ванятку.

Тот, оглянувшись, не видят ли люди, сам прижался к отцу. Так они стояли долго, молчали и смотрели вдаль - туда, где открывался простор Балтики.

Когда возвращались в лодке, Петр говорил:

- Нынче исправим, бог даст, штандарт наш. Имели мы Белое, Каспийское и Азовское, нынче дадим орлу исконное, наше - Балтийское. Встанем на четырех морях...

Ногтем он выскреб пепел из трубки, попросил табаку. Кнастера ни у кого не было. Рябов протянул царю свой кисет из рыбьего пузыря.

- Что за зелье? - спросил Петр.

- Корешок резаный, заправлен травою - донником...

Петр раскурил трубку, пустил ноздрями густые струи дыма, заговорил неторопливо, словно отдыхая после бранного труда:

- Так-то, господин первый лоцман! Потрудились на Двине, зачали ныне трудиться на Неве. Нелегок будет, чую, сей наш труд. К Архангельску ты и не думай возвращаться. Разведаешь мне здешние воды - фарватеры, глубины, мели, перекаты, залив толком распознаешь, с рыбаками невскими обо всем столкуешься. С тебя впоследствии спрошу строго. В недальние времена будет тут флот, пойдут к нему корабли со всего мира, начнем, с божьей помощью, торговать во благо...

И, повернувшись к Ванятке, спросил:

- Будет так, господин флоту корабельного барабанщик?

Ванятка, вспомнив про канувший в воду барабан, заробел. Рябов ответил за сына, задумчиво, не спеша:

- Коли море, государь, наше, то и флоту на нем быть нашему, российскому. А что нелегок будет сей труд - то оно верно. Вишь, не ушла шведская эскадра, стоит, ждет своего часа...

Петр взял трубу, всмотрелся: на заливе далеко-далеко виднелись мачты и реи неподвижно стоящих кораблей эскадры адмирала Нуммерса...

4. КРЕПОСТЬ НА ЗАЯЧЬЕМ ОСТРОВЕ

Весь этот день в русском лагере спали все - от обозных солдат до генералов и самого фельдмаршала Шереметева. Только караульщики похаживали над тихо плещущими водами Невы, позевывали да перекликались:

- Слу-ушай!

- Послу-ушивай!

Когда посвежело, собрался совет, на котором Петру и Меншикову присудили ордена святого Андрея Первозванного. Возлагать орденские знаки совет велел старейшему кавалеру сего ордена Алексею Федоровичу Головину. Царь перед мгновением церемонии замешкался с делами, первым подошел Меншиков в парчовом с жемчугами кафтане, в пышных кружевах, взял левой рукой ленту, правой - орден и драгоценные каменья; едва поклонившись, отвернулся от Головина. Тот поджал губы, покачал головой. В шатер плечом вперед, торопясь и стесняясь, вошел Петр, принял в большую руку и ленту и орден с каменьями, поклонился совету. Лицо у него в эти секунды было детски беспомощное, открытое, счастливое. Аникита Иванович Репнин, выйдя из шатра, махнул платком, тотчас же загремели все пушки - и русские и взятые у шведов...

Еще не отгремели орудийные залпы, когда из кузни города Ниена принесли первые медали, выбитые по приказу Петра. На медалях можно было прочитать: "Небываемое бывает". Солдаты и офицеры, участвовавшие в пленении "Астрильда" и "Гедеана", построились возле березовой рощицы - вдоль пологого, болотистого берега Невы. Петр, торопясь, кося глазами, как всегда во время торжеств и церемоний, прикладывал каждому к груди медаль; солдат, либо сержант, либо офицер прижимал награду ладонью, точно она могла прилепиться. Все делалось в тишине, в молчании, никто не знал, как должно производить такие церемонии. Рябов тоже получил медаль, посмотрел на нее, положил в глубокий карман...

Когда Петр вернулся в шатер, Меншиков, стоя возле высокой конторки, потея и сердясь, писал письмо на Москву, приставляя одну к другой

буквы:

"...господин же капитан соизволил ходить в море, и я при нем был, и возвратились не без счастья: два корабля неприятельские со знамены, и с пушки, и со всякими припасами взяли. И люди неприятельские многие побиты. Сего же дня дадеся мне честь - кавалер. За сим здравствуйте, мои любезнейшие. Писано в крепости Ниеншанц - ныне Шлотбург".

И подписался:

"Шлюссельбургский и Шлотбургский губернатор и кавалер Александр Меншиков".

Лицо у него было при этом злое.

Петр заглянул в письмо, спросил:

- А ну, с чего надулся, либер Сашка?

Меншиков ответил с хрипотцой в глотке:

- Пущай, мин гер, утрутся. Как знаки на меня возлагали - едва ихними буркалами сожран не был... Завистники, скареды, дьяволы! Ныне пущай припомнят: пирогами-де с зайчатиной торговал... Отныне и до веку - забыто!

- Забыто, покуда я не напомню! - жестко сказал Петр. - А коли напомню, Александр Данилыч, тогда так станется, что и пирогами торговать за счастье почтешь. Люб ты мне, дорог, орел-мужик, а в некоторые поры...

Он махнул рукой, не договорил. Горькое выражение мелькнуло вдруг в его глазах, он еще вгляделся в Меншикова и с тихой тоской спросил:

- Что ты думаешь? А? Что своей башкой проклятой думаешь, будь ты неладен?

- Я? Да господи, да заступники! - крикнул, бледнея, Меншиков. - Да нет у тебя...

Петр вдруг усмехнулся одним ртом и отошел.

Здесь же государственный консилиум в спорах и ругани определил место, на котором быть крепости. Ниеншанц стоял слишком далеко от моря. Новую цитадель надлежало возводить на Заячьем острове, который с трех сторон окружен обильными водами, а с четвертой протоком. Мимо Заячьего в Неву не могла вне выстрелов пройти ни одна шлюпка, не то

что корабль. Все это было хорошо, худо же было то, что Заячий остров весь состоял из болота; говорили, что есть там даже трясины и что тропочки сухой на сем гиблом месте не сыскать. Говорили также, что в частые здесь наводнения весь остров уходит под воду.

Петр слушал молча, поколачивая трубкой по столу, думал.

- Быть крепости на Заячьем! - наконец сказал он. - И быть здесь городу. За сие доброе начинание подадут нам нынче старого венгерского вина...

Под гром пушек пили за кавалеров ордена Андрея Первозванного, за всех тех, кто пожалован медалью "Небываемое бывает", за государственный консилиум, за губернатора и кавалера Меншикова, за Петра Алексеевича и особо - за новую русскую крепость в устье русской реки Невы...

Этой же ночью в низком своем балагане Сильвестр Петрович писал письмо Марье Никитишне в Архангельск. Неподалеку, сладко причмокивая, спал Ванятка, возле него посасывал трубку Рябов.

"Сей город - покуда что именуемый Петрополь, - писал Иевлев, - есть лишь топкие берега да редкие деревеньки, и житье нам будет не иначе, как в земляной пещере, али в доме, сложенном наподобие шалаша. Но коли хочешь - милости прошу, ибо назначен я к служению здешнему Балтийскому флоту. С поездом своим непременно надлежит тебе взять..."

Он подумал, посмотрел на Рябова, окликнул:

- Иван Савватеевич!

Лоцман покосился на Иевлева, вынул трубку изо рта...

- В Архангельск пишу, к Марье Никитишне, - сказал Сильвестр Петрович, - в рассуждении ее приезда сюда. Не отправиться ли им вместе - с Таисьей Антиповной да с бабинькой Евдохой. Все легче, чем поодиночке, а со временем к сему городу и твоей супруге быть. Так говорю?

- Да уж город! - неопределенно молвил лоцман. - Верно, что город.

- Так как? Писать?

- Пожалуй что и пиши! - словно бы светлея лицом и блестя глазами, сказал Рябов. - Помаленьку обживемся, срубим избу. Что ж так-то? Иван Иванович без материнского обиходу...

Он опять пососал потухшую трубку и добавил решительно:

- Ехать ей! Избу продаст, корову тож, тут не пропадем. Пиши, Сильвестр Петрович, что-де Иван Савватеевич наказал супруге своей настрого без всякой проволочки времени его волю верно исполнить...

- Настрого? - с улыбкой спросил Иевлев. - Так и писать?

- Пиши: велел настрого, - не отвечая на улыбку Сильвестра Петровича, повторил Рябов. - А то гордая она у меня... Поехать-то поедет, да только одна, а как ей - незнатной, да со старухой бабинькой? Многотрудно будет...

Сильвестр Петрович взял ножик чинить перо; не глядя на лоцмана, попросил:

- Ты об этом давешнем, Иван Савватеевич, не думай более. Мало ли... Были они добрыми подружками, такими и до веку доживут...

Рябов усмехнулся, вздохнул, ничего не ответил.

Белой ночью, восьмого июня, Сильвестр Петрович с Рябовым в верейке подплыли к пологому болотистому берегу Заячьего острова. Здесь на сваях уже была выстроена пристань, у которой лепились барки, груженные землею, привезенной издалека водным путем. От пристани тянулись дощатые дорожки, по ним чередою работный народ толкал скрипучие тачки.

Зудело окаянное комарье.

Носаки с зелеными от болезней, недоедания, сырости лицами таскали песок, грунт, битый камень - в рогожах, в заплечных рогатых ящиках, в мешках, в подолах замшелых рубах. Костистые мужики, те, что здесь почитались здоровяками, взобравшись на помост, вручную били сваи. Тысячи народу заваливали проклятое болото битым камнем, хворостом, сыпали песок, катали бревна. С жадным чавканьем трясина поглощала все, что доставляли барки, тачки, люди...

Однообразно, ровно жужжали пилы. Дружно, вперебор били кузнечные молоты. То и дело слышалась ругань артельщиков, смотрителей, надзирателей, грубые окрики солдат-караульщиков.

К Сильвестру Петровичу подошел Егор Резен, весь изжаленный

комарьем, пожаловался, что больно тяжело трудиться.

- Видать, нелегко! - согласился Иевлев.

- Помирают многие. Пища плохая, очень болеют животами. Тут один лекарь, собачий сын, продает целебное вино, настоенное на хвое, да дорого, не подступиться: четыре рубля ведро. Цынга людей бьет...

- Да, бьет! - согласился Иевлев. - Здесь цынга, в море Нуммерс. Не уходит, встал на якоря и стоит. Пушек немало у него. Не хочет, чтобы мы вышли в море. Языка взяли, спросили, язык-швед передал слова господина вице-адмирала Нуммерса. Господин фон Нуммерс объявил своим матросам, что русским никогда в море не бывать. "Пусть подыхают в своих степях!" - так он выразился, шведский вице-адмирал... Ну, а нам без моря не жить, вот как, Егорушка!

И Сильвестр Петрович ласково положил руку на плечо Резену. Тот согласился:

- Не жить!

И спросил:

- Генерал Кронгиорт с реки Сестры не ушел?

- И генерал Кронгиорт не ушел, - ответил Сильвестр Петрович. - Не уйдут они сами, Егор. Их еще гнать надобно. Вот дело доброе господин фельдмаршал Шереметев сделал: прогнал воров из Яма и Копорья, - славная победа оружия нашего. А Кронгиорт держится. Да еще прозевали тут - дурачье! - налетел конными рейтарами на нашу заставу в Лахте, порубил всех смертно...

Покуда беседовали, небо совсем заалело. Багряное огромное круглое солнце показалось над красавицей Невой, свободно и вольно катящей свои воды меж пустынных, болотистых берегов, на которых редко-редко виднелся дымок от человеческого жилья. Барабаны ударили смену, люди пошли по шалашам - будить спящих, ложиться на еще теплую, гнилую, сырую солому.

Когда садились в верейку, Рябов спросил:

- Имя как будет сей крепости, Сильвестр Петрович?

- Будто бы во имя Петра и Павла, - ответил Иевлев. - Петропавловская,

будто, крепость. Слышал, что так. Поживем - увидим...

Рябов сильно навалился на весла, верейка ходко скользнула по спокойной реке, кормщик спросил:

- А что, Сильвестр Петрович, ежели нам сейчас поглядеть себе место - строиться. Вот - на Васильевском острову. И лес есть, и зверя в лесу не считано, и вроде посуше можно чего отыскать...

Разбудил Ванятку, кинули в верейку топор, лопату, нож от зверя и поплыли к Васильевскому. Солнце стояло уже высоко, остров был тих, только птицы перекликались в молодой березовой листве.

Долго искали место посуше, чтобы выйти на берег, нашли; проголодавшись, поели сухарика, запили невской вкусной водой.

- Чего мы сюда заехали-то, тять? - спросил Ванятка.

- Избу строить надобно! - ответил Рябов. - Жить здесь станем. А поблизости Сильвестр Петровича хоромы возведутся с прошествием времени.

- Избу! Тоже! - разочарованно произнес Ванятка. - Кто же в лесу-то строится? Возвернулись бы, тять, в Архангельск, городище, и-и! И Гостиный двор, и пристани, и другой двор, а тут чего?

Рябов усмехнулся, сказал коротко:

- Не моя, брат, воля!

И поставил топором зарубку на старой сосне. Сильвестр Петрович отошел шагов на полсотню и тоже ударил топором - раз и другой...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Между болот, валов и страшных всех врагов
Торги, суды, полки и флот - и град готов.
Ломоносов

1. ФЛОТА ГАРДЕМАРИН

Еще с вечера Таисья взбодрила сдобное тесто для пирогов, а задолго до рассвета затопила печь и разбудила лоцмана, только ночью вернувшегося из Кронштлота.

Иван Савватеевич, виновато и в то же время строго покашливая, потянулся было за старыми, привычно разношенными рыбацкими бахилами, но Таисья велела нынче одеться во все самое наилучшее, и Рябову пришлось вынуть из сундука туфли с пряжками, камзол с двадцатью четырьмя серебряными пуговками и кафтан с вышитым на рукаве штурвалом и компасом - особый знак, который положено было носить первому лоцману Российского корабельного и морского флоту.

- Может, попозже ризы на себя вздевать? - спросил Рябов. - Обедня, я чай, не враз зачнется?

- При нем станешь одеваться? - спросила в ответ Таисья. - Некоторые гардемарины еще вчера поутру приехали...

Помолчала и вздохнула:

- Лед как бы не тронулся. Я выходила - глядела: взбухла река, вспучилась... Как тогда будем?

- Два года ждали, еще две недели подождем! - молвил лоцман. - Не пропадет парень. На Адмиралтейской стороне дружки у него, и в Литейной. Прокормится...

Он еще раз строго покашлял и стал вколачивать ноги в туфли. От новой обуви у него всегда портилось самочувствие, особенно же не любил он эти плоские, скрипучие и жесткие туфли, которые должен был носить при всяких церемониях. И с чулками он изрядно мучился, они вечно съезжали с ног, их надо было подтягивать и особыми застежками прицеплять к подвязкам.

- Ишь ты, чертова обедня! - ворчал он, прохаживаясь по спаленке, стены которой были вплотную увешаны пучками сухих трав: Таисья унаследовала от покойной бабиньки Евдохи ее умение лечить травами и мазями и не без успеха пользовала болящих моряков на берегу Невы теми же средствами, которыми лечила бабинька Евдоха на далекой Двине. - Ишь ты, с этими туфлями, да пряжками, да чулками! - ворчал кормщик, удерживая себя от более крепких слов. - Вон теперь и ходи цельный день заморской чучелой...

Не надевая камзола и кафтана, он побрился перед маленьким стальным

зеркальцем, умылся и стал столбом в дверях, ожидая завтрака. Но завтрака никакого не было, и Таисья словно бы совсем не замечала мужа: высоко подоткнув подол и показывая свои красивые, смуглые и легкие ноги, она березовым веником, по двинскому обычаю, шаркала некрашеные полы, оттирала их песком и шпарила кипятком из чугуна. Все здесь в кухне было перевернуто вверх дном, и Ивану Савватеевичу ничего не оставалось иного, как еще раз вопросительно покашлять и выйти на улицу, на лавочку для препровождения времени.

- Водицы-то принести? - спросил он, накидывая полушубок.

- Наносила уже! - ответила Таисья тем голосом, которым отвечают все жены в случаях таких домашних авралов. - Еще бы завтра вспомнил про водицу-то! Да оденься потеплее, Савватеич, не лето еще!

Савватеичем она стала называть его недавно, и это немного огорчало Рябова.

- Савватеич! - сказал он из сеней. - Выдумала! Стар я, что ли?

Она обернулась, взглянула на него своими всегда горячими глазами и с той улыбкой, от которой у него до сих пор падало сердце, сказала:

- А и не молодешенек, Ванечка, не тот уже, что меня увозом венчаться увозил. Да и как я тебя, такого сокола, позументами обшитого, Ванькой звать буду? Прогонишь меня из избы - куда денусь... Покажись-ка на свет!

Он шагнул вперед с полушубком на одном плече и, предчувствуя подвох, смущенно и просительно посмотрел на Таисью. Она долго в него вглядывалась, держа в руке веник, тяжело дыша от работы, глаза ее щурились, и было видно, что она едва сдерживается, чтобы не захохотать.

- Ну чего? - почти обиженно спросил он. - Чего разбирает?

- Вот перекрещусь! Вот, ей-ей, - торопливо, чтобы договорить не засмеявшись, и все же смеясь, говорила она. - Давеча генерала хоронили, из католиков, что ли... Ну, гроб у него... Ей-ей, Ванечка, ну что вот твой мундир! И позумент пущен! И серебро на нем...

Он, глядя на Таисью, тоже начал посмеиваться, в то же время сердясь. А

у нее от смеха проступили на глазах слезы, она махала веником и говорила:

- Ох, Савватеич! Ну кто его тебе выдумал, мундир сей. Лапонька ты моя, для чего оно тебе...

- Вот как отвожу тебя веником! - сказал он, сдерживаясь, чтобы не смеяться. - Нашла хаханьки! Сама говорит: одевай, а сама - смехи!

И хмурясь и улыбаясь в одно и то же время, он вышел из сеней, благодарно и счастливо думая о Таисье, с которой вместе ждать им теперь и старости...

На лавочке возле лоцманского дома сидел совсем хилый, беззубый, белый как лунь финн-рыбак, тот самый рыбацкий староста, который много лет тому назад сказал Петру, что у него, у русского царя, даже по сравнению со старостой рыбаков, - тоже должность немалая.

- Здорово, дединька Эйно! - сказал Рябов. - Чего в избу не идешь?

- Оттыхаю! - сказал старик. - Уморился.

И, поморгав веками без ресниц, со значением произнес:

- Зторово на все четыре ветра!

- Ишь, выучил! - сказал Рябов. - Сколько учил?

Финн подумал, стал загибать пальцы, произнес строго:

- Семь лет.

И положил в рот кусочек жевательного табаку. Рябов закурил трубку, и оба стали смотреть на вздувшуюся, в синих подтеках, в пятнах грязного, талого снега - Неву.

- Скоро тронется? - спросил лоцман.

- Скоро.

- Когда?

- Секотня. Или завтра. Совсем скоро.

- Вишь, чертов парень! - всердцах сказал Рябов. - Будет на том берегу куковать...

- Не приехал сын?

- То-то и оно, брат, что не приехал.

- Не приехал. А я рипу принес. Папа твой велел...

- Таисья-то Антиповна?

- Велел принести хорошей рипы. Я принес...

Опять помолчали. Рябов глядел на здания Адмиралтейства, возле которых на стапелях стояло новое судно.

- "Латока"! - произнес погодя дед Эйно.

- Нет, брат, не "Ладога"!

- "Латока"! - упрямо повторил старик.

- "Ладогу" еще конопатят! - молвил лоцман. - Я завчерашнего дня там был. А сия шнява именуется вовсе "Нотебург".

Финн надолго задумался. Оба молча глядели на Неву, с которой, как казалось Рябову, доносился шорох и треск. Но это только казалось - лед еще держался. Даже пешеходы с опаскою, а брели черными мухами от Адмиралтейской части к Петропавловской крепости, возле которой был расположен рынок, от Васильевского к Новой Голландии, где жили корабельные мастера-иноземцы. Но саней на льду Невы уже не было видно и скот больше не гнали на Морской рынок, что был против крепости с другой стороны Невы.

- Сильно пойтет! - сказал дед Эйно. - Польшой путет летокот...

Рябов не ответил, щурясь смотрел на строящийся дворец генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина, на шпиль Адмиралтейства, возле которого в линеечку вытянулись трех- и шестиоконные домишки под черепичными, гонтовыми и соломенными крышами. Там, в этих домах, было отведено жительство и министрам, и офицерам, и посланникам, и генералам; там, в одном из этих домов, в случае ледохода мог остаться флота гардемарин Иван Иванович Рябов...

- Ну не чертов ли парень! - наконец сказал лоцман. - Другие еще когда из Москвы приехали, а ему там карты меркаторские занадобились. Так, вишь, ждет, сатана, сии карты...

- Такой, значит, служпа! - произнес дед Эйно. - Морской служпа.

Рябов не ответил; смотрел туда же, куда смотрел старик, - на морской штандарт, поднятый на государевом бастионе Петропавловской крепости ради воскресного дня. Желтое полотнище развевалось на холодном

весеннем ветру и показывало двуглавого орла, который держит в лапах и клювах карты четырех морей: Балтийского, Белого, Каспийского и Азовского...

- Чертов парень, чертов парень, - неторопливо повторил дед Эйно. - Русский парень - такой парень. В нашей теревне там на взморье отин коворил сказку: жили мы тут жили, поживали мы тут поживали - плоко поживали. Изпу построим - она в полото укотит. Проваливается в полото. Еще трукую изпу построим - тоже в полото укотит. Вот пришел русский парень. Польшой парень, то самого непа - вот какой парень. Взял свою руку...

Эйно своими корявыми пальцами разогнул кулак Рябова - показал, как русский парень держит ладонь.

- Вот так. А на руке корот построил. Весь корот: тома, атмиралтейство, австерий, почт-тамт, пороховой твор, крепость, Невский першпектив. А кокта построил - поставил весь тот корот сразу на полото, польшой корот полото не мог сожрать. Не ушел корот в полото. Остался. Корот держится, отна изпа не тержится. Ты миешься?

- Я не смеюсь! - ответил Рябов. - С чего тут смеяться. Добрая сказка.

- Мияться не нато, - молвил Эйно. - Умная сказка.

- Ну, пойдем, дединька, - предложил лоцман, - заколеем тут на холоду сидеть. Может, моя хозяйка и прибралась в избе.

Эйно взял свою корзину с рыбой, Рябов широко распахнул перед ним калитку. В доме славно пахло лечебными травами, свежевымытыми полами, теплыми пирогами. Таисья приоделась, только волосы не прибрала - тугая, длинная коса ровно лежала вдоль спины и делала ее похожей на девушку, словно вернулись те давние времена на Мхах...

- Секотня приетет твой парень! - сказал ей дед Эйно.

- Да уж вовсе заждалась, дединька! - как-то громче обычного, с тоской в голосе сказала Таисья. - Два года не видела! Гардемарин уже; люди сказывают: малый с толком; худого про него не слышно, да только стосковалась вся...

И поставила на стол завтрак: миску каши, хлеб, кринку молока, а сама

стала разбирать рыбу.

- Ты-то что ж не садишься? - спросил лоцман.

Она вздохнула, не ответила.

- Мост бы поставить через Неву, - погодя сказал Рябов. - Вот дело бы было. А то как ледоход, либо ледостав - носа с острова не высунуть.

- Мост? - спросил дед Эйно.

- Мост.

- Нельзя мост! - молвил финн. - Такой мост не пывает.

Он доел кашу, похлебал молочка и, поклонившись хозяйке, пошел к двери. Таисья его окликнула, попросила не побрезговать хлебом-солью, как сын приедет. Дед Эйно поблагодарил, лоцман проводил его до калитки и опять постоял, глядя на Неву и томясь ожиданием. Потом прошелся вдоль пологого берега, покрытого ноздреватым снегом, из-под которого уже кое-где пробивалась жухлая прошлогодняя трава, - к усадьбе шаутбенахта Иевлева. Здесь были раскрыты ворота и во дворе возился с легкими санками Иевлева кучер - хитрый мужчина Елизар.

- Поджидаешь? - спросил он, заметив Рябова.

- Да вот... похаживаю. Что с санками делаешь?

- А надобно их в каретник поставить. Кончилось санное время...

Елизар подошел поближе к воротам и, сделав таинственную мину, негромко заговорил:

- Ты, Иван Савватеевич, поджидаешь, и у нас ныне некоторые на усадьбе вовсе очей не смыкали...

Лоцман пожал плечами, как бы говоря, что его это обстоятельство совершенно не занимает.

- Всю ноченьку, поверишь ли, всю так на окошке и просидела Арина наша Сильвестровна. В полушубок отцовский завернулась, платком замоталась и на лед глядит. Добро еще, адмиральша не проведала...

- А и болтун ты, Елизар! - с сердцем сказал Рябов. - Словно баба старая. Сразу видать, что солдатом не служил, таракан запечный...

Елизар не обиделся, а засмеялся:

- Я-то таракан, а тебе лестно! Мужицкого роду, да на адмиральской

дочери женить. Как бы только благословила Марья Никитишна, да, вишь, сумнительно...

Рябов плюнул и зашагал прочь, обратно к своей избе. Тут он постоял немного, чтобы остынуть от злости, вошел в кухню и присел на лавке, возле Таисьи, которая, сложив руки на груди, смотрела прямо перед собою и о чем-то думала.

- Небось, нынче-то к вечеру непременно ему быть! - молвил лоцман.

Она не ответила. Он положил свою большую, просмоленную, натруженную ладонь на ее тонкое запястье, а другой рукой обнял ее за плечо. Она безмолвно и благодарно приникла к нему, а он, усмехнувшись, тихо заговорил:

- Теперь что, Таюшка! Теперь еще не на печи дединька с бабинькой, еще сами в море хаживаем, а вот по прошествии времени, когда едино дело останется нам с тобою - дожидаться, тогда истинно невесело будет...

Таисья чуть отстранилась от него, взглянула словно бы с удивлением, покачала головою:

- Дединька да бабинька? Ох, Иван Савватеевич, и когда ты у меня поумнеешь? Кажись, немолод мужик, кажись, всего навидался, другому бы на три жизни хватило, а умом - все словно дитя. Дединька да бабинька! Ты припомни, разве не всю мою жизнь прождала я тебя? Разве выдался на нашу долю хоть годочек спокойный? А едва Ванятка на резвы ноженьки толком встал - тоже убег с тобой в барабанщики, и его ждала. Нынче же ты в море, он в навигацком, быть и ему моряком. Близок тот час, что оба вы от меня уйдете и вновь мне на берегу ждать...

Он думал, что она заплачет, но глаза ее были сухи и только запястье дрожало в его руке.

- Я разве нынче далеко бываю? - спросил он, утешая Таисью. - Я нынче и не моряк вовсе, Таюшка. Так, баловство одно...

- Баловство? - спросила она. - Хорошо баловство! Как мы с бабинькой Евдохой сюда в сей твой град Питербурх приехали - так и пошло. Я-то помню, коли ты забыл, все помню - и как вы под Выборгом во льдах застряли, и как понесло галеры ваши обратно в море. Ты смолчал, другие

рассказали. Да и сама об море наслышана, не за печкой от моря пряталась, и тятя кормщиком хаживал, и ты, сударь-сударик, не пешего строю солдат. Да хоть и малость, а суда некоторые важивала... Баловство!

Она крепко прижалась к его плечу, как бы устав и прося, чтобы не болтал он более вздору. Так друг возле друга, думая свои думы, сидели они долго. Таисья, может, не обратила внимания, а может быть, и не расслышала, как трижды, через разные промежутки времени, ударила с верков Петропавловской крепости пушка, предупреждая о том, что Нева вот-вот тронется и по льду под страхом наказания плетьми ходить больше нельзя. "Не дождались! - с тоской подумал лоцман. - Теперь нескоро!" Он осторожно снял тесные туфли, поднялся, стащил форменный парадный кафтан, натянул фуфайку, старые размятые сапоги. Ему очень хотелось рассказать Таисье то, что слышал он давеча от Елизара - иевлевского кучера. Это, наверное, порадовало бы ее, но не гоже было мужику путаться в такие дела, и он все только строго покашливал да раскуривал свою трубочку.

В томлении, в ожидании, непонятном тем, кто никогда не ждал взрослых своих детей, миновал полдень, стало смеркаться. Рябов, не выдержав тишины и прислушивающегося взгляда Таисьи, снял с полки пузатый, даренный Сильвестром Петровичем графинчик; налил себе травничку, закусил дымом; налил еще; потом, обидевшись за жену, сказал:

- Пороть бы тебя, гардемарин, да некому.

- За что ж его пороть?

- А за то!

Попозже, шурша шубкой, крытой шелком, пришла Марья Никитишна Иевлева, удивилась:

- Так и не обедали? А уже и пушка ударила - не ходить более по льду. Счастье, что Сильвестр Петрович загодя из адмиралтейц-коллегии вернулся...

- Слышала я пушку! - тихо ответила Таисья.

Рябов быстро взглянул на жену: слышала - и хоть бы вид подала. А

Марья Никитишна между тем рассказывала, что обе дочки ее ждут Ивана Ивановича с радостью, не видели столь много времени, а детство, оно долго помнится...

"Как же, детство!" - с усмешкою подумал лоцман, опять накинул полушубок и вышел к берегу - смотреть, как тронулась Нева. Большая белая луна висела над Петербургом, и в ее мутном свете было видно медленное и трудное движение льдин на широкой реке. За нынешний день уже образовались полыньи, черная вода во многих местах выбросилась наверх, на лед, река шуршала, шипела, льдины терлись друг о друга, то опрокидываясь, то вставая торчком, то обрушиваясь в водяные протоки. А на той стороне были видны конные стражи, разъезжавшие вдоль берега, и иногда вдруг слышался громкий рев рога - это караульщики извещали запоздавших прохожих о том, что им надобно теперь ночевать не дома, а на той стороне Невы, где застал ледоход.

Так Рябов постоял час: было слышно, как на деревянной колокольне Исаакиевской церкви ночной сторож пробил девять. И вместе с боем часов лоцман увидел, как маленькая, далекая, едва различимая человеческая фигурка быстро сбежала с отлогого берега неподалеку от Адмиралтейства, перемахнула через проток и ловко побежала по колеблющимся и движущимся льдинам.

Сердце Рябова замерло, но он глотнул холодного, ночною воздуха и, сощурив свои дальнозоркие, жесткие глаза, впился в человека, который легко, с длинным шестом в руке, бежал через Неву к Васильевскому острову. Чем больше проходило времени, тем яснее было видно, как отчаянный этот человек вдруг начинает метаться на краю полыньи, соображая, как ему ловчее прыгнуть, как прыгает, упершись шестом, и как опять бежит. И, забыв об ужасе, который поразил его вначале, лоцман теперь, хоть и с бьющимся сердцем, но уже только любовался на этого отчаянного мужика, только радостно дивился его умению, сноровке, быстроте и решимости. "Нет, такой не потонет, - думал он, - такому сам черт не брат! В чем это он одет? Не в треуголке ли? Кажись, и правда, в треуголке, да еще и с плюмажем?"

Внезапно перестав соображать, он сделал шаг ко льду, увидел перед собою широкую полосу воды, прыгнул... Лед здесь у берега был еще крепок и плотен, но чуть дальше обрывался сплошной и бурной протокой. А человек в треуголке с шестом в руке все бежал и бежал, и теперь Рябов ясно видел, что человек этот - моряк и его сын Ванятка, гардемарин. Он что-то крикнул, но Ванятка ничего не услышал за шумом трущихся льдин и не мог услышать, потому что все кругом двигалось, бурлило и трещало. Теперь гардемарин был совсем у берега. Лоцман видел, как в последний раз, упершись шестом, он прыгнул, как в лунном свете заблистали водяные брызги и как он оказался на берегу.

- Ванька-а! Черт! - еще раз крикнул лоцман и сам пошел к берегу, дивясь, что гардемарин резко свернул в противоположную от родного дома сторону. - Ванька-а!

Но тот опять ничего не услышал, и Рябов только увидел его, когда сам, выбравшись на твердую землю, посмотрел в сторону иевлевской усадьбы. Там, из ворот, вся освещенная ровным лунным светом, не бежала, а словно бы летела с протянутыми вперед руками тоненькая, высокая, с запрокинутой назад головою иевлевская Иринка, Ирина Сильвестровна, адмиральская дочка. И неподвижный, точно влитый стоял на щедром лунном свету гардемарин Рябов Иван сын Иванович...

Лоцман утер пот, вздохнул, отворотился, насупился. Горько ему стало на мгновение, но тут же вдруг словно молния озарила давний-давний сырой и дождливый вечер, когда бежал он по Архангельску на Мхи с настырно кричащей птицей в руках, с подлой тварью, полученной на иноземном корабле, с дрянной и злой чертовкой, которая в кровь изодрала ему руки, - и горечь прошла. И другое припомнилось ему, такое, от чего он только повел плечами, вздохнул и пошел к своей избе, стараясь не оглядываться на иевлевские ворота...

Открыв дверь, он поглядел на Марью Никитишну, на Таисью, помолчал, потом произнес громко, полным голосом:

- Что ж бедно живете? Одна свеча, и та догорает. А я так думаю, что вскорости ждать нам дорогого гостя. Накрывай, накрывай, Антиповна,

скатерть-самобранку, не то припоздаешь сына по-доброму встретить...

Он выбил огонь, зажег все свечи в медном шандале, поверх фуфайки натянул кафтан и сказал с живой и лукавой усмешкой:

- Хушь и на гроб сей кафтан похож, а такого ни у одного генерала нету. Первый-то лоцман я один, верно, Марья Никитишна?

- Верно, Иван Савватеевич, верно! - с тайным беспокойством сказала Марья Никитишна. - Но только никак мне в толк не взять...

- А чего тут брать! - все с тем же подмывающим лукавством произнес Рябов. - Тут и брать нечего. Вон он шагает - гардемарин некоторый, Иван Иванович...

Дверь распахнулась, Таисья шагнула вперед, всплеснула руками, с быстро побледневшим лицом припала к сыну. Он обнял ее, дрогнувшим ртом произнес странные слова:

- Прости, матушка... я...

И не договорил, увидев Марью Никитишну. Ей он поклонился, но не слишком низко, с отцом трижды поцеловался. Зеленые его глаза смотрели на всех со странным и тревожным выражением счастливого упрямства, и долгое время всем казалось, что он ничего толком не видит и словно бы не понимает, что вернулся домой. Один только лоцман догадывался, что происходит в душе сына: он знал это чувство легкости и веры в себя, в свои силы, которое наступает после передряг, подобных той, в которой только что был Иван Иванович...

- Да как же ты... лед-то тронулся? - спросила вдруг Таисья.

- Лед еще крепок, матушка! - ответил Ванятка и протянул руку к пирогу.

Он был голоден и ел все, что ему подвигали, выпил травничку, перцовой водки, бражки, еще настоечки. Иногда он вдруг начинал говорить что-то подробно, потом словно бы задумывался, взор его вдруг делался рассеянным, потом вновь упрямым...

- Да ты не захворал ли, Ванятка? - спросила Таисья.

- Нет, матушка, что ты! - ответил он, счастливо и бессмысленно на нее глядя. - Что ты, матушка, какая же хворь... Ехали вот... и приехали... Вишь - дома.

Чуть позже пришли Сильвестр Петрович с полковником инженером Резеном. Иевлев с порога спросил:

- А ну, господин гардемарин Рябов, где ты есть?

Иван Иванович встал, слегка покраснел, вытянулся перед адмиралом. Иевлев в него внимательно вгляделся своими яркосиними, всегда строгими глазами, спросил с обычной своей резкостью:

- Когда в море?

- Как назначат, господин шаутбенахт.

- Куда хочешь? На галерный али на корабельный?

- На корабельный, господин шаутбенахт.

- Значит, к Апраксину, к генерал-адмиралу. Он тебя, небось, помнит, как ты Петру Алексеевичу сказку сказывал: "и поцелует меня в уста сахарные..." Ну, садись, гардемарин...

Рябов налил Иевлеву травничка, он выпил не торопясь, поглядывая то на лоцмана, то на гардемарина, словно ища в них нечто такое, что было ведомо ему одному; потом вдруг сразу нашел в обоих это особое, рябовское выражение насмешливого упорства и гордости и, сразу успокоившись, принялся за еду. А съев кусок рыбы, спросил у Марьи Никитишны:

- Девы-то где, матушка? Я чай, и им не грех сего гардемарина, доброго их детского друга, нынче же увидеть...

Марья Никитишна чуть всполошилась: гоже ли в сей неранний час, хорошо ли то будет, угодно ли самим хозяевам. Иевлев властно перебил:

- Гоже, час не поздний, хозяевам угодно...

Девы пришли обе тотчас же, одна в зеленом тафтяном платье с робронами, другая в розовом. Лоцман, не отрывая взгляда, смотрел на свою любимицу, на младшую - Иринку. Ванятка поклонился низко Веруньке, так же низко Ирине и, встретясь с нею глазами, опустил ресницы, словно не мог на нее глядеть. Ирина, приседая по новоманерному обычаю, сделалась бледна, но справившись с собою, подняла голову и гордо всех оглядела. В это мгновение Сильвестр Петрович оказался с нею рядом. Обняв ее за плечи, он сказал

гардемарину:

- Прошу любить и жаловать, Иван Иванович, младшая моя, Ирина Сильвестровна, а сия старшенькая - Вера Сильвестровна. Я к тому, господин гардемарин, дабы напомнить, небось за давностью времени и не отличишь нынче былых своих подруг...

- Отличу, господин шаутбенахт! - твердо и спокойно ответил Иван Иванович.

2. НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Едва рассвело, Иевлев прислал за гардемарином денщика. Нева за эти дни почти совсем очистилась, только редкие темные льдины медленно плыли к устью. День был хмурый, серый, сырой. Сильвестр Петрович тоже хмурился, сидя на руле шлюпки. Возле входа в адмиралтейц-коллегию Иевлев сказал:

- Иди прямо к генерал-адмиралу. Он тебя помнит и примет. Если спросит, какое имеешь желание, говори не таясь: имею-де желание служить под командованием господина капитан-командора Луки Александровича Калмыкова. Сей офицер умен, образован, отменно храбр, у него станешь дельным офицером. Запомнил?

- Запомнил! - ответил гардемарин.

- Ну, ступай с богом!

Они расстались в сенях коллегии.

Генерал-адмирал Российского корабельного флота Федор Матвеевич Апраксин действительно принял гардемарина тотчас же. Он сидел один в низкой, небольшой комнате, увешанной морскими картами, кочергой разбивал головни в камине. На низком столике возле кресла дымилась большая каменная чашка с кофеем. Рядом лежала трубка, кисет с табаком.

- Так, так! - молвил генерал-адмирал, выслушав Ивана Ивановича. - Так...

И, плотнее запахнув на груди старенькую заячью шубку, отпил кофею из чашки.

Гардемарин молчал. Было слышно, как за стеною кто-то круто ругается солеными словами.

- А к нему не хочешь? - спросил Федор Матвеевич, кивнув на стенку. - Добрый моряк. Шаутбенахт Боцис, галерным флотом командует. Лучшего учителя не отыскать...

Иван Иванович не ответил, хоть о Боцисе и слышал много хорошего. Хотелось все-таки на корабль, а не на галеру.

- Что молчишь? - спросил Апраксин.

Гардемарин кашлянул и сказал, прямо и бесстрашно глядя в глаза Апраксину, что пусть простит его генерал-адмирал, но в навигацком училище навидался он такого лиха от учителей-иноземцев, что служить бы хотел под начальством русского офицера.

- Так, так! - опять произнес Апраксин. - Так.

И начал долго, с интересом рассматривать гардемарина. Потом велел:

- Сядь поближе.

Подумал и заговорил:

- Иноземец иноземцу рознь. Сей шаутбенахт Боцис единственный из иноземцев, который, нанимаясь на русскую службу, не спросил, какое ему пойдет жалованье. И не токмо сразу не спросил, но впоследствии долго о деньгах не спрашивал, пока вовсе не прожился, что и на хлеб не стало. Тогда и вспомнил, и, государево жалованье получив, не посчитал его, а высыпал в шкатулку, и не вспоминал более, пока вновь не прожился. Недосуг ему деньги считать, не то что иным некоторым прочим...

Лицо Апраксина смягчилось, он длинно вздохнул, помотал головою, сказал с грустью:

- Еще был такой - Гордон. И еще немногие... А сей - на него положусь, как на Сильвестра Петровича Иевлева, как на самого себя. Храбр, прямодушен, в исполнении долга своего воинского через самую смерть переступит, а сделает по-доброму. И моряк искуснейший. Галерный флот - дело трудное, он же, с помощью божьей, справляется. Он тебя возьмет, даст тебе галеру под командование. Слушай меня, я дело советую.

Молчишь?

Иван Иванович опустил голову.

- В отца - упрям! - спокойно сказал Апраксин. - Как знаешь. Будет баталия - позавидуешь галерному флоту, он у нас нынче большие дела делает. Значит, к Калмыкову?

- К нему, господин генерал-адмирал.

- Ну иди! Вели моим именем писцу приказ написать.

Рябов встал, поклонился.

- Все ж к шаутбенахту зайдем! - сказал Апраксин. - Пусть на тебя поглядит. Он с твоим батюшкой вместе меня под Выборгом выручал, отца знает, надобно ему и на сына взглянуть. Да и схож ты с батюшкой...

Вдвоем они миновали сени, вошли в комнату, поменьше, чем та, где сидел Федор Матвеевич. У маленького окна тяжело склонился над картами адмирал Боцис. Воротник мундира туго подпирал его шею; лицо, обрамленное седыми курчавыми волосами, было спокойно и неподвижно. И такая тишина стояла в жарко натопленной комнатке, что у Рябова сразу зазвенело в ушах.

- Герр шаутбенахт! - негромко произнес Апраксин.

Боцис не откликнулся. Федор Матвеевич быстро подошел к нему, взял его за руку. Шаутбенахт покачнулся, медленно стал оседать на правую сторону. Вдвоем они подняли его тяжелое, совершенно неподвижное тело, положили на стол - на разбросанные меркаторские карты, на чертежи галер, на бумаги, которые он так недавно читал и подписывал.

Вошли матросы, прибежал писец, денщик Боциса; захожий унтер-лейтенант разжился свечкой, зажег ее в изголовьи. Федор Матвеевич поцеловал покойного в лоб, спросил у денщика:

- Он какой веры-то был? Католик?

Денщик, плача, ответил:

- Кто его знает...

- В какую церковь ходил?

- А ни в какую, господин генерал-адмирал. Как австерию сделали - он туда пиво пить ходил. А то все на кораблях.

- Икона у него была?

- Вроде богородица...

- Принеси!

Денщик убежал, тотчас же вернулся. Покойный имел квартиру здесь же, рядом с адмиралтейц-коллегией. Апраксин взял овальный в серебряной рамке портрет, долго всматривался в тонкое, надменное и прекрасное лицо молодой черноволосой женщины с чайной розой на бархатном платье, положил портрет на грудь покойному.

Пришел Иевлев, тяжело дыша сел на лавку. Дьячок уже читал псалтырь, воск капал на морские карты, запахло ладаном. У Федора Матвеевича вдруг затряслось лицо, он махнул рукой, вышел в сени. То и дело хлопала дверь на блоке - шли прославленные моряки Русского флота: бригадир Чернышев, вице-адмирал Крюйс, капитан Змаевич, Голицын, Вейде; шли матросы, служившие на галерах Боциса; быстро крестясь, поклонился покойному Александр Данилович Меншиков, поцеловал его в холодный лоб генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев. Капитан Стрилье спросил у Меншикова шепотом:

- Никто не знает, господин Меншиков, как хоронить покойного... Он... к сожалению... не слишком затруднял себя... молитвой. Исходя из сего обстоятельства, мы не можем решить, каким обрядом провожать прах шаутбенахта Боциса...

- А русским! - быстро ответил Меншиков. - Мы его за русского человека почитали, по-русскому, по-православному и хоронить станем. Он нам свой был, он наши печали понимал, нашими радостями радовался. Так что ты, капитан, не хлопочи...

В сенях Апраксин сказал Ивану Ивановичу:

- Вот она, судьба-то! Рядом сидели и беседовали, а он в это самое время, один, помирал. Ну иди, дружок, иди отсюдова, тебе об смерти еще рано думать, а нам самое время. Иди к Калмыкову, он тебя примет по-доброму.

Гардемарин ушел. Федор Матвеевич сел в свое кресло перед потухшим камином, отхлебнул холодного кофею, надолго задумался. Погодя рядом с ним сел Иевлев, спросил:

- И что не везет нам так, Федор Матвеевич? Как хороший человек, так и помрет в одночасье. А теперь кого на галерный флот назначат? Нонешнее лето не пошутишь, большие дела делать станем...

- Тебя и назначим на галерный флот! - сказал Апраксин.

- Меня нельзя!

- С чего так?

- А с того, что я некоторых иноземцев взашей с флота своего сразу бы прогнал. И Петр Алексеевич то ведает.

Генерал-адмирал не ответил, потупился. Потом сказал:

- Ежели где есть у покойного Боциса родственники, надобно пенсион назначить, чтобы знали: кто России служил верой и правдой, о том не забывают. И Петра Алексеевича укланять, дабы не скупился.

- Никого у Боциса не было, - сказал Иевлев. - Один он во всем божьем мире...

3. АССАМБЛЕЯ

Сорокапушечный корабль "Святой Антоний", на котором держал свой флаг Калмыков, стоял на рейде Кроншлота, когда к его трапу подошел парусный бот с гардемарином Рябовым. Вахтенный матрос строго спросил Ивана Ивановича и дудкой вызвал вахтенного унтер-лейтенанта. Все делалось быстро, строго и толково на этом корабле, и Иван Иванович сразу почувствовал, что служить у Калмыкова будет хоть и трудно, но зато со смыслом, - на таком корабле есть чему поучиться и без дела скучать не станешь.

Унтер-лейтенант, быстрый и проворный молодой человек в тугом мундире и в треуголке с пышным плюмажем, придерживая на ходу короткую шпагу, довел гардемарина до двери каюты Калмыкова, постучался и, доложив Луке Александровичу о новом офицере, исчез. Калмыков, в расстегнутом мундире, поднялся с дивана, оглядел Ивана Ивановича и внимательно прочитал приказ генерал-адмирала.

- Ты из каких же Рябовых будешь? - спросил он, складывая бумагу. - Не первого лоцмана сын?

- Первого! - с плохо скрываемым неудовольствием ответил Иван Иванович. Его тяготили эти всегдашние вопросы: казалось, что люди, спрашивая, думают: "Отец-то у тебя хорош, а вот что ты за птица уродилась!"

- Батюшку твоего знаю! - молвил Калмыков, твердо. И спокойно продолжая разглядывать гардемарина своими слегка раскосыми глазами. - Отменный моряк. Имел честь хаживать в здешние недальние шхеры и многим ему обязан. Неустанно от него учусь...

Иван Иванович молчал, думая: "Не новости! Я-то все сие ведаю!"

- Уповаю, что батюшка твой и тебя знает, господин гардемарин, а коли знает, то облечен ты его доверием, из того делаю вывод: добрый офицер назначен на мой корабль. Рад. Садись, пообедаешь со мной.

Рябов сел, услышанные слова придали ему бодрости, на душе стало спокойнее. Калмыков между тем говорил:

- Я, гардемарин, и самого тебя со времен штурма крепости Нотебург помню, как ты там на барабане бойко барабанил. Вихры у тебя в те поры длиннющие отросли, и как тебя бывало ни увижу, все ты чего-либо точишь да зоблишь - то хлеба корку, то сухарь, то капустную кочерыжку. Забыл, небось?

- Нет, не забыл. У меня память хорошая.

Без стука отворилась дверь, в каюту Калмыкова вошел удивительного вида матрос - толстенький, с седым коком на лбу, плешивый, по-французски спросил, подавать ли наконец кушанье, или еще ждать бесконечное время. Лука Александрович по-русски ответил:

- Дважды тебе говорено: подавать! Дважды! Сколь еще надобно? В третий говорю: подавай!

- Но тогда кушанье еще не поспело! - опять по-французски с капризной нотой в голосе молвил матрос. - Уж, слава богу, я-то знаю толк в гастрономической кухне, могу понять, какое кушанье можно на стол подавать, а какое и свиньи жрать не станут...

- Подавай же! - со вздохом приказал Калмыков.

- И вино подавать?

- И вино подай!

- Сек, кристи или лафит?

- О, господи милостивый! - с тихим стоном сказал Лука Александрович. - Хлебного вина подай нам по стаканчику...

- Хлебное вино офицеру никак не прилично пить! - молвил матрос. - Мы об том не раз беседовали, а вы все свое. Уж если в морском деле ты, господин капитан-командор, более толку знаешь, нежели я, то в обращении, в туалете, в манерах и в кушаний с винами я здесь наипервейший человек. Судьба злую шутку со мной удрала, но от того, что покинула меня фортуна, нисколько иным я не стал.

И, повернувшись к Рябову, он продолжал с дрожанием в голосе:

- Поверите ли, сударь, разные лица достойнейшие и кавалеры у нас к столу бывают, вплоть даже до вице-адмиралов и посланников. А месье Калмыкову все едино, какое кушанье подано, - лишь бы ложка стояла. Они жидкого в рот не берут, а чтобы с перцем, с чесноком, с луком - горячее и густое. Вина - лакрима кристи и иные прочие - стоят на погребе без употребления, а...

- Подавай! - ударив кулаком по столу, крикнул Калмыков. - Мучитель!

Матрос пожал плечами, взбил седой кок на лбу, ушел. Рябов с улыбкой спросил:

- Юродивый, что ли?

- Зачем юродивый? Крест мой - Спафариев-дворянин. Али не слышал гисторию...

Иван Иванович ответил, что историю слышал.

- Он и есть - ерой сей фабулы. Всем прочим - смехи, мне за грехи мои ад на земле. Что с ним делать? В матросском кубрике ему не житье - грызут его денно и нощно, взял к себе - веришь ли, гардемарин, - порою посещает мысль: не наложить ли на себя руки! Одиннадцать лет сия гиря ко мне привешена. Выпороть бы его, сатану бесхвостого, один только раз, единый, так нет, не поднимается рука. Не могу! Вот и пользуется! Сел на шею и сидит, и не сбросить, до самой моей смерти так и доживу с сим добрым всадником на закукорках.

Спафариев принес миску, поставил на стол, возгласил:

- Суп претаньер а ля Людовик...

- Хлеб где?

- А у меня две руки, но разорваться мне!

Калмыков сильно сжал челюсти. Суп был так гадок, что Рябов, несмотря на голод, не мог съесть и двух ложек. Лука Александрович велел миску убрать, а принести матросских щей со снетками. Опять подождали, потом похлебали наваристых, но остывших щей. После обеда Калмыков отвел Рябова в назначенную ему каюту, где возле пушки черноусый лейтенант читал вслух застуженным голосом из модной книги под названием "Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов".

Калмыков присел, подперся рукою, стал слушать. Иван Иванович слушал стоя:

- "Без спросу не говорить, а когда и говорить им случится, то должны они благоприятно, а не криком, и ниже с сердцу или с задору говорить, не якобы сумасброды. Неприлично им руками и ногами по столу везде колобродить, но смиренно ести. А вилками и ножиком по тарелкам, по скатерти или по блюду не чертить, не колоть и не стучать, но должны тихо и смиренно, а не избоченясь сидеть..."

- Ну, премудрость! - зевнув, сказал Калмыков.

В это мгновение у трапа дробно ударил барабан, тревожно завыл рог. По трапам загромыхали тяжелые матросские сапоги, офицеры побежали по местам. И тотчас же скорым шагом по юту прошел Петр с Апраксиным и Меншиковым. Калмыков распахнул перед ними дверь своей каюты, все опять надолго сделалось тихо. Потом к "Святому Антонию" один за другим стали подходить посыльные суда - разведочный бот под косым парусом, шмак "Мотылек", бригантина. Иван Иванович спросил у черноусого лейтенанта, что это делается, тот покосился на гардемарина, трубно прокашлялся, ответил:

- Государь льды смотрит. Слышно, что большое дело зачнется с очищением моря. Покуда ждем. Сам почитай что каждый день у нас

бывает, здесь и кушает, здесь и отдохнет случаем.

Офицеры со шмака, с бота, с бригантины побывали в каюте Калмыкова, вернулись на свои суда. Через малое время и Петр ушел под парусом в Кронштлот. При спуске флага Иван Иванович стоял во фрунте вместе с другими офицерами "Святого Антония", вдыхал сырой воздух залива, смотрел на желтые мерцающие огоньки Кронштлота и думал о том, что его морская служба началась. Сердце его билось спокойно, ровно, могучими толчками гнало кровь по всему телу. Глаза смотрели зорко, на душе было ясно и светло, как бывает в молодости, когда будущее чудится прекрасным, когда еще не видны ни ямы, ни ухабы на жизненной пути, когда молодой взор бесстрашно и гордо отыскивает в грядущем свою прямую, честную дорогу...

После спуска флага Рябов еще долго стоял на юте, потом спустился в каюту, лег в висячую холщовую койку и закрыл глаза, но не успел толком заснуть, как вдруг увидел Ирину Сильвестровну, будто она была здесь и улыбалась ласково и лукаво, говоря, как давеча - прощаясь:

- Батюшка непременно отдаст за тебя, хоть матушка и попротивится. Молод ты ей, служить еще не начал, хоть вон к Веруше бывает один флоту офицер - ему за тридцать, матушке тоже не по сердцу - зачем из калмыков?

"Из калмыков!" - вспомнил гардемарин и сел в своей качающейся койке.

- "Из калмыков! Он и есть, Лука Александрович, - более некому! И Сильвестр Петрович его знает и хорошо об нем отзывается. Вот - судьба!"

На следующий день, после того как капитан-командор задал офицерам взбучку за книпельную стрельбу, Иван Иванович постучался к нему в каюту и спросил, бывает ли он в доме адмирала Иевлева. Лука Александрович отложил книгу, подумал, прямо взглянул на Рябова, ответил:

- А тебе сие к чему?

- К тому, господин капитан-командор, что мне доподлинно известно: нынче вечером в дому у Сильвестра Петровича ассамблея по жеребию...

Калмыков потер лоб ладонью, подумал.

- Я-то не зван!

- На ассамблею указом государевым никто не зовется. Объявлена всем, кто похощет идти.

- Востер ты, гардемарин. Все знаешь!

- Ни разу не быв на ассамблее, желал бы повидать таковую, господин капитан-командор, оттого и знаю...

- Желал бы!

Он протянул руку к книге, полистал страницы, еще передразнил гардемарина:

- Повидать таковую. Каковую - таковую?

Рябов ровным голосом ответил:

- Об сем шутить невместно, господин капитан-командор, а ежели кто пожелает - тот сначала с моей шпагой пошутит...

Калмыков удивился, посмотрел на вдруг побелевшего гардемарина, спросил:

- Белены объелся, что ли?

Иван Иванович молчал.

- Надрать бы тебе уши, дураку! - добродушно произнес Калмыков. - Где сие слыхано - командиру своему шпагой грозиться. Ишь, стоит, побелел весь! Прогоню вот в тычки с корабля - что Апраксину доложишь?

Он встал, прошелся по каюте, спросил:

- И чего это меня никто не боится, а? Денщик на шею сел, гардемарин второй день служит - шпагой грозит. Нет такого офицера на корабле, чтобы деньги у меня в долг не брал, а отдавать - не упомню. Как так?

И со смешным недоумением развел руками.

Иван Иванович сказал негромко:

- Прости, господин капитан-командор, погорячился я. А что тебя никто не боится, оно - к добру. Не боятся, зато за тебя любой в огонь и в воду готов. Я хоть и немного на судне, да наслышан.

- Знаю я их - чертей пегих! - молвил Калмыков и спросил: - Так на ассамблею, что ли?

Задумался, пристально всмотрелся в Рябова, потом сказал:

- Те-те-те! Вон он - некоторый гардемарин, которого все там поджидали, вон он из навигацкого, который долго не ехал. Вера Сильвестровна мне об сем гардемарине сама говорила как о причине меланхолии Ирины Сильвестровны...

Крикнул Спафариева и велел подавать одеваться.

Не более как через полчаса гардемарин и капитан-командор спустились в вельбот. С моря дул ровный попутный ветер; через несколько часов быстрого ходу, и незадолго до весенних сумерек Калмыков в коротком плаще, при шпаге, в треуголке и Рябов в гардемаринском мундире, с отворотами зеленого сукна, в белоснежном тугом шейном платке, в чулках и башмаках - поднялись по деревянным ступенькам на Васильевский остров, прямо против иевлевской усадьбы. Более двух дюжин судов стояло у причала. Калмыков узнал вельбот Апраксина, нарядную, всю в парче и коврах, двенадцативесельную лодку Меншикова, узкую, ходкую, без всяких украшений верейку Петра. Из дома Сильвестра Петровича доносились звуки оркестра, игравшего кто во что горазд. По отдельности были слышны и фагот, и гобой, и труба, и литавры. На крыльце старый, толстый, веселый Памбург поливал из ковшика голову своему другу Варлану. Какие-то незнакомые офицеры отдыхали на весеннем ветру, огромный поручик-преображенец восклицал со слезами в голосе:

- Жизнь за него отдам! Ей-ей, братцы! Пущай берет! Пущай на смерть нынче же посылает. В сей же час...

У каретника, на опрокинутой телеге, на сложенных дровах, просто на земле, где посуше, расположились оборванные, с замученными лицами, заросшие щетиной солдаты - человек с полсотни. Робко, молча слушали они веселый шум ассамблеи, музыку, испуганно поглядывали на офицеров - сытых, хорошо одетых, громкоголосых.

Офицер-преображенец подошел к солдатам, гаркнул:

- Сволочь! Изменники! Всем вам головы рубить, дьяволам, перескокам...

Солдаты встали, вытянулись. Один едва мог стоять, опирался боком на стену сарая. Поручик протянул руку, вытащил солдата вперед, тараща

глупые, пьяные глаза, заорал:

- Всех вас решу! Всех до единого.

Калмыков шагнул вперед, поручик уже тащил шпагу из ножен - могло сделаться несчастье. Лука Александрович положил руку на эфес шпаги, сказал строго:

- Повремени решать-то, молокосос, дурак!

И вдруг увидел то, чего не заметил спервоначалу: у всех солдат, у всех до единого были отрублены кисти правой руки.

- Пленные! - объяснил находившийся при солдатах страж. - От шведов давеча перешли. На самую на заставу нашу. Господин полицмейстер никак не мог определить - чего с ними делать. Пригнали сюда, к государеву приезду, а государь уже приехавши.

- Говорю: изменники! - опять крикнул поручик и еще потянулся за своей шпагой, как вдруг огромная рука легла ему на плечо, он завертел головой и слабо охнул: за его спиною, с трубкой в зубах, простоволосый, в потертом адмиральском кафтане стоял Петр. Возле него, быстро и ловко сплевывая шелуху, грыз кедровые орешки Меншиков.

- Государь! Солнышко красное! - взвыл преображенец.

- Надоел ты мне нынче, пустобрех экой! - досадливо сказал Петр и, оттолкнув поручика, вплотную подошел к солдатам.

Они стояли неподвижно, вперив измученные глаза в Петра.

- Ну? Как оно было? - спросил он, неприязненно оглядев их изглоданные лица. - Захотелось шведской молочной каши? Сдались?

И приказал:

- Покажи руки!

Пятьдесят культей вытянулись вперед.

- Говори ты! - приказал Петр старому солдату, который опирался на костыль неподалеку от Рябова. - По порядку сказывай!

Солдат вздохнул, рассказал коротко, что все они попали к шведам в плен ранеными, в бесчувствии. Лежали потом в балагане, уход был хороший, кормление тоже ничего - давали приварок, лепешки из отрубей, воды пить сколько хочешь. Как поправились - построили всех перед

балаганом, ждали долго. Погодя на тачке два шведских солдата привезли колоду - вроде тех, на которых мясники рубят мясо. Еще привезли медный котел, разожгли под ним огонь, в том котле кипело масло. Когда все сделали, пришел палач. После палача шведский генерал, с ним переводчик. Именем короля указ прочитал тот переводчик. В указе сказано было, что повелевает король шведский русским пленным, числом пять десятков, отрубить правые руки, дабы, вернувшись в Россию, они всем показывали культи свои, говоря при сем, каково страшно воевать со шведами. А как королевская милость неизреченная есть, то рубить для его милосердия руки нам велено не от плеча, а лишь кисти.

- Ну? - опять крикнул Петр.

Рот его дергался, глаза горели темным пламенем.

Солдат рассказал, как ударили барабаны, как палач взялся за топор. Культю каждого погружали в кипящее масло, чтоб не прикинулся антонов огонь. Более не кормили, хотя пить воду давали. Через день пешим строем погнали на корабль, высадили на твердую землю, опять повели хуторами и деревнями. К ночи были возле кордона. Напоследок шведский офицер еще раз приказал - идти всюду и рассказывать, каково не просто со шведом воевать.

Стало совсем тихо, было только слышно, как Меншиков разгрызает орехи. Петр повернулся к нему, облизал губы, велел:

- Всех пятьдесят произвести в сержанты, слышь, Александр Данилыч!

Меншиков кивнул.

- Всех пятьдесят одеть в добрые мундиры, дать каждому по рублю денег.

- По рублю! - повторил Меншиков.

Солдаты стояли неподвижно, словно застыли. У того, что рассказывал, дрожало щетинистое лицо.

- Каждого назначить в полки. В Преображенский сего повествователя, в Семеновский, в иные по одному. На большие корабли тоже по сержанту.

И крикнул:

- Пускай Российской армии солдаты, Российского флоту матросы на сем примере повседневно видеть могут, каково не просто шведам в плен

сдаваться. А нынче от меня им для сугреву выкатить бочку хлебного да накормить сытно.

Он повернулся, плечом вперед зашагал к дому. Преображенский поручик вдруг бросился ему в ноги, закричал:

- Государь, повели жизнь отдать, повели за тебя на смерть...

- Ох, прискучил ты мне ныне! - сказал Петр. - Прискучил, сударь. И врешь ведь все...

- Паролем чести своей! - опять крикнул поручик.

Петр не дослушал, вернулся в дом. Здесь под звуки гобоя и флейты танцевали англез. Иван Иванович и Калмыков остановились в дверях, пары танцующих двигались в такой тесноте, что пройти дальше было невозможно. Сильно пахло сальными свечами, духами, юфтью. Табачный дым волнами плыл над мундирами, кафтанами и пышными алонжевыми париками, над высокими куафюрами дам, над генерал-прокурором Ягужинским, который с царицей Екатериной шел в первой паре, над задумчивым Апраксиным, который церемонно вел Ирину Сильвестровну, над бароном Шафировым, который, смешно припрыгивая и гримасничая, танцевал с Верой Сильвестровной. Марья Никитишна тоже танцевала с Егором Резеном, Иевлев церемонно кланялся Дарье Михайловне Меншиковой...

- Сударыни и сударь! - широко разевая рот, крикнул Ягужинский. - Делать далее все вослед мне, дабы веселье наше истинно смешным сталось! Кавалеры и дамы!

Живее!

Екатерина, положив свои розовые, унизанные перстнями руки на плечи Ягужинскому, легко поднялась на носки и поцеловала своего кавалера в подбородок; все дамы, идущие в танце, сделали то же. Ударили литавры, пронзительно завизжала флейта, низко загудели трубы. Екатерина, покусывая губы, протянула руку и дернула на Ягужинском парик, так что генерал-прокурор на мгновение словно бы ослеп. Потеряв свою даму, он закружился на месте, а Екатерина, медленно улыбаясь и выказывая ямочки на розовых щеках, искала своими ровно блестящими, спокойными

глазами иного кавалера. Все кавалеры были заняты, исключая Апраксина, с которого Ирина Сильвестровна по нечаянности совсем сдернула парик. Федор Матвеевич, седенький, с ровным венцом пушистых волос вокруг плеши, укоризненно качал головою Ирине, а она между тем уже подала руку некоему гардемарину, который гибко и ловко, сияя влажным светом зеленых глаз, повел свою даму в церемонном и медленном танце.

- Ну, Федор же Матвеевич! - позвала Екатерина с нерусским акцентом. - Дайте вашу ручку!

- Я парик потерял, государыня! - ответил Апраксин. - Без парика...

- Сие всем видно, что ви потеряль парик! - сказала Екатерина. - Но все-таки ви здесь сами прекрасни кавалер...

И она так взглянула на него, что Федор Матвеевич только вздохнул да потупился, отыскивая взором под ногами танцующих свой, цвета спелой ржи, построенный в Париже парик.

А Лука Александрович все стоял у двери, прямой, широкоплечий, рассеянно и невесело следил чуть раскосыми глазами за Шафировым, который все скакал и гримасничал, выделывал коленца да подпевал музыке, следил до тех пор, пока не кончился бесконечно длинный танец и мужчины не повели своих дам пить пиво со льдом. Тогда капитан-командор, оттирая собою всех иных, первым прорвался в буфетную, первым взял в руки серебряный стакан и первым подал его Вере Сильвестровне, которая подняла на Калмыкова яркосиние глаза, улыбнулась с детским восхищением и воскликнула:

- Ах, Лука Александрович, сколь прежестоко опоздали вы к началу нашей ассамблеи. Можно ли так?

Калмыков, выбирая слова, которыми следовало говорить в галантном обществе с девицей, подумал и ответил негромко:

- Предполагалось мною ошибочно, сударыня, что на ассамблею приглашаются лишь письменными бумагами, али нарочно посланными слугами...

- Однако, сударь, счастливо получилось, что ошибка поправлена и вы

здесь среди нас. Кто же рассеял ваше заблуждение?

- Гардемарин некий, известный в вашем любезнейшем семействе и ныне определенный к несению службы на моем корабле.

- На "Святом Антонии"? Уж не Иван ли Иванович сей гардемарин?

- Рад подтвердить вашу догадку, сударыня. Именно Иван Иванович Рябов.

- Как радостно мне, а наипаче доброй сестрице моей такое известие. Гардемарин Рябов, участник наших детских игр, - под вашею командою, на вашем корабле? Знает ли об том Иринка?

- Питаю надежду, что знает! - ответил Калмыков, вглядываясь в раскрытые двери соседней комнаты, где сияющий гардемарин что-то быстро и горячо говорил Ирине Сильвестровне. - А если добрая сестра ваша еще и не знают приятную новость, то сейчас же знать будут.

Вера Сильвестровна с треском раскрыла новый веер и, обмахивая свое разгоряченное лицо, произнесла:

- Как жарко нынче в нашем доме, словно бы в кузнице Вельзевула. И сколь приятно в такой духоте освежить себя глотком прохладительного питья. Отчего бы вам не сделать себе такое удовольствие...

Лука Александрович напрягся, подыскивая слова погалантнее, и ответил не сразу.

- По неимению сосуда для оного прохладительного напитка, сударыня Вера Сильвестровна.

- Но ведь вы бы желали освежить себя?

- Оно не так уж и существенно!

- Какое же не существенно, когда жажда томит вас, а в моем сосуде еще есть прохладительное...

Капитан-командор замер, но это было так - Вера Сильвестровна своей тоненькой ручкой протягивала ему тяжелый стакан, тот стакан, из которого только что пила сама.

- Один только глоток прохладительного, и вы почувствуете себя словно в садах Эдема, - сказала Вера. - Сладкое, славное пиво...

- О, сударыня Вера Сильвестровна! - ответил Калмыков. - Вы слишком ко

мне добры...

И тотчас же приказав себе - "нынче или никогда", пересохшими вдруг губами негромко, но твердо проговорил:

- Я льщу себя также надеждою, что этот сосуд не последний, которым будет утолена наша совместная жажда...

Фраза получилась не слишком понятная, пожалуй, даже вовсе темная, и Вера Сильвестровна лишь недоуменно взглянула на Калмыкова. Он сробел, попытался было сказать понятнее, но вовсе запутался и замолчал, опустив голову. Молчала и Вера Сильвестровна, отворотившись и обмахиваясь веером. Он чувствовал, что она не хочет более его слушать и что ждет только случая, чтобы уйти от него. И негромко, не выбирая больше слов, он заговорил опять, ни на что не надеясь, заговорил потому, что не мог не рассказать ей то, что делалось в его душе:

- Нынче я навсегда вам, сударыня, откланяюсь, ибо, как понял я, для меня нет никакой надежды. Что ж, тут и винить некого, кроме как самого лишь себя, что, будучи на возрасте, от вас вовсе ума решился и нивесть о чем возмечтал. Мне жизнь не в жизнь без вас, сударыня Вера Сильвестровна, сделалась, только о вас все и помыслы мои были - и в море, и на берегу, и ночью, и днем - всегда. Ну да о сих печалях нынче поздно, ни к чему толковать...

- Танец менуэт! - крикнул Ягужинский, и тотчас же где-то совсем рядом загремели литавры и ухнули трубы. - Кавалерам ангажировать дам с весельем и приятностью. Дамам, не жеманясь и не чинясь, соответствовать кавалерам...

Неизвестный офицер - розовый, с ямочками на щеках, с усишками - разлетелся к Вере Сильвестровне, не замечая капитан-командора, притопнул перед ней башмаками, изогнулся в поклоне. Она подала ему руку. В последний раз капитан-командор увидел ее шею с голубой тонкой веной, веер, блестящий, шумящий атлас платья. Не поднимая более глаз, грубо толкаясь, он вышел в сени, отыскал свой плащ и, никого не дожидаясь, спустился с крыльца. Было холодно,

пронизывающий ветер дул с Невы, жалобно скрипела флюгарка на крыше иевлевского дома, с хрустом терлись друг о друга бортами верейки, швертботы, шлюпки, лодки...

"Ишь чего задумал, - остановившись на пристани, говорил себе Лука Александрович. - Ишь об чем размечтался, ишь на кого загляделся! Нет, брат, стар ты, да и выскочка, как бы ни знал свое дело, как бы ни делывал его, все едино не станешь своим среди них. Похвалят, да приветят, да чин дадут, а все вчуже! И так, небось, горюют, что сей гардемарин мужицкого роду свой в доме, глядишь и посватается, а тут еще един - из калмыков, из денщиков!"

С тоской он прошелся вдоль темной пристани, вслушался в свист ветра, в звуки музыки, гремевшей в доме, и вдруг вспомнилось ему далекое детство, как скакал он на приземистой, быстрой кобылице по бескрайной степи, как слушал посвист степного, пахучего ветра, как вставало над степью красное солнце, как ласкала его, конного, смелого, с луком и стрелами в колчане, его, охотника, - мать и какая она у него была и красивая и добрая...

"Ей бы все рассказать, - думал он, кутаясь в плащ, - ей бы, матушке. Да нет ее, не сыщешь более, умерла, поди, проданная в рабство, один я на свете, никого у меня нет. Никого нет, разве что корабельная служба, матросы, да офицеры, да море..."

Он крепко сдавил челюсти - так, что проступили жесткие, острые скулы, вздохнул, встряхнул головою, легко прыгнул в вельбот и велел везти себя на "Святого Антония".

А Сильвестр Петрович в это самое время говорил Марье Никитишне:

- Как заметил я, Маша, капитан-командор Калмыков долго нынче беседовал с Верушею, после чего немедля отправился от нас. Не иначе, как с абшидом...

- Что еще за абшид?

- Абшид есть отставка! - молвил Иевлев. - А отставка - к добру. Лука Александрович человек не худой, да все ж...

- То-то, что все ж! - с сердцем сказала Марья Никитишна. - Слава

господу, что хоть про него понимаешь толком, Сильвестр Петрович...

Выли и ухали трубы, дом Иевлевых содрогался от непривычных ему новоманерных танцев, Сильвестр Петрович, попыхивая трубкой, перевел разговор:

- Адмирал Крюйс после ассамблеи по всему дому стропила сменил. Как бы и нам не разориться. Гнилье посыпалось...

В первой паре с Екатериной шел Петр; она, ласково ему улыбаясь, старательно выделывала все па, он тоже трудился истово. Коптили и трещали сальные свечи, Шафиров пожаловался Брюсу:

- Скуп наш Сильвестр Петрович, восковых поставить не мог, на платье капает сало, и вонища...

- Не ворует, оттого и скуп! - отрезал Брюс. - На его жалованье восковых не накупишься.

За Петром во второй паре танцевали менуэт Иван Иванович и Ирина. Петр, в танце, спросил громко:

- Рябов?

- Рябов, государь!

- Барабанщиком служил?

- Служил, государь.

- Ныне у Калмыкова?

Екатерина перебила:

- Ах, как сие красиво и любьезно - разговаривать даже тут об ваши ужасьны барабаны...

- Сразу после менуэта! - сказала Ирина шепотом Ивану Ивановичу.

Тот промолчал.

- Страшно?

- А ну как...

Он не договорил. Она церемонно ему поклонилась, потом взглянула своим чистым взором в глаза, сказала, когда опять пошли рядом, приседая в такт музыке:

- А разве твой батюшка Таисью Антиповну не увозом увез?

Откуда-то из сумерек опять вышел, покачиваясь, огромный поручик-

преображенец, объявил всем нетанцующим гостям:

- Нынче пошлет меня на смерть - и пойду! Ей-ей, пойду! Ну, кто не верит?

На него зашикали, он крикнул:

- Государь Петр Алексеевич, ясное солнышко, желаю за тебя без единого стона принять смерть...

Петр, оскалясь, оставил Екатерину, надвинулся на поручика, спросил:

- Без стона, а потом в генералы тебя, собаку, произвести?

- Желаю! - крикнул преображенец. - Смерть! За тебя!

Петр взял его за рукав, потащил за собою. Тот кричал с испугом и с восторгом:

- Ведет! Сподобился! Ведет!

Трубы растерянно рявкнули, ударили литавры, звуки менуэта смолкли. Все устремились туда, куда Петр повел преображенца. В дверях сделалась давка, упал столик, стало слышно, как разрывается материя - это недогадливый кавалер наступил на шлейф своей даме, а любопытная дама рвалась вперед.

В маленькой угловой светлице Петр своей лапищей схватил руку поручика, отогнул ему указательный палец, спросил басом:

- Верно помереть хочешь?

- Для тебя...

- Врешь, бодлива мать!

- Умру без слова!

Левой рукой Петр схватил железный шандал со свечой, пихнул в маленькое, коптящее пламя корявый палец поручика, басом приказал:

- Терпи, лжец, брехун, болтливый язык! Терпи, коли за меня умереть хочешь.

Преображенец открыл красногубый рот, перебрал толстыми ногами, подпрыгнул, заверещал негромко, потом во весь голос. Петр оттолкнул его от себя, велел Ягужинскому:

- Сего холуя из офицерского сословия навечно исключить и солдатом сослать куда от нас подалее. Ништо так не воняет на сем свете, как сии

подлипалы, льстецы да лизоблюды.

Погодя, играя с доктором Арескиным в шахматы, говорил ему невесело, жестким голосом:

- Я велел губернаторам сбирать монстры и различные иные куриозы. Прикажи шкафы заготовить. Если бы я хотел сбирать монстры человеческие не по виду телес, а по уродливым нравам, у тебя, господин Арескин, никакого места под них не хватило бы. Пускай шатаются они во всенародной кунсткамере, там, между добрыми людьми, они приметнее, пожалуй кого и выкинешь вон с планеты нашей. Да только видно-то не сразу. Вроде поручика! Умереть ему за меня надо! А?

К шахматному столику подошел Иевлев, Петр спросил у него:

- Не пора, Сильвестр? Поди скажи Апраксину, думаем мы - самое время.

Из зала, отдуваясь, явился Апраксин, поправил криво сидящий парик, вопросительно взглянул на царя. Тот ему кивнул. Мимо, через сени, прошли в накинутых плащах капитаны Змаевич, Броун, Иванков.

- С богом, с богом! - проворчал Петр Федору Матвеевичу. - Пора!

Он проиграл партию Арескину; морща лоб, прошелся по зале. Внизу, в столовом покое, дамы с кавалерами ели отварную солонину с гречневой кашей, пили пиво, ром, водку. Трубы и литавры, гобои и флейты теперь гремели в сенях первого этажа. Места на всех сразу не хватало, на ассамблеях повелось ужинать в две перемены.

Заметив Иевлева, появившегося в зале, Петр спросил:

- А тебе к месту не пора?

- После тебя, Петр Алексеевич.

- Ты что, Сильвестр, то весел был, а сейчас ровно бы муху проглотил?

Иевлев улыбнулся, синими глазами прямо посмотрел на царя.

- Говори!

- Дочку просватал, Петр Алексеевич!

- Оно когда же сделалось?

- Нынче, государь.

- Одну?

- Одну.

Петр внимательно вгляделся в Иевлева, спросил:

- Кто ж нареченный?

- Флота гардемарин Иван сын Иванович Рябов.

Царь все еще смотрел на Сильвестра Петровича своим тяжелым взором. Потом вдруг сказал:

- А слышали мы еще про намерение капитан-командора Калмыкова...

- Было сие намерение, - ответил Сильвестр Петрович, - но не встретило оно надлежащего одобрения от дочери моей Веры Сильвестровны. За всеми теми событиями супруга моя и посейчас в опочивальне кислую соль нюхает...

Петр, морща нос, с усмешкой сказал:

- Небось, кислую соль не нюхала, когда я в стародавние годы в усадьбе покойного окольничего ее за тебя высватал. Евино племя! Свадьба-то скоро?

- Как возвернемся!

- То-то, что как возвернемся.

И, словно позабыв про Иевлева, опять стал ходить, выставив плечо вперед, по опустевшей зале.

На рассвете все Российского флота моряки, бывшие давеча на ассамблее у Иевлева, прибыли в Кроншлот. Здесь, в глиняной низкой хибаре коменданта крепости, более часа заседал военный совет. Двадцатого мая, когда взошло солнце, на корабле "Святой Антоний" взвился государев штандарт и рявкнула пушка. Оба флота, корабельный и галерный, - около ста пятидесяти вымпелов - под треск барабанов и пение труб двинулись в далекий, трудный и опасный поход. Корабли и галеры шли медленно: плавающий лед в Финском заливе сильно затруднял движение армады. Дули противные ветры. Иногда вдруг начинал крутиться снежный вихрь, среди бела дня все серело, меркло, снасти обмерзали, галеры и корабли едва двигались, опасаясь столкновения, надрывно, протяжно били сигнальные колокола, гудели рога.

Генерал-адмирал Апраксин почти не покидал юта "Святого Антония".

Здесь он и ел нехитрую походную пищу, здесь и спал в поставленных для него креслах. Постаревший, обрюзгший, с мешочками под светлыми глазами, он говорил Сильвестру Петровичу на исходе почти месячного морского пути:

- То - разумно, Сильвестр. Время кончать. Была битва при Лесной, была великая Полтавская виктория, пал Выборг, многое можем мы вспомнить, а нужен нам мир. Мы свое взяли - древлий наш путь из варяг в греки, на свое море вышли. Бешеный их король сего не понимает. Так вынудим его, вырвем у него мир силою. Ныне на нашем флоте идет двадцать четыре тысячи десантной пехоты - преображенцы, семеновцы, московского полка солдаты, вологодского, гренадерского - добрые вояки, понюхавшие пороха. И флот подлинный, не тот, чем на Переяславле воевали. Надлежит нам наконец разбить шведские эскадры на воде, уничтожить их корабли и выйти к Стокгольму, к сей кузне зла и горя. Пусть там господа шведские министры поймут - пора замиряться, Россия вышла на свое море, более ее сухопутной державой никому не сделать, в степи, в леса Русь не загнать...

Быстро подошел капитан-командор Калмыков, подал Федору Матвеевичу Апраксину медную с серебром подзорную трубу, сказал не торопясь, спокойным голосом:

- Шведский большой флот по левой раковине, господин генерал-адмирал. Возьми чуть левее - от мыса Гангут его корабли. А вон и флаг адмирала Ватранга.

Федор Матвеевич взял трубу, не вставая с кресел, стал всматриваться вдаль, туда, где, растянувшись длинной могучей цепью, стояли готовые к бою, преградившие путь русским судам шведские корабли.

Мерно шумело, катилось, рокотало море.

Под лучами утреннего солнца над полуостровом Гангут рассеивался легкий, прозрачный туман...

4. ГАНГУТ

Военный совет собрался на скалистом берегу, на голых, нагретых

солнцем камнях. Генералы и адмиралы сидели лицом к морю, щурились на блеск воды под солнцем, всматривались в далекие, неподвижные шведские корабли. Петр, устав от споров, молча пересыпал из руки в руку щебенку, хмурился, думал. После длинных сетований бригадира Волкова он совсем рассердился, кинул камушки в воду, поднялся:

- Хватит, господа совет, болты болтать. Еще бы шведам не понимать, куда мы соединенным флотом идем и зачем сие делаем. Затем и не дают нам прорваться. Ну, а мы все же прорвемся. Давеча я промерил полуостров в узкости его. Всего тысяча двести сажен. Невелика переволока. Из деревеньки Нюхчи до Ладоги тяжелее было, однако ж доставили фрегаты, - помнишь, Сильвестр?

Иевлев кивнул - помню-де.

- Знаем, как сию работу работать. Выкинемся на ту сторону нежданно-негаданно, ударим шведу в тыл, напугаем диверсией и двинем большой флот. Пущай тогда ищут-свищут. А нынче приказываю стелить путь деревянный для кораблей, немедля валить сосны, плотников, которые на судах наших, ставить десятскими, солдат и матросов всех шлюпками перевозить сюда...

Апраксин осторожно заметил:

- Чтобы шведы не проведали, государь. Жители здешние...

- Жители, жители! - перебил Петр. - За жителями глаз нужен. Пусть по избам сидят, не выпускать никого...

И приказал:

- Ягужинский, пиши: строить переволоку шаутбенахту Иевлеву...

В эту же ночь на полуострове, на материке, на лесистых островках матросы и солдаты начали валить деревья. Костров не жгли, варево не варили, питались сухарями да тем, что доставляли с кораблей. Неумолчно повизгивали пилы, сотни топоров вгрызались в свежие стволы сосен. Бревна канатами подтаскивали к месту переволоки, соединяли деревянными шипами; готовили катки в большом числе, дабы сразу поднять на переволоку несколько судов. На всем протяжении корабельной дороги Сильвестр Петрович распорядился вкопать ворота,

дабы облегчить неимоверный труд перетаскивания судов волоком без лошадей.

Но на рассвете следующего дня Петр, вдруг вынырнувший из-за деревьев, окликнул Иевлева, повел его за собою к западному берегу полуострова. С царем были Апраксин, Вейде, Голицын, еще какие-то незнакомые офицеры.

- Чего такое? - спросил Сильвестр Петрович негромко у Апраксина.

Тот ответил невесело:

- Проведали шведы про твою переволоку. Слышно, некий пенюар донес о замысле нашем ихнему адмиралу...

Петр шагал быстро, ссутулившись, поматывал головой, сосредоточенно раздумывал о чем-то. А когда вышли к тихо плещущему морю и увидели эскадру шаутбенахта Эреншильда во главе с "Элефантом", Петр вдруг развеселился, набил трубочку табаком, сел на пенек и, хитро подмигнув Апраксину, спросил:

- Зришь, Федор Матвеевич?

- Вижу, государь. Не дадут нам переволочь корабли.

- А разве сие для нас так уж горько?

Апраксин подумал, переглянулся с Иевлевым, ответил не торопясь:

- Пожалуй, что и на руку. Теперь Ватранг куда послабее сделался. Раскидал флот - не столь крепок. Так, Сильвестр Петрович?

- Здесь работы надо и далее продолжать, - молвил Иевлев, - пускай Эреншильд надеется нас при переволоке уловить. Да работать будем только лишь для виду. А что касаемо до эскадры Ватранга, то ее, ежели штиль случится, безо всякого вреда мористее обойти можно. Скампавеи да галеры успешно на веслах сие свершат...

Петр поднялся, близко подошел к Иевлеву, молодым голосом сказал:

- Эреншильда и запрем в капкане. Уловляя, уловлен будет. Так-то братцы. Так-то адмиралы, господа мои добрые. А нынче надобно нам галерный флот малость офицерами приукрепить. Поболее толкового народишку туда, ибо галерному флоту сие свершить и придется.

...Душным вечером 25 июля генерал-адмирал Апраксин в сопровождении

Иевлева, командира передового отряда - авангардии генерал-лейтенанта Вейде, командира тылового отряда - арьергардии князя Голицына, бригадира Волкова и генерал-майора Бутурлина обходил корабельный флот. С других кораблей до "Святого Антония" доносилось смутное "ура", барабанная дробь, звуки сигнальных дудок. Было понятно, что на шканцах судов русского военного флота происходило нечто торжественное, даже величественное и, несомненно, касающееся того воинского труда, который ожидался всеми с тревогой, гордостью и твердой верой в непременное, победоносное завершение тяжелейшего похода, с честью выполненного всей армадой кораблей, фрегатов, шняв, бригантин, галер, бригов, скампавей. Все это было понятно на "Святом Антонии", но что именно происходило на других судах - никто толком не знал, и офицеры и матросы пока только жадно вглядывались и напряженно вслушивались, вполголоса, а то и шепотом строя предположения и догадки.

В десятом часу вечера три вельбота подошли к парадному трапу "Антония". Капитан-командор Калмыков в белых перчатках, с перевязью через плечо встретил гостей под барабанную дробь. Едва Федор Матвеевич ступил на палубу корабля, как на стеньге взвился штандарт: "генерал- дмирал здесь".

Легко неся свое тучное тело, Федор Матвеевич, сопровождаемый генералами и адмиралами, поднялся на шканцы, где уже выстроились во фрунт офицеры, помолчал и домашним, не торжественным, усталым голосом произнес:

- Господа офицеры! По предположению диспозиции исход сражения будет решаться не судами корабельного флота, но галерами и скампавеями, ибо на ветер мы не надеемся, молодцы же гребцы свой долг верно выполнят. А как на галерах и скампавеях испытываем мы недостачу в добрых офицерах, то и прошу я вас нынче же в пять минут решительно определить, которые желают пойти на галерный флот для сего полезного дела. Через пять минут времени, по моему спросу, решившие идти на галеры, благоволят выйти из фрунта на два шага

вперед...

И, отвернувшись к своим генералам и адмиралам, Апраксин стал с ними тихо о чем-то беседовать. Офицеры "Святого Антония" стояли неподвижно. Каждый из них сразу решил, как ему надлежит поступать, и все теперь ждали последнего вопроса генерал-адмирала.

Было очень тихо, только слышался ровный плеск моря да иногда вдруг вскрикивала чайка. От берега несло запахом гниющих водорослей. Рябов заметил, что на Апраксине и на других генералах и адмиралах были надеты не обычные мундиры, а кафтаны из лосевой кожи - боевая одежда, которую носили на русском флоте вместо тяжелых кольчуг и лат.

- Пять минут истекло! - тем же домашним голосом сказал генерал-адмирал. - Кто желает перейти на галерный флот - два шага вперед из фрунта. Офицеры строем, без секунды промедления, сделали положенные два шага и с грохотом приставили каблуки. Апраксин помолчал, открыл табакерку, сунул в ноздрю понюшку - он теперь к старости стал нюхать табак, когда волновался, и, оборотившись к Иевлеву, сказал:

- Вот вишь как! Теперь новые заботы - кого "Антонием" командовать оставить.

Потом поклонился в пояс всем стоящим неподвижно офицерам:

- Спасибо, господа флоту офицеры! Оную вашу службу крепко помню и не позабуду в потребный день.

Над шканцами загремело "ура".

Федор Матвеевич, бодрясь и превозмогая тяжелую усталость всего похода и последних трудных дней, пошел к трапу. Но путь ему бесстрашно загородили матросы; он проталкивался среди них, притворно строго отругиваясь:

- Пошли, пошли с пути, пошли с дороги, сомнете, дурачье, али не видите, что стар ваш генерал-адмирал. Никого не возьму! И не липни, и за руки не бери, ишь каковы - скорохваты! Знаю, знаю, на всех кораблях то же толкуют, да на галерах и без вас народу предостаточно...

Матросы наконец расступились, давя и сминая друг друга, барабаны у

трапа ударили дробь, штандарт генерал-адмирала пополз вниз. В вельботе генерал-лейтенант Вейде спросил у Иевлева:

- Чем объяснимо, мой друг, все то, что мы здесь изволили давеча наблюдать?

- Оно объяснимо лишь желанием кончить проклятую войну! - ответил Иевлев. - Нынче так случилось, что нет на всем флоте матроса, нет солдата, кои бы не понимали, что не будет спокойствия ни Санкт-Питербурху, ни иным местам - от Ладожского озера до Архангельска, от Пскова до Новгорода, - покуда не сделаем мы викторию над шведским флотом, и чем скорее сие наступит, тем лучше...

Вейде молчал, посасывая трубку, сплевывал в воду.

В эту же ночь Иван Иванович Рябов на посыльном боте явился под командование капитан-командора Змаевича в его отряд скампавей и галер. Калмыков получил назначение во второй отряд галер.

У Змаевича коротали время два незнакомых офицера, угрюмо слушали рассуждения капитан-командора.

- Живем тяжко, жестоко, - говорил тот. - Жестче нельзя. С моря в Парадиз возвернешься - на отдых, день-другой отмучаешься, нет, думаешь, у нас- о легче. Дышится вольготнее, все ж морской ветер. В Санкт-Питербурхе только железа и звенят. По улицам работный народишко гонят - в кандалах. Да и то сказать - ради Парадизу с девяти дворов на Руси одного человека вынимают. Не шуточка. И должен тот человек прийти со своим плотничьим, али столярным, али иным каким ремесленным снаряжением. Десятнику же велено иметь и долото, и позник, и скобель, и бурав, и пилу. А оно все, судари мои, в сапожках ходит, за все поплачивать надо, да и хлебца до места работному человеку купить. Где наберешься?

Офицер-гость потянулся, сказал со вздохом:

- О, господи! Куриозитеты, монстры, раритеты сбираем, а тут война, а тут Парадиз, а тут "слово и дело"! Когда народишку полегше станет?

За беседой поужинали кашицей, закусили сухарем. Кашица отдавала тухлятиной, другой офицер-гость выругался:

- Ей-ей, с изначала российского корабельного флота служу, а не упомню, чтобы добрую крупу на флоте получали. Все прелая, да горькая, да тухлая. Стараются, сил не щадят господа купечество - помогают нам государеву службу править...

Проводив гостей, Змаевич замолчал надолго - вглядывался в силуэты далеких шведских кораблей, прислушивался к шведским сигналам. Здесь, на скампавее, матросы укладывались спать, два голоса выводили песню, неподалеку дружно смеялись, слушая сказочника.

Иван Иванович быстро уснул в каюте под теплым овчинным полушубком, а Змаевич поворочался, повздыхал и вновь поднялся по трапу на носовую куршею. Тут он провел всю короткую ночь, вслушиваясь и вглядываясь, раздумывая - быть штилю, или поднимется ветер. Но штиль стоял полный. Рано поутру на скампавею явился гонец с коротким приказанием. Змаевич выслушал поручика, кивнул головой, спустился в каюту, натянул новый мундир, туго перепоясался, взял в руку треуголку, Иван Иванович, проснувшись, вертел головой, спрашивал:

- Что? Что? Началось?

На скампавеях барабаны били дробь, матросы садились на банки, поплевывали на руки, примерялись к веслам. Едва выкатившись, солнце сразу стало припекать, вода лежала гладким, тусклым зеркалом, шведские корабли, конечно, не могли двинуться с места. На это и была рассчитана диспозиция военного совета.

- Прорвемся в Абосские шхеры мористее шведов, - говорил Змаевич, - понял ли? У нас галеры, у них корабли. Им при таком штиле - одно дело: куковать да святой Бригитте молиться.

Рябов смотрел в трубу. Шведы, заметив движение галерного флота, шедшего вне досягаемости их пушек, спустили шлюпки, попытались буксировать свои суда. Было видно, как натягиваются ниточки-канаты, как гребут шведские матросы. Но тяжелые корабли стояли неподвижно, словно сплавленные с ярко сверкающими, тяжелыми водами залива.

- Работай, братцы, работай! - охрипшим голосом просил Змаевич. - Трудись, други, не жалей! Все ныне в нашем проворстве, в лихости,

умелости! С гребцов лил пот, мальчишка-галерный - кок-повар - метался с ведром и кружкою - поил людей из своих проворных рук. Комиты-боцманы из шаек обдавали загребных забортной теплой, соленой водой. В тишайшем штиле далеко разносились удары литавр, уханье больших барабанов, команды:

- Весла-ать! Весла - сушить! Весла-ать! Весла...

Скампавеи шли ровно, кильватерной колонной, и так быстро, что даже в нынешнем полном безветрии кормовые флаги развевались словно в шторм.

Шведы попробовали палить, но ядра падали так далеко от прорвавшегося русского авангарда, что после нескольких залпов адмирал Ватранг приказал огонь прекратить.

После полудня Змаевич сказал Ивану Ивановичу:

- Вот он - господин адмирал Эреншильд. Ждет нас с берега, с переволоки. Туда и пушки свои обратил. Что ж, господин шаутбенахт, поприветим тебя. Поздравствуемся не нынче, так завтра...

Тридцать пять скампавей и галер русского флота становились на якоря перед эскадрой шведов.

Гребцы на судне Змаевича лежали на палубе и банках, словно мертвые. У многих ладони были стертыми до крови, иные шумно, с хрипом дышали, один загребной все лил на себя воду - ведро за ведром, жаловался, что нутро кипит, палит огнем. Есть никто не мог...

- Нелегкое будет дело! - говорил Змаевич Рябову, когда встали на якорь. - Умен Эреншильд, ничего не скажешь, с головою шаутбенахт. Не обойти его, дьявола... И с переволоки нас поджидал, и сюда поглядывал...

Иван Иванович, стоя на куршее, всматривался внимательно в расположение эскадры Эреншильда. В узком фиорде шведский адмирал так расставил свои суда, что они действительно не давали никакой возможности зайти с тылу. Флагманский "Элефант" стоял бортом к русским скампавеям, чтобы палить всеми пушками, а галеры стояли носами для того, чтобы стрелять из погонных орудий. Позади эскадры виднелась затопленная баржа и еще судно с пушками, направленными к

месту предполагаемой переволоки.

- Ну? - спросил Змаевич.

- Верно, что нелегкое дело! - согласился Рябов. - Вроде бы крепость...

- То-то, что крепость. Придется не иначе как абордажем викторию рвать, а борта-то у них высокие. Хлебнем горюшка...

В сумерки к Змаевичу на верейке пришел Калмыков. Курили трубки, молчали, раздумывали. На шведской эскадре блестели огни, оттуда слышались звуки рожков, пение горнов. Попозже Эреншильд собрал военный совет - было видно, как к его кораблю пошли шлюпки со всех судов эскадры.

- Узко - вот чего трудно, - сказал Калмыков. - Более чем двадцатью галерами в ряд атаковать не станешь, да и то тесно - в притирку. Еще тыл не спокоен. Ежели штиль кончится, адмирал Ватранг нас своим корабельным флотом враз в хвост ударит, тогда напляшемся. И слышно, из Абова галерный флот шаутбенахта Таубе им в помощь выйдет, али вышел нынче. Одна надежда - быстро Эреншильда покрошить вдребезги, чтобы не опомнился, развернуться и готовым быть к иным нечаянностям. Так говорю, господин Змаевич?

Капитан-командор кивнул, согласился:

- Иначе не сделать сию работу...

И добавил со вздохом:

- Потрудимся взавтрева, истинно попотеем...

Утром вперед смотрящий на скампавее Змаевича увидел авангард большого галерного флота. За судами генерала Вейде двигались галеры, полугалеры и скампавеи кордебаталии под большим флагом генерал-адмирала Апраксина и, наконец, арьергард Голицына с его эскадрой. Весь галерный русский флот прорвался, воспользовавшись тем, что адмирал Ватранг, идя на соединение с адмиралом Лиллье, оголил галерный фарватер.

На эскадре Змаевича кричали "ура".

Артиллеристы Вейде махали вязаными шапками, банниками, палашами, тихий дотоле фиорд загудел словно бор в ураган. Скрип галерных весел

в уключинах, командные слова, лихие покрикивания в говорные трубы, скрежет багров, топот тяжелых матросских сапог, металлический лязг, ругань, смех - все сразу слилось в единое, могучее и бодрящее оживление, какое всегда делается при соединении воедино больших воинских масс. Большая часть предварительного сражению труда была закончена, и все люди на всех судах флота понимали это, так же, впрочем, как и на кораблях Эреншильда понимали грядущую страшную опасность: там было очень тихо. Эреншильд приказал священнику эскадры отслужить молебствие.

В предобеденное время на галеру Змаевича поднялся генерал-адъютант Петра Ягужинский. Он был в коротком кафтане из лосевой кожи, при шпаге, в белых перчатках. Красивое лицо его было бледно, глаза возбужденно блестели.

- Нам зачинать дело, - сказал он, протягивая руку капитан-командору. - Готов ли ты, Змаевич? Ежели готов, приказывай идти к "Элефанту" под белым флагом.

Матросы выбрали якорь, загребные навалились на весла. Ягужинский, Змаевич и Рябов стояли на носовой куршее судна. Галера все дальше и дальше уходила от ровных рядов русского флота, все ближе делался шведский флагманский корабль. Вот уже ясно различимыми стали пушечные открытые порты, вот можно было разглядеть столпившихся у трапа шведских офицеров, вот стал виден сам адмирал Эреншильд - простоволосый, в мундире, шитом золотом. В расстоянии одной корабельной длины от "Элефанта" Змаевич приказал сушить весла. Сразу стало совсем тихо, так тихо, что Рябов услышал, как капает вода с весел в море.

- Я слушаю вас, русские! - громко, четко по-немецки произнес Эреншильд.

Он стоял впереди своих свитских, руки его были сложены на груди, смуглое лицо имело жесткое выражение.

- Господин шаутбенахт Эреншильд! - громким голосом, но очень вежливо заговорил Ягужинский. - Повелением моего государя имею честь

предложить вам сдаться в плен безо всяких пунктов, исключительно на милость победителя. Вы сами изволите видеть, каков перед вами противник, и не можете не понимать, что ожидает ваши корабли в случае сражения. Каков будет ответ?

Сотни шведов стояли на куршеях галер, облепили "Элефант", слушали, стараясь не проронить ни единого слова. Эреншильд ответил не спеша, коротко:

- Нет, мы не сдадимся.

Ягужинский сделал вид, что не расслышал. Эреншильд повторил:

- Моя эскадра не сдастся! - сказал Эреншильд. - Теперь вы слышите?

Генерал-адъютант сдвинул брови, предупредил:

- В бою пощады никому не ждать!

Эреншильд гордо вскинул голову, ответил громко:

- Я никогда ни у кого пощады не просил!

И, резко повернувшись, исчез в толпе свитских офицеров. Тотчас же на "Элефанте" взвились стеньговые флаги: "к бою готовиться!"

Ровно в два часа пополудни на галере Апраксина был поднят синий флаг, означающий начало сражения, и тотчас же ударила пушка. Капитан-омандор Змаевич махнул белым платком, и в то же мгновение его эскадра, стреляя на ходу из всех своих погонных двадцати трех пушек, понеслась на шведов. Эреншильд молчал, но жерла шведских орудий неотступно смотрели на мчащиеся русские галеры и скампавеи.

- Что ж он? - спросил Рябов. - Не станет палить?

- Станет! - пересохшим голосом ответил Змаевич. - Ждет.

Шведы ударили только тогда, когда эскадра Змаевича подошла на расстояние полупистолетного выстрела. Они били картечью из всех пушек. В мертвом штиле жаркого дня тяжелый пороховой дым застлал весь фиорд. Змаевич сразу же был ранен и, схватив Рябова за плечо, зашипел ему в ухо, что и кому надо приказывать. Из его рта шла кровь, он плевался за борт и опять хрипел Ивану Ивановичу, как надо поступать. В кислой пороховой вони на палубе скампавеи молча умирали загребные, коммит, артиллеристы. Рябов кинулся к пушке, забил заряд,

вдавил фитиль. Ему было видно, как ядро ударило возле трапа "Элефанта", но тотчас же он потерял сознание и пришел в себя не скоро, только тогда, когда эскадру Змаевича уже огибали галеры кордебаталии, построившиеся в две линии.

- Вишь, живой! - шипел рядом с Иваном Ивановичем Змаевич. - Это, брат, тебя оглушило, ты не ранен, я уж посмотрел. Слышишь меня али вовсе оглох?

- Слышу! - непослушным языком ответил Рябов.

- То-то, что слышишь. А бой видишь?

- Вижу. Кордебаталия пошла.

- Пошла-то пошла, да и им не сдюжать. Вишь, как по ним бьют. Ох, бьют...

Он еще сплюнул за борт, поманил к себе пальцем пожилого, измазанного копотью матроса, велел делать приборочку - к бою.

- Кончать нам придется, - говорил он шепотом Рябову. - Мы покуда отживем малость, отдышимся и опять работать станем...

На галере вместо убитых загребных появились новые, пришел молодой боцман, два пушкаря. Мертвые, покрытые флагом, лежали возле кормовой куршеи. На верейке приплыл лекарь, перевязал Змаевича, велел ему пить горячий сбитень, не двигаться, не говорить. Капитан-командор не слушал его - смотрел на левый фланг шведов, на галеру "Трапан", с которой на абордаж сцепились скампавеи второй линии кордебаталии. Отсюда было видно, как защитники и нападающие сгрудились на одном борту "Трапана", как шведская галера стала накреняться и как, зачерпнув воду, пошла ко дну. Далекий короткий вопль утопающих донесся до Ивана Ивановича, он на мгновение закрыл глаза, а когда опять посмотрел в ту сторону - абордажные суда уже отходили и на месте "Трапана" только как бы кипело море.

Вторая линия кордебаталии между тем плотным строем двигалась к фронту шведских судов. Огонь пушек противника стал слабеть, даже "Элефант", флагманский корабль Эреншильда, огрызался реже и словно бы нехотя. А русские галеры второй линии и эскадра Калмыкова, еще не

бывшие в сражении, мощной пальбой рушили снасти, поджигали запасы пороха, в щепы разносили носовые куршеи шведских гребных судов. Загорелся наконец и "Элефант" - густой рыжий дым пополз с кормы, на юте показались языки пламени.

От Апраксина к Змаевичу прибыл посланный, велел безотлагательно идти в помощь эскадре Калмыкова. Теперь Змаевич командовал не двадцатью тремя галерами и скампавеями, а всего лишь девятнадцатью, четыре нельзя было вести с собою в сражение - были перебиты и загребные, и боцманы, и абордажные солдаты.

Выслушав приказ, капитан-командор опять махнул платком. Ударили литавры, загребные навалились на весла. Иван Иванович припал к пушке, наводил, чтобы выпалить с толком. Скампавея рывками, легко шла прямо на "Элефант", словно собралась его таранить. Другие скампавеи Змаевича двигались рядом, погонные пушки их палили раз за разом по флагману шведов. "Элефант" еще выпалил из трех бортовых орудий, содрогаясь всем корпусом, и замолчал навечно. Галеры Калмыкова облепили корабль Эреншильда, абордажные солдаты цеплялись крюками за высокие борта, приставляли лестницы, но шведы били сверху из ружей, рубились палашами, кололись короткими копьями.

- Пали! - приказал Иван Иванович.

Пушка ударила, картечь с визгом смела дюжину матросов "Элефанта", рыжий солдат-преображенец наконец приставил лестницу, русские бегом, ловко, споро перебирая руками, полезли наверх - рубиться на шканцах. Иван Ивановичу было видно, как с другой галеры Калмыкова приставили еще две лестницы, как шведы ушли от борта, теснимые абордажными командами преображенцев, семеновцев, гренадер, волынцев...

А на трапе флагмана, со шпагою в руке, весь залитый кровью, обожженный и измученный, еще бился шаутбенахт Эреншильд, бился из последних сил, не зная, что его корабль уже пленен, что офицеры его свиты уже сдались, не зная, что русский капитан-командор Калмыков уже сорвал шелковый кормовой флаг "Элефанта" - золотой крест на

синем поле.

В пять часов пополудни на галере Апраксина барабаны ударили "отбой". Сражение, продолжавшееся три часа, кончилось полной победой русских моряков. На галерах и скампавеях горнисты, избоченившись, играли "отдых". Матросы и капитаны судов, солдаты и генералы, адмиралы и бригадиры умывались забортной водой, жадно пили из ковшей, перевязывали раны, поминали павших смертью храбрых, удивлялись и радовались тому, что живы. Дневная жара спала, с моря потянуло легким ветерком.

Иван Иванович на своем судне делал перекличку людям, отмечал в листике крестиками убитых. На ветерке, подстелив под себя дерюжку, дыша неровно, с хрипом, спал раненый Змаевич.

Рябов сел на банку, вздохнул, задумался. В ушах у него еще гудело, грудь заложило пороховой гарью. И было странно, что сражение кончилось, что шведские корабли стоят почти в том же порядке, как перед началом боя, но теперь на них развеваются не синие флаги, а иные - русские, андреевские, и что отныне эти корабли принадлежат русскому Балтийскому флоту.

5. ПО ПУТИ ДОМОЙ

К сумеркам следующего за баталией дня Лука Александрович в обгорелом, пропотевшем и закоптелом кафтане, со слипающимися от усталости глазами вернулся к себе на "Святого Антония". Когда он вошел, Спафариев особыми щипцами завивал себе кок на лбу. Капитан-командор постоял молча в дверях каюты, сказал погодя со вздохом:

- Предполагал я во время баталии: убьют Калмыкова, от сего дела быть единой радости - из чертогов райских али адовых увижу беспременно, как тебя, матрос Спафариев, нещадно порют. И нет тебе в мире заступника!

Вестовой Спафариев поправил кок на лбу, отставив толстую ножку, вымолвил:

- Человек предполагает, а господь располагает. Вы не убиты в баталии, а

мне поротым не бывать.

И поздравил господина Калмыкова с викторией над шведами.

- Иди отсюдова к черту! - рассердился Калмыков.

Вестовой взял свои щипцы, покрутился еще перед зеркалом, посулил:

- Небось, ныне в Парадизе славно ероев встретят.

- Тебя особо!

- А с чего и не почтить? Своей волей я в сражении не был? Да и кому оттудова видно - кто был, а кто не был, кто палил, а кто и в досаде своей череды ожидал? Метрессы об том нисколько не осведомлены...

- Уйдешь ты отсюдова? - крикнул капитан-командор.

Спафариев наконец ушел. Калмыков разделся, умылся, лег, задремал даже, но толком уснуть не поспел. Генерал-адъютант Ягужинский приказал немедля готовить каюту для генерал-адмирала Апраксина, для государева пленника шаутбенахта Эреншильда, для шаутбенахта Иевлева и иных прочих чинов.

- А чего там нового слыхать? - зевая, спросил Калмыков.

- Нового то, что весь шведский флот ушел из сих мест к себе - оберегать Стокгольм от нашей высадки.

Ягужинский тоже зевнул, вытянул вперед крепкие ноги в новоманерных, с каблучками туфлях, потянулся всем телом, заговорил усталым голосом:

- Побито, однако ж, немало народу. Нынче считали: мертвыми сто двадцать семь, да офицеров из них восемь. Раненых триста сорок один, да офицеров из них семнадцать. У шведов мертвыми насчитано триста пятьдесят два. Более трех сотен в плен народу взято...

Лука Александрович, кряхтя, натянул парадный мундир, созвал офицеров делать распоряжения. Покуда готовили каюты, наступила ночь. Начальства все не было, вместо него явился Иван Иванович Рябов, такой закоптелый и рваный, что Калмыков поначалу даже не узнал гардемарина.

- Гости-то что же наши? - спросил Калмыков. - Ждем-пождем.

- Идут, сейчас тут будут...

Апраксин поднялся на корабль первым, за ним два шведских офицера

вели Эреншильда, за пленным шаутбенахтом шел Сильвестр Петрович Иевлев. Дальше, усталые, молча поднимались Вейде, Голицын, Волков, Бутурлин, пленные шведы: капитан первого ранга - сбычившийся, с налитыми глазами, с рукою на перевязи, еще офицер без кафтана, два лейтенанта - молодые, беловолосые, испуганные...

На юте Апраксин приказал Калмыкову:

- Ты вот чего, капитан-командор, передай-кось сигналы корабельному флоту - с якорей сниматься, следовать за мною. Да шведским воинским кораблям, над которыми нынче начальником Сивере поставлен, тоже вели - следовать за нами в строе кильватера.

- Слушаюсь!

И другим голосом, совсем стариковским, с усталою хрипотцой, Апраксин спросил:

- Ну? Навоевался? Живой капитан-командор?

Погодя, оглядывая звездное небо, добавил:

- А не скоро еще домой, нет, не скоро.

- Сейчас к Швеции? - спросил Лука Александрович.

- Вот уж так сразу и к Швеции, братец! Скор ты больно, как я погляжу. Нет, не так оно будет. Галерный наш флот потрепан, еще чиниться надобно, конопатиться, пушки заменять. Нет, с королевством шведским покуда погодим. А так - побродим, людей поглядим, себя покажем. Покрейсируем, пускай, капитан-командор, кому надо приглядятся - вышли, дескать, русские флотом после славной своей виктории. Почешут некоторые затылки, подумают, пораскинут мозгами. Ну, ежели что какую диверсию сделаем, не без этого...

Он вздохнул, посидел на юте в своем широком старом кресле, погодя ушел спать.

На рассвете корабельный флот снялся с якорей и отправился в длительное плавание. Разведка и доставленные на "Святого Антония" языки точно подтвердили, что большой флот адмирала Ватранга ушел в Аландсгаф для прикрытия берегов королевства от высадки русских десантов. Пойманное близ Або каперское судно везло почту; из писем

Сильвестр Петрович понял, что в Швеции объявлена поголовная мобилизация, что на набережных многих шведских городов ставят надолбы и что победа при Гангуте есть причина всех этих действий.

Восьмого августа галеры и скампавеи русского флота заняли Аландские острова. Об этом событии Петр известил Апраксина короткой цыдулкой, присланной с гонцом на швертботе "Флюндра", взятом в плен при Гангуте.

Корабли Российского флота вышли на Балтику. Андреевские флаги развевались на осеннем морском ветру, русские суда настойчиво и упорно искали встречи с противником, искали боя, ждали случая покончить со шведским морским могуществом. Но шведы после Гангута стали осторожнее, теперь они ушли, затаились, спрятались. Только с побережий тайно в подзорные трубы агенты королевства да морские офицеры рассматривали русский корабельный флот, качали головой, кривились, сердито вздыхали: "ах, упущено время, упущено, теперь не задавишь, теперь опоздали, вышла Московия на моря!" И пытались угадать, где "Элефант", плененный русскими, где "Мортан", "Симпан". Но трудно было среди множества судов по обводам узнать свои корабли...

Русские задерживали каперов - одного за другим, ловили негоциантов, которые везли в Швецию пушки, ружья, порох, иные воинские припасы. Сильвестр Петрович делал сим нарушителям конвенций суровые внушения, оружие конфисковывалось. Негоцианты робели, ругали шведов, что не дают добрых конвоев, предлагали московитам торговлю. Сильвестр Петрович отвечал сухо:

- Для чего ж, господа негоцианты, языками дарма чесать. К нам с товарами милости просим, то вы все ведаете. Но как шли вы нынче не к нам, но к противнику нашему, сами и расхлебывайте убытки. Умнее, авось, станете...

В середине августа галерный и корабельный флот соединились поблизости от Гельсингфорса. Петр поднялся по парадному трапу "Святого Антония" - веселый, похудевший, легкий, весь бронзовый от загара, сразу заперся с Ягужинским и Апраксиным - придумывать

порядок церемонии возвращения с победой в свой парадиз - Санкт-Питербурх. Иевлев здесь же доложил ему о пушках, порохе, мушкетах, отобранных за время крейсерства, Петр поиграл бровью, почмокал чубуком, кивнул:

- Что ж, добро, друг любезный. Так и впредь делывать станем... А теперь садись с нами, церемониал надобно придумать - как возвращаться будем. Впервой я чай, на море такую викторию одержали...

Придумывали церемониал долго и весело. Лука Александрович, покуривая трубочку, из своей каюты через тонкую переборку слышал зычный хохот царя, смех Ягужинского, ворчание Федора Матвеевича:

- Ой, торжества такие не легче генеральной баталии нам будут. Ей-ей, Петр Алексеевич, кое время в море, надо бы в тихости дома-то пожить. А то ведь ден на пять расписали церемонию. Гульба, да фейерверк, да заседание сената, да еще шумства, да наград возложение...

Рано утром четвертого сентября Сильвестр Петрович, намучившись духотой в каюте, вышел подышать в одиночестве свежим морским воздухом. Но здесь, с чашкою кофе, в накинутом на плечи плаще, стоял угрюмый шаутбенахт Эреншильд. Иевлев хотел было сразу уйти на шканцы, Эреншильд своим вежливым, мерным и холодным голосом попросил уделить ему несколько минут утреннего досуга. Сильвестр Петрович холодно поклонился.

- Сия крепость именуется Кроншлот? - спросил Эреншильд.

- Именуется Кроншлот, - подтвердил Иевлев. - Именно здесь ваш адмирал Анкерштерна потерпел несколько тяжелых поражений.

Эреншильд сделал нетерпеливый жест рукой - немного кофе выплеснулось из чашки.

- Дальше будет Санкт-Питербурх?

- Да, будет Питербурх.

Помолчали.

Ветер ровно посвистывал в снастях, флот шел ходко, за кораблями оставались белые, пенные буруны.

- Это все похоже на сон! - вдруг сквозь зубы, со злобой произнес

Эреншильд. - Да, да, на очень неприятный, дурной сон. Я помню, помню сам, что тут не было никакой крепости. Здесь была плоская земля и избы, несколько изб, или как это у вас называется? А теперь здесь Кроншлот, а дальше город Санкт-Питербурх...

- Здесь - Россия! - подтвердил Иевлев.

- И в Швеции у вас тоже будет Россия? - спросил с кривой усмешкой Эреншильд. - В Стокгольме, например?

Сильвестр Петрович покосился на Эреншильда, на чашку кофе, которая дрожала в его пальцах, потом стал молча смотреть на серое, глухо шумящее море...

- Вы не отвечаете мне?

- Мне нечего ответить. Стокгольм есть столица королевства шведского.

- Однако ж я сам от вашего государя слышал, что вы предполагаете сделать там большой десант, высадку, и мне также известно, что в Швеции опасаются этого и готовятся к достойному отпору. Для чего вам сия высадка?

- Дабы принудить вашего короля к миру.

- А потом?

- И это все, гере шаутбенахт.

- Но русские флаги над столицей королевства шведского...

- Вы путаете, гере шаутбенахт, - с недоброй улыбкой произнес Иевлев. - Это в Швеции много лет толковали и, может быть, еще и нынче толкуют о шведских флагах над седыми стенами Кремля. Это ваш король изволил назначить губернатором Московии некоего Акселя Спарре. Мы же хотим иного, совсем иного...

- Чего?

- Мы хотим мира и спокойного житья. Только мира.

Эреншильд молчал, хмуро глядя вперед. И Сильвестр Петрович вдруг почувствовал, что говорить, пожалуй, вовсе не стоило, что Эреншильд принадлежит к тем людям, которые не хотят и не умеют ни видеть, ни слушать, ни понимать, к тем людям, по вине которых еще не скоро кончится на сей грешной земле грохот пушек, свист картечи, трескотня

ружей, стоны раненых:

- Вы хотите мира? - вдруг спросил швед. - Но разве он бывает? Вы хотите справедливости? Я слышал здесь, на вашем корабле о том, что сии воды и земли, к которым мы идем с вашей эскадрой, издавна принадлежат вашим предкам! Но какое нам до сего дело? Шведский здравый смысл и шведская сила, шведская храбрость и огонь шведских пушек - вот что есть величайшая и единственная справедливость, гере шаутбенахт, ужели вы несогласны со мною?

Сильвестр Петрович как бы вновь вгляделся в смуглое лицо Эреншильда, в его светлые брови, потом сказал невесело:

- Нет, я несогласен с вами, гере шаутбенахт. И более того - мне жаль королевство шведское.

Эреншильд допил свой простывший кофе, поставил чашку, плотнее закутался в плащ:

- Жаль?

- Да. Оно могло бы остаться великой державой.

И, коротко поклонившись, Сильвестр Петрович пошел на шканцы - дышать и думать в одиночестве.

В сумерки корабли принимали лоцманов. Ветер засвежел, соленые волны с шумом разбивались о борт "Святого Антония". Иван Иванович у шторм-трапа встретил отца, обнялся с ним, шепотом быстро спросил, как матушка, по-здорову ли Ирина Сильвестровна...

- По-здорову, по-здорову, чего им деется! - ласковым басом ответил лоцман. - У нас все по-здорову. У вас, я чай, шумнее было, нежели на Васильевском-то острову...

На юте возле штурвала стояли Апраксин и Иевлев - ждали выхода царя, который должен был пересесть на плененную шведскую скампавею, дабы на ней торжественно войти в Неву. На "Элефанте" должен был идти шаутбенахт Эреншильд. Иван Савватеевич поклонился обоим адмиралам, передал Сильвестру Петровичу поклон от супруги и дочерей, положил сильные ладони на рукояти огромного колеса. Царь наконец появился, быстро, плечом вперед прошагал к трапу. За ним волокли два

его походных сундучка, за сундучками угрюмо прошел адмирал Эреншильд в сопровождении своей свиты.

- Швед? - спросил Рябов у сына.

- Он! - ответил Иван Иванович. - За главного у них.

- Больно гордо ходит! - молвил Рябов. - В плен взяли, а пыху ему не сбавили. Все, небось, угощаете господина шведа, все с поклоном да со спасибом. А он нос дерет...

Апраксин молча улыбался, улыбался и Сильвестр Петрович. Подошел Калмыков, потолковал с Рябовым насчет хода кораблям, насчет парусов, насчет якорной стоянки на Неве. Засвистали дудки, ударили авральные барабаны, матросы полезли по вантинам ставить паруса. Флот двинулся, кренясь на ветру, соленые, холодные брызги взвивались до самого юта, Иван Савватеевич только отфыркивался. Все ближе и ближе делались теперь теплые, желтые, мерцающие огоньки молодого города, раскинувшегося на топких берегах широкой реки. Там - и в низких хибарках под гонтовыми и соломенными крышами, и в новоманерных домах, строенных согласно приказа полицеймейстера Девиера о трех и шести окнах, об одной или двух печных трубах, и во дворцах царевых любимцев со штофными обоями, со штучными наборными полами - везде ждали моряков матери, жены, дети, невесты, дружки, везде паром исходили пироги - от ржаных со снетками до самых необыкновенных, огромных - с карлами, затаившимися в начинке, с фейерверками, которые должны были ударить и рассыпаться огнем, как только сядут во дворце за пиршественный стол...

Никто не спал в эту ночь в городе Санкт-Питербурхе - ни на Васильевском, ни в Адмиралтейской части, ни в Оружейной, ни в Певческой, ни в Монетной улицах, где жили ремесленники, ни возле Карповки, где вовсе кончался город и стоял забор от волков, что то и дело забирались в столицу и задирали скот, чиня немалые убытки горожанам. Не было нынче семьи, где не ждали бы близкого человека, который в это время либо с корабля, либо с галеры, либо с фрегата или брига жадно всматривался в бегущие навстречу огни петербургских

окраин.

- Ну чего же дома-то? - спросил Апраксин лоцмана.

- Живем помаленьку, господин генерал-адмирал! - ответил Рябов. - Вишь, городишко наш светится. Поджидает плавателей. С почетом встречают, стрельба многопушечная объявлена, иные разные куриозы...

- Чего, чего? - спросил Иевлев.

- Да говорят так люди - куриозы, ну и я говорю...

Рябов переложил штурвал, цепко всмотрелся в ночную мглу, сказал Иевлеву:

- Гляди на Васильевский, Сильвестр Петрович. Там некоторые известные тебе особы фонарем машут. Вишь? Вон - вверх да вниз. Не видишь?

- Вижу! - глухим голосом ответил Калмыков. - Как не видеть!

- Машут, Иван Савватеевич, да не мне! - усмехнулся Иевлев. - Гардемарину твоему...

- И тебе, а как же! Тебе тоже...

- Разве вот, что тоже. Наше времечко миновалось, Иван Савватеевич, за прошествием младости...

По правому борту, обгоняя корабли, с барабанным боем, с уханьем литавр и басовитым пением труб, пошли головные галеры Петра. Смоляные, чадящие на ветру факелы высвечивали пленных шведских офицеров, смуглое тяжелое лицо Эреншильда, флаг его эскадры, щелкающий на невском сыром просторе. На берегах - и близко, на Исаакиевской колокольне, и далеко, у Николы на Мокрушах, и в иных малых церквах - весело зазвонили колокола, с верков Петропавловской крепости разом ударили все пушки - и тяжелые и легкие. Над шведскими пленными судами разорвались хитрые ракеты, в черном сыром небе долго пылала надпись: "уловляя уловлен". По Неве, по крутым ее волнам помчались к кораблям, становящимся на якоря, верейки, лодки, швертботы, малые парусные суда. Отовсюду кричали, махали треуголками, шапками, смоляными факелами.

Федор Матвеевич Апраксин поднялся со своего старого кресла, вздохнул, негромко сказал Рябову:

- А не свезешь ли ты меня, друг любезный, Иван Савватеевич, незаметно за сим шумом, на вереечке своей к дому моему. Приустал я нынче за поход, да и кости на сырости морской ныть что-то стали. Прибуду, истопят мне баньку, отлежусь, может, Петр Алексеевич и не спохватится...

- Зачем не свезти? Свезу! - пообещал Рябов. - Ты толичко, Федор Матвеевич, плащ бы какой победнее да подырявее накинул на мундир. А то больно много на тебе золота, да регалиев, да кавалерии разной, да блеска всякого. Узнают - и не попаришься в баньке...

- Оно так...

Плащ победнее нашелся и вдвоем - первый лоцман с генерал-адмиралом - спустились в верейку. Рябов свез Апраксина к его дворцу, потом отправился обратно через Неву на Васильевский остров. Пушки попрежнему грохотали - и возле адмиралтейц-коллегии, и возле Сената, и с Троицкой площади, и с верков крепости. Фейерверки один за другим, а то и по нескольку вместе лопались в черном, беззвездном, затянутом тучами небе, оттуда сыпался золотой и серебряный дождь, падали фигуры дев, воинские доспехи из разноцветного пламени, иные непонятные загогулины, именуемые аллегориями.

Поглядывая на все это великолепие, Иван Савватеевич перевез себя на Васильевский, привязал верейку возле иевлевской пристани, сладко потянулся и пошел по ступенькам наверх, как вдруг возле старой березы заметил неподвижно стоящего Сильвестра Петровича.

- Что к столу не идешь, господин шаутбенахт? - спросил лоцман. - Заждались тебя, поди. Когда и пошумствовать, как не нонче. Есть об чем! А и пироги напечены у нас-то, а и убоины наварено...

Сильвестр Петрович все молчал.

- Вишь молчит, думает! - молвил Рябов. - Об чем задумался-то, господин шаутбенахт?

- Об нас и думаю. Вспомнился вот некий день давний в цитадели Новодвинской, как толковали мы с тобою, ища чем спасти первые корабли российского флота. Небось, и ты тое время не позабыл...

Рябов помолчал, погодя произнес неторопливо, с усмешкой:

- Нет, не позабыл. А что сегодня вспоминаем, то оно, пожалуй, и к месту. Много в те поры нам досталось - мужику-то, морскому старателю. Нехорошо забывать...

- Оно, авось, и не забудется! - с угрюмым спокойствием произнес Иевлев.

ЭПИЛОГ

Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и при громе пушек.
Пушкин

Миновало еще несколько лет.

Холодной весенней ночью Рябова разбудил незнакомый солдат - скороход из адмиралтейц-коллегии - с приказом без промедления поспешать к месту.

Таисья, сердясь, что даже и ночью не дают лоцману покоя, собрала ему узелок, как всегда, провожая мужа в море, постояла у калитки и вернулась в дом. Иван Савватеевич, позевывая спросонок, шагал за солдатом, спрашивая, чего такое стряслось, что он вдруг занадобился ни свет ни заря. Скороход помалкивал.

- Молчишь? - осведомился лоцман. - Ну-ну, молчи, молчи, должность твоя такая. Знаешь много, а болтать не велено.

В низком зале коллегии над ворохом морских карт сидели в расстегнутых кафтанах генерал-адмирал Апраксин, адмиралы Крюйс и Сильвестр Петрович Иевлев. Дверь в соседнюю комнату была открыта, оттуда доносились голоса царя Петра и знаменитого кораблестроителя Федосея Скляева. Петр Алексеевич сердился, Скляев в чем-то оправдывался.

- Чего долго шел? - спросил Апраксин насмешливо. - Стар вдруг стал, что ли?

- А и не молодешенек, господин генерал-адмирал! - ответил Рябов. - Ушла, убежала наша молодость. Старого лесу кочерга...

Апраксин велел ему садиться и ждать Петра Алексеевича. Лоцман сел не близко, не далеко - по чину. Генерал-адмирал заговорил, обращаясь к Иевлеву, видно продолжая начатую дотоле беседу:

- То все так истинно, так они и раньше делывали, так и впоследствии будут, понеже доброе наше - им нож вострый. Недаром Василий Лукич Долгоруков в свое время государю писал, что аглицкие послы в Копенгагене двигали небо и землю, чтобы сдержать датчан от военного союза с нами против шведов. А немногим позже Долгоруков государя уведомил, будто некая знатная особа посылается от англичан в Швецию с тайным обещанием, что-де все шведами потерянное без труда и без убытку англичане по генеральному миру им вернут и чтобы там в сумнении не были после Полтавской нашей виктории...

Иевлев перебил сердито: сулить они умеют, а все для того, чтобы война не кончилась. Когда бы не англичане с их обещаниями шведам, небось после Полтавы шведы сразу угомонились бы.

- Несносно им то, что Россия на свое море вышла, - продолжал Апраксин. - Почивший шведский Карл чего не сделал сам, не поспел, то аглицкому Георгу завещал. Да, Георг попроворнее покойника, поухватистее. Вот и приказал адмиралу Норрису шататься своими кораблями, пакостить нам похуже, дабы, испугавшись, ушли мы с Балтики... Как там говорят, Норрис похищение затеял?

- На эдакие проделки у них мастеров сыщется немало, - ответил Иевлев. - Адмирал сэр Бинг по приказу короля Георга отправил два фрегата - один к Данцигу, другой к Кенигсбергу, - чтобы схватить шведского первого министра, который на Аландские острова сбирался для мирных переговоров с нами. Шведский же Герц - и сам вор не хуже аглицких воров - отбыл из Ревеля. Те с носом и остались. А сэр Джон Норрис будто возымел намерение наших полномочных министров схватить, но авантажу не сыскал, припоздал со своим флотом. Пиратствуют господа аглицкие моряки...

Рябов молчал, слушал, переводя внимательные глаза с Апраксина на Иевлева.

Апраксин, щурясь на огонек свечи, сказал задумчиво:

- Ужо справимся, выйдем нынешним летом на Балтику всем нашим большим флотом. Почешется Норрис. Когда вышли на море - плавать надо, так и государь рассуждает...

В соседней комнате зычно засмеялся Петр, через залу прошел Федосей Скляев со свертком чертежей, поклонился адмиралам, закрыл за собою дверь. Адмиралы встали. Петр широким шагом подошел к камину, щипцами вынул уголек, стал раскуривать трубку. Попыхивая сладким дымом, спросил:

- Об чем толкуете?

- Да вот Сильвестр Петрович рассказывал об хитростях некоторых, - ответил Апраксин. - Норрис плутни на Балтике развел, пиратствует...

Царь, топорща седеющие усы, с трубкой в руке прошелся по залу, сказал строго:

- Мы на Балтику вышли и на ней твердо стоим. И ни дети наши, ни внуки, ни правнуки сего края не уступят, дабы пролитая кровь воинов наших не возопила. Нас же пусть сии пираты не пугают, не пужливые. Шведа усмирили, тих стал, а кем был - вспомните! Над всею Европою стоял. Георгу же аглицкому, как и иным прочим потентатам, почаще надобно напоминать Карла Двенадцатого прискорбную судьбу.

Он близко подошел к Рябову, спросил другим, веселым голосом:

- Вовсе обжился в Питербурхе, лоцман? Позабыл славен город Архангельск?

- Он дом построил! - сказал за Рябова вице-адмирал Иевлев. - Да не избу, а как по регламенту велено - из кирпича, под черепицей, по фронту три окошка. Огород развел, корову купил, молочко кушает...

- Корова, я чай, не бешеная? - усмехаясь, спросил царь.

- Для внуков, Петр Алексеевич, без коровы никак не обойтись. А что не бешеная, так те времена, государь, миновались. Так, иной раз для ради праздника побалуешься, а гулять по-давешнему - нет, трудненько!

- Ишь ты, какой старичок старый! - смеясь глазами, сказал Петр. - Однако после виктории при Гангуте имели мы честь видеть вас в веселом

духе. Крепко вы шумствовали, господин первый лоцман...

- Сын тогда, государь...

- Сын, сын! Слава господу, понимаем, сами твоего сына при деле видели, однако ж не скромничай, можешь еще себя показать, каков ты есть архангельский кормщик.

- В те поры - гангутские - помоложе, чай, был...

- Помоложе? А мы так рассуждаем, что и нынче ты, лоцман, не стар, да только маленько к берегу прилепился. В море пойти надобно наподольше, соленым милым сердцу ветром подышать...

Кормщик стоял неподвижно, зеленые его глаза из-под седых бровей остро смотрели на царя.

- Давеча в Москве делали мы натуральный екзамен навигаторам нашим, коих обучает флота лейтенант Рябов Иван сын Иванович, - говорил Петр. - Сын твой, господин первый лоцман, малый не токмо пороху понюхавший и пушечного огня повидавший, но еще и в науках прилежный и других учит добрыми навигаторами быть. Навигацию плоскую, навигацию меркаторскую, сферику не токмо сам в совершенстве постиг, но и других учит - лучше и не пожелаешь. Лейтенант сей с учениками своими весьма нас обрадовал, и приняли мы решение: навигаторов наших за границу для прохождения морской практики не посылать. Есть свой флот, есть и капитаны кораблям. На верфях в городе Архангельске, как и в прочих местах, строим мы корабли. Отныне перегонять их оттуда на Балтику будем ежегодно при помощи молодых навигаторов. Польза немалая для юношей-моряков. Тебе же, лоцман, повелеваем плавать с навигаторами дядькою, учить их морской практике, тому учить, что и нами в стародавние годы в толк взято было от тебя.

Рябов молчал. На обветренном лице его, покрытом тонкой сеткой морщин, проступили красные пятна.

- Нынче пойдут три пятидесятидвухпушечных корабля, - продолжал Петр, - "Гавриил", "Архангел Михаил" и "Рафаил". Командором над эскадрой отправляем мы господина вице-адмирала Иевлева Сильвестра Петровича.

По пути сделает эскадра визитацию в порт Копенгаген, дабы видели там порядок нашего флота и дружеское наше расположение к сему государству...

Подкинув несколько поленьев в камин, Петр подгреб угли и постоял, глядя, как пламя бойко и весело побежало по смолистым дровам. Потом кивнул Рябову:

- Так-то, лоцман! Иди, сбирайся в дальний вояж. Вернешься - с тебя спрошу, как навигаторы истинными моряками сделались.

Рябов вышел, захватив с собою Таисьин узелок, словно сразу же собрался в море.

Петр сел в кресло, вытянул длинные ноги к камину, усмехнулся:

- Видали, как побежал? Будто и правда тридцать годов долой. А вернется и вовсе вьюношем. Море-то душу веселит.

И спросил:

- Капитанами кого на корабли, Сильвестр?

Иевлев быстро переглянулся с Апраксиным, тот ответил:

- Думаю, государь, не шли бы капитанами англичане. Нынче, слава богу, дожили, есть у нас и свои моряки - истинные, природные россияне.

Петр пробурчал не оборачиваясь:

- Пиши роспись русским.

- Написана! - с готовностью ответил Апраксин. - Все трое - капитан-лейтенанты. На флагманском корабле пойдет Егор Пустовойтов.

- Озорник твой Пустовойтов, горяч, пожалуй, а?

- Укатается! - мягко сказал Апраксин. - Молод еще, оттого и горяч.

И подошел к Петру с пером и росписью. Адмирал Крюйс, покуда молчавший, заметил, покашливая:

- Все же некоторые иноземные капитаны имеют опыт...

- И адмиралы, как ты! - вдруг крикнул Петр. - Забыл, как "Выборг" на мель посадил? Едва из ссылки возвернулся, уже гавкаешь! Может, Рейса твоего хваленого, что противника упустил, обратно к флоту вернуть? Сиди да молчи, не то навеки из службы выбью!

Он сердито подписал бумаги, вернул Апраксину, спросил - еще чего

надо. Тот сказал решительно:

- Я в рассуждении сего первого лоцмана, государь. Ты погляди вокруг, сколь великое множество людей высоких чинов достигло: Сильвестр Петрович - вице-адмирал Российского флота, я - генерал-адмирал, ты - тож вице-адмирал, Памбург да Варлан шаутбенахты...

- Ну! Что тянешь?

- А Рябов как был на Двине первым лоцманом, так и на Неве все первым лоцманом ходит...

Петр встал, постучал Апраксина согнутым пальцем по лбу, сказал добродушно:

- Вишь, беда какая: стар ты, Федор Матвеевич, сед ты, вовсе плешив, а ума и по сей день не нажил. На Руси еще сколь великое множество будет подобных нам вице-адмиралов, генерал-адмиралов, шаутбенахтов и иных прочих, в высоких чинах обретающихся. А первый лоцман, покуда Русь живет, навеки в ее гиштории един пребывать будет. Для того он и первый! Понял ли, садовая голова?

- Как не понять! - не без смущения ответил Апраксин.

- А ежели понял, то поедем! Не рано!

Уже наступил день, когда они вчетвером вышли из здания коллегии. Гвардейцы сделали на караул, к крыльцу подъехали одноколка Петра и экипаж Апраксина.

- Садись со мной! - велел Петр Иевлеву и подмигнул на Крюйса. - Вишь, надулся...

Апраксин отъехал. Петр разобрал вожжи, взмахнул кнутом, одноколка, кренясь на выбоинах, гремя коваными колесами, быстро понеслась вдоль Невы ко дворцу. Берег полого спускался к воде, петербургские жители уже выгнали пастись коров. Двумя передними ногами враз прыгала у самой воды стреноженная кобылица, ее жеребенок пил из реки. Справа над огородами, над чахлыми палисадниками, над низкими домами летало воронье, громко, картаво каркало. За Невою, на Васильевском, ветер плавно кружил черные мельничные крылья, там на мельницах терли доски для Адмиралтейства.

- Будешь с визитацией в королевстве датском, в городе Копенгагене, - сказал Петр Иевлеву, - с почестями примешь на корабль книгу покойного нашего Хилкова; сей муж скончал живот свой в шведском плену и непрестанно трудился, вплоть до кончины. Примешь и останки Андрея Яковлевича, похороним с честью здесь на кладбище Александра Невского...

Спросил, повернувшись к Иевлеву лицом:

- Ты сколько времени дома-то не был? Месяц, два?

- Поболе, государь. Как началась высадка в Швеции нашего войска, с тех пор и не бывал. Год скоро...

- Ну, наведайся, наведайся домой, - рассеянно произнес Петр. - Уже, небось, и дедом станешь вскорости?

- Давно дед! - с улыбкой ответил Иевлев. - Двух внуков видел, а третью - внучку - еще не поспел повидать, в плавании пребывал.

- Ты вот что! - совсем не слушая Иевлева, перебил Петр. - Ты в Архангельск как приедешь - сам посмотри, готовы ли они доброго друга, аглицкого вора, приветить. А губернатору Лодыженскому я нынче же указ заготовлю. С сим указом и поскачешь. Да растряси губернатора, растолкуй ему как делать надобно...

Он остановил одноколку у нового двухэтажного дворца в Летнем саду близ Фонтанки, кинул вожжи выбежавшему денщику и, взяв Иевлева за локоть, вошел с ним в сени, все еще рассуждая об Архангельске. В столовой Петр крикнул:

- Щей горячих, Фельтен, да живо!

Хлебая горячие щи, обжигаясь, сердито диктовал Иевлеву мемориал губернатору в Архангельск:

"...чтобы от аглицких воинских кораблей имел осторожность, и гостиные бы дворы палисадами и больверками укрепил и пушки поставил, и торговые суда поставил бы в безопасное место..."

Подписав бумагу, Петр сам пошел в кабинет, принес оттуда кожаную сумку, раскрыл ее, показал Сильвестру Петровичу копию с секретного приказа адмирала Норриса по эскадре. Твердым ногтем были

подчеркнуты слова: "...во всякое время, когда вы нагоните какие-либо русские суда, вы должны принять все меры, чтобы захватить, потопить, сжечь или каким-либо иным способом уничтожить их". Здесь была и другая копия - с письма сэра Стэнгопа тому же Норрису. Сильвестр Петрович опять прочитал отчеркнутые строчки: "Не остается желать ничего лучшего, как только чтобы его суда и галеры попались на вашем пути, причем нет сомнений, что вы надлежащим образом разделаетесь с ними..."

Иевлев дочитал. Петр, хмурясь, запрятал бумаги в сумку, заговорил, расхаживая по комнате, глубоко засунув руки в карманы кафтана:

- Двадцать один линейный корабль и десять фрегатов у него, нынче все они в Швеции. Привели шестьдесят торговых кораблей с товарами, для чего? Дабы и мы и шведы кровью изошли, тогда аглицкие сэры да пэры обрадованы будут и кнут в руки возьмут - Европою командовать. Да что нынешние времена - вспомни посольство Украинцева в Турцию, как там господин аглицкий посол в те поры пакостил...

Он подошел к столу, оперся на него обеими руками:

- И заметь себе, Сильвестр, что бы ни делали, как бы ни хитрили, кого бы ни обманывали - слова всегда одни: для ради божьего мира на земле, для ради доброй торговли и прибытков, для ради дружества и любви меж государствами... Лицемеры, ханжи, наветники треклятые.

Отнес сумку в кабинет, было слышно, как лязгнул там замок, вернулся, сказал:

- Поедем! Покажу тебе, каков корабль нынче заложен...

Выйдя из здания коллегии, Рябов неторопливыми шагами направился к перевозу, который был расположен невдалеке от деревянной церковки во имя святого Исаакия.

Здесь всегда кипела жизнь: лодки сновали между Адмиралтейством, Васильевским, Аптекарским, Фоминым островами, развозя служилый и ремесленный народ по молодому городу. Офицеры в плащах и треуголках, при шпагах, солдаты и матросы, торговки с коробьями, попы, купцы, иноземные лекари, плотники, каменщики, девки и пожилые

женщины во всякую погоду привычно прыгали в шаткие невские посудины, платили копейки и гроши за перевоз, перевозчики ловко гребли легкими веслами, огибая корабли, стоящие на якорях...

Нынче еще издали Рябов заметил, что привычная картина изменилась: весь берег у перевоза был оцеплен конными драгунами, и лодки не бороздили, как обычно, полноводную реку, а плыли все вместе, рядом, тяжело нагруженные какими-то лохматыми и оборванными людьми.

- Колодников везут? - спросила у Рябова маленькая старушка, вглядываясь в лодки.

- Колодников, мать, - ответил Рябов.

- Много?

- Да, вишь, сколь лодок гонят - должно, все колодники...

Старушка покачала головою, утерла слезинку, стала развязывать платок, готовясь подать милостыню. Офицер, привстав в стременах, зычным голосом крикнул:

- Выходи-и-и на берег!

Первая лодка ударилась бортом о дощатый настил, колодники, гремя цепями, тяжело опираясь друг на друга, начали перебираться на пристань, оттуда прыгали в жидкую прибрежную грязь. Драгуны расступились, офицер опять крикнул:

- Выводи, выводи повыше, пусть там дожидаются...

Рябов не успел сойти с дороги - первые ряды колодников быстрым шагом уже проходили мимо него, совсем близко, так близко, что он даже слышал тяжелое дыхание людей. И совсем рядом, опираясь на посох, прошел седобородый, седоволосый человек с вырванными ноздрями и сухим, жгущим блеском глаз. Этот блеск зрачков, завалившиеся, словно бы обгоревшие щеки, крупные завитки волос что-то напомнили Рябову, что-то давнее, что-то дорогое и близкое. Он даже задохнулся и, сам не слыша своего голоса, крикнул:

- Молчан? Стой, Молчан!

Седобородый колодник быстро обернулся, хотел было остановиться, но его толкнули в спину, и он зашагал дальше, гремя своими цепями,

высоко держа простоволосую курчавую голову.

Рябов, словно молодой, рванулся вслед, оттолкнул солдата, схватил Молчана за рукав ветхого, в заплатах азяма. Тот опять оглянулся и очень радостным, но спокойным голосом сказал:

- А я было подумал - обознался. Ну, здравствуй, кормщик...

- Поживее! - с коня закричал офицер. - Проходи-и!

Колодники все выходили и выходили на берег, шагали быстро под окрики и брань конвоиров, вытягивались длинной серой лентой. Один солдат хотел было оттиснуть Рябова в сторону, но испугался его взгляда и побежал вдоль колонны, как бы занятый другим, более важным и спешным делом.

- Встретились, значит, - говорил Молчан на ходу, вглядываясь в кормщика пристальным, ласковым и лукавым взором. - Ишь, сколь много времени миновалось, а мы все живы. Судьба...

- И то судьба! - стараясь приноровиться к тяжелому, но ровному шагу Молчана, повторил кормщик. - Не померли...

- Я думал, в те поры и не отжить тебе. Крепко тебя швед обласкал. И по сей день помню: тронули мы тогда тебя - на телегу класть, а из тебя опять кровищи, и-и-и! Стоим, раздумываем - помрешь али нет. Федосей покойный посчитал - семнадцать ран было...

Рябов шел рядом, глядя в сторону.

- Да ты что от меня воротишься? - спросил Молчан. - Ты что на меня не глядишь?

- Того не гляжу, - словно собравшись с силами, ответил Рябов, - того я на тебя не гляжу, что вот и поныне я жив-здоров, а ты закован, и клеймен, и ноздри у тебя рваные, и персты рублены. А ведь за людей, за меня, за правду нашу ты да Федосей Кузнец смертное мучение приняли, когда челобитную везли царю...

Молчан усмехнулся, вздохнул, покачал головой.

- Нет, друг любезный, - сказал он ласково, - нет, Иван Савватеевич, не за то секли меня кнутом нещадно, не за тебя рвали ноздри и персты рубили: в те поры ушел я, ох, ловко ушел, за твое золото ушел и долго,

мил человек, по белому свету гулял. Ну, гуля-ал!

Глаза его опять блеснули сухим огнем:

- Славно гулял, многие меня, небось, и по сей день добрым словом поминают! Побывал в дальних краях, и на Волге-матушке, и на Дону на тихом. Много нашего брата там - и солдаты беглые, и казаки, и работные люди, и холопи вольные, и голытьба...

Быстро, шепотом спросил:

- Про бахмутского атамана Булавина слыхивал ли?

И, не дожидаясь ответа, сказал:

- Его-то самого нынче и в живых нету. Атаманом Всевеликого Войска Донского ходил. Ну, мужик! С ним и был я все время, поднимал голытьбу. Да продали нас... И тогда я еще ушел, спасся. Столь повидал - иному бы и на три жизни хватило...

Он задумался, потом с тихой яростью в голосе спросил:

- Думаешь, не уйду? Так тут и останусь? Шесть разов уходил, уйду и на седьмой. Оглядеться только надобно, сбежать без промашки, иначе голову отрубят. Нет, я, друг милый, уйду, догуляю свое...

Драгунский офицер рысью обогнал колодников, крикнул Рябову:

- Ты тут што? А ну, в сторону!

Проскакал дальше, замахнулся плетью на молодого колодника, который тяжело волочил цепи, никак не мог поспеть за своим рядом.

Рябов быстро поискал по карманам, нашел малую толику денег, отдал Молчану вместе с узелком, что собрала Таисья. Тот сразу взялся за лепешку, тряхнул кудрявой своей головою, попрощался:

- Ну, кормщик, иди, неровен час, огреет тебя наш дьявол плетью. Видать, более не повстречаемся. Разные у нас с тобою дороги. А все ж помни: станет невмоготу - беги на Волгу.

Жуя лепешку, он на ходу оглядел небо, серые невские воды, лес, что густо чернел сразу же за церквушкой святого Исаакия, произнес с удивлением:

- Ишь, куда загнали нас: Санкт-Питербурх...

И, подобрав рукою с отрубленными пальцами цепи, но оборачиваясь

более к Рябову, быстро зашагал со своими колодниками. Офицер, вертясь в седле, надрывая глотку, закричал:

- Сворачивай! Передние влево бери, на верфь! Влево-о!

И словно не было никакого Молчана, словно все почудилось - исчезли и драгуны и колодники, только издалека все слабее и слабее доносился мерный звон цепей.

"К Сильвестру Петровичу! - думал Рябов. - Идти, просить? Как-никак родственник, свой! Или к Апраксину? К самому Петру Алексеевичу?"

Дома он рассказал Таисье о встрече с Молчаном. Она выслушала не перебивая, утерла слезы, сказала уверенно:

- Никто не поможет! Да и не надо ему ихнее прощение! Не примет...

Лоцман сидел на лавке молча, сгорбившись, опустив голову. Таисья встала, принесла из погреба штоф с холодным, настоенным на смородине хлебным вином, нарезала копченой рыбы, позвала:

- Иди, Савватеевич, отдохни!

И сама, своей тонкой, по сей день легкой рукой, налила ему большой, тяжелый стакан водки. Он выпил - она налила еще. И спросила:

- Полегче?

- Нет! - ответил он, потирая грудь. - Саднит, Таечка!

Из Архангельска эскадра с молодыми навигаторами вышла в путь 7 июня 1720 года. На мощных валах Новодвинской крепости трижды рявкнули пушки, салютуя кораблям, уходящим в дальнее плавание. "Гавриил" - флагманский корабль эскадры - ответил на салют тоже тремя выстрелами. Вице-адмирал Иевлев, капитан-лейтенант Пустовойтов и Рябов с молодыми навигаторами собрались около грот-мачты.

- Лево два градуса! - велел Рябов сыну, стоящему у штурвала.

И пояснил:

- Мель тут, по старопрежним временам знаю.

Глаза лейтенанта Рябова засветились, он переложил руль, молодые навигаторы зашептались вокруг - вспомнили историю подвига кормщика Ивана Савватеевича. Корабли эскадры, кренясь под полным ветром,

бежали к двинскому устью. У шанцев Иевлев что-то негромко сказал Пустовойтову, тот велел приспустить флаги. Навигаторы выстроились лицом к правому борту, встали смирно. Сильвестр Петрович прошелся вдоль строя, произнес, провожая глазами шанцы:

- Здесь доблестно погиб капитан Крыков Афанасий Петрович, здесь славно он со своими солдатами бился против врага. О сем вы, будущие флота офицеры, вспомнить нынче должны.

Большую часть вечера и почти до полуночи Иевлев в кают-компании рассказывал навигаторам о давнем сражении со шведами на Двине. Он говорил так, будто его в ту пору здесь вовсе и не было, но навигаторы знали прошлое своего вице-адмирала и слушали жадно, порою поглядывая на кормщика, который курил трубку, сидя в стороне и иногда вставляя какие-либо замечания.

- Много прошло с тех давних пор славного, - заключил Сильвестр Петрович, - превеликие виктории одержаны русским оружием. Помните вы и Полтаву, и Гангут, и посещение Российским флотом Копенгагена, когда честь командования соединенным флотом принадлежала государю нашему Петру Алексеевичу. Но все-таки, господа навигаторы, надлежит вам помнить и сию нашу двинскую баталию, ибо через нее началось наше движение на Балтику, отсюда пошли мы в те далекие годы на Нюхчу, позже - волоком на Ладогу. Тогда и уверились мы в своих силах. Коли захотите поподробнее все то сведать - еще потолкуем на досуге. А знать вам все надобно - ибо какой же флота офицер может статься из человека, коему скучно славное прошлое отцов и дедов, ратные их дела, воинская работа. Теперь же, судари мои, спать, засиделись мы с вами поздно, завтра же быть подъему раннему - по морскому обычаю, и требовать с вас начну как с истинных флота офицеров.

Навигаторы поднялись, но все-таки не ушли. Чей-то робкий голос спросил о взятии Нотебурга - как оно было. Сильвестр Петрович с усмешкой ответил, что тому есть свидетель лейтенант Рябов Иван Иванович, по прозванию "Нерушимое решение".

Кормщик засмеялся в своем углу. Иван Иванович, разрумянившись,

пощипывая усы, начал было говорить, но кормщик перебил, спросив:

- Барабан-то канул? Одни колотилки остались? Да и как он канул, когда ему плавать надлежит?

- Да сколь раз я, батюшка, сказывал, - и сердясь и смеясь, ответил Иван Иванович. - Пробили мне его палашом, вот он и канул...

Сильвестр Петрович смеялся, кормщик утирал веселые слезы. После стали вспоминать иные сражения, каждый из молодых навигаторов что-ибудь да слышал, у многих отцы, братья, дядья, деды служили в корабельном, либо в галерном флотах, в артиллерии, в гвардии, в пехоте, в гренадерах.

С утра началась обычная походная жизнь. Иевлев, Егор Пустовойтов, молодой Рябов делали учения с навигаторами, те трудились и за матросов, и за пушкарей, и за штурманов: лазали на мачты, прокладывали курс кораблям, как бы заряжали и палили из корабельных орудий, брали высоты небесных светил.

В вечерние часы навигаторы подолгу слушали кормщика. Сидели на баке, дымили трубками, разглядывали облака, тучи, волны, учились вслушиваться в голоса ветров. Здесь же иногда сиживал и вице-адмирал.

На траверзе Борнгольма эскадру застиг жестокий шторм.

Егор Пустовойтов спокойно стоял на юте, командовал кораблем. Сильвестр Петрович был здесь же, ни единого разу не вмешался в приказания капитана флагманского корабля - на Егора можно было положиться. Рябов, солоно подшучивая над укачавшимися зелеными навигаторами, толковал им о том, что и для чего делается на судне. Они слушали рассеянно, охали, но не ложились и, когда шторм миновал, долго не верили ни голубому небу, ни спокойному морю...

Копенгаген встретил русскую эскадру приветственным салютом. Тотчас же прогремели ответные залпы, от пристани отвалила шестерка датского капитана над портом.

- Ничего народишку высыпало! - сказал кормщик, вглядываясь еще зоркими глазами в берега гавани Христианхазен, с которых слышались приветственные клики датчан. - Почитай, весь город. И еще бегут, ну-ну,

сколь народищу...

- А чего ж им не бежать? - ответил Пустовойтов. - Им, бедолагам, почитай что одна надежда на нас, не то швед вовсе и с потрохами сожрет...

На шканцах барабаны коротко пробили "встречу", Сильвестр Петрович в мундире, при шпаге, в треуголке, в белых тугих перчатках подошел к парадному трапу. Датчанин - капитан над портом, худощавый старик в синем кафтане, в белых чулках, - увидев русского вице-адмирала, побледнел от волнения, но тотчас же, овладев собою, ответил на учтивый вопрос о здоровье короля и сам спросил, здоров ли его миропомазанное величество государь Петр.

- Его величество в добром здравии! - ответил Иевлев и пригласил капитана над портом проследовать в адмиральские апартаменты и не побрезговать хлебом-солью.

Барабаны опять ударили "парад".

Капитан над портом вошел в каюту Сильвестра Петровича. Здесь в серебряном графине стояла русская водка, икра в серебряном же жбанчике, в корзине ржаные корабельные сухари.

- Здоровье вашей милости! - произнес Иевлев, поднимая чарку.

- Здоровье вашего превосходительства! - ответил датчанин.

Они чокнулись. В открытые окна донеслись звуки музыки с берега, далекие, радостные голоса.

- В королевстве датском нынче праздник? - спросил Сильвестр Петрович.

- Да! - ответил старик. - Большой праздник! Русская эскадра посетила столицу Дании. Приход тех, кто поможет нам сбросить шведское ярмо, - великий праздник!

Пальцы капитана над портом слегка задрожали, он поставил выпитую чарку на стол, прислушался: ветер с берега вновь донес обрывок веселой песни, звуки рожков.

- Так встречает вас Копенгаген, - опять заговорил капитан над портом. - Девятнадцать лет тому назад шведская эскадра по пути в ваш город Архангельск была здесь. Ни один датчанин не появился тогда в порту. Я же взбирался на флагманский корабль шведов по штормтрапу, пьяные

матросы глумились надо мною. Чтобы унизить мое отечество, меня принимал боцман... Дело не во мне, господин вице-адмирал, о, нет, дело в моем государстве. Все надежды, все упования, все чаяния нашего народа связаны с Россией, с близкими днями ее полной и окончательной виктории над проклятым раздувшимся пауком - над Швецией. Бог да поможет вам, как вы поможете королевству датскому.

Мгновенная улыбка, умная и тонкая, едва тронула губы Сильвестра Петровича.

- Однако же в недавние дни королевство датское подписало мирный договор со шведами, - произнес он, - для чего?

- Флот сэра Джона Норриса принудил робких, - ответил капитан над портом, - и этот же флот доставил в Копенгаген английские фунты стерлингов, дабы покорить жадных. Король английский желает продолжения войны русских со шведами и делает для этого все, что может, но всякий честный человек в Дании ждет только одного: победы русских...

Сильвестр Петрович поклонился.

- Сегодня Копенгаген будет иметь честь принимать дорогих нашим сердцам гостей, - сказал капитан над портом. - Двери всех домов будут открыты для ваших офицеров и матросов. Бургомистр города будет рад видеть вас у себя, господин вице-адмирал.

- Но как на сие взглянет посол Англии? - спросил Иевлев.

Старик, капитан над портом, подумал недолго, потом встряхнул головою, произнес весело:

- Можно купить жадных и испугать трусливых, но немыслимо заставить народ забыть то доброе, что сделано для него русскими. В нашем королевстве нет ни одного человека, который бы не знал, что русский царь Петр на Аландском конгрессе не дал шведам на растерзание нашу страну. Русские полномочные министры более заботились о нашем будущем, нежели...

Он махнул рукой и не договорил.

- Мой офицер известит ваше превосходительство, - сказал погодя

капитан над портом, - о времени, когда все будет готово к приему ваших команд. До свидания, господин вице-адмирал...

Офицер поднялся на "Гавриила" только вечером. Иевлев с усмешкой спросил лейтенанта, не поздно ли нынче отпускать матросов в город? Тот, смутившись, ответил, что понимает все неприличие столь долгой задержки, но Дания маленькая страна, а посол Англии упрямый человек...

Солнце уже село, когда на всех трех кораблях русской эскадры запели горны, извещая команды о том, что они могут съехать в Копенгаген. Матросы посыпались в шлюпки. Над тихим морем широко и вольно зазвучала русская песня:

Улица, улица, широкая моя,

Травка-муравка, зеленая моя...

На мосту Книппельсбру идущих строем матросов встретили девушки в белом, с венками на головах, с большими букетами цветов. Матросы остановились, девушки тоненькими, умильными голосами спели непонятную песенку. Моряки стояли, не зная, что с собой делать, держа треуголки в руке, как в церкви. Над городом медленно всходила полная луна, девушки все пели и пели. Потом вперед вышел мужчина с красным лицом, в парике, по бокам его встали два мальчика с факелами, мужчина стал с завыванием читать по длинному листу.

- Пиита! - объяснил молодой Рябов отцу.

- Оно и видно, что пито, - усмехнулся кормщик. - Попил на своем веку!

Едва пиита кончил, как над городом, над его черепичными крышами, над башнями и садами взлетели ракеты, заиграла громкая рожечная музыка, забили литавры, бубны, запели скрипки. Музыканты стояли вдоль улиц, двери всех домов были открыты, датчанки в наплоенных чепцах, румяные, белозубые, кланялись русским матросам, смешно приседали, датчане в праздничных кафтанах, в чулках и башмаках, вели русских моряков в дома к столам, к выпивке, к закуске, к добротной, сытной еде. Русские матросы, стесняясь, по одному входили в дом, покашливая в кулак; осматривались, догадывались, чем хозяин живет: один

сапожничает, вон его инструмент под окном, другой кузнец - видно по рукам, по кожаному фартуку, что висит в сенях, этот - плотник... Выпив чарку, другую, матрос со всей учтивостью спрашивал, показывая руками: строгаешь, дескать? Датчанин радостно кивал, матрос, тыча себя в грудь, брал со стола краюшку хлеба, показывал: дескать, сею, мужик, крестьянин. Потом хозяйка, робея гостя, пела песню своей страны, матрос украдкой утирал слезы, вспоминал далекую матушку, как и она певала на родине. Датчанка тоже утирала слезы, - и ее старший плавает моряком, а море-то злое...

Русских матросов не хватило, датчане ссорились, просили русского матроса посидеть еще в двух домах, - там, дескать, ждут, старый дедушка хочет посмотреть, ругается, что так и умрет, не повидавши, а ходить уже не может, обезножил. И дети плачут - сели за стол, а русского не хватило... Почему иным во всем везет, а другим ни в чем нет удачи? Окорок спекли на вертеле, а сосед не отдает своего русского гостя, ну что это такое в самом деле!

Рябов с сыном побывал в пяти домах, а в шестой не пошел, утомился. Датчанин, оставшись без русского гостя, сказал, что раз так, он теперь домой не пойдет, а отправится на русский корабль, ему не житье дома, он последний человек на своей улице. Рябов пожалел доброго старичка, навестил и его семейство, покушал и здесь тушеной свинины, выпил чарку за хозяйку, пригласил к себе в город Санкт- Питербурх, на Васильевский остров, в собственный дом.

- Тоже угостим, - говорил он, - верно, Ванятка? У нас, брат, особые пироги, дело такое, вам не понять. Пи-ро-ги!

- Кухен! - сказал молодой Рябов.

- Кухен! - подтвердил кормщик и широко раскинул руки. - Вон, брат, какой кухен! Женка у меня мастерица, как испечет - ахнешь! Да ты, милый, не раздумывай, собирайся и приезжай. Доплыть-то не больно долго, живо обернешься...

По домам ходили музыканты, играли степенные, медленные танцы, в комнатах стало тесно, танцевали на улицах. К рассвету гости с русских

кораблей, датские матросы, ремесленники, купцы, датчанки с дочерьми, с маленькими детьми на руках, важные министры королевского двора, пышно одетые послы и посланники, резиденты и жены высокопоставленных особ в богатых экипажах и каретах, верхами на рослых лошадях, - все собрались на площади Ратуши: одни веселиться, другие смотреть, как веселятся. Здесь, на площади, пылали смоляные факелы, датчане плясали танец с подпрыгиваниями и приседаниями. Девушки хватали за руки русских матросов, тянули в круг. Те сначала упирались, потом, подбодряемые друзьями, шли с хороводом.

- Это кто же там стоит в стороне? - спросил Сильвестр Петрович бургомистра. - Вон, возле кареты. Все время один. Кто таков?

Бургомистр ответил со вздохом:

- Сэр Реджер Риплей - резидент английского королевства...

- Реджер Риплей? - почти спокойно переспросил Иевлев. - Не был ли он в России?

- Он был везде, - сказал бургомистр. - В давние времена он торговал пушками. Впрочем, и нынче он продал шведам немало огнестрельного оружия...

Помолчав, бургомистр еще раз вздохнул:

- Конечно, нам не следовало приглашать его на праздник, господин вице-адмирал, но не судите меня строго: трудно быть бургомистром столицы маленького королевства...

Когда Сильвестр Петрович со своими офицерами возвращался на корабль, его догнал капитан над портом. Было уже совсем светло, день обещал быть погожим, солнце, едва вынырнув, стало сразу же нагревать крыши, стены домов, брусчатку мостовых.

- Добрый день наступает и несет добрые вести! - произнес капитан над портом. - Хорошие вести, господин вице-адмирал. Очень хорошие вести... Старик, запыхавшись, остановился, утер лицо платком. Остановился и Иевлев с офицерами.

- Его превосходительство адмирал Голицын в баталии у Гренгама наголову разбил шведский флот, - сказал капитан над портом. - Четыре

шведских корабля сдались, взято более ста пушек и около пятисот пленных. Сия виктория учинена несмотря на то, что вблизи сражения крейсировал флот англичан под командованием сэра Джона Норриса. Виват, господа!

- Виват! - закричали офицеры. - Качать капитана над портом!

Дюжие руки подхватили старика, треуголка слетела с его головы, потом слетел парик.

- Благодарю вас, господа! - вскрикивал он. - Весьма вам благодарен! Но сие не слишком полезно для меня...

Весть о новой виктории тотчас же разнеслась по всем трем кораблям эскадры. Матросы разузнали подробности сражения, навигаторы разложили морские карты, прикидывая, как все случилось. Уже было известно, как попалась шведская эскадра в тесноту между мелями, как Голицын приказал начать абордаж, как спасся шведский адмирал. Говорили и об аглицких кораблях, которые испугались подать сикурс своим дружкам.

В каюте Сильвестра Петровича сидел только что приехавший посол Василий Лукич Долгоруков, матрос-цирюльник брил его дебелое, толстое лицо с тремя подбородками. Дипломат рассказывал:

- Аглицкий король слишком поиздержался на свою эскадру в здешних водах, сам жаловался, что-де более шестисот тысяч фунтов ему Норрис обошелся, да страшится король нашего могущества на морях. Многие верные люди говорят, что шведы к миру готовы, англичане лишь тому миру совершиться не дают, обнадеживают помощью, а то и пугают...

Цирюльник ушел, Василий Лукич сладко потянулся, щуря умные глазки, произнес:

- О, сколь на душе легко, когда в своем доме обретаешься, хоть дом сей и на шаткой стихии воды стоит. Устал я, господин вице-адмирал, так устал, что и слов не имею рассказать. Бывало с покойным Измайловым мы о том толковали: нет дела более тяжкого, чем наше - дипломатия...

В четыре часа пополудни Сильвестр Петрович с Долгоруковым съехал на берег встречать гроб с останками князя Андрея Яковлевича Хилкова. На

пристани уже стояли русские матросы в парадных мундирах с ружьями на караул. Мост и набережные порта были запружены толпами жителей Копенгагена. Вдоль всей дороги, по которой должен был следовать траурный кортеж, выстроились датские солдаты в своих коротких мундирчиках, в лакированных треуголках с кокардами.

- Ишь - солдат поставили! - угрюмо заметил Долгоруков. - На всякий случай господа датские министры позаботились...

- Народ здесь чествовал нас чрезвычайно! - сказал Иевлев. - Истинно с открытою душою...

- То народ, а то министры, - перебил всердцах Долгоруков. - Министров здесь фунтами покупают...

Свинцовый гроб с телом Андрея Яковлевича Хилкова, протомившегося в плену девятнадцать лет, везли на пушечном лафете, запряженном воронымиконями. Всадники в черных скорбных одеждах, в шлемах с черными перьями, в черных латах сопровождали гроб, держа в руках по опрокинутому погасшему факелу. Легкий теплый ветер трепал плюмажи, флажки и знамена, нес запах водорослей, запах близкого моря.

Медленно били барабаны, торжественно пели горны, трубили трубы.

Советник посольства - тоже в черном платье - нес на бархатной подушке сверток, перевязанный бечевкой и запечатанный красным сургучом. То был труд умершего Хилкова, его история России. Еще несли на подушке перо, пожелтевшее и сломанное, которым писал Андрей Яковлевич, и простую чернильницу, которая сопровождала его в длинных странствиях по шведским тюрьмам.

Когда тяжелый свинцовый гроб поднимали на шканцы "Гавриила", Пустовойтов махнул платком. Матросы разом ударили из ружей, загремели пушки эскадры и все датские береговые батареи. Сильвестр Петрович с Рябовым покрыли гроб русским флагом, четыре матроса встали в почетном карауле.

- Вот и домой собрали Андрюшу, - сказал Долгоруков, оправляя складки флага. - Отстранствовал свое, отмучился...

К Иевлеву подошел старик, капитан над портом, заговорил по-датски:

- Получил я, господин вице-адмирал, вернейшие известия: флот адмирала Норриса покинул воды Ботнического залива и нынче крейсирует невдалеке от наших берегов. Стоит ли вам уходить нынче? У него более сорока вымпелов, под вашим командованием всего три корабля. Пути господни неисповедимы...

- Флот Норриса неподалеку, да и наш Балтийский, я чаю, не спит! - громко сказал Долгоруков. - В недавнее время был близ Аландских островов: и линейные корабли и иные прочие суда под андреевскими флагами видел своими глазами, всласть полюбовался. Нет, сидеть здесь более не к чему, погостевали - и к дому пора.

Вечером русская эскадра, воспользовавшись попутным ветром, снялась с якорей и ушла в море. В адмиральской каюте Сильвестр Петрович и Долгоруков при свете свечей разбирали листы рукописи покойного Хилкова и устало переговаривались. Было слышно, как на баке поют матросы. Василий Лукич говорил мечтательно:

- Ей-ей, словно сон снится: будто дома.

- До дома еще неблизко.

- Как неблизко, когда нашу песню поют!

И тонким голосом подпел:

Одеялышко - ветры буйные...

- По сим страницам видно, как ему, бедняге, писалось! - сказал Сильвестр Петрович. - Смотри, Василий Лукич, - сажа, копоть, вишь, как измазано. Воск капал...

Бережно держа в руках лист бумаги, Сильвестр Петрович прочитал вслух:

"В двадцать седьмой день июня под городом Полтавою от царя Петра Алексеевича, который сам в своей персоне тогда войском командовал, король шведский прогнан и войска его поражены, где их множество побито..."

Долгоруков подперся рукой, приготовился слушать дальше. Окна на галерею адмиральской каюты были открыты, там неспокойно, грузно ворочались волны Балтики. Сильвестр Петрович читал лист за листом,

ровно шумело море, перекликались вахтенные, били склянки, матросы под короткий треск барабанов меняли караул у гроба Хилкова.

"Сколь велик урон претерпели тогда шведские войска, - читал Сильвестр Петрович, - которые уже всякое могущество на свете ни во что не ставили и всех королей от престолов отставить сильны были..."

Василий Лукич прошептал себе под нос:

- Было, было! А вскоре что будет? Ах, не заносись, не заносись, лопнешь...

- Что? - спросил Иевлев, не расслышав.

- Ничего, дружочек, читай далее, - сказал Долгоруков. - На чужбине будучи один, приобвык сам с собою говорить... Читай.

"В полон взято девятнадцать тысяч человек, между которыми были генерал фельдмаршал Рененшильд, граф Пипер, генерал Левенгаупт... Того ж году в декабре месяце турецкий султан Ахмет по навождению короля шведского, который сидел в Бендере..."

- Вот кто турку глупого учит. - опять перебил Долгоруков, - вот кто его зловредностям первый потатчик.

Иевлев опять стал читать, Долгоруков еще раз перебил:

- Ты-то сам в Швеции высаживался?

Сильвестр Петрович кивнул:

- И возле Стокгольма в городке Грин с десантом, и еще в городках Остгаммер и Орегрунд. Был и при генерал-адмирале Апраксине в семи милях от самого Стокгольма, городок там именем Ваксгольм...

- Не понравилось шведам?

- Чего ж доброго! - улыбнулся Сильвестр Петрович. - Убытков им на двенадцать миллионов.

- То-то взвыли богатей шведские, - сказал Василий Лукич. - То-то разохались. Да ништо, скоро конец, скоро. Кабы не англичанка, давно бы все решили...

Ранним утром на флагманском корабле смотровой матрос с марса закричал:

- Корабли на правой раковине!

Егор Пустовойтов посмотрел в зрительную трубу и шепотом выругался: наперерез шла мощная эскадра. Сильвестр Петрович поднялся на ют, взял у Пустовойтова трубу и сразу понял беду: эскадра была английская, адмирала Норриса; в окулярах медленно прошел авангард, потом кордебаталия, потом замыкающие суда арьергарда. Было видно, как английские матросы взбираются по вантам, как артиллеристы открывают пушечные порты. Не торопясь, сдерживая волнение, Сильвестр Петрович прочитал флажный сигнал. Англичане предлагали сдаться без пролития крови.

- Отвечать? - спросил Пустовойтов.

- Отвечай, господин капитан: "Ясно вижу".

Кают-вахтер принес Сильвестру Петровичу мундир, шпагу, портупею. Одеваясь, Иевлев прочитал новые сигналы англичан: "К бою иметь полную готовность, милость божья с нами!"

- Трудное дело, - сказал Егор. - Ишь, сколько у них вымпелов.

- Трудненько, да ничего не поделаешь, - задумчиво ответил Сильвестр Петрович, всматриваясь в маневры английских судов: теперь они шли строем баталии. - Ничего, брат Егорушка, не поделаешь! - повторил Иевлев и другим - твердым, адмиральским голосом приказал поднять стеньговые флаги, означающие: "К бою готов!"

Егор положил руку на эфес шпаги, закричал громко:

- Готовить корабль к бою! Боевую тревогу! Брамсели долой, фок и грот на гитовы!

Мелко, с раскатистым треском ударили барабаны, запели сигнальные горны, засвистели боцманские дудки. Сзади к Иевлеву, запыхавшись, подошел Долгоруков, спросил:

- Англичане?

- Они, Василий Лукич. Думаю, драться будем.

- А как же не драться, коли они лезут! Да ты что на меня глядишь? Нет, дружочек, нынче я не дипломат, а русский человек, крещенный Васькой и обиды не терпящий. Драться так драться!

Пустовойтов опять громоподобно крикнул:

- Господа офицеры, на ют к вице-адмиралу!

Офицеры собрались мгновенно. Все уже успели по-парадному одеться для боя: мундиры с шитьем, треуголки с кокардами, перчатки, шпаги. Сильвестр Петрович оглядел молодые лица, заговорил, отрывая слова:

- Судари мои, офицеры Российского корабельного флота! Адмиралу Норрису нестерпимо то, что мы возвернули себе наше море, для того идет он на нашу эскадру боем. Внукам нашим ведомо станет, кто сие воровство начал, кто добрый мир порушил, кто кровь пролил. Наше же дело биться, как присягали. Для того приказываю: пушечную пальбу не открывать до сближения на пистолетный выстрел. Стрелять будем орудиями обоих бортов, прорежем строй противника, сцепимся на абордаж, и ежели суждено нам погибнуть, то пойдем на дно не одни, а с сими проклятыми ворами, дабы из первой же баталии поняли они, собачьи дети, каково непросто на русских руку заносить. По местам! Ура!

- Ура! - подхватили офицеры.

- Ура! - понеслось по шканцам, по шкафуту, по батарейным палубам.

Корабли шли теперь медленнее, словно настороженные, готовясь к решительной схватке. Пушкари вынимали пробки из стволов орудий, пушечная прислуга скорым шагом носила картузы с порохом, ядра, мочила швабры, чтобы тушить ими искры, притирать рассыпанный порох, матросы скатывали палубу водою в опасении пожара. Под свистки боцманов, барабанный бой, под звуки рожков и горнов матросы с абордажным оружием - с тесаками, с топорами, с крючьями и шестами - расходились по местам, марсовые взбегали по вантам, придерживая тяжелые сумки с гранатами, мушкеты, ружья.

Рябов неторопливой, валкой походкой поднялся на шканцы, плечом оттер матроса от штурвала, сказал Пустовойтову:

- Покуда постою здесь, господин капитан.

Пустовойтов кивнул, взглядом следя за фитильными, которые бегом понесли к орудиям горящие фитили в совках. Комендоры пригнулись к пушкам, фитильные застыли, ожидая команды. С торжественно

взволнованными лицами неподвижно стояли навигаторы, у каждого в руке был тесак для абордажного сражения. С ними вместе ждал начала боя молодой Рябов, сжимая в ладони эфес шпаги.

Еще раз ударили барабаны на "Гаврииле", и наступила полная тишина. Русские корабли приготовились к бою.

Между тем английская эскадра, описав широкую циркуляцию, легла на параллельный курс и теперь приблизилась настолько, что Сильвестр Петрович простым глазом прочитал обращение Норриса к своим морякам: "Уничтожить русские корабли!"

Иевлев покачал головой: "Ну, друзья!"

- Чего они? - спросил Долгоруков, подсыпая пороху на полку пистолета.

Сильвестр Петрович не ответил, вновь впился взглядом в сигнальные флаги, как бы нехотя ползущие по брам-стеньге английского флагманского корабля.

- Чего они? - опять спросил Долгоруков, вглядываясь в бледное лицо Иевлева.

- А того, - медленно произнес Сильвестр Петрович, - того, что они вдруг пишут...

- Да что, что пишут?

- Пишут - счастливого плавания.

- Нам счастливого плавания?

- Ну да, нам, русской эскадре...

- Не верь, господин вице-адмирал, врут, воры, знаю я их, сколь годов знаю.

- Нынче им иначе не сделать! - спокойно, с гневной усмешкой оглядывая море в трубу, объявил Иевлев. - Никак им не сделать иначе, Василий Лукич. Погляди вот!

И он протянул Долгорукову свою зрительную трубу.

Василий Лукич посмотрел в том направлении, куда указывал Иевлев, и навалился всем телом на гакаборт: на горизонте, за кораблями эскадры Норриса четко рисовалась другая, огромная эскадра, не эскадра - флот. Это был тот самый Балтийский флот, который Долгоруков давеча видел

близ Аландских островов, он узнал флагманский стопушечный корабль, где держал свой флаг генерал-адмирал Апраксин.

- Наши! - счастливым голосом говорил Пустовойтов. - Наши идут! И сила, ну силища какова! Я Балтийский флот вот эдак впервой вижу.

Сильвестр Петрович приказал бить отбой.

На "Гаврииле" опять ударили барабаны. Английская эскадра Норриса, поставив паруса, увалила под ветер и стала быстро уходить на восток.

- Ну, молодцы! - сказал Рябов. - Ну, соколы! Ты гляди, как побежали. Теперь надолго, теперь напужались крепко...

Он захохотал, пристукнул каблуком по палубе, крикнул сыну:

- Иван Иванович, зришь?

- Смотрим! - снизу ответил лейтенант.

В это время на флагманском корабле Балтийского флота весело, басом рявкнула пушка и тотчас же взвился сигнал: "Следовать за мною, быть в строе кильватера!"

Пустовойтов ответил: "Ясно вижу!"

- Федор Матвеевич сам, - с удовольствием сказал Иевлев. - Его вымпел! Ну, умница генерал-адмирал, знает, где ходить...

И, повернувшись к Пустовойтову, велел:

- Командуй, господин капитан, делай маневр, пойдем за ними.

- Господа офицеры, по мачтам! - осипшим на ветру, грубым и радостным голосом загремел Пустовойтов. - Отдать гитовы фок и грот! К повороту на фордевинд! Пошел брасы!

Паруса наполнились ветром, "Гавриил", описав широкий полукруг, слегка кренясь, в сопровождении двух других кораблей, оставляя за собою белый пенный след, пошел на сближение с Балтийским флотом. А на шкафуте в это время, сгрудившись у правого борта, молодые навигаторы, возбужденные только что пережитым, чувствуя себя уже почти что понюхавшими пороха, распознавали знакомые корабли и звонкими юношескими голосами спорили:

- "Гангут"!

- Нет, "Астрахань"!

- А вот - "Нарва"!

- "Нарва" шестой идет, а это "Москва"!

- Верно, "Москва"!

- Замыкающим "Новый Кронштлот"!

- Нет, "Волга"...

Молодой Рябов послушал, как спорят навигаторы, показал с точностью, где какой корабль, потом пошел на ют. Здесь, опираясь на трость, рядом с Иваном Савватеевичем стоял вице-адмирал Иевлев, и оба они молча любовались величием и мощью идущего под всеми парусами, расцвеченного флагами - Балтийского флота. Корабли и фрегаты, галиоты и яхты кренились под свежим тугим ветром, пенные валы вздымались над морем, ослепительный свет солнечного дня весело играл в самых мельчайших водяных брызгах, на вымпелах и флагах, на меди боевых орудий, на парусах, казавшихся вылитыми из чистого серебра.

Архангельск - Полярное - Ленинград

1944-1954